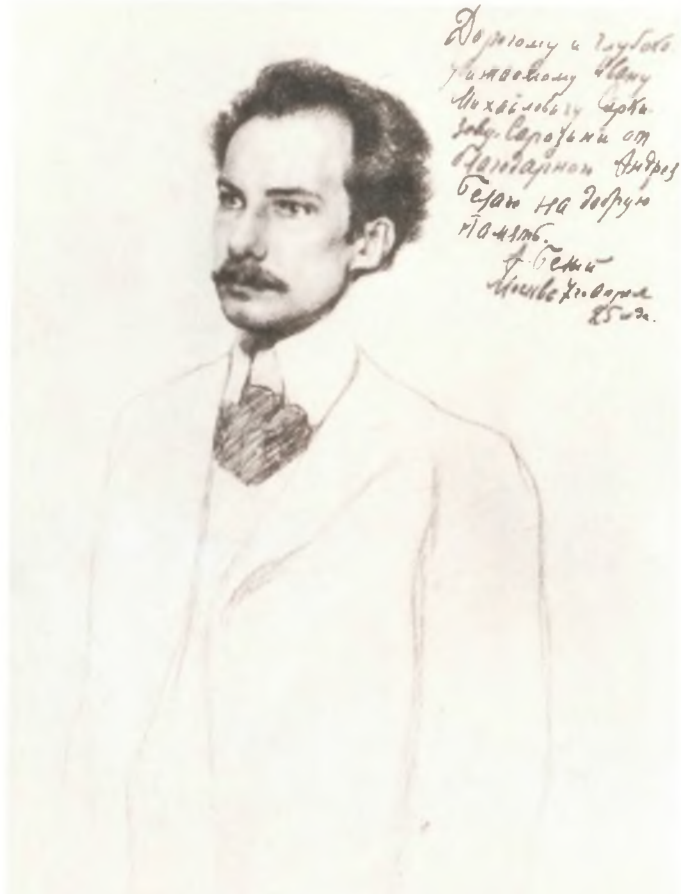
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

НАЧАЛО ВЕКА

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ



А. Белый.
Портрет работы Л. С. Бакста. 1906 г.

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

НАЧАЛО ВЕКА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р7
Б43

Подготовка текста и комментарии
А. В. ЛАВРОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Б $\frac{4702010201\text{-}359}{028(01)\text{-}90}$ 8-89

ISBN 5-280-00518-5 (Кн. 2)
ISBN 5-280-00517-7

НАЧАЛО ВЕКА

ОТ АВТОРА

Эти мемуары взывают к ряду оговорок, чтобы автор был правильно понят.

За истекшее тридцатилетие мы пережили глубокий сдвиг; такого не знала история предшествующих столетий; современная молодежь развивается в условиях, ничем не напоминающих условия, в которых воспитывался я и мои сверстники; воспитание, образование, круг чтения, обстание, психология, общественность,— все иное; мы не читали того, что читают теперь; современной молодежи не нужно обременять себя тем, чем мы переобременяли себя; даже поступки, кажущиеся дикими и предосудительными в наши дни, котировались подчас как подвиг в мое время; и потому-то нельзя переводить воспоминаний о далеком прошлом по прямому проводу на язык нашего времени; именно в языке, в экспозиции, в характеристике роя лиц, мелькающих со страниц этой книги, может произойти стык с современностью; я на него иду; и — сознательно: моя задача не в том, чтоб написать книгу итогов, где каждое явление названо своим именем, любой поступок оценен и учтен на весах современности; то, что я показываю, нам и не близко, и не современно; но — характеристично, симптоматично для первых годов начала века; я беру себя, свое обстание, друзей, врагов так, как они выглядели молодому человеку с неустановившимися критериями, выбивавшемуся вместе с друзьями из топившей нас рутины.

Современная молодежь растет, развивается, мыслит, любит и ненавидит, не чувствуя отрыва от коллективов, в которых она складывается; эти коллективы идут в ногу с основными политическими, идеологическими устремлениями нашего социалистического государства.

Независимая молодежь того социального строя, в котором рос я, развивалась наперекор всему обстанию; прежде чем даже встретиться, чтобы соединиться против господствующего штампа, каждый из нас выбарахтывался, как умел; без поддержки государства, общества, наконец, семьи; в первых встречах даже с единомышленниками уже чувствовалась разбитость, ободранность жизнью; не знать счастливого детства, не иметь поддержки, утаивать даже в себе то, что есть в тебе законный жест молодости,— как это далеко от нас!

Воспитанные в традициях жизни, которые претят, в условиях антигигиеничных, без физкультуры, нормального отдыха, веселых песен, товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя влечет инстинкт здоровой природы,— мы начинали полукалеками жизнь; юноша в двадцать лет был уже неврастеником, самопротиворечивым истериком или безвольным ироником с разорванной душой; все не колеблющееся, не имеющее противоречий, четко сформулированное, сильное не внутренней убежденностью, а механическим давлением огромного коллективного пресса,— все это составляло рутину, которую надо было взрывать скудными средствами субъективного негодования и независимости; но и это негодование зачастую затаивалось, чтобы не раздразнить блюстителей порядка и быта.

Режим самодержавия, православия и официальной народности охранялся пушками и штыками, полицией и охранкой. Могла ли общественность развиваться нормально? Общественные коллективы влачили жалкое существование, да и то влачили его потому, что выявили безвольную неврастению под формой либерального фразерства, которому — грош цена; почва, на которой они развивались, была гнилая; протест против «дурного городового» использовался кандидатами на «городового получше»; «городовой получше»— от капиталиста, который должен был собой заменить «городового от царя»; «городовой от царя» устарел; капитализм, добиваясь свободы для себя, избрал средства угнетения посильней; пресс, более гнетущий, чем зуботычина, был одет в лайковую перчатку конституционной лояльности; бессильные либеральные говорильни выдавали себя за органы независимости; но они были и до свержения самодержавия во власти *«городового получше»*, который — похуже еще.

Наконец: и в гнилом государственном организме, и в либерально-буржуазной интеллигенции сквозь все слои

ощущался отвратительный, пронизывающий припах мирового мещанства, быт которого особенно упорен, особенно трудно изменяем при всех политических переворотах.

«Городовой от царя» — давил тюремными стенами; либерал — давил фразами, ореолом своей «светлой личности», которая чаще всего оказывалась «пустой личностью»; мещанин давил бытом, т. е. каждой минутой своего бытия. Независимый ребенок, ощущающий фальшь тройного насилия, сперва уродовался палочной субординацией (семейной, школьной, государственной); потом он душевно опустошался в *«пустой словесности»;* наконец, он заражался инфекцией мещанства, разлагавшего незаметно, но точно и прочно.

Таково — обстание, в котором находился ребенок интеллигентной семьи средней руки еще до встречи с жизнью. Я воспитывался в сравнительно лучших условиях; но и мне детство стоит, облитое соленой слезой; горькое, едкое детство!

Каждый из друзей моей юности мог бы написать свою книгу «На рубеже». Вспоминаю рассказы детства Л. Л. Кобылинского, А. С. Петровского и скольких других: волосы встают дыбом!

Неудивительно, что, встретясь позднее друг с другом, мы и в линии общей нашей борьбы с культурной рутиной не могли выявить в первых годах самостоятельной жизни ничего, кроме противоречий; скажу более: ими и гордилась часто молодежь моего времени, как боевыми ранами; ведь не было не контуженного жизнью среди нас; тип раздвоенного чудака, субъективиста был поэтому част среди лучших, наиболее нервных и чутких юношей моего времени; теперь юноше нечего отстаивать себя; он мечтает о большем: об отстаивании порабощенных всего мира.

В мое время — все общее, «нормальное», не субъективное, неудачливое шло по линии наименьшего сопротивления: в моем кругу. И потому среди молодежи, вышедшей из средне-высшей интеллигенции, «нормальна» была — разве опухоль мещанского благополучия (один из «образованных» родителей моего друга для здоровья давал сыну деньги, советуя ему посещать публичные дома); «здорова» была главным образом тупость; «обща» была безответственная умеренно-либеральная болтовня, в которой упражнялись и Ковалевские и... Рябушинские; социальность означала чаще всего... покладистый нрав.

Иные из нас, задыхаясь во все заливающем мещанстве, в пику обстанию аплодировали всему *«ненормальному»,*

«необщему», *«болезненному»*, выявляя себя и антисоциально; *«чудак»* был неизбежен в нашей среде; *«чудачливость»* была контузией, полученной в детстве, и непроизвольным «мимикри»: «чудаку» позволено было то, что с *«нормального»* взыскивалось.

Меня спросят: почему же молодежь моего круга мало полнила кадры революционной интеллигенции? Она отчасти и шла в революцию; не шли — те, кто в силу условий развития оставались социально неграмотными; или те, кто с юности ставили задачи, казавшиеся несовместимыми с активной революционной борьбой; так, например, я: будучи социально неграмотен до 1905 года, уже с 1897 года поволил собственную систему философии;[1] поскольку мне ставились препоны к элементарному чтению намеченных книг, поскольку нельзя было и заикнуться о желанном писательстве в нашем доме, все силы ушли на одоление быта, который я зарисовал в книге «На рубеже двух столетий».

То же произошло с друзьями; мы, будучи в развитии, в образовании скорей среди первых, чем средь последних, оставались долгое время в неведении относительно причин нас истреблявшей заразы; из этого не вытекает, что мы были хуже других; мы были — лучше многих из наших сверстников.

Но мы были *«чудаки»*, раздвоенные, надорванные: жизнью до «жизни»; пусть читатель не думает, что я выставляю *«чудака»* под диплом;— *«чудак»* в моем описании — лишь жертва борьбы с условиями жизни; это тот, кто не так боролся, не с того конца боролся, индивидуально боролся; и от этого вышел особенно деформированным.

Изображая себя *«чудаком»*, описывая непонятные для нашего времени «шалости» (от «шалый») моих сверстников, я прошу читательскую молодежь понять: речь идет о действительности, не имеющей ничего общего с нашим временем, о действительности нашего былого подполья, наградившего нас печатью субъективизма и анархизма: в ряде жизненных выявлений.

Я хочу, чтобы меня поняли: «чудак» в условиях современности — отрицательный тип; «чудак» в условиях описываемой эпохи — инвалид, заслуживающий уважительного внимания.

Странен для нашего времени образовательный стаж наиобразованнейших людей моего времени; я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности; с четырех лет я разбираюсь в гуле имен

вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов, Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и т. д. Не было одного имени — Маркс. Всю юность видывал я экономиста Янжула; ребенком прислушивался к словам Ковалевского; имена Милль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст; имя Маркса — нет; о Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев (в контексте с Фурье и Прудоном). Мой отец кроме тонкого знания математической литературы был очень философски начитан; изучил Канта, Лейбница, Спинозу, Локка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля; все свободное время глотал он трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии: читал Бена, Рише, Жане, Гербарта, Альфреда Фуллье, Тарда, Вундта, Гефдинга и т. д.; но никогда им не были произнесены имена: Маркс, Энгельс; позднее я раз спросил его что-то о Марксе; он отозвался со сдержанным уважением; и — переменил разговор: видимо, он не прочел и строчки Маркса. Отец Кобылинского, образованнейший, талантливый, независимый педагог[2], глубоко страдал, когда его сын отдался чтению Маркса; либеральнейший Стороженко козырял и именами, сочинения которых не читал; за двадцать лет частого сидения перед ним я не слышал от него только имени Маркса. Молчание походило б на заговор, если бы не факт: никто из меня обставших ученых европейской известности не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса.

Так что — первый раз имя Маркса мне прозвучало в гимназии, когда один шестиклассник в ответ на мои разглагольствования, в которых пестрели имена *Шопенгауэр, Кант, Льюис, Соловьев,* мне противопоставил имена *Струве, Туган-Барановский, Маркс;*[3] казались смешными возражения *«какого-то»* Маркса; возражал бы от Бюхнера и Молешотта, с учениями которых я был знаком по брошюрам и главным образом по полемике с ними «Вопросов философии и психологии»; а то — Маркс: *«какой-то»* Маркс!

Стыдно признаться: до 1902 года я не отличал утопического социализма от научного марксизма; мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня; придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал я о Ленине.

Это значило: я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уж о Ленине) не хотели знать.

Характеризуя себя и сверстников в первых годах самостоятельной жизни, я должен сказать, что до окончания

естественного факультета я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов (Дидро, Даламбера), Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера, Молешотта, стыжусь,— Чернышевского (?!), Ленина; не читал большинства сочинений Гегеля, не читал Локка, Юма, очень многих эмпиристов XVIII и XIX столетия; все это надо знать читателю, чтобы понимать меня в описываемом отрезке лет (Юма, Локка, Маркса, Энгельса, Герцена, Конта, Гегеля я читал потом). Что же я читал?

Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Риля, Вундта, Гефдинга, Милля, Спенсера, Владимира Соловьева, Гартмана, Ницше, Платона, «Опыты» Бэкона (Веруламского), Оствальда, Гельмгольца, Уэвеля, ряд сочинений по философии естествознания (между прочим, Дарвина), истории наук, истории философий, истории культур, журнал «Вопросы философии и психологии»; я прочел множество книг по психологии, переполнявших библиотеку отца,— книг, из которых большинство читать и не следовало. И кроме того: я прочел множество эстетических трактатов моего времени, путая их с трактатами прошлого: чтение Белинского (в седьмом классе гимназии) шло вперебив с Рескиным, которым я увлекался; чтение эстетических трактатов Шиллера шло вперебив с писанием собственных юношеских *«эстетик»* (под влиянием эстетики Шопенгауэра)[4].

Кругом чтения обусловлен комплекс цитат в статьях описываемого периода; борясь с Кантом, что мог я противопоставить Канту? Желанье преодолеть угнетавшую меня философию привело к ложному решению: преодолеть ее в средствах неокантианской терминологии; тогдашние неокантианцы выдавали свою *«наукоподобную»* теорию за научную (на ее *«научность»* ловились и физики); я шел *«преодолевать»* Канта изучением методологий Риля, Риккерта, Когена и Наторпа, в надежде, что из перестановки их терминов и из ловления их в противоречиях обнаружится брешь, в которую я пройду, освобождаясь от Канта; я волил своей теории символизма и видел антикантианской ее; но я думал ее построить на *«анти»* — вместо того, чтобы начать с формулировки основных собственных тезисов.

Из *«анти»* не получилось системы, кроме конспекта к ней; и потому *символизм* в моих познавательных экскурсах выглядел и шатко, и двойственно; и выходило: «символ» — ни то ни это, ни пятое ни десятое. Что он —

я не сформулировал; сформулировал себе поздней, когда пропала охота писать исследование.

Все это я должен заранее оговорить, чтобы в характеристике моих идейных позиций не видели б перенесения их в «сегодня»; рисуемое мной — характеристика далекого прошлого; и менее всего она есть желание выглядеть победителем.

Но я не могу не дать в малой дозе и идейных силуэтов себя; без них читателю было бы невдомек, чего ради бурлили мы,— пусть бурлили путано, пусть напускали туман, но мы — бурлили; бурлил особенно я; и люди и факты воспринимались в дымке идей; без нее мемуары мои — не мемуары; ссоры, дружбы определяла она; и потому не могу без искажения прошлого ограничиться зарисовкой носов, усов, бородавок, случайных жестов, случайных слов; мемуары мои не сборник анекдотов; я, мемуарист, из мемуаров не выключаем; стало быть, моя задача показать себя на этом отрезке лет объектом, а не только субъектом: не награждать и карать, кичиться или себя бичевать призван я из сознательной старости 1932 года, а рисовать образ молодого человека эпохи 1901—1905 годов в процессе восстания в нем идей и впечатлений от лиц, с которыми он и позднее встречался, к которым он не раз менял отношения; поздние признания и отрицания не должны накладывать печать на впечатления первых встреч; многие из зарисованных лиц стали не теми, какими я их показываю на отрезке времени; переменились — Эллис, В. Иванов, Мережковские, Брюсов. Мережковский, еще в 1912 году кричавший, что царское правительство надо морить, как тараканов... бомбами, где-то за рубежом кричит — о другом; коммунист в последней жизненной пятилетке, Брюсов в описанную мною эпоху — *«дикий»* индивидуалист, с наслаждением эпатирующий и буржуа и нас; конечно, он не подобен Брюсову, которого мы видели в советской действительности; я полагаю, что молодой, «дикий» Брюсов, писавший о «бледных ногах»[5], Брюсов, которого современная молодежь и не знала вовсе, Брюсов, который позднее с правом бы на три четверти отказался от себя, должен быть зарисован таким, каким он был, а не таким, каким стал впоследствии. Бальмонт, ставший «эмигрантом» при царском режиме,— теперешний ли Бальмонт-«эмигрант»?[6]

Я рисую людей такими, какими они мне, да и себе, казались более чем четверть века назад; было б бессмысленно подсочинять в стиле конечного их развития начало пути

их; это значит: сочинять факты, которые не имели места, молчать о фактах, имевших место.

В основу этих воспоминаний кладу я сырье: факты, факты и факты; они проверяемы; как мне утаить, например, что Брюсов ценил мои юношеские литературные опыты, когда рецензии его обо мне, его записи в «Дневниках» — подтверждают это? Как мне утаить факт его вызова меня на дуэль, когда письмо с вызовом — достояние одного из архивов;[7] оно всплывет — не сегодня, так завтра; стало быть,— встанет вопрос, каковы причины нелепицы; серьезная умница, Брюсов, вызвал на дуэль, когда предлог — пустяк; я вынужден был осторожно, обще вскрыть подлинные причины пробежавшей между нами черной кошки. В зарисовке натянутых отношений между мной и Брюсовым эпохи 1904—1905 годов я все же должен показать, что мы впоследствии ликвидировали испорченные отношения. Вот почему, рисуя Брюсова не таким, каким он стал, а таким, каким был, и подавая его сквозь призму юношеских восприятий, я поневоле должен оговорить, что этот стиль отношений переменился в будущем; было бы несправедливо заканчивать толстый том ферматой моего тогдашнего отношения к Брюсову; тогдашнее отношение едва ли справедливо; Брюсов вызывал меня на дуэль в феврале — марте 1905 года; воспоминания обрываются на весне 1905 года же. Не будучи уверен, что мне удастся написать второй и третий том «Начала века», я вынужден к показу отношений 1905 года написать прибавочный хвостик, резюмирующий итог отношений; ибо я храню уважение к этой замечательной фигуре начала века; победил меня Брюсов поэт и «учитель». Наоборот: рисуя дружбу свою с Мережковскими, я не могу победить в себе того яркого протеста против недобрых себялюбцев, который отложился в итоге нашего шестнадцатилетнего знакомства. При характеристике Вячеслава Иванова 1904 года я должен подать его сквозь призму позднейших наслоений вражды и дружбы; иначе вырос бы не Вячеслав Иванов,— карикатура на него; он явился передо мною в ту пору, когда личные переживания исказили мне восприятие его сложного облика; попросту в 1904 году мне было «не до него»; отсюда: краткая история наших позднейших отношений необходима при характеристике первой встречи; если был бы я уверен, что напишу и последующие воспоминательные тома, я бы не торопился с этой характеристикой; не было бы заскоков и в будущее; заскоки — тогда, когда показанные личности на малом протяжении

лет восприняты превратно, несправедливо, когда выявления их передо мной не характеристичны, мелки, а они заслуживают внимания.

Наоборот, лица, с которыми я ближе общался и относительно которых нет аберрации восприятий в эпохе 1901—1904 годов, зарисованы так, как я их видел в поданном отрезке времени.

Если бы я зарисовал свои отношения с Эллисом и Метнером эпохи 1913—1916 годов, я передавал бы вскрики боли и негодования, которые они вызывали во мне; встали бы два «врага», под флагом былой дружбы всадившие мне нож в сердце;[8] но в рисуемую эпоху не вставало и тени будущих расхождений; и я рисую их такими, какими они мне стояли тогда.

Труднее мне с зарисовкой Александра Блока; мало с кем была такая путаница, как с ним; мало кто в конечном итоге так мне непонятен в иных мотивах; еще и не время сказать все о нем; не во всем я разобрался; да и люди, меж нами стоявшие, доселе здравствующие, препятствуют моим высказываниям. Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так ненавистен, как он: в другие периоды, лишь с 1910 года выровнялась зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько далековатую дружбу, ничем не омраченную. Я его ценил, как никого; временами он вызывал во мне дикое отвращение как автор «Нечаянной радости», о чем свидетельствует моя рецензия на его драмы, «Обломки миров», перепечатанная в книге «Арабески»[9]. Блок мне причинил боль; он же не раз с горячностью оказывал и братскую помощь. Многое было, одного не было — идиллии, не было «Блок и Белый», как видят нас сквозь призму лет.

Из всех зарисованных силуэтов менее всего удовлетворяет Блок; рисуя его, я не мог отделить юношеского восприятия от восприятия окончательного; Александр Блок видится и в молодости сквозь призму третьего тома его стихов; я же рисую время выхода первого тома; истерическая дружба с четою Блоков в описываемый период, когда я был надорван и переутомлен, рисует меня не на равных правах с ними; я их переоценивал, и я не мог обнаружить им узла идейных недоумений, бременивших меня; «зажим» в усилиях быть открытым,— вот что мутнило восприятие тогдашнего Блока; этот том обрывается у преддверия драмы, которая отделяла меня от поэта весь период 1905—1908 годов. В июле 1905 года обнаружилась

глубокая трещина между нами, ставшая в 1906 году провалом, через который перекинули было мы мост; но он рухнул с начала 1908 года. Лишь в 1910 году изжилась эта трещина. Блок, поданный в этом томе, овеян мне дымкой приближающейся к нам обоим вражды; ее не было в сознании; она была — в подсознании; летнее посещение Шахматова в 1905 году — *начало временного разрыва с Блоком.*

Еще одно недоразумение должно быть устранено при чтении этой книги; без оговорки оно может превратно быть понято: условившись, что мои искания тогдашнего времени, «макеты», которые мне приходится здесь в минимальной дозе воспроизвести, рисуют меня пусть в путанице идей, но — идей, а не только художественных переживаний; я рисую себя обуреваемым предвзятой идеей, что я философ, миссия которого — обосновать художественные стремления и кружка друзей, и тогдашних символистов; таким я видел себя; от этого мои заходы в различные философские лагери, не имеющие отношения к литературе: в целях учебы, а иногда и выяснения слабых сторон течений мысли, которые мне казались особенно опасными для будущей теории символизма; заходы эти с комментариями, вводившими в детали, товарищам по литературе, может быть, с правом казались *«логической схоластикой»;* ознакомление с приемами мысли, переходящее в ненужные логические эксперименты, удаляло меня от творчества, пока я грыз Рилей и Риккертов, чтобы поздней убедиться: не стоило грызть; период от 1904 года до 1907 есть, собственно говоря, прерыв творчества; я грыз Рилей и ничего путного не писал, кроме стихов; с 1902 года до 1908 я только мудрил над одним произведением, калеча его новыми редакциями, чтобы в 1908 выпустить четвероякo искалеченный текст под названием «Кубок метелей»;[10] все мной написанное в эту четырехлетку — статьи; и — наспех: для спроса минуты; они вырваны из меня редакциями. Что же я делал? Грыз логики, которые мог бы не грызть, да идеологически «прел» в говорильнях тогдашнего времени, да полемизировал главным образом с теми, с кем со стороны сливали меня; откройте мои книги: «Арабески», «Символизм», «Луг зеленый»; они наполовину — полемика; две трети полемики — полемика с Вячеславом Ивановым, Блоком, Чулковым, Городецким, театром Коммиссаржевской, Антоном Крайним (З. Н. Гиппиус), т. е. с теми, с кем створяла меня тогдашняя пресса. Ссылаюсь на факт *состава моей полемики,* не опровержи-

мый ничем; он свидетельствует, что я не чувствовал единомыслия среди нас, символистов; более того: в то время я отрицал в моих друзьях теоретиков; теоретиком считал я себя; не хвалю себя: в этом сказалось высокомерие; увы! — так было; всякую попытку оформить символизм со стороны других символистов я браковал как попытку с негодными средствами; отсюда: ощущение идейного одиночества среди «своих», даже не чужих; я восхищался стихами Блока, Брюсова, Вячеслава Иванова; я отрицал как философов их, силясь одернуть их там, где они философствовали.

Мне казалось: только я среди других символистов хаживал в гости к отвлеченным философам, «прел» с ними на их языке; и, хотя они меня не считали своим, я все же самочинно считал себя — в их *«звании»*: Брюсова интересовала история, литература, тактика, а не отвлеченная философия, которой он занимался в юности; мысли его были мыслями умницы, козырявшего от скептицизма; метод споров его — сократический: жать противника: от противного; он давал поправки на факты; Вячеслав же Иванов, которого филологические, исторические познания я чтил, в философских потугах своих мне казался метафизическим догматиком; отсюда мои окрики на него в эпоху 1906—1908 годов: «Не так, не эдак, — не туда!» * С момента же, когда он стал теоретиком петербургской группы, он сел для меня в калошу **. Чулков со своими выходами в «соборность» и широкоохватными манифестами казался, особенно в ту пору, «мне неприемлемым»; я много погрешил, пишучи о нем прямо-таки в позорно-недостойном тоне[11]. Блок откровенно не любил философии; откровенно не понимал ничего в ней; я уважал его за откровенный отказ от отвлеченностей; тем более я бесился, когда он присоединялся к *«меледе»* (иначе не называл я теорий *мистических анархистов*); это присоединение казалось мне: в пику «Белому», назло «Белому», ибо с «Белым» испортились его отношения в разгар полемики символистов: с символистами же.

Увы, полемику сильно раздули мы с Эллисом.

Пишу это, чтобы стала понятна читателю одна из линий моих мемуаров; я себе рисуюсь в чувстве растущего и глубоко охватывающего одиночества: *«философ»*, не принятый философами, и все же *«философ»* (в собствен-

---

* См. «Арабески», «Луг зеленый».

** См. «Арабески»: «Штемпелеванная калоша».

ном представлении), философ течения, с которым связал свою судьбу, отвергнутый в точке теории своими же,— разве это не больно?

Пусть другие в нас видят дружную семью; в этом томе описываю я факт горестного восприятия себя, идущим к близким и, по мере внешнего приближения к ним, чувствующим все большее отъединение: до перерождения дружбы в неприязнь, органичности отношений — в бессвязный кинематограф. Видеть мумифицированный людской рой, тобою же избранный, видеть далекими близких, ради которых ты порвал с прошлым,— горько; еще горше не сознавать причин перерождения собственных зорь: в золу и в пепел; если в этих мемуарах ты фигурируешь как объект мемуаров (не судья, не критик, а — самоосужденный), то могу сказать: я отразился в них таким, каким себя некогда чувствовал.

В последующих годах я сдвинулся с мертвой точки: в себе; пока же мое стихотворение 1907 года есть эпитафия себе:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел;
Думой века измерил,
А жизни прожить не сумел[12].

В этом томе мною взят стиль юмористических каламбуров, гротесков, шаржей; но ведь я описываю кружок действительных чудаков, сгруппированных вокруг меня («аргонавты»); многое в стиле обращения друг к другу, в стиле даже восприятия друг друга может показаться ненатуральным, ходульным: виноват не я, а время: в настоящее время так не говорят, не шутят, не воспринимают друг друга, а в 1902—1904 годах в наших кружках так именно воспринимали друг друга, так именно шутили; многие из каламбурных метафор того времени теперь выглядели бы мистикой; например, мифологический жаргон наших шуток теперь непонятен; ну кто станет затеивать в полях «галоп кентавров», как мы, два химика и этнограф (я, С. Л. Иванов, В. В. Владимиров)?

Но «кентавр», «фавн» для нас были в те годы не какими-нибудь «стихийными духами», а способами восприятия, как Коробочка, Яичница[13], образы полотен Штука, Клингера, Беклина; музыка Грига, Ребикова; стихи Брюсова, мои полны персонажей этого рода; поэтому мы, посетители выставок и концертов, в наших шутках эксплуатировали и Беклина, и Штука, и Грига; и говорили: «Этот

приват-доцент — фавн». Покажутся странными «дикие» проказы Брюсова с нежеланием уходить из квартиры Соловьевых, с ненужным перечислением орудий пыток, и т. д.; что делать,— он в молодости жутко «шалил»; и, вероятно,— книжно шалил; это — итог его занятий: изучения средневековых суеверий, нужных для романа «Огненный ангел».

Надо помнить: показ мой — показ того, что было; факты разговоров, шуток, нелепостей — ф-а-к-т-ы, к которым я не могу ничего прибавить и от которых не могу ничего убрать без искажения действительности, ибо показанное есть то, чего теперь нет; и то, что — было. В XVIII веке носили парики и Матрену называли Пленирой; в XX веке сняли парики; в 1901 году студенты-естественники говорили: «Здесь бегал фавн»; под фавном же разумели... приват-доцента Крапивина.

При чтении моих мемуаров все эти мелочи надо взять на учет.

Автор

1932 год, февраль, Москва.

Глава первая

«АРГОНАВТЫ»

ГОД ЗОРЬ

Есть узловые пункты, стягивающие противоречивые устремления, пересекающие отвлеченные порывы с конкретною биографией: в такие моменты кажется: ты — на вершине линии лет; перебой троп, по которым рыскал, сбиваясь с пути, вдруг являет единство многоразличия; что виделось противоречивым, звучит гармонично; и что разрезало, как ножницы, согласно сомкнулось в крепнущей воле[1].

Такой момент — 1901 год, ставший праздничным; это год согласия жизни с мировоззрением, встреч с новыми друзьями, первой любви, признания меня — М. С. Соловьевым, Брюсовым, Мережковским, начала биографии «Андрея Белого», нового столетия, совершеннолетия, роста физических сил[2].

Чем острее резали ножницы противоречий с детства, тем радостней переживалось первое полугодие 1901 года;[3] точно я, опьянясь новогодним шампанским, с шумом в ушах и с блеском в глазах, так и не протрезвился: шесть месяцев[4].

С 1901 года начинается мое сближение с отцом; многое ему не ясно во мне; но принцип нестеснения свободы в нем жив вопреки крикам, с которыми в споре кидается он на меня; каждый обед превращается в спор; с пожимом плечей он читает Чехова, не принимает Горького, не понимает Фета; подчеркивает болезненность в Достоевском, негодует на дух отчаяния в Ибсене, хохочет над Метерлинком; и вместо Бальмонта, о котором не желает ничего знать, патетически читает риторику поэта П. Я. или декламирует «Три смерти» Майкова:[5] я же в союзе с матерью прославляю Гамсуна; отец, подкрепленный заходом дяди, Г. В. Бугаева, требует от меня, вынув часы, чтобы я в пять ми-

нут доказал правоту своих истин; и, выслушивая меня, смотрит на часы; «старики», гораздые спорить, растирают меня в порошок;[6] и читается нотация с подмахами разрезалки: «Голубчик, для понимания эстетики надо, знаешь ли, изучить литературу предмета!» И я изучаю: Гюйо, Кант, Гегель — лежат у меня на столе; закон Цейзинга и правила золотого деления[7] волнуют меня; отец — озадачен; наш спор теряет остроту крика и переходит в дебаты на темы, к которым оба питаем слабость; разводя руками, признается матери:

— «У Бореньки есть... знаешь ли... живая мысль!»

Мать добавляет:

— «И вкус».

Отец — морщится: «вкус» и гонит меня от науки; его успокаивает компромисс: оправдание «вкуса» при помощи... Оствальда и Милля; будучи стилистом, он вызывается даже править мой слог в реферате «Формы искусства» (слог, а не мысли)[8].

Из Парижа является ценимая им Гончарова, ученый доктор; она — на моей стороне.

— «Ваш сын понимает искусство»[9].

И он разводит руками:

— «Боренька свои мнения заимел».

Выходят «Tertia Vigilia» Валерия Брюсова;[10] летом читаю отцу стихотворение «Ассаргадон».

— «Ничего-с, так себе!»

И поревывает в липовой аллее, отмахиваясь от мух:

Я царь земных царей: я царь Ассаргадон!
Владыки и цари: вам говорю я — горе!

Это можно читать псу, Барбосу, дирижируя костью: перед отдачею псу; отец поревывал звучными строчками, держа кость перед псом; и он утверждал: пес, ожидающий кость, хвостом машет ритмически, когда отец над ним дергает:

Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг; и камни бросил в море.
Египту речь моя звучала как закон[11].

— «Ишь какой, Ассаргадон: тоже — мужик!» — поглядывает на меня; ассиро-вавилонский стиль импонирует; он любит романы Эберса:[12]

— «Профессор, египтолог, а пишет романы!»

Привезенный им роман Мережковского «Юлиан»[13] в его вкусе: являются бородатые философы и говорят про-

тив «попов», растерзавших математика, Гипатию, чего отец им не может простить:

— «Сожгли Бруно, преследовали Галилея!»

Мережковский удовлетворяет; семейство Соловьевых имеет нечто против него; отец взволнован влиянием на меня Соловьевых; он готов уступить Мережковского мне, лишь бы я повторял:

— «Владимир Соловьев — больной-с!»

Брюсова он не ругает; восклицание о «бледных ногах» считает чудачеством; сам при случае может дернуть строкой подобного рода, посвящаемой... Дарье; прочел прачке Ларионовне стихи, сознавая их ужас:

И вскричал тут Алексей,
Муж ее больной:
«Не ропщи и зла не сей,
И не плачь, не ной,
Ларионовна, старушка,
А белье стирай.
За свои труды, ватрушка,
Прямо пойдешь в рай!»

«Ватрушкой» ужасал мать; *«бледные ноги»* скорей забавляют:

— «Черт дери,— чудачище!»

Страшнее старушка Коваленская, защищающая поэзию пяти убийств в драме Шиллера:

— «Ложный пафос... Больная старушка!»

Брюсов для отца не больной: озорник, мужичище, пишущий в стиле Кузьмы Пруткова.

Узнав, что Брюсов чуть ли не оставлен при профессоре В. И. Герье, он решил:

— «Чудак!»

Решил; и — успокоился.

Он знал, что Бугаевы — «хорохоры»: брат Жоржик и брат Володя; он требовал, чтобы мои «чудачества» были бы обоснованны; и — по пунктам: пункт «а», пункт «бэ», пункт «вэ».

В сфере естествознания он принимал мои взгляды; они же — отстой его собственных.

Запомнилось последнее лето в деревне, проведенное с ним, когда уже задыхался он;[14] но сквозь задох детски вперялся в закат; и шептал:

— «Хорошо-с! Рай, Боренька,— сад-с: и только-с! Мы,— раскидывал руки,— в саду-с!»

Такими вставками конкретизировал свои философские тезисы.

Помню ночь; мы — на приступочках террасы, задрав головы к звездам; над головою — звездный поток; он протягивал руки, вырявкивая:

— «Летят Персеиды: из-за Нептуна; в будущем году в эти же дни они будут лететь-с!»[15]

Вдруг замолчал.

Через год я сидел на этих ступеньках; Персеиды летели; я вспомнил слова отца и мысли о том, как мы с ним будем отсюда разглядывать их; отца — не было; в Новодевичьем монастыре[16] поставили новый крест.

Дружбу с ним переживал я, как радость.

В спорах обреталось сближение.

В той же мере я сблизился с матерью; там, где отец отступал от меня, ужасаясь сердцем (и только сердцем), понимала мать, вместе переживая Художественный театр и художников «Мира искусства»; я не без гордости организовывал вкусы матери, подбрасывая Врубеля, Сомова, Левитана, таща на выставки, на драмы Ибсена, Гауптмана; ей читал Метерлинка.

Изумительно, до чего отец и мать в подходах ко мне до конца жизни остались антиподами; отец не доверял литературным вкусам, но поощрял к музыкальным импровизациям, которым я отдавался: тайком от матери; он заставил сыграть ему какую-то дикую композицию; сидел, выпятив ухо:

— «Что ж,— недурно! Сочинение мелодий развивает изобретательность».

У него были странные вкусы; глубина темы не интересовала его; главное, чтоб мелодия вытесняла мелодию; он удивлялся: у музыкантов мало изобретательности; требовал от мелодии переложения и сочетания; раз пущена мелодия, скажем «абвг»,— боже сохрани, если она повторится, пока не исчерпаны модуляции — *бвга, вгаб, гвба* и т. д. Вот если бы музыканта вооружить теорией групп!

— «А вы сами попробуйте»,— язвила мать.

— «Отчего же нет-с!»

И садился, кряхтя, за табурет, и прикладывал нос к пальцу, которым нацеливался на черную косточку (играл одним пальцем); и вдруг бородою кидался на палец; пальцем же галопировал по клавишам:

— «Бам-бам-бам... Вот-с! Да и вот-с: бам-бам».

И с видом победителя оглядывал нас; или он наревывал деритоном собственные арии на собственные стихи:

Афросинья молода,—
Не бранится никогда.

Увидав меня за роялем, он поощрил изобретательность.

Ему не нравились мои стихи, но нравились мои мелодии; тут-то и ополчалась против меня мать, которой нравились стихи, а не мелодии.

— «Нет, знаешь ли,— не расстраивай инструмента; за стеной у Янжулов удивляются: «Кто это у вас там бьет?..»

— «По-моему,— недурно»,— настаивал отец.

— «Много вы понимаете!»[17]

Раз, застигнутый соседкой, я ей сыграл импровизацию.

— «Что за прелесть!» — воскликнула она.

Она призналась матери:

— «Ваш сын прекрасно сочиняет».

Никакого впечатления!

Впоследствии С. И. Танеев, рассматривая мою руку и растягивая ее так и эдак, сказал:

— «Рука музыканта».

Одна из музыкально настроенных барышень усаживала за рояль и требовала, чтобы я брал аккорды:

— «Вы не поэт: композитор, себя не изживший в музыке».

В те годы чувствовал пересечение в себе: стихов, прозы, философии, музыки; знал: одно без другого — изъян; а как совместить полноту — не знал; не выяснилось: кто я? Теоретик, критик-пропагандист, поэт, прозаик, композитор? Какие-то силы толкались в груди, вызывая уверенность, что мне все доступно и что от меня зависит себя образовать; предстоящая судьба виделась клавиатурой, на которой я выбиваю симфонию; думается: генерал-бас, песни жизни есть музыка; не случайно: форма моих первых опытов есть «Симфония».

Пути — путями; но — не до них.

Душа обмирала в переживаниях первой влюбленности; тешила детская окрыленность; я стал ребенком (в детстве им не был); встреча с «дамой» ужаснула бы меня: пафос дистанции увеличивал чувство к даме; она стала мне «Дамой».

«Беатриче»,— говорил я себе; а что дама — большая и плотная, вызывающая удивление у москвичей,— этого не хотел я знать, имея дело с ее воздушной тенью, проецированной на зарю и дающей мне подгляд в поэзию Фета, Гете, Данте, Владимира Соловьева; «дама» инспирировала; чего больше? [18]

Я нес влюбленность и радовался сознанию, позволяющему отделить «натуру» от символа.

Я восхищался стихотворением Фета «Соловей и роза»: соловей и роза любят друг друга; когда поет соловей, роза спит; когда раскрывается роза, соловья не слышно.

Знал: хитрый Михаил Сергеевич Соловьев, с добродушной улыбкой выслушивающий мои ораторствования о поэзии Фета, о «Песни песней», о Суламифь;[19] и даже о премудрости мировой души. Ему рассказал его сын, Сережа, сам по уши влюбленный в арсеньевскую гимназистку[20] и проливавший в подъезде, где жила «она», флаконы духов; был налет «мистики» в нашем чувстве от детской, невинной глупости.

Подчеркиваю: в январе 1901 года заложена опасная в нас «мистическая» петарда, породившая столькие кривотолки о «Прекрасной Даме»; корень ее в том, что в январе 1901 года Боря Бугаев и Сережа Соловьев, влюбленные в светскую львицу и в арсеньевскую гимназистку, плюс Саша Блок, влюбленный в дочь Менделеева, записали «мистические» стихи и почувствовали интерес к любовной поэзии Гете, Лермонтова, Петрарки, Данте; историко-литературный жаргон — покров стыдливости[21].

Читатель, не представляй меня помесью романтика с резонером; в тот год во мне не было ничего упадочного; заскоки фантазии — избыток сил, остающийся от чтения, споров, лабораторных занятий, писания кандидатского сочинения; и — многого прочего; за четыре года прохождения университетского курса ни разу я не болел, если не считать пореза скальпелем, которым вскрывал труп (легчайшее заражение, вышедшее нарывами); мускулы были упруги; ловкости хоть отбавляй; в беге никто не мог обогнать; в прыганьи тоже; я укреплялся верховою ездой, купаньем и солнечным прожаром; и правил тройкой вместо кучера.

Угрюмый в гимназии, в университете я — весел, строю шаржи с Владимировым, со студентом Ивановым, сею пожарной кишкою, бившей гротесками; когда мы с грохотом выбрасывались на крышу из окон лаборатории, начиналось лазанье по карнизу и по перилам: со стаканом чаю на голове (мой номер).

Я появлялся в обществе, где музицировали и пели; меня выбирали распорядителем на концертах; между писанием и теоретизированием я находил время распространять билеты, благодарить Никиша и Ван-Зандт;[22] были слабости: к хорошо сшитой одежде; но стиль «белоподкладочника» был ненавистен; раз кто-то сказал:

— «Белый ходит с Кантом».

Разумелся философ: Иммануил Кант; было понято: — «белый кант» студенческого сюртука, которым шиковали дурного тона студенческие франты; каламбур характерен для мозгов мещан: в этих мозгах превращалось хождение Белого с Кантом (книгою Канта) в «белый кант» сюртука; однажды меня пустили без одежд, но в маске по собственной вилле, которой не было,— кончики языков модернистических дамочек и роговые очки кавалеров: от желтой прессы.

— «Как, вы есть Белый! — воскликнул глупый присяжный поверенный, встретив меня за обедом у И. К. [23]. — Вы так скромны!»

Он думал: моя программа-минимум — битье зеркал.

И я решительно разочаровал Дягилева, познакомясь с ним осенью 1902 года; Дягилев жаловался на меня Мережковскому:

— «Я познакомился с Белым... Я думал, что он запроповедует что-нибудь, а он — ничего!»

Дягилеву хотелось видеть меня юродивым; его оскорбил мой вид студента, любящего поговорить о... Менделееве; внутренняя жизнь — одна; вид — другое; вид был выдержанный; недаром профессора проспали нарождение декадента; он сидел в месте сердца, пока рука студента подавала приличные «рефератики», вызывавшие приличные надежды в приличном обществе.

КРУЖОК ВЛАДИМИРОВЫХ

Прорвавши кордон из профессоров, к нам являются новые люди; и эти люди ходят — ко мне.

Я переживаю приятное знание, что ко мне, к Петровскому, к Владимирову прислушиваются; квартира Владимировых — эмбрион салона; чайный стол М. С. Соловьева — эмбрион академии, в которой родители моего друга Сережи и я с другом, различаясь в возрасте,— заседающий центр, где, себя ища, начинаем законодательствовать; непонимающие не фыркают, как студент Воронков (ныне профессор) во время моих занятий: по остеологии.

— «Когда говорит Бугаев,— не понимаю: точно китайский!»

Отныне «язык» мой принят в кучке, добровольно пришедшей к нам из других обществ, где выражаются понятно, но скучно.

До 1901 года мой разговор с друзьями — разговор с глазу на глаз; происходит он — в университетском коридоре, под открытым небом: в Кремле, на Арбате, в Новодевичьем монастыре или на лавочке Пречистенского бульвара; я — перипатетик[24], развиваю походя свою философию жизни; поднимая руку над кремлевской стеной, я клянусь Ибсеном и Ницше, что от быта не останется камня на камне.

Раз я свергаю с перил моста в желтые воды Москвы-реки только что вышедшую «Книгу раздумий» со стихами Брюсова, Курсинского, Бальмонта и Модеста Дурнова[25]. Как был сконфужен года через полтора, когда выслушал от Брюсова:

— «За что вы гневаетесь на «Книгу раздумий», Борис Николаевич?»

— «Я?»

И Брюсов с улыбкой докладывает:

— «Вы же ее свергли в воду с Каменного моста?»

Соловьевы передали Брюсову жест, означавший: уничтожение декадентства для символизма.

— «Свергал, Валерий Яковлевич,— был грех»[26].

Иногда прогулки вдвоем-втроем увенчивались восхождением на Иванову колокольню; я становился на перила испытать головокружение, называемое мною чувством Сольнеса — строителя башни из драмы Ибсена[27].

Я себя приучал к высоте.

Из этого явствует: как-то сразу я стал самоуверенным юношей.

Мой «китайский» язык оказался не так уж «китаечен»; на нем отчасти объяснялись и в кружке Станкевича;[28] нечто от философской витиеватости — старинной, московской — было ведь и в моих речах: реминисценция сороковых годов, студенту Воронкову неведомых.

В другом отношении «китайщина» нашего языка — сгущенность метафор, афористичность и тенденция к остраннению; оправдывая право на афоризм,— скажу более,— футуризм выражений (до футуризма), я ввожу в речь рискованные уподобления, за которые мне потом влетело от критики.

Лишь в кругу близких для каламбура, а не печатного слова [29] я запрыгивал и в лексикон Хлебникова.

Михаил Сергеевич Соловьев в предсмертном бреду бормотал:

— «На окне стоит красный цветок; Боря прямо сказал бы: «бум».

В ассоциациях бреда М. С. выразил стиль отношения к моим заумным заскокам; я доказывал: слово «кукла» состоит из двух жестов, которые я производил руками: *«кук»* — руки, соединяясь острым углом, пыряют ладонями пространство; *«ла»* — округлое движение разъединившихся рук.

Понятие «звуковая метафора» еще не известно; но, опираясь на аналогии ощущений, я изощрялся в звуковых прозвищах и доказывал, что прозвище, данное другу, *«кивый»* бутик», в слове «кивый» отмечает иронию, которой болен мой друг; в существительном «бутик» — звуковая живопись детской доверчивости.

— «Они — идиоты!» — воскликнули б иные из мещан, услышав, как мы отдавались шаржам словосочетаний.

Но если бы мне бросили в лицо, что я «брежу», претрезво заговорил бы о трудах профессоров Грубера и Вундта, вскрывавших аналогии ощущений; это вовсе не означало моего согласия с Вундтом, а лишь указывало на то, что и почтенные профессора уделяли внимание проблемам «декадентов».

— «В этом безумии есть нечто систематическое»,— должен был бы сказать мещанин, почтенных профессоров не читавший и декадентов ругавший.

Уж и мстил мне мещанин за непонимание шаржей и за «философские» комментарии к ним: мстил в годах; и месть мещанина прожалила десятилетие.

Состав кружка «аргонавтов», в те годы студентов,— незауряден[30].

В. В. Владимиров — умница с мыслями: он исходил Мурман в целях научного изучения одежды; художник, штудировавший по Гильдебрандту проблему формы, читавший Дарвина, посетитель лекций, концертов, театров, хозяин, группировавший вокруг себя, человек очень трезвый, мужественно несший жизненные бремена, фантазер и весельчак; не слишком много водилось художников с высшим образованием, соединяющих ремесло с чтеньем Оствальда и Дарвина.

Соединяла нас память об отсиживании в одном классе уроков Павликовского. Гнусливый крик латиниста-тирана:

— «Бугаев, Владимиров,— я вас попрошу вон... Янчин...»

Соединяла память о подносящих нас к романтизму Жуковского рыканиях Л. И. Поливанова; соединяли сто-

яния перед полотнами Нестерова в «Третьяковке» *, когда мы, воспользовавшись пустым часом в гимназии, драли с Пречистенки в Лаврушинский переулок, чтобы поделиться мыслями о «чахлых» нестеровских березках. Соединяли прогулки по Кремлю, разглядывание башенок.

Соединило по-новому естествознание: посещение «парницы» Анучина; в будущем — соединила жизнь.

И остались в памяти незабываемые беседы в Мюнхене[31],— перед старыми мастерами — Грюневальдом, Вольгемутом, Дюрером, Кранахом, где Владимиров прочитывал мне лекции об отличии перспективы у итальянцев и немцев; лекции переходили в демонстрацию, ибо Грюневальд висел — под носом; итальянцы же висели через залу; мы выходили из Старой Пинакотеки и шли коротать день в золото листьев Английского парка, а вечером вместе посиживали в кабачке «Симплициссимус», изучая чудачества Шолома Аша, бас пролетарского поэта, Людвига Шарфа, и постный нос, торчавший из-за копны волос, Мюзама, анархиста, будущего деятеля эпохи советов в Баварии.

Гимназическая пара, Владимиров и Бугаев, в университете, став тройкой,— Владимиров — Петровский — Бугаев,— к 1901 году стала и центром стягивающегося кружка.

И А. П. Печковский возникает четвертым между нами. Печковский, студент-органик, высокий, стройный, бледный, с небольшой русой бородкой и большими голубыми глазами,— тихий, добрый, мечтательный и застенчивый (из-за глуховатости), как-то самопроизвольно возник рядом; где обсуждались проблемы литературного письма, там поднимался его уверенный в себе голос; и он, о чем бы речь ни зашла, высказывал тонкие, умные суждения; не успевал еще выйти на рынок немецкий перевод последней повести Гамсуна или Стриндберга, а уж Печковский, ее проштудировав, обстоятельно нам докладывал; он был в курсе проблем и «Мира искусства», и «Скорпиона», и английского журнала «Студио», и немецкого «Блеттер фюр ди Кунст»;[32] ему стал я прочитывать рукописные стихотворения Блока в химической чайной; и он стал «блокистом» за много лет до моды на Блока.

Естественно появился он у Владимирова, у меня; мы считали его в «аргонавтах»; развивающаяся глухота во многом закупорила его; он глухо замкнулся, что-то переводил, переживал какие-то трагедии, исчезая надолго

* Картинная галерея.

и вновь появляясь; с его взволнованных губ срывались тихие речи о внутреннем покое, о Рейсбруке:[33] и — незаметно след его на моем горизонте потух; он, как тихая звездочка, беззвучно выкатился из нашего зодиака, слетая в свою, ему ведомую тьму (для него, быть может, и свет), никого не оповестив о своих падениях иль достижениях; никого не обидел, ничто не нарушил, многим оказал услугу; и — ушел.

Память с благодарностью останавливается на этом добром, благородном, чутком, начитанном молодом человеке.

Не он внешне блистал среди нас, а Лев Львович Кобылинский, в те же годы примкнувший к нам и ставший душою кружка;[34] он был и литературно и социологически образован; изумительный импровизатор и мим, он превращал то в фейерверк, то в лекции, то в вечера *«смеха и забавы»* наши «аргонавтические» воскресники; на него приглашали посторонних, как на... Патти.

Или: С. М. Соловьев, гимназист шестого класса, удивляющий Брюсова, юный поэт, философ, богослов, тоже не лезущий в карман за словом, а подчас откалывающий такие штуки, что старики и старушки надрывали животики.

Или: А. С. Петровский, дельный химик с резко выраженными интересами к проблемам научной методологии, читавший и Аполлона Григорьева и Розанова, которого «Легенду о великом инквизиторе»[35] он мне подсунул, — юноша, высказывавший тончайшие истины, тогда новые, о Лермонтове, Соловьеве, интересовавшийся еврейским языком и т. д.; опять-таки он был уникумом.

Или: А. С. Челищев, студент-математик, ученик консерватории, композитор, высокий, стройный, тонкий, умеющий при случае и осмеять; зазвав к себе, он умел приподнять маску весельчака и в беседе коснуться крайних вопросов: о смысле жизни; и потом, сев за рояль, сыграть балладу Шопена; это был увлекатель сердец; он же — беспощадный осмеятель... с ядом;[36] он мог быть зол, остр, груб... до беспощадности; но жало прятал в обличие болтуна-музыканта; он заговаривал на тему о высшей математике; в нем было что-то и от героя, которого силился изобразить Пшибышевский.

Пленил отца, очаровал мать и меня при первом же появлении у нас в доме; пленял всех, когда являлся; наедине был угрюм;[37] позднее я в нем натолкнулся на эгоизм; но он умел скрыть дефекты и быть гвоздем: любого журфикса; у нас он был не соло, а рядовым; его яркость в обрамлении Эллиса, Соловьева, Владимирова не казалась яркой.

— «А у вас интересно»,— говорили не раз случайные посетители моих воскресений 1903—1904 годов; эти случайные посетители были гостями матери; и иные из них были некогда посетителями отцовских журфиксов; но они постепенно притянулись к нам.

И бурное веселье царило на собраниях у В. В. Владимирова, куда попадали вместе с молодежью и знакомые матери моего друга, и просто случайные посетители.

Попавшие просились бывать; аргонавтический центр обрастал партером из приходивших на Эллиса, Челищева, Эртеля; спор, стихи, чередующиеся с эскападами Челищева и Эллиса, великолепное исполнение романсов Глинки А. В. Владимировой,— все являло комедию «Дэль артэ», необычайную в среде, где журфикс — законом положенные часы для совместного изживания скуки.

А С. Л. Иванов — умница, с наукой в груди, с интересами к педагогике; не сухарь, а каламбурист, подхватывающий дичь и раздувающий ее до балаганного гроха; в перце его жил Раблэ, поданный под соусом Эдгара По, которого он вряд ли читал, отдавая свободное время науке; высокий, шест с набалдашником, вооруженным очками, бледный, худой, угловатый, произносящий с невозмутимой серьезностью вещи, от которых бы пал и слон.

Не забуду его «галопа кентавра» мимо стен Девичьего монастыря — к прудику: руки — в боки, глаза навыкате, щеки — пузырем; черная морщинка, перерезающая лоб: точно спешит на кафедру; «ученый муж»— инсценировщик моих стихов о кентаврах; мы их разыгрывали в подмосковных полях по предложению С. Л. Иванова с таким тщанием, точно кентавр — биологическая разновидность, которого костяк поставлен в Зоологическом музее; юмор его — внесение докторальности и критической трезвости в чушь; и чем она чудовищней, тем проще, доричней говорил о ней С. Л. Иванов; так дело обстояло и с кентавром: и «кентавр» в исполнении Иванова был тем именно, который вам хорошо известен: по полотнам Штука.

В. В. Владимиров, питавший слабость к Иванову, загогтав, расправив бороду, пускался, бывало, за ним вскачь по направлению к Воробьевым горам.

А молчаливый, с виду сухой, рассудительный, будущий преподаватель математики Д. И. Янчин (сын известного педагога)! Он резонировал чуткостью; этим резонансом стал нам необходим.

А Н. М. Малафеев, из крестьян, воловьими усилиями умственных мышц, без образовательного ценза пробив-

шийся к проблемам высшей культуры, крепыш с норовом, являющий в капризах крепкого нрава сочетание из Гогена с Уитманом на русский лад, народник, умеющий показать Глеба Успенского, умеющий нас привести к сознанию, что и Златовратский — художник. С умом, с тактом вводил Михайловского, Писарева и Чернышевского в темы «сегодня»; не вылезал из нужды; под градом ударов бился за право окончить медицинский факультет и уехать в деревню: служить народу; эту программу он выполнил; след его погас для меня где-то в глуши; вижу его, как наяву: высокий, широкоплечий, кряжистый, с каштаново-рыжавою бородой, с лысинкой; косился на всякого «нового», попадающего в наш круг; не выносил позы; отдаленный привкус дэндизма приводил его в бешенство; он был культурником-демократом, не переносящим «барича»; старше многих из нас, он был всех проницательней в просто жизни; ощупав в ком-нибудь уязвимую пяту, выходил из угла; вытянув большелобую, упрямую голову, грубо раздавливал им испытуемую пяту своими дырявыми сапожищами.

А когда я начинал доказывать что-либо ему неясное и он чувствовал в этом опасность для устоев своего народничества, он, не вступая в разговор, хмурился, дергал плечами; не выдержав, влетал в разговор, разбивая дуэт — в трио; волнуясь и заикаясь, он выдвигал всегда интересные свои доводы.

Я любил разговоры с ним; он разговаривал, чтобы добиться, разобрать по косточкам, чтобы честно отказаться от своего мнения или заставить это же проделать противника.

Беседы с Малафеевым давали: и мне и ему; в наших отказах от заблуждений, в усилиях друг друга понять — чувствовалось движенье.

Я любил его наблюдать в иные минуты.

В 1902—1905 годах он постоянно оспаривал нас, символистов, борясь с налетами декадентства и с буржуазной культурой; сам он чутко воспринимал символизм и утонченность стиля, и ядреную колкость фразы; но он подчеркивал: достижения наши останутся бирюльками, если мы не вернем народу того, что народ нам дал в виде прав на культуру. Чувствовалась строгость и требовательность в самой его дружбе к нам: эта дружба была испытующей, проверяющей.

От всякой маниловщины тошнило его.

А когда доходило до игр и забав, то Н. М., старший средь нас, много пострадавший в жизни муж, с невероят-

ным подъемом грохал хохотом, составляя пару с Ивановым; и если последний жив в воображении «кентавром», то из гротесков Н. М. высовывался «леший»; неподражаемо он исполнял им придуманный в соответствии с моим «козловаком» собственный танец, им названный «травушка-муравушка»; грохом каблуков и ором он вызывал оторопь.

Малафеев влиял на «символиста» во мне, доказывая с книгами в руках, что Чехов более символист в моем смысле, чем Метерлинк; он вызвал во мне статью «Ибсен и Достоевский», в которой я выдвигаю тезис: [38] лучше падение с вершин Рубека и Сольнеса, чем пьяная мистика Карамазовых[39].

Поминая иных друзей из состава кружка молодежи, сгруппированного в 1903 году около Владимирова,— кружка, в котором давали тон студенты естественники и математики, я поминаю не деятелей литературы, а — закваску, на которой всходили во мне мысли о символизме; наш кружок излучал атмосферу исканий, ниоткуда не вывозя идей и не спрашивая, что думает в парижском кафе Жан Мореас, как отнесся бы к нам Гурмон и чем занимались молодые люди при Стефане Георге;[40] мы не считали себя символистами от Берлина, Парижа или Брюсселя; и в этой непредвзятости от канонов символизма — увы!— уже звучавших в «Скорпионе», которого хвост едва начинал просовываться в нашу среду, я вижу силу того не отложившегося в канонах литературы «аргонавтизма», которого девиз был — везде и нигде, сегодня — здесь, а завтра — там; сегодня палатка — у Владимировых, завтра — две палатки: у них, у меня; потом — четыре палатки: у меня, у них, у Астрова, в «Доме песни», чтобы в 1907 году не иметь нигде пристанища, но иметь энное количество ячеек: и в «Весах», и в «Доме песни», и в Религиозно-философском обществе, и в «Свободной эстетике», и в «Художественном кружке»; все это — острова, а «Арго» плавает между ними.

При встречах с литераторами того времени, выступавшими от литературных штампов, я испытывал смесь конфуза и гордости: конфуза перед Максимилианом Шиком, явившимся от Георге[41], из недр германского модернизма, носившего пробор с «шиком», монокль с «шиком», читавшего стихи с «шиком»; я чувствовал себя бедным провинциалом, москвичом, которого ногу замуровали в лакированный, берлинский ботинок,— с лаком и с «шиком»; и ботинок мне узок: жмет ногу; и я, сидя с Шиком, мор-

щусь от невыносимой боли, испытывая узость, сжатость, стиснутость: не так повернулся, не по Стефану Георге, уронил достоинство поэта-жреца, не так потянул из соломинки, и... соскучился с шикарным Шиком из Берлина по проблемам культуры, по... не шикарному Малафееву, по Петровскому, с уютом носящему протертый картузик, принявший форму «утки»[42].

Все, что писал в эпоху 1903—1910 годов, писал, разумея не себя, а «мы» коллектива, участники которого не были, так сказать, «прописаны ни в одной группировке»: от символизма; многие удивились бы, прочтя эти строки:

— «Как, я был... символистом?»

— «Да, товарищ, в моем сознании вы были им!»

Петровский — музеевед, переводчик; Малафеев — врач; Д. И. Янчин — преподаватель математики, покойный Челищев был музыкантом и математиком; Печковский — переводчиком; С. Л. Иванов — ныне профессор; имена их не гремят в истории новейшей русской литературы; между тем: именно эти имена звучат мне, когда я вспоминаю путешествие в страну символизма, совершенное в юности на «Арго», который бил где-то золотыми крылами;[43] и этот бой отразился мне боем сердца; с 1901 года я уже имею встречи: с Брюсовым, Бальмонтом, Максимилианом Волошиным;[44] не они сделали символистом меня.

Оформление не всегда соответствует становлению; об «оформителях» символизма читайте в «Энциклопедии»; Пиксанов вам покажет, где раки зимуют;[45] и там вы не встретите мною перечисленных лиц; явление, отпрепарированное «историком», ложится в страницу книги одной плоскостною проекцией; где — третье измерение, которому имя — «жизнь»? Литературные веяния в такой истории литературы — не «веют». Они там столь же похожи на самих себя, сколько похожа схема статистического сектора распространения, скажем, роз на... цветок розы.

Мой «Станкевич» — веявшая мне атмосфера культурной лаборатории кружка «аргонавтов», эмбрион которого — студенческий кружок; и первый сборный пункт этого кружка — квартира Владимировых, где серьезные мысли вырастали из шуток, умеряемых звуками рояля, за который садился Челищев; пленительный голосок А. В. Владимировой интерпретировал Глинку, Грига и Шумана.

Условлюсь с читателем: мои воспоминания посвящены не столько людям, чья жизнь поместилась на книжную полку в виде «собрания сочинений», сколько становлению

устремлений, воодушевляющих нас к ошибкам и достижениям; а эти влияния — газообразные выделения химического процесса, возникавшего от пересечения, столкновения и сочетания людей, отплывших каждый на собственной шлюпке от старого материка, охваченного землетрясением, и выброшенных на берег неизвестной земли для решения вопроса, Индия она иль... Америка; жизнь вместе этих колонистов, подчас вынужденная, провела черту в биографии каждого; каждый из нас — человек с двойной жизнью; жизнь «до» и жизнь «после» отплытия имеет разную судьбу; бывший завоеватель в условиях иного быта может стать поваром; бывший повар — завоевателем; экономист в новых условиях начинал мечтать о голубом цветке; а вчерашний мечтатель — звать к изучению экономики; иногда перемена профессий обнаруживала дарование; иногда — топила когда-то бывший дар; не судите нас по наружности: прогремевший на всю Европу Мережковский — жалкий повар литературной стряпни; а в безвестность исчезнувший Э. К. Метнер, завоеватель новых путей, занимается, кажется, скромной профессией редакционного техника при каком-то цюрихском издательстве [46]. Перепутаны все рельефы.

Вспомните диккенсовского мистера Микобера, игравшего в Лондоне глупую роль кандидата на койку в долговой тюрьме и потом прекрасно возблиставшего в Австралии[47]. В судьбе каждого литературного «героя» есть что-то от Микобера; его деяния надо приписывать не ему, а его питавшему коллективу; мы все еще интересуемся так называемыми известностями, хотя знаем, что они созданы средой, в последнем счете ближайшим обстанием; а мы вырезаем фигурку, поданную в композиции фигур и понятную только в ней[48].

ВЕСНА

Весна, или — подготовление к экзамену!

Весна 1902 года свободна: при переходе с третьего на четвертый курс экзамены заменяли зачеты; я сдал их; отец уехал председателем экзаменационной комиссии в Петербург; мать — в деревню; май: я один; пустая квартира: разит нафталином; чехлы, занавешенные зеркала, самовар, допевающий песню; высунется глуховатая Дарья, кухарка, мой спутник[49], и — пропадет; квартира переполнена мыслями.

Мережковский, Ницше, Розанов, Врубель, Лермонтов роились в чехлах; Лермонтова углублял Петровский, переплетая с Врубелем; Лермонтов открылся впервые;[50] разумеется, что его я прежде читал; но «открытие», о котором говорю, не имеет отношения к знанию; «открытие» в том, что смысл образов, кажущихся исчерпанными,— вдруг открытая дверь; уловлена тьма; пестрядь слов, образов, красок оказывается прохватом всей глуби смысла; как если бы читали глазами петит, а он бы стал интонировать.

Встреча с поэзией Фета — весна 1898 года;[51] место: вершина березы над прудом: в Дедове; книга Фета — в руках; ветер, качая ветки, связался с ритмами строк, заговоривших впервые.

Встреча с Тютчевым — лето 1904 года;[52] душные, грозовые дни, тусклые вечера, переполненные зарницами; башни облаков, вычерченные вспышкой над липами; дума о титанах, поднимающих тучи на Зевса; мысль Ницше и Роде навеяла мне статью «Маски»;[53] и я представил древнего грека, но перенесшегося в наши дни.

Беру Тютчева, открываю, читаю:

Темнеет ночь, как хаос на водах.
Беспамятство, как Атлас, давит сушу[54].

Тютчев мне распахнулся в двух строчках, как облако молнией.

Встреча с Боратынским: квартирочка Брюсова; белые — стены; и — черное пятно: сюртук Брюсова; он, подрожав ресницами:

— «Я вам прочту!»

Ощупью выщипнул из полки старое издание стихов Боратынского.

На что вы, дни? Юдольный мир явленья
Свои не изменит.
Все — ведомы... И только повторенья
Грядущее сулит[55].

Боратынский — открытая книга!

Весна 1902 года посвящена Лермонтову; место: балкончик, повисший над Арбатом, с угла Денежного; красный закат над розовым домом Старицкого,— что напротив; облачка над ним; под ногами пустеющий тротуар, конка (трамвай не бегал).

Нет, не тебя так пылко я люблю...[56]

И тексты, открыв интонации, выплеснулись: прояснять Врубеля, «золотистую лазурь» поэзии Соловьева; Розанов подсказал: звук поэзии — звук песен Истар[57].

Звонок: единственный посетитель квартирки, пахнущей нафталином,— А. С. Петровский: маленький, розоволицый студентик, в картузике, стоптанном, точно башмак, просовываясь за спиной на балкон и пенснэ защипнув на носу, прелукаво посмеивается; видя меня в увлечении Фетом и В. Соловьевым, подкинул Лермонтова и Розанова.

Мы — на балкончике; цепь фонарей зажигается; беседа тех дней: мифы древних; будущее вылетело из них; где вавилонские мифы? Вот в этих чехлах; армянин, пришей ему завитую бороду,— ассириец. Наш поп — породистый Сарданапал; мне Петровский указывает:

— «Вот тема Розанова!»

Розанов — крючник, обхаживающий задворки и вонькие дворики,— чтоб из мусорных ям вытащить... идольчики: бог Молох не в музее, а... в нужнике, в руководстве по половой гигиене; Египты, Ассирии, Персии, сбросив декоративные ризы, пылают мещанским здоровьем, которое Розанов рекомендует как противоядие. С интересом читал статью Розанова «О египетской красоте», напечатанную в «Мире искусства»; Розанов связывает сюжет Достоевского с солнечным мифом Озириса:[58] не ищите Египта в Египте,— в реальном романе; не ищите в музеях богини Истар, а в лермонтовской любовной строчке.

Я и Петровский — противники Розанова; Петровский подчеркивает: ненавидеть — не значит отделаться; так поступал Владимир Соловьев, неудачный высмеиватель Розанова[59], сам «халдей», по Петровскому.

Противников знать полагается: Соловьев же — бьет мимо.

Отсюда и Розанов, мне им подброшенный: я его изучаю. Лермонтова противополагает Пушкину Розанов, видя и в нем переряженного в байронизм халдея;[60] Ассирия Розанову нужна, чтоб поднести современности... культ фаллуса *. Но тот же Лермонтов руководит поэзией Вл. Соловьева; Розанова ненавидевший философ Соловьев, «халдей», внес в христианство парфюмерию розовых масл и амбр Востока (статью Леонтьева «О розовом христианстве» подбросил Петровский мне[61]).

Заря зарею, а нездоровая чувственность[62] — чувственностью.

---

* Фаллус — мужской детородный орган.

Петровский — в те дни дальновиднее всех; он предвычислил диалектику перерождения «храма» в... публичный дом: в душах скольких!

Меня, влюбленного в «даму», гнозис Петровского задевает; я досадую; так Розанов, Вл. Соловьев, Мережковский становятся в нас предметами, которые мы ощупываем, как в полутьме; но без ощупи которых нам обойтись трудно.

Лермонтов — арена борьбы: в него вцепилась романтика Вл. Соловьева;[63] в него, как клещ, впился Розанов: Лермонтов в двойном понимании сам двойной,— образ ножниц, разрезающих души.

Разговоры о ножницах сознания (в связи с Лермонтовым, Мережковским, Розановым, Ницше, Вл. Соловьевым) — беседы мои с Петровским в мае 1902 года, как не похожи они на разговоры с ним в 1899 году (материализм, химия, студенческий журнал, профессор Зограф)! За два года нас выхлестнуло из быта науки.

Вдруг кто-нибудь из нас предлагает:

— «Идем к Владимировым!»

И мы пересекаем пахнущие сиренями переулки: Денежный, Глазовский; вот — угловой дом с колоннами, принадлежащий Морозову;[64] рядом — глядящие на Смоленский бульвар ворота дома, куда проходим; в глубине двора, из первого этажа яркий свет, откуда — пение, всплески рояля, взгрох хохота: бородатого Малафеева и Владимирова; там — мое общество: математик Янчин, милые сестры, умная гостеприимная мать (тоже «молодежь»), два Челищева: носатый, черный, басище, от которого разрываются стены; и Александр Сергеевич, математик, композитор, болтун, шармер, шалун[65], умник.

Челищев — некогда ученик отца; мне расточает он комплименты, восхищается лекциями отца.

В веселой квартире предмет острых разговоров с Петровским превращается в легкие щелки слов: шутка Челищева, гогот Владимирова, колокольчики голосочка его сестры; звук романса: «Как сладко с тобою мне быть»[66].

Весной 1902 года каждый вечер бежал к Владимировым; заходы длились года; в 1902 к В. В.— тянуло особенно: наш выход в свет — совпал в днях; в начале апреля вышла моя «Симфония», в начале апреля открылась выставка «Московских художников»[67], организованная Мешковым, учителем Владимирова; на выставке оказались две картины его; в первый же день они были проданы; успех его молодил; оба полные сил, мы с В. В. были гармоничною парой; В. В.— уютный, добрый, сложный в пере-

живаниях, простой в жизни; посиды с ним — отдых: не разговор,— переброс шуток; не сидение,— привал на диване, на подоконнике; думалось вслух; он, перепачканный красками, внимая мне, пересыпал слова шаржем каламбура, после которого мы, схватясь за бока, заливались хохотом; и тут же кисть его бросала в альбом свои пятна; я с удивлением разглядывал, как броски слагали сюжетные авантюры; зовут к чаю; разговор — не окончен, а эскиз вылез из пятен: леший, боярин или Заратустра (талантливая импровизация к Ницше), просто закатная лужа, играющая отсверками; альбом этюдов вызвал восторг. Кончит, моет руки, перепачканные краскою, поворачивая румяное, бородатое, доброе лицо.

Квартира Владимировых соединяла молодежь; мои воскресенья временно стали центром идейной платформы «аргонавтов»; они возникли немного позднее: беседы там превращались в рефераты с прениями.

Мои воскресенья — вечера встреч, тактических соглашений, споров; собрания у Владимировых — питающий жизненный сок: чай с музыкой, без «старших».

Умный уют, строгое благодушие вносил В. В.; к нему шли и те, кто нас ругали; кружок «аргонавтов» позднее притягивал самым подбором людей, вопреки их литературному весу притягивал и далеких, критиковавших нас; профессор Шамбинаго, композитор Василенко, пианист Буюкли, кантианец Б. А. Фохт являлись к Владимировым[68].

Отношение к посетителям со стороны: «Не любо, не слушай, а врать не мешай»[69].

Что-то было у нас, что тянуло к нам посторонних: привлекало редкое сочетание устремлений, увязка интересов.

Тема увязки жила проблемою символизма во мне; и предполагала наличие гибкости, простертости вне себя: к социальному такту.

СТУДЕНТ КОБЫЛИНСКИЙ

Останавливаюсь на Владимировых: они — центр *номер два* (для меня); центр *номер один* — квартира Соловьевых (Ольга Михайловна, Михаил Сергеевич); у Соловьевых, у Владимировых, в университете (потом у Метнеров и Рачинских) завязывались новые связи с людьми, определившими мне стиль целого семилетия, т. е. эпохи 1901—1908 годов.

Таково знакомство с братьями Кобылинскими, Сергеем Львовичем, студентом-философом, и Львом Львовичем, образованным экономистом[70], студентом четвертого курса юридического факультета, однокурсником профессора Дена (одно время); в 1902 году Лев Кобылинский окончил университет; он был оставлен профессором Озеровым, очень любившим «беспардонного» Левушку: для подготовления к научной карьере; в эпоху первых моих встреч с Кобылинским он собирал еще материалы для своей диссертации, кажется, о Канкрине (но уже механически); скоро диссертация полетела к черту; и «молодой ученый» переметнулся в поэзию; уже в первых разговорах с ним я удивился, что думы о социальном вопросе перебивались в нем взрывами цитат из итальянского поэта Стеккетти; скоро все заслонил Бодлер; Озеров плакался: талантливый экономист погиб для науки.

В 1901 году считалось: братья Кобылинские блещут талантами; им-де предстоит профессура; меня издали интересовал брат Лев.

Весть о нем принес мой друг, гимназист шестого класса, Сережа Соловьев, только что встретившийся с Кобылинским в квартире протоиерея Маркова, с сыном которого, Колей Марковым, он дружил с детства, играя на дворе церкви Троицы, что на Арбате (наша приходская церковь); В. С. Марков, некогда наш священник, меня крестил; и лет шестнадцать являлся с крестом: на Рождестве и на Пасхе; Марков тоже «гремел» среди старых святош нашего прихода *, но отнюдь не талантами,— мягкими манерами, благообразием, чином ведения церковных служб и приятным, бархатным тембром церковных возгласов; «декоративный батюшка» стяжал популярность;[71] и барыни шушукали: «либеральный» батюшка, «образованный» батюшка, «умница» батюшка; в чем либерализм — никто не знал; в чем образованность — никто не знал; никто не слыхал от него умного слова; но он умел приятно прищуриться, с мягкою мешковатостью потоптаться, уклоняясь от всяких высказываний; считалось: молчание таит ум; академический крестик вещал: образован-де; прищур глаз считался либерализмом; прихожанки были в восторге: тенор «батюшки» так приятно несся из алтаря, борода с серебром так театрально поднималась *горé;* шелковая ряса ласково шелестела; благообразие оценили и свыше, премировав золотою митрой; апофеоз «ба-

* См. о нем в главке «Старый Арбат».

тюшки» — перевод его в Успенский собор: тешить очи царицы в редких ее наездах в Москву; протоиерей Марков мне доказал одно: и у церкви есть свои сладкие тенора, подобные Фигнерам.

Заслуга его: он народил детей, которых либеральная «матушка» к недоумению «батюшки» воспитывала радикалами; один, со склонностью к марксизму, впоследствии стал известным собирателем былин; он скоро умер; [72] а другой, Коля,— рос безбожником.

У «матушки» и у дочек собиралась радикально настроенная молодежь («батюшки» не было видно на этих собраниях); с легкой руки Струве и Туган-Барановского во многих московских квартирах вдруг зачитали рефераты о Марксе, о социализме, об экономике; «модный» профессор Озеров, патрон Кобылинского, казался даже сочувствующим учению Маркса; он освящал эту моду тогдашней Москвы; экономист, ученик Озерова, Лев Кобылинский, с яростью, характеризовавшей все его увлечения, бросался из гостиной в гостиную: с чтением рефератов; и, когда в квартире у Марковых молодежь составила кружок для изучения «Капитала», Кобылинский здесь вынырнул руководителем кружка: он считал марксистом себя, будучи за тридевять земель от Маркса; он считал эрудицию, знание литературы о Марксе и опыт своего чтения «Капитала» за самый настоящий марксизм; теперь вижу, что он марксистом и не был; но нам казался марксистом.

Должен отметить — во-первых: Кобылинский был образован, имел дар слова и дар актера: играть ту или иную роль; и верить при этом, что роль — убеждение; во-вторых: в характеристике Кобылинского я отправляюсь не от сегодняшнего моего отношения к нему, а от юношеских впечатлений; и мне все твердили: «марксист»; и я до 1905 года, эпохи, когда стал читать Маркса, все еще верил в миф о былом «марксизме» Льва Кобылинского; уже с 1903 года он себя называл не иначе как символистом, прибавляя: «Я — бывший марксист»; и вот эта традиция считать его «бывшим марксистом» среди «аргонавтов» в рисуемую мною эпоху (1903—1905 годы) — да не смущает: это значит лишь то, что мы его когда-то считали таким; источник этого недоразумения: он среди нас один знал социологическую литературу (если б этого не было, Озеров не оставил бы при университете его); кроме того, в вихре идейных метаморфоз — экономист-пессимист-бод-

лерист-брюсовец-дантист *-оккультист-штейнерист-католик[73] — оставалось одно неизменным в нем: актер, мим, нечто вроде Чарли Чаплина до Чарли Чаплина; вы, вероятно, видели мима, который, отвернувшись от вас, переменив парик, бороду, попеременно возглашает: «Дарвин, Гладстон, Бисмарк, Гете, Наполеон!» И при каждом повороте вы вскрикиваете: «Вылитый Гладстон, вылитый Наполеон!» Так и Лев Кобылинский: в каждом идейном повороте имел он дар выглядеть «вылитым»; он казался мне и «вылитым» символистом, и «вылитым» монахом; неудивительно, что в эпоху первой с ним встречи казался и «вылитым» марксистом и казался «вылитым» бывшим марксистом в эпоху увлечения Бодлером, в эпоху увлечения Брюсовым.

Он исступленно верил в то, чем казался себе; лишь итог знакомства выявил его до конца: он *никогда не был тем, чем казался себе и нам;* был он лишь мимом; его талант интерферировал искрами гениальности; это выявилось позднее: сперва же он потрясал импровизацией своих кризисов, взлетов, падений; потом потрясал блестящими импровизациями рефератов; поражал эрудицией с налету, поражал даром агитировать в любой роли («марксиста», «бодлериста», сотрудника «Весов» и т. д.); и лишь позднее открылось в нем подлинное амплуа: передразнивать интонации, ужимки, жесты, смешные стороны; своими показами карикатур на Андреева, Брюсова, Иванова, профессора химии Каблукова, профессора Хвостова он укладывал в лоск и стариков и молодежь; в этом и заключалась суть его: заражать показом жеста; он был бы великим артистом, а стал — плохим переводчиком, бездарным поэтом и посредственным публицистом и экс-ом (экс-символист, экс-марксист и т. д.); «бывший человек» для всех течений, в которых он хотел играть видную роль, он проспал свою роль: открыть новую эру мимического искусства.

В эпоху начала знакомства со мной он признавался, что порывает с деятельностью «марксиста»-пропагандиста; скоро он бросил и свою диссертацию, порвал с Озеровым, университетом и перенес арену действий в среду художников и поэтов; но и там он любил назиднуть нас, профанов, своим якобы особенным знанием марксистской методологии; впоследствии, разъясняя мне Маркса, он уверял, что разъясняет его «по-марксистски»; с 1905 года он снабдил меня списками книг, комментировал главу «Капита-

* От Данте.

ла» о прибавочной ценности, потрясая рукою: «Кто правильно понял эту главу, тот овладел мыслью Маркса». Разумеется, мне, очень наивному в проблемах марксистской идеологии, вполне импонировал он во время этих «лекций»; во всех действиях его уже выявился до конца хаотический анархизм, объективный, непереносный (он дезорганизовал все, к чему ни прикасалась его «организаторская» рука), однако я еще верил: поступки одно, а сознание — другое; и внимал с увлечением его лекциям о Лассале, Прудоне, Рикардо и теории Мальтуса; я полагал, что все это преподается им в терминах *эпохи увлечения Марксом*, особенно когда он выступал перед нами с цифрами в руках; мне невдомек было, что выступал мим, в минуты игры начинавший серьезно верить в свои роли; раз, позднее уже, воспламеняясь (это было в эпоху, когда он вообразил себя оккультистом), он с такой потрясающей яркостью изобразил мне жизнь мифической Атлантиды, что меня взяла оторопь.

Эти «мимические» таланты открылись позднее; сперва он явился пред нами в роли трагика-теоретика, «экс»-ученика, простирающего свои руки к поэзии; нам было невдомек, что и эта роль — «роль».

И, вероятно, роль (искренняя) — объяснение его нам несоответствия между фанатиком и надломленным скептиком; он был фанатичен во всех видимых проявлениях; но после воспламенения показывался в нем и скептический хвостик по отношению к предмету культа; иногда я его заставал не верящим ни во что; а через пять минут уже наступал приступ фанатизма; он казнил, сжигал или возводил в перл создания: с необузданным догматизмом. Сам же он проповедовал нам теорию собственного раздвоя, напоминавшую учение о двойной истине;[74] но базировал ее на поэзии соответствия Бодлера: в центре сознания — культ мечты, непереносимой в действительность, которая — падаль-де; она — труп мечты[75].

Помню припев, сопровождавший меня в эпоху, когда я всерьез увлекался социологическими проблемами:

— «Социология для создания, живущего песней,— тюрьма; это — бред; но он проведен с железной логикой; «безумец» не должен иметь никаких касаний к марксизму: пост, видения из экстаза иль гашиша,— все равно; только в видениях — жизнь; «и — нни-каких»,— взлетал надо мной его палец, а красные губы, точно кусаясь и брызжа слюной, прилипали к уху; и, вдруг вспомнив

былого «марксиста», он теребит свою черненькую бородку с видом солидного приват-доцента:

— «Но если уж касаться социальной проблемы, то,— и дьявольский хохот,— извините пожалуйста: нет — не по Бердяеву, не по Булгакову, жалкие путаники! Марксистская логика — железная логика; и нам с тобой надо бежать от нее; остальное — бирюльки!»

Логику ж он в те годы отрицал до конца; и, вопреки лозунгу «бежать», тут же начинал углублять во мне мои «марксистские» интересы подкидом то «Эрфуртской программы» Каутского, то «Нищеты философии» Маркса[76].

Одно время он меня убедил в том, что в то время, когда в одном полушарии мозга его стоит бюст Карла Маркса, в другом вспыхивает видение Данте с мистической розой. Многое он мне в жизни напутал; напутал всем нам; в 1913 году я с ним разорвал[77].

Первая весть о нем — весть об изувере-фанатике, готовом декапитировать всех: во славу Маркса! Эту весть принес Сережа Соловьев, прибежавший от Марковых; Кобылинский привел его в дикий восторг: «Знаешь, Боря, фанатик; а... увлекается Ницше; как-то странно подмигивает, лезет красной губою в лицо и хватает за локоть: «Надо стать сумасшедшими: и — нни-ка-ких!»

Скоро в Художественном театре Сережа толкает меня:

— «Смотри: вот... вот...»

— «Что такое?»

— «Вот Кобылинский».

Смотрю: между публикой мелькает белое, как гипсовая маска, лицо студента, обрамленное черной, как вороново крыло, бородкой; он прижал подбородок к высокому синему воротнику, ныряя в сюртуки белою лысинкой; вдруг мимолетом стрельнули в нас неестественным блеском зеленые его фосфорические глаза: из узких разрезов; а красные губы застыли рассклабленно как-то; вот он с нервными тиками (плечо дергалось), точно в танце, легчайше юркнул мимо нас, сопровождая даму, с которой я потом познакомился (мадам Тамбурер); поразил контраст сюртука с выражением лица, едва ли приличным для обстановки, в которой мелькнуло оно: сюртук — некогда великолепный: надставленные широкие плечи и узкая талия; покрой изысканен; Кобылинский выглядел бы в нем настоящим франтом, если бы не явная поношенность сюртука (видно, таскал бессменно четыре года); в таких сюртуках щеголяли пошлые фаты; лицо — не соответствовало

сюртуку; лицо — истерика, если не сумасшедшего: мертвенная белизна, кровавость губ, фосфорический блеск глаз; такое лицо могло бы принадлежать Савонароле, Равашолю или же... провокатору, если не самому «великому инквизитору».

«Светскость» — сюртук на вешалке!

А что касается «провокатора», то, конечно, фантазии мои разыгрались; не провокатор, а, так сказать, самоспровоцированный, ибо сознание этого чудака никогда не ведало, что разыгрывалось за порогом его до момента, когда в сознание это врывалось что-то ему постороннее; и тогда — трах-тара-рах: сознание «символиста», разрываясь, как бомба, осколками, рушилось ему под ноги.

«Провокатор», сидевший в Эллисе * -«марксисте», устраивал провал Эллису-«марксисту» в пользу Эллиса-«символиста», чтобы через несколько лет провалить и последнего; провоцировал же он и нас — отраженно: скандалы с собственною персоной происходили в нем часто не в уединении, а где-нибудь в шумном обществе; и тогда он ранил нас своими собственными осколками, ранил больно, до желания его побить, до вспышки ярости к нему; но его выручала его же беспомощность; натворив бед себе и другим, он раз пятнадцать погиб бы в настоящем, а не переносном смысле, если бы многочисленные друзья не бросались со всех ног выручать этого беспомощного, безответственного в такие минуты, больного ребенка; так в решительный миг кулаки, над ним занесенные, разжимались; им же оскорбленные люди его же и утешали.

— «Ничего, Лева,— успокойся!»

Он казнился и плакался.

Устраивал скандал за скандалом; очередной скандал кончался истерикой; истерика принимала такие формы, что мы говорили:

— «Тут ему и конец!»

Но «труп» Кобылинского восставал к новой жизненной фазе: из пепла «марксиста» вылетел «феникс» символизма, когда вообразилось ему на моих воскресниках, что пять-шесть дерзких юношей могут разнести символизм по всем российским захолустьям; в конце концов мы с ним расходились даже в понимании символизма; но он тотчас же в кружке «аргонавтов» присвоил себе самочинно роль «агитатора», который в агитацию глубоко не верил; он нам ее, так сказать, «всучил», до сюрприза, до неприятности,

---

* Литературный псевдоним Кобылинского.

навязав на шею глубоко чуждых, явившихся из другого мира ни более ни менее как четырех братьев Астровых: мирового судью, думца, профессора и Владимира Астрова[78], да с женами, да с матерями жен; он заставил нас с год влачить на себе тяжкое инородное тело, пока не выявилась кадетская, и только, сущность четырех братьев, ни аза не понимавших в Бодлере и Брюсове, но из смирения перед Кобылинским протвердивших:

— «Брюсов, Бодлер — Бодлер, Брюсов!»

П. И. Астрова более всего влек священник Григорий Петров; Н. И. Астрова интересовали отчеты городской думы; остальные два брата даже не мымкнули в нашей среде; а между тем: мы полтора года протяготились друг другом; даже сообща издали никчемный сборник: «Свободная совесть» *.

Это одно из насилий, учиненных Львом Кобылинским над всеми нами; насилий не перечислишь; сочинит, бывало, себе перл создания и тотчас примется: насильничать... из любви; ты —«перловый», не смей же тускнеть; сияй, сияй, сияй — во что бы ни стало! Хочешь есть,— скандал: бриллианты не оскверняются пищей; хочешь жениться,— не смей: «бриллиантовые» люди не женятся: они несут в сердце культ —«розы».

Оттого все увлечения Кобылинского тем или другим человеком обрывались внезапно проклятиями по его же адресу; и желанием отмстить за предательство «мечты»; проклинавшийся уже два года Брюсов в 24 часа взлетел на недосягаемый пьедестал. С 1911 года Эллис исчез из России [80] так же алогично, как алогично он некогда, по его словам, «воскрес» в социализме; с 1916 года даже слухи о нем не достигают меня;[81] он, кажется, еще жив, что — означает: ежегодно умирает в одном аспекте, чтобы воскреснуть в другом.

Высокоодаренный мим, сжигающий все дары, в нем живущие, преждевременным воспламенением, вечно бездарный от этого и прозоленный собою, влекущий к дикостям невероятным словесным блеском, внушал он ряду людей нежную жалость к себе; производил штуки, которые для всякого другого кончились бы плачевно; но выручали: то Астровы, то Брюсов, то Штейнер, то какая-то дама из Голландии, то Нилендер, то я, то Сеня Рубанович, то Метнер; выручал рой дам; выручали лица, не имеющие никакого касания ко Льву Кобылинскому.

---

* В 1904 г. [79]

Позднее, знакомясь с воспоминаниями о Бакунине[82], я все не мог понять, почему иные черты в нем мне так знакомы; и вдруг осенило:

«А — Эллис?»

Та же неразбериха: блеск, дар обворожать и что-то отталкивающее; та же неразборчивость в средствах в соединении с героизмом подчас; разумеется: Эллис — не Бакунин; но что-то от личности Бакунина теплилось в нем.

Сюртук, поразивший меня в первой встрече,— портной *плюс* игра в дэнди... по Шарлю Бодлеру; игра длилась недолго; скоро «дэнди» предстал в своем подлинном облике: десятилетие таскался сюртук, пропыленный и выцветший, в обормотках, но — с тонкою талией; десятилетие на голове давился тот же выцветший котелок, надвинутый набок, в сочетании с дьявольской черной бородкой, с приподнятым воротником перетертого пальтеца, с кончиком трости, торчавшим при ухе (засунута тросточка ручкой в карман), с фосфорическим блистанием узких, сдвинутых глаз; котелок издали придавал Кобылинскому вид парижанина.

Подойдя к нему, прохожий бы мог подумать: «парижанин» — приступит с рукою:

«На ночлег благородному!..»

Кобылинский же, выгнув голову, закрутив нервно усик и шею втянув в воротник, несся мимо танцующим шагом; и поражал дергами дрожащего плечика: дергалось, точно прилипая к уху.

О котелке: экспроприаторы-максималисты в 1906 году спали на нем: водился и с ними; трясясь от волнения, тогда меня спрашивал: надо ли им открыть дверь, чтоб очистили помещение богача-лоботряса, которого мать состояла при нем в няньках; разумеется,— на революционные цели:

— «Понимаешь,— ночую в квартире его!»

Я выражал фигуру недоуменья.

— «Иги-иги!» — передергивал он плечом, заливаясь икающим хохотом:

— «Знаю сам, что — безумие!»

Жест Равашоля[83], а все — кончалось историей:

— «Третьего — нет: или — бомба, или — власяница; или — анархизм, или — католицизм»,— развивал он мне, как новый свой лозунг (в тысячный раз): меж миром мечты и действительности нет места; это было в... кабинете Игоря Кистяковского, в 1907 году; икающий, трепаный Эллис, трясущий манжетой (пара резиновых старых манжет промывалась с вечера и надевалась с утра — пять битых лет) над башкой белокурого Кистяковского, Игоря,

глупо выпучивающего свои голубые глаза из тяжелого кресла, обитого крепкою, носорожьею кожею; зрелище единственное в своем роде: хищный хапила, впоследствии прихвостень Скоропадского, тупым голосом соглашался, но поневоле (Эллис мог кого угодно на что угодно принудить: словесно, конечно); «анархист» — загребал миллионы; а Лев — не обедал: неделями!

Парадокс судьбы устраивал встречи; мадам Кистяковская с Муромцевой появлялись у нас; Эллис был моден в те дни: в декадентских салонах; трепаный вид придавал его «номеру» стиль; дамы, осыпанные бриллиантами, слушали Эллиса; Кистяковский, пройдоха, ему не перечил; и соглашался: на бомбы!?! Попробуй-ка быть несогласным: Эллис мгновенно устроит скандал! Коли зовешь на дом дикого, то и терпи, не перечь и выслушивай, как тебе взрывают вселенную.

И Игорь терпел: наскоки на себя невымытой лысинки; мылся же лишь кончик носа: Лев Кобылинский боялся холодной воды, протирая губкою кончик изящного носика, пока Нилендер, студент-филолог, не взял на себя роль питателя и омывателя; у Эллиса было не семь,— семью семь — нянек:

«Дитя» продолжало откалывать штуки; шел гул:

— «Правда,— Эллис остриг космы В. И. Иванову?»

— «Правда ли, что, поступивши в шантан, он нарушил контракт и ушел в монастырь?»

Факт, но... почтенный, известный профессор, позднее *кадэ*, раз, явившися в «Дон», где жил Эллис, найдя его спящим и сев на кровать, разбудил; и — конфузясь, краснея, стал спрашивать:

— «Вы понимаете, Левушка,— я не верю, но... но,— он запнулся,— настолько упорные слухи, что я... пришел; но не думайте, чтобы я верил».

— «В чем дело?»

— «У вас, говорят, так сказать, удлинилась... кость копчиковая: говоря в просторечии,— появился хвостик... Скажите: ведь — вздор? Ну, конечно же, вздор!.. ха-ха-ха!»

Говорили:

«Музей обокрал!»

Описание этого невероятнейшего поклепа, взведенного на Кобылинского,— содержание не этого тома воспоминаний;[84] скажу лишь: участвовали в возведении напраслины: министр Кассо, «Голос Москвы», гучковский орган[85] и... «Русские ведомости».

Прокурор отказался от обвинения: за отсутствием дела; третейский же суд под председательством Муромцева, Лопатина и Тесленко вынес резолюцию, что кражи — не было; была халатность; публика, инспирированная желтой прессой, гудела: «Вор, вор, вор, вор, вор!» Она спутала Эллиса с вырезывателем в музее ценных гравюр (воровство такое имело место; при чем Кобылинский?); а Влас Дорошевич из «Русского слова» в то время, когда несчастного Кобылинского смешивали с грязью, вдруг выступил с фельетоном, призывающим к снисхождению: к «вору», к действительному![86] О Кобылинском — ни звука; защитить неповинного не хотели *газеты.*

В пору первых наших свиданий он жил у матери, Варвары Петровны,— такой же пламенной, худенькой, бледненькой, как и сын; минимум ухода пока еще был в те года: впечатление элегантности сквозь протеры одежд — жест особенного, неуловимого уменья заставить не видеть, в чем он беззаботно расхаживал; представлял кинематограф; умел из платка сделать парус, а из карачек — подпрыгивающую в волнах шхуну; надевши рогожу, он мог бы заставить нас верить, что это есть плащ; вращаясь позднее в салонах обтертым, потрепанным, выглядел он элегантнее фатов, бросая свои обормотки как вызов франтихам, сходящим с ума от него; он умел быть красивым, скрутивши бородку (совсем эспаньолка), поставивши усик торчком; и застег сюртучка, и цветок полувялый, проночевавший в петлице, и поза скучающего дэнди-дьявола, бледность и блеск из разрезов глазных и круги под глазами,— все делало преинтересным его в миг преданья огню и мечу тех салонов, куда зазывали его пышнотелые сорокалетние дамы: себя предавать огню и мечу; Христофорова, Рахманинова, Тамбурер, Муромцева, Кистяковская — слушали; и — угощали дюшесами; а мужья, хмурясь, крякая, с кислой миной любезничали: с анархистом московским.

Первая встреча с ним у профессора Стороженки, которого дочь, ее подруга да несколько в дом вхожих студентов составили осенью 1901 года кружок: для самообразования; весьма неудачно меня пригласили участвовать; и — Кобылинского; мы оба, жаждущие просвещать (я — Верленом и Ибсеном, а Кобылинский — не помню чем), тотчас забрали на первых порах в свои руки кружок;[87] предложил я прочесть реферат; сам почтенный профессор Н. И. Стороженко был вытеснен:

— «Папа, ты будешь мешать!» — ему дочь.

— «Хорошо, хорошо»,— соглашался профессор, а нас, по обычаю, назвал «кургашками»: так он детей называл (мне же шел тогда двадцать второй год, Кобылинскому — двадцать четвертый).

Но скоро профессор тревогу забил: развели декадентство; и он, равновесия ради, подкинул нам книгу Макса Нордау:[88] отреферировать; но под давлением нашим кружок резолюцию вынес:

«Не книга,— а дрянь».

К нам не вхожий профессор задумался тут; и послал молодого еще Мельгунова; завел тот прескучное что-то; и кажется, что-то докладывал о сектантах; состав кружка не возбуждал интереса; мы с Кобылинским исчезли (профессор, наверное, радовался).

Нас кружок этот сблизил; мы сразу в нем точно стакнулись; не будучи лично знакомы, поддерживали: я — его; он — меня; всего несколько разговоров в углу Стороженковой комнаты, несколько притеснений в углу Кобылинским меня (с «понимаете? а-а-а? что-что-что?»),— и уже Кобылинский однажды явился ко мне: звать пройтись; жил он рядом, в одном из Ростовских, вблизи от Плющихи. Двор — скат на Москву-реку, с лавочкой, где мы сидели весной 1902 года. С тех пор послеобеденная прогулка с заходом к нему — обиход моих дней; и отсюда: знакомство с братом Льва, с Сергеем, философом; тот в лоск нас укладывал метафизикой Лотце; брат Лев — ему: «Дрянь». И тут братцы,— блондин и брюнет,— одинаково бледные, одинаково тощие, одинаково исступленные, оскалясь иронией, едкой и злой, норовили вцепиться друг в друга; я знал: коли сцепятся,— будет комок; и ни слов, ни рук, ни ног уже более не различишь ты; одни восклицания: визги Сергея и гамма от баса до дишкантового тремоло Льва, с появлением Варвары Петровны, их матери; не отольешь, опрокинув ушаты воды; эти сцены я знал; и бежал от них с ужасом.

Жили ж они... в одной комнате!

Часто весьма братец Лев попадал в час обеда к нам в дом; начиналось за супом еще его очередное пререкание с моим отцом, очень живо клевавшим на мощный фонтан афоризмов, свергающий то, что отец почитал; например: философию Лейбница; тут же не лысый, румяный профессор-старик с бледно-мертвенным, гологоловым студентом, отбросив салфетки, забывши о супе, ладони в колени к себе, локти — фертом, носами в носы, выгнув спины, прицеливались друг в друга; едко прыскали зеленоватые глазки

студента; и гневно сверкали очковые отблески, из-за которых моргавшие глазки отца плутовато оценивали ситуацию спора; вдруг палец студента летел к потолку; перочинный же ножик профессора, всегда являвшийся из жилета в миг спора (его он подкидывал в воздух и ловко ловил),— перочинный же ножик язвительно тыкался Льву Кобылинскому в нос тупым кончиком; и оба вскакивали, устремлялись друг к другу; и мама салфеткой в стол, я салфеткою в стол:

— «Николай Васильевич!»

— «Папа же!.. Лева!»

— «Позвольте!»

— «Ты, Боря, оставь меня»,— Лев выбарахтывается.

Схватяся руками, друг друга держа, теребя и подталкивая, обрывали друг друга; и слышался рявк угрожающий:

— «Нет-с, как можете вы эдак... Лейбниц! Да Лейбниц громада-с! Он полон, сказать рационально,— возвышенной мудрости».

— «Мир наилучший?.. И стало быть,— наилучшая зубная боль? Городовой наилучший?»

— «Позвольте-с,— вы бросьте-ка пошлости эти и, да-с, да-с, кондачки эти-с,— знаете, бросьте: городовой ни при чем-с!»

— «Нет,— при чем!»

— «Ни при чем-с!»

— «Папа! Лева!»

— «Лев Львович!»

Отец уже пятит усы, ощетинившись ими, как морж; Лев, держа его за руки, дьяволическим хохотом, а не словами — раззадоривает; и уже сплошной гавк отца, как удары тарана, разрезаемые острым визгом, как саблей дамасскою, Льва; друг друга не слушали: себя слушали; и в два голоса, вертясь в углу вкруг друг друга, друг другу кричали, болтаясь локтями: один — за светлейшее, знаете, будущее человека; другой, что мир — падаль.

И долго ходили и фыркали, вдруг расцепясь и выкрикивая свои обращенья — ко мне почему-то:

— «Ты, Боренька, помни: страданья — лишь переход, так сказать, к высшим формам гармонии...» — отец.

— «Помни, что в желтом доме находят убежище лучшие»,— Эллис.

За сладким мирились; а после отец, зацепляясь карманом своей разлетайки за двери и бацая шагом,— к себе,

в кабинет, отдыхать; Кобылинский же — мне, плюясь в ухо и дергаясь плечиком:

— «Я, сказать правду, я... Николая Васильевича понимаю: кричит о гармонии он из надрыва, чтоб перекричать это вот»,— и рукою в окошко: и там, за окошком, внизу вывеска — «Выгодчиков» — колбаса, мясо красное[89].

— «Николай Васильевич безумец!»

«Безумец» же есть комплимент.

Со своей стороны мой отец, отдохнув, за вечерним чаем, раскладывая пасьянс,— неожиданно:

— «Боренька, да-с,— перекладывается с карты карта (на карту),— ну, что говорить: Кобылинский — талантливый юноша! Из всех товарищей твоих он-с наиболее, так сказать...»

Не досказав, что есть «так сказать»,— освирепевши всем видом (всегда свирепел выражением лица, когда речь свою прятал в усы), перекладывал карты.

И — мать:

— «Ну, еще бы!»

Кобылинский, отец воспылали друг к другу — ведь вот — откровенною нежностью; и даже позднее немного столкнулись, союз заключив против... Брюсова: против влияния Брюсова на меня; Кобылинский на том основании, что все эти Бальмонты, Верлены и Брюсовы — жалкие мошки; и, стало быть,— надо давить их, а не разводить, потому что они заслоняют Бодлера; отец же имел основания бояться влияния Брюсова, видя, что я хаживал на журфиксы к последнему: бедный старик еще думал, что я увлекусь напоследок коли не химией («Ведь у Зелинского, у Николая Дмитриевича, в корне взять, заработал»), то хоть... географией, хотя последняя — что за наука-с? Еще не знал он: уже выходила первая моя книга, «Симфония»; будущее мое решено... Вот и думал он: в союзе с блестящим студентом отводить от Брюсова; Кобылинский отцу твердил: Брюсов пишет белиберду; и отец, позабывши о том, как вырявкивал он строчки Брюсова, таял от этого; и соглашался, чтобы не перечить, на веру Бодлера принять; Кобылинский читал ему «Падаль» * в плохом переводе своем;[90] в нем Бодлера и не было; слушал отец; и, улыбку в усы затаив, соглашался:

— «Тут, знаете ли,— мысль: ну, и, так сказать, там...»

Что «так сказать» — неизвестно, но думаю, «так сказать» означало:

---

* Стихотворение Бодлера.

— «Хотя-с...»

— «У Бальмонта же,— переменял разговор он,— не мысль, мой голубчик...»

— «Ерунда»,— предавал Кобылинский меня.

А отец, заручившись сочувствием, преподносил нам полюбившегося ему поэта Мельшина *.

— «Вот у Мельшина!»

И он зачитывал:

Но с поднятым челом и с возгласом «Свобода»...[91]

— «Прекрасно-с: не Брюсов!»

«Подлец» Кобылинский, поддакивая, считал: стихи Мельшина — не конкуренция Шарлю Бодлеру.

Тут — я:

— «Лев, это ж подлог!»

Он на подлог был готов: для Бодлера!

В апреле 1902 года вышла первая моя книга «Симфония»; «Боря» Бугаев испуганно прятался под псевдонимом; книга в кругу знакомых имела успех скандала; Кобылинскому ее не подкидывал я; но он прибежал говорить о ней:

— «Книга написана погибшей душой; писал — безумец; и никаких!» — взлетал палец; и дергалась лысинка; быстро увлек он гулять, в черном старом пальто, но казавшемся легким, изящным, в надвинутом черном, проломленном вбок котелке, передергивая кончиком трости, торчавшим при ухе (ручка палки была засунута рукою в карман), он бежал, меня сталкивая на мостовую:

— «Ужасная, Боря,— надломленность в книге; особенно там, где сказано: «Все кончено для севшего на пол» — ги-ги-и-и-и»,— и тут сел неожиданно он на карачки перед тумбою, изображая философа, изображенного мною,— к недоумению проходящих и к радости дворовых мальчишек; сидел он и склабился; встал, надвинув на лоб котелок; и пустился, держа под пролеткой меня:

— «Цивилизация — храпы мещан: все спят, открыв рты; визионеры, революционеры — погибнут! Ги-ги-ги-и-и! Потому что погибнут все лучшие!»

Он посвятил в свою жизнь меня: как в шестом еще классе себя он веревкою к креслу привязывал по ночам, чтобы не заснуть над изучением экономических книг; как в университете отметил его тотчас Озеров; как задружил он с профессором; как они ночами вместе безумствовали за

---

* Псевдоним «П. Я.».

разговорами; как агитировал он; как был должен он временно скрыться (полиция насторожилась); как... ну,— и так далее; вывод: жизнь — не пересекающиеся параллели; а я возражал: его теория двух миров — просто логическая ошибка; он же искренно заклинал меня: попасть в желтый дом; и этим выправить себе патент на порядочность; я в пылу разговора признался ему, что я автор «Симфонии»; не удивился нисколько он:

— «Я так и думал!»

Прочел «Симфонию» и братец Сергей; и отнесся к ней весьма иронически; вероятно,— подозревал он, что автор — я, потому что раз, выведя меня на двор из своей душной комнатки, где он выкурил без проветра, наверное, пятьдесят папирос, строча десятки страниц кандидатского сочинения о Лотце, он, защурясь от солнца и взяв за рукав, с ироническим благодушием прогудел прямо в ухо:

— «А знаете,— в этой «Симфонии» есть такие фразы; например: солнечные лучи названы «металлическою раскаленностью»[92]. У меня, знаете, тут делается,— показал он на лоб,— «металлическая раскаленность»,— и мертвенно-белое лицо, напоминающее кость, изошло морщинками неврастенического страдания; и я подумал невольно:

«Еще бы не делаться: кандидатское сочинение о Лотце, писанное в таком темпе, доведет и до того, что... сядешь, раскорячась, под стол».

Бедный Сергей: кандидатское сочинение о Лотце не было оценено старым «лешим», Лопатиным; Сергей не был оставлен при университете.

Философ, свихнувшийся на Канте и севший на пол, долго пользовался популярностью среди неокантианцев; и в 16-м году Кубицкий, с которым мы встретились при военном освидетельствовании[93], показывал на голые тела кандидатов на убой; только что бывший сам телом, наклонился ко мне и иронически пробасил:

— «Они *сели на пол*... Помните,— как ваш философ!»[94]

Обиделся на философское *«сиденье на полу»* в те годы — философ Б. А. Фохт.

С весны 1902 года Лев Кобылинский стал своим в нашем доме, своим у Владимировых; он являлся и к Соловьевым; мать моя называла его попросту Левушкой:

— «Левушка,— как же ему не позволить кричать: разве ему закон писан?»

— «Да-с, да-с,— так сказать»,— поддакивал и отец[95].

ЭЛЛИС

Лев стал «Эллисом»; до тринадцатого года он сплетен с моей жизнью.

Видя позднее в удобствах его, говорил себе: «Не типично!» Меблированные комнаты «Дон», те — типичны; они помещались в оливковом доме, поставленном на Сенной площади среди соров и капустных возов; дом стеной выходил на Арбат (против «Аптеки»); другим боком дом глядел на Смоленский бульвар; третьим — в паршивые домики, с чайною: для извозчиков; обедал Лев в трактироподобном ресторанчике для лавочников, под машиной, бабацавшей бубнами «Сон негра»[96], изображаемый Эллисом — лавочникам Сенного ряда; и — нам.

Поссорившись с братцем Сергеем и с матерью, он водворился в «Дону», ячейке «аргонавтизма», с дверью на площадь, с *«добро пожаловать»* всем; люди в рваных пальтишках и без калош: стучали каблуками в пустом «донском» коридоре, прошмыгивали в номер шесть, где в дымах сидели на окнах, в углах, при стенках (на корточках); большинство в пальто, стоя, внимало и пыхало дешевыми папиросами; бывало, разглядываешь: Ахрамович, Русов, Павел Иванович Астров, хромой драматург Полевой (капитан в отставке), Сеня Рубанович (поэт), Шик (поэт), Цветаевы (Марина, Ася)[97], курсистки, заезжий Волошин (с цилиндром)[98], артист, мировой судья, лысый, глухой, завезенный Астровым; среди знакомых — незваные, подобные «черным маскам» Андреева[99], возникшие самопроизвольно: бледные, бедно одетые.

— «Кто?»

— «Не знаю: никогда не видал».

Таких было много; являлись и исчезали — во мглу; среди них были и ценные люди, и угрожающие «субъекты»: с подбитыми глазами, с усами в аршин; они были готовы на все; Эллис передал: с хохотом:

— «Вчера кто-то будит; протираю глаза: на постели юноша, из бывших максималистов, с золотыми часами в руке; спрашивает: «Знаете откуда?» — «Нет». — «Спер у буржуя». Ну, знаешь, я его таки: «Нет, ступайте, не яв-

ляйтесь». А он: «Испугались? Зовете дерзать? Сами буржуй». Я выскочил в одной сорочке и выпроводил».

Комната не запиралась: ни ночью, ни днем; с пяти до пяти Эллиса не было; входили, сидели, высыпались, брали нужную книгу и удалялись; унести было нечего, кроме книжек, взятых Эллисом у знакомых; их и тащили; остальное — рвань; тяжелейший бюст Данте был не спираем.

Не комната, а сквозняк: меж Смоленским рынком и Сенной площадью; в 906 году Эллис жаловался:

— «Сплю в кресле: негде; вхожу — на постели — «товарищ»... спотыкаюсь: на полу, поперек двери,— «товарищ»; так — каждую ночь».

С 1905 года вопреки аполитичности в лысом бодлерианце вспыхнул максимализм; появились старые знакомые эпохи увлечения марксизмом: Череванин, Пигит, К. Б. Розенберг и т. д.; Эллис открыл дверь нелегальным; знакомые приводили знакомых; Пигит циркулировал с браунингами, составляя «аргонавтическую» десятку (перед декабрьским восстанием); комната Эллиса стала почтовой конторой для передачи: сообщение вкладывали в книгу на столе; приходили: прочитывали, отвечали, вкладывали; с Эллисом не считались; о «почте» он сам не знал; наткнулся случайно.

Он устраивал вечера в пользу нелегальных и боевых организаций; сидел в Бутырках; вернулся — поздоровевший:

— «Отдохнул, выспался».

— «Ну, как отсидел?»

— «Было б весело, кабы не смертники; коммуною жили,— а, что? Были старосты, была связь с другими коммунами; как заперли, подошел староста: «Товарищ,— фамилия, партия?» — «Не имею фамилии: Эллис — псевдоним; принадлежу к единственной настоящей партии: к декадентской». Так и прописали на листке... Ты понимаешь? Ги-и... и-и-и,— он икал, трясясь смехом.— Листик на стенке висел: товарищей социал-демократов, большевиков — такой, эдакий: столько-то; меньшевиков,— ну, там, ты понимаешь — такие-то: столько; такие, сякие — эсеры; столько-то товарищей максималистов-экспроприаторов («смертники» были)... Среди них,— понимаешь: товарищ декадент — один».

И, вогнав лысую голову в спину, согнувшись, рот закрывал рукою, хихикал.

— «А? Что?»

Брови вскидывал:

— «В недрах Бутырок коммуною жил, как сознательный декадент»,— перещипывал эспаньолку он.

В камере поднял шум, апеллируя к талантам мима: изображал Вячеслава Иванова, Брюсова, Сологуба; прочел реферат: о Данте; пляс поднимал; посадил играть на гребенках рабочих, экспроприаторов; камера заплясала; стало досадно тюремному надзирателю: попросился смотреть на пляс; пустили; прошел слух: в камере номер такой-то сидит декадент и штуки чешет; просились о переводе в камеру.

Была регламентация часов дня: вечерами — веселье; а днями — работа; саженный рабочий, грызя карандаш, сидел днями за задачником Евтушевского;[100] были часы пропаганды: эсдеки агитировали среди «менее сознательных» экспроприаторов, садились рядками: более сознательный, менее сознательный, более сознательный; менее сознательный зажимался сознательными; сознательные старались:

— «Товарищ экспроприатор,— вы что же такое? Дезорганизуете революцию?»

— «Понимаешь? Что?— меня схватывал за руку Эллис.— Стоял деловитый гул: «бубубу» — бубукали сознательные: несознательным...»

— «Ну, что же ты?»

— «Предложил свои знания меньшевикам; тоже в ухо садил здоровенному экспроприатору; спать ложились рано, вставали чуть свет: отоспался, поправился...»

Эллиса выпустили; но таки докучали потом: и слежкой, и обысками; раз чуть не сцапали ящик: с нелегальной литературой, которую поставили к нему на храненье; Эллису пришло в голову сесть на ящик; про ящик забыли.

К концу 906 года он завел дружбу с экспроприаторами.

Попав в южный город, увидел, как кучка зубров пристала к еврею; размахивая палкой,— он напал, кого-то отколотил; прочие разбежались, к восторгу прохожих; Эллиса таскали, фетировали, пели песни; пришлось исчезнуть из города, чтобы не сесть.

Во время заседания «Свободной эстетики» подвели офицера, желавшего поговорить о Бодлере; вообразив, что это[101] Р..., о котором слухи, что в прошлом — он избиватель, Эллис отдернул руку; и провизжал:

— «Руки не даю»[102].

Офицер заявил окружающим: недоразумение; он доведет инцидент до Офицерского общества и вызовет на ду-

эль. Общество постановило: в случае смерти офицера или его ранения, каждый следующий вызывает Эллиса; с величайшими усилиями ликвидировали и этот инцидент, грозивший не только преследованиями, но и смертью.

Кабы не семь нянек, Эллису не бывать бы живу.

Интересная дама, которую Эллис остервенил, гонялась за ним: нанести оскорбление, не понимая, кто кого любит, любовь или ненависть между нею и Эллисом на почве разговоров о «Падали» Бодлера? Она вышла замуж; Эллис объявил, что она изменила «мечте», вступив в брак с идиотом; оскорбленная этим дама, настигнув Эллиса, закатила ему затрещину перед возом с капустой: у входа в «Дон»; он, сняв котелочек... подставил... другую щеку; дама — в обморок; Эллис — в истерику.

Несносно совал нос в жизнь друзей, не считаясь с ними; в случае сопротивления своим фикциям — гонялся с палкой: за ними; изживалась по-своему понимаемая любовь; считая меня «безумцем», которого участь — распятие в камере сумасшедшего дома (высшая награда Эллиса), хмурился, когда мне везло; когда ж доводила до чертиков жизнь, то он ликовал; подуськал меня послать резкое письмо Блоку; Блок ответил еще более резким; я вызвал на дуэль Блока, Эллис, схватив котелок и вызов, понесся в ливень из Москвы в Шахматово: без пальто; протрясясь восемнадцать верст по ухабам, явился промокший к Александру Блоку; но, убедившись, что Блок не «мерзавец», прилетел обратно: отговаривать от дуэли[103]. В другой раз, узнавши, что нарастает дуэль между мною и Брюсовым, дрожал от мысли, что не позову его секундантом[104].

Бывало — лежишь: с компрессом на голове; Эллис — ликует:

— «Пересечения жизни с мечтою — нет: безумие; и — нни-ка-ких!»

В самые мрачные периоды жизни я гулял с ним; кубы домов лепились ночными тенями; взревала метель; дворник в бараньем тулупе отряхивался в приворотне; фонарь вытягивал из-под ног наши тени; я, бывало,— показываю на тени:

— «Они — двойники».

— «Черные контуры?» — усмехается Эллис; несемся в глухую ночь: безвесо, легко; Эллис в ухо нашептывает свои сказки-фантазии:

— «Рассказ напишу про беднягу, у которого в голове кавардак; он, понимаешь ли, сунет нос в книгу, а книжные строки расстраиваются».

— «Как?»

— «Буквы считывает; уткнется в страницу: и все — расползается; строчки червями ползут на руку; ползут клопами в кресло; они — кусаются; в книге — белое место; вдруг «ща», скорпиоником, переползает по томику».

— «Фу, гадость какая!»

— «Игигиги!» — он заикается смехом.

И продолжает, фантазией побивая фантазию:

— «Раз стоял желтый туман над Москвой; и метались, тоскуя, в нем люди... Когда ж разорвался туман над Арбатом, в разрыве над крышею дома из неба — бычиная морда; как замычит,— мир разрушится».

Он укреплял во мне миф обо мне: будто я потерял свою тень; и она-де контуром бродит где-то; раз ночью я бегал по улицам; Эллис явился ко мне: не застав, меня ждал; мать спала уже; вдруг ему показалось: в комнате — кто-то; обертывается и видит-де: черный контур. Бросился через переднюю, к выходу, позабыв закрыть дверь.

Сколько раз пробегал я гостиничный коридор; с тоскою врывался в снимаемый Эллисом номер; застав его спящим, бывало, усаживался на краю тюфяка; будил и жаловался: на свои обстоятельства; Эллис, зевая, садился; и, подпухая несвежим лицом, растравлял тоску:

— «Здесь» — быт; «там» — мечта; быт — падаль; нет, нни-каких утешений!»

Бывало, валится в подушку зеленою лысинкой; часа через два, выерзнув голыми ногами из одеяла, топочет, натягивая штанину; зима; темно; он — показывает на фонарь: за окном; одевается; тащит в кино: к передрогам мелькающих образов; он изучал кино, чтобы изображать эти сцены; кино — пропаганда, что жизнь — тень теней; и что мы — изъятия, контуры — в шляпах и в шубах по тумбам стучим крючковатыми палками; думают, будто — есмы; нас-де — нет!

Эллис-пропагандист с блеском распылял образы жизни; ходил — к рабочим, в «Эстетику», к капиталисту Щукину, к судье Астрову, к социал-демократке К. Б. Розенберг, к анархистам, к мадам Кистяковской: проповедовал Бодлера и Данте.

А то тащил к Астрову: деятели судебного мира сидели по стенкам с супругами, чтобы выслушивать проповедь

Эллиса; с 1906 года я бросил ходить в это гиблое место; а Эллис — таскался, рассказывая мне:

— «Понимаешь,— седой человек, лысый; докладывает, как студент на экзамене, мне: Брюсов ближе-де ему таких-то писателей; а Роденбах нам-де нужней Златовратского[105]. А? Понимаешь? Моя пропаганда!.. Седой человек, почтенный,— читает «Шаронь»...[106] Игиги!»

И, вогнав свою шею в спину, рыдает, бывало, икающим смехом: в мухрысчатом сюртучке с проатласенными рукавами.

Мне — жутко: в великолепных, припадочных пародиях, подвинчивая себя музыкой, изображал он что угодно; мать, бывало, садилась играть ему кинематографический вальс; он изображал, как бы протанцевали вальс — меньшевик, эсер, юнкер, еврей, армянин, правовед, Брюсов, Батюшков, князь Трубецкой, передавая движением дрожанье экрана кино; и до Чаплина, Чарли, явил собою — Чаплина, Чарли; импровизации переходили в дичайшую пляску: вертелся, как дервиш.

Раз собрались у меня: Шпет, Балтрушайтис, художник Феофилактов, Ликиардопуло; отодвинули стол, усадили мать за рояль; Эллис — ринулся в верч; не прошло трех минут — как уже завертелись: и Шпет, и Ю. К. Балтрушайтис (с угрюмыми лицами); братья Астровы стали возить «вертуна» по знакомым; знакомые же — приглашали на Эллиса; так: однажды был съезд естествоиспытателей; группу ученых с научного заседания приволокли в частный дом: показать Эллиса; не прошло получаса,— завертелись профессора, подкидывая ноги, тряся сединами.

Отправились с Эллисом раз в летний сад; сели около сцены; грянула музыка: явился негр; увидев его, Эллис — прыгнул на сцену (не успели схватить за фалды); отстранив негра, пустился за негра по сцене выплясывать: под звуки барабана; публика недоумевала; вдруг пришла она в восторженный раж; сняли с эстрады: подкидывали на воздух; на другой день — Эллису посыпались письма: «Дорогой Лев Львович, правда ли, что вы, литератор, плясали в шантане...» Или: «Как не стыдно...» Или: «Левушка — остановитесь!» Урезонивали «семью семь» нянек.

Вся его жизнь в это время — какое-то сплошное радение: смесь из рыданий и хохотов; действовал, заражал, вредил; узнав, что одна барышня хочет идти в монастырь,— зачастил к ней, доказывая: жизнь — ужас; в монастыре — спасение: таки упек!

Безо всякого основания в уме повенчал своего друга с барышней, к которой сам был неравнодушен; у нее явился настоящий жених; Эллис кидался на него: как смеет-де он отнимать у друга суженую; и все это — наперекор: другу, барышне, жениху!

Бывало,— взрыв гнева:

— «Ну и дела... Подать Эллиса!»

Отовсюду кидаются в «Дон»; комната — пуста; след — простыл; Эллис где-то за чертой досягаемости; оттуда зажаривает пудовыми письмами, в которых рвет с нами; руки сжимаются в кулаки; достать — невозможно.

Так и открывали убежище это — у Рубановича, Сени; родители Рубановича, как и многие, души не чаяли в «Леве»; там прятался он: его мыли, кормили, причесывали; он, зажив припеваючи,— письма строчил; отдохнувши, со всеми порвав, являлся: мириться до... следующего скандала, под шумок созревавшего и тушимого — с величайшим усилием; в экстренных случаях вызывалися братья Астровы: П. И. или Н. И.; нажимались педали, чтобы разобрать путаницу как «музейскую», в которую чудак впутал министра Кассо, профессора Цветаева, прокуратуру, Муромцева, Астровых, прессу, «Весы», «Скорпион», всех нас; инцидент вскрыл вонь тогдашней прессы; его коснусь ниже;[107] не хвалю чудака: тоже хорош! Но следовало бы его венчать лаврами за «вор», над ним грянувшее: во всерусском масштабе; делали вид, что — «вор»: «Весам» досадить; полтора года длилось поганое обвинение, едва снятое усилиями нас, Астровых, Муромцева; прокуратура покончила с «делом», которого не было, отказываясь обвинять; в либеральных редакциях — шепот стоял:

— «Вырезал страницы из книг в Румянцевской библиотеке».

В шесть утра он являлся в убогую комнату, выпустив где-нибудь фейерверк слов, чтоб строчить перевод: в два часа — десять стихотворений откатано, к ужасу нашему: что делать с ними? Отдав блеск таланта салонам, садился работать, как выкачанный, к восьми утра — валился в постель; все же было бельишко: какая-нибудь дама-нянька. Спал, выставив бородку из драного одеялишки.

Пробуд — тот же: кто-нибудь, в пальто, в шляпе, в калошах, садился, войдя, на постель: пинал не желающий проявить жизнь труп: лицо «трупа» — в морщинах; опухи глазных мешков; трясясь, «труп» протирал глаза кулаками, приподымался из гроба, вникая в то, что ему говорилось.

— «Лев Львович,— бубнил сидящий в ногах Сергей Бобров,— Тристан Корбьер пишет...»

Или:

— «Левушка,— доказывал сидящий в ногах Николай Иванович Астров,— вы должны извиниться».

Или:

— «Вы меня не знаете, а я знаю вас»,— доказывает, бывало, неизвестная личность, отдавливая полуспящему ноги.

Эллис, прижав подбородок к коленям, придя в себя, тряс из постели пальцами, часов до пяти; вокруг постели — нарастала группа; пускала дым; не постель — каша: фуражка, носок, пепел, галстук, манжетка, босая нога; тут и рабочий, и «аргонавт», и сноб, свидетельствующий уваженье сотруднику журнала «Весы», и неизвестный, подобный юноше, утиснувшему «золотые часы». Эллис же в драной сорочке, горбя широкие плечи, тряс пальцем, кропя всех слюною: Бодлер, Роденбах, Брюгге![108] Не оторвешься: «Бакунин»!

Поехало: до шести утра!

Спохватившись, что где-нибудь его ждут, он выпрыгивал из одеяла: схватив губку, морщась от ужаса перед холодной водой, растирал ей нос, не трогая глаз, лысины, щек; напяливался закапанный соком дюшесов сюртучок с неоторванной оборкой, с гвоздикой в петлице; схватывались пятилетние манжеты; ни чая, ни хлеба. С постели — на улицу: в «Весы»; а то — расхлебывать какой-нибудь инцидент.

Где-то застрянет, чтобы оттуда уже — ко мне, к Метнеру, к Христофоровой, к мадам Конюс, к Кларе Борисовне Розенберг: где не бывал!

Увидев прекрасно сервированный стол с вазой дюшесов, испытывал колики голода; мысль, что есть «проблема питания», озаряла его пред вазой с дюшесами; с жадностью бросался и пожирал, напоминая захудалого пса; голодный Эллис, не бравший сутками ничего в рот, набивал желудок дня на два дюшесами: ваза пустела, к ужасу хозяек; у Эллиса открывалось... желудочное расстройство.

Эллис, заливаясь словами о Данте и соком дюшеса, которого половину откусывал,— картина десятилетия; пожиратель дюшесов, а не вырезыватель книжных страниц,— монстр того времени; желудочный кризис наступал тут же, за Данте; новый ужас хозяек: Эллис бросался надолго страдать в не столь удаленное место, откуда являлся с зеленым, сведенным лицом; надо бы судить Эллиса — за корзины дюшесов, похищенных у гостей К. П. Христофо-

ровой; тайна дюшесов: только ими питался он; не успокаивался, пока оставался последний дюшес; тут же и тайна желудочного недомогания, открытая В. О. Нилендером; Нилендер урегулировал питание Эллиса отнятием у него гонорарика и покупкой на него абонемента на обеды в трактире с машиной, ревущей «Сон негра»; с тех пор Эллис стал полнеть и белеть (до этого ходил зеленый); машина бацала бубнами; желудок же — поправлялся.

Появление В. О. Нилендера в «Дону» — революция быта жизни; Нилендер заставил Эллиса мыться; завел гребенку ему, урегулировал финансы; Эллис приходил в умиление:

— «Владимир Оттоныч — обмыл, напоил, накормил!»

Тем не менее шли пререкания: из-за «орфических гимнов», которые изучал Нилендер[109], разложив в смежной комнатке огромные греческие словари; являлся Эллис, саркастически крутя усик и отпуская замечания по адресу древних греков: словари надо предать сожжению. Нилендер с плачущим криком кидался:

— «Молчи, Лев!»

И после бросался — ко мне, к Петровскому, к Соловьеву:

— «Все кончено между мною и Львом!»

Эллис бежал ночевать к Рубановичу, Сене, откуда являлся: мириться с Нилендером.

Друзья прибирали гроши Эллиса, чтобы он их бессмысленно не метал; личности с подбитым глазом и с усами в аршин являлись брать не Бодлера, а эти гроши; что оставалось — исчезало у будки с холерным лимонадом, который он лил в себя: в неимоверном количестве.

На вечерних собраниях пересиживал всех, заводя с хозяевами часа в три ночи (для Эллиса — ранний час) удивительные беседы; их бы стенографировать; у хоэяев слипались глаза; Эллиса... гнали; уходя, прихватывал меня или Шпета — в ночную чайную.

Великолепно протекали журфиксы Эллиса; «паства», человек до тридцати,— гудела, сопела; с дикой решительностью пережигала она огромное количество папирос; окурки низвергались на пол; иной раз — вместе с... плевками; все — растаптывалось, ибо —

> Отречемся от старого мира,
> Отряхнем его прах с наших ног[110] —

тональность бесед, с постановкой вместо революции — *«святого костра»* новой, Эллисом задумываемой инквизи-

ции, ордена «безумцев», от которых должна была загореться вселенная; в дыме и в вони табаков тонули силуэты «свергателей»; когда я сюда открывал дверь,— то отскакивал от густейших, стремительно выпираемых клубов; из них неслось:

— «Га-га-га... Го-го-го... Шарль Бодлер... Гогого... У Тристана Корбьера... Гага!»

Эллис под бюстом сурового Данта, с протянутым пальцем — сгорал, окруженный кольцом самогара: сжигалися ценности; даже сжигали себя в своем ветхом обличии; вообразите же негодование Эллиса, когда раз пошляк и циник положил на голову Данте нечто вполне непристойное, чтобы подшутить; он был мгновенно выгнан из клубов дыма.

«Самосгорание» тянулось до четвертого часа ночи; потом шли, гудя, из распахнутой двери немым коридором: угрюмые люди и сизые клубы; Эллис, Нилендер с кем-нибудь — валили тоже в извозчичью чайную, открывавшуюся в час ночи; за желтою, пятнами, скатертью происходил обмен лозунгов; брались клятвы; и — нни-каких! Прислуживал спиногрудый горбун: половой; храпели кругом тяжкозадые ночные извозчики: в черных лаковых шапках; кому-нибудь из них приносился в огромном чайнике особый вид кипятка, именуемый «водой»; спиртные напитки запрещались; и их приносили в чайнике, под видом воды; позднее в чайную приводили — Бердяева, Вячеслава Иванова, Гершензона: с заседания Религиозно-философского общества, происходившего в морозовском особняке (угол Смоленского и Глазовского).

Из чайной, в пять с половиною, Эллис шел в «Дон»: работать, то есть строчить перевод иль очередной манифест в «Весы», после которого валились от ярости — Стражев, Вячеслав Иванов, Борис Зайцев, а Иван Алексеевич Бунин испытывал сердечный припадок:

— «Весовская собака!.. Разбойник с большой дороги!.. Бездарность!.. Прихвостень Брюсова!»

«Левушка», отстрочив, валился на жесткое и холодное ложе, чтоб прокошмарить: до следующего пробуда; не спал, а — «кошмарил», вскрикивая и катаясь под одеялом: являлись-де «монстры» — душить его; рассказы об этих кошмарах — лучшие страницы Эдгара По; но их не записывал он: все талантливое в себе отдавал он кончику языка; бездарное — кончику пера.

Так жил годами Лев Кобылинский.

ГОНЧАРОВА И БАТЮШКОВ

В 901 году на моем горизонте являются два человека, которые ходят в друзьях; до 901 года они не имеют касания к символизму; и уже после 905 года — отходят от нас; но года четыре мы причисляем и их к «аргонавтам».

«Аргонавтизм» — не был идеологией, ни кодексом правил или уставом;[111] он был только импульсом оттолкновения от старого быта, отплытием в море исканий, которых цель виделась в тумане будущего; потому-то не обращали внимания мы на догматические пережитки в каждом из нас, надеясь склероз догмата растопить огнем энтузиазма в поисках нового быта и новой идеологии; пути, на которых блуждали мы до переворота, происходившего в каждом из нас, и до встречи друг с другом,— что общего между нами? Владимиров, Петровский, Челищев, Малафеев, Кобылинский — свободный художник, химик, математик и музыкант, народник, бывший экономист до потери волос; и все — «аргонавты»: в простертости к еще неясному им будущему, в отказе от породившего их быта; Кобылинский хвалил жизнь, построенную на параллелизме; Владимиров мечтал о новых формах искусства, о новом восстании народного мифа; он волил коммуну символистов; Малафеев же сфантазировал по-своему новую крестьянскую общину.

Наш коллектив силился обобществить стремления каждого, понять их как восставшие из точки кризиса, переживаемого каждым, поскольку он отказался от породившего его вчерашнего дня.

Вставала проблема отнюдь не подтягивания тенденций каждого к своей тенденции, а гармонизация всех тенденций в искомом и еще не найденном, еще только загаданном социальном ритме.

Такова была лично моя тенденция того времени: освободить каждого от узкого догматизма его «школьной истины»; и этим разглядом расширить свое «я» до «мы», и эта переоценка собственных сил и меня окружавших людей привела к краху этой установки; и в этих усилиях коренятся мои прегрешения этого периода; ими же объясняется неотчетливость и в выборе попутчиков.

И всецело этим объясняется наше братание с двумя чудаками в этот период... Один был безвреден, благороден, но узок; другой и вреден, и неблагороден, но широк... до ужаса. Я разумею Батюшкова и Эртеля.

Сперва о первом.

Отец принял участие в судьбе П. Н. Батюшкова, оказавшегося сиротой, дав кузинам его, Гончаровым, план домашнего воспитания П. Н.; П. Н.— внучок поэта Батюшкова; с А. С. Гончаровой, родственницей жены Пушкина[112], отец был связан приязнью, философией, отчасти судьбою П. Н., студента, являвшегося в день имении отца; П. Н.— длинноносый трепет в студенческом сюртучке и при шпаге, с белой перчаткой в руке и с испуганными вороньими глазками, с носом, достойным индусского мудреца Шанкараачария, издающим звуки, напоминающие крик слона издалека,— свирепо отшаркивал[113].

Он вызывал у одних представление о чудачливом существе; и у других — о герое Достоевского, Мышкине, готовом повергнуться в эпилепсию: от трепета идей в нем; П. Н. проходил естественный факультет; с пафосом говорил он, защищая позиции Льва Толстого; споры с П. Н. о Толстом я, ребенок, выслушивал, скорчась калачиком в кресле; П. Н., дергавший носом, подскакивал от избытка своих впечатлений; он мне виделся помесью грача с... марабу; прощаясь, перетряхивал руку матери; и казалося, что — оторвет; я любил его шарк, его щелк — каблучками: по каблучку каблучком; он, вцепившийся в руку, с пощелком летел: с середины комнаты в угол; и руку, которую рвал, отрывал.

— «Ой, ой, ой,— оторвете!» — ему моя мать.

— «Да-с,— Павел Николаевич»,— бывало, отец, переживая смесь иронии с нежностью; тронь кто Батюшкова...— отец бросится:

— «Нет-с, вы — оставьте-с!»

Схватяся за нос, глядит строго:

— «Он — очень не глуп-с!»

М. С. Соловьев, встретив Батюшкова, наклонился испуганно к уху:

— «Кто этот?»

— «Да Батюшков».

— «Страшный какой: совсем индус!»

Батюшков и Гончарова сливались в моем представлении в эпоху 1888—1892 годов как что-то неделимое, напоминающее... двуглавого орла; «кузина» дарила книжки по естествознанию; «кузен» являл иллюстрацию птицы марабу; «кузина» первая из женщин взошла на Монблан; и первая из русских женщин стала доктором философии.

С начала 1893 года исчезли: в Париж; и не являлись на нашем горизонте.

Летом 1901 года отец сломал руку; мать и я, прочтя известие об этом, бросились в Москву, и — застали отца с забинтованной рукою, но в радостном споре с А. С. Гончаровой; она явилась из Франции; осенью из Парижа явился и Батюшков; он зачастил: сперва — к родителям, потом — ко мне.

Он, как и прежде, боготворил «кузину», следуя за нею во всем; она увлекалась Шелли; и — он; она — работала у Рише; он — говорил о Рише; она — в эстетику; он — в эстетику; она — в теософию; он — в теософию.

Но жизнь менялась: когда-то состоятельный «кузен» в 1900 году для «высших» интересов «кузины» совсем разорился; «кузина» прилетела в Россию: реализовать жалкие остатки денег и с ними уехать в Париж к «высшим» интересам, но — без Батюшкова, которого жестоко швырнула в Москве, сперва превратив в ветер его состояние; она была исключительно некрасива, умна, начитанна и остра; но — черства, хищна, холодна; и все вздрагивала, тонкосухая, как палка, с оливковой кожей и носом, напоминающим клюв; то молча сидела со всосанными щеками, обрамленными вьющимися прядями каштановой пляшущей шапки стриженых волос, закрывающих и лоб и уши; то подскакивала на вскриках птичьего голоса, переходящего в грудное контральто, показывала собеседнику два верхних передних зуба — желтых, огромных и точно кусающих; потрясала интеллектуальным до жути видом и холодностраcтным пламенем интересов своих; не то Гипатия, не то птица Гарпия;[114] сияли, не грея, черные, вспыхивающие и проницательные глаза в такт нервно порывистым жестам и встряхам волос: не то танец звезд, не то... пляска смерти; черное, узко обтягивающее платье, с чем-то ярким и желтым (может быть, шалью); леденил стрекот надетой на шею цепочки бус, которую, сухо и страстно ерзая, рвала на себе крючковатыми пальцами; не делалось уютно, когда она, носолобая (как сестра жены Пушкина)[115], выскакивала из-за коричневой портьеры в холодную коричневую гостиную, чтобы откидываться пафосом и шапкой волос, трещать черными четками; здороваясь, схватывала руку, встряхивала ее по-мужски, точно собираясь рвать; и, как кондор, стрелою слетала идеями на беззащитную «курицу» — слушателя.

Ледяной пафос! Низала словами, расставленными прочно и выпукло; начинала же с интервью: мои мысли, вкусы, знакомства, намерения? Понимала — с полунамека; и тотчас включала ответ в цепь своей мысли, вызывающей

протест, треща цепочкой и вздрагивая волосами; и появлялись тексты «Бхагават-Гиты» *, которую специально изучала она, проваливаясь в недра Самкьи ** средь серо-карих портьер, откуда она выскакивала в пыль жизни, в бега по ростовщикам: денег, денег! Вылезали враги мои — буддийские схемы; с чем бы ни приходил я, после разговора с А. С.— я был обрамлен ее миром мысли; доказывалось: я-де забрался в теософские недра, не подозревая о них.

Делалось не смешно, но досадно: цепкая кошка, черная кошка! А я — немного «мышь»; встряхом волос и голосом, выточенным из слоновой кости, перелицовывала она мой символизм в теософский догмат какой-то; я уходил — раздосадованный. И у нас появлялся робеющий Батюшков, молча внимавший мне и Гончаровой; заплетаясь, всхлипывая, он мне совал книжечки Ледбитера, Безант, Паскаля или брамана Чатерджи: книжки подсовывались «кузиною»[117].

— «Вот... Анна Сергеевна... прислала... прочесть».

Прочитывал: и — приходил в раж; что у Гончаровой, кончившей Сорбонну, выглядело остро в оправе текстов из «Гиты», то у Безант кричало жалко; возмутила книжка: «Vers le Temple»; [118] я, бывало, бросался на Батюшкова; и кричал, что шагаю от Канта, Гегеля, Ницше и что не нужен мне винегрет из буддизма и браманизма.

П. Н., слабо защищаясь, пленял незлобивостью и искрой ума; виделось: его теософия — цапкие, как у орлицы, пальцы «кузины».

Он — поникал; но вновь оживал: в простосердечной беседе, вне теософии; был интересен как собеседник: кончал вздохами:

— «Анна Сергеевна».

Подавали к ужину... кашку, которую клевал он.

— «Зернышки! Птица небесная!» — разводил руками отец.

Через день или два я шел снова биться с «кузиной»; бить в лоб не давала она, выслушивая, «понимая» и «принимая»; вдруг затараракав, как из пулемета, словами, полными какого-то прикладного и очень холодного блеска, сверкая цитатами, как перстнями, осыпанными бриллиантами, она доказывала: мой протест — теософия же; вся культура оказывалась в своем движении вперед... перемещением пищи в кишечнике... Будды; в ловком маневре

---

* Поэма, время появления которой V век до нашей эры [116].

** Самкья — философская система древней Индии.

приятия моей революции (с подменой плацдарма) — было нечто возмутительное.

Наши споры о теософии были мне мимикрией — враждебных разведок под флагом дружбы: разведок «мистического», древнего Востока, собирающегося внедриться в буржуазную жизнь Европы.

Индия под флагом теософского модернизма вставала передо мной; и, если я потом сидел над Ведантою *, логикой буддизма (тома академика Щербатского)[119], многотомным сочинением Дейссена[120],— это результат годовой схватки с интересной и хищной А. С. Гончаровой, самой образованной из теософок, с которыми мне приходилось встречаться; и — самой холодной и черствой; видя, что взят на прицел, я принял свои меры: я выщупывал слабые стороны буддизма и браманизма.

Видя меня удвоившим интерес к «теософии», А. С. полагала, что убедила меня.

Игра в прятки, или дружба-вражда, охватывает сезон 1901—1902 годов, являясь одним номером в каталоге моих тогдашних забот.

Так я попал на первое собрание кружка будущих теософов в качестве юноши, заинтересованного Востоком; А. С. отсутствовала: тонкая «бестия» не ручалась за публику; был Павел Николаевич, какой-то студент-медик, психиатр, дочь хозяйки (теософки), добродушной старушки, которой, вероятно бы, шло... заниматься трикотажем; ее дочь, со сверкающими глазами, но бледным, помятым лицом и с белой болонкой на руках, производила впечатление истерички; была едва ли не единосущая тогда — старуха Писарева из... Калуги [121], с неприятным, точно жеваная бумага, серовато-морщавым лицом, высокомерным и злым; она-то и была — референт; сидела протонченная семнадцатилетняя бледноснежная девушка, млеющая от собственной тонкости: золотые кудри, перловое лицо, голубые, расширенные от изумления перед всем, что ни есть (не то перед собой), глаза — вызывали впечатление, что это не барышня, а вздох, веющий в ухо:

— «Как странно!»

Вид прелестный, но слабый, извечно надломленный: жизнью до... жизни.

— «Кто?» — спросил я у Батюшкова.

— «Замечательная художница: тайком от родителей... Маргарита Васильевна Сабашникова».

---

* Система индусской философии.

Так встретился я с художницей[122].

Был чернобородый Александр Александрович Ланг, сын книготорговца, один из могикан от «декадентства» (псевдоним «Миропольский»)[123], спирит с шевелюрой: длинный и бледный, как глист, со впалой грудью, узкими плечами и лукаво-невинными голубыми глазами, он производил впечатление добряка, словам которого нельзя верить: невинно солжет и даже не заметит. Он сиял благоволением от... спиритизма, который, кажется, и пришел проповедовать; «старуха» все скашивала на него глазки, рассматривая его, как карася в своем неводе, которого она вытащит, чтоб зажарить в сметане: в честь Будды.

Реферат «старухи» был жалок; я бы и не взорвался, если б не разложила она карты небес и культур; европейская культура помечена маленьким кружком где-то в подвальном помещении схемы; из небесной высоты падали красные, как молнии, стрелы, указывающие на подчиненный смысл подвального кружка; в точке пересечения стрел стучал карандашик:

— «Небо буддизма!»

Помнится, закусив удила, я произнес злую речь; старуха поджала губы; Батюшков затрубил; дочь хозяйки, вцепясь в шерсть болонки, метала молнии, едва не плача от злости.

Выступил Ланг замять инцидент с... рассказами о своем спиритическом опыте; и... привел нас в смущение, ибо он рассказал, под флагом случившегося с ним, фантастический рассказ Конан-Дойля; мне стало страшно за этого больного ребенка с черной бородой, когда он, выгибаясь, просил виновато поверить ему.

— «Я вбежал в комнату, запер дверь; воплотившийся единорог, бегавший за мной, ее просадил рогом; и — развоплотился».

— «Ну, а рог, остался в дверях?» — хотелось спросить.

— «Да»,— кисло мямлили теософы: собрание, начавшись во здравие, кончилось за упокой: рассказом Ланга.

Посещение теософского кружка выжгло в душе неприятный след: и я до 1908 года старательно обходил «теософов» за исключением... Батюшкова, который, вероятно, пережил настоящие муки на этом собрании.

Я думал:

«Бедный Павел Николаевич: на попечение кого сбрасывает его «кузина»? Нет, надо его загородить от «старух»!»

Он стал каким-то подкинутым «младенцем», старшим по возрасту; с любопытством и тактом силился он зажить в наших стремлениях, проявляя вкус, чуткость, общительность; он делается посетителем меня, Эллиса, почти жильцом у Владимировых; его теософский хвостик не мешал нам в 1903 году, вызывая добродушные замечания о его «плене» у Паскаля — не знаменитого, не Блэза, а парижского учителя теософии.

П. Н. отошел от нас к 1906 году, обидясь за отношение нас к М. Эртелю и отдаваясь атавистическому культу своего тогдашнего теософского хвостика.

РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ

Павел Николаевич Батюшков!

Французский писатель написал бы рассказ: «Батюшков»; англичанин, француз, немец, швед, прочтя перевод, повторяли бы:

«Это же — Батюшков!»

Повторяем же мы: «Тартарен, Тартюф!..»[124] Батюшков — тип; я — немного писатель; у меня нет времени написать книгу рассказов: «Мои друзья». Следовало б: коллекция чудаков импозантна. Батюшков — незабываемая фигура.

Есть Дон-Кихоты; Батюшков — супер-Дон-Кихот; к Дон-Кихоту прибавил он штрих, отсутствующий у Дон-Кихота: раскаленное до температуры солнца стремление: принести подарок. Чем мог он, бедняк, одарить? Ведь в 901—902 года он являл вид дограбленного... нищего, ютящегося по каморкам, клюющего «зернышки» и несущего их рою нищих родных, волоча на горбе какую-то полусумасшедшую «тетю», которую он содержал и которую должна была содержать Гончарова.

Нищие имеют «ноль» денег; П. Н. имел «минус ноль», равняющийся содержанию в лечебнице «тети», которая бурчала на него; он нес крест хищности кузины и сумасшествия старухи — с экстазом радости; и произносил слово «тетя», как нюхал букет роз; лицо — помесь старого индуса-иога, галчонка и ребенка — кривилось улыбкой; делалось и страшно и радостно: хрупкое, хилое, к труду не способное тело это с улыбкою семенило в переднюю, чтобы... захлопнув за собой дверь, сброситься в омут; крест страстотерпца торчал под моим носом: с простотою и легкостью!

Не знавшим социального положения Батюшкова не могло прийти в голову, что приподнятый, вскрикивающий от восторга человек этот проходит опыт нищеты, трудов и тайно проливаемых слез: гладенький, маленький, внутренне чистенький, внешне потрепанный, он имел вид катающегося в салазках... по маслу.

Этим он поразил воображение — матери, отца, нас.

Поразил, раздражая, и другим: нелепою щепетильностью: не имея гроша в руках, а за спиною имея корящий его рот старухи, съедающей все,— ни у кого не одолжался и выявил действие плясуна на жердинке; жил как на веточке, без одолжений, являясь ходатайствовать за неимущих и передавая дрожащей ручкой просительное письмо и волнуясь за прятавшихся за его спину просителей, он вскрикивал резким, птичьим голосом, поглядывая глазами ребенка и... марабу:

— «Эн — действительно,— вскрик, всхлип,— нуждается!»

Он стал ходатаем, передатчиком поручений, несносных по щекотливости; между «тетей», уроками, собраньями «аргонавтов», где дебютировал он вскриками подчас боевого голоса, напоминая петушка, клюющего за оскорбление Блаватской и Безант,— он выполнял ряд повинностей, от которых другие отказывались; таща свой куль, тащил чужие кули, но — втихомолку; и мы поражались: тщедушная эта фигурка с ручками, не умеющими перетащить фунтик, тащила на спине целые квартиры с их обитателями.

Случись несчастье,— П. Н., застегнутый на пуговицы ветхого сюртучка,— тут как тут: скрывая следы не совсем чистых крахмаликов, бодрит кстати, бодрит некстати — перспективами от теософии; хоть — от печного угла! Мотив то — рвущего сердце себе пеликана *.

Представала сила впалогрудого, немного смешного созданьица с длинным носом, с зализанными черными волосами, не скрывающими ранних седин и лысинки; не беда, что заносились зернышки от... Ледбитера; всякому роду — своя пища; тигр несет мясо; птица — зернышко: от стручка акации; когда кричал он о «белом лотосе», тешил не «лотос», а нос.

Доставалось ему за «лотос»; ** досадовало: сильный духом, неглупый человек с невидимыми богатствами, точно

* Теософская эмблема [125].
** Эмблема [126].

собачка, привязан к... Паскалю * (не Блэзу): таскает его на себе, как переношенный сюртучок.

Э. К. Метнер, встретясь с Батюшковым и изумясь им (не то — францисканец, не то — щелкунчик), увлекся разговором о мыслях Блэза Паскаля; оба впали в гармоническое согласие; но через четверть часа обнаружилось:

— «Да о каком вы Паскале: о Блэзе?»

— «Нет!» — взвизгнул П. Н., брызжа слюной и выпуская килограммы нагретого воздуха из огромного носа: он разумел... руководителя парижской теософской группы.

Водворилась странная пауза.

Доверие, ангелизм, граничащий с «дурью», превращали его в мишень насмешек; у Владимировых такою мишенью сделалась теософия: в 1904 году; П. Н. доставалось от бестии Челищева, от народника Малафеева, от тихого Янчина; и я переходил пределы приличия; П. Н. нес шутки с сияющим видом: мы злились на злую судьбу в виде хищной «кузины»; П. Н. и сам понимал слащавую бездну теософских теток на фоне «аргонавтов», среди которых зажил, внося недурные лепты короткими рефератиками, читавшимися в виде докладов; написав их, обходил поочередно друзей, отчитывать каждому; мы — слушали; рефератики — отдушина в горькой жизни его; рефератики были изящны.

Дай он на себе перерезать бечевку, соединявшую с «кузиной» его, как бы он оперился! Коснуться же бечевки — нельзя было: честь обязывала, Дон-Кихот оживал: упорство делалось ослиным. Отсюда и посиды его у Владимировых часто превращались в злые вечера смеха над святынями — «кузины»; П. Н. терпел, но нес «святыни» эти и своим оскорбителям в виде зернышек от «теософской пророчицы».

На меня, пародиста теософского быта, бросался: спасать, утешать, в 904 году, как никто, утешил; в другой раз маленький, черный, бессильный галчонок этот бросился, как орел... на матерого, как кабан, Валерия Брюсова, одушевленного мыслью о поединке со мной; в редакцию «Весов» явился маленький, взъерошенный, пылающий гневом Батюшков; встав в позицию, с угрозой он произнес перед Брюсовым панегирик мне. Передавали: нечто подобное умилению скользнуло на хмуро-скуластом лице Брюсова.

---

* Парижский теософ.

П. Н. был храбр, являясь средь «скорпионов» и «грифов»; * допустив над собой град ироний со стороны друзей, которым он помогал, как умел, он тихо исчез из нашего круга, когда насмешки посыпались на его друга, Эртеля, которого он после умершей «тети» взвалил на плечи и понес сей «перл» мудрости: к теософам.

Донкихотизм загубил Батюшкова: в усилиях налагать на себя неудобоносимые бремена в виде изживания чужих грехов он ставил себе шах и мат, развивая софистику, согласно которой он, в чем-то виноватый (ни в чем!), должен брать на себя кресты чужих заблуждений; и его воротило от Безант; он же вообразил себя искупителем теософского общества, взвалив на плечи весь Адиар **, не подозревавший о существовании Батюшкова; и — замер под тяжестью скрещения борющихся станов, отрезав линии исходов от точки своего кризиса; простоял жизнь в точке кризиса, ставшего перманентным; он доказал, что и кризис жизни без исхода — превращается в «бытик»; и «бытик» П. Н. обернулся в ряде лет для него в кресло одинокой каморки, из которой он в кои веки выходил перечитывать знакомым... им знакомые рефератики, писанные четверть века назад.

Так виделся мне он издалека в 1921 году; не знаю, каким он стал; я описываю его таким, каким явился он мне на заре моей жизни.

Маленький, вздрагивающий от усилий длить взрыв восторгов, чтобы не замерзнуть в отчаяньи, влетал к нам с подшарком — года; и схватывал нас двумя руками за руки, тряся и кивая носом, с улыбкой до ушей:

— «Ну?»

— «Как?»

Садился, шлепнувшись в стул и наставив нос в пол, чтобы сложить ручки (два пальца в два пальца); и выговаривал: паром воздуха:

— «Тэк»,— то есть «так»: выходило же «тэк».

Чувствовалось: хочет тобою самообремениться; нужда, «кузина», рот «тети» — не бремя, а легкость, с которой взлетал: под потолок; басом рокотал витиеватые истины, символизирующие настоящий момент его прохождения по жизни; вставал образ мостика, по которому он переходит над омутом вод; и все знали о «мостике» Батюшкова.

---

* Сотрудники издательства «Скорпион», «Гриф».

** Теософский центр в Индии [127].

И Владимирова, с папиросной, нога на ногу, передавала:

— «Павел-то Николаевич — споткнулся на «мостике».

«Мостик» превратился в барометр, повешенный нами на стенку; он показывал: «ясно», «дождь»; закручивался до «великой суши»; слетал к «урагану»; заболеет кто,— является П. Н.; и — рассказывает:

— «На моем мостике выпала балка... Ничего... Тэк!»

И мы знали, что «павшая балка» знаменует насморк Екатерины Васильевны или жизненную неудачу Евдокии Ивановны (его друзья).

Когда же нечто случалося с ним самим, то на мостик являлся какой-то *«дракон»*; и П. Н.— бился с ним; «дракон» означал земные чувства П. Н. к некой особе; П. Н. превращал эти чувства в небесные, а «дракон» — мешал.

Слова о мостике, о драконе, о пролетающих над мостиком птицах были понятны в кругу друзей, знавших биографию Батюшкова; часто «птицы» означали зарю над Воронухиной или Мухиной горками, что у Дорогомилова моста (П. Н. одно время жил на Воронухиной горке).

Но он заставлял хозяек переживать и конфуз, когда влетал на журфикс в перетрепанном сюртучишке и в не совсем чистых крахмаликах (чистая смена манжет не для бедного), громко вскрикивал перед ему неизвестными очень почтенными деятелями науки или земства:

— «На мостик опять прилетела птица».

Почтенный деятель вздрагивал:

— «Кто это?»

И ему объясняли:

— «О, это — Павел Николаевич!»

Поразил и меня, видавшего виды с «мостиком», когда влетел к Христофоровой, угощавшей профессора И. Х. Озерова ореховым тортом; перед Озеровым провизжал на всю комнату:

— «А я...— килограммы пара из носу,— запер «дракона» на ключ»,— что означало: П. Н. поборол свои земные страсти.

И шлепнулся в стул:

— «Тэк».

У Озерова глаза полезли на лоб.

Я бы мог долго перечислять трогательные деяния Павла Николаевича в нашем кругу и огромные заслуги в деле

«спасания на водах», ибо он, стоя на «мостике», то и дело бросал свои спасательные круги — то одному, то другому.

Была темная точка в светлой сфере души его: непреодоленная гордость и самомнение, заставлявшие полагать, что он, слабенький, способен на подвиг, который был бы не под силу и Будде; гордость эту не развеяли ему слащавые теософки, затащившие его в патокообразный быт и пробарахтавшиеся с ним года: в сладкой патоке слов... о «лотосах» и «синих птицах»; по существу, он был чужд этому быту; но ослиное упорство и ложно понятое благородство заставили его взвалить на себя многих «тетей», чтобы их всех превратить в дев небесных снятием «тетства» и возложением оного на себя.

«Тети» остались «тетями». П. Н., «отетив» себя, сел в полуобморочном состоянии: не то — просто сна и не то — Буддова сна; жестокая судьба, удивительное несоответствие: меж моральным размахом и его плодами!

Рубеж двух столетий настолько врубался в многих из нас, что иных — перерубал: одна половина сознания переживала «лотосы» в кресле; другая — погружалась в омуты мещанских зевков.

Последнее доказал мой временный «друг», Мишенька Эртель.

МИШЕНЬКА ЭРТЕЛЬ

Разложившийся быт производит чудовищ, не снившихся кисти художника Иеронима Босха, изобразителя ужасов; произрастая на ситчике кресел, вполне благодушном, «чудовища» мимикрируют пыльный ковер какого-нибудь домика, например Мертвого переулка Москвы, сохраняющего ритуал обыденности; окружающие и не замечают ужаса.

Это мне доказал, некогда друг, потом — враг, Михаил Александрович Эртель.

Он проживал в Обуховом, рядом с Мертвым, в белом домике княгини Девлет-Кильдеевой, что рядом с таким же белым домиком братьев Танеевых;[128] двухэтажных белых домиков с проходом на дворик в виде дуги — десятки тысяч в Москве; орнамент не покрывает известки, кое-где лупленной; редок ремонт: обеднел дворянин-собственник, некогда — барин со средствами, потом — барин с претензиями, но без средств: купцы, вломясь в дворянский район, рушили особняки подобного рода, возводя «вавилоны»,

меж которыми терялся еще не дорушенный белый домик: лупел и принижался под пучимыми, как брюхо, «фантазиями».

Пробежав по Мертвому мимо роскошеств купецкого ренессанса начала века, мимо бывшего дома Якунчиковой и попав в Обухов, останавливаюсь: и говорю себе:

— «Не повезло Обухову».

Купцы, ввалясь в Мертвый, превращали фасады его в фасоны всех стилей.

Обухов — не тронули.

Не выглядят нищими в нем два соседских домика среди им подобных: бывший Танеева, бывший Девлет-Кильдеевой; не скажешь, что в первом ютились чудаки братцы, композитор и адвокат, что в нем раздавалось слово Чайковского, Рубинштейна, Гржимали, Урусова, Боборыкина, Иванюкова, Муромцева.

В смежном домике, подобно первому, проживало... сторукое, тысячеглазое «сиамское божество».

Мишеньку Эртеля любили, принимали; ему прощали: слаб, добр, хил, любвеобилен. Что врет — всему миру известно: Эртели же!.. Эка важность: болезнь, подобная недержанью мочи; зато — «свой»: умен, начитан, находчив, тонок! Квартирка — затрапезная, московская, «своя», с потером дворянской мебели, с пылью, с уютом, с чепцом старушки — любвеобильной, подвязывающей подбород и принимающей, как детей, друзей Мишеньки, с дебелой, возвышенной старою девой, сестрой, верной памяти «Николушки», жениха, скончавшегося в 1891 году.

Мать и сестра едва Мишеньку отходили от туберкулеза.

Где же «сиамское чудище»?

Вспоминая проход звезды Миши сквозь «аргонавтический» зодиак, меня охватывает испуг, что в недрах квартирок скопляются бациллы болезней, перед которыми холера — ничто, что бациллоразносители пьют чай с баранками, с мамашей, с сестрицей и с Пиритишей, прислугою; кругом — падают люди в страшных конвульсиях.

Не пьет, не курит, не кутит: примерный брат, примерный сын, примерный друг, примерный собеседник!

Условимся: М. А. Эртель обладал богатыми данными; зло не жило в этой «агнчьей» душе; силуэт же его в венке силуэтов необходим, чтоб в иных местах книги автор не мымкал бы:

— «Мм... мм...»

— «Что с вами, товарищ писатель?»

— «Мм... Пропуск... Эртель...»

Да не подумает читатель, что мы с ним ограбили банкирскую контору Юнкера;[129] мы изолировали «болезнь» Эртеля; «больной», не питая бацилл, оставил вредные замашки, возвратив своей лжи ею утраченное благодушие; исчез лишь... «великий лгун»[130] и рой мироносиц, его таскавших.

Эртель опять силуэт из книги: «Мои друзья»; Дюамель, Джером Джером — книгу бы написали.

Эртелей знали: сестра Миши чуть не стала женой Л.; другая сестра стала женой другого Л.; Л. — всемосковское семейство; старушка в чепце, Софья Андреевна,— танеевский друг; Мишеньку вижу при В. И. Танееве; * В. И., фурьерист, с бородой Грозного, клал руку на голову Мише:

— «Что, Мишенька?»

— «Гыы, Владимий Иваныч»,— картавил Миша.

— «Все лжется?»

— «Гыы-ыы...» — гырчал Миша.

Владимир Иванович нюхает розу, бывало, и объясняет плачущим голосом, кланяясь в ноги себе:

— «Прекрасный юноша: болен семейной болезнью».

Суровейший критик Боборыкиных, Ковалевских и Муромцевых открыл ворота Демьянова, своего имения, семейству Эртелей, разрешив Мише его грешок: за благодушие и за начитанность;— угрюмому фурьеристу мил Миша: Боборыкины, Ковалевские, Янжулы — не высоко залетели; чудаки — лучше их.

Эртели мне в памяти сплетены с Танеевым; поздней зажили они в Обухове — домок в домок: в районе Мертвого, где дворянство вырождалося с быстротою падающего болида, где доктор Михаил Васильевич Попов в церкви Власия хаживал вместе с просвирней с тарелочкой, где доживала моя бабушка, где Ф. И. Маслов сплотил старых дев и холостяков, где доедались остатки богатств Гончаровыми, где ребенком за ручку водили Павлушу Батюшкова. В Сивцевом Вражке слеп Егор Иванович Герцен, которому Танеев, отец старика В. И., слал каждодневно обед; дочь его, София Егоровна, давала уроки словесности Шуре Егоровой, моей матери. Тут видел я гроб Григория Аветовича Джаншиева, обитавшего в Сивцевом, в квартире присяжного поверенного Столповского; меня здесь водили к кукушке старушки Серафимы Андреевны (к часам

* См.: «На рубеже двух столетий» (силуэт Танеева).

с «кукушкой»); Серафима Андреевна рассказывала о кистах, ранах, опухолях.

Тут вздулась на Мише его пожиравшая опухоль.

Эртели — воспоминания детства о лете в Демьянове, о рое «танеевят» в сарафанах и в красных рубахах, с поддевками на плечах, в картузах на затылке, с подсолнечным диском в руке, с разговором о рези в желудке — в нос барину, Феоктистову, и даже: в нос... государственному контролеру, Островскому, гостящему у Феоктистовых; аромат ананасной теплицы, сапог, терпких конюшен, кумачовых рубах! Среди молодежи — гимназист, поливановец, Миша; в красной рубахе.

— «Здо-о́-о, бгат»,— он картавил, грудь — впалая; силенок — нет.

Володя Танеев — подкову согнет; промозолила руки Лилиша, подтягивая шлею; Бармин, Миша, иль Ваня Буланин свистнут — слышно в Клину; мускулисты, горазды; а Мишенька — лягушонок; не передуться ему до «вола», мужика, здесь выращиваемого в сене конюшен системой Жан-Жака Руссо заодно с ананасом и персиком. Миша выглядит пугалом, которого не боится и галка; не толще бараньей кости; овечьи глаза; врет вместе с прочими: где-то он десять подков согнул.

— «Миша,— плачет Танеева, Сашенька,— как не надоест: что ни слово, то ложь».

— «Да я, гы-ы-ы, Сасенька!»

Весело — всем; всего более — Мише.

Его тем нежнее ласкают, чем больше он врет.

Вдруг Эртели пропали; прошло лет двенадцать: в 1901 году — звонок, в дверях — шарик от головки берцовой кости, оттянуты щеки, грудашка, прилиз нафталинных волос (чтоб моль не ела); усишки как сгрызаны; жидкая горе-бородка, очки; перекатывались, и выглядывая и унывая, карие малые глазки[131].

— «Миша,— вы ли?»

— «Я — гы-ыы-ы... Аександья Дмитгиевна».

Всплыли Эртели!

Мишенька, оставленный при Герье, прекратил ученую деятельность, когда открылась чахотка; семейство, спасая Мишу, уехало под Сергиев Посад; в уединении больной оправился, ведя жизнь аскета; глотал библиотеки, изучал языки, историю культур и религий; руками и ногами писал диссертацию — труд, о котором он говорил, что в нем он соединит методологию с философией культуры, с историей наук и осветит по-новому историю культов; выходи-

ло: надо соединить Гиббона, Уэвеля, Тьера, Карьера, Жореса и Моммсена с Дейссеном, Фразером, Роде, чтоб получить представление о гигантище; в крутое тесто пыжился Мишенька всыпать и экономику, и Маркса, и естествознание; он прибавлял при упоминании о своем «труде»:

— «Мы юди науки».

Том первый — написан; второй — еще пишется; чудесное возвращение больного ученого к жизни — свершилось; теперь ищет связи он с новыми веяньями (две трети рассказа — мне в нос):

— «Не как пыйкий художник, Боинька, а как чеаэк, тьезво гьяжу я на могодые искания».

Подавалось это с умом, с жаром, с весом, с цитатами (Моммсен, Маркс, Куно Фишер, Кант, Конт).

— «Мы юди наюки».

Я думал, вот человек, овладевший историей и доисторией. Подавал руками такие трамплины для наших прыжков в царство будущего; вид же скромного труженика.

Не человек, а клад!

Эртель же, угадавши утопию, во мне жившую, мне ее подал под формой себя; отца очаровал эрудицией; мать пленил памятью о незабвенном Демьянове; веяло чем-то уютным, как... старое кресло, как чепчик с оборками, как часовая кукушка, как шамканье Серафимы Андреевны Лебедевой: об опухолях; понесло в нос — чехлом, нафталином, пыльцою и липовым чаем; каждому давалось право по-своему судить о нем; мне видеть в чехле стилизованную личину; матери подавались Танеевы; отцу — наука.

— «Мы с вами, Ниааай Васильич, тьезво смотьим на увьечения Боиньки».

Отцу это нравилось. Мишенька Эртель частил, предлагая изюминки:

— «Это надо понимать в пьескости тьянсфинитных чисей».

Отец — сиял: историк, а — трансфинитные числа!

Первое явление Эртеля — триумф Эртеля; он ходил: освещать нас; и была уютность в привире, сперва безобидном: маленький недостаток, без которого выглядел бы бесплотным духом; а тут попахивало: псиной, чепцом Софьи Андреевны, нафталином сестры Маруси.

Эртели же!

И привир котировался, как... деяние Моммсена, однажды притащившего с рынка им стибренный в рассеянности цветочный горшок: не вор же Моммсен!

ВЕЛИКИЙ ЛГУН

Скоро арбатский, пречистенский, поварской и хамовнический районы вспахал своим ртом, точно червь, Миша Эртель, в десятках квартир оставляя уверенность: здесь-то и высказал он существо своей тысячегранной позиции; у Масловых был холостяк, их потом обманувши женитьбой; в Демьянове он укреплял биологию В. И. Танееву и К. А. Тимирязеву: парень-рубаха, с «го-го» да «га-га»; мне же он намекал: я — «струя теургии»; поддакивал он Боборыкину: против Астрова; поддакивал Астрову: против П. Д. Боборыкина.

Втер нам всем веру в себя: добр, умен, чуток! Производил чудеса, поднимаяся точно на двенадцать друг на друга поставленных стульев и выглядя выше жираффы, но сохраняя вид... серенькой блошки; и став «аргонавтом», братаяся с Эллисом, В. В. Владимировым, Христофоровой, мной; с П. Н. Батюшковым он лобызался взасос.

Мы — трамплин, от которого он совершил свой скачок: к Сен-Жермену.

Был горазд и находчив: и ввертываться, и вывертываться, выпекая весьма интересные «штуки» из сотен прочитанных книг, в них всыпая заглавия собственного изобретения: на подмогу себе владея французским, немецким, английским, чуть-чуть итальянским, владел-де санскритом, которым никто не владел; и на этих на всех языках он выдумывал литературы; с глазу на глаз филологу цитировал математиков, математикам — филологов, никогда не существовавших.

Чуткость сделал подножием лжи.

Не зная имени Блока, он после прочтения стихов Блока воскликнул в 1901 году:

— «Вот первый поэт!»

Мотивировал так, что увидел Белинского в нем: восприимчивостью — покорял (что ж — актив!); не имея сведений о теософии, но выуживая их у Батюшкова, на ходу подчитал и Ледбитера; поразил Батюшкова Ведантой и Самкьей *, с которыми был знаком: по Максу Мюллеру, и Вейшешикой **, с которой не был знаком; [132] объясняя Ведантой Безант, он ошарашивал Батюшкова, воспринимавшего Веданту: по Безант; так сразу он взял тон учителя.

---

* Философские системы Индии.

** То же.

Эртель и Батюшков спарились; Эртель поревывал о величии души Батюшкова; Батюшков выпускал носом пары, заикаясь о том, что Михаил Александрович человек загадочный, принявший вид привирателя-добряка как подвиг юродства; бедному Батюшкову принадлежит почин пустить ракету о «посвященном»; «аргонавты» ее встретили хохотом; ракетная палка ушибла мозги каких-то старух, которые намотали на спицы: есть-де некий Эртель; но он — «скрывается».

Будет день, и покрывало Изиды спадет с его лика!

Эртель втирал в души Индию как историк древних культур, читавший и Дейссена; пленил он Бальмонта, взяв тон превосходства над ним; Батюшкова перевертывал он — так и эдак, эдак и так: с объятиями, с потрясением рук, поглаживанием по плечу и с лобзаньем взасос: «Дорогой Павел Николаич — гыы-ы-ы». «Дорогой Павел Николаич — гы-ы» выпускал килограммы пара; и взвизгивал:

— «Миша...— как свистком в потолок, с оскалом до ушей; пауза, пых:— глубже, чем о нем думают».

— «Тэк».

И Батюшков впадал в каталепсию размышлений о миссии Миши; Эртель был потрясением Батюшкова; роль «посвященного» свалилась, как на голову снег; он был нервен; мнения о нем в нем пылали видениями «сорока тысяч курьеров»; [133] бледнел, зловеще блистал косым карим глазом, зеленым от лжи; огонь разрывал благодушие, пересыпанное нафталином.

И —

— в кресле сидело нечто — непередаваемое: по ужасу!

Компресс на голову! Навалиться бы скопом, связать, положить на диван! Быт препятствовал: мамаша, сестрица, Танеевы, Масловы; эти не понимали, как может Миша калечить жизни.

Вопили хором:

— «Не обижайте Мишеньку!»

Блюли Мишу и механицизм, и наивный реализм от...— «символистов», поставивших задачу сорвать с него маску; Миша возобновил посещенья Танеевых, являясь в Демьяново, где разгуливал по аллеям с «Аркашею» Тимирязевым (так его называл), с его папашей и с богохульником, Владимиром Ивановичем; когда я поздней написал фельетон-притчу, в которой изобразил Мишу под маской «великого лгуна», то материалист танеевского толка корил меня:

— «Зачем ты ушиб Мишу: он — добрый!»

Последний его приют — Москва восьмидесятых годов; материалист Танеев его защищал.

Перевоплощаясь в каждого, этот Пер Гюнт[134] с остервенением вздувал «болезнь» в каждом, ее унюхав; таская меня по Пречистенскому бульвару, схватывал за руки, катался овечьими глазками:

— «Боинька, пожай теуйгии охватит всегенную».

Делалось — нехорошо.

Когда упирались, то, вдохновленный видением «сорока тысяч курьеров», апеллировал к сочиняемой им литературе несуществующих предметов знания; эти «предметы» вылуплялись из потребности вывернуться, когда его ловили на лжи.

Сперва он врал в мелочах, рассказывая, как плавал в лодке с Харитоненками по залам харитоненковского особняка: в дни наводнения; потом ложь стала причинять неприятности: взволновав Грабаря сведениями о старинных особняках, уверил его, что где-то есть неописанный памятник Фальконета; говорят,— Грабарь лупил за розысками в какие-то медвежьи углы.

Встал вопрос о «труде»: есть ли он? Показывалась не рукопись, а запертый стол, в котором она неизвлекаемо пребывала; явились сомнения, что он знает эпоху Юлиана, которого-де был специалист; вырвали у Мишеньки реферат: «Юлиан»; ждали, сбежавшись к Астрову; Миша, учуяв западню, не явился; вырвали обещание, что через неделю прочтет; притащили Вячеслава Иванова: ловить Эртеля на незнании эпохи; Миша исчез вторично; был пойман — в гостях, откуда его приволокли на извозчике: к Астрову.

Перепуганный лгун, картавя, катаясь глазом, лепетал что-то нищенское; стало ясно: профан;[135] но припечатать его и тут не смогли: мала мышь, да увертлива; перепуганный насмерть, метался меж пальцев Вячеслава Иванова, сконфуженного ролью ловить мышей и по слабости щадившего Мишу.

Стало Мише не по себе в кружке «аргонавтов»; но с тем большим жаром являлся: отвечать на смешки удвоением патоки и учетвереньем объятий, способных смутить и... удава; крался потной рукой ко мне, чтобы... пригладить:

— «Гыы, Боинька, гыы...»

Не плюнуть же в руку!

Являлся подставить и левую щеку и правую, подписываясь под насмешками и правой и левой ногой и рукой.

Шепот рос:

— «Одному посвященному эта кротость доступна!»

Когда я обрывал его, он, придя в раж, ревел: я-де схватил быка за рога. Все так — в обычном разрезе; он-де зажаривает «истины», сообразуясь с законами трансфинитных чисел; вывертываясь, имел вид падающего в пески верблюда.

Где-то шептали, что он меня вырастил, что мои стихи — от него; как и мои ему возраженья; он — «тайный» учитель, ведет-де меня к «посвящению».

Воображенье сумасшедших старух — ужасно!

В 1906 году Эртель заволновал не в шутку:

«Он знает санскрит: перевел «Гориваншу» *.

Миф о санскритологе вырос, как плевелы; полешь гряду, выполол,— вдруг крапивища выросла под носом: так рос санскрит, проходимый сперва с Поржезинским, потом в Посаде, в эпоху, когда Миша, таясь, проходил «пути посвящения»; факт овладенья санскритом — перевод «Гориванши», которая — не переведена.

Оказалось поздней: таки был перевод, по-английски, прошедший незамеченным (Эртель же был чертовски начитан); Поржезинский сделал признание: всех русских санскритологов знает по именам он; Эртеля — нет.

Эртель ретировался: под прикрытие Батюшкова; мать продолжала бывать у «старушки в чепце»; ей подносили — примерного брата, примерного сына: не курит, не кутит, не пьет. В воспоминаниях матери подымалось исконно: лето в Демьянове, липы, запахи дегтя, персика; мать умилялась:

— «Какая старушка! Какой нежный сын!»

Братец с сестрицей появились у матери; Миша попрежнему клал руку мне на плечо:

— «Что, Боинька?»

Был и вздошек: я-де, калиф на час, просиял с его помощью книгой стихов «Золото в лазури», и без него — золото зорь рассыпалось у меня в «Пепел».

Раз ему крикнул:

— «То, что ты говоришь,— круглый нуль».

Глаза Эртеля вспыхнули:

— «Именно: ты схватий, бгат, быка за гога» («за рога»).

— «Ну да: нуй иги эдакая баганка»,— т. е. «нуль или эдакая баранка».

И он показал мне руками, какая баранка: огромная! Верно, пекла Пиритиша: для Миши.

---

* Заглавие философской поэмы [136].

Эртель пропал с горизонта.

Рассказывали, будто с Батюшковым он на бульваре гуляет; ну, — пара: полуперый галчонок с кукушкой без перьев; держа крючковатые палки, они после третьего шага, став сблизясь носами, схватяся руками, трясутся руками-де, их вздергивая от микиток к носам и отдергивая от носов под микитки; де слышится:

— «Гы-ы, Пауша!»

— «Вшзл... Миша... Вшзл!..»

«Вшзл» — звук всхлипа Батюшкова.

Кругом — слякоти, гниль, воробьи.

Эртель стух года на два; вдруг слухи открылись о новой звезде: явился-де оккультный учитель; он-де догремел до Германии; он-де кует магические свои цепи; он знает-де рецепт разведенья русалок; я ахнул: Миша!

Мать попала на его курс; среди слушательниц — Кистяковская, Климентова и Урусова; Боборыкин являлся на Мишу: зарисовать его; мать восхищалась «пастырем» душ: понесло эпидемией.

Я, изучивши канон теософов, взял в руки себя, перепер через строгий кордон, явясь слушателем; встретило зрелище: старый очканчик, полуплешивый, картавый, косой, с жидко-жалкой бородкой, в усиных обгрызках, в потрепанных и незастегнутых штаниках, точно Дионис, терзаемый страстью вакханок, введен был в гостиную роем слащавых, шуршащих шелками старух, лепетавших, как хор приживалок из «Пиковой дамы», вводящих «каргу» в белом чепчике:

— «Благодетельница наша, как изволила гулять?» [137]

Усадивши «каргу», теософские старицы слушали, точно романс, песни о том, как каталися волны любви до создания мира и как в тех катаниях мир созидался. Эртель увиделся мне бабушкой-волком, рассказывающим Красным шапочкам сказку; блистали глаза, став зелеными; щелкали зубы гнилые; слюна разлеталась; сидела старуха: княгиня Урусова.

Я, ощутив себя Германом *, выслушал курс, чтоб поднять пистолет на «каргу»; и — поднял требованием дать список источников (теософы меня поддержали), назвать своего «посвятителя»; знал: шах и мат его теософской карьере! Свой ему шах и мат подготовил я, как верную мышеловку; перехитрил хитреца.

— «Гы-ы... Боинька!»

---

* Герой «Пиковой дамы».

Эртель, как мышь, улизнул, в этот дом не вернувшись: был взорван-таки в собственной штаб-квартире; чтоб он не искал себе новой квартиры, я ухнул в него своей притчею «Лгун», напечатав в газете ее, перечислив проделки «лгуна» (не назвав его имени);[138] все испугались «скандала»; и Эртель притушен был; скрылся, женился; жена взяла в руки его; нашла место учителя; и не пускала его в места злачные, где он пас оккультисток, занимаясь сплошным разведением турусов и «нимф»; «посвященный» исчез; Миша — умник, добряк и жалкий лгунишка — остался; являлся с невиннейшим видом в Демьяново, будто и не было в прошлом сомнительных экспериментов, будто по-стародавнему он — честный позитивист.

— «Гы-гы... Юди наюки!»

Слушали: В. И. Танеев, К. А. Тимирязев и — ...моя мать, оказавшаяся вместе с Мишей в Демьянове и посещавшая его «курсы»; мать не сдержалась, поставив вопрос при Танееве:

— «А с теософией как же?»

Он очками блеснул:

— «Аександьа Дмитгиевна,— я сказай все, что мог: свою миссию выпойний; пусть же дьюгие тепей говогят».

Выходило: зажег теософию, ученикам своим передал ее светоч, ушел в катакомбы: таиться и иогу свою углублять; катакомба — Демьяново; «иога» — поддакивание К. А. Тимирязеву.

А ученицы «великого», прежде меня проклинавшие за удар, нанесенный Мише, попеременно мне признавались:

— «Вы — увы! — были правы».

Лишь Батюшков еще «верил» «карге»; но в двадцатом году даже эта «божья коровка» воскликнула:

— «Предпочитаю... Тэк!.. Мишу не видеть!.. Тэк!..»

И опустила нос.

«И ты, Брут!» — мог воскликнуть Эртель.

Вскоре он умер.

Весьма неприятно оперировать опухоли: гной, пальцы мажутся, грязно; а — надо; в 1910 году я срезал опухоль, назревавшую в круге нас обстававших перезрелых дев, возвращая старой Москве невинно привирающего добряка; «великий лжец», «жрец» — был выставлен, как спиртовой препарат: в музее типов[139].

Встреча с Эртелем — класс изучения шарлатанизма.

Сколько раз шарлатаны встречались потом; я сталкивался с рядом еще не изученных в психике явлений; при них вырастали люди, объявившие неизученные явления

неизучаемыми, но бравшие патенты на их объясненья; тип шарлатана цвел многообразием разновидностей отъявленного до... невинного; на Эртеле я развил особое обоняние, позволявшее потом мне унюхивать шарлатана. Подлец, спекулирующий на доверии,— безобидный «зверь» в фауне шарлатанства; слабые, часто чуткие, часто добрые люди — порою рассадники более опасных бацилл: шарлатан в них даже неуловим. Эртель — тип без вины виноватого шарлатана; в Эртеле виноваты все: я, старушка Софья Андреевна, старик Танеев.

От грубого Калиостро не стоит спасать: опасности Калиостро ничтожны в сравнении с той, которую представлял Миша, «ученый-историк».

ЭМИЛИЙ МЕТНЕР

Вспомните роман «Давид Копперфильд»: Тротвуд, юноша;[140] и — Стирфорс, блеск талантов, старший товарищ Тротвуда; история друзей — себя повторяющий миф; у каждого бывает свой Стирфорс, свой блеск; жизнь отнимает Стирфорса; но сон о нем длится.

Он — кипение юных сил в нас; он — нас отражающее зеркало.

Встреча с Метнером — встреча юноши с сильно вооруженным мужем, поражающим воображение; я, Эллис, Петровский имели возможность обобществить наши опыты: борьбы с бытом; связь «аргонавтов» — попытка утилизировать опыт каждого как ценный и независимый; для изучения науки надо было Эллису записаться на семинарий по Марксу; мне — записаться на класс литературоведения Брюсова, на коллоквиум по истории церкви — к Рачинскому; но ни у Брюсова, ни у Рачинского не учился я связывать интересы: в культуру; в кружок «аргонавтов» шли: увязать в культуру знания каждого; не мои стихи интересовали меня, а социологический опыт Эллиса, исторический — Эртеля, теоретико-познавательный — Шпета, уже поздней временно подходившего к нам.

Метнер был старше на несколько лет в эпоху, когда «на год ранее»— значило: на метр глубже в трясине рутины; десятилетие боролись с нами; а с футуристами — года полтора.

Брюсову было труднее, чем нам; с 93 года оскалился он; на его же плечах мы с Блоком проходили в литературу.

Метнер был в возрасте Брюсова; жил же он в полной закупорке; сфера Брюсова — уже; музыка не интересовала его; он не был мыслителем; в Метнере же схватились: мыслитель и композитор тем, которые прозвучали в культуре Запада запоздалым откликом на думы его юности,— у Шпенглера, у Чемберлена, у Файгингера и у Вейнингера; они — шире, богаче, свободней жили в душе молодого Метнера, как подгляды лишь.

Не было литературы предмета: не было в литературе «предмета»; «предмет» — культура мысли вместо истории философии; не было постановки проблемы музыки как смысловых волнений сознания; читали историю в архиве документов; не было представления о палеонтологической психологии,— о том, что ископаемый птеродактиль в ребенке, пробегающем ракурс всех исторических и доисторических фаз, жив в кошмаре о драконе, миф о котором — итог опыта передачи памяти о встречах первых людей с последними птеродактилями[141].

Все это поднимал Метнер из своей катакомбы. С необычайною яркостью — без литературы, без отклика.

Более богатый культурой, чем Брюсов, он был замурован без единой отдушины; никто не слушал; не умел сказать; не было и трудов, на которые он мог бы сослаться. Ницше и Гобино еще не были в России известны; и он хватался... за Константина Леонтьева, за Аполлона Григорьева, ломая в себе труд «Философия культуры»; напиши он его,— многие бы твердили: «Это — *по Метнеру*»; мы же часто твердим: «Это — *по Шпенглеру*»; но труд, не написанный им, в сознаньи моем перевертывал свои страницы[142], играя яркою краской; две им написанные книги — «Музыка и модернизм» и «Размышления о Гете»[143] — бледные перепевы им уже сказанного.

По Эртелю знаю: и «ничто» может казаться «всем»; по Метнеру знаю: и яркий талант мимикрирует подчас неудачника; иные таланты с легкостью выражают себя; потенциям гения присуще рубище нищего; в Метнере жило — нечто от «гения»; но «гений» в нем — обрел рубище.

Как луч из окошка, погас за окошком.

. . . .

С Метнером познакомил Петровский: в 901 году.

— «Что там!— отмахивался он,— поговорите с Эмилем Карловичем: вы с своим Шопенгауэром, а он — по Канту».

Метнер да Метнер!

Я досадовал; мои мнения угонялись крокетным шаром: от шара Метнера; подать Метнера!

Петровский, выпятив губы, силясь выговорить, торопясь,— вспыхивал:

— «Эмилий Карлович слышит в оркестре каждую фальшивую ноту; братья Метнеры кидаются друг на друга по окончании симфонии и, не сговариваясь, восклицают: «Две, Коля, ошибки!» — «Две, Миля, ошибки!» — «Ужасно!» — «Чудовищно!» Где нам с вами: куда уж!»

И, убив меня, облизываясь, как кот, Петровский прибавлял:

— «У Эмилия Карловича брат, Николай,— сочиняет: замечательный пианист и композитор; он — произведение рук Эмилия Карловича».

Петровский, бывало, кого-нибудь возведя в перл,— им гвоздит: где уж, куда уж,— не Метнеры мы!

Выяснилось: Метнер — западник, немец с испанскою кровью; отец его — имел дело;[144] а прадед, артист, был знаком с Гете[145], которого Метнер боготворил, состоя в «Goethe-Gesellschaft» и заполняя библиотеку трудами «Goethe-Gesellschaft»; [146] еще гимназистом Петровский заходил к Метнерам.

Раз шли с ним арбатским районом; вырос стройный, эластичный мужчина в карей широкополой шляпе, в зеленовато-сером пальто; бросились: узкая клинушком каштановая борода и лайково-красная перчатка, подымавшая палку, когда он остановился как вкопанный, точно внюхиваясь расширенными ноздрями тонкого носа и поражая загаром худого, дышавшего задором и упорством лица.

Вдруг лицо взорвалось блеском больших зубов с волчиным оскалом и вспыхом зеленых глаз, пронизавших насквозь, когда он, сорвав шляпу, ее уронил к тротуару, отвешивая четкий поклон и косясь исподлобья; длинные, жидкие, но кудрявые пряди волос с ранней лысины трепанул ветер; я увидел надутые височные жилы и линии костей черепа, сросшиеся буграми.

Глаза угасли: задержь, напоминающая оцепененье щетину поднявшего волка, готового и к скачку вперед, и к легкому скоку от нас в глубь переулка. Петровский представил:

— «Эмилий Карлович Метнер».

Настороженно вперились друг в друга; запомнилась поза Метнера: подозревающий задор, дразнимое любопытство, могущее стать и угрюмым молчаньем, и жестом детской доверчивости. Впоследствии мне казалось, что в миг первого столкновения на улице всплыл лейтмотив отношений, и бурных и сложных, где и пиры идей, и ярость вза-

имных нападок пестро сплетались до первого разговора, единственного, длившегося года в поединке взаимопроницания, признания, отрицания.

Памятна пауза немой стойки — до первого слова:

— «Здравствуйте».

У Диккенса есть такие моменты, когда он рисует судьбу.

Метнер отчасти — судьба; фантазия наших моральных игр воплощена книгоиздательством «Мусагет»; друг трудных часов жизни и оскорбитель ее светлейших моментов — и утешал, и нападал бескорыстным разбойником, ударяя по фикции снящегося ему «дракона» на мне, введя в жизненный быт символы «Кольца нибелунгов» Рихарда Вагнера и чувствуя себя в им созданном мифе убиваемым Вельзунгом; * лейтмотив «вельзунгов» — его рассказ о себе: для меня он и жизнь читал ухом, иллюстрируя ее сцены сценами боя Гунтера с Зигмундом, освобождением Брунгильды, ковкой меча **, чувствуя себя бродягой по лесным трущобам Европы пятого века, а не туристом, пересекающим — Берлин, Дрезден, Цюрих, Москву, где он обитал, как древний германец в пещере, а не в домике Гнездниковского переулка (окнами в окна квартиры д'Альгейма, воспринимаемого Хагеном ***); в поднятой пыли цивилизации видел он дым пожара Вальгаллы; его девиз: сечь голову Фафнера **** и выслеживать подлого гнома, Миме, выславшего Хагена: вонзить меч в беззащитную спину Зигфрида [148].

Ликом древнего мифа поглядывал он на нас.

— «Посмотрите,— бывало, толкает меня, показывая в Обществе свободной эстетики на модного журналиста:— Что за ужимки, каков подлец!»

Хагеном виделся ему и д'Альгейм, выросший из Миме-Листа;[149] «Дом песни» — ловушка для Зигфридов двадцатого века, которых-де миссия — культура Гете, Бетховена, Канта; бьюсь об заклад: и занятие Рура негрскими легионами переживалось бы Метнером в унисон с «Домом песни» д'Альгеймов, подготовлявших, по его мнению, ядовитую музыкальную смесь: из Гретри, Мусоргского, Листа.

Мифом он оперировал, точно формулой, исчисляя события будущего и порою кое в чем предвидя их тонко; для него миф — и Берлин, и Москва, и угол Кузнецкого Моста,

---

* Древний род, изображаемый в «Кольце нибелунгов» [147].

** Темы «Кольца».

*** Хаген — убийца Зигфрида.

**** Дракон в «Кольце нибелунгов».

и Лейпцигерштрассе; отсюда его — требовательность к друзьям и удесятеренная настороженность: мелочь жизни — симптом-де; в атомах воли бьет-де мировой пульс; людские дуэты и трио — молекулы-де химического сцепления: в мелодиях мирового ритма; от того, с кем дружишь, зависишь; химия качеств — не изучена; в каждой группке людей — иная она; мы не знаем, какие ядовитые или полезные свойства для целей вселенной приготовляем мы, дружа с тем, не с иным; отсюда — его придирчивость к слову и к каждому жесту того, на ком сосредоточивал внимание он.

Все то, поздней сознанное, встало тональностью перед тумбой арбатского переулочка, где столкнула нас лбами судьба и где мы перебросились незначащими словами; потом встречались издали, хватаясь за шляпы, настороженно косясь.

И шли мимо.

Первый разговор — моя встреча с ним в Колонном зале тогдашнего Благородного собрания[150].

На генеральной репетиции Никиша мне издали бросились: темно-зеленое пальто и красная перчатка, сжимавшая крючковатую палку; Эмилий Метнер скользил, как волк в чаще, в давке людей, скрыв усами зажатые губы, со вздернутыми плечами, с откидом долихоцефального черепа: не то художник, не то франтоватого вида брюзга, не то рыцарь, не то вор,— викинг-волк, Вельзунг.

— «А? вы?»

Мы сели рядом; как собака на стойке, пружинно-четкий, он молча впивал деловитые разъяснения Никиша, когда тот, трижды махнув дирижерской палочкой, рукой обрывал оркестр, бросая с пульта:

— «Aber hier müssen Sie...» *

Метнер же, подняв плечи и закосясь вопрошающим глазом, стискивал в руке шляпу; и поражало, что мало осталось длинных волос и что крепки кости фигурного черепа; вдруг, не выдержав собственных мыслей о Шуберте, Никише, себе и мне, он, упав локтем в колено, задирижировал кистью руки, отбивал такт ногой, напевал в ухо:

— «А... а?.. Слышите... Ти-та-та... Ну, что?.. А?»

Не дождавшись ответа,— бросал: не мне, не себе:

— «Дик мотив под токкато: сквозная веселость; под ней — страх... Великолепно... Та-та́»,— напевал он, принимаясь вгонять обертон впечатления всей живой панто-

* А здесь вы должны... *(нем.)*

мимой в... проблему культуры приведением в параллель к теме рои напеваемых фиоритур из Бетховена, Шумана — в ухо мне: с подкивом на Никиша; и случайная мелодия становилась связью мелодий, из которых звучала полная блеска дума его: и о Шуберте, и о Никише, интерпретаторе Шуберта.

— «Вспомните: у Фридриха Ницше...»

И — что это? Фридрих Ницше собственною персоною встал как бы для меня на пульт, заслонив дирижера Никиша.

Я ж разевал рот на комментатора никишевских комментарий не к це-дурной симфонии[151], а к европейской культуре, в лекции о которой он мне превратил репетицию Никиша простым подчерком музыкальных тем и их смысловым раскрытием в связи с философией.

— «Культура есть музыка!» — по Новалису резюмировал он.

И, отдернувшись, тянул клин бородки — в звук труб, в ветер скрипок.

К концу репетиции не Никиш отдирижировал Шуберта,— Метнер отдирижировал Никиша: во мне.

И бросил:

— «Идем к Никишу».

Никиш стоял в пустом зале; казавшийся издали и высоким и стройным, вблизи казался он толстою коротышкою; Зилотти ему подал шубу, лицом зарываясь в меха; Метнер обменялся с Никишем несколькими словами; я их наблюдал:

— «Дирижер оркестра и дирижер душ!»

Таким увиделся Метнер.

Бетховена, Гете и Канта он мне вдирижировал в душу; ему философия была только нотой в культуре, которая виделась симфонией, где инструменты — «великие» личности-де.

Прощаясь с ним, недоумевал, почему мы не условились встретиться; шел... с репетиции на лекцию профессора Анучина и... не дошел; представилось жевание резинки после... бокала шампанского, поданного мне: Шубертом, Никишем, Метнером...

Когда вышла «Симфония», Метнер решил: автор — я; вскоре же резкий звонок; Петровский и Метнер с лукаво-веселым лицом, без волчьей настороженности,— в том же пальто, в той же шляпе и с тою же крючковатою палкой. Он мне подмигнул:

— «Идемте гулять».

Вертя тростью, подталкивая под локоть, с веселыми каламбурами скатились по лестнице — в воздух, под солнце; он несся по Денежному переулку вперед; и Петровский едва нагонял его; розовела заря за заборами; светились белые гроздья сирени; он палкой показывал — в зори.

— «Симфонией» дышишь, как после грозы... В ней меня радуют: воздух и зори; из пыли вы выхватили кусок чистого воздуха, Москва — осветилась: по-новому... «Симфония» — музыка зорь;[152] брат отметил зарю; у него есть мотив: титета, татата»,— напевал он.

Он мне окрестил этот год, назвав его годом зари.

А прохожие, верно, дивилися мужу и двум оголтелым студентам; вот — Смоленский бульвар, вот — Пречистенка, где Кобылинский подчеркивал мне пыль тротуара. Здесь именно Метнер увидел зарю, осветившую нас косяками.

Метнер отстаивает личность: вскочивши, согнувшись, рукою схватился за бок, он другою, в перчатке, сжимающей палку, как бы рисовал силуэты значительных личностей; с невероятною силою невероятных размеров из слов его встает лицо Ницше.

— «Нет, нет, я — за личность: Перикл начинал говорить перед массой, как перед неким хаосом; словом учителя своего, Демокрита, он организовывал толпы, влагая смысл в смысл, точно вписывал в круге круг; когда кончал, то стоял каждый в круге своем; уже не было массы, а был организм, средь которого стоял Перикл образом самого Логоса: вот человек!»

Метнер задирижировал душами, гармонизируя их устремленья: в усилиях вырастить близкую тему в другом становился тираном он, подозревал и подглядывал, переворачивая все ваши мотивы, ощупывая их изнанки, врываяся в жизнь, угрожая разрывом мне; он впоследствии мне говорил: спутница же жизни моей[153] отделяет меня — от меня самого.

— «Она есть «королевна» из вашей «Симфонии»; за ней — Клингзор[154], Петр д'Альгейм, с Листом, с католицизмом, с больною мистикою; он вас погубит,— я вам говорю... Гете не одобрил бы вас: вам нужна «Сказка» московской «Симфонии»[155] — не «королевна».

И уже миф возникал в нем; он подхватывался и д'Альгеймом, но им развивался обратно: Альберих-де *, Николай Метнер, подкапывался под «Дом песни»; д'Альгейм в

* Злой гном в «Кольце».

безысходной тоске из окошка косился на окна противоположного дома, где Метнеры жили; оттуда же Метнер — косился: на окна д'Альгейма.

И весь Гнездниковский разламывался для нас; две культуры, два воина: француз д'Альгейм нес дар Франции, т. е. отраву для Метнера, немца, вербуя в отряд своего родственника, француза Мюрата, профессора Л. А. Тарасевича, С. Л. Толстого, княгиню Кудашеву и всех Олениных; за Э. К. Метнером шли: Гольденвейзер, Морозова, Шпет, Эллис.

Слушали:

— «Или — со мной, или — с Метнером!»

— «Или — со мной, иль — с д'Альгеймом!»

Рос миф уже не о «руне», а о «золоте Рейна», которое выкрали гномы; и Метнер, оскалясь, чувствовал: гибель Вальгаллы; и Вольфы, и Вельфы, и гвельфы, и гибеллины[156] — сливались в одно: в мифе Метнера; эпоха Аттилы — с эпохою Фридриха Барбароссы связывалась двадцатым столетием, централизуяся здесь, в Гнездниковском; мы с Эллисом и с Соловьевым — Арбат утверждали, а Метнер с д'Альгеймом — район Гнездниковского, между Тверской и Никитскою. Впоследствии, когда искал себе он псевдоним, я сказал:

— «Искать нечего: «Вольфинг» *.

«Вольфингом» стал[157].

. . . .

Сквер у храма Спасителя — порог к дружбе; летом 902 года он напечатал в провинциальной газете обо мне фельетоны;[158] его критика лишь подчеркнула: «Симфония» — не в сумасшедших домах (мысль Л. Л. Кобылинского), вовсе не в «мистике» (мысль Соловьевых) и не в «архиереях» (Рачинский), а в символе радости, в «Сказке» (героиня моей первой книги).

И я радостно согласился[159].

Осенью 902 года я стал ежедневным гостем уютной квартирки, наполненной звуками Шумана и Николая Метнера; великолепный, сухо-стройный лысый старик в синих очках, с бородкою а-ля Валленштейн, белой, как серебро, Карл Петрович, зорко внимал нам с милой супругой, урожденной Гедике;[160] а композитор, брат Коля,— квадратный, кряжистый, невысокий, с редеющими волосами, с лицом молодого Бетховена, с медвежьей неповоротливостью силился передать свою мысль; не находя ее, он

* Вольфинги — род (см. «Кольцо нибелунгов»).

сердился, хватаясь за спички и пережигая их в пепельнице (его привычка), поглядывая строго и мило напряженным лицом с морщиной на лбу, со стиснутыми губами: как паровоз на парах, он пыхтел, себя сдерживая и слушая нас; было усилие понять ритмы Тютчева, Пушкина, музыку к которым замыслил; о Гете судил он словами брата[161].

Много было от детской мешковатости в строгом крепыше этом; и «Миля», брат, разъяснял культуру ему, работая над ним, как педагог-художник.

Как «икарийским» играм предавались мы с «Милей» над чайною скатертью, а «Коля», брат, молча пыхтел, пережигая в пепельнице за спичкою спичку; вдруг, бросившись вперед тяжелым квадратом корпуса, падая руками на скатерть, со строгим вопросом, скрипя своим стулом: «Позвольте».

Поняв,— откидывался, оглядывая нас; и валился в пепельницу: пережигать спички.

Раздавались звонки; являлись женатые братья: хорошо одетый остряк, в стиле Диккенса, брат Карл Карлович и молодой Александр Метнер с испуганными голубыми глазами; являлась сестра, Софья Карловна, ее муж, Сабуров, тривиально самоуверенный, немолодой и неглупый художник Штембер, родственник Метнеров; многочисленное семейство внимало «Миле», верховоду и дирижеру.

Бывали: и нервный Г. Э. Конюс, и флегматично-надутый, тяжелый, чернобородый Гедике, и нервно-неудовлетворенный, восторженно-впечатлительный худой блондин, Александр Борисович Гольденвейзер, чтитель «Коли», к которому сразу же я почувствовал тягу.

Придешь — все на цыпочках: Карл Петрович, Александра Карловна, братья Александр и Карл, сестра Софья, Сабуров и Штембер:

— Тсс... Миля — работает... Тс... Коля сочиняет.

Николай Карлович чувствовал ужас к столовому ножу и к яичной скорлупе; ему разрезали мясо и Александра Карловна и сестра Софья; Сабуров и Штембер очищали яйца от скорлупы; Эмилия Карловича сражали задохи; и он капризничал, слушая, как произносят сентенции «Мили» словами «Мили» — брат Карл, брат Александр, Саша Гедике; великолепный старик, с белою, как серебро, бородкой а-ля Валленштейн, вынимая сигару из рта,— бывало, старается:

— «Толпа, Миля, становилась цельным организмом, среди которого стоял Перикл, как мне кажется».

— «Вы не о том, папаша».

Великолепный старик с белою, как серебро, бородкою а-ля Валленштейн, бывало, с достоинством поправляет синие очки:

— «Я хотел только выразить, Миля».

— «Хотели сказать,— нервно схватывается руками за кресло Э. К.,— что у Шумана музыкальное напряжение обратно Бетховену».

— «Вот именно»,— обретал точку опоры папаша, стараясь усвоить мысль «Мили», чтобы через день выпорхнуть с сигарным дымком:

— «Я хочу сказать, Карл, что у Шумана музыкальное напряжение обратно Бетх...»

— «Весь вопрос в том...— вскакивал, бросая салфетку, Миля, за день углубивший вопрос; и, простирая руку над скатертью, супом и «Bier» *, как над бездною,— весь вопрос в том, что вопрос не так прост, как некоторые полагают...»

«Некоторые» — Э. К. за день до этого.

— «Конечно: хотя...» — следовал анализ «хотя»; «однако» — следовал анализ «однако»: великолепный, блистательный.

И мамаша, я, Карл, Александр, Николай и Сабуров, бывало, моргаем и рты разеваем: ножи выпадают из рук; проливается «Bier» на чистейшую скатерть; папаша внимательно вслушивается: усвоить и выразить:

— «Толпа, Коля, становилась организмом, когда к ней Перикл говорил, хотел я только сказать,— Алексей Сергеевич: весь вопрос в том, что вопрос не так прост, как мы все полагаем,— сигарой на нас,— потому что хотя музыкальное напряжение, Миля, у Шумана...»

Милый старик: он упорно учился, годами учился у Мили; выучивался — шаг за шагом; и выучившись,— он учился дальнейшему; в десятилетиях здесь вычеканивалось восприятие музыкального слуха: и уха и духа; студия музыковедения, а не квартира директора фабрики; в студии этой учились и Конюс, и Гедике, и Гольденвейзер; почтительно ухо склонял Кусевицкий; считался с ней Скрябин; здесь высидели высший тон музыкальной Москвы: Кашкин, Кругликов, Энгель, тогдашние музыкальные критики, тону внимали; но Альберих — злой Каратыгин, тащивший культ Регера, Миме — д'Альгейм,— в свою очередь Листа тащивший,— единственные исключения; произнесите-ка здесь «Кара-тыг...» — и с Эмилием Карло-

* Пиво *(нем.)*.

вичем приключается: странный вздох, лицо — в пятнах; нарушалось равновесие в ухе, когда упраздняется Бах, творец «Wohltemperierte Klavier» *,— целотонною ** «какофонией» Регера.

Регер и Лист — враги дома.

Братья — Карл, Николай, Александр и Эмилий, и Штембер, и Конюс, и Гедике, Саша, вскочив с налитыми кровью челами, взволнованно перебивая друг друга, ножами, бывало, стучат по столу; а Сабуров, немой, белокурый,— метается молча.

Милые люди!

. . . .

Э. К. часто искал подкрепления к мысли своей в музыкальных примерах:

— «Ты, Коля, дай «Клара Вик»[162].

Коля с пыхом усаживался за рояль.

— «Тата-ти-тата́... А?— севши рядом со мной, подняв плечи, Э. К. наклонялся к глазам моим.— Вы понимаете?.. Коля, дай первую тему сонаты своей: татата́-тата-та́».

«Коля» корпусом падал, скрипя табуретом, на клавиши, точно битюг, выволакивающий грузы мыслей взволнованного, захватившего руку мою брата «Мили», к заре вывозя ее; «Миля» же тряс карандашиком над моим носом:

— «Монашенка вашей «Симфонии» — а?.. Коля,— тему вторую: тари-тара-ра́...— лицо наклонив под лицо.— Тема «Сказки», встречающей вашу монашенку: не узнаете себя?»[163]

Узнаю, узнаю,— и подскакиваю в непомерном волнении:

— «Заря? Наша?»[164]

— «Стой, Коля!»

Коля стирает испарину и ожидает: чего еще? Но брат — не требует: став золотым и светящимся, он говорит про гимн к радости (тема Девятой симфонии):[165] музыка в ней — культура; в ней — будущее; так, связав образ «Сказки» *** с мелодией брата, с культурой по Гете, он Гете, Бетховена, Канта, меня, нас — сплетает утонченными аналогиями в стиле Шпенглера: за восемнадцать лет до появления книги его;[166] а за окнами взвои метели ноябрь-

* Рояль, изобретенный Бахом путем слияния минорных и мажорных полутонов.

** Целотонная гамма развоплощает синтез звука, произведенный Бахом.

*** «Сказка» — действующее лицо моей «Симфонии».

ской; снежинки мельтешат; и тему метели, как тему зари, во мне поднял он — в 902 году: брат за стеной сочинял первый опус, свои «Stimmungsbilder»;[167] в нем звуки метели даны; за окном — купол церкви; зеленая мебель. А Гете глядит со стены:

. . . .
Бывало, вьюга песнь заводит...
К нам Алексей Сергеич входит *.

И дуэт становится трио: я, Метнер, Петровский. Присоединяется брат, Николай: и — квартет; Метнер вскочит:

— «Снежинки, первые... А? Гулять?»

Вихрь снежинок: сквозь них — мы несемся; мельк улиц: Никитская, Арбатская площадь, Пречистенский; пес ободранный стоит, подняв ногу на снег, а лукавый Петровский показывает на него и подмигивает:

— «Брат, писатель...— и мне:— Есть ведь в участи вашей — суровое нечто».

Метнер, встав подбоченясь, другою рукою схватив за руку:

— «Ваш лейтмотив — прилагательные, как в «Симфонии» фраза: «Невозможное, грустное, милое, вечно старое и новое: во все времена...»[169] А где существительное? Его нет; вы — найдите его».

И меня озаряет подгляд: как найти?

Метнер — соединитель людей; из них строил фигуры культуры он; вот почему его культ — отношение к людям: таким-то, таким-то; какие чудеснейшие составлял трио он? Метнер, Эллис и я — одно трио; оно родило «Мусагет»; я, Петровский и он — трио тоже: другое; Морозова, я, он — опять-таки трио; он в каждом — иным был; и я, им вводимый в фигуры людей, им задуманные, изменялся; соединяет, высматривает, не родится ли новое *качество* соединения; для качеств он опыты производил, точно химик; культуру же видел он в коллективочках маленьких; ждал, что из эмбрионов разовьется то, что называл существительным:

— «Невозможное... милое... новое... Где ж существительное? Его нет».

Я — искал; а пока его не было, тростью своей сквозь снежинки порхающие на зарю нам показывал Метнер: он

---

* Из стихотворения, посвященного Метнеру. Алексей Сергеич — Петровский [168].

верил в нас; ждал все чего-то, нас соединяя: ревновал, мучил, требовал.

— «Сами-то вы почему такой робкий на людях: смелее, Эмилий Карлович: вы предводитель!»

Махнувши рукою, темнел:

— «Я ведь «вельзунг», преследуемый: нянька я».

Странно робел в большом обществе.

Раз принялся развивать мне переживания своей жизненной темы, после того, как напел лейтмотив свой: «тата-татата́» из «Кольца».

— «Тема «вельзунгов»... Вы понимаете, Борис Николаевич,— глаза зажмурил и слушал,— такая в ней тонкая сладость, что сердце мое останавливается,— мне в ухо шептал перепуганным шепотом: — в ней — любовь к гибели... Знаете: я болел самоотравлением организма на почве переживаний...»

И с детским испугом:

— «Перед болезнью и ночью и днем моя кровь запевала мотивами «вельзунгов», переплетенными с «гибелью Вальгаллы»; казалось, что выпил я солнца: и солнце во мне стало ядом: смерть солнца во мне — моя тема, мой рок... Бойтесь темы моей: она вам угрожает: «Зачем этот воздух лучист, зачем светозарен до боли»[170] — у вас с стихотворением; «светозарен, как яд»,— во мне воздух культуры моей».

— «Что вы, бросьте, себя вы не видите».

— «Не утешайте: проиграна жизнь... Тридцать лет: неудачник, задох этот странный; нет, кабы не Коля, которому нужен, то... Кто я? Юрист[171]. Дирижер вроде Моттля во мне не нашел выражения».

Пробовал он усложнять свои трио — в секстеты, в декады людские, ища гармонического коллектива и складывая нас в него; Шпет, Рачинский, я, Эллис, Петровский, Нилендер, Сизов, Киселев, Степпун, Коля, брат, Блок, Яковенко, Иванов — таков коллектив «Мусагета», позднее задуманный им и приведший не к химии нового качества, высеченного им из нас,— только к фыку и рыку и брыку сплошных какофоний, в которых метался, за уши хватаясь; «редактор» задумал голосоведение редакционной симфонии: я — виолончель; скрипка — он; Эллис — медные трубы; Шпет — скепсис фагота; Нилендер — флейтист; барабан, две литавры — Рачинский.

Сорвался он: заголосили все сразу, являя собой разложение звука, в котором окрепла гнусавая и деритонящая отвратительно, нас разлагавшая дудка: дудел... Кожебат-

кин, непрошено Эллисом втолкнутый в «Мусагет»; Метнер удрал под Москву; он, обрившись, затиснувши зубы, глаза погасив, надев маску «редактора», мертво-сухую, как мумия гальванизированная, появлялся, в редакторской комнате прячась: в неделю раз; надев очки, заткнув уши, он сухо выслушивал и — полагал резолюции; а за стеною: бубнил литургически громкой литаврой Рачинский; и флейтой орфической плакал Нилендер; но все заглушал скрежет стекол разбитой бутылки из-под коньяка,— кожебаткинской.

В 1912 году, не умея справиться с хаосом, водворившимся в редакции «Мусагет», набитой слишком культурными людьми, способными проговорить год о том, печатать или не печатать брошюру, и при этом наговорить толстый том ценнейших комментарий к никчемной брошюре,— исстонавшись от такого обилия красноречия, Метнер — шапку в охапку, да из Москвы за границу, куда я бежал раньше его, тоже исстонавшись в тогдашней Москве; за границей его застала война.

«Мусагет» же остался без редакции.

. . . .

Осень 902 года — перманентная моя беседа с Э. К. переродилась в пятилетнюю переписку: мы бурно встретились в 1902 году, бурно дружили всю осень, потом виделись редко (он не жил в Москве);[172] появившись вновь с 1907 года, он прочно вошел в наш дружеский коллектив; появлялся у Рачинского, у Морозовой, у д'Альгейма, у меня, у Эллиса, став членом Общества свободной эстетики, а потом и заведующим музыкальным отделом «Золотого руна», о котором отзывался с юмористическим ужасом; с 1909 года он стал серьезно искать возможности иметь нам журнал или книгоиздательство.

Результат его усилий — книгоиздательство «Мусагет», начавшееся с широчайших планов и севшее на мель: с 1912 года.

Моя беседа и переписка с Метнером до начала недоразумений с ним не имела перерыва; прощаясь, мы как бы говорили друг другу: продолжение следует; встречаясь, продолжали неоконченную фразу нашего речитатива. Нескончаемый разговор — о культуре Канта, Гете, Бетховена, Вагнера, которых он впервые приподнял передо мной, усиливаясь меня ввести в «гетизм»; последний без него воспринял бы я как-то академически; он молился на Гете, мечтал едва ли не о «церкви» гетистов; музей гетевских реликвий был ему «храмом»; в нем он «молился»; но он

имел несчастную тенденцию подтащить к Гете Канта, которого воспринимал совершенно мифически; его Кант не имел ничего общего с Кантом подлинным; ошибка Метнера — неучет Гете-естественника; впоследствии выяснилось: великолепно комментируя строчки «Фауста», понимая, как никто, содержание лирики Гете, он элементарно путал там, где выступал Гете-натуралист.

Во время наших встреч 1902 года он усиленно занимался материалами к биографии Ницше[173] (впоследствии, в Веймаре, познакомился и с сестрой Ницше, и с ближайшим другом Ницше, Петером Гастом, которого пригласил сотрудничать в «Мусагете»); он многое мне разъяснил в стиле Ницше, сближая Ницше с романтиками и с поэтом Гельдерлином; он играл огромную роль в жизни своего брата, композитора; в нашем кругу он был органом связи с музыкантами; его ценил, но боялся до нелюбви Скрябин.

Метнер мне постоянно подчеркивал все опасности «мистицизма»; и — неизбежное перерождение в мистику иных нот романтизма; под влиянием разговоров с ним я написал в 1911 году статью «Против мистики», напечатанную в «Трудах и днях»[174].

В 1902 году все темы нашей десятилетней дружбы им были подняты передо мной, так сказать, с места в карьер.

Однажды, в начале ноября 1902 года, зайдя к нему, я застал его в возбуждении; ткнувши руку в окно, он мне бросил:

— «Что вы видите? Церковь?.. Я завтра венчаюсь в ней... А послезавтра с женою я — в Нижний; совсем; вы же — шафер!»[175]

Как обухом по голове.

Так и было: женившись на А. М. Братенши, уехал он; я был у него в Нижнем в 1904 году; мы оживленно переписывались; вскоре в Нижний послал ему стихотворение «Старинный друг»;[176] в нем описывалось возвращение сквозь сон позабытого, древнего друга, зовущего из катакомбы — на солнце, на воздух: к свободе; он тотчас ответил: «Старинный друг — я». В конце же стихотворения появляется гном, или Миме; он нас заключает обратно в гроба[177].

Через тринадцать лет понял: эти «гроба» — разделившие нас идеологии, о которых разбилась прекрасная дружба: с 1915 года уже не встречались мы;[178] Метнер стал — «враг»[179].

РАЧИНСКИЙ

Кобылинский, Батюшков, Метнер — не старшие; первым из старших внезапно и бурно примкнул к нам Григорий Алексеевич Рачинский, заведясь сразу же на всех тропах; каким вбежал, таким и дымил.

О Рачинском стал слышать с 901 года; а в 902 он уж вот — в дымках рядом; не помню, когда стал бывать у него и когда стал врываться ко мне он: журить, покровительствовать[180].

Он — строитель моста к нам: из стана «старцев»; трубач, стягоносец и бард, он приходит — со стягом враждебного лагеря, с длинной трубою: трубить, веять стягом; отвеявши и оттрубив, трубит, веет «старцам», среди Трубецких и Огневых впервые поднялся глухой, защищающий меня голос; у нас он твердил: надо-де понимать и Лопатина; «им» он меня разъяснял; мне развертывал взгляды о Логосе: по Трубецкому; в прекрасном усилии сделать понятными нас, молодежь, старикам, он «их» обегал с Белым, с Блоком в руках; а нас обегал он с Новалисом, с Гете и с Пушкиным.

Г. А. Рачинский — двоюродный брат С. А. Рачинского, профессора ботаники, ставшего сельским учителем в селе Татеве, корреспондента Толстого[181] и — скольких; художник Богданов-Бельский изобразил его в рое мальчат. С юных лет эрудит, вытвердивший наизусть мировую поэзию, перелиставший философов, всяких Гарнаков, Г. А.— энциклопедия по истории христианства, поражавшая нас отсутствием церковного привкуса; нам казалось, то, что именует он мировоззрением,— энциклопедия, а что считает досугом — канон его.

Жил он — в центре[182], в крошечной квартирушке, набитой книгами и украшенной, как бомбоньерочка, вышивками из Абрамцева; скучающе поднимался на верхний этаж: отбыть службу, о которой он не любил говорить, живя связями с рядом ученых обществ; казалось странным, что яркий эрудит — не профессор; отбывал служебную повинность ради хлеба, освобождал себя от повинности: подпирать устои; в рое профессоров Г. А. Рачинский мелькал яркостью стремлений и жестов с подергом, являя контраст с седоватой бородкой, с профессорскими золотыми очками.

Жена — рожденная Мамонтова;[183] Г. А. плавал в стихии искусств: старик Поленов, собиратель картин Остроухов, Серов — друзья дома Рачинских: Г. А. был культурою

«Мира искусства» — до «Мира искусства», вынашивая платонически лозунги Абрамцева: с Якунчиковой, Серовым, Коровиным, Врубелем, но и великолепно разбираясь в классиках-итальянцах; поклонник Баха, Генделя, Глюка, понимал Скрябина, восторгался музыкой Метнера и д'Альгеймами.

Ходил по Москве парадоксом; староколенный москвич с «традициями» сороковых годов, рукоплескал всему смелому, унырйвая из быта, с которым видимость створяла его; чтимый профессорами, им зашибал носы озорным духом. То, чем пленял нас, его умаляло в быту, где исконно вращался он; котировали его остроумцем; он импонировал фонтанами текстов: на всех языках.

Не ценили способности тонко вникать, понимать, а ценили — личину его, эрудицию, которая в нас вызывала протест, когда он наш жест, рвущий с компромиссами, утоплял в цитатах. Но архаичность Рачинского эквивалентна дерзости его приятия нас.

Э. К. Метнер явил подвиг бунта — из одиночества; а Рачинский являл давний надлом: перебой холерических взрывов и меланхолической мрачности; бунт его — по кривой рикошета; «служба», как фига: Янжулу; если последний — «талант», то Г. А. — «Гений» в сравнении с Янжулами.

Когда я или Эллис устраивали передряги, то он являлся журить; а по блеску очков было видно: доволен; недаром подчас, хватая за фалду Л. Л. Кобылинского, имел вид седого «Левы»; тот выдвигал «покой» желтого дома; этот жундел о «небесном покое», а строил Гоморры, скрываясь к «архиерею»; знали, что «архиерей» — погребок; и знали: Г. А. — устал, заработался.

А. С. Петровский его отвозил в санаторий: под Ригу.

Скучая в укладах, устраивал «кубари»; влек его Эллис, которого он честил; раз под речью П. д'Альгейма о музыке Гретри к мертвой лысине Эллиса он приложил воспаленное свое чело:

— «Тоска, — клубом дыма из рта: паф! — Тоска Кобылинского, Левки, с тоской — паф! — Рачинского, Гришки, сливаются — паф! — в мировую тоску».

«Седой Гриша» — его под шумок называл Кобылинский. Запой слов — из рыдающего трепетания, что он в лапах косматого быта; и мы понимали тоску этого порой обнаженного Ноя.

Рачинский, став другом, еще был немного отцом благодетелем: каждого из нашего кружка; помнится, как, поло-

живши свою воспаленную руку ко мне на плечо, а другой взявши под руку, он, припадая на ногу, меня проводил в кабинетик душнеющий, чтобы замкнуть в нем, часами жундеть, наставляя премудрости, опыту жизни: отец уже умер; еще Гершензон не явился; Рачинский в ту пору являлся мне образом, связывающим Гершензона с отцом; после смерти М. С. Соловьева он выбран был опекуном его сына: и он опекал, грозя правой рукой за проказы, а левой толкая к проказам; казалось,— «бунтами» нашими он питался.

Когда завелся своим собственным обществом, став председателем в нем, ужасался покойному Эрну, что — «вандал», Булгакову, что — провалился в келейности, пока Булгаков и Эрн не втащили его: в церковную догму; тогда, меня вспомнив, руку схватив, закачавшись, задергав рукой и плечом, усадил и, елозя ногами под стулом, метаясь бородкой, жундел в клубах дыма:

— «Паф, паф... Теологии много!.. А разве они теологию знают? Поизучали б апостольские постановления!»

Тыкался толстой своей папиросой; и мне мотивировал необходимость вступить в совет общества, перелетая на «ты» с «вы».

— «Ты понимаешь — паф, паф!— я тебя, черт дери, бы сам вытурил... Паф!— из совета — паф, паф...— Я тебя бы — паф, паф!— ницшеанского пса,— исчезал он в дыму,— сам бы вытурил в шею из общества,— вновь он являлся из дыма; и — с молниеносной быстротою: — кабы не Булгаков... Да вы понимаете сами, Борис Николаевич, ты понимаешь, боюсь я густого поповского духа... Булгаков способен, способен — ты понимаешь — на заседании — паф, паф, паф!— дернуть: паф, паф, паф, паф, паф!»

Нет Рачинского: клубы; из них как жундение шершня:

— «На заседаниях не религиозного, а философски-религиозного,— бил пальцем в палец он,— общества — паф!— фи-ло-соф-ского, черт побери, еще дернет Булгаков какое-нибудь там: «Святися, святися — во имя сына, отца,— папиросой взлетал в потолок,— и святого духа...» — Паф, паф!..— Тут-то вот выпускаю тебя: «Слово принадлежит Борису Николаевичу Бугаеву». Лай на Булгакова, пес ницшеанский! Эрн встанет, а я ему — Левкою: для равновесия!..»

И помолчавши:

— «Идите-ка в совет общества: паф!»

Припадая на ногу, повел из прокуренного кабинетика в дыме «осанн» — к диванчику, где Т. А. Рачинская нас ожидала: с Парашей, сестрою:

— «Ну, Танькин,— Борис Николаевич выбран в совет!»

И свободно висела широкая, широкобортная, широкоплечая синяя куртка его; видом точно отец; юным духом как кукиш, который показывал он и на службе, приводя в ярость и в страх начальство.

Как он тащил из квартирки в служебный этаж опекаемого Соловьева, Сережу, еще гимназиста: «вампуки» показывать, «Степушке» (С. С. Перфильеву, начальнику по службе), Сережа исполнял оперу «Пиковая дама»: оркестр, хор; лучше же всего у него удавался квинтет: «Мне страшно», графиня, князь, Томский, Лиза и Герман (бас, тенор, сопрано, контральто и баритон) перебивали друг друга на все лады: «Мне... не...е... стра... тра... ра... страшно... Мне... не...» — рыком, кваканьем, писком и лаем, перебиваемым гудом флейт, дудом труб, писком скрипок и «гогом» фагота, сверлил чудовищно слух; Сережа, придя в исступленье, крича, топоча, кулаками, глазами, ногами, растерзанной курткой, космою, слюною показывал попеременно жест Томского, Германа, Лизы, графини; в ту минуту он был гениален, чудовищности выдумывая; и мамонта разорвало б, а не ухо.

Рачинский, втащив нас в «святое святых», притворив дверь в соседнюю комнату, где скромно скрипели пером, где являлись просители с улицы, поставив перед добродушным толстяком, своим начальником, Степушкой, которого в Демьянове знавал я студентом,— требовал, чтобы Сережа пропел «Мне страшно»; все помещение дрожало от рявка, от хрюка, от топа и ора Сережи, от фыка и брыка Рачинского, в форменном сюртуке откалывавшего антраша и совавшего рассеянно папиросу зажженным концом в рот под заливистый визг «начальника», Степушки, колыхавшего толстый живот в кресле; не знаю, что происходило в мозгах низшего служебного персонала: летели «устои» московские — к чертовой матери.

Это был — «кукиш»; потребовали, чтоб «седой Гриша» был убран со службы.

До 901 года числился он и в редакционном совете «Вопросов философии и психологии», при Л. М. Лопатине, нашем «враге»; но и там он показывал «кукиши»: звукосочетание «Ницше» в сем месте в 1901 году звучало как

кукиш, а он напечатал статью, разбирая толково смысл Ницше[184].

Увидел Рачинского я на заседании, посвященном памяти философа Преображенского; после маститых мужей вдруг на кафедру выскочил муж седоватый и быстрый; блистая очками, махая руками в огромную аудиторию, он глухим, лающим голосом начал выкидывать море взволнованных слов, набегая на слово словами, стирая словами слова; взволнован я был; от Соловьева же слышал:

— «Рачинский Г. А.— одинокая умница».

Мне передали, как он появился впервые за чайным столом Соловьевых, совпав с Кобылинскими, тоже впервые явившимися.

Он — холерик; жестикуляция — тарантелла; слова и движенье, ломая друг друга, как смазываясь, дают — мельк экрана кино,— фыки, дымы и сверки цитат способны ввинтить с непривычки мигрень в висок; Кобылинский, Лев, живя у меня, заставлял меня падать в диван от верча и жестов своих; увидя, что пал, припавши к груди, он ерзом и прыгом вгонял в каталепсию. Братец Сергей, раз явившись ко мне часов в восемь, застав полный стол, а меня — в разговоре, ко мне привалясь, растоптав разговор, начал что-то доказывать: в ухо; и тотчас стол, полный гостей, закрылся в тумане; я впал в каталепсию, еле следя: стол пустеет, пустой; гасят лампы-настенники, кроме одной; затворяются двери в гостиную и в коридор; гаснет лампа, последняя; мрак; только в ухо бьет голос, как костью; вдруг — возглас матери издалека (из постели):

— «Да что ж это?»

Уже проснулась она, отоспавшись: тут я пробуждаюсь и чиркаю спичку: гляжу — пять утра; Кобылинский, Сергей, мысль свою, им начатую в десять вечера: доизложил.

— «Поздновато... Поговорили!»

Напомнив читателю о характере Кобылинских, упомяну об явлении Рачинского: в дом Соловьевых.

Кобылинские, появясь к Соловьевым впервые, ткнув хозяевам руки, себя перебили, сцепясь в долгом споре; вдруг звонок; что-то затопотало в переднюю ботиками; братец Лев произнес: «Ницше». Из шубных, медвежьих мехов тотчас вывалилось седоватое нечто в очках, меж сцепившихся братьев; и шесть рук, шесть ног,— взрывы дыма: из тявков! В сплошном телотрясе прошел этот вечер; Соловьевы молчали испуганно перед сцепившейся троицей, вылетевшей только к часу в переднюю: скатиться

с лестницы и спорить на улице; в передней просунулась лысина Льва на Сережу — спросить:

— «Кто это?» — пальцем в О. М. Соловьеву.

— «Да мама же моя».

— «А».

И Лев — вылетел.

С тех пор стал Рачинский бывать у С. М. Соловьева; я дивился дарам седоватого Дамаскина:[185] он подмигивал мне моей же «Симфонией»; и ласково звал: к себе в гости; так я оказался в уютной квартирке, в ней встретив певицу Оленину и ее мужа, д'Альгейма[186].

. . . .

Рачинский мне связан с кривым переулком Пречистенки.

Градация домиков: синенький, одноэтажный, с заборчиком, с садом; за ним, отступя, занавесясь рядком тополей, желтоватый и белоколончатый каменный дом с барельефами; шестиэтажного куба, слепого и глохлого, бок; ниже, выше и ниже,— зеленый, белясый и розовый,— домики, с колониальною лавкой; забор, убегающий влево, с отдером доски, позволяющим видеть: склад дров; лед не сколот; и — трясы ветвей, крики галок, над тумбами,— около церкви Покрова Левшина, сереброглавой, четырнадцатого столетия,— с сутуловатеньким, глухим священником: ста пяти лет; его правнуки сидели за... музыкой Скрябина и спорили о Метнере; наискось — блеск изразцов сложил голову; дом строил, наверное, Шехтель, коли не Дурнов.

Кое-где пробежит пешеход; генерал Щелкачев чешет мимо; Истомина, бледная барышня, за угол скроется; Эллис в шубенке с чужих плечей дергает: в Неопалимовский; к вечеру в саночках едет кудрявый Бердяев; и — шапка в мехах; и под мехом вихляются черные кудри, серебристые снегом. И ходит расчесанный, мытый козел, перевязанный лентой, бодает прохожих с большим удовольствием.

Левшинский, Мертвый, Обухов, Гагаринский? Точно не знаю; но знаю: в домах этого пречистенского переулочка было жунденье — «святися, святися» — меж водкою и меж селедкою; перед закусочным столиком сидел застенчивый, пристальный и коренастый Серов.

Всюду быстрым, танцующим шагом с седою улыбкой Рачинский влетал, оправляя свой галстук, склоняясь к руке, и над ухом жундел, точно шмель над цветком: он врачу, коммерсанту, профессору, барыньке бархатным очень

невнятным густым тембром голоса мед свой с пыльцою нес в ухо, как шмель в колокольчик вникая; и слышалось:

— «Первосвященник, надев — Урим-Туним... Бара́ берешит... Бэт харец...» — сыпал текстами: по-итальянски, еврейски, немецки, по-русски.

Устав, впав в невроз, поднимал, точно жужелжень мущий; мозаика пестрых цитат в ускорениях голоса перетрясалася: каша во рту!

Появлялся Петровский; и, бережным жестом извлекши, его увозил. Один критик в 1902 году назвал Рачинского балаболкой, забывши, что — всякие есть; и тимпаны, и гусли, если угодно, суть балаболки; но я их предпочту критику-пошляку; среди Булгаковых и Трубецких был единственный он песнопевец; его гимны о культуре — д'Альгейму, Морозовой, Метнеру доселе мне памятны; средь «Дома песни», в «Эстетике» — он поражал жизнью нас; пестун всех нас, в известный период вынашивал он наши молодые стремления; в часы же досуга писал он стихи: грустны и строги строчки его антологий; пародии на Алексея Толстого (поэта) — и сильны и звучны; один из первых он оценил Брюсова, Блока; от Мережковских его воротило; Евгению Трубецкому меня объяснял.

Роль Рачинского, певшего в уши старопрофессорской Москве о культуре искусств, ей неведомой, в свое время была значительна.

Бывало, придешь к нему: из кабинетика он, припадая на ногу, выходит, сжимая толстейшую, скрученную им же самим папиросу; свисает гладчайше короткая синяя широкоплечая, короткобортная курточка; и расплываются пухлые губы на белопухлявом, а то красно-розовом (коли — приливы) лице; припадая стриженою бородкою к уху, он теплую руку кладет на плечо:

— «Сотвори господь небо и землю... Бара́ берешит Элогим».

И раввины московские перед лицом Иеговы проорали не раз благодарность Рачинскому, их выручавшему; чтим был раввином Мазэ; чтил раввина Мазэ; дервиш с дервишем и Далай-лама тибетский он с Далай-ламой тибетским; к столу ведет; за столом — жена, Т. А.

— «Тт... прекрасно... И Поццо... Тт... т... И Мазэ... и владыко с Маргошей... Тт... тт... И Мюрат... И Паппэ... И... давайте все вместе».

Что вместе?

Давайте все, кому не лень, —
В Москве устроим Духов день!

Бескорыстно-взволнованный, благородно-восторженный Поццо — студент — соглашается; А. С. Петровский — кривится.

— «Вы что?»

— «Не люблю болтовни!»

Г. А. любили: кого любишь, над тем и подтруниваешь; я рассказывал в лицах, как был в кабинетике заперт на ключ в час обеда меня посекавшим за рифмы «стеклярус» и «парус» Г. А.; не понравились рифмы — *«парус — стеклярус»*;[187] снобизм! Бильбокэ! Заперевши, отчитывал.

— «Я говорю тебе, вам: вы оставьте-ка — паф! — бильбокэ».

Отпустил бы! А то — без обеда... шалишь! Вспомнил, что едет куда-то; достал свой сюртук, снял пиджак, продолжая отчитывать:

— «Парус — стеклярус»...— Паф!— Вспомни, а что в «Аналитике» Канта[188] стоит? Не «ветер» не «сетер» небось!.. Что сказал Шопенгауэр? Не «бисер — людьми-сер».

И тут снял штаны:

— «Можешь ли привести мне различия первого и второго издания «Критики»?.. Можешь,— спустил он кальсонину, нижнюю,— то и подкидывай рифмами «парус — стеклярус».

И — скинул сорочку: в костюме Адама, в очках, с папиросой стоял, посекая меня за изысканность рифм и взывая к различию кантовских «Критик»; супруга, Т. А., колотилась в дверь.

— «Гриша, поздно: скорей... Отопри, опоздаешь».

— «Брось, Танькин!.. С Борис Николаичем мы обсуждаем».

Достав из комодика нижнюю чистую пару, облекся; облекся в крахмал; достал чистый платок, стал опрыскивать одеколоном себя: в сюртуке, черном, длинном, свисающем фалдами, вырвался в двери со мной; мы — на улицу; я — на Арбат, чтоб к обеду попасть... Стой — куда? Он силком усадил на извозчика; и прочь от Арбата повез. Спрыгнуть? Как бы не так. Держал за руку; так — до Мясницкой, где бросил в подъезде какого-то дома, руку сунув рассеянно; в дверь пронырнул; дверь захлопнулась; я же голодный тащился с Мясницкой пешком: денег не было!

Раз рано утром ворвался он к Метнерам, на полотеров, сдвигающих мебель, наткнувшись; ему тотчас представилось, что стулья — полки; сдвинув их, объяснял: так сто-

яли полки перед Карлом Двенадцатым; и между двух полотеров, вихрами мотающих, пляшущих, зарецитировал Карлу Петровичу Метнеру:

Швед, русский — колет, рубит, режет[189].

Распевы о Гете, о Данте, о Канте и тучи цитат из «отцов», из литургики, изображенные в лицах церковные таинства как продолжение арии хором, уже перешли в председательствование, в приветствия — Брюсову, Герману Когену, Матиссу, Верхарну, Морису Дэни, Боборыкину; всюду совали ему колокольчик; и всюду, поднявшись, звенел: *«Заседанье открыто»*. И — *«слово предоставляется»;* второстепенное дело — кому: Эрну, Булгакову, биокосмисту иль — Фуделю; стиль, ритуал, председательствование в Р.Ф.О.;[190] и он, Дамаскин, взвивший гусли,— запел; дай гитару,— *с* ней пел бы; антифанатичный, не «столп», но подпертый насильно «столпами» — Булгаковым, Эрном,— он стал детонировать, фыркая и извлекая фальшивые звуки; бывало,— багровый, с надутыми жилами, он запевает: «Святися». А как — «Не таи рыданье» — выходит.

Готовясь к открытию заседания, фыркая дымом, мечается он: от угла до угла; шебуршит листом белым, опрашивая: «Оппонируете?» Тычет руку направо входящему «члену», вытягивая свою шею налево, жундит в ухо Эрну, толкаясь в толпе, через зал, подзывая кивочком меня; и все сразу; оказываясь меж Бердяевым и меж Булгаковым, одновременно беседует с ними, с двоими: с Булгаковым — жестами рук, а с Бердяевым — жестами ног; сам же слово обдумывает; и вдруг рывом — ко мне:

— «Ну, Борис Николаевич,— я — начинаю; скажу-ка им всем: «Петр Бернгардович, я, зверь матерый... Святися, святися!..» Скажу им — в носы: и Бердяева выпущу: он им покажет язык; номер — два: выпускаю тебя: «Куси, пиль!..» Ты, наверное,— переборщишь: Эрна я — за бока: «Куси Белого». Ну... Пора: с богом!»

В Р.Ф.О. его просто затуркали; прежняя роль — педагогика свободомыслия — шла к нему более; слабую точку нащупавши (Кант не доучен), бывало, гвоздит:

— «Можете всякими — паф — запускать ананасами в небо[191], коль «Критику чистого разума» знаете».

Или, нащупав, что в Канта ушел:

— «Кант да Кант... Как писали-то,— а? «Голосил низким басом...» — Паф-паф! — «В небеса запустил ананасом».— Паф!..— Это вот я понимаю: паф!»

К каждому он приставал с дополнительной краскою, синтеза требуя, силяся нас синтезировать; выглядел же синкретистом, порою срываясь и позднюю Александрию являя; и древний археец, Нилендер, стенал; Киселев клонил нос в «Инкунабулы»; в этом стремленье к абстрактному, все еще, синтезу он ударялся: лбом в лоб; Кобылинский кричал: «Нни-каких!» И они друг пред другом друг друга затопывали, как зенит и надир, отрицая друг друга, но втайне притягиваясь друг ко другу, как два двойника, как две тени искомой конкретности, не находимой Рачинским и Львом Кобылинским; отсюда и рявки:

— «Тоска Кобылинского, Левки, с тоскою Рачинского, Гришки, сливаются — паф! — в мировую тоску!»

Неудачник он был, как все мы, «аргонавты», как Метнер, Петровский, Нилендер,— расплющенные двумя бытами, фыркающие на труды, юбилеи; и — гордые рубищем.

. . . .

Беседы с Рачинским в уютной квартирочке впаяны в воспоминанья мои как пиры с Э. К. Метнером, как повисанье над бездной с Л. Л. Кобылинским; бывало, сидит кто-нибудь: или — криво помалкивающий, иронический, кряжистый и белокурый Серов, с добродушием щурясь на нас; он — друг детства Рачинской; [192] или владелец типографии А. Н. Мамонтов; или сухой и седой Остроухов, смущающий молокососа, меня; или Оленина, сестра певицы; или Д. Д. Плетнев, не профессор, еще молодой и талантливый доктор, худой, молчаливый и едкий; он пуговкой носика, усиками выражает особое мнение; или профессор Л. А. Тарасевич; или с лицом Мюрата, потомок Мюрата — Сергей Казимирович Мюрат, кузен П. И. д'Альгейма, учитель французского,— худой, культурный, протонченно вежливый невероятный чудак; или В. С. Рукавишникова, «Варя», сестра поэта; звонок: и певуче звучит из передней:

— «Ратшински... Э бьэн!» [193]

И Петр Иваныч д'Альгейм изумительными разговорами о символисте Вилье де Лиль-Адане, о песенных циклах, о Шуберте или Мусоргском перебивает Рачинского; оба мы, рты разевая, внимаем д'Альгейму: как мэтр Вильон он!

Я учился культуре: в квартире Рачинского.

. . . .

Останавливаюсь на ряде тогдашних новых друзей; они мне семинарий по классу культуры, или — проблемы

увязки: моих личных знаний со знаниями, мне показанными в живом опыте; литературные, даже научные интересы — еще не культура, пока они — замкнуты.

Мне размыкал Кобылинский круг личного опыта и наблюдений, врываясь со списочком книг, где стояло: Маркс, Меринг, Рикардо, Бернштейн, Шмоллер; Рачинский является с «Гарнаками»; Метнер культуру Германии вскрыл, разъясняя, как музыка, мысль и поэзия великолепно увязаны; чтоб не думал я, что вся культура — Германия, встал утонченный француз, Пьер д'Альгейм,— с Ламартином, Ронсаром, Раблэ и т. д. В. В. Владимиров выдвинул — проблему формы; культуру стиха раскрыл Брюсов; уж Фохт беспокоил подобранной полочкой книг: по теории знания; скоро явились: Нилендер и В. И. Иванов; и Роде, и Фразер, и Бругман возникли тогда; возникали: отец с своим Лейбницем, с аритмологией; а Гончарова — с проблемой Востока; и даже полезен был Эртель, подчеркивая: знать Гиббона и Моммсена — надо.

Обстанья моих интересов другими растягивало во все стороны, не позволяло заснуть в круге книг, мной отобранных; и голова кружилась, рябило в глазах! Но царили еще: Стороженки и Янжулы, не оставляя нам пяди «культуры»; Арбат нас сжимал.

Чем он был? Фоном всех разговоров; Арбат не менялся. Арбат 901 года — такой же, как в прошлом столетии.

Жить, как мы жили, в обстаньи Горшковых, Мишель-Комарова и Выгодчиковых,— нельзя! И картина сознания без к ней приложенного, как виньетки, Арбата восьмидесятых годов (он Арбат и 901 года) — неполная.

СТАРЫЙ АРБАТ

Помнится прежний Арбат: Арбат прошлого; он от Смоленской аптеки вставал полосой двухэтажных домов, то высоких, то низких; у Денежного — дом Рахманова, белый, балконный, украшенный лепкой карнизов, приподнятый круглым подобием башенки: три этажа.

В нем родился; в нем двадцать шесть лет проживал[194].

Дома — охровый, карий, оранжево-розовый, палевый, даже кисельный,— цветистая линия вдаль убегающих зданий, в один, два и три этажа; эта лента домов на закате блистала оконными стеклами; конку тащила лошадка; и фура, «Шиперко», квадратная, пестрая, перевозила арбатцев на дачи; тащились вонючие канализационные бочки

от церкви Микола на камне до церкви Смоленские божия матери — к Дорогомилову, где непросошное море стояло: коричневой грязи, в которой Казаринов, два раза в год дирижировавший в Благородном собрании танцами, в день наносивший полсотни визитов, сват-брат всей Москвы,— утонул; осенями здесь капало; зимами рос несвозимый сугроб; и обходы Арешева, пристава, не уменьшали его.

Посредине, у церкви Миколы (на белых распузых столбах), загибался Арбат; а Микола виднелся распузым столбом колокольни и от Гринблата, сапожника (с Дорогомилова, с площади); в церкви Миколы венчался с Машенькой Усовой Северцев, А. Н., профессор; Микола — арбатский патрон; сам Арбат — что, коли не Миколина улица? Назван же он по-татарски, скрипели арбы по нем; Грозный построил дворец на Арбате; и Наполеон проезжался Арбатом; Безухий, Пьер (см. «Война и мир»), перед розовою колокольнею Миколы Плотника что не на камне бродил, собираясь с Наполеоном покончить;[195] Микола — патрон, потому что он видел Арбат: от Миколы и до Староносова; и — от Миколы до «Праги»;[196] и, видя до «Праги», предвидя Белград, за арбатцами, текшими в Прагу, в Белград, он не тек по проливам до... Константинополя; староколенный арбатец, идя мимо, шепчет молитву «Арбатскую» — может быть?

Крепись, арбатец, в трудной доле:
Не может изъяснить язык,
Коль славен наш Арбат в Миколе,—
Сквозь глад, и мор, и трус, и зык[197].

Микола ведь, изображенный на камне плывущим, державшим собор наподобье сращенья просфорок, с мечом, в омофоре,— арбатца так радовал.

До Староносова длился Арбат; [198] от него, что ни есть,— относилось к Москва-реке, к баням семейным, где мылся Танеев, С. И., композитор известнейший; мыться с Плющихи ходили — и Фет и Толстой, на Плющихе живавшие; Писемский, кажется, под боком жил; бани прочно сидели меж Мухиной и Воронухиной горками; с горок тех — первые зори увидел я: у Воронухиной; в Первом Смоленском — живет Вересаев; жил — Батюшков П. Н. и жили — Кохманские; близ Староносова жили: Нилендер и Лев Кобылинский.

Дом каменный, серо-оливковый, с «нашей» аптекой, с цветными шарами, зеленым и розовым, принадлежавши-

ми Иогихесу, аптекарю;[199] с сыном его я учился; папаша в пенснэ за прилавком пред банками с ядами, медикамент отпуская, стоял; в боке дома — Мозгин, или «Мясоторговля»;[200] Мозгин — в котелке и в очках, с видом приват-доцента, филолога, гнулся к конторке, а лиловолицые парни в передниках, ухающие по бычиной ноге топорами, средь зайцев и тухлых тетерок,— метались; и мать говорила кухарке: «Тетерька-то — тухлая: переходите к Аборину, а с Мозгиным надо кончить». Мозгин, в котелке, в своей, в собственной, ездил в пролетке, гордясь своей, собственной, лошадью, бледно-железистой.

Далее — одноэтажное длинное здание (в двадцать четвертом году подновили двухцветной окраской) лупело: Замятины, братья,— стариннейшее керосиновое дело;[201] Зензиновых, сыновей,— чай, сахары; сын-то, сын, говорят, стал эсером; [202] напротив — гнилые домки, зеленные лавчонки, фруктово-плодовые протухоли, слизи рыжиков, постные сахары, морковь, халва и моченые яблоки; среди всего — толстый кот.

И уже — «Староносов» (по черному золото), красный товар: сперва — лавочка, потом лавчища; фасонистый галантерейный товар; Староносов был городовой: стоял годы под нами, в скрещеньи Арбата и Денежного,— сизоносый, багровый, моржовьи усы прятал в шубу; на святках ее выворачивал, вымазав сажей лицо, и плясал по всем кухням; и папа, и мама, и дядя, и тетя, и я отправлялись на кухню: с улыбкой смотреть на запачканный нос Староносова и на меха его шубы; от жуликов он охранял; эти жулики с черного хода вводились в пустые квартиры Антоном, вторым нашим дворником, пока Антона не выгнали в шею, сперва протузивши: не стоит в участок тащить, потому что хозяин, Рахманов,— приват-доцент Лейста,— в науку уйдя, дом забросил.

Профессор, Владимир Григорьевич Зубков, рядом жил, коль встать влево; коль вправо,— проулком и за́ угол,— жили Бальмонты (поздней); в угловом доме, наискось, много годов торговали различными средствами против клопов; когда после, в двадцатом году, развалили тот домик, открылося изображение дьявола: прямо в стене; и болтали: мол, здесь сатанисты года, под шумок, алтарь дьяволу строили, голую женщину еженедельно кладя на алтарь.

Тут и Троице-Арбатская церковь, с церковным двором, даже с садиком, вытянутым дорожкою в Денежный; там —

и ворота; в воротах — крылатый Спаситель; колодезь и домики: домик дьячковский, поповский и дьяконский; в дьяконском, двадцатилетьем поздней, останавливался мой издатель, Алянский; меня приносила Афимья, кормилица,— в садик; С. М. Соловьев здесь в салазках катался позднее.

Протоиерей, Владимир Семенович Марков, сребрясь рыжевато-седой бородою, волною расчесанных серых волос, благолепил лицом, не худым и не полным, очком темно-синим и серою шелковой рясой (под цвет волос), крупным крестом, прикрывающим маленький, академический крестик; он, стройно-прямой, с наклоненной в приятном покое главою, неслышно ступал, восходя на амвон, где дьячок ожидал с золотою широкою эпитрахилью, расшитою чтительницами;— после в тихом величии руки над чашею он разводил, в предвкушении митры, слетевшей собором Успенским, которого стал настоятелем, с императрицей яичком обмениваясь в праздник Пасхи, которую цари встретили в Первопрестольной.

Величие великопостных служений прославило Маркова.

В церкви все знали, кто где проживает, как служит, какого достатка, когда дети женятся, сколько детей народят, чем внучата в годах расторгуются, когда успение примут они.

Байдакова, маман; сын — «Торговля строительными материалами»; дама сухая, седая и строгая; шляпочка — током, с атласными серыми лентами; рядом — невестка, шикозная, рыжая, очи — лазуревые; Байдаков поздней старостой стал; и — безусый, безбрадый ступал, задыхаясь жирами, с тарелочкой медной, бараний бурдюк, не живот, опустив пред собою самим: до колен; говорили: жену-де — имеет; жениться ж — не может: мешает — живот.

До него Богословский (дом собственный в Денежном, с «белой старушкою»-призраком, с Карцевым-книготорговцем, с профессором Гротом — жильцами) был старостою нашей церкви, пронзив сердце дряхлой, трясущейся дамы амурными стрелами, красным бульдожьим лицом с бородавками; а сын — историк, профессор, профессорствовал над Москвой — сколько лет!

Богданов с женою и сыном (опять особняк, опять в Денежном) — гривенник клал на тарелочку: он — коммерсант; Патрикеевы (дом на Арбате) — блондин бело-розо-

вый, дамочка с родинкой, с легким уклоном полнеть: ах, какая! Мишель Комаров (опять дом на Арбате)[203] — поджарый, стареющий, прежде гусар и танцор, похищающий женщин, жен, тоже с похищенною женою, венгеркой, склоняет колено здесь; после — катает венгерку, жену,— в шарабане с английскою упряжью; и стоит говор: «Поехал Мишель Комаров в шарабане английском: катает венгерку, жену».

Это — правильно.

Здесь прихожане — достойные люди; причт — тоже; хотя бы трапезник, Величкин, имеющий Ваню, сынка, в золотом стихаре, проносившего свечу пред дьяконом, выросшего в психиатра с всклокоченным воображеньем, со склонностями к символизму, выскакивавшего на трибуну сражать: Мережковского иль Вячеслава Иванова: в прениях Религиозного общества.

Тип!

Около церкви — Горшков: зеленная торговля;[204] бывало, подвязанный фартуком, «сам» перекладывает астраханские виноградины; более крупные — в сторону улицы; черный такой, горбоносый, надвинет картуз на глаза — на косые; из яблоков смотрит, как спелая клюква,— Горшчиха: в бурдовом платке, с выражением едким и лисьим; их «чадо», в картузике — «чего-изволите»,— спинжак с выпускными — «два фунтика, фунтик» — штанами: штиблетами щелкнет, взыграет цепочкой и розовым — «клюквы-с» — младым своим ликом; отщелкнет на счетах какой-нибудь вальсик; и, счетную лиру поставивши в воздухе,— дзакнет костяшками, всеми:

— «С полтиною рупь!»

Когда «чадо» венчалось,— то ахнул Арбат, запрудив тротуары у Горшковой лавки: стояла карета, сквозная и белая вся изнутри, запряженная шестериком и с гайдучным мальчишкою в треуголочке; с кучером (в заду — перины); Горшков-млад, во фраке, в штиблетах оранжевых, в белом жилетике, с бантиком (цветик жасмин), в середине атласных и белых подушек кареты воссел, положив две ладони на фрачных коленях; и — все десять пальцев расставил; и — десять проехал шагов, отделяющих лавку от церкви, где ахнули хором «Гряди, голубица».

Горшковова лавочка окнами — в Денежный; тут и дома: Богословского, Берга, Истомина, с древом развесистым, из-за забора склоненным, где дом, «Школа кройки», синявый, которым когда-то патронствовала мадам

Янжул; и — церковка, Покрова Левшина: берговский дом после строился: Мирбах, германский посол, в нем убит: мировая история![205]

Лундберг — при ней жил.

Напротив Горшкова — наш дом; внизу булочник Бартельс — не тот, знаменитый[206], а Бартельс-«эрзац»; отравлялись сластями его производства; поздней уже в окнах открылся Торгово-промышленный банк (ныне тут продаются предметы резинового производства).

Напротив — дом Старицкого, двухэтажный, оранжево-розовый, с кремом карнизных бордюров и с колониальным магазином «Выгодчиков» (после «Когтев», а после него — «Шафоростов»):[207] чай, сахар, пиленый и колотый, свечи, колбасы, сардины, сыры, мармелад, фрукты, финики, рахат-лукум, семга, прочее — чего изволите-с! Выгодчиков — за прилавком: курносый, двубакий, плешивый и розовый, в паре прекраснейшего василькового цвета, в пенснэ, перевязанный фартуком:

— «Сыру?.. Мещерского? Есть... Вы, сударыня, видите сами: слеза... Поворачивайтесь!»

Молодцы — поворачиваются; и — летит молодец: с колбасой, и — летит молодец: со слезой от мещерского сыру!

— «К которому часу прислать?.. Так-с: будет прислано!»

И отвернется солидно, достанет часы золотые с массивной цепочкой, зевнет; лишь для шика он, собственник дачи, весьма элегантный своим котелком и покроем пальто, когда бродит с газетой в руках по бульвару Пречистенскому, зажимая тяжелую трость с набалдашником,— здесь подпоясался фартуком, как молодец с молодцами; сынок, «коммерсант» *, третьеклассник, бивал поливановцев, нас, при заборе,— как раз под балконом, с которого граф Салиас, старичок-романист, любовался закатом весною, когда поливановцы, мы, возвращались с экзамена Денежным; раз, поплевавши в кулак, этот Выгодчиков-третьеклассник, воскликнув «не хочешь ли в рожу»,— с размаху скулу мне взбагрил; я — бежал от него, подняв ранец. Он после стоял за прилавком, указывая на слезу от мещерского сыра.

Как Выгодчикова мне забыть, коли первое слово мое продиктовано им: поднесли годовалым к окошку; в колониальном магазине Выгодчикова зажигали огонь; я за-

* Ученик коммерческого училища.

трясся; и первое слово, «огонь»,— произнес; Прометеев огонь для меня просто — «Выгодчиков».

Над ним жил симпатичный профессор Угримов, Иван Александрыч, а в гости ходил к нему Александр Иваныч, профессор Чупров; и Иван Александрыч и Александр Иваныч с Ивановым, Иван Иванычем, сиживали у Ивана Иваныча: Янжула, где и Иван Христофорович Озеров сиживал, не Христофорова, не Клеопатра Петровна, которая сиживала не у Янжула: у Стороженки.

Дом — Старицкого, генерала, который садился в пролетку, в кровавых лампасах, запахиваясь в свою бледного цвета шинель на кровавой подкладке; бифштекс — не лицо: бритый; серая в яблоках пара несла его; он — прототип «генерала»: ребенку, мне; «Старицкие» — говорил я, бывало, увидевши двух генералов: что это есть род стариков, что командуют армиями и воюют,— не знал; и все думалось: серая в яблоках пара под синею сеткой по улицам носит их: тоже — род жизни.

И «Старицких» я уважал; офицеры с пунцовым околышем, полненькие, при портфелях,— не трогали; много их бегало вкруг шоколадно-кофейного дома Военно-окружного суда; и меж ними — «брелок», офицеришка; прежде он розовый, нежный, околыш носил; бегал пыжичком (грудь — колесом, зад — другим колесом), с двумя бачками, рыженькими, на кривеньких ножках, дугою волоча за собою длиннейшую саблю; а мама, Екатерина Ивановна, с ними Надежда Ивановна, Вера Ивановна — как в один голос:

— «Ну как с ним в мазурку пойду я! Его бы брелоком на часики!»

Папа же морщился, рявкая:

— «Сальник».

Ходил капитан, екатеринославец, с околышем красным, Банецкий, мазурки откалывавший на балах,— с Пустоваловой, с мамой, с Мазуриной, с Лесли, с графиней Ланской, с Гамалей, с Востряковой, мамашей,— комплексом тогдашних московских бэльфам;[208] как породистый конь, жеребец, бьет в конюшне копытом, так бил сапогом о сапог лакированный мысленно он день и ночь, приготавливая разговор за мазуркой на бале ближайшем с московской красавицей; он перещелкивал всех, открывая мазурку; плясал в первой паре; и редко плясал во второй; Подгорецкий и Постников,— те вырезывали на Патриарших прудах вензеля ледяные: коньками. Банецкий, подняв эполет, оборвавши полет над паркетом, схватясь двумя

пальцами за бакенбарду и даму оглядывая сверху вниз, придробатывал лишь каблуками подкованными, превращаяся в мумию, как фараон, Рамзес,— корпусом; и наводили бинокли; и дама не знала, что делать, как перетоптывать ей — перед задержью этой.

Вдруг, щелкнув и пав на колено, швырнув вкруг себя свою даму, вскочив, как взрываясь ногами, стрелою разрезывал воздух; и, точно пловец на саженках, вывертывал правым и левым плечом и скользил на носках, точно на плавниках,— нежно-нежно; потом — боком, скоком, как конь, сапогом воздух храбро забрасывал; и сапогом о сапог — бил.

Играли — на тотализаторе; и — на Банецком: с какою красавицей? И — в какой паре: второй, первой, третьей? Сжигаемая, как огнями, красавица, стиснувши веер, бледнела и падала в обморок — от ожидания ангажемента, глядя вожделеющим оком, как вздрагивает в ожидании мазурок икра его, когда беседовал, не приглашая.

Уже — пригласил!

С кем он шел в первой паре, той — выдан диплом; на всю жизнь: «Танцевала с Банецким»; и значило это, что первая, или вторая, иль третья по счету красавица; уже с шестою по счету не щелкал; круг тесный танцорок; к нему пробивалися, сил не щадя, перепудриваясь, оголяясь, ресницы черня, протыкая прически эгретками, к Минангуа приставая, чтобы туалет был такой, о каком только грезил парижский портной, чтобы Минангуа улетала в Париж;[209] а Банецкий ходил по Арбату, под Пашковым, под парикмахером[210]. Тот — тоже центр: утонченнейше Пашков стриг бороды; рукою белою, нежною, взявши щипцы,— завивал парики; он, подстриженный и подвитой, в кудерьках бонвивана-художника, в белом жилете, худой и высокий, с бородкою острой, *а-ля итальэн,* простирал свои хлопоты над процветанием волосяного покрова макушечной и подбородочной части — у Янжула, у Комарова Мишеля, у К. Д. Бальмонта, меня, Соловьева; весной, разрешенные батюшкой Марковым от окаянства и грехов, разрешались у Пашкова номером первым машинки от волосяного покрова; здесь сиживал я: гимназистом, студентом, писателем «Белым», пока благодатная бритва «жилет», мною приобретенная, не перерезала связей с родной парикмахерской, где, схватив за нос, бывало, меня, черноокий поляк (в услуженьи) беседу со мной заводил о Тетмайере и Пшибышевском; два пашковских сына, художника-строгановца, увлекались «Весами», читали меня

и Бальмонта; и в «третьей волне символизма» участвовали; их папа́, уж седеющий, нежную руку протягивал к полу:

— «Знавал-то — таким вот, еще не писателем,— Боренькой-с!»

Входишь — сидит промыленный и белою простыней закрытый Бальмонт, вздернув кончик бородки в шипящие одеколонные токи.

Попова старинная «Виноторговля» граничила с Пашковым; кофейно-кремовый домик как тортик; проезд со двора дома собственного Комарова, Мишеля, с венгеркою, мимо кирпичного, красного дома, где «Ремизов»; [211] коли я был обут, в том «заслуга» [212] сапожника Ремизова.

Дом Нейгардта, одноэтажный, кисельный; и после — фисташковый; окна — зеркальны: барокко; дом в пупринах, три этажа; цвет — крупа «Геркулес»; и — чулочновязальное в нем заведение; дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я, разговаривая с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали — под полом; это открылось позднее уже.

Меж Никольским и Денежным серый забор заграждал неприятные пустоши, посередине которых уныло валялись могильные памятники, продаваемые на Ваганьково; не понимали еще: это есть аллегория: в месте сем будет Арбату — капут; полагали: под памятниками тот уляжется, этот; и — только. Перед самой войной с места этого встал дом-гигант, унижал Арбатский район, двухэтажный, облупленный,— восьмиэтажной своей вышиной [213], чтобы в дни Октября большевистскими первыми пулями в стекла приниженных «юнкерских» особняков — тарарахнуть; единственный дом-большевик победил весь район; стало быть: и надгробные памятники назначались — Горшкову, Мишель Комарову, маман Байдаковой, Зензиновым, Старицкому или — «старому Арбату»: всему!

Здесь кончаю обходы домов; знавал — все: от Горшкова до Гринблата; [214] мог бы представить отчет о развитии писчебумажной «Надежды» [215] (зеленая вывеска, принадлежавшая сестрам, двум); сестры, «Надежды», бумагой, чернилами, которыми написано все, что писал, меня долго снабжали, надежду двоя; и позднее, наверное, стали «кадетками»; мог бы отчет написать о седеньи мосье Реттере (специальный кофейный магазин), чернявом, проседом, седом (в Новодевичьем — крест), о явлении Белова, колбасника, тяжким ударом колбас поразившего Выгод-

чикова, отчего он торговлю свою передал; мог сказать бы еще о «Распопове», мастере дел золотых, и о «Бурове», в буреньком домике, угол Никольского: «Трости, зонты».

В детстве круг интересов и знаний о мире граничил с Арбатскою площадью, где — «Базбардис парфюмерия» («Келлер» — потому) и где «Чучела» Бланка — Харибда и Сцилла; и — океанская неизвестность за ними («Америка» же — Моховая); и далее — только стена шоколадного цвета и вывеска строгая в ней: «Карл Мора»[216] (а магазин «Друг школ» появился поздней); кто и что «Карл Мора» — неизвестно; она, он, оно? Горизонт! Подведут меня маленьким; я постучу в «Карл Мора»; и — назад: на Пречистенский.

Смутно лишь чуялось — там океан опоясывает, ограничивая «нашу» площадь: Арбат, Поварскую, Собачью площадку, Толстовский, Новинский, Смоленский, Пречистенку; домики, что над бульваром; и снова: Арбат; круг — смыкался: арбатцы свершали свои путешествия в круге, прогуливаясь на бульваре Пречистенском и возвращаяся Сивцевым Вражком домой: на Арбат.

Зато все, что свершалось в пределах арбатского мира,— опознано было: подъехал купец Окуньков под портнихину вывеску (тут, на Арбате, портниху завел); знают, что будут делать портниха и он, сколько времени (когда на ночь, когда на вечер); едет, а от букиниста — Распопов идет; глядь-поглядь — и мальчонку к Горшкову за рыжичками посылает — Горшчихе шепнуть; а Горшчиха в бурдовом платке, всем и каждому — с лисьим лицом:

— «Под портнихой стоят окуньковские лошади».

Это всезнание вместе с домами и личностями сохранилось до самого до 901 года; бывало — студентом идешь; а из правого дома, за шторкою,— око; из левого дома, из форточки,— высунутся: и согласно решают, что «Боренька», мол, Николая Васильича сын, с «Апокалипсисами» под мышкою шествует в дом Осетринкина, что у Остоженки, чтоб о семи громах мудрствовать; все же эдакого вездесущего знания, как у Петрова (магазин его часовой на Остоженке),— нет: седовласый, почтеннейший, интеллигентный Петров не районный всеведец; он есть московский всеведец; и он — всемогущий: бывало, билеты распроданы на бенефис Ермоловой; мать — прозевала: в отчаянии; и Каблукова, профессора,— просит:

— «Иван Алексеич — билет».

Он разводит руками:

— «Никак невозможно: одно остается — Петрова просить».

Разговор — в Благородном собраньи, в антракте концерта; на счастье, средь тонных причесок, проборов, профессорских лысин серебряная борода и серебряные, пышновейные кудри Петрова; к нему: обещается: может,— достанет билет.

Достает!

Всемогущий, всезнающий и вездесущий Петров,— часовщик, заводящий часы у Толстого и многих великих людей,— спутник жизни; сразил меня с первого же появления к нему: починить часы; он — часы взял, повертел, записал, выдал номер; и с тонкой иронией (не признавал декадентов, читая, конечно же, «Русские ведомости»):

— «Что же, все продолжаете посещать Гончарову? Ну — как? Деньги — достаны? Что теософия,— нравится?»

До посещения этого думал я, что вездесущие духи Петрова, ну, там — аллегория; но посетивши — уверовал.

Средний арбатец, конечно, не тем был: он — Выгодчиков плюс Горшков, разделенные на два; и недосягаемой высью, Ивановою колокольней над «Выгодчиков плюс Горшков, разделенные на два», стояла культура не Дмитрий Иваныча Янчина вовсе, а Иванова, Иван Иваныча, критика, или Ивана Иваныча Янжула, оси пролеток ломавшего (грузен и толст); коли оси пролеток ломал, предводительствуя всем арбатским районом, умопостигаемо производя свой подсчет кулаков — староносовских, городовых и антоновских, дворничьих, будучи даже фабричным инспектором,— делалось страшно за мысли немногих юнцов, катакомбно живущих, считавших Иван Иванычей, двух,— не Ивановыми колокольнями, в небо торчащими, скорей — Ивановой ямой; что, если Янжул узнает про то да дворовым Антонам расскажет? Антоны, надевши тулупы, студентов бивали ведь.

Делалось страшно: нас — мало; «их» — много; мы — хилые юноши; «они» — мясистые мужи; меж ними и бытом Арбата — естественная эволюция: с Доргомилова до Моховой; мужик сено приехал продать: на Сенную, на площадь; глядь — уже с лотком на Сенной; глядь — уж он Староносов: лавчонку завел; передвинулся, лавку расширил — Горшков; дело сладил — Мозгин, в котелке, даже Выгодчиков; уже он Байдаков, уж Рахманов, имеющий собственный дом и ученую степень: хозяин наш; сын будет Янжулом; а коли так, каждый — Янжул, или — естест-

венное увенчание сил, синтез духа тяжелого с телом десятипудовым.

А мы?

Ощущали отрыв.

Хорошо вспоминать, когда прахом рассыпались камни канонов арбатских; в описываемое время ведь «камни канонов» еще не стояли в музеях: над нами висели, грозя раздавить.

Я раздав ощущал, по Арбату бродя и обдумывая свои мысли... о символах под домом Старицкого, под Миколой на камне, глаза поднимая, чтобы не видеть прохожих; и ласточки реяли, тихо вывизгивая, над крестом колоколенным.

АРГОНАВТИЗМ

Таков кружок чудаков, изображенный в этой главе, кружок в очень условном смысле, выросший совершенно естественно; впоследствии Эллис назвал кружком «аргонавтов» его, приурочив к древнему мифу, повествующему о путешествии на корабле «Арго» группы героев в мифическую страну (по предположению, в Колхиду): за золотым руном; я написал стихотворение под заглавием «Золотое руно», назвав солнце руном;[217] Эллис, прицепившись к нему, назвал нас «аргонавтами»; «аргонавты» не имели никакой организации; в «аргонавтах» ходил тот, кто становился нам близок, часто и не подозревая, что он «аргонавт»; не подозревал о своем «аргонавтизме» Рачинский, еще редко меня посещавший и не бывавший у Эллиса; не подозревал Э. К. Метнер, весной 1902 года не живший в Москве[218], что и он — сопричислен; собственно,— никто не держался за кличку, и, вероятно, многие затруднились бы определить, в чем именно заключается пресловутый «аргонавтизм»; провозглашал обыкновенно Эллис, придя в восторг от того или этого: «он — аргонавт». Проживи мой отец еще несколько лет, вероятно б, старик-математик удостоился почетного звания, которым награждал Эллис, повинуясь минуте и прихоти; Блок почувствовал себя «аргонавтом» во время краткой жизни в Москве[219], и скоро забыл о нас. Но прозвище «аргонавт» существовало, как помнится, до 1910 года, когда книгоиздательство «Мусагет» воссоединило под кровлей редакции былых «аргонавтов»; они ютились в «Орфее», подотделе издательства, и боролись там с «логосами», сотрудниками неокантианского журнала, который издавал «Мусагет»;[220]

с исчезновением Эллиса из России никто не вспомнил об «аргонавтах»; они — «утопия» Эллиса, его мечта, которой он защищался против твердого, нас обступившего московского или, верней, староарбатского быта. Каково же было негодование Эллиса, когда присяжный поверенный Соколов через пять лет «спер» у Эллиса его лозунг и преподнес Рябушинскому в качестве заглавия журнала;[221] и появился первый номер никчемно-«великолепного» «Золотого руна», вызвавшего в публике ассоциации, обратные эллисовским: «Золотое руно» — издатель-капиталист, которого-де можно «стричь»; Эллис проненавидел несколько лет эту пародию на его утопию; Рябушинскому же было все равно, как назвать, хоть — «Налáченное пузо»!

Представьте себе мною изображенный староколенный Арбат, со староколенными тупичками и кривулями; в один из сих кривулей, еще доселе не сломленный, в Кривоарбатский переулочек, меня водили к старушке Серафиме Андреевне Лебедевой в одноэтажный, деревянный особнячок (он, кажется, и доселе не сломан) с забором и садом: гулять в садике. Представьте себе кучку полуистерзанных бытом юношей, процарапывающихся сквозь тяжелые арбатские камни и устраивающих «мировые культурные революции» с надеждою перестроить в три года Москву; а за ней — всю вселенную; и вы увидите, что в составе кружка могли быть «одни чудаки» или чудящие: Эллис, я, Батюшков в эти годы — откровенные чудаки; Эртель — чудящий лентяй и враль-лежебока. А еще: Байдаков влачил свое пузо из Денежного переулка в Троице-Арбатскую церковь; и моченые яблоки продавала Горшчиха; еще дилинькала конка и с угла Смоленского рынка; еще стояло, златело огромными буквами на черном на всем: «Староносов».

И тем не менее «аргонавты» оставили некоторый след в культуре художественной Москвы первого десятилетия начала века; они сливались с «символистами», считали себя по существу «символистами», писали в символических журналах (я, Эллис, Соловьев), но отличались, так сказать, «стилем» своего выявления. В них не было ничего от литературы; и в них не было ничего от внешнего блеска; а между тем ряд интереснейших личностей, оригинальных не с виду, а по существу, прошел сквозь «аргонавтизм»; опять отмечаю: литературная слава, карьера, имя — ничто; сколькие пустомели, пошляки, сплошные общие места стали именами, прописаны в энциклопедических словарях; например, Осип Дымов, когда-то имя (Чуковский назвал

его литературным лихачом);[222] вспоминаю, в противовес ему, например, студента Нилендера; неказистый, скромный бедняк-студент для меня значил более, чем тысяча Дымовых; а Сергей Кречетов, победитель сердец в 1905 году? А...— nomina sunt odiosa[223].

Вспоминая судьбы многих «знаменитых» карьер, я с удовлетворением отмечаю: судьба «аргонавтов» в двух десятилетиях заката русского буржуазного общества — стать неудачниками; не литераторы (а — могли б ими стать), бедняки,— в то время как не стоящие мизинца их великолепно устраивались и шли кто — в профессора, кто — в литературные корифеи; с виду «маленькие собачки, которые до старости щенки» (никакой маститости!),— многие из друзей моей юности, если бы менее думами «измеряли века» и более заинтересовались устройством своей жизни, конечно, оказались бы не чета Дымовым, Пильским, Ликиардопуло, Кречетовым, которыми временами занималась Москва, «вся» Москва, многопудовая Москва купчих, присяжных поверенных, купецких сынков, изощренно-протонченных, т. е.— та же «старая Москва», в два-три года перекрасившая свои особняки под цвет «стиль-нуво», перекроившая пиджаки в смокинги «а-ля Уайльд», а платья — в шелковые хитоны «а-ля Боттичелли».

Подчеркнув, что никто из моих друзей юности не стал прилипалой, выскочкой, спекулянтом, дутой известностью, проваливаясь в неизвестность и скромно ютясь в тени музеев, редакций как ценные консультанты, я вовсе не вменяю этим чудакам в заслугу их подчас преувеличенную скромность или брезгливость коснуться того, что захватано: старым бытом, продажностью! Надо было бороться, показывать кулаки; и бить рутину, не отступать перед нею; эти «Гамлеты», с точки зрения нашего времени, были бы справедливо заклеймлены, начинай они жизнь в наши дни. Но ведь юность каждого протекала в ужасных условиях; и каждый вступал в жизнь переломленным; воли, мужества и чисто физического здоровья недоставало многим.

И оттого-то судьба иных «аргонавтов» — стать не деятелями, а советчиками, ободрителями, часто няньками тех, кто боролся иль чья инициатива осуществлялась в ряде начинаний.

«Аргонавт» — психологический тип моего времени; и ныне он вывелся; но тридцать лет назад он сыграл свою роль; он был среди нас; но он же, вероятно, был рассеян по всей России; в провинции его особенно «ела среда», и там

он зачастую оканчивал жизнь самоубийством, если не попадал в клинику для нервнобольных.

Эта слабость саморазъеда тотчас же сказалась в нашем кружке, как скоро в 1903 году я и Эллис поволили в союзе с друзьями выход на культурную арену; выявились: репетиловщина, обломовщина, в соединении с «поприщинством»[224] даже; выявились и Мышкин, эпилептический герой «Идиота», и Алеша Карамазов — «герой» без продолжения; выявился и Печорин Лермонтова, и действительно живший Печерин-католик, которому Гершензон посвятил исследование[225].

Кружок «Арго» напоминал впоследствии мне амебу, меняющую форму и выпускающую во все стороны свои псевдоподии,— с тою разницей, что амеба их вовремя втягивает, а в кружке «Арго» не раз все содержание переливалось во внешние выросты; центр же оказывался пустым местом вроде... квартиры мирового судьи, Павла Астрова, у которого мы собирались в 1904 году, или его как-то сразу, с налету, вопреки Эллису, Метнеру и многим другим, занял временно и не «аргонавт» и не москвич (в то время петербуржец)... Вячеслав Иванов, оказавшийся «мусагетским» гостем, зажившим в редакции и там правившим (это было в 1910 году). И состав тех, кого мы считали ближайшими «аргонавтами», настоящими «своими» и неизменными, быстро менялся в годах: если этим, можно сказать, центром неожиданно для себя оказались в 1902 году — Владимиров, Малафеев, Челищев, Эртель и Батюшков (вместе со мною и Эллисом), то в 1906—1907 годах в этом центре я вижу Нилендера, братьев Метнеров, Киселева, Сизова, Петровского, себя и Эллиса; а места, где теплились наши беседы за чаем,— квартира Метнера, меблированные комнаты «Дон» и «Дом песни» д'Альгеймов. Временами наш кружок делался каким-то проходным двором, где вчера чужой, сегодня показавшийся близким, чувствовал себя как дома и нас поучал; и мы внимали, чтоб через неделю рассориться.

В нашем кружке не было общего, отштампованного мировоззрения, не было догм: от сих пор до сих пор; соединялись в исканиях, а не в достижениях; и потому: многие среди нас оказывались в кризисе своего вчерашнего дня; и в кризисе мировоззрения, казавшегося устарелым; мы приветствовали его в потугах на рождение новых мыслей и новых установок; в общем: равнодействующая стремлений чалила на те образы, которые приподымались в произведениях тогдашних новых художников слова

(Ибсена, Гамсуна, Роденбаха, Брюсова), пока только в нашем кружке гремевшего Блока;[226] и, конечно: большинству из нас говорил символизм; но была иная тональность подхода к произведениям, связанным с символизмом, резко нас отделявшая от «старших», от литераторов и поэтов, группировавшихся вокруг Валерия Брюсова, которого я посещал и о журфиксах которого я рассказывал; там провозглашали символизм как литературную школу, главным образом связанную с традициями французских поэтов; у нас «символизм» понимали шире, но неопределеннее; Брюсов учил: символизм появился как течение в таком-то году; в таком-то году в таком-то кафе такие-то поэты постановили то-то и то-то; в таком-то году в Германию перекинулись такие-то лозунги, и т. д., словом,— выходило: от сих и до сих пор (ясно, четко, определенно). Проблемы школы не интересовали нас; и, по правде сказать: только Эллиса интересовали французские поэты-символисты; нас интересовала проблема новой культуры и нового быта, в котором искусство — наиболее мощный рычаг, но которого формулы отчеканятся в будущем; пока — о них говорить рано; наша задача — принести посильную лепту на алтарь этого будущего, видимого смутно и противоречиво; тут мы, конечно, преувеличивали наши силы; и Репетилов, рождавшийся среди нас и над нами, как клубы дыма, выпускаемого разом из двадцати папирос,— рисовал нас, «пигмеев», гигантами (это Эртель вовсю зажаривал!); и потом: в оценке и в отрицании значимости старого и нового искусства мы расходились существенно: для меня, например, непререкаемо было, с легкой руки Метнера, значение германской культуры в новом искусстве: Ницше, Вагнер, Григ, Ибсен, Гамсун и другие немцы и скандинавы перевешивали Бодлеров, Верленов и Метерлинков — всегда; ко мне присоединялся Владимиров; Челищев вносил ноту польского модернизма; Рачинский струил из толстой своей папиросы дым хвалы немецкому романтизму, тыкая нас носами в Новалисов, Эйхендорфов и Шлегелей; а Э. Метнер издалека, в фунтовых своих письмах, читаемых мною друзьям, взывал к переоценке по-новому Канта, Бетховена, Шумана; и слышался с его нервных, зигзагистых строк нервный крик: «Гете, Гете и Гете!»

Диапазон наших интересов был необычайно широк, чрезмерно широк; и оттого — расплывчат.

И кроме того: в начинавшемся «Скорпионе» не было четкого разделения на декадентов и символистов; публика

говорила: «декаденты и символисты». Тогдашние «скорпионы» принимали вызов, доказывая, что «декаденты и символисты» не упадочники; у нас в кружке это «и» — союз,— может быть, впервые принял разделительный смысл: «символисты» — это те, кто, разлагаясь в условиях старой культуры вместе со всею культурою, силятся преодолеть в себе свой упадок, его осознав, и, выходя из него, обновляются; в «декаденте» его упадок есть конечное разложение; в «символисте» декадентизм — только стадия; так что мы полагали: есть декаденты, есть «декаденты и символисты» (т. е. в ком упадок борется с возрождением), есть «символисты», но не «декаденты»; и такими мы волили сделать себя. И я развивал: судьба декадентов — судьба разбившегося летчика, Лилиенталя;[227] но Лилиенталь погиб перед тем, как судьба авиации, в принципе, определилась; «символист»-де — авиатор, осуществляющий свой полет; «декадент» — авиатор, кончающий полет гибелью. Бодлер был для меня — «декадент»; Брюсов — «декадент и символист», ибо в нем силы упадка казались уравновешенными потенцией к новому творчеству; в стихах Блока видел я первые опыты «символической», но не «декадентской» поэзии; так я проповедовал в те года; и доказывал поздней свою мысль приведением цитат.

Мировоззрение декадента выражено-де в стихах Валерия Брюсова:

Но лестница все круче.
Не оступлюсь ли я,
Чтоб стать звездой падучей
На небе бытия?[228]

Кто сомневается (не оступится ли?), в том силы полета подорваны: Брюсов-де — «символист и декадент». И он декадент, когда пишет:

Так путник посредине луга,
Куда бы он ни кинул взор,—
Всегда пребудет в центре круга:
И будет замкнут кругозор[229].

Эгоцентризм, соллипсизм — судьба декадентства; наконец, квинтэссенцией декадентских переживаний считал я строки стихов Сологуба:

В поле не видно ни зги,
Кто-то зовет: «Помоги».
Что я могу?
Сам я и беден и мал.
Сам я смертельно устал.
Чем помогу?[230]

Бессилью противополагал я жизненную уверенность в том, что полеты — будут, что помощь — возможна и что надо «связать» руки всем искателям новых путей; я — цитировал Блока:

...вместе свяжем руки, —
Отлетим в лазурь![231]

В 1902 году я полагал: всенепременно «свяжем», т. е. будет коммуна новаторов; и — полетим; в 1904 году я сам полетел кувырком, но не в лазурь: в пыль и в пепел.

. . . .

Заканчивая эту главу, я должен сказать об одной из основных тем этой книги: о символизме, а то читатели могут меня спросить, почему в книге, наполненной воспоминаниями о символистах и спорах друг с другом их на протяжении сотен страниц, нет ответа на вопрос, что же полагал символизмом автор воспоминаний в 1901—1905 годах.

Прежде всего: то, что он полагал символизмом, уже напечатано им в 1910—1911 годах в трех книгах, обнимающих не менее 1200 печатных страниц; * в них собран материал статей, написанных гораздо ранее: в 1902—1903—1904 и т. д. годах; в этих статьях с достаточной полнотой отразилось юношеское мое «крэдо», со всею широтой, неопределенностью и достаточными промахами; о символизме писали: Вячеслав Иванов, Брюсов, Блок, Сологуб, Чулков; спец может найти ответ в соответствующей литературе; считаю, что наши споры и формулировки юношеских лозунгов в достаточной степени устарели; воспроизводить раз воспроизведенное — неэкономично: дать рецензии на свои старые книги — значит: подменить точку зрения на символизм 1902 года точкой зрения 1932 года, т. е. изменить стиль воспоминаний, которого задание — показывать, а не указывать; в пятнадцатом году мои взгляды на символизм подвергались значительной переработке; в 1929 году в своем дневнике я пытался ревизовать прошлые домыслы и дать очерк своего теперешнего взгляда на символизм;[232] но работа над романом «Маски» отвлекла меня;[233] с 1902 года до 1909 мои юношеские взгляды, по существу, не менялись; менялось методологическое обоснование: попытка базировать психологически теорию символизма сменилась усилиями дать символизму гносеологическое, т. е. чисто логическое, обоснование; по-одному

* «Символизм», «Арабески», «Луг зеленый».

я делаю экспозицию символизма в статье «Символизм как миропонимание» *, по-другому — в статьях «Смысл искусства» и «Эмблематика смысла» **. Скажу лишь: под символизмом разумел я художественно-творческую деятельность в нас; под теорией символизма разумел ответ: как она в нас возможна и каковы принципы, руководящие этой деятельностью; деятельность эту я видел автономной, первичной, цельной, определяющей не только художественное творчество, но и творчество мысли, творчество поступков, индивидуальных и социальных; и потому-то я признавал, что определение принципов символизма в чисто отвлеченных понятиях может быть только условным, ибо самые принципы, как мыслительное творчество в нас, определяемы той действительностью, о которой сказать ничего нельзя; ведь то, посредством чего мы о ней говорим, ею же определено; и оттого все наши определения посредством понятий — эмблемы; а все отражения этой действительности образами — символы; символ есть типизация одного из моментов вечно изменной действительности, вырванного из комплекса их («нераздельной цельности» на моем тогдашнем жаргоне); термин «понятие» есть типизация же, но другого порядка, осуществляемая в рассудочном синтезе, который я понимал в годы молодости по Канту (и с Кантом боролся); но «символ» и «понятие» условны (но по-разному): они не отражают всей полноты действительности, которая, будучи реальна в деятельности, эмблематична и в рассудочном познании, и в художественном отражении; лишь в деятельности познанием, в которое сведена воля, мы осуществляем действительность: искусство есть искусство жить (социально и индивидуально); познание есть тоже искусство в перековке нам данного материала, каким являются предметы, природа, мысль и т. д.

В развитии этого хода идей я наделал ряд промахов, обусловленных ограниченным кругом философской литературы, которою чрезмерно пичкал себя в ущерб ряду течений мысли, с которыми я был плохо знаком; *** школа, с которою боролся, преодолевая тяжести, была мне чужда, хоть известна; ход мой на символизм был кос; мне следовало бы уточнить, пусть условно, свое понимание действи-

---

* См. «Арабески».

** См. «Символизм».

*** Так, мне не были известны позиции диалектического материализма (Маркс и Энгельс, Ленин).

тельности, его развить и доказать, в каких дисциплинах, как и почему эта действительность не вполне отражаема и почему она отражаема: в принципе, который я силился нащупать своими силами; и уже после выявления контура действительности дать систему ее определений в ряде течений мысли, в действительности коренящихся, я же самую эту действительность назвал «символом», ибо я начал не с основного ствола жизни, а с ветвей, с критики действительности, поданной в системах мне известных, но неприемлемых мировоззрений, искажающих каждое посвоему образ действительности; так: в те годы не соглашался я с позицией Молешотта, с позициями идеализма в оформлении Шопенгауэра, Гегеля и более всех ненавистного, но импонирующего величием защитных доводов Канта; вместо того, чтобы из своего взгляда на действительность сделать вывод о недействительности представлений о действительности мне чуждых мировоззрений, я начинал с критики «будто бы действительности», не оговаривая с достаточной силой, что она не действительность, а «действительность» в понятиях мне чуждых систем; я противополагал ей свое туманное понятие «символа», под которым мыслил действительность: в собственном смысле; выходило, что действительности я противополагал символ, который становился не чем иным, как действительностью, после, прямо сказать, кругосветного плавания по энного рода «эмблемам действительности», или «картинам действительности», многообразных мной прочитанных философских систем.

И становилось — все наоборот: действительность оказывалась символом; символ — действительностью. Так бы я охарактеризовал аберрацию в методах подхода к непосильной для юноши проблеме: дать росчерком пера теорию творчества.

Отсюда бесконечная полемика с деталями систем, меня подавлявших доводами, и многочисленные семинарии по более всего беспокоившему Канту; я отрезывал заранее возможность себе — сформулировать тезисы своей системы символизма, друзьям — разобрать, в чем ее основное ядро; врагам же я открывал возможность приклеивать меня к тому из философов, под которого я в данную минуту вел подкоп, ибо подкоп начинался с усвоения терминологии противника до... почти невозможности меня отличить: от противника. И в то время как риккертианцы не верили в мою риккертиански вымощенную, по существу антириккертианскую, «Эмблематику смысла», о ходе мыслей ко-

торой отозвался сам Риккерт, что не разделяет его (ему излагали ее),— в это же время Тастевен из «Золотого руна» писал: Андрей-де Белый символизм утопил в неокантианской схоластике[234].

Скажу о самом термине «символ»; может быть, и не стал бы он центральным в моем круге идей; но об образах, меня пленявших, говорили в годы моего отрочества: «Это — символы». Их бранили; и этого было достаточно, чтобы слово «символ» появилось на моем знамени. Раз появилось,— надо обосновать; я обосновывал: и опять рикошетом; под символом я силился разуметь органическое соединение материалов познания в новом качестве, подобное химическому соединению двух ядов, натрия и хлора: в неядовитости; доказательство от аналогии — не доказательство, а образ того, что еще надо было вскрыть, доказать; аналогия лишь подчеркивала, что я противополагал символизм таким-то «синтетическим» системам, ибо я доказывал: в понятии синтеза мыслится лишь соположение соединяемого материала познания, не конкретное соединение; атом хлора, лежащий с атомом натрия, не сцепляется; соли не будет; для выявления свойств хлористого натрия нужна некоторая энергия, как, например, для соединения кислорода с водородом нужен электрический разряд; символизм, по-моему, была деятельность, коренящаяся в воле, посредством которой по-новому соединяются творчество и познание, а символ — результат этого соединения; на игре слов «сюнтитеми» (сополагаю) и «симбалло» (сбрасываю вместе) строил я вынесение символизма как деятельности из сферы синтетизма как рассудка;[235] но моя борьба с синтетизмом опять-таки — борьба с кантовским рассудочным синтезом; она гипертрофирована, потому что гипертрофировано было во мне представление о значимости философии Канта; когда позднее я справился с Кантом, открылись возможности иного обоснования символизма; но мне было уже не до него.

Не стану обременять читателя приведением деталей моих юношеских мыслей о символизме; скажу лишь: в 1902 году я был весь переполнен планами сформулировать свое «крэдо» и в разрезе теории, и в разрезе боевой платформы; выход в литературу скорее перевлек меня на другие пути; в 1902 году я себе виделся теоретиком в большей степени, чем художником слова.

Глава вторая

АВТОРСТВО

АВТОРСТВО

Центр, куда нес я впечатленья,— квартира Михаила Сергеевича Соловьева, силуэт которого я дал в книге «На рубеже», он первый пригрел мои эстетические стремления, выпустил литератором; он импонировал и летами.

Владимиров, Метнер, Рачинский и Батюшков дергали; М. С.— лишь щупал во мне доброкачественность материала сознания: он не деформировал, предоставляя свободу, надеясь, что в мировоззреньи к нему я приближусь; он внимал философии жизни, а не испарению схем.

И отсюда — его равнодушие к познавательным моим схемам; он щупал материю моих воззрений, не форму; он знал, что она не на кончике «credo», навеянного встречей с Метнером, с Эллисом, с любой книгой, подкинутой случаем мне.

Я же, выкладывая у Соловьевых себя, договаривался и с собою самим.

Из портьеры просовывалась очень бледная, слишком большая для хрупкого, зябкого тела, закутанного в итальянскую тальму, хохлатая голова с золотою бородкой; вот — закинулся нос; появился кадык; протянулись две теплых руки:

— «Ну, что скажете, Боря?»

Сутулый, садится, бывало; и носом большим клюет в скатерть, отряхивая папиросу в большую золотоватую пепельницу; спадает пенснэ, когда булку прищуро ломает средь книг, фресок, карих портьер: в золотом луче лампы; с усилием дышит: страдал расширением сердца.

Он как бы вел протокольную запись моих впечатлений; я ему выкладывал свой личный дневник; но и сам он де-

лился со мной — виденным, слышанным: кратко; никаких резолюций, советов, опасок, поспешных надежд от него не услышишь, бывало; но не поднёвно,— помесячно, даже погодно итоги всех наших встреч подводил в тихом молчаньи.

Вот резолюция на интерес: «Позовите к нам Батюшкова»; и Петровский, Владимиров, Батюшков, бывало, уже сидят перед ним; и М. С. их разглядывает, как оценщик моих устремлений еще на корню, так сказать; его метод расценок — единственен, Кобылинский и Метнер — немного насильники; А. С. Петровский — «заноза», часто меня задиравший в те дни; Рачинский — синкретик; Эртель дует лягушку в вола. М. С.— был мне отдых, осмысленный, над материалом сырых впечатлений: с дымком, с шуткой строгой, с вниманием к моей подоплеке, с любовью ко мне.

Иной стиль отношений сложился с женой его, Ольгой Михайловной; он — в молниеносной реакции, яркой и нервной; тут не было разности лет: ниже ростом, сухая и худенькая, в балахончике, с башенкой черных волос,— суетливая девочка, вовсе не сорокалетняя дама; она — взрыв ярчайших реакций на мои рассказы о встречах, о книгах, о мыслях,— но не объективность; и наш разговор с каждым годом — пестрей, интересней, крикливей; царапаемся и дружим, заражая друг друга; мои впечатления в ней пламенеют, бывало; она, обрывая меня, недовыслушав, с загоревшимися глазами начинает сама фантазировать: «Стойте,— не так, не туда». В ней А. Петровский разыгрывается ей увиденным «мифом»; она им корит меня: вы-де не Петровский; тот бы не так поступил.

Споры меж нами крикливей и ярче: до вскакиваний моих, до выскакиваний из комнаты; а где мы сходимся,— мне она ближе Сережи; * он, став уже отроком и утративши кудри, с 1901 года мне редко видится за соловьевским столом: он в рое сверстников, поливановцев; реже с нами сидит: он — с Гиацинтовыми, Бенкендорфом, Венкстернами; явно ухаживает за арсеньевскою гимназисткой; он — в собственном возрасте; и М. С. чрезвычайно доволен: «Пусть его».

Ольга Михайловна мне как ровня: мы с ней — теперь и бурная и яркая пара; самый спор — только средство к новому сближению; она уже читает мне с 1900 года

* Сережа — С. М. Соловьев, сын О. М. (О Соловьевых см. «На рубеже».)

письма своей дальней родственницы, Али (А. А. Кублицкой-Пиоттух), и отрывки из писем к ней Гиппиус, жены Д. С. Мережковского; часто меж нами как предмет спора встает Достоевский, которого так ненавидит она, утверждая, что впечатление от его романов вызывает образ распятия в клопах; Поликсена Сергеевна Соловьева, сестра Михаила Сергеевича, друг Гиппиус, теперь появляется в Москве; она-то явно и вздувает в О. М. интерес к Мережковскому, к его идеям, к исследованию о Достоевском, два года печатающемуся в «Мире искусства»[1].

— «Что бы Володя сказал?» — восклицает О. М., читая риторику Мережковского.

Но «Володя», философ Владимир Соловьев, скончался: М. С. редактирует книги его[2], приобщая нас к черновикам, выволакивая из потертых портфелей пуки пожелтевшей бумаги, исписанной крупным, кривым, броским почерком; щурит глаза в перемарчивый текст; сомневается: стоит ли данный набросок печатать; указывает на два почерка: крупный и бисерный, мелкий; и говорит:

— «Это — автоматическое письмо».

М. С. колебался печатать те из отрывков незаконченных статей философа-брата, которые связаны с темой поэмы покойного «Три свиданья», потому что какая-то полусумасшедшая Шмидт в Нижнем Новгороде возомнила себя «мировою душою», которая-де инспирировала покойного Соловьева;[3] эта маньячка сильно волновала М. С.; он все боялся рождения какой-нибудь мистической секты из недр философии своего брата под влиянием бреда Шмидт; и откликами этих волнений в виде пародий на секту переполнена моя первая книга «Симфония».

Квартира Соловьевых связалась мне с авторством. В 1901 году я колебался: кто я? Композитор, философ, биолог, поэт, литератор иль критик? Я в «критика», даже в «философа» больше верил, чем в «литератора»; вылазки — показ отцу слабоватых стихов и «Симфонии» другу — посеяли сомнения в собственном «таланте»: отец стихи — осмеял; друг откровенно отметил, что я-де не писатель вовсе.

Не будь Соловьевых, «писатель» к 1903 году совсем бы исчез с горизонта; но Соловьевы меня тут поддержали всемерно; Сереже, еще гимназистом, читал я убогие кропанья свои, приведя его в бурный восторг; и его карандаш, разрывая страницу, влепил: «Пре-вос-ход-но!»[4]

Каракуля мальчика в тот момент явилась решающею поддержкой; но я умолял моего юного друга: таить мое ав-

торство; он долго таил; но потом проговорился родителям; и они притянули меня: им читать; О. М. нравилась моя убогая проза; М. С. помалкивал со сдержанной благосклонностью; а за стихи — смесь Бальмонта, Верлена и Фета — таки и журил, не любя ни декадентов, ни романтиков; ну, а О. М.— та отзывалась на весь романтический фронт: от баллад Жуковского, от поэзии Оссиана до «Песенок» М. Метерлинка;[5] ей нравились в моей поэзии совершенно по-детски поданные багровые луны, самоубийцы, вампиры и прочие «жути».

Я же задумывал космическую эпопею, дичайшими фразами перестранняя текст: из всех сил; окончив этот «шедевр», я увидел, что стиль не дорос до мировой поэмы:[6] и тогда я начал смыкать сюжет до... субъективных импровизаций и просто сказочки; ее питали: мелодии Грига и собственные импровизации на рояле; сильно действовал романс «Королевна» Грига; лесные чащи были навеяны балладою Грига, легшей в основу второй и третьей части «Симфонии».

Из этих юношеских упражнений возникла «Северная симфония» к концу 1900 года[7].

Она — первый итог ряда импровизированных мною классов; сперва осаждаю я ритм, стараясь выявить звучание подбором каких угодно слов; потом я стараюсь свои ритмы раскрасить; меня интересуют образы, а не их словесное оформление; словарь еще жалок; напев да образ: без всего прочего; О. М. это нравилось; М. С., сторонник классической четкости, видел в стряпне моей неочищенные огородные овощи к будущим «блюдам».

Позднее уже образ во мне отделяется от напева: он, так сказать, членится; и я собираю метафоры; увлечение ими своего рода спорт; в этом себе самому устроенном классе я — главным образом глаз, как в первом классе своем я — главным образом ухо; «писателя» — все еще нет.

Уже после во мне пробуждается интерес к рифмам и к отдельным словечкам; меж ними — слова «на авось». Полотно, еще белое в целом, кое-где уж сработано; это — эпоха «Золота в лазури» (конец 1902, начало 1903 года); о «Золоте в лазури» В. Я. Брюсов сказал: «Ценности — на жалком рубище»[8].

Прозой овладеваю я раньше; я ищу подковывать фразу; класс ковки — поля; время — лето; зимою мне пишется хуже; стола — мало мне; нужны: глаз, ноги, лошадь; глаз — для зарисовки полей, неба, воздуха: я — в этом пе-

риоде вижусь себе «пленэристом»; мне работается только на воздухе; и глаз и мышцы участвуют в работе; я вытопатываю и выкрикиваю свои ритмы в полях: с размахами рук; всей динамикой ищущего в сокращениях мускулов, даже в прыжках, равновесия тела как бы обращен я к полукружным каналам: * к внутреннему, а не внешнему слуху, нащупывая связи между словами ногой, ухом, глазом, рукой; высекается упругое слово как бы из упругости мышц: ритмы, качественно пережитые в «др-пр», а не в абстрактном «◡ —», ложатся мне в основу словесных отборов; ухо вникает теперь как бы в поступь стопы; мало услышать: надо мне в этот период услышанное провести в поступь; я делаю открытие для себя, что есть мускульные представления, а есть и безмускульные; влияние телесных движений на архитектонику фразы — Америка, мною открытая в юности: в классе полей (разумеется, для себя, а не для других); скульптура поэзии греков слагалась в метаниях диска, копья, в беге, в прыге, в борьбе,— к этому пришел я позднее **.

Галопы в полях осадились галопами фраз и динамикой мимо мелькающих образов; много писалось о моей «мистике»; но ее генезис для меня — верховая езда; ведь сцены симфоний писал я на лошади, так что неясность ландшафта есть дымка пространства; а мельки предметов — натура летящего всадника.

Мускулы как бы увядали зимой; бега — не было; была — трусца; верховая езда заменялась корпением в лаборатории; и увядали все образы.

Я привык писать на ходу; так пишу и доселе; и в 30 году я, старик, писал «Маски», роман, добывая себе мускул фразы в работе над снегом, в прогулках по лесу, где лучше записывались отдельные сцены, то в беге по дворику; и — в непременной гимнастике.

Форма «Симфоний» слагалась в особых условиях: в беге, в седле, в пульсе, в поле.

Тот класс проходил уже я с 900 года; итог его в том, что М. С. Соловьев весной 1901 года сказал:

— «Вы — писатель».

---

* Анатомический термин для органов равновесия.

** Вспоминая эти свои тогдашние юношеские подгляды в процессы начала творчества, подгляды около 30 лет назад, разумеется, привожу их я в качестве воспоминаний о далеком прошлом, а не в качестве каких-нибудь «поучений», очень может статься, что пережитое тогда — бессмыслица.

«Произведение имеет три смысла»,— писал в предисловии я;[9] неудачно: три стороны — лучше сказать; одна — слово, итог окисления крови в полях, ритм галопа (на лошади); то — смысл музыкальный, как я называл.

Другой — сатирический смысл: синтез черт, которые я подмечал у окружающих меня чудаков и мистиков, как попытка нащупать рождавшийся тогда новый тип; этот тип еще созревал в неизвестных мне — Эрне, Бердяеве, Блоке, Булгакове, Льве Тихомирове, в нижегородской «душе мировой», Анне Шмидт, в Тернавцеве; я еще внюхивался в атмосферу, пока безличную; и как бы сказал: «Посмотрите-ка, дождик повис». Он — закрапал, пока я писал: носом Батюшкова, косоглазием Эртеля, рыком Рачинского, стихотворениями Блока; все эти люди были для меня новы; в «Симфонии» я их брал, так сказать, в воображении; воображение осаждалось в быт по мере того, как появлялись люди, существование которых было мной угадано; из «Симфонии» образ Сергея Мусатова — образ заостренного, окарикатуренного до сектанта соловьевца; подобные ему появились в шмидтовской секте; я же в «Симфонии» лишь шаржировал Шмидт, рисуя, что было бы, если б В. С. Соловьев согласился с бредом своей сумасшедшей последовательницы.

Через три уже года студент-радикал, Валентин Свентицкий, для иных и огонь с «небеси» низводил, т. е.— верили: де низведет; профессор Булгаков глядел ему в рот; А. Блок писал: «Анна Николаевна Шмидт... опять написала «ради бога, устройте нашу встречу»[10] и пр. ...Положение затруднительное, и придется вести с ней разговор наедине».

А. Шмидт — бесплатное приложение жизни к моей «Симфонии». Она превзошла даже мой шарж.

Иронию вышедшей в 1902 году «Симфонии» даже отметил публицист «Русских ведомостей» Игнатов, писавший в газете, что я-де убиваю «Симфонией» самих декадентов;[11] иронию эту отметил позднее и Блок[12].

Но иронической ноты «Симфонии» не понимала профессорская Москва, потому что еще не видели «предмета» моих ироний; о Шмидт никто ничего не знал; это позднее напечатали ее яркий бред[13].

Третий смысл, который я вкладывал в «Симфонию»,— вера, что мы приближаемся к синтезу, иль — к третьей фазе культуры.

М. С. Соловьев — решил: в книге показаны чудаки, имеющие появиться на свет; и поспешил мою книгу издать, чтобы она предварила рисуемый «тип» у порога его появления: в жизни.

В «Симфонии» я старался явить и развал загнивающего, всемосковского быта; в ней изображено: равнение жизни мещан с сумасшествием.

Но в «Симфонии» есть еще личная нота: весна на Арбате, влюбленность в какую-то даму, какую мой «демократ» видит «Сказкой» [14].

Помню таяние снега Страстной; жару, раннюю Пасху, крик зорь; и мы с гимназистом Сережей бродили — Арбатом, Пречистенкой; я — искал видеть «даму», а он — гимназистку свою, увлекая меня на Пречистенку (я же его возвращал на Арбат); мы круто писали зигзаги в кривых переулках; картина весны, улиц и пешеходов — вдруг вырвалась первою частью «Симфонии», как дневник: для прочтения за чайным столом Соловьевых[15]. Профессор Расцветов, к которому я совершенно случайно попал, отражен старичком, проливающим слезы свои на груди: у студента;[16] и тетя моя, огорченная смертью недавнею бабушки,— в образе «родственницы»: сидит в креслах[17].

«Дневник» — поощрил Соловьев, и впервые явилась мысль: осюжетить наброски; но — не до писанья: экзамены; уже разъехались все (Соловьевы, родители); пуста квартира; в столовой листы курса лекций профессора Умова (физика); только Петровский являлся в пустую квартиру, и произносилися формулы: «Как вы доказываете?»

И вот сдали физику; перед ботаникой оказывался ряд пустых дней; расцветает сирень; уже — Троицын день; вечер: я — над Арбатом пустеющим, свесясь с балкона, слежу за прохожими; крыши уже остывают; а я ощущаю позыв: бормотать; вот к порогу балкона стол вынесен; на нем свеча и бумага; и я — бормочу: над Арбатом, с балкончика; после — записываю набормотанное. Так — всю ночь: под зарею негаснущей.

Уже три часа ночи; Духов день; не ложась, я дописываю. Вот вторая часть кончена; резкий звонок: то неожиданно нагрянул ко мне Сережа, из Дедова; ему и прочел не просохшую еще рукопись; он — потащил в Новодевичий, чтобы сравнить его с отражением его в «Симфонии»; и мы удивлялись, что день такой же, каким изображен он в «Симфонии», что монастырь — совсем как

в «Симфонии»; неудивительно: ведь погоду я сфотографировал, написал вторую часть чуть не в двадцать четыре часа[18].

— «В Дедово — едем, читать родителям»,— сказал мне Сережа; и потащил.

Выскочили, приехали на вокзал, сели в поезд: и в понедельник (в следующий за написанием день) я читал обе части «Симфонии» в маленьком флигеле, тонущем в травах, деревьях, цветах,— всем трем Соловьевым.

М. С. слушал молча, с тихим покуром; и, помолчав, спокойно, как будто ничего не случилось, сказал:

— «Из теперешней литературы лишь Чехов да Боря меня утешают».

Я — был, конечно, от слов его на седьмых небесах: с его мнением исключительно ведь считался.

Весь следующий день — разговоры, чаи, «колокольчики белые» (память В. С. Соловьева)[19], поля; ночь проводили с Сережей, вдвоем, на пруду, в старой лодке; спать не хотелось; душили слова; на бледном рассвете М. С. Соловьев вышел из дома к нам; он сказал с тем же спокойствием:

— «Мы «Симфонию» напечатаем».

В среду я уехал, как с пира, из уютного, утопающего в весенних цветах Дедова, где впоследствии я проводил лета, приглашаемый ласково старушкою Коваленской: делить досуг с ее внуком, оставшимся сиротою; много уюта и ласки я встретил здесь.

Третью часть «Симфонии» я писал, оказавшись в деревне, у матери, в Серебряном Колодце, меж первым и пятым июнем, носяся целыми днями галопом в полях на своем скакуне и застрачивая в седле: сцену за сценой; оголтелый Мусатов слагает в той части свой бред, построенный по образу и подобию бреда Шмидт, который служил мне моделью «Симфонии»[20].

В эти именно дни пишет Блок, мне неведомый:

> Весь горизонт в огне... И близко появленье.
> Но страшно мне: изменишь облик ты[21].

Здесь «она» — мировая душа; изменение облика, верно, смешение переживаний «мистических» с чувственными.

Тема стихов о «Прекрасной Даме» у Блока встретилась с пародией на нее в «Симфонии».

Весть, что отец сломал руку, нас гонит в Москву[22].

Только в июле дописываю я свою первую книгу: пишу четвертую часть; в ней показан провал бреда «мистиков»;

и одновременно получаю письмо от Сережи; он пишет, что в Дедове гостил «кузен» А. А. Блок, чтящий В. Соловьева, в кого-то влюбленный и пишущий великолепно стихи;[23] это были первые стихи о «Прекрасной Даме»; то, что у Блока подано в мистической восторженности, мною подано в теме иронии; но любопытно: и Блок и я, совпав в темах во времени, совсем по-разному оформили темы; у Блока она — всерьез, у меня она — шарж.

Ранней осенью — цикл разговоров о Блоке: в семье Соловьевых; показан впервые мне ряд его стихотворений, великолепно сработанных; до этого «поэт» Блок мне был неведом; я становлюсь убежденным поклонником поэзии Блока и ее распространителем;[24] Соловьевы решают, что Блок — симптом времени, как речи Батюшкова, уже частящего к нам, как пожары слов Эртеля, вынырнувшего из бездны, как весть о Рачинском, о Льве Тихомирове, как появленье, внезапное, самой «двуногой Софии» из Нижнего: Шмидт,— в кабинете М. С. Соловьева: именно в эту осень.

Сотрудница нижегородской газеты, почтеннейшая Анна Николаевна Шмидт, уверяла: она-де предстала душой пред В. С. Соловьевым, а он описал с нею встречи в поэме своей «Три свиданья»; в этой поэме описывает в стихах встречу со своей музой, разумея под встречей охватившее его поэтическое вдохновение, которое воспоминание пронесло над жизнью; первое «свидание», или момент вдохновения,— в церкви, когда он был ребенком; второе — в лондонском Британском музее, где он работал над проблемами истории церкви; третье — в пустыне, около Каира (в Египте). Шмидт по прямому проводу истолковывала эти встречи; это были встречи с ее-де, Анны Шмидт, душой, которая-де — сама душа мира, воспетая поэзией Соловьева.

Соловьев писал в своей поэме:

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга юная, тебя не назову я,
Но ты услышь мой трепетный напев[25].

Оказывается: в это самое время в Нижнем сидела Анна Николаевна Шмидт, «подруга юная» (ей было ко времени моей встречи с ней лет под пятьдесят), и слушала, как в пустыне египетской Владимир Соловьев посылал ей свои «мистические» восторги; почему он поехал на свидание с «ней» из Лондона в Египет, а не прямо в Нижний Нов-

город, в редакцию «Нижегородского листка», в котором Шмидт работала хроникершей,— трудно понять; для понимания этого Шмидт понадобилось написать свой туманный, витиеватый «Дневник» и полубредовое теософически-схоластическое сочинение «Третий завет», т. е. завет от Анны Шмидт, Софии, Премудрости божией; рукопись нашлась после смерти Шмидт в 1908 или 1909 году; профессор Булгаков, пришедший в восторг от сих пророчествований, напечатал ее.

Уже перед смертью Владимира Соловьева Шмидт, вступив в переписку с философом, открыла себя ему; она — «нетленная порфира» («под грубою корою вещества я прозревал нетленную порфиру и узнавал сиянье божества»[26]), имеющая миссию ему открыть, что и он не кто-нибудь, а само воплощение Иисуса; испуганный философ урезонивал ее письмами;[27] она настаивала на своем; и добилась-таки, что он ездил к ней на свидание[28], чтобы лично урезонить ее: бросить бред; после смерти философа она явилась доказывать, что в бывшем свидании она-де переубедила; и философ-де был ею обращен в ее веру. Так как с бредом соединяла она и упорство, и уменье притаиться и выглядеть сухо практической (ведь все время сотрудничала она в газетах и имела в Нижнем каких-то, ею не показываемых, учеников), то она представляла для брата философа явную опасность: привязать к учению Соловьева свой бред; М. С. Соловьев все время ее урезонивал в письмах, питая понятное отвращение к этой бредовой переписке.

В конце сентября 1901 года собственною персоною она появилась в Москве, частила к М. С. и привела его просто в ужас тем, что назвала его Иаковом, «братом господним».

— «Боря, я хотел бы, чтобы вы присутствовали при свидании с этим монстром,— сказал он мне,— а то меня охватывает и отвращение и ужас, когда я остаюсь наедине с ней».

И было решено, что я в один из назначенных дней буду присутствовать при их объяснениях; это было в первых числах октября 1901 года[29].

Когда я в назначенный день пришел, М. С. провел меня в кабинет; и мы с ним ожидали появления «нетленной порфиры»; я горел любопытством: был падок в те годы на подобного рода музейные редкости, любя все карикатурное и каламбурное.

Помню: раздался тихий звонок; скоро серо-орехового цвета дверная портьера раздвинулась, и в комнате оказалась — девочка не девочка, карлица не карлица: личико

старенькое, как печеное яблочко, а явная ирония, даже шаловливый задор, выступавший на личике, превращал эту «существицу» в девочку: что-то от шаловливой институтки; она была очень худа, мала ростом, быстра; и не пошла, а быстро-быстро просеменила навстречу к нам, окидывая меня не то шутливым, не то насмешливым взглядом, как бы говорящим:

«Что, пришел позабавиться над душой мира? Ну, очень забавна я?»

И — подмигнула; и, сев в кресло, пропала в нем: мне казалось, что одна голова приподымается над столом: старая карлица. И стало неприятно: чем-то от бредовых, детских кошмаров повеяло на меня, и я разглядывал ее во все глаза: да, да,— что-то весьма неприятное в маленьком лобике, в сухеньких, очень маленьких губках, в сереньких глазках; у нее были серые от седины волосы и дырявое платьице: совсем сологубовская «недотыкомка серая» * или — большая моль.

Все это мелькало во мне, когда страдающий М. С. Соловьев ей объявил, что «Борис Николаевич» посвящен в круг ее мыслей, на что она, став встрепенувшейся птичкой, опять окинула меня остреньким взглядом; и — подмигнула какою-то пошленькой, сухенькой остротцею, чем-то вроде:

— «Пришли послушать мой бред: ну что ж, очень приятно».

И тут же затараторила быстро и трезво о каких-то сухеньких мелочах бытовой жизни, приводя факты и освещая их; и я почувствовал в жаргоне, в словечках что-то от самой обыкновенной хроникерши, но опытной, набившей руку на собирании сведений; и это сочетание «газетчицы» с проповедуемым ею бредом производило впечатление бреда в квадрате.

Но постепенно она подкралась и к главной теме своей, о которой тараторила все с теми же ужимочками и сухенькими подмигами, как бы говорившими:

— «Вот ведь история... Экая я греховодница, что такое наплела о себе?.. Вы, конечно, так думаете... Ну и думайте себе на здоровье... Вы, видимо, юморист... И я — тоже... Это, право, невероятно до смеха... Но это — так, и мне ничего не стоит вам это доказать».

Таков смысл ее подмигов, подморгов перед тем, как она затараракала на тему о бреде; так диктуют нотариальные

* Стихотворение «Недотыкомка» и роман «Мелкий бес».

бумаги: пункт первый, второй; и так строчат в редакциях очередную передовицу; все, что она приводила в качестве предварения главных аргументов доказательства системы, в которой основное положение — то, что она — «мировая душа», было ясно, просто, логично чисто гимназической логикой: я — человек; я — смертен; человек — смертен; ясно — до пошлости; но это не имело никакого отношения к «пунктику»; то, что выводилось из «пунктика», было опять-таки логично, пресно, трезво: разумеется — чудовищно; допустим, что нос не нос, а огурец; из этого вытекают логически такие-то несообразности; и она их выводила без логических промахов; но в логике нелепицы выводов отклоняются; Шмидт именно их утверждала; там, где говорят: «так как этого не может быть»,— она выводила: так как логически это вытекает из основного тезиса, «то так и должно быть»; чудовищность — только в скачке от предисловия к выводу: «я — душа мира»; тут была дыра в голове; во всем прочем — тер-а-терная механика[30] мозговой стукотни, дотошной и пресной; она быстро вскакивала на своего конька и тотчас соскакивала с него; и подмигивала с юмором над собой, ужасом Соловьева и моим обалдением:

— «Не правда ли, какая смешная?»

— «Думаете, что с ума сошла?»

— «Не бойтесь, потрезвее вас».

М. С. ей внимал с отвращением; я, каюсь, с художественным восторгом: вот тип так тип; напомню, что я, наслышавшись о ее бреде, уже на нем построил «Симфонию»; и теперь, впитывая ее, мечтал о следующей «Симфонии».

Она взяла чернильный карандаш, рисуя нам на бумаге какую-то свою схему, забылась и все мусолила карандаш слюной, тыкая его в рот; к концу разговора у нее стали лиловые губы; и даже зубы окрасились в лиловый цвет; во всем облике было что-то крайне неряшливое; нетленное существо таки обросло корой газетной работы; «хроникерша» сказывалась в той быстроте, с которой она давала газетный отчет нам о своих «мистических» песнях.

Позднее я слышал о ней от Э. К. Метнера, жившего в Нижнем, ее видавшего; еще поздней о ней мне рассказывал Максим Горький;[31] оба рисуют ее согласно: незлобивое, доброе созданье, поддерживавшая нищенским заработком старуху-мать; оба отмечают в ней «радикализм» и юмор.

Но в тот день бедному М. С. Соловьеву совсем не до юмора было; когда она вышла, он, содрогаясь и сбрасывая бумажку с ею нарисованной схемочкой под стол, вздохнул:

— «Какой неприятный, сухой, пошлый бред».

И скрылся в облаке папиросного дыма.

Шмидт видела, что я ее пожирал глазами; она и вообразила, что я уверовал в ее чепуху; уехав, вдруг прислала письмо[32], на которое я, испугавшись контакта с ней... отругнулся; меня испугала возможность: значиться в списке «апостолов».

После я видел ее всего два раза: у Сережи, испуганного появленьем монстра;[33] второй раз я видел ее на одном из моих воскресений; проведав о них, она явилась нежданно; но ей, видимо, не понравилось; она быстро ушла. Года через три она умерла: два-три «шмидтовца» где-то по смерти ее таились; пропали бумаги ее; года через четыре они обнаружились в «Нижегородском листке»; метранпаж передал А. П. Мельникову эти «перлы»; не зная, что делать с таким «наследством», он прислал Э. К. Метнеру ворох ее бумаг; тот принес его мне; мы, не зная, куда девать это все, передали Морозовой; последняя — Булгакову; он и напечатал «бред» Шмидт.

О Шмидт впервые слышу я, вероятно, еще в 900 году; ее «ересь» — основа пародии, изображенной в «Симфонии», с тою лишь разницей, что «облаченная в солнце жена» у меня — молодая красавица, а не старушка весьма неприятного вида.

Уже в сентябре я читаю «Симфонию» у Соловьевых в присутствии «Сены» (П. С. Соловьевой); М. С., взявши рукопись, передает ее Брюсову; Брюсов ему отвечает письмом:[34] де «поэма» прекрасна; ее «Скорпион» напечатает, но у издательства ряд обязательств: книг, намеченных к печати; денег — нет; надо ждать; это — жаль; «Скорпион» дал бы марку свою, если б кто-нибудь книгу решился печатать сейчас же.

Тогда М. С. сам решает напечатать «Симфонию», под «скорпионовской» маркой;[35] обложка придумана мною; «Симфонию» сдали в набор, псевдонима же не было; мне, как студенту, нельзя было, ради отца, появиться в печати Бугаевым, и я придумываю псевдоним: «Буревой».

— «Скажут — Бори вой!» — иронизировал М. С.; и тут же придумал он: «Белый».

А я уж — за третьей «Симфонией»; в гистологической чайной пишу ее, бросивши лабораторию; к весне — гото-

ва;[36] я ею недоволен: не мускульна форма; мне нужны: седло, воздух[37], поле и лошадь.

Поздней изменился мой летний, пленительный быт: полевой, верховой; он давал мне натуру «Симфоний» иль — взлет; позднее и сам я, отяжелев, седло бросил; жил в Дедове, в Московской губернии, в лесной природе — не в Тульской губернии, где в час склонения солнца я всегда садился на лошадь.

В те годы не прибегал я к поводам; по знаку ноги начинал мой Пегас то галопировать, то идти рысью; по знаку ноги — останавливался точно вкопанный, пока я вглядывался в облака, в небо, в нивы; меня волновали оттенки воздушных течений; «мистический» стиль описания поля, ветров, облаков — итог тщательного изучения оттенков и переживание всех колебаний барометра. Много раз спрашивали:

— «Расскажите, откуда особенность атмосферы в ваших «Симфониях», в ваших стихах?»

Ответ — точен: особенности ее — поездка верхом с шести до восьми с половиной в ландшафте без контуров, где земля — падает под ноги лошади, где ее — нет; купол неба и облачность, быстро меняющая очертания,— предмет наблюдений;— отсюда —«небесность» стихов и «Симфоний», плюс нива, которой волна разбивается в ноги, когда всадник мчится, испытывая свой полет как летенье навстречу предметов; движеньем ноги остановлена лошадь; вон — контур далекой дрофы, пылевая, закатная дымка: натура ландшафта в районе между Новосилем, Ельцом и Ефремовом, плюс еще — чувство полета, галопа; седло было креслом: поводьев, стремян не касался я; стол — записная книжонка, положенная на ладонь; я — то несся в полях, то слетал в водотеки овражные; я изучал верч предметов и пляску рельефа; метафоры — итоги взгляда; когда я писал, будто «месяц — сквозной одуванчик»[38], то я — не выдумывал: влажная ночь дает блеск ореола настолько отчетливо, что образуется белый, сияющий пух: одуванчика; пух тот сдувается: при набегающем облачке.

Мог провираться в подборе метафор; но с каждою мучился долго, ее подбирая, чтоб отобразила предмет, преломленный условиями освещения, месяца, часа; бывало, в итоге поездки — пять фраз; я был натуралистом — в эффекте, не в том, что его вызывает; и кроме того: как художник я был «пленэрист».

Сеть солнечных пятен, слагающаяся меж листьев, охваченных ветром, являла в условиях дня мне «воздушных гепардов»; и вот «золотые гепарды... из солнечных... углей, шаталися»:[39] в листьях; изысканность — от наблюденности; она — не выдумка; она — конструкция опыта видеть: «летели гепарды, вырезанные в зелени пятнами света» * в глазах амазонки, несущейся вскачь: чрез кустарник; коль вы никогда не скакали в кустах иль, скача, не разглядывали сочетанье из листьев и солнечных пятен, то вам приведенная фраза покажется, может быть, чепухой.

— «Вы учились бы видеть природу: не по воспоминаниям о ней, а на ней самой; в книжках моих жалкие опыты зарисовки с натуры; метафоры мои — позднейшая обработка глазных впечатлений; может, она неудачна, но она обработка: действительно увиденного!»

Выходя из прокуренной комнаты, один мой приятель из неокантианцев искал лишь плевательницу, сетуя, что их нет и что он привык к городскому комфорту.

Так что образы моих «Симфоний» — натура полей: в глазе всадника.

Точно такое ж условие возникновения моих трех «Симфоний» — концерт симфонический, неукоснительно мной посещаемый в эту эпоху;[40] здесь, в зале Колонном и в консерватории, я проходил музыкальный свой класс на симфониях Шумана, Шуберта, Гайдна, Бетховена, Моцарта; здесь я знакомился с Генделем, Глюком и Бахом; здесь переживал я Чайковского, Вагнера, Брамса, Сен-Санса и скольких; здесь первые произведения Скрябина выслушал.

Помнится круг посетителей,— тот же в годах: вот Танеев, рассеянный, с нотами; Бубек, профессор, властный и бритый; Рахманинов, Скрябин, Игумнов, А. Б. Гольденвейзер; вот критики: Кругликов, Энгель, Кашкин; меломаны: старуха Лясковская, доктор Попов, Каблуков, математик Егоров, Булдин; вот — профессор Марковников, Нос (адвокат); вот графиня Толстая кого-то лорнирует; с ней — семнадцатилетняя девочка в черненьком платьице — «Саша» Толстая; Волконский Г. Д. пробирается; вон и Петров, часовщик; буржуазия — в первых рядах: Вострякова, Морозовы, Щукина, неврастенический фат Бостанжогло.

Весь зал точно свой[41]. Здесь и импульс — к «Симфониям».

* «Кубок метелей», стр. 104.

Мне квартира М. С. Соловьева явилась как форточка в жизнь; в нашей не было сверстников; появлявшиеся профессора появлялись к отцу; я сидел перед ними немой; у М. С. Соловьева — меня теребили, ко мне обращались, со мною считались; язык я обрел только здесь; только здесь научился отстаивать взгляды; и даже — иметь их.

— «Вы как полагаете, Боря?» — ко мне обращались С. М. и О. М.

— «Боря думает».

— «Боря считает».

Такими словами с 1897 года вплетали меня в разговор; и я стал «говорун». С 1901 года мой голос, бывало, уже покрывает гостей; Демосфен, упражняясь в красноречии, камешки в рот набирал;[42] мне и школою, и трибуною красноречия стал круглый стол соловьевской гостиной. И кроме того: в нашем доме круг лиц собиравшихся однообразен был: родственники матери, профессора: математики да естественники; у Соловьевых я видел людей, принадлежащих к разнообразным кругам общества.

Вот высокий, тяжелый, седобородый Огнев, Иван Флорович, со своею багровой супругой, толстою очень и злой на меня тоже — «очень» (за выход «Симфонии»). Иван Флорович, выпучив над столом голубое огромное око, с причмоком рассказывает чудеса, наблюденные им в микроскопе; в ту пору он, проникнутый неовитализмом, увидел вместе с академиком Фаминцыным и приват-доцентом Фауссеком жизнь особого рода в делениях и других отправлениях клетки; я с Фаминцыным был знаком; и читал виталистические фельетоны Фауссека в «Новом времени». Мне не говорила нисколько реставрированная натурфилософия виталистов-биологов; я был в биологии механицистом, к удивлению М. С. Соловьева.

— «Как же, Боря, можете вы с таким легкомыслием относиться к словам Ивана Флоровича?» — после ухода Ивана Флоровича пристает ко мне Ольга Михайловна.

— «Не с этого угла разрешаются проблемы жизни».

Причмоки Огнева за чаем меня раздражали; М. С. на причмоки клевал; возвращаяся от Огневых, докладывал он:

— «Плазма живая...»

— «Иван Флорыч рассказывал чудеса».

Иван Флорович, лютый враг молодых символистов, глядел на меня исподлобья; багроволицая, желтоволосая супруга его, — та так и пылала позднее при виде меня; ее

пылающее лицо, на меня устремленное из сюртучков и дамских причесок,— обычное впечатление заседаний; меня подмывало, почтительно к ней подойдя, вдруг под нос самый выставить фигу; и думалось:

«Как не устанет она эдак злиться? Ведь ей же при этой комплекции даже опасно пылать».

Но пылала она.

Не пылал ни в каком отношении сын ее, «Саша» Огнев, тот, которого некогда мы аннексировали в нашу детскую труппу: на роли статистов; блондин, очень вялый и бледный, он вырос: студент; он остался статистом, но — в хоре «передовом»; статист «передового хора» сынков, он со знанием дела, но вяло, но бледно, в годах все докладывал: естествознание без философии ограничивает кругозор; философия без естествознания суживает; все — так: говорил с досадной дельностью; говорил так, как принято; «передовые» сынки всего мира — Германии, Англии, России и Франции — говорили так именно: слово в слово!

По годам сопровождает меня голос «молодого» Огнева — студента, оставленного при университете, доцента, потом, кажется, что и профессора:

— «Естествознание без философии ограничивает кругозор!»

— «Философия без естествознания суживает».

И слышалось:

— «Огнев правильно полагает».

— «Положения молодого Огнева!»

— «Огнев».

Потом прибавлялось:

— «Огнев опять говорил: то же самое».

— «Соединял философию с естествознанием?»

— «Соединял».

Браво, Огнев, п-р-а-в-и-л-ь-н-о!

И уже когда — который — дописывался книжный шкаф, трактовавший все тот же почтенный вопрос «молодого» Огнева, «молодой» Огнев продолжал то, что «молодой» Огнев говорил три года назад.

Что же — великое в малом, должно быть?

Появлялась за чайным столом Соловьевых тонкая, нервно реагирующая на все вопросы и тонко оценивающая все вопросы голубоокая дочка Герье, Елена Владимировна; она пригубливала чай, реагировала интонацией лица и голоса на мнения, ставила чашечку; и —«понимала»; Ольга Михайловна отзывалась о ней:

— «Нервная Леля Герье».

— «Чуткая девушка».

— «Все понимает».

Появлялась сестрица Лопатина, бледная, тонкая, умная; и тоже — нервно реагировала на все вопросы; и Ольга Михайловна отзывалась о ней:

— «Нервная Катя Лопатина».

— «Чуткая девушка».

— «Все понимает».

Появлялись Таня Попова и Сена Попова,— опять-таки умные, чуткие, тонкие, бледные; и опять-таки — все понимали; реагировали: Сена — пригубливанием чашечки с ироническим поджимом губ; Таня — пригубливанием чашечки с расширением синих глаз; поджим — от пониманья; расшир — от пере-перепонимания; тоже бледная, тоже нервная, тоже все понимающая, появлялась Марья Сергеевна Безобразова, сестра М. С. Соловьева; и все понимала: еще более даже,— чем другие.

А Душа У *** [43], всех тоньше, всех костлявее, всех бледней,— та кривилась лишь от просто пере-про-пере...: как поперхнулась раз пониманьем и тонкостью, так и осталась.

И я думал:

«Откуда сие?»

Точно отверзлись хляби какие-то, а не двери квартирки; и хлынули бледные, тонкие, вялые, хрупкие интеллигентные дамы и девы в эту квартиру: точно XII, а не XX век стукнул.

Или бледные девы Мориса Метерлинка воплотились внезапно?

Все чаще являлась за чайным столом Поликсена (сестра Михаила Сергеевича), напоминая чем-то философа, Владимира Соловьева,— но без философии, без искр смеха, без сверка глаз, без бороды и усов, но — в сапогах, как он; басила, как он; стриженая, с нездорово надутым лицом и с напуками глаз, нездоровыми тоже: такие напуки бывают у тех, кто страдает базедовой болезнью; худая, высокая, черноволосая, толстогубая, точно нарочно скрипела она сапогами, точно силилась себя вздуть до... матерого разбойника с большой дороги; и отзывалась на разговор, подчеркивая отрывистым, точно лаем, смешное:

— «Ха, ха!»

И — молчок; и опять:

— «Ха, ха!»

И — молчок.

Если не реагировали на подерг иронический ее черной

бровищи, то вдруг надувала обиженно толстые губы свои и молчала, и впитывала слова других, реагируя глухими, короткими, ничего не говорящими фразами; и, простя неведомую обиду, гоготала глухим, басовым своим хохотом. Второе, испорченное опечатками переиздание знаменитого своего брата-философа!

Больным, ущемленным своим самолюбием вспучивалась из-за грубых мужичьих сапог; когда «Сена» входила, то все начинало кривиться мне: неосязаемым бредом; она приносила с собою из Петербурга запах дегтя, корицы, мистической: от Мережковских и «крэм де ваниль»: от подруги своей, Манасеиной,— бледной, изящной, блондинистой, женственной.

Она мне виделась упадком всего соловьевского рода: историк, философ, двужилистый Всеволод, дергавший уймой романов [44], протонченно-строгий, дорический весь Михаил — и... и...— «соловьеви́н», чуть прокиснувший: уксусно-горький!

Она в Петербурге рассказывала З. Н. Гиппиус про Соловьевых; и — веяла, вероятно, там духом Арбата: в корицы коричневые, которыми пахла квартира Мережковских; на Арбате — корицами и крэм-ванилями веяла: не до конца на Арбате и не до конца на Литейном; она воздерживалась от всех мнений подергом бровей, своей громкой двусмыслицей.

Позже она умилилась «чертякой» и «попиком» стихотворений Блока; [45] садилась на кочку: и даже в «Тропинку», журнал, издававшийся ею для детей[46], уговаривала Городецкого, Ремизова притащить ей с болота «чертенка» на роли «котенка», обмыв его, дезинфицировав, перевязав детской ленточкой; и ей писали стихи декадентские.

Этот «душок» покрывала умом, «честью рода», грохочущим хохотом и... сапогом напоказ, из-под юбки: всем в нос!

— «Сена печататься хочет»,— давно еще жаловался Соловьев и показывал «Сеной» оставленную для просмотра тетрадь, появившуюся первым сборником: под псевдонимом «Allegro»; ему только нравились строчки,— из целого вороха:

Смутно бредят великаны
За горой из синей тьмы[47].

Строчки врезаны — ею самой: «великан», паровой и бессильный, забредивший в синие тьмы!

. . . .

Этого рода посетители соловьевской квартиры, символизированные бледными образами «Сен» и «Душ» (Поликсеною Соловьевой и Душей У*_*_*, как-то непроизвольно умножились с 1902 года: бледные «Души» повытеснили багровых «мадам Огневых»; последние «багровели» в непонимании нас, уже распространяя свои «багровые ужасы» про меня: с момента выхода в свет «Симфонии», первые мертвенно «бледневели» молчанием, заставляя предполагать, что молчание это — молчание «из сочувствия».

Но мне делалось подчас грустно от переполнения квартиры сими «бледными девами»; как-то болезненно воспринималось сочетание интеллигентности с неврастенией, ума с дворянскими предрассудками, бытика с бредиком; «бытик» заимствовался от многочисленных плодовитых тетушек, бабушек, родных и двоюродных со стороны матери, со стороны отца, от бесчисленных четвероюродных, троюродных, двоюродных, родных — сестер, братьев; «бредик» заимствовался от плодовитых и многочисленных утонченно-декадентских писателей, скандинавских, французских, английских и русских; «бредик» ослаблялся «бытиком»; но «бытик» от этого начинал выглядеть бредиком: афоризм Оскара Уайльда о том, что «кровавая Орхидея греха» — атрибут всякой «талантливой жизни»[48], пересаженный в условия бабушкиной морали, увядал, ничего не рождая, кроме гниения... этой самой морали; и подавался на бледном фоне: разводом «гри-перль», но на — «гри-ан-пуссьер»;[49] и я наблюдал: — в бледных «Душах» и в «Сенах» самые бытовые пылинки отсвечивали, как... бриллиантики; но ухвати бриллиантинку: она оказывалась пылинкой.

И таковы ж разговоры:

— «Вы понимаете?»

— «О да!»

— «Что вы думаете?»

— «Что ж тут думать: да, да, — конечно».

Что — «да», что — «конечно»? Не оскорбляйте же бледных дев приставаньем с вопросами: «нет вопросов давно, и не нужно речей»[50], ибо ничтожно значение речей:[51] и — сидели без речи, мне навевая уныние; с багровой Огневой подраться хоть можно; а тут — и согласиться нельзя: пере-про...

Сплетенье пылиночек, напоминающее под микроскопом сплетение брюссельских кружев!

И, бывало, войдешь, — сидит Душа: сидит и кривеет; и мне все кривится; встанешь — уйдешь.

И, бывало, войдешь,— сидит Сена: и смутно бредит; я гляжу на нее и сочиняю в уме фразу про «великана Ризу»: эта мифическая персона из «Северной симфонии» писалась, во-первых, с летнего облака;[52] во-вторых, с перепученного лица Поликсены Соловьевой; влепив лицо «Сены» в облако, я увидел своего великана.

Мне подчас становилось досадно, когда я видел, что и М. С. Соловьев и О. М. Соловьева, такие независимые, яркие сами по себе, изнемогали под бременем необходимых общений: с кланами родственников, с все растущим вокруг них роем и Сен, и Душ, не приносивших в этот дом ничего своего, лишь просиживающих над чашкой чая.

— «Вы, Душа, понимаете?»

— «О да!»

— «Что ты думаешь, Сена?»

— «Ха-ха: что ж тут думать?»

У О. М. голова чаще обвязывалась мокрой тряпкой; у М. С. ослабевало сердце; казалось бы,— отчего? Увеличивалося вокруг них количество Сен и Душ; один — хирел физически, к другой подкрадывалось нервное заболевание.

Приглядываясь к «валансьенам» пылей, разводимым Душами, стал ценить я спецов попроще, пробившихся кулакастым лбом на торный, протоптанный узко свой путь; таковы математики, многие натуралисты,— отца посещавшие: интеллигенция не из дворянства,— упрямистая; кирпичи отливала (страниц — много сот); от дворянской утонченности мозговая рефлексия бисерно интерферировала лишь расстройством чувствительных нервов; здесь чуткость становилась — условным рефлексом: больной наследственности. «Вольтерианцы» XX века казались мне смесями из декадентства, но без символизма, с отчаянным чванством кровей родовых, но без собственной крови; хотя бы чудачество вспыхнуло; но «чудаки» — Менделеевы и Пироговы; а «Сена» и «Душа» читали Гюисманса, читали Клоделя; потом — прокисали.

Бацилла душевная туберкулеза летает невидимо там, где сидят двадцать «Сен» и утонченно переливаются из «гри-де-перль» в свое «гри-ан-пуссьер»; глядь, средь них двадцать первой сидит персонаж писателя Федора Сологуба, его «недотыкомка серая», Душа — умная, Душа — тонкая, Душа — ...; пять «Душ» — мигрень; десять — нервное заболевание; двадцать — верная смерть.

Душа — «Втируша»*.

* Драма Метерлинка. «Втируша» — смерть.

Недаром ненавидел я написанное под стиль «идиотика» четверостишие Блока:

И сидим мы, дурачки,—
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед[53].

Четверостишие словами «немочь» и «нежить» напоминало мне о сидении за столом Соловьевых в обстании «немочей», «нежитей», в последний год жизни обоих, когда угасали физические силы М. С. и когда к О. М. подкрадывалась ее роковая болезнь.

И, конечно же, поздней Поликсена Соловьева с особенной нежностью вздергом бровищи отзывалась на Блока, стилизовавшегося под... «идиотика».

— «Мило!»

Не мило, а — ужасно!

Говорю раздраженно потому, что держусь своего мнения о горькой кончине О. М. Соловьевой; это «Души» и и «Сены» веяли на нее мраком душевной болезни; им — ничего в ней: они в ней — добродетельно прокисали; а эта яркая, мужественная, решительная — не могла прокисать; с револьвером в руке встав над бытом, она вместо того, чтоб бить в быт,— в себя.

Промахнулась!

. . . .

«Сена» — модель моего великана; а «Горбатый дворецкий» из «Северной симфонии» — седо-желтый генерал-лейтенант Х*** [54], являвшийся очень некстати: кряхтеть за столом; М. С., так сказать, лишь допускал его, но — с оговоркою.

Раз сей военный, нас остановив на Арбате (с Сережей), о чем-то расспрашивать начал; и вдруг все лицо стало чавканьем каши во рту, когда он, бросив нас, стал приветствовать мимо бегущий пузырь в виде толстого и совершенно седого мужчины с расслабленно-бабьим лицом завезенного евнуха; у толстяка был под мышкой огромный арбуз; Х*** ему бросил нежно:

— «Я... я, Николай Иваныч,— сейчас!»

Раздалось:

— «Ме-ме-ме!»

И почтеннейший евнух с лицом желтой бабы — исчез, переваливаясь.

— «Кто?» — я бросил Сереже.

Но тот удирал с громким хохотом, рукой махая.

— «Что с тобой?»
— «Видел?»
— «Кого?»
— «Николая Иваныча».
— «Ну?»
И Сережа вновь лопнул:
— «Жена!»
— «Педераст».

. . . .

Мне квартира М. С. Соловьева как форточка в жизнь; она — студия изучения типов; но она же — место встречи с людьми, которые вовлекли меня в литературу собственно.

Здесь встречался с Владимиром Соловьевым; здесь встретился с Мережковским и Зинаидою Гиппиус; сюда водил со стороны своих новых друзей: напоказ строгому оценщику людей, М. С. Соловьеву; здесь познакомился с Рачинским, с Валерием Брюсовым; отсюда попал в «Скорпион», к д'Альгеймам; здесь, наконец, было заложено начало тому, чтобы мне до встречи встретиться с Александром Блоком в письмах.

Дорогая по воспоминаниям квартира эта стоит в памяти, как водораздел двух эпох: и потому-то особенно волновали меня встречи двух эпох в квартире этой; с одной стороны, декаденты и те, кого я видел новаторами; с другой стороны,— люди старого поколения: Сергей Трубецкой, Ключевский, Огнев, доктор Петровский, староколеннейшая писательница Коваленская.

С иными из стариков я разорвал именно потому, что действия на меня этой квартиры привели к скандалу с «Симфонией»: меня прокляли Лопатин и Трубецкой, чтоб...— чтоб... снова встретиться: в салоне Морозовой; но там уже встреча — сдача ими непримиримых позиций.

ЛЕВ ТИХОМИРОВ

С 1901 года особенно подчеркнулся во мне интерес к лицам, интересующимся религиозно-философскими проблемами; догматы религии мало интересовали меня; к «догматизму» как таковому я чувствовал неприязнь; но типы «религиозников» притягивали и потому, что я, начитавшись Достоевского, искал героев его, Алеш, Зосим, Мышкиных, Иванов Карамазовых, в жизни, и потому, что я нюхом писателя-наблюдателя уже чувствовал появление того нового «типа», который достаточно намелькался потом с 1904 года до самой революции. Что есть этот мне

в 1901 году жизненно мало ведомый тип? Что в нем больного, что от «чудака», что от «кривляки» и что, наконец, в нем здорово? Влекли и самочинные сектанты: не хлысты, штундисты, евангелисты, а начинатели своих собственных сект.

Бредовой образ Анны Николаевны Шмидт поразил мое воображение как художника; поразила нелепостью схема ее бреда о себе как воплощении мировой души; и в этом разрезе я стал по-новому вчитываться в стихи Владимира Соловьева как подавшие ей материал к бреду; отсюда и «тип» соловьевца-фанатика в моей «Симфонии»,— фанатика, вооруженного бредом Шмидт и этим бредом повернутого к светской даме. Я хотел в эти годы написать ряд «Симфоний» и выставить в них рой религиозно-философских чудаков; но не хватало красок; и вот, в поисках за ними, я стал искать всюду людей, могущих мне служить материалом для будущих «Симфоний»; отсюда и интерес к Мережковским, Розанову не как к писателям, а как к людям. Я прислушивался к слухам о Новоселове, Тернавцеве, разъяснявшем Апокалипсис: апокалиптики особенно интересовали меня[55], ибо мои будущие «Симфонии» должны были их отразить; мне бы с задуманными «Симфониями» подождать,— какой богатый типологический материал ждал меня: Эрн, Свентицкий, близкое знакомство с Гиппиус, с Мережковским, возможность сойтись с Добролюбовым и т. д. В эпоху появления этих «типов» к «Симфониям» я охладел уже; понятен поэтому мой тогдашний интерес и к толкователям Апокалипсиса. Владимир Соловьев отразил Апокалипсис в субъективном чувстве конца, охватившем его; а потом и многих интеллигентов: без почвы; Апокалипсис культивировал Розанов, но разбазаривал чувство конца, «катастрофу», в раскрытие «тайн» половых, сочетая с ним Ветхий завет; в Апокалипсисе толкователи видели: и бытие, и его антитезу: конец бытия; для одних Апокалипсис стал символом краха культуры; в Д. С. Мережковском — двоился он: но раздвоением этим пропитан анализ Толстого, не говоря уже о Достоевском (книгу Д. С. о Толстом и Достоевском скоро перевели на иностранные языки); и шлиссельбуржец Морозов в то именно время измеривал в заточении астрономический смысл Апокалипсиса;[56] им в Нижнем бредила Шмидт; соблазнился им Блок.

Я, как исследователь новых типов, был вынужден бы для действительного понимания Розанова, Мережковского, Блока и Шмидт изучать Сведенборга, Ньютона, которые

в прошлом пытались раскрыть Апокалипсис, слушать Тернавцева, остро толкующего, но он жил в Петербурге; и я не мог его слушать.

В Москве жил не меньший знаток, комментирующий лишь для «спецов»; то — Лев Александрович Тихомиров, народоволец — вчера, черносотенник — нынче; [57] и мне говорили:

— «Вот кого бы вам послушать!»

Тихомиров был мне, разумеется, чужд, неизвестен, враждебен; меня убеждали: он, правда, угрюм; но, попав на любимую тему, он все забывает; и вот, не спросяся меня, сообщили ему: есть-де некто, кто хочет знакомиться с литературой предмета; Л. А. Тихомиров тогда передал приглашение мне: на дом, и даже — назначил день; я, не без протеста, пошел; [58] жил он в доме, где долго гнездились «Московские ведомости», с типографией (Страстной бульвар) [59],— в неуютной, угрюмой, нелепой квартире. Он сам на звонок отпер дверь.

Я увидел — испуганную, мрачно-встрепанную, небольшого росточку сухую фигурку в очках; исподлобья уставилась: малой бородкою, носом курносеньким, складками лба и мохрами; впустил, указав мне на вешалку; я с любопытством разглядывал облик некогда «опаснейшего» конспиратора, ныне — отъявленного ретрограда.

Совсем нигилист!

Серо вставшие он заерошил ерши; изборожденный морщинками лоб; улепетывающие не глаза, а глазенки: с напугом беспомощным, скрытым эа блеском очковым; и черные, черствой полоской зажатые губы в усах, то и дело кусаемые; бороденка проседая: малым торчком; очень впалая грудь, изможденное тело,— сухое, худое; поношенный серый пиджак; что-то черное, вроде фуфайки, под серым жилетом; походка с подъерзом,— совсем не солидная: легкая; шмыгающий нетопырь!

Или — лучше всего: выскочивший «нигилист», мне напомнивший дядю Володю Бугаева; тот же подъерз, поджим губ и плечей; те же ерши.

Никакого устоя, критерия, веса!

Повел меня в пренеуютную, как и он, комнату: неравнобокую; точно не жили в ней, точно — редакция; старая мебель: диван, на котором спят не раздеваяся; кресла нелепо стоят; быт квартир нелегальных!

В этом кубе орехового колорита чесал от угла до угла впалогрудый, какой-то колючий и маленький, морщась и плечи подняв; будто кислый лимон он лизнул; не глядя

на меня, прерывал свою нетопыриную линию бега: зажечь папиросу; и — кинуться в угол: как пленник!

Он стал протестующе, с нервным поджимом, бросать: почему Апокалипсис? И задребезжала брезгливость: фальцетто, каким говорят южноруссы; тон — скучно-сухой, наставительный: надо бы выбросить из головы Апокалипсис: мода; читать не по Розанову; а разумней всего его запереть, чтобы шею себе не свернуть.

Все то — походя, ожесточенно, с оглядами собственных пяток, с прерывистыми остановками.

А комментарии, лучшие-де — Оберлена;[60] конечно, — я их не читал; он мне ссудит; но книгу я должен вернуть; о своем толковании, точно сердясь, он молчал: суеслову, крамольнику, еретику — не расскажешь; и я старался молчать, потому что, раз случай привел меня в логово это, его надо все же использовать.

И потом — в моей голове заработал уж план: какие краски применить к нему, когда буду описывать его в мной замышляемой «Симфонии»? Сделать ли его редактором апокалиптического журнала «Патмос»[61] или заставить его, двуперстно сложив ему пальцы, взойти на костер? Я наблюдал его ужимки, пока он метался, косясь на меня в неравнобокой и староватой своей мрачной комнате; и теневые ерши его, как рога впереди, бежали по стенам.

То останавливался и с тою же нелюдимою мрачностью оправлял что-то черное, вроде фуфайки, под серым и мятым жилетиком:

— «Вы чем же занимаетесь?»

— «Естествознанием».

Черные, черствые, полоской зажатые губы в усах, то и дело покусываемых, закривились какой-то неинтересной сентенцией, но назидательной.

Я опять попробовал вернуться к теме визита; и начал что-то о каббалистических толкованиях «звериного числа», иль «666»:[62]

— «Ириней считает, что число букв слова — «Тейтан»...»[63]

— «Эти толкования — пустое дело».

Черные, черствые, полоской зажатые губы в усах, то и дело покусываемых, прокривели опять; меня боднул изборожденным лбом; улепетывающие не глаза, а глазенки досадовали: видимо, он подозревал, не подослан ли я; я подумал:

«Зачем меня сунули в это мрачное логово?»

Надоело ли ему выдерживать тон, или он поверил в мой интерес к Апокалипсису, только вдруг, подойдя, вперся в папироску с растерянностью, составлявшей внезапный контраст с мрачным видом, которым он ударил в передней меня, чуть даже сконфузясь и промягчев всем лицом, не сухим, черным ртом, он сел в нелепое пыльное кресло, стряхнул пепел, выставил проседую, малым торчком бороденку; и начал надтреснутым голосом:

— «Апокалипсис толковали многое множество раз: отцы, Ньютон, Сведенборг, Бухарев, Розанов... Толкование Оберлена — дельнее; суть в том, что корень толкования — «голоса», обращенные к семи малоазийским церквам, которые — образы церковных эпох: от начала христианства до второго пришествия».

И тут, точно фыркая на себя и отбрыкиваясь от доверия, которое он оказывает мне, юнцу и невежде, он пустился с поджимом бессвязно доказывать, что каждая эпоха, иль «церковь»,— пророчески показанное будущее, часть которого стала прошлым:

— «Нуте,— будто кислый лимон он лизнул,— первая эфесская церковь — эпоха мучеников; ясно, о чем говорит голос агнца: «Много переносил и имеешь терпение»[64]. Говорит о мучениках».

Так же, для меня произвольно, он мне объяснил, что текст, обращенный к пергамской церкви,— «Ты живешь, где престол сатаны»[65] — обращен к средневековью, к эпохе возвышения папства:

— «Ясное дело, что папство — престол сатаны»,— будто кислый лимон он лизнул.

Я глядел на его сухое, худое и изможденное тело со впалою грудью, огромною от клоков головой, на поношенный серый пиджак; и мелькало мне, до чего произвольно, узко его понимание среди многих прочих; он же, встав и опять залетав пиджаком, уж доехал до феотирской, четвертой эпохи, мне показывая курносый свой носик; точно с напугом доказывал: феотирской, или «нашей», церкви преподано: «Только то, что имеете, держите»; [66] и, стало быть, в данном периоде (и он может продлиться столетия) все талантливое и новое, движущее вперед,— «от сатаны», а так как ангелу этой церкви вдобавок сказано, что, кто будет верен, тому дана будет власть пасти ослушников «жезлом железным»[67], то, стало быть: остается, смирившись пред самодержавием, пасти, что и делает этот несчастный маньяк, назидая бессильными фельетонами из «Московских ведомостей»; мне открылся ужас его поло-

жения: этот насмерть напуганный конспиратор-народоволец, напутав в политике, создал себе вящую путаницу произволом истолкованья церквей и вывел из феотирской церкви правую политику: «Держи и сокрушай!» Держит и сокрушает, но не... от Николая II, а... а от... Феотиры: «феотирик», а не политик.

Поразил и феноменализм в понимании им морали, общественности и партийности; правый — не потому, что «прав» в существе, а потому, что себе доказал, что сидит в феотирской церкви.

И, не выдержав, начал я возражать: ну, а будь в церкви филадельфийской, была бы иная мораль?

— «Ну, конечно: только говорить о ней рано, бесплодно, пока не исполнятся сроки».

— «А я именно полагаю, что в духе вашего же толкования вы должны и заключить, что мы в шестой церкви, которой голос гласит: «Имя мое новое»[68]. Стало быть, все новое и дерзающее — для нашего времени; с той же «неубедительной» убедительностью я могу доказать, что в духе шестой эпохи православное духовенство — самозваные иудеи-законники».

Он, развеяв фалдочки пиджака, точно выскочил из себя; и опять напомнил дядю Володю Бугаева; морщась, плечи подняв, углил, как летающий нетопырь, но, прервавши свой бег, свергнув пепел, лизнув точно кислый лимон и покусывая седоватую сгрызину уса, сказал с южнорусским акцентом:

— «Мое понимание — выверено...»

Посмотрел с сожалением:

— «Я годами сидел, проверяя себя!»

И — продолжал (видно, не стоит даже сердиться):

— «Возьмите-ка у меня комментарии Оберлена: на первых порах они вам все-таки пригодятся».

И вышел, и вынес увесистый том:

— «Вот».

Сел; и больше не объяснял:

— «Вам угрожает соблазн талантами».

Я удивился, что мои возражения его не озлобили, даже наоборот: он смягчился; тут кто-то пришел; заговорили о мало интересующем; и я разглядывал его во все глаза, как разглядывал во все глаза и Анну Николаевну Шмидт: та — откровенная маньячка; этот — замаскированный правым политиканством «апокалиптик»,— маньяк... до хитрости.

Заживо похороненный, съеденный скепсисом и испугом; становились понятными и ерши, и поджимы, и летающие, на вас не глядящие глазки; ведь предупреждали меня, что встретит он оскаленным волком, скажет несколько колкостей, утихнет, превратится в волка затравленного; если пересидеть эти фазы в нем, то улыбнется не без добродушия; тогда и заговорит; и пока я так думал, посетитель его, к удивлению моему, так крепко отозвался о его патроне Грингмуте, что выходило: Грингмут — подлец; он же только с отводом глаз оговорил резкость:

— «Все же Владимир Андреевич имеет хорошие стороны». Так и не высказал: «подлец» или «не подлец»; деликатный пункт обошел он молчанием.

Тут вошла его некрасивая, старообразная дочь и позвала к чаю; выпив стакан, я поспешил удалиться; он меня проводил в переднюю и беззлобно меня уколол:

— «Да, да, да, вы — в соблазне».

. . . .

Через ряд уже месяцев вдруг получаю записку: Тихомиров просит вернуть данный им мне для прочтения том Оберлена; * пошел, пережив те же стадии метаморфозы: из волка в больную собаку; зашел разговор в связи с текстами; вижу: лежит на столе у него моя книга «Симфония»; дочь прочитала ее; он о книге — ни слова; не автор-де я; демонстрировал явный проход мимо книги.

Я вновь получил приглашение быть у него, чтобы выслушать чей-то церковный доклад; тема — восстановление патриаршества; уже дружа с Мережковским, тогда врагом синодальной церкви, с большим интересом прислушивался я к реакциям на Мережковского: в стане врагов; я пошел.

И — раскаялся.

Там заседал отвратительный, бледный толстяк в серой паре, брюхастый, обрюзгнувший, лысый, с бородкою острой банкира, с героикой наглою поз; то — Владимир Андреевич Грингмут; слащавенький, лысенький, брысенький, бледнобороденький, голубоглазый, больной человечек, вздыхающий о звуках Вагнера, перетирающий руки,— то был Е. Поселянин (Погожев), писавший гнуснейшие сентиментальности; вот красноносый мужлан, потирающий потные руки, в очках, весь циничный, топорный,— профессор Арсений Введенский; и был бородач белокурый,

* Толкование на Апокалипсис, чрезвычайно нудное, протестантского типа, переполненное вялыми аллегориями.

в очках, очевидно попавший случайно, как я, на доклад и сконфуженный встреченным обществом: М. Новоселов; геморроидальный докладчик, которого нос багровел (как индюшечий), в рясе мышиного цвета, с крестом золотым, оказался епископом Никоном; особенно же заинтересовал великаньим размером, огромною, светлою, протянутою бородой, ярославским отчетливым оканьем, лапами точно медвежьими и пустобоями ног под столом — художник Виктор Васнецов; он поразил и злобой, с которой честил он «поганый журналишко», иль — «Мир искусства»:

— «Писаки бесовские... Вот Мережковский что пишет».

— «О, о, Мережковский — талант»,— в ухо мне бородой Новоселов.

Доклад был ничтожен: его — не запомнил; он подал лишь поводы Грингмуту, выпятившему живот, с нагло-грузным размахом вскочить и, махая руками, водя толстым корпусом, что-то кричать.

Не согласен он был: с патриаршеством.

Тихомиров, тенея в углу, сжавши рот, вздернув плечи, как умер; я был разобижен: зачем он позвал на «совет нечестивых» крамольника, еретика: меня?

Я не являлся к нему[69].

Прошло десять лет.

В 1911 году попал я в Сергиев Посад: приискать помещение; поиски — не увенчались успехом; вдруг вижу билетики: комнаты; комнаты мне подошли и ценой и размерами; я захотел окончательно договориться с хозяином.

Вышел ко мне... Тихомиров!

Едва я узнал его: высох он, напоминая мне мумию — худообразием, сухостью донельзя; ставшая узеньким клинушком белая вовсе бородка напомнила лик старовера пред самосожжением в изображении Нестерова; не хватало лишь куколя на голове, потому что сюртук длинный и черный — как мантия; жердеобразная палка, колом,— мне напомнила жезл; точно инок, он шел на меня, сухо переступая и сухо втыкая «жезл» в землю средь грядок капустных (развел огород); вздернул клин бороды, поджав губы, сверкая очками, без нервности,— замер и руку к очкам, защищаясь от солнца, поднес.

Эта черная тень, свою черную тень резко бросившая на капусту в октябрьском сияющем небе, на фоне кровавой листвы поразила меня архаизмом: «Добротолюбием» * ве-

* «Добротолюбие» — своего рода хрестоматия, составленная из собрания «отеческих» правил «опыта».

яло; он стал редактором[70], превосходительством даже (при ленте, должно быть); он тотчас узнал меня и, несмотря на сотрудничество мое в явно «жидовских» левых газетах, на «левые выходки»,— твердо пошел мне навстречу; с видимым дружелюбием комнаты сам показал, спустил цену, на все условия согласился; но мысль о хозяине эдаком меня настолько смутила, что я уже твердо решил: улизнуть.

И, указывая на А. А.[71], мою спутницу жизни, с нарочным подчеркиванием ему заявил: реакционеру-церковнику сдать помещение мне — невозможно: с А. А. мы не венчаны в церкви; и — не повенчаемся: из убеждения.

Кисло нахмурился, точно лимона отведал; он мягко взял под руку, повел вдоль гряд; высоко поднимая сухую, костлявую руку и гиератически в землю втыкая свой «жезл», заявил, что такое мое отношение к церковному браку весьма огорчает; но — вольному воля; а жить в своем доме не будет препятствовать; не в его вовсе нравах стесненье свободы жильцов. Я же думал:

«Нет,— ни за какие коврижки».

Он — не отпустил нас без чаю; стол вынесли в сад; появилась та самая дочь, некрасивая, сильно состарившаяся; и, помнится,— мед принесла; разговор — ни о чем: я разглядывал тощее благообразие профиля, четко проостренного, благолепие жестов, с которыми он брал стакан, ломал хлеб, совершая чин службы, а не чаепития: не то действительный статский от схимы, не то схимник — от самодержавия; вспомнились тексты: «Держитесь того, что имеете»; «Я сокрушу вас железным жезлом».

А «Московские ведомости» того времени — тусклая и не крикливая скука; его карандаш зачеркнул следы если не блеска, то хоть черноты откровенной, которою ваксил ее откровенный подлец, зубр и хам В. А. Грингмут; Дубровин, Восторгов для Льва Тихомирова — уже «таланты»: от подлости; звал не к погрому он,— в погреб свой звал: принять схиму, держать, что имеем.

И больше я его не видел.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

К этому времени подымается на моем горизонте фигура Валерия Брюсова;[72] многие литературные судьбы с ним связаны.

С 1894 года до 1910 на него изливались потоки хулы, после ставшие сдавленным гулом хулы молодых неудач-

ников: нашего стана; в 900—901 годах он ходил по Москве с записной своей книжечкой и с карандашиком, организуя молодых поэтов в литературную партию, сухо налаживая аппараты журналов, уча и журя, подстрекая, балуя и весь осыпаясь, как дерево листьями, ворохом странных цитат из поэтов, непризнанных,— Франции, Бельгии, Англии, Чехии, Греции, Латвии, Польши, Германии,— сковывая свой таран стенобитный с воловьим упорством[73].

Увенчанный лаврами «мэтр»; и — слуга: с подтиральною тряпкой в руке; даже чистильщик авгиевых литературных конюшен, заваленных отбросами, скопляемыми лет тридцать пять Скабичевским, Ивановым, Иван Иванычем, Стороженкой и Веселовским; Брюсов ухал на ужасы пошлятины ужасом дикости, изгоняя бред бредами; желтая кофта В. В. Маяковского, «татуировка» «бубновых валетов» *, кривляние Мариенгофа в эпоху, когда «фиги» стали предметом продажи почти в каждом колониальном магазине,— только повтор былой удали Брюсова при выполнении затеянной им партизанской войны, уничтожавшей армию трутней: отрядиком маленьким; до Маяковского соединил Маяковского, Хлебникова, Бурлюка с деловыми расчетами и с эрудицией опытного архивариуса, щедро сеющего крупной солью цитат, заставляя принять бронированный «бред», подносимый с практичностью лавочника.

Он умел объегоривать; и он — любил объегоривать дураков.

Скромно, в застегнутой наглухо черной одежде являлся к Герье молодой человек, удивляющий сметкой и знанием.

— «С кем честь имею я?..»

— «Брюсов».

— «Гм...»

Разговор продолжался до мига, когда изрекалось:

— «А вот Михайловский сказал».

Молодой человек, вдруг потупясь и дико сверкнувши из черных ресниц, точно цапнутый лапой невидимой, напоминая пантеру, готовую прыгнуть, кивком головы и сложением рук на груди, замирал; красный рот разрывался пещерным отверстием:

— «Он — идиот!»

Можно было подумать: в почтенное место являлся сюртук в... черной маске: историка, пушкиноведа или латиниста, чтоб, поговорив о Тибулле, Проперции, маску со-

---

* Группа художников, в свое время новаторов.

рвать: стать оскаленным «чудищем», зубы вонзающим — в горло.

Придет и чарует («Ах,— умница»); просят стихи почитать; поднимается, складывая на груди свои руки, с глазами египетской кошки [74], с улыбкою почти нежной, дергаясь бледным лицом, чтобы выорнуть нежно и грустно, как тешится лаской с козою он и как валяется труп прокаженного [75].

Точно из диких гробов бесноватый врывался в гостиную Петра Бартенева, живой традиции, спорившего с князем Вяземским.

Гнать?

Хозяин, почтенный старик, Петр Бартенев,— не гнал[76].

Уж и мстили, вонзаясь в поэзию Брюсова пилами, сверлами и бормашинами: в ряде годин.

Очень многое в нем — желчь и яд от надсады.

Он, точно наказанный Атлас[77], стоял с полушарием своей вселенной в безводной пустыне девяностых годов.

Было что-то больное в травлении собственных ран, принуждавшее не алкоголика, не гашишиста, а домохозяина, несшего долг обходить квартирантов своих, чтоб составить понятие о состоянии водопроводного крана и ватерклозета *, и после к Бартеневу, в «Русский архив», где служил он, с портфелем тащиться с Цветного бульвара к Воздвиженке, рыться в пылях с добросовестностью, удивлявшей Бартенева; что заставляло вполне целомудренного в разговорах житейских служаку выкрикивать профессорам с целомудренным видом: он, Брюсов, Валерий,— не кто-нибудь, универсант, семьянин,— некрофил и садист?

Лишь каприз: самотерза [79].

Я многим верил... Я проклял многое.
И мстил неверным в свой час кинжалом[80].

В стихах, посвященных мне, он угрожает мне: если и я приму «сребреники»,— то кинжал ожидает меня; и, когда показалось ему, что на «светлых» путях своих, чуждых ему, но мне свойственных, я оборвался,— он в строгой серьезности казнь измышлял мне, в чем сам он сознался:

Я слепцу вручу стрелу:
Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу ** [82].

---

* Со слов поэта Муни, обитавшего в доме Брюсовых [78].

** Стихотворение «Бальдеру Локи», одно время мне посвященное [81].

И мне все объяснило письмо, отвечающее на мой лозунг: «Не только литература». Оно — корень Брюсова; я привожу его как неизменный эпиграф к трагедии, бывшей меж нами[83].

Село Антоновка, 1904.

«Дорогой Борис Николаевич! (И это слово — дорогой — примите не в «эпистолярном» значении, а в настоящем, первичном: как знак, что Вы, что всякое приближение к Вам мне желанно, дорого. И как жаль, что мы утратили возможность всегда, во всех случаях, все слова принимать в их настоящем смысле!) Дорогой Борис Николаевич! Я рад, что Вы написали свое письмо мне; даже больше чем рад, немного счастлив. Когда я читал его, я вдруг, как в молнии, увидал — Вас, того Вас... которого я опять иногда вижу в Ваших глазах, но далеко не всегда в общежитии, в Ваших разговорах, статьях, даже стихах. Конечно, Вы были неправы, обращаясь в своем письме ко мне *с вопросами*. Почему не я к Вам?— и, просьба, на эти вопросы скорее Вам отвечать мне. И только моя горькая привычка молчать, пришедшая ко мне после десяти лет жизни, не дала мне бросить все те безнадежные «зачем» Вам. Думаю, «мы» все равно чувствуем их. И Ваше письмо — были все те же, наши общие, одинокие мысли, которые, когда они вновь приходят, даже нет необходимости вновь продумывать, так как все их пути уже истоптаны раздумьем.

И все-таки хотите ответ? Вернее, не ответ, а грустное признание, мое признание, которое кажется мне тоже нашим общим. Вот оно. *Нет в нас достаточно воли для подвига.* То, чего все мы жаждем, есть *подвиг,* и никто из нас на него не отваживается. Отсюда все. Наш идеал — подвижничество, но мы робко отступаем перед ним и сами сознаем свою измену, и это сознание в тысяче разных форм мстит нам. Измена... завету: «Кто возлюбит мать и отца больше меня!..» Мы, вместе с Бальмонтом, ставим эпиграфом над своими произведениями слова старца Зосимы: «Ищи восторга и исступления», а ищем ли? то есть ищем ли всегда, смело, исповедуя открыто свою веру, не боясь мученичества (о, не газетных рецензий, а истинного мученичества каждодневного осуждения). Мы придумываем всякие оправдания своей неправедности. Я ссылаюсь на то, что мне надо хранить «Весы» и «Скорпион». Вы просите времени в четыре года, чтобы хорошенько подумать.

Мережковский лицемерно создал для самого себя целую теорию о необходимости оставаться «на своей должности». И все так. Двое разве смелее: А. Добролюбов и Бальмонт. И я думаю, что у Добролюбова нет этих криков «зачем?» — хотя он и облегчил свою задачу, назначив себе строгие уставы, надев тяжелые вериги, которые почти не дают ему свободы двигаться. И Бальмонт, при всей мелочности его «дерзновений», при всем безобразии его «свободы», при постоянной лжи самому себе, которая уже стала для его души истиной,— все же порывается к каким-то приближениям, если не по прямой дороге, то хотя бы окольным путем.

А мы, пришедшие для подвига... покорно остаемся в четырех условиях «светской» жизни, покорно надеваем сюртуки и покорно повторяем слова, утратившие и первичный, и даже свой вторичный смысл. Мы привычно лжем себе и другим. Мы, у которых намеренно «сюртук застегнут», мы, которые научились молчать о том, о чем единственно подобает говорить,— вдруг не понимаем, что все окружающее *должно, обязано* оскорблять нас всечасно, ежеминутно. Мы самовольно выбрали жизнь в том мире, где всякий пустяк причиняет боль. Нам было два пути: к распятию и под маленькие хлысты; мы предпочли второй. И ведь каждый еще миг есть возможность изменить выбор. Но мы не изменяем. Да, я знаю, наступит иная жизнь для людей; не та, о которой наивно мечтал Ваш Чехов («через 200—300 лет»),— жизнь, когда все будет «восторгом и исступлением»... Нам не вместить сейчас всей этой полноты. Но мы можем провидеть ее, можем принять ее в себя, насколько в силах,— и не хотим... Мы не смеем. Справедливо, чтобы мы несли и казнь.

Мне жаль, что всего этого я не могу сказать Вам в тот самый час, когда писалось Ваше письмо. Мне жаль, что пройдут дни — много дней — между тем, когда Вы мне писали и когда Вы будете читать этот ответ или эту исповедь. Я обращаю ее к Вам так же полно, как — верю — было обращено ко мне Ваше письмо. И так же уверенно подписываю я свои страницы.—

Вас любящий

Валерий Брюсов» *

---

* Письмо написано на двух с третью страницах бумаги с клеймом и штемпелем: Книгоиздательство «Скорпион». «Весы», ежемесячный журнал. Москва, Театральная площадь, д. «Метрополь», кв. 23.

Брюсов увиделся мне содержанием, запечатанным в двух конвертах; вы разрываете первый; **в нем** — план: эпатировать здравый смысл Скабичевских «не общим» значением Дюамелей, Верхарнов, Аркосов, Ренье, де Гурмонов и Ренэ Гилей неведомых, чтобы поставить читателю русскому новую полочку книг; но смысл плана — заглавие, писанное на конверте, втором, запечатанном тоже; в конце концов, проповедь Гиля[84] — гиль не без задней мысли: подбором поэзии вызвать испуг, им испытанный, мальчиком «Валей», перед жизнью обставшей, старухою дикой; в глубинах души его — «ужас многоликий,— призрак жизни, жалкой, дикой, закивал мне, как старуха» [85].

Факт наблюдения: бред о «старухе» ведь свойственен детям на рубеже третьего и четвертого года; «старуха» же — быт, раздавивший Валерия Брюсова в детстве; вот что пишет он в книге «Из моей жизни»:[86] *«Думайте раньше, чем подвергать... детей унижениям»* (24); *«Я рыдал... от несправедливости»* (31); *«Я всего более боялся поступать не так, как следует»* (21); но тем не менее: *«Я... не умел вести себя»* (21); *«бывать в гостях... было... мучением»* (21); *«я терялся, горбился»* (40); *«я... был угрюм и неловок»* (42); *«я склонен был за словами людей воображать иное, скрытое значение»* (29); *«я жил... совершенно не понимая, что происходит вокруг»* (27); *«у меня нашелся... товарищ... Это был... шут, грязный, слюнявый... кричавший: «За* что *вы меня обижаете»... Я сам... недалеко ушел* от *него»* (29); *«Ночью у меня начинался бред, я вскакивал, кричал»* (18).

«До сих пор... знаю это чувство безотчетного ужаса... не лишенное... сладости» (19).

Вот лейтмотив пыли квартир, засыпавшей его; из нее — рвался к подвигу, ассоциировавшемуся с чувством непонятности, с почитанием деяния раннего соратника, Добролюбова, порвавшего с литературой.

Вот выписка из «Дневников»; пишет двадцатипятилетний молодой человек: [87] «Умер... Шперк... Юноша, живущий среди... отчуждения, погибающий в борьбе с нуждой... О, как близка мне *его судьба»* (стр. 31). *«Уйти куда-либо в пустыню»* (стр. 40); *«В душе возникает вопрос, что, если «я», тот, прежний, был лучше и выше»* (стр. 41). О Добролюбове-страннике: *«Его* отличительная *черта — во всем* он *идет до конца. И* он *пошел здесь до конца. Он талантливейший и* оригинальнейший *из нас... Но... в убеждениях* он *дошел до конца... Он раздает все имущество...»* (стр. 42—

43). *«Лицом он изменился очень; я помнил его лицо... Бледное лицо — и горящие... глаза...; теперь... черты огрубели...; в лице что-то русское...; теперь он стал прост, он умел сказать что-нибудь и моему братишке, и даже маме...»* (стр. 41); *«Александр Добролюбов... Что я найду сказать ему, я, теперешний... и я... бессилен. О горе!»* (стр. 41).

В дни встречи со мной ходил он перепуганный жизнью, дебелою бабищей, выдавленный из нее в... спиритические перемельки и стуки; он занимался в те дни спиритизмом:

Приподняв воротник у пальто
И надвинув картуз на глаза,
Я бегу в неживые леса...
И не гонится сзади никто[88].

И никто, и ничто — его ужас до «Urbi et Orbi»; [89] со скорбным упорством на этом ничто отлагал, точно ракушку, твердую форму он, нас испытуя, что видеть мы силимся «не только формой», подкрадываясь ко мне, к Блоку.

Они ее видят, они ее слышат!

Он — нет. И, —

Железные болты сорвать бы, сломать бы[90].

С хладнокровием физика взвешивал он пыл, готовность на все Добролюбова, Гиппиус, Розанова, Мережковского, студентов, избитых казаками; — раз бросил он мне, не говоря о сочувствиях им:

— «Что же, прекрасно, — не только словесность... А где она, в чем? Пока — только слова».

Был осознанным противоречием он, с откровенным отказом от выхода, не находя его, но допуская, что, может быть, выход есть: коли так, — пусть покажут ему: ощупает его и деловито оценит. — «Сюртук» мне часто казался стенной черной тенью на плоскости трезвой; но он был точно с трещиной, в которую садит холодный сквозняк стародавних кошмаров, испытанных в детстве; здесь, думается мне, и происхождение ранних стихов его о «козе»[91] и о том, как он в снах своих мучит знакомых; однажды проснется-де и увидит себя в чужой комнате над... им задушенным: уже не во сне *.

* Таков его ранний рассказ, напечатанный в «Северных цветах» [92].

Его «проверы» под формою будто бы маленьких «гадостей», строимых нам, имели бескорыстную цель нас испытать; но это в нем было — игрой самотерза; такова же и пресловутая «дичь» его юношеских поступков, подрывавшая «тактику», или систему подкопов; она — выраженье мучительной распятости: самим собою себя; в этом жесте ненужного самораспятия виделся он мне с первой встречи: сложившим на грудь две руки, искривленным от муки; но и в этом терзе слагающим свои строчки, и таким его Врубель увидел;[93] таким подымали на щит его мы; иронически он утешался принятием лести от тех, кто его поносил: как игрок, ставя нас, «Скорпион», символизм,— свои карты,— в угаре азарта:[94] унизить еще одного из мастодонтов, сперва издевавшегося над ним; потом — пришедшего к нему с повинной, чтоб не отстать от «моды».

Молодой, еще дикий, порывистый Брюсов встает передо мной, одной ногой — на эстраде, другой ногой в невыдирных «чащобах» самотерза, в которых он рыскал, юнцов озадачивая; таким был еще в 904 году (после — не был): до жуткости диким, до резвости пламенным.

. . . .

Первые встречи: я вижу В. Я. каждый день; первоклассник я; он же — взъерошенный, бледный, в прыщах: семиклассник с усами; меня интригует он умной угрюмостью: я же круги пишу вокруг него[95].

«Кто он?»

«Брюсов».

Скоро он пропал для меня, окончив гимназию Поливанова; в 1894 году мы его впервые «дикие» стихи затвердили;[96] твердили и пародии на него В. Соловьева;[97] и я вспоминал Брюсова-семиклассника, точно волк в клетке, метавшегося по гимназическому рекреационному залу: от стены до стены.

До знакомства с ним, раз зимой, возвращаясь домой по Арбату, я встретил мужчину в пальто меховом, в меховой, пышной шапке; он топал галошами, пряча руки свои в рукава; голова прижималась к плечу; как-то странно и дикорадостно дергались красные его губы под заиндевевшими, как черный кокс, усами, глаза ярко прыснули: мимо меня мне; мне казалось,— шептался с собою он: так вытверживают про себя стихотворные строчки, быть может, так бегут «в неживые леса», когда сзади — никто не гонится *.

---

* *Я бегу в неживые леса...*
И не гонится сзади никто.

В. Брюсов[98].

И осенило:

«Я видел его уже? Где?»

В тот же вечер сказали мне у Соловьевых:

— «Был Брюсов и — жаль: не застал»[99].

Тут осенило меня: бегун, бормотавший на улице,— Брюсов. М. С. Соловьев познакомился с ним у Шестеркина;[100] этот художник с женой заходил к Соловьевым; М. С. симпатизировал Брюсову.

— «Крупный поэт».

В «Дневниках» стоит: *«Был у меня М. С. Соловьев, благодарил за статью о Вл. Соловьеве. После... был у него. Жена его, Ольга Михайловна... мило болтала о Фете... Сын Соловьева, юный Сергей Михайлович, тоже мило беседовал о Корнеле, Расине. Ждали сына проф. Бугаева... (он живет рядом)»* (стр. 106)[101].

Видал я его в 900 году на представлении «Втируши», его мне показали в антракте;[102] он стоял у стены, опустивши голову; лицо — скуластое, бледное, черные очень большие глаза, поразила его худоба: сочетание дерзи с напугом; напучены губы; вдруг за отворот сюртука заложил он угловатые свои руки; и белые зубы блеснули мне: в оскале без смеха; глаза ж оставались печальны.

В тот же вечер он публично читал; к авансцене из тени — длиннее себя самого, как змея, в сюртуке, палкой ставшая,— с тем передергом улыбки, которую видел я,— он поплыл, прижав руки к бокам, голова — точно на сторону: вот — гортанным, картавым, раздельным фальцетто, как бы он отдавал приказ, он прочел стихи, держа руки по швам; и с дерзкою скромностью, точно всадившая жало змея, тотчас же удалился: под аплодисменты.

Яд на публику действовал; действовала интонация голоса, хриплого и небогатого, но вырезающего, как на стали, рельефы; читал декадента, над которым в те дни Москва издевалась,— не свои стихи, а стихи Бальмонта; собравшиеся же демонстрировали: «Браво, Брюсов!» Стало быть: он нравился наперекор сознанию: рассудком ведь ругали его.

В тот вечер он голосом как будто декретировал над головами — его ругавшей Москве: Яблоновским, Баженовым, Иван-Ивановым, Янжулам и Стороженкам.

— «Вот всем говорю: горе вам!»

ЗНАКОМСТВО С БРЮСОВЫМ

Пятого декабря 901 года я встретился с Брюсовым. У меня сидел Петровский, когда я получил листок от О. М. Соловьевой: «У нас — В. Я. Брюсов: ждем вас»; позвонился, входим; и — вижу, за чайным столом — крепкий, скуластый и густобородый брюнет с большим лбом; не то — вид печенега, не то вид татарина, только клокастого (клок стоит рогом): как вылеплен,— черными, белыми пятнами; он поглядел исподлобья на нас с напряженным насупом; и что-то такое высчитывал.

Встал, изогнулся и, быстро подняв свою руку, сперва к груди отдернул ее, потом бросил мне движеньем, рисующим, как карандаш на бумаге, какую-то египетскую арабеску в воздухе; без тряса пожал мою руку, глядя себе в ноги; и так же быстро отдернул к груди; сел и — в скатерть потупившись, ухо вострил, точно перед конторкой, готовяся с карандашом что-то высчитать, точно в эту квартиру пришел он на сделку, но чуть боясь, что хозяева, я и Петровский его объегорим.

Этот оттенок мнительности, недоверия к людям, с которыми впервые вступал он в общение, был так ему свойственен в те годы: он был ведь всеми травим.

Понял: еще не зная меня, но «Симфонию» (писанный текст), о которой дал отзыв он, что она-де «прекрасна», прикидывал мысленно, кто я такой: мистик, скептик, софист, образованный или невежда, маньяк или насмешник, юродивый или кривляка; кем бы я ни был, сумел бы и он постоять за себя; этот тон деловой — понял я — был им выставлен, точно окоп иль конторка.

Помалкивал, слушая, что говорилось, примериваясь и учитывая интонации, вспыхами глаз и пылающею наблюдательностью, на меня обращенной, и этим он точно выхватил воздух из моего горла.

Себе в «Дневниках» записал: *«Были два наших студента-декадента: Бугаев, Борис Николаевич (автор «Симфонии»), и... Петровский, чуть-чуть заикающийся»* (стр. 110)[103].

Он прикинулся: точно учитель словесности перед экзаменом, для вида макал усы: в стакан чая и приличия ради поддерживал разговор; я наблюдал его и думал: нет в картавых, поправочных фразах яркости; в вежливой, косой улыбке из хмури — нет шарма; я думал: вот примется он мне развивать впечатление от чтения моей «Симфонии»; а он, не спуская с нас уха (в глаза же не смотрел), мимо нас подавал точно рукой свое слово — М. С.; а своей

бровью подчеркивал свои смыслы: и трезво, и веско, не без архаизма; как будто он пришел к нам из тридцатых годов прошлого века; так беседовать мог Боратынский; Белинский уже — не мог.

Никакого Рембо, Малларме!

М. С. Соловьев всем своим видом как бы показывал Брюсову нас: вот-де какие; Брюсов же смыком смышлеватых бровей отвечал:

— «Будет видно: годятся ли!»

Вдруг прытко бублик он выщипнул из хлебной корзинки.

Стало неловко мне с ним: как атакованный! Я даже испытал раздраженье: скажи-ка ему про «бледные ноги» его,— пожалуй, еще услышишь:

— «Вы, сударь мой, дичь не порите-ка: Пушкин не так писал: у Боратынского нет этой жалкой бессмыслицы».

Думалось: явно сидит,— как в черной маске, потому что татарин, печенег и учитель словесности — только «маски»: не прост! Исключительный «зверь» — неуютный; его не дразни: под себя подомнет, сев в засаду.

Этот подмин под себя я пронес по годам: взвешенность всех выражений с неявно вплетаемыми комплиментами ставила часто впросак, точно в угол, где мой пулемет от теории знания вовсе не действовал, но где рапира софизма его отовсюду меня щекотала, и точно невидимый шепот я слышал:

— «Борис Николаевич, вы не деритесь со мной: я и так вас щажу: будет плохо!»

Еще до обмена словами прошел лейтмотив наших будущих отношений: я, помнится, высказался: нет границы меж здравостью и меж психозом.

— «Я с вами согласен»,— отрезал, не глядя, В. Я.; и тоскливо едва передернулись губы, а зубы блеснули; М. С. перевел разговор на «Симфонию».

— «Ах!» — завозился Брюсов, засунувши руку в карман, и стал обсуждать детали ее печатанья:

— «Мое мненье о книге известно ведь вам»,— бросил с досадой он мне, и, не знай я его отзыва, я мог бы подумать, что книга моя ему неприятна.

Потом мы перешли из столовой в кабинет Соловьева; хозяева с А. С. Петровским пошли к столу; мы же с В. Я. задержались в сенях перед креслом, которое он, на две ножки поставив, раскачивал, поводя туловищем; и вдруг стал узкоплечим каким-то: сюртук как на вешалке; грудка — совсем дощечка; наверное,— ребра пропячены.

Аспид!

И я удивился разительному изменению своего впечатления от вида: его; вокруг как тарантулы прыгали!

С ожесточением я что-то доказывал, защищаясь от казавшейся мне ненормальной внезапной живости этой, он откинулся, держа на весу кресло; и вдруг в потолок — дико выорнул:

— «Ах, да зачем с философией вы, когда есть песни и плясти!» — «ка» точно «те» выговаривал он.

И снова выорнул:

— «Когда мгновение принадлежит — мне!»

И слушал себя, как песни из... древней эры, в которой, быть может, слова о том, как... дерутся с бронтозаврами.

— «Я захочу,— взвесил кресло, ударил им в пол,— и вот этим вот креслом кому-нибудь череп пробью!»

И увиделось просто какое-то «оно»,— обезумевшее и заявляющее, что «оно»,— приподняв воротник у пальто и надвинув картуз на глаза,— убежит в свои неживые леса *.

«Черт дери,— пришибет, чего доброго!» — подумалось мне.

Тут же подумалось:

«Просто он софист и позер!»

— «Нет, мгновение не принадлежит нам,— осмелился я,— допустим, что вы захотите навеки остаться — стоять: здесь. Уйдете все же, потому что вы — гость Соловьевых! А гости — уходят!»

Представьте мое изумление, когда, став шестом, передергивая, завопил он:

— «Я,— цап: лапа пала на кресло,— останусь здесь»,— кресло пристукнулось.

Бред о извечном стояньи Валерия Брюсова здесь разыгрался в моем воображении: вот — подумалось — все уходят, а Брюсов — стоит: в той же позе за креслом; его Соловьев выгоняет,— стоит: в той же позе за креслом; М. С. Соловьев — раздевается; Брюсов — стоит; спит, а Брюсов — стоит, озаренный луной: в той же позе; врывается Жанна Матвеевна: «Правда ли, что он стоит тут?» Стоит! А Брюсов, тут же, переменив разговор, спрятав «дичь» свою, как платок, в боковой карман, изогнулся передо мной как-то чрезмерно любезно, чрезмерно порывисто:

— «Однако мы — отвлеклись: идемте к хозяевам».

И, подойдя к М. С. Соловьеву, с нарочитой невинностью заговорил о каких-то новых изданиях Пушкина:

* Цитата из Брюсова [104].

я ожидал, как он вывернется предо мной, ведь обещал — что — не уйдет отсюда: и я его пересиживал; стало нудно; поднялся-таки я прощаться; тут он вскочил; и с чрезмерною мягкостью как выорнет, не обращаясь ни к кому:

— «Я тем не менее,— с явной угрозой,— удаляюсь!»

И — руки по швам, свою голову на сторону, прямо в переднюю; я — за ним; даже не попрощались друг с другом; я думал: и ведь прав он; в миг первого выкрика он издал свой декрет; в миг же второго выкрика — его отменил, потому что — мгновенье, каждое,— принадлежало ему.

«И софистище же»,— отдалось где-то во мне.

Проводивши В. Я., мы с Петровским остались у Соловьевых; и я рассказал им свой разговор перед креслом с Брюсовым; М. С. улыбался:

— «Не знал я, какая опасность грозила мне; впрочем, я переменил бы квартиру; с Богдановым, домохозяином, а не со мною бы дело имел он».

На следующий день в той же комнате опять встретились с Брюсовым мы неожиданно для меня — при Мережковских, о чем пишу ниже; тогда же я подошел к Брюсову:

— «Простите, вчера впопыхах я даже не простился с вами».

Он, выпрямясь и наставляясь ноздрею, обдумывал, видно, ответ; с пыхом выдохнул, проворкотавши гортанно-приязненно:

— «Я думал, что — без предрассудков мы будем с вами»,— и дернул рукою.

И белые зубы свои показал.

И опять ошарашил меня: без каких предрассудков? Без приличий, цитат, архаизмов, отдавшись песням и пляскам, проткнем кольца в нос и украсимся перьями нового быта, устроивши остров Таити, здесь, в доме Богданова, в квартире номер три?

Такова моя первая встреча с ним.

Еще не знал я: стиль «бреда», как стиль «кулака»,— игры, не задевающие его жизни; он ими испытывал нас; раз я его увидал с Добролюбовым, ставшим сектантом и всех называющим братьями; с легкостью Брюсов отчеканивал на «брат Валерий», к нему обращенное:

— «Что, брат Александр?»

Он хотел поиграть и со мной стилем своих «Шедевров» *.

---

* «Шедевры» — первая книга стихов Брюсова [105].

Потом сколько раз — Соловьев, Эллис, я,— собираясь втроем, представляли чудачества Брюсова; и обсуждали: они что такое? Единственное сочетанье из высушенного, как гербарийный листик, софизма и бреда пощечиной влепливалось, и над ней дергал бровью, недоумевая; начав с пустяка, кончал крупною ставкой: на дичь; измерение неизмеримого, точно рисунок (пятнадцатый век); его он показал мне: в нем изображалися... пытки.

У Брюсова слово «испытывать» значило часто «пытать»; он до пытки испытывал; но испытания эти терзали его; и отсюда же: непроизводительность мотивов, одетых в сюртук; господин с прирастающей маской к лицу,— таким виделся в эту пору мне Брюсов.

Так: однажды, зайдя с Соловьевым к нему, испугались; осведомившись о делах «Скорпиона», прямой, точно шест,— он свой рот разорвал; бросил руки по швам; и — скартавил с восторгом:

— «Условимся — так: завтра я не иду в «Скорпион», потому что я буду лежать на столе и предам свое тело: и сверлам, и пилам»[106].

Ему предстояла мучительная операция челюсти, после которой долго ходил он с раздутой скулой.

Ужаснул меня точностью:

— «Поколотили студентов; а знаете, что на войне?» — ногу на ногу; руки сцепились, схватясь за коленку качавшуюся:

— «Там — прокалывают!»

Став живым, молодым, сиганул он вихром:

— «Представляете, что это значит? Приставленный штык прободает шинель, рвет одежду, которая — разрывается; кожи касается четырехгранная сталь; она прободает: мускул, брюшину; штык — вводится в тело».

Так у доски занимается перечислением условий задачи учитель.

Иль — что за логика?

— «Вы вот за свет: против тьмы. А в Писании сказано: свет победит; свет — сильнее; а надо со слабыми быть; почему ж не стоите за тьму и за Гада, которого ввергнут в огонь?.. Гада — жаль: бедный Гад!»[107]

Иль,— зачем он прислал мне стихи под заглавием «Бальдеру Локи»? Он в них угрожал мне стрелой; и кончал — восклицаньем:

Сумрак, сумрак — за меня!

Коль — серьезно, зачем язычок третьеклассника, «Вали»? Стихи были присланы сложенною стрелой из бумаги;[108] такие метают учителю: в спину.

В ту же пору, зайдя на журфикс ко мне и увидавши гасильник, с прекрасно разыгранным вздрогом гасильник схватил, повертел; приподняв, над гостями — к настеннику ткнул его, перегибаяся к матери:

— «Вот как? Гасильник... Позвольте мне, Александра Дмитриевна, посмотреть, как действует гасильник?»

И, опустивши в стекло, погасивши настенник, с разыгранным смехом он матери бросил:

— «Ну, я — удаляюсь».

И — выскочил.

Боркман, боряся с судьбою, за палку хватается:[109] так почему же Валерию Брюсову свет не гасить? Жутковатые игры придумывал; и деловито разыгрывал.

Так: провожая Бальмонта в далекую Мексику, встал он с бокалом вина и, протягивая над столом свою длинную руку, скривясь побледневшим лицом, он с нешуточным блеском в глазах дико выорнул:

— «Пью, чтоб корабль, относящий Бальмонта в Америку, пошел ко дну!»[110]

В ту эпоху меж ним и Бальмонтом какая-то черная кошка прошла; шутка злою гримасою выглядела.

Скоро он перестал так шутить; и его по «Кружку»[111], точно каменного командора, водили:

— «Чудесный директор: навел экономию!»

Мы знали больше: директорство, кухня (заведовал ею в «Кружке») — только спор: в эту пору «Эстетику» * гнал он из зал, отведенных в «Кружке» ей: гнал Брюсов, Валерий, директор «Кружка», вместе с Южиным, вместе с Баженовым, над кем смеялся,— Валерия ж Брюсова, возглавлявшего «Эстетику». Жаловался в комитете «Эстетики»: гонит-де нас — «Кружок».

— «Кто же гонит-то? Вы?»

Не ответил; художник Серов философски руками развел:

— «Гонят,— надо уйти!»

Серов — понял: другие — не поняли.

Редко смеялся: лишь дергал губами; и зубы показывал; если ж его рассмешить (Эллис мог так смешить), то он, бросивши ногу на ногу, схватясь за колено, вцепившись в колено, над ним изогнувшися и бородою касаясь колена,

* Общество свободной эстетики, им основанное.

краснел не от хохота, а от задоха; и сухо и дико откалывал голосом:

— «Кхо... кхо... кхо... кхо!..»

. . . .

И тянул, и отталкивал — детским кошмаром, в котором мы оба кричали когда-то; таков стиль знакомства, в котором повинен не я.

Сперва связанный с Брюсовым узами дел, я стараюсь, его избегая, быть светским, почтительным, чувствуя род уважения к этой литой, как из бронзы, фигуре; мой стиль он усваивает; иногда же я чувствую перекрещение наших рапир из-за взрыва сухой его, какой-то дикой сердечности.

Кто он,— защитник или подкарауливатель?

В «Дневниках» он записывает: *«Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости»* (май — июнь 1902 года, стр. 121).

Стихи его, мне посвященные,— жуть: обещается в них... «мстить кинжалом» мне[112].

Но он вторгнут в мое бытие метеором упавшим; и я получаю короткие письма: он рад будет видеть тогда-то меня; или: он извещает о том-то и том-то; короткие, четкие, внешние фразы; и тут же сухая соль сведений о Петербурге, о «Новом пути»; в нем зовут-де его секретарствовать; [113] часто предлог для свиданий фиктивен; в нем явно желанье: меня привязать к «Скорпиону», оказывая мне, начинающему литератору, крупную и бескорыстную помощь; в глубинах своих сомнительный еще мне,— внешне он мне повернулся с приязнью; я видел его Калитой, собирателем литературы в борьбе с *«ханской ставкой»;* в горении объединять, он, наш «мэтр», умывал ноги нам; он сносился с маститостями, усыпляя внимание: перед боем; и все — для того, чтобы нас протолкнуть; я обязан ему всей карьерой своей; я ни разу себя не почувствовал пешкой, не чувствовал «ига» его: только помощь, желанье помочь, облегчить.

Я сближался не с ним, его видя далеким; «далекий» и был настоящим помощником после М. С. Соловьева: в печатаньи книг и в приваживаньи к публицистике; он вырывал из меня, точно с боем, рецензии; в строгом разборе стихов моих чувствовал что-то отеческое; защищая публично, он их разносил у себя на дому, не отнявши надежды; всегда поощрял.

В четко трезвой, практической сфере я чувствовал сердце, огонь бескорыстия; скольких тогда он учил и оказывал гостеприимство, без всякой тенденции: себя подчеркивать; в сущности, был очень скромен, носяся с идеей союза; и только с эстрады показывал «фиги» величия; с нами был равный средь равных; наткнувшись на лень, несерьезность, пустые слова, он вычеркивал, точно из списка живых.

Через несколько лет о нем сеялись слухи: де лезет из кожи ходить императором, травит таланты-де; правда, травил — разгильдяйство и лень, не любя молотьбы языком по соломе; тогда называли нас «псами» его; эти слухи бросались Койранскими, Стражевым и Городецким и всеми, кого отвергали «Весы»; должен здесь же сказать: когда поняли мы, что приходит опасный момент,— осознав нужность «шефства», подняли на щит его (Балтрушайтис, я, Соловьев, Садовской, Эллис и др.), но — для других; сознаюсь, щит с тяжелой фигурою этой гнул шеи; кряхтели без ропота, даже с любовью.

Он, некогда поднятый нами на щит, был внимателен с нами, порою до... нежности; он не держался «редактором»: не штамповал, не приказывал,— лишь добивался советом того или этого: он обегал со-бойцов, чтобы в личной, порою упорной беседе добиться от нас — того, этого: мягкими просьбами; если ж ему отдавали мы честь пред другими, так это — поволенная нами тактика.

Я оговариваюсь: славолюбие и властолюбие жили в нем; но он диктаторствовал, так сказать, в покоренных провинциях, как-то — в «Кружке», в «Русской мысли»[114], в «Эстетике», с кафедры или с эстрады; в своей метрополии, в центре дружеского кружка, он держался, как республиканец с бойцами, которым помог в свое время; мы помнили это: и были верны ему; если же «псами» казались другим, то,— по правде сказать, «пес» всегда симпатичней «осла», добивающего одряхлевшего льва своим черствым копытом; уже с 1907 года такие «ослы» появились.

Мы ж видели роль его — организатора литературы; с 902 года всерьез зазвучала роль эта; так-то я, не сближаясь, скорее отталкиваясь, был им вобран и утилизирован; я не раскаиваюсь: благородно он утилизировал, дав дисциплину рабочую, выправку, стойкость.

О нежной сердечности и не мечтал, одиноко замкнувшись в мирах своих странных, где бред клокотал еще; видя, что Блок, Мережковские перевлекают меня, от меня

добивался лишь связи рабочей, которую я потом, разуверившись в Блоке, весьма оценил.

Деликатно в те годы ко мне подходил; помню, как мне на фразу показывал, не обижаясь шаржем:

— «Борис Николаич, стоит тут у вас — «Флюсов, Бромелий»,— совал карандаш в корректуру,— поставим-ка «Брюсов, Валерий»,— показывал зубы; и ждал резолюции, но карандаш свой приставил к «Бромелий».

— «Ну, пусть!»

Слова — вылетели[115].

Добивался от меня рецензий.

— «Да я ж не умею рецензий писать: никогда не писал».

— «Ну, а что вы о Гамсуне думаете?»

Я — высказываю.

— «Вот и готова рецензия: вы запишите лишь то, что сказали сейчас»[116].

Или: зная, что я проходил физиологию:

— «Вот, напишите об этой никчемнейшей книге».

— «Я же не психиатр!»

— «Вы — биолог: физиологически же автор трактует проблему; он — неуч; наверно, его вы поймаете».

Таки добился: читал, бегал даже в Музей, чтобы нос сунуть в Мейнерта; таки поймал: исказил автор Мейнерта; [117] и потирал руки Брюсов: пошляк из «Кружка» декадентским журналом с поличным пойман; позднее увидев, что я роюсь в социологической литературе, он сдался на мою просьбу, напоминающую каприз: давать рецензии на печатающиеся брошюры социал-демократов, социалистов-революционеров и анархистов; «Весам», журналу искусств, эти рецензии не подходили: по стилю; он тем не менее мне уступил; и я, несмотря на свою социологическую малограмотность, писал эти рецензии. Так он уступил мне, считаясь с прихотью, чтобы не оторвать меня от «Весов». Так он уступил многим *.

Мне открывалася остервенелая трудоспособность Валерия Брюсова, весьма восхищавшая; как ни был близок мне Блок,— я «рабочего» от символизма не видел в нем; Блок сибаритствовал; Брюсов — трудился до пота, сносяся с редакциями Польши, Бельгии, Франции, Греции, варясь в полемике с русской прессой, со всей; обегал типогра-

* Вспоминая свои упражнения в рецензиях на социологическую литературу, разумеется, я отмечаю не свою «компетентность» в социологии, а тот факт, что Брюсовым в редакции «Весов» много допускалось такого, что не входило в официальную программу журнала.

фии и принимал в «Скорпионе», чтоб... Блок мог печататься.

Был поэтичен рабочий в нем; трудолюбив был поэт.

Я, бывало, звонюсь в «Скорпион», вылетает и быстрый и пряткий, немного усталый, как встрепанный, Брюсов; черной, капризной морщиною слушает; губы напучены; вдруг, оборвав меня, с детской улыбкою зубы покажет:

— «Рецензия,— как?.. А!.. Чудесно»[118].

И локтем склоняется на телефонный прибор; затрескочет и ждет; ты молчишь, оборвав объяснение; в наполненном этом молчании кажешься глупым; убийственна трезвость поэта «безумий»; и — главное: ты говорил «про свое»; он тебя оборвал, хлопоча о «чужой», не своей корректуре; и утром и днем — ее правит, с ней бегает; где ж «свое»? Оно — бормотание строк в мельк снежинок меж двух типографий иль на мгновенье прислон к фонарю; шуба — истерзана; пук корректурный торчит из нее.

Таким у типографии Воронова[119] его видел не раз; он обалдевал, выборматывая между двух типографий свой стих,— в миг единственный, отданный творчеству, в дне, полном «дела», чтоб... я, Блок, Бальмонт, Сологуб в «Скорпионе» могли бы печататься.

Делалось стыдно за ропот свой перед «педантом», сухим и придирчивым, каким иногда он казался.

«Трр-рр-рр» — телефонный звонок; и — прыжок к телефону:

— «Да!.. Книгоиздательство... Да, да... Чудесно!»

Прижавши к скуластому, бледному очень лицу телефонную трубку, он слушает, губы напучивши; трубку бросит: и —

— «К вашим услугам!»

«К услугам» — не нравилось; а — что ж иное? Отчеты, петиты, чужие статьи, корректуры, чужие; их сам развезет, потолкует: со «шпонами» или без «шпон»[120].

— «Что вы думаете о ...?»

— «Точней выражайтесь: даю пять минут»,— говорит пересупленным лбом, отвернувшись,— уродливый, дико угластый татарин-кулак; вдруг пантерою черной красиво взыграет.

Во всем, неизменно — поэт!

Вместе с тем: никогда не вникал в становление мысли моей: результат ее, точно отчет, подытоживал, грубо порой тыкнув пальцем:

— «Не сходится здесь!»

Но порою лицо утомленное грустно ласкало:

— «Сам знаю... Да — некогда... Вы не сердитесь... Тут в редакции — рой посетителей... Я ж — один».

Иногда, перепутавши несколько мысленных ходов, откидывался и хватался за лоб, растирая его:

— «Пару слов: о делах»,— из кармана тащил корректуру.

Порой из редакции вместе бежали: не шел он, а несся и тростью вертел:

— «Вы куда?.. На Арбат... И я — с вами: к Бальмонту».

И молодо так озирался; ноздрями широкими воздух вбирал, бросаясь под локоть рукой, точно с места срывал; припадая к плечу, он плечо переталкивал:

— «Какого мнения,— пляшет, бывало, бородка,— вы о математити? — «ти» вместо «ки»,— я люблю математику!»

Нежно, воркующе произносил он:

— «Измерить, исчислить!»

И падал, как на́ голову:

— «А вы как полагаете,— Христос пришел для планеты или для вселенной?»

В ответ на теорию — практикой, понятой узко: под ноги; ширяний идей — не любил, а любил — поправки на факты; поправкой указывал; и, насладясь неотчетом (смутил-таки!), делался грустным: что толку? Томился своей отделенностью.

. . . .

В. Я. импонировал: невероятной своей деловитостью, лесом цитат, поправляющих мнение; чрезмерная точность его удручала; казалося, что аппаратом и мысль зарезал он в себе; и — давал волю софистике; слабость из силы сознав и сознав силу слабости, не посягал на теорию он символизма, нам с Эллисом предоставляя ее платформировать.

Помню: «Кружок»; К. Бальмонт произносит какие-то пышные дерзости: его едят поедом; попросил слова Брюсов; возвысился черный его силуэт; ухватяся рукою за стуло, другой с карандашиком, воздух накалывая, заодно проколол оппонента Бальмонта:

— «Вы вот говорите,— с галантностью дьявола, дрезжа фальцетто,— что,— изгиб, накол,— Шарль Бодлер...— дерг бровей.— Между тем,— рот кривился в ладонь подлетевшую, будто с ладони цитаты он считывал,— мы у Бодлера читаем...»

И зала дрожала от злости: нельзя опровергнуть его!

Психиатр Рыбаков в реферате прочитанном определил его как симулянта безумий, психически здорового, трудоспособного; было ж обратное: аргументации от Милля, Спенсера — мимикрия; вспомните Спенсера: на протяжении десятков страниц, плоско-серых, убористых, мысль — меньше мухи; доказывается грудой фактиков: тут — быт зулусов, перо попугая, вулкан Титикака, бизон, двуутробкин детеныш и муха цеце; Маяковский бил с кафедры ором и желтою кофтою в лоб; Брюсов бил и с фланга («мгновение... принадлежит... мне...»), и с тыла: пародиями на Г. Спенсера, документальною пародией на почтенную скуку; из сочетания тактик он производил... просто падежи в стане наших врагов; «стан» через несколько лет превратился в постыдное переселенье: из лагеря Пыпина в ставку Валерия Брюсова; но и «кадеты», которых «ловкач» объегоривал, «переегорили» временно Брюсова, заставив его поехать на фронт корреспондентом военным[121].

Он этим в себе самом вырастил правый уклон; незаметно «пародия» стала высказываньем, убежденьем почти; он как бы ставил цель: «Ну-ка, дерну по Пыпину: думаете, не сумею? А — вот вам».

Но в первых годах настоящего века такое умение действовать с тыла — расчистило путь: ему, нам.

Педагог!

Скоро я на себе испытал его тактику; взявши стихи в альманах[122], склонив сборник стихов подготовить к печати[123], дав лестную характеристику их, вскружив голову, он пригласил меня на дом и вынес стихи, уже принятые; не забуду я того дня: от стихов — ничего не осталось.

Схватив мою рукопись цепкими пальцами, выгнувши спину над ней (нога на ногу), оцепенев, точно строчки глазами он пил, губы пуча, лоб морща, клоком перетрясывая, стервенился от выпитого, дрянь вкусив:

— «Ха... «Лазурный» и «бурный» — банально, использовано; «лавр лепечет» — какой, спрошу я, не лепечет?»

Откинулся, шваркнувши рукопись, сблизивши локти, расставивши кисти, рисуя углы:

— «Дайте лепет без «лепет», заезженной пошлости; «лепет» — у Фета, Тургенева, Пушкина. Первый сказавший «деревья лепечут» был гений; эпитет — живет, выдыхается, вновь воскресает; у вас же тут — жалкий повтор; он — отказ от работы над словом: стыдитесь!»

Кидался на рукопись: тыкать и комкать, кричать на нее:

— «Нет — «лепечущих лавров... кентавров»... В стихотворении у Алексея Толстого опять-таки: «лавры-кентавры»; но сказано — как? «Буро-пегие»!..[124] Великолепно: кентавр буро-пегий, как лошадь... он пахнет: навозом и потом».

Сжимы плечей, скос бородки над переплетенными крепко руками,— с ужасной скукою:

— «Да и кентавр этот ваш — аллегория, взятая у Франца Штука, дрянного художника... Слабое стихотворение о слабом художнике!» — проворкотал он обиженно.

Я был добит.

Так, пройдясь по стихам, уже принятым им в альманах, он их мне разорвал... в альманахе.

— «Зачем же вы приняли?»

Фырк, дерг, вскид руки; вновь зажим на коленях их с недоумением, значащим: «Сам я не знаю»; и вдруг — алогически, детски-пленительно:

— «Все-таки... стихи хорошие... Ни у кого ведь не встретишь про гнома, что щеки худые надул;[125] и потом: странный ритм».

Я понял: пропасть меж собственным ритмом и техникой; осознался: проблемы сцепления слов, звуков, рифм[126].

Его длинные руки выхватывали с полок классиков, чтоб стало ясно, как «надо»: на Тютчеве, на Боратынском; сперва показал, как «не надо»: на Белом.

Бескорыстный советчик и практик, В. Я. расточал свои опыты, время юнцам с победительной щедростью.

Как он прекрасно читал своих классиков с глазу на глаз, как бы весь перечерчиваясь и бледнея, теряя рельеф, становясь черно-белым рисунком на плоскости белой стены; очень выпуклый, очень трехмерный, рельефный в другие минуты, он в миг напряженнейшего пропускания строк через себя перед выкриком их точно третье терял измерение, делаясь плоскостью, переливаясь в передаваемый стих; звук, скульптурясь, отяжелевая рельефами, ставился великолепно изваянной бронзой, которую можно и зреть и ощупывать.

Помнились жесты руки, подающей открытую книгу на стол.

Мощь внушенья красот — в долгой паузе перед подачею слова; в ней слышались действие лепки рельефов, усилия слуха и произношения внутреннего; так он, вылепив строчку, влеплял ее: голосом.

Себя читал, декламируя горько, надтреснуто, хрипло, гортанно, как клекот орла, превращающийся в клокотание до... воркования, не выговаривая буквы «ка» (математити), гипертрофируя паузы:

«Улица была как буря»[127] выкидывал:

— «Улица...»

Долгая пауза.

— «Была...» — пауза поменьше; и — скороговоркой: — «как буря».

Глаголы — подчеркивал голосом, не существительные.

Иногда объяснял себя; мне объяснил свою строчку:

— «Берег вечного веселья...»[128] — «Бе» — «ве» и «ве»: «бе» переходит в «ве-ве»... Почему? «Бе» — звук твердый, звук берега, суши; «ве-ве» — звук текучий, воздушный и влажный; от «бе» в «ве» мы слухом отталкиваемся, как челнок от камней... Вместе с тем: «ве» — смягченное «бе», так что слышится аллитерация».

И, показав свою кухню, он переводил разговор на Граммона иль Бек де Фукьера, трактующих проблему звука, у нас неизвестных тогда; мне подкинул Кассаня, трактующего стих Бодлера;[129] подчеркивал: Пушкин весьма отдавался ремесленным этим вопросам; любил Ренэ Гиля *, старавшегося сформулировать кодекс своей научной поэзии; рылся в Потебне, никем не читавшемся в этот период с нелегкой руки болтуна Веселовского (Алексея).

Так был он единственным строгим ученым от литературы среди не ученых в сей сфере словесников; вместо того, чтоб сбегаться к профессору этому, свистом встречали не только «козу»: деловитейшие его замечания!

Только Брюсов, Валерий, да Федор Евгеньевич Корш представляли собой Академию слова.

Но Брюсов не был эстрадным чтецом, а чтецом-педагогом, вскрывающим форму, доселе заклепанную; завозясь молотками, ударами голоса, сверлами глаз и клещами зубов, как выкусывающих из заклепанной формы железные гвозди, он нам вынимал стих Некрасова, Пушкина, Тютчева иль Боратынского, прочно вставляя в сознанье его; так разбором стихов он, смертельно ранив «поэта» во мне, мне расклепал Боратынского: этот день был событием; я, им ободранный, не унывал; уничтожив плохую продук-

---

* Ренэ Гиль — известный в свое время в кружках французских символистов критик и поэт, ведший свою линию, которую называл «научной поэзией»: он был постоянным критиком «Весов» и пропагандировал начинающих Ренэ Аркоса, Вильдрака, Дюамеля.

цию, он показал на матерого «зверя» — на стих: как его надо холить.

И тут, столь далекий от Льва Ивановича Поливанова, ярко напомнил он мне: Льва Ивановича Поливанова.

Брюсов был чутким директором в первой им созданной школе: до всех «стиховедческих» опытов школа была без устава; но списочек слушателей где-то был у него; в нем он делал отметки, включая иных и вычеркивая нерадивых.

Кричали: пристрастен-де Брюсов, а так ли? Ошибся ли он — Блока, меня, Садовского, С. М. Соловьева, Волошина в свой список включивши, Койранских же, Стражевых, Рославлевых и бесчисленных Кречетовых зачеркнувши?

Все сплетни о его гнете, давящем таланты,— пустейшая гиль, возведенная на него.

Случалось, что и он ошибался: сперва не занес Ходасевича в список «поэтов»; [130] но вскоре ж ошибку исправил он.

. . . .

Помнится белый домок на Цветном; синий номер: «дом Брюсовых»; [131] здесь я бывал у него; я не помню убранства и цветов; мне бросались в глаза: чистота, строгость, точный порядок; стояли все лишь необходимые вещи; в столовой, малюсенькой,— белые стены, стол, стулья; и — только; в смежной комнате, вблизи передней (с дверями в столовую и в кабинетик) — седалища: здесь ждали Брюсова; стол, за которым работают, синенький, малый диванчик, и — полки, и полки, и полки, набитые книгой,— его кабинетик.

Квартирка доричная, тихая, виделась — черным на белом; ее обитатели — острые, быстрые, дельные и небольшого росточку фигурки, с сарказмом, с умом; никаких туалетов, ничего от декоративных панно, от волос на ушах или жестов, с которыми дамы и снобы ходили за Брюсовым; умная, в черном, простом, не от легкости, а от взбодренности, смехом встречающая Иоанна Матвеевна, жена: энергичная, прыткая, маленькая; чуть «надсмешница», ее сестра, Бронислава Матвеевна; преюркая ящерка, с выпуклым лбом, с быстрым выстрелом глаз, черных, умных, сестра Брюсова,— музыкантша, теории строящая; [132] ее дружба ко мне заключалась в том, что, сев рядом, гортанным фальцетто нацеливалась в слабый пункт моих слов; всадив жало, блистала глазами; В. Я. определил раз в игре ее: «Ты — землероечка: малый зверок». Зарывалась она в подноготную; являлся за чайным столом Саша Брюсов, еще гимназист, но тоже «поэт»; ставши «грифом» [133], он

соединился с Койранским против брата: едкий, как брат, супясь, как петушок, говорил брату едкости; брат, не сердясь, отвечал.

Иногда мне казалось, что в этой квартирке все заняты сухо игривым подколом друг друга; здесь каждый за чайным столом, софизм выдвинув, им поколов, удаляется, супясь, работать. Семейство сходилось: на колкостях.

Гостеприимный хозяин являлся за стол из редакции; но вскоре же быстро бежал: в кабинетик; и, без приглашения зайдя,— разве походя с ним перекинешься словом; и будешь сидеть: с Иоанной Матвеевной, с Надеждою Яковлевной.

Впрочем, бывали часы и для «родственников»; раз, зайдя, я увидел закрытую дверь; Иоанна Матвеевна сказала:

— «Валерия Яковлевича — не извлечь: он винтит в эти дни и часы: с отцом, с матерью».

Родственный «винт» (от сего до сего) — дань: семейным пенатам.

В среду вечером (перечень «сред», отпечатанный, нам рассылался в начале сезона: со списочком чисел[134]) являлся кружок из любителей литературы, к которому присоединялись брюсисты, «свои», те, которых он силился в партию вымуштровать.

Разговор — острый, но деловой;— треск цитат и сентенций (как надо писать) вперемежку с софизмами; попав сюда, я дивился отчеркнутости интересов; Д. С. Мережковский с «идеями» — был отстранен.

Шири идеологий сознательно были Валерием Брюсовым вынесены из квартирки, которая — класс иль — ячейка «Весов» — «Скорпиона»; и, когда начинались вопросы «не только» о том, как писать, им чертилась отчетливо демаркационная линия: об этом можно беседовать, о том — не стоит.

Когда я являлся сюда, то В. Я. бросом рук и подставом любезнейшим стула под ноги как бы предупреждал очень строго:

— «Беседа уже начата; и ширянья — откладываются!»

«Ширянья» им выносились из «сред» — в разговоры вдвоем: у меня, на прогулке.

Что-то строго спартанское: дух Диониса отсутствовал; узкая сфера вопросов, дающая много, порой скучноватая, когда ты был неприлежен; класс — с контролем, с экзаменами; у меня и в «Дону» мы ширяли идеями, а отдыхали, резвясь, у Владимировых.

Здесь — учились мы.

Здесь же встречался впервые с небольшим кружком образованных очень людей: вот учитель немецкого, тоже поэт, скучноватого, очень почтенного вида, блондин, Георг Бахман (писал по-немецки); вот умница, хищная, вкрадчивая, Черногубов Н. Н., знаток Фета и Федорова, старый коллекционер; вот седой, с красным носом, в пенснэ,— остроумец Каллаш; а вот бледный, всегда молчаливый Саводник; угрюмец и «демон» Дурнов (архитектор, поэт); вот — Курсинский; начитанные, скучноватые, умные люди; вот робкий блондин, всегда в сером, редискою носик,— презоркий, сутулый, какой-то кривой: Поляков — полиглот, мягкий умница и математик, выкапыватель никому не известных художников; реденькая и белокурая очень бородка торчала; являлся и «мрачный, как скалы» (по слову Бальмонта), блондин с красным носом, с усами: поэт Балтрушайтис; сидел здесь Семенов, блондин, анархист, явившийся из-за границы, где он репетировал дочерей Плеханова: все что-то заваривал он в «Скорпионе»; всегда он с проектом являлся;[135] сидел молчаливый Яворский; ряд юношей: Шик, Гофман, Рославлев, братья Койранские,— выпуск студийцев-брюсистов, весьма неудачный.

Являлся потом, бородою, как облаком, ширясь, Волошин; являлся Бальмонт; появлялись: Шестеркины, Минцлова, Ланг и мадам Балтрушайтис.

Здесь Брюсов мне виделся очень покинутым; он, как учитель словесности, был отделен от юнцов и от сверстников; больше сливался тогда он со старшими из «Скорпиона», на почве лишь дела.

Таким был в эпоху начала знакомства со мной.

МЕРЕЖКОВСКИЙ И БРЮСОВ

С Брюсовым встретился я 5 декабря 1901 года; с Мережковским — на другой же день. Совпадение встреч — жест; Брюсов меня волновал «только» литературно; а Мережковский — не только; анализ, произведенный Д. С. Мережковским образам Льва Толстого и Ф. Достоевского, выявил: оба они завершают-де собой мировую словесность: «От слова — к действию, к преображению жизни, сознания!»[136] По Мережковскому, Толстой ведает плоть; Достоевский же — дух; Лев Толстой сознал, что из плоти рождается новое знание; его ошибка: за поиском знания он убегает в мораль; Достоевский же не понимает, что дух

обретается в теле, не в вырыве в небо; чиста-де плоть у Толстого, здорова, а он, больной духом, бежал от нее; дух-де здоров в Достоевском, а он — эпилептик.

Литература в обоих есть выход из литературы; в обоих уж слово становится делом. Задание Мережковского: выявить общину новых людей, превративших сознанье Толстого и Достоевского в творческий быт; эта община была бы третьим заветом, сливающим Новый и Ветхий.

— «Иль — мы, иль — никто!» — восклицал Мережковский, грозяся пожаром вселенной; ходил по Литейному, будто в кармане он держит флакон с эликсиром; глотни — и заплавятся души, тела.

Мой отец, далеко отстоявший от прей, поднимаемых Розановым, Мережковским и Минским с епископами, видел в Д. С. Мережковском проблему романов его: т. е.— видел тенденцию правой культурной борьбы с заскорузлым церковным монашеством; мы, изучавшие пристальней книги писателя, не ограничивались таким трезвым разглядом. И М. С. Соловьев полагал: Мережковский — радеющий хлыст, называющий пляс и, как знать, свальный грех свой огнем, от которого-де загорится вселенная.

Все то, что до нас доходило о деятельности религиозно-философских собраний, тогда начинавшихся в Питере[137], сосредоточивало интерес к Мережковскому.

Коль он зенит, то В. Брюсов — надир: «Только литература!» Но Брюсов вкладывал в «только» весь пыл проповедника; миф для него был лишь материалом к сочетанию слов: он с одинаковым пылом готов был отдаться анализу слов Апокалипсиса, рун, магических слов обитателей острова Пасхи, проблем Атлантиды; писал он:

И господа и дьявола
Хочу прославить я[138].

Прославить для Брюсова — вылепить в слове.

Д. С. Мережковский мирился со всем, но не с этим; «народник», «марксист», ницшеанец, поп и атеист еще находили убежище в его пустой, но красивой риторике; Брюсову ж не было места в ней; так что «декаденты», по Мережковскому,— валежник сухой; малой искры достаточно, чтобы они вспыхнули; они — трут, на который должна была пасть искра слов его; вспыхнувшими декадентами эта синица хотела поджечь свое море: ему ли де не знать «декадентов», когда он и сам — декадент, победивший в себе «декадента».

Д. С. Мережковского не понимали в те годы широкие массы; его понимал Михаил, православный епископ; да мы, «декаденты», читали его. Брюсов, тонкий ценитель «словес», был в те дни почитателем этого стиля — «и только»: о всяком «не только!». Как мог он обидеться на отведенную роль ему? Умница, он понимал: исцеленье его Мережковским есть «стиль» Мережковского; Брюсов-стилист был не прочь исцелиться для... Гиппиус, чтобы отобрать в «Скорпион» цикл стихов у нее; он ковал ведь железо, пока горячо, для готовимого альманаха и для «Скорпиона»; точно торговец мехами, в Ирбит [139] отправляющийся, чтобы привезти с собой мех драгоценный, таскался он затем в Петербург, чтобы у Гиппиус для «Скорпиона» стихи подцепить; подцепив, привозил, точно мех черно-бурой лисицы.

— «Привез...»

— «Стихи — дрянь; ну, а все-таки — Гиппиус... «Скорпиону» приходится денежно жаться... Они запросили... Ну что же, Бальмонт даст задаром, и кроме того: Юргис *, я, вы — напишем; не правда ли?»

Не раз меня Гиппиус спрашивала:

— «Платить будут? Коли платить будут, то — дам... Вы наверное знаете,— будут?»

Венец юмористики: Гиппиус и Мережковский прекраснейше сознавали вес Брюсова: в «завтра»; и даже — значенье расширенного «Скорпиона», который и им служил службу; они были гибкие в смысле устройства своих личных дел; так антидекадент и враг церкви печатался сам в «Скорпионе». Венец юмористики: когда в 1903 году начинался журнал «Новый путь», Мережковские никого пригласить не сумели для заведования отделом иностранной политики, кроме «беспринципного» Брюсова;[140] он, кажется, прозаведовал... с месяц; и — бросил.

При встречах друг с другом они осыпали друг друга всегда комплиментами:

— «Вы, Валерий Яковлевич, человек будущего!» — вопил Мережковский.

— «Прикажите, и — «Скорпион» к вашим услугам»,— изысканно выгибался перед Гиппиус Брюсов.

Заочно ругали друг друга:

— «Новый путь», Борис Николаевич, заживо сгнил»,— с восхищением докладывал Брюсов, вернувшийся из Петербурга: мне.

---

* Ю. К. Балтрушайтис — в те годы «молодой» поэт «Скорпиона».

— «Зиночка сплетничает»,— он докладывал.

— «Боря, как можете жить вы в Москве: «Скорпион» — дух тяжелый, купецкий. Как можете вы с этим Брюсовым ладить?» — кривила накрашенный рот свой мне Гиппиус.

— «Боря, вам гибель в Москве!» — Мережковский.

И я распинался:

— «Да вы не о том»,— распинался с отчаяньем я на Литейном[141].

— «Да вы не о том»,— распинался с отчаяньем я в «Скорпионе».

Две эти фигуры, возникнувши в 901 году предо мной, в те же дни, в декабре (один пятого, другой шестого), вдруг быстро приблизились, как бы хватая: Д. С. Мережковский за левую руку и Брюсов — за правую: Брюсов тащил меня в литературу: в «реакцию» по Мережковскому; а Мережковский — в коммуну свою:

— «Боря, бойтесь Валерия Брюсова и всей пошлятины духа его!»

— «Зина думает...» — скалился Брюсов, глумяся над жалкостями беспринципных «пророков».

Как странно: тащивший «налево» Д. С. Мережковский пугался меня в девятьсот уже пятом как «левого»; «правый» же Брюсов стал не на словах, а на деле: действительно левым.

Я в 1901 году лишь испытывал трудность раздваиваться меж Д. С. Мережковским и Брюсовым, не примыкая к обоим в позиции, в идеологии; сложность ее — в иерархии граней; в одной допускались условно и временно ощупи Д. Мережковского; в другой же выметались проблемы формы по Брюсову; центр, ориентирующий обе эти проблемы,— та именно теоретическая проблема, для формулировки которой еще надо было одолеть, по моим тогдашним планам, Канта.

И тут мне влетало от всех: студент Воронков, застревая в тенетах гносеологических терминов («апперцепция», «коррелат», «факт, идентичный идее»), махал лишь рукой:

— «Бугаев точно говорит по-китайски».

Заноза Петровский подтрунивал:

— «Знаете, философутики я не люблю»,— уж и слово придумал!

Прималкивал скорбно М. С. Соловьев.

Брюсов в первой же встрече воскликнул:

— «Зачем с философией вы, когда песни и пляски есть!»

Как впоследствии воспринимал Мережковский мои «коррелаты» — не знаю, потому что — молчал лишь: глазами похлопывая.

Блок — тот рисовал на меня безобидные карикатуры.

Не видели стержня теорий моих, моего устремления к «критицизму»; для Брюсова он — игра скепсиса; для Мережковского — моя тоска по действительности.

В. Брюсов играл в философские истины; и на «критические» рассужденья весело подсыпал он софизм; а Мережковский любил философствовать: не от меня — от себя, и тут делался Кифой Мокиевичем; * употребленье им терминов — просто юмора.

Брюсов и Д. Мережковский меня не желали понять, полагая, что точка, центральная, моих теорий есть «муха», заскок, в лучшем случае лишь извиняемый ввиду неопытной молодости; эту «муху» стирал Мережковский, старался мне доказать, что она лишь препятствие в жизни в их «общине»; Брюсов доказывал, что эта «муха» препятствует моим стихам.

Мои близкие связи с Мережковским и с Брюсовым длились до 1909 года; к концу 908-го рвались нити, связывавшие с «общиной» Мережковского **, и рвались нити «Весов», иль культурного дела с В. Брюсовым; это я выразил в лекции «Настоящее и будущее русской литературы», прочитанной чуть ли не в дни семилетия с дней первых встреч: декабря этак пятого или седьмого; в той лекции я сформулировал полный расщеп между словом и делом: у Брюсова и у Мережковского[143].

Оба — присутствовали на лекции: Мережковский вставал возражать; Брюсов, кажется, нет.

Семь лет ширились ножницы между обоими; силился согласовать себя: с тем и с другим; мои ножницы после сомкнулись: вне Брюсова, вне Мережковского.

ВСТРЕЧА С МЕРЕЖКОВСКИМ И ЗИНАИДОЙ ГИППИУС

Шестого декабря, вернувшись откуда-то, я получаю бумажку; читаю: «Придите: у нас Мережковские». Мережковский по вызову князя С. Н. Трубецкого читал ре-

* Кифа Мокиевич — гоголевский тип (см. «Мертвые души») [142].

** Он хотел видеть общиной кружок «близких» ему литераторов.

ферат о Толстом; он явился с женой к Соловьевым: оформить знакомство, начавшееся перепиской[144].

Не без волнения я шел к Соловьевым; Мережковский — тогда был в зените: для некоторых он предстал русским Лютером *.

Теперь не представишь себе, как могла болтовня Мережковского выглядеть «делом»; а в 1901 году после первых собраний религиозно-философского общества заговорили тревожно в церковных кругах: Мережковские потрясают-де устои церковности; обеспокоился Победоносцев; у Льва Тихомирова только и говорили о Мережковском; находились общественники, с удовольствием потиравшие руки:

— «Да, реформации русской, по-видимому, не избежать».

В «Мире искусства», журнале, далеком от всякой церковности, только и слышалось: «Мережковские, Розанов». И в соловьевской квартире уже с год стоял гул: «Мережковские!» В наши дни невообразимо, как эта «синица» в потугах поджечь океан так могла волновать.

Гиппиус, стихи которой я знал, представляла тоже большой интерес для меня; про нее передавали сплетни; она выступала на вечере, с кисейными крыльями, громко бросая с эстрады:

Мне нужно то, чего нет на свете[145].

И уже казалось иным: декадентка взболтнула устой православия; де синодальные старцы боятся ее; даже Победоносцев, летучая мышь, имел где-то свидания с ересиархами, чтоб образумить их.

В тесной передней встречаю О. М.; ее губы сурово зажаты; глаза — растаращены; мне показала рукою на дверь кабинета:

— «Идите!»

Взглянул вопросительно, но отмахнулася:

— «Нехорошо!»

И я понял: что в Соловьевой погиб ее «миф»: что-то было в лице, в опускании глаз,— в том, как, приподымая портьеру, юркнула в нее, точно ящерка; и я — за ней. Тут

* Разумеется, эти представления оказались иллюзиями уже к 1905 году.

зажмурил глаза; из качалки — сверкало; З. Гиппиус точно оса в человеческий рост, коль не остов «пленительницы» (перо — Обри Бердслея); ком вспученных красных волос (коль распустит — до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаяся пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подвеске; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блесками пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.

Сатана же, Валерий Брюсов, всей позой рисунка, написанного Фелисьеном Ропсом, ей как бы выразил, что — ею пленился он.

И мелькнуло мне: «Ольга Михайловна: бедная!»

«Слона» — не увидел я; он — тут же сидел: в карих штаниках, в синеньком галстучке, с худеньким личиком, карей бородкой, с пробором зализанным на голове, с очень слабеньким лобиком вырезался человечек из серого кресла под ламповым, золотоватым лучом, прорезавшим кресло; меня поразил двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек; синодальный чиновник от миру неведомой церкви, на что-то обиженный; точно попал не туда, куда шел; и теперь вздувал вес себе; помесь дьячка с бюрократом; и вместе с тем — «бяшка». Это был Д. С. Мережковский!

И с ним стоял «черный дьявол», написанный Ропсом в сквозных золотых косяках, или — Брюсов; О. М., как монашенка, писанная кистью Греко, уставилась башенкой черных волос и болезненным блеском очей; сам голубоглазый хозяин, М. С. Соловьев, едва сохранял равновесие.

Я же нагнулся в лорнеточный блеск Зинаиды «Прекрасной» и взял пахнущую туберозою ручку под синими блесками спрятанных глаз; удлиненное личико, коль глядеть сбоку; и маленькое — с фасу: от вздерга под нос подбородка; совсем неправильный нос.

Мережковский подставил мне бело-зеленую щеку и пальчики; что-то в жесте было весьма оскорбительное для меня.

Я прошел в угол: сел в тень; и стал наблюдать.

Мережковский в ту пору еще не забыл статьи Владимира Соловьева о нем, напечатанной в «Мире искусства»;[146] М. С., брат философа, чуялся ему — врагом; я, как

близкий дому Соловьевых, наверное — враг; вот он и хмурился. Гиппиус, оберегая достоинства мужа, дерзила всем своим вызывающим видом (а умела быть умницей и даже — «простой»).

Понесло чужим духом: зеленых туманов Невы; Петербург — хмурый сон.

Мережковский впервые ж предстал как итог всех будущих наших встреч и хмурым и мелочным.

Сколько усилий позднее я тратил понять сердца этих «не только» писателей! Буду ж подробно описывать, как и я уверовал в их головные сердца, как пускался слагать слово «вечность» из льдинок[147], отплясывая в петербургской пурге с Философовым Дмитрием и с Карташевым Антоном. Что общего? Семинарист, правовед[148] и естественник, сын профессора!

Нет, я не помню решительно, о чем говорилось в тот вечер; бородка М. С. Соловьева высовывалась из тени и точно тщетно тщилась прожать разговор:

— «Не хотите ли чаю?»...

— «Нет»,— нараспев, пятя талию, Гиппиус; ее крест на груди стрекотал; вот в нос В. Брюсову вылетел из губы ее синий дымок; она игнорировала тяжелое напряжение, потряхивая прической ярко-лисьего цвета.

А Брюсов ей славил и бога и дьявола!

С легкостью, уподобляясь прашинке, «знаменитый» писатель, слетевши с кресла, пройдясь по ковру, стал на ковре, заложивши ручонку за спину, и вдруг с грацией выгнулся: в сторону Гиппиус:

— «Зина,— картавым, раскатистым рыком, точно с эстрады в партере,— о, как я ненавижу!»

И из папиросного дыма лениво, врастяг раздалось:

— «Ну, уж я не поверю: кого можешь ты ненавидеть?»

— «О,— хлопнувши веком, точно над бездной партерных голов,— ненавижу его, Михаила!»

Какого?

Викария *, оппонента религиозно-философских собраний.

Нет, почему «Михаил» этот выскочил здесь!

— «Я его ненавижу»,— повторил Мережковский и выпучил темные, коричневатые губы; но блеск обведенных, зеленых, холодных, огромных пустых его глаз — не пугал: ведь Афанасий Иванович дразнился, откушавши

* Позднее Михаил, став епископом, дружил с Мережковским, порвал с православием и перешел в старообрядчество.

рыжиков, перед Пульхерией Ивановной: саблю нацепит и в гусары пойдет[149].

О, синица не раз поджигала моря[150], закрывала даже Мариинский театр 9 января;[151] и пугался: де полиция явится! Так же она одно время старалась в Париже привлечь к себе внимание Жореса *, пугаясь Жореса, привлекала к изданию сборника, после которого въезд ей в Россию отрезан;[152] въехала она благополучно в Россию и забрасывала правительство из окон квартиры на Сергиевской[153] градом бомб, но — словесных.

— «Нет, вы — не общественник! А революция — есть ипостась».

— «Как, четвертая?»

От подлинной революции улепетнула: в Париж.

В тот же вечер, не зная синичьих свойств этих, и я содрогался рыканию: за... «Михаила» несчастного.

После дружили они...

Кто-то, помнится, тщился высказать что-то: про чьи-то стихи (чтобы — «ярость» погасла); став пасмурным «бяшкой», Мережковский похаживал по ковру, в карих штанишках, руки закинув за спину, как палка, прямой: двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек, пометался вдоль коврика из синей тени — на ламповый золотистый луч; и из луча — в тень, бросал блеск серых, огромных, но пустых своих глаз; вдруг он осклабился:

— «Розанов просто в восторге от песни».

И — маленькой ножкой такт отбивая, прочел неожиданно он:

Фонарики-сударики горят себе, горят;
Что видели, что слышали — о том не говорят[154].

И на нас пометался глазами: «Что?.. Страшно?..»

И сел; и сидел, нам показывал коричневые губы: пугался фонариков!

Думалось: что это продувает его? И припомнились вновь сквозняки Петербурга, дым, изморозь, самые эти «фонарики»: из-за Невы; в рое чиновников тоже чиновник — от церковочки собственной. Победоносцев синода, в котором сидели: Философов, Антон Карташев, Тата, Ната[155] и Зина,— таким был в действительности Мережковский.

---

* Мне по странной случайности судьбы пришлось знакомить Мережковских с Жоресом. Это было в Париже: в 1907 году.

— «Аскетом — веригами угомонить свои плоти пудовые,— свесилась слабая кисть, зажимавшая дамскими пальчиками темно-карее тело сигары с дымком сладковатым, как запах корицы,— плоть наша,— схватился за ручку от кресла, чтобы не взлететь в ветре голоса,— точно пушинки».

И стал арлекином, беззвучно хохочущим: видно, опять накатило.

— «Да тише ты, Дмитрий!»

Он тут же ослаб, ставши маленькой бяшкой.

Я же думал: «Какой неприятный!»

Мне все это — с места в карьер; и я обалдел от бессмысленных фраз (потому что даже не знал я начала беседы), от блеска лорнеточного Зинаиды Гиппиус, от растера хозяев, который во мне отозвался двояким растером: описываю так, как виделось, воспринималось; а виделось, воспринималось — абракадаброю.

Но тут Гиппиус, прерывая тяжкое сиденье, встала, моргая ресницами, желтыми, брысыми, личика точно кривого; за ней встал Мережковский,— удаленький и неприятный такой; очевидно, его «дьяволица» * водила на розовой ленточке при исполнении миссии очаровать сатану, чтобы в нужный миг он, спущенный с розовой ленточки, начал откалывать скоки и брыки в набитом «чертями» театре вселенной.

— «Пора и честь знать!»

Чета в сопровождении хозяйки — прошла в переднюю; черный дьявол, Валерий,— за ними.

М. С. Соловьев, нос повеся, в дымках нас оглядывал: с юмором вышмыгнула из передней О. М.; подняла на меня напряженные очи:

— «Что?»

Губы дрожали.

— «Сомнения нет никакого»,— сказал Соловьев, стряхнув пепел в массивную пепельницу; и пошел открыть форточку: выветрить запах сигары.

ПРОФЕССОРА, ДЕКАДЕНТЫ

А на другой день Д. С. Мережковский читал в Психологическом обществе, в зале правления университета, которая окнами полуовальной стены закругляется на Мохо-

* «Белая дьяволица» — выражение из романа Мережковского [156].

вую; в этой комнате я отсидел год назад реферат «Математика и научно-философское мировоззрение»;[157] странно мне было увидеть в почтенном сем месте прически а-ля Боттичелли средь роя седин и мастито лоснящихся лысин; вот — старый Лопатин, Лев, князь Сергей Трубецкой; а вот — быстрый Рачинский, угрюмый Бугаев; вот — канцлер традиций, весь седенький: доктор Петровский; вот — окаменелость: профессор Огнев; как, как,— Иловайский? Матрона багровая загородила его: не уверен; и тут же — как странно их видеть: Сергей Поляков, Балтрушайтис и Брюсов; и юноши дерзкого вида средь тихих магистриков, просто студентов, при профессорах.

В. Я. Брюсов, взяв под руку, меня ведет к сестре своей, Надежде Яковлевне; она пырскает молодо глазом; маленькая, большелобая, сухо-живая; она — точно ящерка; рядом с нею я сел; она — шепчет мне:

— «Скажите, а кто этот свирепого вида профессор?»

— «Отец!»

— «Ах!» — сконфуженно вспыхивает[158].

Мой отец — оппонент неизменный — сутуло засел за свирепые торчи усов; и горбатою грудью сорочки отчаянно щелкает в споре, потявкивает, как большой цепной псище.

В дверях,— точно палочка: черная талия Зинаиды Гиппиус; сыплется в лысины острый лорнеточный блеск; обалдел входящий Мережковский, проваливаясь у нее за плечами и выглядывая из-за плечей и хлопая пусто-сквозными глазами; он ей — по плечо; князь Сергей Трубецкой приближается к ним; рядом с «крошкой»-писателем кажется как на ходулях: худой, сухой, длинный; с верблюжьей, протянутой шеей, ведет Мережковского; вот уже у стола они; вот Мережковский стоит под микиткой его, подпирая ручонку в бочок; Трубецкой, опустив волосатые длинные руки, с надменством согнулся под ухо; и что-то твердит, объясняя: он здесь председательствует; вот уж все сели; профессора губами жуют, протягиваясь за бумагой, за карандашами; Лопатин пропятился из-за плеча под зеленым сукном, точно леший из чащи, мотаясь заранее злыми глазенками и выдаваясь губой,— красной, нижней: почти на вершок из усов; и над головой, точно скифское идолище, каменеет безруко профессор Огнев; что за достойная мумия, великолепная и седо-серая, выщербленная в спинке кресла? Владимир Иваныч Герье.

Но — звонок; Мережковский, посаженный в центр, ниже всех, как мертвец, потемневший от всосов почти до

скул зарастающих щек, с перепугу картаво завякал коленчатою загогулиной фразы, составленной из друг друга пронизывающих придаточных лишь предложений, весьма нарумяненных и набеленных: кричащей метафорой; и даже я за него потрясен: можно ль, идя сюда, приготовить такую штуковину? Рукопись, верно,— для «Мира искусства»; расписанная киноварями риторических великолепий, пленила бы она «дидаскалоса» [159] времен Юлиана отсутствием понятий; и — букетом метафор; одни импрессии: второе пришествие-де уже близко (у старцев подпрыгнули плечи, подпрыгнули даже очки на носах); наша интеллигенция-де своего «да» не имеет еще (старцы прянули стадом седастых козлов); «плоть»-де Толстого — свята («хе-хе-хе» — и шепот анекдотов про Софью Андреевну седыми усами под уши: друг другу); а бледный «барашек», глаза уронив в свою рукопись, бледно оскалясь с искусственным рыком, под «левика», чуть ли не плача, не может все кончить коленчатой фразы; наконец — кончил; и хлопает оком: на матрону багровую; эта матрона — опаснее мужа! Синклит закусивших губы строчит возраженья свои: «контрадикцио» [160] или — «петицио»; * превосходен стиль реферата, но им красоваться в сем месте — Рафаэля подставить: под гиппопотамову морду; и — фырк; мне, ценителю стиля, и жутко и грустно: все ж — жалкая схемочка! И гимназист не осмелится: ей разразиться; и все мы — я, В. Брюсов, мадам Образцова, мясистая дама-модерн, в перерыве не говорим о случившемся.

Мережковский среди гробового молчания, отойдя к жене, лишь для вида — ручку свою под бочок: всеми брошенный,— силится он провеселеть; а кругом раздается:

— «Вы поняли?»

— «Нет».

— «Я — ни слова!»

Сергей Трубецкой переносит головку над всеми сединами, ею вертя, как верблюд средь пустыни, ища оппонентов: их — нет; никому не охотно запреть о «собаке», когда, может быть, она — «лев»; загрызение — тоже реклама; и кроме всего: бить лежачего, выписав из Петербурга его,— просто даже — смешно: Мережковским подвел Трубецкого М. С. Соловьев, Трубецкой — подвел общество; этот скандал заминаем молчанием (старцы горазды в искусстве замина); о главном, конечно, ни слова; а о мелочах — можно.

---

* Термины логических ошибок.

И выпускают отца; он — смелее; не спец в философии он; он ценитель романов Д. С.; уцепившись за замечанье о том, что у интеллигенции есть только *«нет»*, а не *«да»*, прибодрясь, точно на коня, он сияет, рукой, головою показывая перед собою висящие в воздухе «да»: пункт, подпункт,— довод «а», довод «b», довод «с»; и окидывает нас довольными глазками; он — убедит Мережковского! Тот только хлопает оком, не слушая, видно, и не понимая: его нагота все ж любезно прикрыта отцом, ничего не понявшим; и вот Мережковский, осклабясь, рыкает отцу, отца не поняв: де отцу, убежденному позитивисту (вздор!), материалисту (вздор!), вовсе не виден мир нуменов (нумен — понятие; видеть нельзя его!); мой же отец, ничего не поняв в новой ерунде, где и Кант видит нумены, где и Молешотт смешан с Миллем, ему не перечит, поглаживая бороду и с любопытством разглядывая сей курьез, поднесший белиберду эту; совершив свою миссию, отец успокоился.

Далее — хуже: внезапно восстал над зеленым столом сам Владимир Иваныч Герье, как мертвец «Страшной мести» из гроба; брезгливый, прямой, оскорбленный и бледный — пускается плакать в свою седоватую бороду, перечисляя все промахи против истории в сей *«меледе»*, именуемой странно — «Научный доклад»! Как Рамзес, из стеклянного гроба глядящий в Булакском музее[161], поплакав в свою седоватую бороду, он опускается в свой саркофаг: умирает на тризне печальной; вскочил, ставя руки костяшками длинных своих волосатых пальцев на стол, князь Сергей Трубецкой (силуэтом — верблюд, фасом — пес); начинает с картавым надменством, с убийственным,— с княжеским,— сухо цедить:

— «Вы сказали, а... сказано тут: между тем...»

Что «белиберда» — князь не сказал; но движенье плечей, поворот головы, то к Герье, то к Лопатину, явно кричали:

«Вы видите — что?»

И Лопатин, взусатясь, запрыгал овечьими глазками; и с перетером ручоночек, маленьких, точно у девочки, что-то рокочет; и бороду старого лешего тычет под чье-то ушное отверстие; и слышится:

— «Хо!..»

Он, как мне потом передали, все кому-то шептал, тыча бороду в сторону Гиппиус:

— «Хо-хо... хорошенькая!..»

А выступать наотрез отказался: «князь» — малый ребенок, что выступил; старый леший Лопатин себя не уни-

зит до спора; вместо него встал чернобородый какой-то; про что-то свое говорил.

— «Кто?»

— «Шарапов, Сергей!»

Издавал журнал «Пахарь»; последняя жердь от традиций Самарина[162].

Был-таки, был Иловайский, развалина дряхлая, или блондин в парике (кудерьками, колечками); он, говорят, щелкал только мазурками по паркетам в те годы, впав в детство,— на журфиксах своих, а не «Историями» — древней, средней и новой;[163] и тоже престранный листок издавал: под названием «Кремль»[164].

Все!

Писатель стоял, окруженный «своими», и хлопал глазами растерянно, отколовши скоки и брыки под черной вселенной Коперника,— не перед этими старцами; о, о,— багровые ужасы пучились в шеях багрового вида матрон; и как свеклы всходили у них на щеках; реферат — не провал, а — похуже; стилистически статья бы прекрасна была,— напечатай ее в декадентском журнале; только чтенье ее в университете — нелепость во всех отношениях; идя в это общество, он бы мог фиговый вывесить листик: понятие; хоть бы для виду прикрыл неприлично пропученную напоказ, налитую соками метафору; мог не читать — рассказать языком, всем понятным; читать же стилистику этого рода — романсик «Уймитесь, волнения страсти» [165] пропеть, чтобы страсть разбудить в груди плаксы Герье, вынимая ее из постели повесткой: «Научный доклад!»

О, на вечер дуэтов (сопрано — Оленина-д'Альгейм, баритон — Мережковский) Герье бы охотно пошел; но не тащат д'Альгейм — в зал правления университета.

И было обидно.

— «Ведь вот недотяпа!»

И давнишнее неприятное впечатление от Мережковского, злого и хмурого, смылось другим:

«Прост до ужаса, коли полез, как куренок, во рты пожирал схоластических тонкостей!»

И пробудилась симпатия: сквозь антипатию.

Утром узнал продолжение вечера: от Соловьева, М. С.: «старцы», общий конфуз обсудив, порешили забыть реферат, чтобы как романиста «honoris causa» [166] Д. С. предложить в члены Общества; даже они — захотели: поужинать с ним.

Соловьев фыркнул в руки,— из тальмы:

— «Ну вечер же... Неописуемое... Вы и представить не можете; уж и не знаю, как вылетел с ужина я, не увидав конца!»

— «Что же было?»

М. С. принялся мне описывать в лицах: я передаю итог слов.

Были: князь Трубецкой, Лев Лопатин, Рачинский, отец, кто еще — не упомнил; Д. С. Мережковский с своей стороны пригласил: В. Я. Брюсова и «скорпионов»; на ужин явился поклонник писателя, Скрябин; едва они сели за стол, начались инциденты: сперва — с Трубецким; он, сев рядом с писателем, со снисходительно-непереносным, сухим любопытством пустился ощупывать «зверя», и — слышалось:

— «Вы говогите, а...»

Д. Мережковский, «простая душа», тут же пойманный в сеть паука философского, мухой подергавшись,— бацнул в лицо Трубецкому, доверчиво склабясь, как будто ему собираясь поведать приятную новость:

— «Вам, как человеку вчерашнего дня, не дано понимать это!»

— «Как?.. Но позвольте,— пришел в ярость «князь»,— на каком основании? Мы одного ж поколенья с вами!»

Д. С., вдруг расклабясь, резиновою дугою на Брюсова, руки бросая к нему, как ребенок, просящийся на руки, с легкостью, уподобляясь пушинке, взвеваемой в воздух, забыв, что в его ж построении Брюсов — труха, им сжигаемая для пожара вселенной, с восторгом прорявкал:

— «Вот, вот — кто о будущем!»

Сказано; с воплем поставлено старцам под нос: старцы побагровели, а «князь» стал зеленый, увидев не фигу под носом своим — декадента: с таким мефистофельским профилем!

Он был сражен: «декадента» просил читать; и случился скандал номер два, когда Брюсов поднялся: и — руки по швам — с дикой нежностью проворковал:

Приходи путем знакомым
Разломать тяжелым ломом
Склепа кованую дверь:
Смерти таинство — проверь [167].

Мертвеца изнасиловав (таков сюжет стихотворения), сел, с невиннейшим видом потупив глаза.

Чувство, всех задушившее,— было ужасно: Лопатин обдал своим шипом, как паром, пускаемым паровиком на дрожащий, взволнованный стол:

— «Он — бездарность махровая!»

Из тишины разорвался надтреснутый вывизг отца:

— «За такие деяния — знаете что? Да — Сибирь-с!»

В пику Брюсову, тут же отец заявил, что и он — стихи пишет: да-с, да-с! В пику Брюсову — с ревом восторга просили отца: прочитать; в пику Брюсову — с ревом восторга ему выражали восторги; отец раздовольный (поэта за пояс заткнул), подобрев, стал громчайше описывать шутки из жизни чертей (из программы своих каламбуров); тут каждый принялся кричать про свое. Лев Лопатин же дернул за Гиппиус, как холостяк — за хорошенькой горничной.

— «Что было дальше,— не знаю,— закончил М. С. Соловьев,— я сбежал!»

Вечер — разъединил еще более: и Мережковского забаллотировали; о Гиппиус вспыхнули рои легенд; репутация Брюсова как скандалиста ствердилась: в гранит.

Числа эдак девятого я, забежав к Соловьевым в обычный свой час, встретил Гиппиус; и — поразился иной ее статью; она, точно чувствуя, что не понравилась, с женским инстинктом понравиться, перетодилась; и думал:

«Простая, немного шутливая умница; где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу?»

Посетительница, в черной юбке и в простенькой кофточке (белая с черною клеткой), с крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье, с лорнеткой, уже не писавшей по воздуху дуг и не падавшей в обморок в юбку, сидела просто; и розовый цвет лица,— не напудр,— выступал на щеках; улыбалась живо, стараясь понравиться; и, вероятно в угоду хозяйке, была со мной ласкова; даже: держалась ровней, как конфузливая гимназистка из дальней провинции, но много читавшая, думавшая где-то в дальнем углу; и теперь, «своих» встретив, делилась умом и живой наблюдательностью; такой *стиль* был больше к лицу ей, чем стиль *«сатанессы»*. Поздней, разглядевши З. Н., постоянно наталкивался на этот другой ее облик: облик робевшей гимназистки.

И Соловьева оттаяла; хмурь,— та, с которой молчала о Гиппиус, точно рассеялась; но вскоре — усилилась хмурь.

Я прочел поэтессе стихи А. А. Блока, еще неизвестного ей; З. Н. губы скривила, сказав что-то вроде:

— «Как можно увлечься таким декадентством? Писать так стихи — старомодно; туманы и прочая добролюбовщина * — давно изжиты».

На стихи Блока она реагировала совершенно обратно: через года три;[168] и произошли неприятности с С. Н. Булгаковым, *забраковавшим* статью.

Высокая оценка Блока культивировалась в 1901 году только в нашем кружке **.

Мы просили З. Н. прочитать нам стихи; и прочла:

Единый раз вскипает пеной,
И разбивается волна:
Не может сердце жить изменой,
Любовь — одна: как жизнь — одна![169]

В ее чтеньи звучала интимность; читала же — тихо, чуть-чуть нараспев, закрывая ресницы и не подавая, как Брюсов, метафор нам, наоборот,— уводя их в глубь сердца, как бы заставляя следовать в тихую келью свою, где — задумчиво, строго.

То все поразило меня; провожал я в переднюю Гиппиус, точно сестру,— но не смел в том признаться себе, чтобы не изменить своим «принципам»; и, держа шубу, я думал: она исчезает во мглу неизвестности; будут оттуда бить слухи нелепые о «дьяволице», которая, нет,— не пленяла; расположила же — розовая и робевшая *«девочка»*.

С этой поры я внимательно вчитываюсь в ее строчки; и после А. Блока сильно на них реагирую: символистами умалена роль поэзии Гиппиус: для начала века; разумею не идеологию, а стихотворную технику; ведь многие размеры Блока эпохи «Нечаянной радости» ведут происхождение от ранних стихов Гиппиус.

Я ПОЛОНЕН

Мережковские тут же уехали; у Соловьевых молчали о них; я считал себя в стане врагов их; но я отклонял обвиненья в раденьях.

И вот: сформулировав в тезисах свое «нет» Мережковскому, тезисы эти прочел Соловьевым; они согласилися

* Она разумела стихи Александра Добролюбова, декадента, ставшего главарем секты.

** Напоминаю: в 1901 году никакого Блока как поэта не существовало еще; был юноша «Саша Блок», родственник моих друзей; и его-то мы, как еще никому не известного поэта, и пропагандировали, кому могли.

с ними; тогда я решил превратить их в письмо к Мережковскому: пусть он ответит: в печати; под ним подписался: *«студент»;* и — отправил.

Через несколько дней присылают за мной; лечу вниз, меня встретила Ольга Михайловна:

— «Письмо — от Гиппиус!»

Гиппиус просит О. М. раскрыть ей «псевдоним» — письма, ими полученного: моего: автор-де из кружка Соловьевых,— и, конечно же, «Боря Бугаев», ругающий-де их в Москве (Поликсена, наверно, насплетничала); письмо — первый-де ответ на вопрос, ими ставимый обществу: Д. С.— взволнован-де; Розанов-де счел письмо «гениальным»; они же не выскажутся: до свидания с автором; оно должно состояться на лекции: Д. С. читает в Москве; пусть же автор зайдет после лекции: в лекторскую [170].

Был я взволнован согласием на возраженье: в сущности, я написал на жаргоне тогдашних «Симфоний» моих, не подозревая, что именно этот жаргон и понравится, а возражение, написанное на «жаргоне», проглотится; так что: меня пугал разговор; Соловьева его представляла готовящимся ратоборством «Зигфрида» с ужасной змеей, в результате которого «Боренькой-Зигфридом» глава змеи — будет стерта; так кончится спор, начатый Соловьевым с Василием Розановым; Мережковский, иль — «детище» Розанова, будет-де «Борей», их «детищем»,— бит.

В этой гипертрофии меня изживалась болезнь, подступающая уже к Ольге Михайловне; «Зигфридом» не ощущал я себя; Мережковского не ощущал я «змеей»; фальшивейшее положение не сознавалось Ольгой Михайловной, которая мое возражение поворачивала на возражение от... Владимира Соловьева; тут сказывалась меня все более мучившая, скажу прямо, неподготовленность Соловьевых понимать меня в наиболее одушевлявших стремлениях; уже естественнонаучные интересы находили мало в них отклика; скоро потом: выявленные несогласия с Соловьевыми и оговорки, делаемые Владимиру Соловьеву, воспринимали они как оговорки «от Мережковского»; и никто уже ничего не хотел понимать, когда я проповедовал четверོякий анализ явления,— каждого: как простой данности факта иль тезы, как выщепленного из него отвлечения, или понятия, являющего с фактом двойцу, как идентичности факта — понятию, понятия факту (триадность) и как, наконец, проницания факта понятием, факт перестраивающим.

Я в первом разгляде выглядел студентом-естественником, не без тенденции к механицизму; во втором разгляде я определял себя как методолога-формалиста; в третьем приеме подхода к фактам я выглядел для себя самого синтетиком, но в трех этих гранях я чувствовал себя тесно; в четвертой и был символистом *.

Моя авантюра с письмом к Мережковскому до такой степени переволновала меня, что я, разумеется, перенес ее и в химическую лабораторию, где работал я и два будущие «аргонавта». Петровский, Печковский и я, то и дело бросая приборы, друг к другу шли и, перекинув прожженные полотенца через плечо, обсуждали с волнением мои тезисы возражения Мережковскому; удивлялся шнырявший Крапивин (вероятно, рос счет битых склянок); юморист же С. Л. Иванов являлся, болтая заткнутою пальцем колбою; и вдруг, отомкнувши ее, совал ее в нос мне:

— «Чем пахнет?»

— «Сероводородом».

— «Ага!» — угрожающе он говорил; и шел прочь.

Этот жест предостережения значил: «Смотри — заврешься»; но я, не внимая, кипел; опыт молодости и крик доказыванья, с резолюцией на него все равно чьей,— Мережковского, отца, Соловьевых, Петровского, С. Л. Иванова:

— «Мало понятно!»

Малопонятность — не только от перегруженности моего словаря терминами, но и от постоянного стремления, изучив технический жаргон того, что стояло в поле внимания, упражняться в нем, независимо от согласия или несогласия с мыслью; я устраивал семинарии по изучаемому предмету, выбирая слушателей, чтобы говорить не им, а себе самому.

Сознавал: происходит несносная путаница, в результате которой возникнет лишь бо́льшая: в случае близости, как и вражды с Мережковскими;[171] это меня угнетало.

Доклад Мережковского, кажется «Гоголь», прочитан был им в феврале 902;[172] я с чувством «быть худу» отправился на него с А. С. Петровским; Соловьева, взволнованная, прилетела в «Славянский базар» к Мережковским; присутствовавший при свидании Брюсов записывает, что

---

* Напоминаю: речь идет о прошлом, которому давность 31 год; я привожу эти мысли как образец витиеватости моего тогдашнего жаргона.

«пришла... Соловьева»; «она была немного больна и напала на Дм. Серг. яростно: «Вы притворяетесь, что вам есть еще что-то сказать. Но вам сказать нечего. У кого действительно болит, тот не станет говорить так много» *.

Она, пригласив Мережковских, С. А. Полякова, Ю. К. Балтрушайтиса, Брюсова,— вдруг отменила свиданье, сказавшись больной; это было — разрывом: с Мережковским; не высидев лекции, она — уехала; передавали, что Гиппиус, сидя лицом к многочисленной аудитории (амфитеатром), с ботинок сияющей пряжкой своею лучи наводила: на лбы и носы.

Мы с Петровским сидели в четвертом иль пятом ряду Исторического музея, волнуясь мне предстоящим заходом к Д. С. Мережковскому: в лекторскую; вижу: Брюсов ведет на меня невысокого, одутловатого, голубоглазого, бледного очень блондина, лет средних:

— «Борис Николаевич,— прошу покорнейше вечером, завтра — ко мне: Мережковские будут... Позвольте,— он мне показал на блондина,— редактор журнала «Новый путь» Петр Петрович...»

Блондин перебил его:

— «Перцов»,— и руку мне подал с приветливо-добрым нахмуром, сказав глуховатым, невнятно лопочущим голосом:

— «Просьба к вам: вы разрешите печатать отрывки письма к Мережковскому,— вашего, в нашем журнале... Об этом потом перемолвимся... Дмитрий Сергеич вас ждет: в перерыве...»

Петровский заметил ехидно:

— «Попались!»

— «Ох — в пятках душа!»

— «Коли груздем назвались, пожалуйте в кузов».

Я лекции так и не выслушал; сердце стучало: ну, как я войду, что скажу?

Перерыв: плески аплодисментов; и я потащился, как на эшафот, переталкиваясь средь плечей и локтей; еле лекторскую отыскал; стал под дверью, войти не решаясь; и ждал: кто пройдет, чтоб за ним проюркнуть; никого; наконец — я решился: толкнулся; дверь с легкостью необычайной распахнулась — в лоб Мережковскому.

— «Зина, вот он»,— раздалось.

Мережковский сидел, очень маленький, ноги расставив, на стуле, платком отирая испарину, другую руку повесил

---

* Брюсов. «Дневники», стр. 118 [173].

на спинку; свисала изящная, маленькая кисть руки, точно дамская.

Перегибаясь вперед, точно жердь помавающая, ручку слабую не дотянул, не вставая со стула,— такой изможденный и точно расплавленный лекцией; множество мелких морщинок изрезали кожу лица.

— «Вы после лекции к нам заезжайте, в «Славянский базар»; будут наши друзья; о дальнейшем условимся; будете завтра у Брюсова?»

— «Буду».

Испуганно стал отговариваться:

— «Тут приятель мой...»

— «Вы приводите приятеля».

Бросив меня, Мережковский себя по коленке захлопал, уставился в Гиппиус; и ей кивком — на меня:

— «Зина, стыдно!.. Такой молодой он! А мы-то?»

Я же — стремглав: вон из лекторской.

— «Едете?» — я обратился к Петровскому, очень надеясь, что он не поедет (и — я).

— «Едем, едем!»

Предлог улизнуть — ускользал.

Вот и давка разъезда; Петровский, мой якорь спасения,— куда-то исчез; осенило:

«Не еду один!»

Подколесин сбежавший[174],— бежал разговора: ведь завтра же встречусь: на людях, у Брюсова!

А. С. Петровский, меня потерявши, поехал один; на другой день рассказывал об этом чае с каким-то Алехиным, бывшим сектантом: Д. С. с ним носился:

— «Жалели, что не было вас, удивлялись... Представьте-ка: Гиппиус мне протянула бокал, чтобы чокнуться: «За конец мира!» Ну, я ей ответил, что я отвергаю подобные тосты... И главное: я не взял денег, а подали счет».

— «Ну?»

— «Я занял у Брюсова».

Чувствовал, как поднимался во мне этот страх: разговор предстоял-таки; «Зигфрид», придуманный Ольгой Михайловной и аттестованный Розановым, ощутил себя «Боренькой» глупым.

И помню, как я должен был объяснить отцу, что у меня завязалось знакомство с Мережковским.

— «Я, Боренька, не понимаю, собственно говоря,— почему»,— произнес он со страхом; и тут же себя оборвал и награнивал по столу пальцами:

— «Да-с... Писатель... Пишет... Ох-хо-с...»

И пошел от меня.

Со страхом отправился я к Брюсову.

Там произошел новый номер: Д. С. Мережковский — центр вечера; Брюсов и гости обстали его (из гостей помню Минцлову); он, ставши хмуриком, не отзывался; меня взявши под руку, к столу повел, рядом сел, не повертывая головы на меня; все исчезло — стол, Брюсов; в тумане — глаза из лорнетки: не Гиппиус — Минцловой! Влипла. Мы, сидя вполуоборот, глядя в пересеченье прямых, произведенных от наших носов, ткнулись в точку расстеленной скатерти.

Д. С. забрасывал роем вопросов; и после молчал; формулировал мне он мои же вопросы, придав им свой стиль, свою лепку, в которой силен был; но кружево мыслей моих, в его новой редакции, огрубевая, рождало рельеф; так он, перелепив мой вопрос в свой фасон, подавал свой ответ: на фасон его собственный; мысль оставалась, но смысл в ней менялся; и я ему ставил вторично вопросы: по-моему,— не по-его: разговор протекал в специальном жаргоне, которым владел, проштудировав Розанова и раскрасив его моей палитрой схем, моих красочных уподоблений; Д. С. же внимал с напряжением; как сел за стол, так остался, не переменив своей позы: в полуобороте видел ухо, растительность (почти до скул), нос, меня поразивший размерами, странной неправильностью, вздерг затылка, являющего продолженье спины, зализь жидкой прически, пробор очень чистенький; глаз я не видел, вперяяся в пересеченье перпендикуляров от наших носов — в кусок скатерти; точно играли в невидимые шахматы: сделавши ход, ожидали подолгу ответного хода, обдумывая положенье: невидных фигурочек.

Так протекал разговор; он — единственный в своем роде; в нем Мережковский прослушал меня, поняв порами кожи, а не разуменьем, явивши искусство больших игроков, ставя мат мне в три хода своим доказательством на специальном наречии, мне отвечающем: все возраженья мои — диалектика мысли, его же де!

Я еще не знал обычного его приема спорить: там именно, где вы с ним не согласны, он подменяет вопрос о согласии или несогласии вопросом о действии и созерцании:

— «Может быть, вы и правы, а мы не правы, но вы — в созерцании, а мы — убогие, слабые, хилые — в действии; вы — богаты, мы — бедны, вы — сильны, мы — слабы».

Стоишь оболваненный: слушаешь:

— «Но в немощи нашей создается наша сила; мы —

вместе, а вы — одни, мы ничего не знаем, а вы все знаете, мы готовы даже отказаться от своих мыслей, а вы — непреклонны».

Сконфуженный, начинаешь отнекиваться:

— «Помилуйте, я и сам отнекиваюсь».

И тут, обойдя, поднимает он рык:

— «Так идите, учите нас».

— «Просто не знаешь, что делать,— юморизировал позднее Бердяев: — они обволакивают!»

Так и меня обволок-таки в тот незапамятный вечер. Да, да,—«партию» я проиграл: этот проигрыш — плен мой в годах; плен — в том, что я мог бы де их переучивать.

Было странно сиденье писателя маленького, с длинным носом, вперенного в скатерть, с юнцом, тоже в скатерть вперенным; сей стиль был несвойственен здесь; неприлично писателю на званом вечере ставить гостям хмурый профиль свой; и неприлично юнцу непрославленному («Что ты, Боренька?») так отнимать «именитого» гостя у общества; я упустил простой факт, что я — притча уже «во языцех»:

— «Смотрите-ка: Брюсов ухаживает!»

— «Мережковский лишь с ним говорит!»[175]

Через два с половиной месяца вышла «Симфония», и объяснилося — все.

Разговор прервал Брюсов, косившийся явно; он высадил из разговора меня, подав хмурого гостя гостям; зачитали стихи: З. Н. Гиппиус и Балтрушайтис; прочел В. Я. Брюсов впервые:

И лестница все круче,
Все круче, круче всход![176]

Мережковский читать свое отказался: прочел Тютчева; вдруг он осклабился строчкой последней, со странной любезностью выгнулся, схватываясь за коленку; строка прозвучала по-новому от потрясающей простоты интонации:

Вот почему нам ночь страшна![177]

— «А?» — он рыканул, приглашая дивиться: осклабом лица.

Между прочим:[178] хвалил стихи Брюсова.

Мы с ним условились: завтра приду я в «Славянский базар», чтобы договориться: втроем; для других они будут невидимы[179].

Не возвращался — летел как на крыльях, ликуя, что вышел союз с Мережковским, и не понимая, что партия —

бита, что — мат и что — пленник на годы! Смущало: что скажет О. М.?

На другой день я к ней забегал; отправляла меня к Мережковским все с тем же упорством; зачем этот аллегорический меч?

Я же шел договариваться, а не биться.

Но точно меня опоясала им.

ХМУРЫЕ ЛЮДИ

Результат договора ударил как громом: О. М. бы сказала: «пакт с дьяволом!»

Комната в «Славянском базаре» — в кирпично-коричневом тоне: в таком, как обертки всех книг Мережковского; мебель — коричневая; Мережковский связался с коричневым цветом — обой, пиджака, бороды и оберток томов; фон квартиры, что в доме Мурузи[180],— такой же; обои, и мебель, и шторы — вплоть до атмосферы, которую распространяла она; и та — коричневая; очень часто я в ней ощущал сладковатые припахи, точно корицы, подобные запахам пряных бумажек; и припах корицы мне нос щекотал; я сразу же обратил внимание на специфическую атмосферу, поздней столь известную мне; атмосфера висела, как облако дыма курительного. Куда б ни являлись они,— возникала: в Петербурге, в «Славянском базаре», в Париже и в Суйде, где жили на даче они и где я у них был[181].

А на уличном свете она становилась точно туман, и лицо Мережковского казалось в тумане зеленым; вне дома, теряясь, терял он: подозревал, что шушукаются, что обстание всякое — враждебно ему; вне дома он умел иногда брать приступом целые аудитории, вдруг разоравшись; а в гостях он просто боялся и иногда говорил совершенные глупости; дома — он в туфельках шмякал; и, точно цветок на заре, раскрывался в курительном облаке,— под абажуриком; а вот выйдет, бывало, на Невский; смотришь — не тот: зеленее зеленого; глаза — в провалах; как тени от облака, злого, холодного,— перебегали по нем; в квартире же повиснувшая атмосфера его точно ширилась; делалась — золото-карей, немного пожухлой, немного потухшею.

Пахло корицами.

В гостях маленький, постно-сухой человечек с лицом как в зеленых тенях и с кругами вокруг глаз,— многим он напоминал проходимца.

И даже: казался он глуп.

Лишь в присутствии близких импрессия эта менялась: и то, что казалось извне подозрительным, выглядело как пленительное; Мережковский казался своим.

Отдались,— все менялось!

Поздней я не верил — ни в хмурь, ни в пленительность; морок пустой; глупо дуться на то, что из пальца, насыщенного электричеством, искрой уколет: булавок тут нет никаких!

«Электричество» — тот особый, пленяющий с непривычки «шарм», которым они обволакивали того, кто им вдруг начинал казаться нужным; и тут — невнимательные — они делались — само внимание; это внимание, соединение силы (муж, жена, Философов),— они направляли на старцев, дам, девочек, юношей и старушек; кого-кого в свое время не пленили они на час: старика-миллионера Хлудова, Бердяева, Волжского, еще гимназисточку, Мариэтту Шагинян[182], Борю Бугаева, анархиста Александрова; ведь пленили же... Савинкова!

Многократно встречался с людьми, пережившими фазы колючек и шарма.

Д. С. и З. Н., точно круксовы трубки, из хладных стекляшек, простым поворотом каких-то винтов начинали в интимной среде точно фосфоресцировать.

Мне Мережковский, пленяющий, напоминает портрет Леонардо осклабом смешков, пуком глаз, лаской жестов, каких-то двузначных, картавыми рыками; сидя в коричневом кресле, полуразвалясь на него, упав корпусом в локоть, как бы казался порой прозаренным лучами осеннего, мглистого солнца и белою женщиной с ярко-сапфировым глазом, метаемым как из-за красных лисичьих хвостов: волос; так чету Мережковских сработал бы, думаю я, Леонардо да Винчи, назвав свой портрет[183] «Улов рыбы».

Опять-таки — Бердяев был прав:

— «Спорить нельзя: протестуете,— Дмитрий Сергеич зарыкает на вас: «Прекрасно, вы не критикуйте, а нам помогайте: вы — наш, а мы — ваши!» Оказываешься с своим *«против»* — внутри кружковой атмосферы их».

И это же высказал раз В. В. Розанов, зайдя в гостиную к ним:

— «У вас духом особым несет: что вы делаете, оставаясь одни?»

Разумел — то же самое: стиль коллективного шарма, в который З. Н. приносила ум[184] и хитрую ласку;

Д. С. приносил свою хмурь, тень Рембрандта, напуг, выпук глаз, всосы щек, что-то постное в поступи.

«Рыбе», ловимой в сетях рыже-красных волос, из которых сиял этот «сестринский» вид, говорящий о том, «чего нет»,— начинало казаться: в сетях атмосферы укрыто, что завтра откроется!

Не открывалось. Мелочные люди замыслили общину, в недрах которой зажжется огонь: всей вселенной!

Не вспыхивал!

И завлеченная «рыба»,— Антон Карташев, Философов,— за полным отсутствием дела «четой» отсылались в газеты: устраивать вспыхи бумаги.

Не вспыхивала публицистика слабая!..

Бедная Ольга Михайловна, перепугавшаяся там каких-то радений: пристойная община! Бедный Д. С., сколько шепотов он возбуждал! Не намерен его защищать: в светской жизни они были мелочны; лучшее приберегали для общины.

Участь «своих», посылаемых за неимением религиозного дела в газеты,— остаться в газете; и даже в газетной общественности: позабыть свою «миссию».

На атмосферу ловился и я с того мига, как дверь отворил в номер, занятый ими в «Славянском базаре»: в сквозном рыже-красном луче из окна, озарявшем коричнево-серое кресло и карюю пару писателя, маленького, раздалось из-за взрыва сигарного дыма рыканье картавое.

Пахло корицами.

Стиль всей беседы:

— «Вы — наши, мы — ваши!»

Расплыв черт лица, зараставшего почти до скул волосами, белейшие зубы, оскаленные из коричнево-красных разорванных губ, эти легкие, плавные, точно тигриные жесты, с которыми Д. С. усаживал, рядом садясь,— взволновали меня; в незакрытой двери — видел: Гиппиус тихо прошла белой талией, почти невидной в распущенных, золото-розовых космах: до пят; через пять минут вышла, сколов кое-как свои космы: дымок, восклицанья отрывистые:

— «Дмитрий, ты понимаешь его?»

После открылось уже, что сердца — в голове, что в груди вместо сердца — оскаленный череп, что в эти минуты они, как пылинки,— на ветре идей; ветер — северный, дующий с озера Ладожского, переверты пылей поднимающий; в выспри взлетев, остывали они столь же искренне, сколь закипали, чтоб жизнь прокрутить на холод-

ных проспектах холодного города: преть, планы мыслить,— журналов, газет,— с Богучарскими, со Струве, Базаровыми, с Вильковысскими и даже... с Румановыми, точно с близкими; и рассыпать даже эти проекты: пылями проспектными.

Я же поверил, что я — полноправный, что я — нареченный Д. С. *«младший брат»,* когда слушал:

— «Вы — близкий; мы вас оставляем здесь, как в стане врагов; верьте нам, не забудьте; не слушайте сплетен!»

В решительный миг под писателем кресло сломалось: он с креслом упал; поднимаясь, счищая с коленок соринки, осклабился, вспомнив, что так упал Розанов прямо под кафедрою Соловьева, читавшего «Три разговора»[185].

Прощаясь, мы обнялись и условились: будем друг другу писать; я дал адрес химической лаборатории; было удобнее так.

Но звонясь к Соловьевым (я дал обещанье О. М. рассказать о свидании), был не в себе еще, точно клочок атмосферы, как легкий дымок папиросный, пристал к волосинкам тужурки, отвеиваясь и дымясь вокруг меня.

Дверь открыла О. М.:

— «Ну,— и что?»

Но, увидев меня улыбавшимся, только махнула; и — бросила:

— «Вижу: пропала Катюша!»

Какая такая?

Но, перевернувшись, О. М. пошла — прочь, ни о чем не спросив; я — поплелся домой.

ИЗ ТЕНИ В ТЕНЬ

Впечатлением от встречи с Мережковскими я ни с кем не делился, как тайной, и ждал их отклика из Петербурга; и он появился; скоро швейцар мне подал в лабораторию темно-синий конверт; разрываю: в нем — красный конверт, его разрываю: в нем белый, с запискою, несколько слов: лишь — «ау» — в стан «врагов».

Началась оживленнейшая моя переписка с Зинаидою Гиппиус;[186] изредка и Мережковский писал мне.

Оба звали меня в Петербург[187], но я не поехал уже: «Симфония» Андрея Белого вышла; я делал усилия, чтобы сохранить псевдоним; мать с отцом поехали в Питер: в конце апреля.

В начале мая вернувшись в Москву, мать спросила меня с удивлением:

— «Ты переписываешься с Мережковским? Зачем ты скрываешь?»

Кузен Арабажин, знакомый Барятинского, друг Яворской, сотрудник «Биржовки» и «Северного курьера»[188], закрытого вскоре, явился к родителям и с удивлением им сообщил, что на днях, повстречавшись с Д. С. Мережковским, он слышал, как этот писатель хвалил в выражениях для Арабажина необъяснимых,— меня:

— «Понимаешь ли, дядя,— он читает вслух письма «Бориса» своим друзьям?»

Арабажин, поверхностный фельетонист, меня знавший как «Бореньку», спрашивал, в чем корень дружбы с «Борисом» салонных львов.

Мережковские портили мне разговоры с О. М.; я не мог уже слушать стиля ее рассуждений о Гиппиус; и мы прекратили беседы на эти тяжелые для меня темы; в поджиме губы и во взгляде О. М. на меня установился между нами порог: до конца ее жизни.

И Брюсов весьма любопытничал. Весь тот период густо окрашен мне Мережковскими; куда ни придешь,— говорят о них; в лаборатории говорим о них; в студенческой чайной, бывало, соберемся: Петровский, Печковский, Владимиров, я,— тотчас же разговор поднимается о Мережковских: ведь тайну синих конвертов, подаваемых мне швейцаром лаборатории, мои друзья знали: бывало, Печковский спрашивает, взглянув на конверт:

— «От Гиппиус?»

С Гиппиус переписывались мы чуть ли не каждую неделю; а так как дома мать неизбежно спросила бы, кто это пишет мне (характерные очень конверты), то пришлось бы признаться, что я веду усиленную переписку с писателями, которые все же внушали тревогу отцу (боялся за сына); поэтому я и дал адрес лаборатории.

Брюсов тоже расспрашивал меня о Мережковских так, как будто я «спец» по ним; и делалось неприятно от этого назойливого любопытства; Мережковские ведь умели кружить головы людям; холодные «в себе», они могли казаться такими нежными; меня — захваливали они; я-де и замечательный, и новый; и «Симфония»-де моя — замечательная; было от чего потерять голову юноше, которого до сих пор жизнь держала скорее в черном теле.

Только О. М. Соловьева — мне ни звука о Мережковских; и вдруг:

— «Гиппиус — дьявол!»

И хотя я знал, что злость О. М. на Гиппиус — не идеология, а недомогание, я вскакивал и в совершенной ярости убегал. Через день О. М. присылала письмо: мириться[189].

Верен я был Михаилу Сергеевичу Соловьеву, когда я некогда встал: против Гиппиус и Мережковского; но, оставаясь верным своей переписке с З. Н., встал я самостно против О. М. Соловьевой; и это все выразилось: в автономно возникшей для меня квартире Владимировых, куда я стал чаще теперь убегать; и также — квартире Метнеров; на Соловьевых в одном (лишь в одном отношеньи) гляжу как на прошлое, уже законченное семилетие; во мне нудится новое, будущее именами, которые вместе — зенит и надир: Мережковские, Брюсов, уже обещающие мне блестящую литературную деятельность; Брюсов — толками о «Скорпионе», Д. С. Мережковский — зовами в проектируемый «Новый путь»; Брюсов мне в эти дни — новая литература; и — только; а путь с Мережковским — «не только» литература.

Ты пойми: мы — ни здесь, ни — тут.
Наше дело — такое бездомное.
Петухи — поют, поют...
Но лицо небес еще темное.

(Гиппиус)[190]

«Только», «не только» — Москва, Петербург: и восьмерки, мной писанные семилетье меж ними, есть ужас, мне еще не видный в 1902 году; отход огорченный без ссоры от Брюсова, от Мережковского кончился бегством моим из Москвы, Петербурга, России: на Запад.

. . . .

Уже с 1902 года Брюсов втягивал меня в жизнь «скорпионовской» группы; З. Н. меж интимных строчек ознакомляла меня с петербургскою жизнью; весной сообщила, что был у них Блок и что он произвел впечатление[191] (я ей завидовал); она звала меня в Петербург, чтобы я в настоящем общественном воздухе выветрил дух «Скорпиона» в себе (тут она сфантазировала: больше дух «анилина», которым несло в нашей лаборатории); не понимала она: «декаденты» — для меня лишь нота в октаве, лишь краска на спектре, октавой моею была не поэзия: была... культура!

З. Н. в письмах обещала меня познакомить не с «выродками», а с людьми «настоящими», «новыми»: думаю — с сестрами, Татой и Натой, с В. В. Розановым, с Филосо-

фовым и с Карташевым; их друг, Философов, тогда раздваивался между «Миром искусства» и Мережковским, тащившим его в «Новый путь»: петербургская группа распалась на снобов художников и на писателей; в «Мире искусства» был дружеский отзыв о книге моей;[192] скоро я стал сотрудником «Мира искусства»: вполне неожиданно.

Так было дело: открывалася выставка «Мира искусства» в Москве; посетитель всех выставок, был, разумеется, я и на выставке этой, пустой почти;[193] тонные, с шиком одетые люди скользили бесшумно в коврах, меж полотнами Врубеля, Сомова, Бакста; все они были знакомы друг с другом; но я был чужой среди всех; выделялася великолепнейшая с точки зрения красок и графики фигура Дягилева; я его по портрету узнал[194], по кокетливо взбитому коку волос с серебристою прядью на черной растительности и по розово, нагло безусому, сдобному, как испеченная булка, лицу,— очень «морде», готовой пленительно маслиться и остывать в ледяной, оскорбительной позе виконта: закидами кока окидывать вас сверху вниз, как соринку.

Дивился изыску я: помесь нахала с шармером, лакея с министром; сердечком, по Сомову, сложены губы; вдруг — дерг, передерг, остывание: черт подери — Каракалла какая-то, если не Иезавель нарумяненная и сенаторам римским главы отсекающая (говорили, что будто бы он с Марьей Павловной, с князем великим Владимиром — запанибрата):[195] маститый закид серебристого кока, скользящие, как в менуэте, шажочки, с шарком бесшумным ботиночек, лаковых. Что за жилет! Что за вязь и прокол изощренного галстука! Что за слепительный, как алебастр, еле видный манжет! Вид скотины, утонченной кистью К. Сомова, коль не артиста, прощупывателя через кожу сегодняшних вкусов, и завтрашних, и послезавтрашних, чтобы в любую минуту, кастрировав собственный сегодняшний вкус, предстать: в собственном завтрашнем!

Пока разглядывал я изощренную эту концовку, впечатанную Лансере в послезавтрашний титульный лист,— мне далекую и неприятную, вдруг осенило меня: предложить ей статью свою: «Формы искусства»; и вот безо всяких сомнений, забывши о том, что я — невзрачный студент, подхожу к кругло выточенному «царедворчеству» (избаловали меня: думал,— мне и законы не писаны!).

Вскид серебристого кока, и поза: Нерон в черном смокинге над пламенеющим Римом[196], а может быть,— камерлакей, закрывающий дверь во дворец?

Тем не менее я представляюсь:

— «Бугаев».

И тут наглый зажим пухловатой губы, передернувшись, сразу исчез, чтобы выявить стиль «анфана»[197], скорей пухлогубого и пухлощекого ангела (стиль Барромини, семнадцатый век); и с изящностью мима, меняющего свои роли,— изгиб с перегибом ноги назад, с легкой глиссадою, как реверанс, с улыбкою слишком простой, слишком дружеской, он, показав мне Нерона, потом — купидона, изящнейше сделал церемониймейстерский жест *Луи Каторз:*[198]

— «Ах, я счастлив! На днях еще много о вас говорили мы!»

И как по залам дворца, открывая жезлом апартаменты «Мира искусства», которого мебели — Бакст, Лансере, Философов, взяв под руку, вел к молодому и чернобородому «барину» в строгом пенснэ, в сюртуке длиннополом.

— «Ну вот, Александр Николаевич,— позвольте представить вам Белого: он!»

— «Бенуа»,— поклонился с отлетом, с расклоном, с изгибом руки Бенуа и повел под полотнище Врубеля: «Фауст и Маргарита»[199].

— «Смотрите,— взмахнул он рукою,— вот титан! Я горюю, что не оценил его в своей «Истории живописи»[200],— он посвящал меня в краски.

Так я был введен в круг сотрудников; и — озирались: кто этот прескромного вида юнец, кого Дягилев и Бенуа мило водят по залам.

Вопрос о статье не решался; была принята: с полуслова:

— «Конечно, конечно,— скорей высылайте, чтобы поспеть с номером!»[201]

С тех пор я стал получать письма Д. Философова с чисто редакторскими замечаниями, с просьбою слать, что хочу;[202] так факт дружбы с Д. С. Мережковским мне составил уж имя средь группы художников «Мира искусства».

С другой стороны, анонсировал «Белого» и «Скорпион»: всей Москве; так «звезда» восходила моя; я не двинул и пальцем; мой жест — перепуг и желанье сесть в тень, чтоб хотя до экзаменов не разнеслось, чем стал «Боря Бугаев»: я чувствовал: моя «звезда» не продержится в небе:

она — фейерверочная: подлетает, чтоб в месте ее быстрого вспыха — «ничто» обнаружилось.

Очень достойные лавры меня увенчали!

Но «звездочкой» не ощущал я себя и тогда, когда где-то уже за спиной называли меня восходящим талантом; головокружение славы в малюсеньком круге скоро с лихвой компенсировалось плевом: нашего тогдашнего профессорского круга.

В 901 все радовало и все дивило; сам быт распахнулся; и Эллис стоял с социологией, Эртель — с историей, Батюшков и Гончарова — с культурой Востока, отец — с математикой, Метнер — с Бетховеном, с Кантом и с Гете, Рачинский — с Гарнаками; моя уверенность в преодолении библиотек была дерзкая.

Мне предстояло-таки пропотеть над увязкою противоречий; я по уши — в трудностях; силясь понять язык Брюсова, силюсь и Канта понять.

Я впрягаюсь прилежно в свои обязательства; но перегрузка дает себя знать: утомлением и неумением выполнить и четверти своего плана; едва нажимаю на литературу,— хромает мое сочиненье Анучину; у Дорошевского явный грозит незачет; зачет сдан; но с «Возвратом», книгой, которую пишу,— неувязка.

Затрепан в спехах!

И общенье с друзьями — не радость; я в трудных натугах заставить их в их стремленьях друг друга понять — надрываюсь: ропщу и кряхчу; мне звучит одиночество, приподымая свой голос:

Смеюсь, и мой смех — серебрист.
И плачу сквозь смех поневоле:
Зачем этот воздух лучист,
Зачем светозарен... до боли?[203]

Я этого плача сквозь смех полугодием раньше не знал; внешне те ж перспективы лучистые, но сквозь них — тень:

Нет ничего. И — ничего не будет.
И ты умрешь[204].

В 1902 году я считаю случайной ту боль из-за смеха; а в 904 она — пепел сожженного солнца во мне; но и раньше моя биография — в полутенях; начинает отбрасывать тень новый быт.

Я боролся с затрепанным либерализмом и с гонором энциклопедий без творчества, с пылью научных подвалов,

со скукой мещанства, с пустым благодушием; все ж благодушие — тень доброты: Ковалевский чувствителен: слово дав, выполнит.

А вот модернист, очень острый в строке, а не на либеральном обеде, дав слово,— не выполнит; М. Ковалевский, сам позитивист, провел жизнь — не весьма позитивно: сидел под диваном, таясь от курсистки, хотевшей женить его на себе, не скаредно жил; не ловкач.

З. Н. Гиппиус, Брюсов, зовущие к «бреду»,— оказались напористы: трубы медные переперев, невредимыми выйдут! Тончайшие нервы (Максим Ковалевский таких не имел), а не падают в обмороки, проявляя воловье упорство, стожильность; не нервы — канатищи! Чехов был прав, подчеркнув: декаденты лишь делают мину, что очень нервны; мужики трудосильные:[205] лбом выбивают строку свою об утонченной нервозности.

Кончиками языка воплощали отцы слова Боклей и Миллей, твердя: экономия, практика, сила, уменье найтись, извлечь пользу себе и другим (!?). В деле были — безвольные, неэкономные, не извлекающие себе барышей; промотали наследства свои: материальные (не говоря об идейных).

А вот «мужики» декаденты, утонченно-бледные и вопиющие миру, что им нужно то, чего нет на земле, через несколько лет, отобрав все, что есть, у отцов — положение, вес, уважение, печатные строчки, журналы, читателей,— сели в отцовских, в просиженных, в академических креслах.

Я учувствовал: «тайное» у модернистов — подштопанный позитивизм; диалектика метаморфозы безумий в делячества подчинена ходу мысли: мир — рушится; кресло мое пока твердо; успею я книги сложить до возглашения трубы иерихонской;[206] от Брюсова к Франсу — полшага; да,— позитивизм: у... противников позитивизма![207]

Одною ногою я вступил за порог «Скорпиона»; и многое в новом кругу не понравилось мне; а другой стороною захлопнулся в лаборатории; и в защемленную ногу мне иглы украдкой всаживали.

Были более мрачные тени; испортилась вдруг атмосфера квартир: Соловьевых и нашей.

С начала 902 года ухудшилось недомогание моей матери; и говорили: ее-де оперировать надо; на почве болезни расстроились нервы, квартира наполнилась вздохами, даже слезами; я вздрагивал; часто глубокою ночью я вдруг просыпался от вздохов; и шел успокаивать мать.

По совету профессора Снегирева она водворилася в клинику; но каждый день заезжала домой; и с ей свойственной яркостью передавала рассказы, ходившие об изумительных операциях Снегирева, рассказывала, как ругается на операциях он и какое подчас уважение он вызывает несмотря на ругань у ассистентов; как он, совершив операционное чудо, на радостях кутит с... директором консерватории В. И. Сафоновым, которого в пьяном виде однажды мать встретила в три часа ночи в пустом коридоре клиническом.

Болезнь ее прошла, но летом 1902 года стал замечать у отца я симптомы болезни; бывало, он вдруг остановится, жадно вдыхает воздух и щупает пульс.

— «Что с тобой?»

Он помигивает из очков: в совершенном растере.

— «Да так-с!.. как-с-нибудь-с!..»

Продолжает оборванный свой разговор до... задоха вторичного.

Раз, забежав в кабинет, испугался, застал его скорчившимся, с деформированным серо-белым лицом, передернутым болями; с явным напугом он мне помотал головою трясущейся:

— «Не говори только матери».

Но, разумеется, я — бегом к ней; тут же и доктор явился: он определил, что у отца — грудная ангина, с которой можно бы жить, коли бросить все лекции, все заседанья, деканство; и — шахматы; но это было б прижизненной смертью отцу; и он стал приговаривать, что умрет, как солдат на посту: читал, спорил, взвивался на третий этаж, как юнец, пил чернила,— не чай; также в три часа ночи звонился из клуба.

— «Так-с, так-с... Ничего-с! Как-с-нибудь-с!»

Обрывал урезониванья, восклицая:

— «Почистите мне сюртучок!»

Несся на заседание.

Мы видели: этак недолго протянет; прислушивались: шелестело — быть худу! И я ощущал себя, как в метерлинковской драме: «Втируша»; казалось: в сроеньях теней из угла — глядит смерть.

СМЕРТЬ

Но и в соловьевской квартире я переживал то же самое: М. Соловьев страдал печенью и расширением сердца; он, изнемогая, держал в вечном страхе свою жену, Ольгу Ми-

хайловну; болезнь матери сопровождалася стонами; болезнь отца — прибаутками; болезнь Ольги Михайловны — приступом взвинченного фанатизма, с весьма угрожающим блеском очей, затаивших недоброе что-то; и — не доверяла: себе, мужу, сыну и мне.

— «Даже здесь метерлинковщина!»

Стиль увенчивал — так, пустячок: О. М. завела деревянную куклу, сухую и желтую, для рисованья костюмов с нее; в свои темные шали закутавши куклу, ее посадила к окну, чтоб глядела из спальни: в столовую; вечером свет фонаря покрывал ее кружевом; и я, бывало, забывши про куклу,— показывал:

— «Кто?» — «Манекен». — «А зачем это?» — «С лета сидит: летом нет никого здесь, в квартире: а с улицы скажешь,— живой; просто средство от жуликов!»

Кукла связалась мне с присланным только что стихотворением Блока:

Мое болото их затянет.
Сомкнется жуткое кольцо[208].

Все осенние стихотворения Блока — не радовали своим бредом, и Ольга Михайловна разболевалась от них; а М. С. приговаривал:

— «Я говорил тебе!»

Наши квартиры меня облекали как в траур; лишь Метнер бодрил разговором (потом перепиской): в эти месяцы именно я каждый день бегал к Метнерам *.

К концу декабря М. С. выглядел бодро: прошло расширение сердца; и раз в январе по-хорошему мы присмирели, все четверо, за неизменно родным мне столом, когда я прочитал посвященные памяти В. Соловьева стихи;[209] голубые глаза М. С. молча уставились с теплым доверием; стало как в прежние годы; сквозным, голубым от луны, фосфорическим взмахом метель неслась в окнах.

Не знал я, что вечер — прощальный.

Через день или два М. С. был у Рачинского; весело и оживленно он проговорил до полуночи; а на другой день проснулся в сильнейшем жару: воспаление легких; был бред; сердце ослабевало; ходили на цыпочках.

— «Кончено»,— каркала Ольга Михайловна.

Павел Сергеевич Усов, профессор, просил, чтобы не было даже звонков; то и дело я с черного хода шел, чтобы

* См. первую главу: «Аргонавты», главка «Эмилий Метнер».

из кухни просунуться в черный, немой коридорчик, куда выбегала хозяйка и странно дрожала, себя потеряв:

— «Знаю, кончено!»

Раз присылает за мной; взявши за руку, ведет меня в спальню; лицо в красных пятнах; глаза — воспаленные: рвутся из век; мы узнали потом лишь: весь день ела краски, чтоб, в случае смерти, себя дотравить; деревянная кукла, от кресла, глядела из шалей, мешая понять деловитейший бред, набормотанный Ольгой Михайловной; говорила и дергалась, точно от едких укусов тарантула.

— «К Вере Поповой * Сережу отправила... Он там ночует, чтоб...» — оборвала.

После паузы:

— «Боря, дадите мне слово, что вы никогда не оставите: ну, да — Сережу же... Помните!»

Мне показалось, что не было смысла, а — бред перед куклой, напученной тупо круглотами глаз: без зрачков; как ворона, вся черная, в черном платке, в черном платье унылая Вера Попова, сидевшая в этой квартире, меня выпроваживала.

Я вертелся без сна эту ночь; лишь забылся, а кто-то толкает: в халате, со свечкой; рука ходуном; голос сиплый:

— «Иди к Соловьевым!»

Отец!

— «Тебя, Боренька, Павел Сергеевич спрашивает!»

— «Михаил Сергеевич?»

Мать плачет; он — руки разводит:

— «Да,— бедный!»

Трясясь, одеваюсь, и — вижу, что что-то скрывают; — шепот прислуги:

— «Какое несчастье!»

Я просто рушусь, без ног,— с черной лестницы; падаю в черную дверь; выволакиваюсь, как безногий, в столовую: в разброс предметов, под ламповый круг, где, ослабнувший, бледный, дрожащий, всегда удручавший спокойствием, Павел Сергеевич Усов с вороною, Верой Сергеевной Поповой,— сидит:

— «Умер?.. Ольга Михайловна?»

Усов с отчаяньем: рукой — за лоб; а другой отмахнулся от спальни: закрытая наглухо; и — безответная; Вера Попова, словно обидясь, не смотрит на дверь.

Молчание.

— «Выстрелом из револьвера!» [210]

---

* Сестра М. С. Соловьева.

Пробили часы: половина четвертого; трогать нельзя: до полиции; за ней пошли; в луже крови, под куклой,— она, распростертая там, куда скрылась, когда началась агония, откуда бросала, держа рукой дверь:

— «Ну,— как, кончено?» — «Нет: еще дышит!» — «Жив!» — «Кончено!»

Выстрел!

Не в этом суть: нужно сообразить, предпринять!.. А попы? А полиция? Самоубийц не хоронят в ограде, а их — надо рядом; сидение трех молчаливых, угрюмо сопевших и бледных, друг другу вполне посторонних людей, средь разброса, под ламповым кругом, при двух мертвых телах,— было странно; четвертым над лужею крови сидел манекен.

— «Э, друг выручит: Г. А. Рачинский!.. Ну, Борька,— лети!» — бросил Усов, сын крестного, *тыкавший* с детства. Я полетел: темны улицы; лютый мороз; и — туман: ни извозчика! В конце Арбата гнул спину в туман — запоздалый, один: прыгнул; шамкали сани:

— «Их нет!»

Стук в ворота; бараний тулуп, открывающий их; звонки: вылетел встрепанный, поднятый Г. А. Рачинский; и, кутаясь в шубу и громко стуча своим ботиком, в нос бормотал: он — туда; я — сюда.

На рассвете решался вопрос, как быть с сыном, ночующим в доме Поповой; решили: мне предупредить его; вот мы качаемся с Верой Сергеевною в саночках по направленью к Девичьему Полю; квартирка как вкопанная; бросаем Сергею Нилычу, Татьяне Ниловне: «Спит?» — «Спит!» Сижу, вестник смерти, под дверью, обдумывая, что сказать, как начать; и — условный рефлекс: Метерлинк! Шепот: спит, просыпается, сейчас оденется, уже идет:

— «Ну?»

Сережа стоит над постелью в напяленной кое-как куртке; он горбится: сдвинуты брови.

— «Папа?»

— «!»

— «Мама?»

— «!!»

— «Тоже?..»

Не отвечаю...

— «Сама с собой?»

С сухим достоинством, точно у банковой кассы:

— «Я знал это!»

Пауза.

— «Боря,— он бросил мне руку, как будто не я, а он вестник,— оставь меня на пять минут...— выпроваживая, точно старший, рукою.— Даю тебе слово!»

Через пять минут вышел спокойно и строго: мы знали, чего стоит эта выдержка; если б кричал, плакал...

— «Ну!»

Спокойствие это лишало присутствия духа: не выдержит мозг!

Решено: не пускать его в дом, где покойники; прочь от печальных обязанностей, охов, ладанных вздохов, соболезнованья! И я, посадив на извозчика, долго катаю его по Москве: завожу к Бенкендорфу, товарищу и поливановцу: мать Бенкендорфа умела занять.

Усов после дивился моей, дескать, выдержке — на нашем ночном заседании; что она перед в железо закованным отроком, сердце зажавшим в кулак: без единой слезинки! С сурово зажатою бровью, сутулясь, он твердо шагал среди крепов, надгробных венков,— таки вынесши эти два гроба.

Мне к горю утраты, к тревоге за друга прибавилась боль, когда я, возвратившись домой (уже поздно), узнал, что с отцом от волненья случился припадок ангины; он эти все дни пролежал с синеватым лицом, беспокойно следя за мной глазками:

— «Ну, ну — иди-ка: на панихиду...— с надтреснутым криком вдогонку,— отца не забудь!»

Отец, похороны, панихиды, Сережа — туман этих дней; но запомнился в церкви растерянный Брюсов, без шапки, враспах; он катался глазами, такой одинокий, когда я супругу историка, С. М. Соловьева, сутуловатенькую Поликсену Владимировну, вел, подставив ей руку, от строгих гробов; и потом, невзначай, налетел на сутулую спину Брюсова,— у церковной стены; он, не видя меня, бормотал: сорвалося:

— «О господи!»

Мне показалось, что слезы в глазах его; он же думал, что спрятан в тенях набегающих: за всеми спинами; нежно взглянув на него, я прошел мимо.

Тяжелое поминовение; и неуместные вздерги бровей Поликсены над первою книжкою «Нового пути» в бледно-лиловой обложке, которая нравилась ей,— черт бы брал! Вспомнив Брюсова, думал:

«В подобные миги мы вывернуты нашим тайным! Рачинский — до гроба друг, даже буквально: устроил с гробами, что надо!»

О. М. хоронили в ограде: при муже;[211] и это — Рачинский, назначенный опекуном; он в мехах заметался по монастырю; день был ветреный, солнечный; снег взлетал в сосны: под красные башенки; розовый, золотоглавый собор вырезался в лазури; то место мне связывало: жизнь и смерть; сколько жизненных слов здесь я выслушал от Леонида Семенова, Метнера, Блока, Сережи; и милые мертвые здесь же лежали: Л. И. Поливанов, В. С. Соловьев; теперь — «эти»; не знал: через несколько месяцев ляжет отец.

И потом — лягут: мать, Коваленская, Усов, Эрн, Чехов, Рачинская, Скрябин; и — сколькие![212]

Сережу услали: отвеять Москву;[213] он был в Харькове, у дальних родственников; попав в Киев, он сблизился с братом С. Н. Трубецкого, Евгением, тоже профессором; за это время ему отыскали квартирочку: на Поварской; туда перевезли; появилась — друг дома, Любимова, взявшаяся за хозяйство; А. Г. Коваленская, бабушка, почти жила тут; и я забегал каждый день; забегал *«опекун»* его, Г. А. Рачинский; здесь через год с Блоками сближался я.

ЛАВРЫ И ТЕНИ

Перед самой кончиной О. М. появилась статья моя: «Формы искусства»; подписано: «Борис Бугаев» (чтобы отца подбодрить, что печатаюсь);[214] в этом же номере «Мира искусства» — заметка, за подписью «Белый», о М. А. д'Альгейм:[215] в декадентских тонах, при виньеточке, изображающей... дылду; такою виньеткой редакция выразила отрицательное отношение к д'Альгейм: в пику тексту, хвалебному; мой панегирик печатался все же из принципа: безоговорочно и бесцензурно печатать «своих»; «не своих» — не печатать, хотя бы они отражали редакцию.

Вскоре по смерти О. М. отец повеселел; прекратились припадки; мы с ним обсуждали мое поступленье на филологический факультет по оканчаньи естественного; все мотивы меня отговаривать падали сами собой, после искреннего моего заявления, что география — не для меня; интерес к философии сам же он во мне подчеркнул; стало быть: оставалось отдаться ей, то есть стремиться на филологический.

Раз он, садяся за стол, бросил мне: мимолетом:

— «Ты, говорят, книгу выпустил?» — прыснул глазами, и их опустил; я же замер; но бросил, как он,— мимолетом:

— «Да, выпустил!»

— «Дай почитать»,— продолжал он с волнением под напускной простотою.

Пришлось-таки дать ему:

— «Она — распродана».

Через два дня, возвращая «Симфонию», с тою же «легкостью» бросил:

— «Прочел-с! — живо, молодо, будто «жука» проглотил и нашел — ничего себе»,— он перетер свои руки; и более он не прибавил ни слова.

Он жил в атмосфере отчаянных «ахов» уже: о Бугаеве-сыне; но, что-то поняв и на что-то решившись,— ни звуком не выразил мне треволнений: о сыне; пропали надежды: увидеть ученым меня; он меня подавил широтой своей и свободой моральной фантазии, не соответствовавшей репутации спорщика и крикуна.

Он же был озадачен во мне сочетанием мыслей с его удручающим пунктиком; не бередил наших ран; я не слышал уже осуждений ни Брюсову, ни К. Бальмонту; ведь к двум именам теперь третье прибавилось: сына; Бальмонта клеймили за пьянство и позу; кричали, что Брюсов — бездарный нахал; он — молчал, потому что ему напевали, что я-то хорош: *«идиотик»* — кричалось Лоло, Любошицем: уже из газет; но чем громче травили, тем бережней он становился; его оскорбило, что сын его, живость ума проявивший в статье об искусстве, которую он оценил, для каких-то Лоло — идиотик; и он на Лоло затаил раздражение, чаще задумываясь над Бальмонтом и Брюсовым, раз показал он:

— «А это — недурно: по Тютчеву».

Стихотворение Брюсова «Наполеон»[216] — говорило ему.

На примере со мной видел цену газетного мнения; о символистах теперь говорил с осторожностью; Эллис ему полюбился, а Эллис себя символистом считал; скоро он у меня увидал: Балтрушайтиса, Брюсова, Макса Волошина; очаровался стихами последнего; не понимать декадентов — одно; возмущаться их «фигами в нос» очень можно; но только набитый дурак, иль невежа, или лицемер мог сказать после краткой хотя бы беседы с В. Брюсовым, что он не умная бестия, с выстраданным убежденьем, с большой эрудицией; мой же отец, человек разрывной и правдивец, мог броситься с криком на Брюсова; но дать фальшивого он показанья не мог; и он знал: Брюсов не дурак,— а начитанный умница; кроме того: Поляков, ма-

тематик, владел языками (и даже арабским, и даже персидским); Волошин, «спец» литературы французской, изъездил Европу, обегал музеи; он с первого взгляда пленял независимостью, широтой, большим вкусом; Ю. К. Балтрушайтис, «спец» северных литератур и естественник, при всей угрюмости выглядел умницей.

Мой же отец, не дурак, тоже умница, тоже «чудак» в мненьи многих мещан, понимал, что с Волошиным поговорить интереснее, чем... с Лахтиным, не хватающим звезд, ничего не видавшим, весьма не философом, безоговорочно пресно молчащим на бойкие, пенистые игры мысли отца; отец сам говорил: «Пей, да дело разумей». И он стал понимать: декаденты имеют какое-то дело свое, ему, правда, неясное в контурах; и не одно озорство, а тенденция некая их заставляет показывать фиги; ему интереснее было кричать с Кобылинским, чем в сотый раз выслушать от Лахтина:

— «Совершенно согласен».

Так он, пристрастясь к Кобылинскому, клюнув уже на Волошина, начал клевать... и на Брюсова; я без зазрения совести жарил стихами при нем; мой сюжет был ему непонятен; но он понимал, что стихи — как-то сделаны: не по его разуменью, а все же — по правилам неким: «левкои — кои» — не «грезы» и «слезы»; отец, сам стилист, слышал чуждый ему стиль, но — все же «стиль»; Жоржик, брат (дядя мой), не щадил отца с матерью ради иронии; а уж племянника не пощадил бы подавно; он, слушая «кои - левкои», не без удовольствия фыркал.

Над «Боренькою» разрывались гранаты газет; и университетские старцы жужжали про сына декана Бугаева, сам же «декан», соглашаяся с ними, но вяло, для вида,— от них утаил что-то, что не утаивал в нашей квартире, где дал он понять, что слова «декадент», «символист» для него потеряли смысл жупелов.

. . . .

Май приближался; а с ним и — экзамены; я же от них был отрезан пустою обязанностью бывать всюду и лавры стихами срывать: стихи были беспомощны; но бальмонтистки и выводок Брюсова им аплодировали; этот круг разрастался; чем больше ругали нас, тем непосредственней рукоплескали.

Чем я мог импонировать?

Интриговали: кентавры и фавны, зажившие в моей строке; и — сюжет: Белый лезет куда-то; с ним — гном: он трубит, надув щеки; и — солнечный шар подает, как

свинину, на блюде; я ж слабые строчки свои выпевал (теперь хоть убей — не спою так); сюжет, распевание делали модным меня; говорили:

— «Вы слушали Белого?» — «Нет». — «Вы послушайте: черт знает что!» — «Ну?» — «Поет». — «Да про что же?» — «Поет — про кентавра!»

Особенно я вызывал удивление стихами под Сомова и под Мусатова: фижмы, маркизы, чулки, парики в моих строчках, подделках под стиль, новизной эпатировали; мать и дядя любили моего «кузена» —

В лазурно-атласном камзоле,
С малиновой розой в руке[217].

Когда мне передали, что даже художник Борисов-Мусатов весьма одобряет подобного рода стихи, невзирая на то, что сам Сомов подделки отверг (и ему их читали), я чувствовал гордость, считая себя просто Патти какою-то; как хорошо, что мой голос пропал в перекуре: на верхних регистрах запел безголосый петух; а без этого долго бы я безобразничал.

Фавны, кентавры и прочая фауна — для романтической реставрации красок и линий сюжетных художественного примитива; в стихах хотел выявить нечто подобное Дюреру: «Рыцарь и смерть»[218], но написанное в красках мастеров ранних; краски Грюневальда особенно долго еще волновали «поэта» во мне; занимала меня стилизационная техника; выбор метафор и прочее; В. В. Владимиров, его беседы, его одобрение стиль тот питали.

Но — кроме того: с той поры как события жизни стенились (смерть близких, тревога за друга, за сердце отца, улюлюканье прессы, экзамены), стал ощущать я позыв — позабыться, напиться: стихами, успехами — в тесном пространстве трех месяцев; под форсированной легкостью — задумь, тоска, перепуг пред трофеями в аудитории, ценность которой казалась сомнительной.

Я был подавлен уже ограниченностью кругозора, дешевкою, позою, мелкокультурностью той молодежи, с которой встречался у Брюсова; Шик, например: пошловатый юнец, притащивший свои изощренные брюки и трость из Берлина, а слововязальные спицы — от Стефана Георге, — он в брюсовском списке означен был как — *«поэт в будущем»;* иль Виктор Гофман: студентик позирующий, с тонкой талией, с губками-розанчиками, слащавенький, розоволицый, капризный красавчик, весьма некультурный во

всем, что не стих; он недурно низал слова в строчки; «низатель» стоял мне на уровне всякой владеющей спицами бабы; гнусаво, с претензией он декламировал, как он, такой-сякой, *«робкий»*, ну, что-то там делает, а — *«двуутробки»* качаются так-то и так-то, обстав его;[219] все — восхищались: и рифмами, и образами; всякое можно при помощи рифмы связать: *«эхинокки»* и *«Локки»*.

Три брата Койранских: Борис, Александр, Генрих юркали всюду с несносным софизмом под Брюсова, с явной подделкою под эрудицию Брюсова — по словарю, по Брокгаузу, с примесью фраз из Оскара Уайльда; в «Кружке» они дерзко взлетали на кафедру: дернуть сочувствием Брюсову; и выявляли искусство — действительное — вылезать из щелей: изо всех, сразу; *«три»* становились они *«трижды три»*, даже — «трижды три», на три умноженным; так что казалось: ввалилась толпа декадентов; а это — три брата Койранских; но двое из них провалились, как в люк, а единственный не провалившийся, «Саша» Койранский, плюс «Саша» же Брюсов, деленные на два, осели надолго в «грифятах», откуда и вылупился наконец этот «Саша» — Койранский, не Брюсов: в газету[220].

Ходили они в символистах.

Иль Рославлев — нечистоплотный и перекабачившийся, совершенный невежа, в прыщах, губошлеп, грубиян, через несколько месяцев выгнанный... даже из «Грифа»,— в те дни заявлял, что он — «апокалиптик»; окончил свое бытие в пятисортных журнальчиках пятиразрядным баском.

Пантюхов: говорили,— роман написал;[221] он являлся в те дни в «Скорпион»; сидел в «Грифе»; ко мне заходил; и молчал: я о нем ничего не узнал; он исчез.

Было много таких.

Балтрушайтис, Бальмонт, Александр Добролюбов, Волошин, умерший Ореус (Иван Коневской) отличались культурой, умом и начитанностью; а увиденный выводок Брюсова сильно меня удручал; ощущалась черта между пухнущей вокруг «Скорпиона» средой и самим «Скорпионом», среда была только реакцией на улюлюканье прессы; надень желтый фрак и пройдись по бульвару,— об этом появится: завтра; глядишь, послезавтра: расхаживают — фраки желтые; Брюсов — так как же: Койранские, Рославлев!

Но к чести Брюсова — он ужаснулся явленью своих «двойников»; и когда появился присяжный поверенный С. Соколов, поэт тоже, с желаньем печатать себя и жену под

одною обложкой с Бальмонтом и Брюсовым, и достал деньги на книгоиздательство «Гриф», то с чертовской поспешностью Брюсов ему поспешил сбыть всех «брюсиков»; и они стали «грифятами»; я, к сожаленью, не понял игр Брюсова и Соколова; я, запутавшись в «Грифе», втянул туда Блока.

И я был наказан: жестоко.

Весной 903-го «грифы» ползали маленькими «скорпиониками».

«ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК»

Я с Соколовым знакомился в «Литературно-художественном кружке», на одном из боев символистов с газетчиками — каждый «вторник»; за бранной газетной статьею у публики появлялась потребность пощупать бородку Бальмонта и собственным пальцем измеривать: степень бездарности Брюсова. Брюсов в своих «Дневниках» отмечает ту весну: *«Борьба началась... И шла целый месяц. Борьба за новое искусство. Сторонники были «скорпионы» и «грифы»... Я и Бальмонт были впереди, а за нами гурьба... юных декадентов: Гофман, Рославлев, три Койранских, Шик, Соколов, Хесин... еще М. Волошин и Бугаев. Борьба была в восьми актах: вечер нового искусства, два чтения Бальмонта в «Кружке», чтение в «Кружке» о Л. Андрееве, две лекции в Историческом музее, два чтения Бальмонта в Обществе российской словесности и в «Chat Noir»... Многие собирались у меня по средам. Не хватало мест... Был Печковский... поляк Касперович... приехал читать лекцию о декадентах»* (март 1903 года, стр. 130—131) [222].

Мы шли в «Кружок»; там В. Брюсов с эстрады перед всею Москвою демонстрировал ум, эрудицию; К. Д. Бальмонт стрелял пачками пышных испанских имен, начиная от Тирсо де Молина, доказывая: поза позою, а эрудиция не уступает Н. А. Стороженке, А. Н. Веселовскому в прекраснейшем знании Шекспира, английских поэтов, особенно же Перси Шелли, испанцев; Волошин умел демонстрировать дар: звучно вылепить в слове и сведение о новейшем, и сведение о древнейшем, воочию продемонстрировавши свой разъезд по музеям. Плюс — наша начитанность, быстрость в подаче красивых ответов, позорнейше рушивших сплетню об идиотизме; но были громадные минусы: слово для слова, софизмы, обилие «фиг» в нос мещанам, кокетничанье порнографией, вовсе не нужное и создавшее миф о какой-то особой развратности, ко-

торой не было вовсе, которая пышно бытийствовала в мозгу сатиров, фавнов, козлов — адвокатов, благеров, газетчиков, говорунов, остряков прошлой, староколенной Москвы.

Тут же выступил яркий контраст меж начитанностью декадентов и благополучием общего места; набор адвокатского слова и просто газетных статей рассыпался, как пыль, от поправок, фактических, Брюсова; даже противники наши задумывались: «Это Южин? И все? Неужели Ледницкий не мог сказать лучше? Баженов сказал просто глупость». Газетчики от желтой прессы силились бить афоризмами в нас; но несло откровенной помойною ямой и запахами потных ног, от которых мутило собравшихся дам; например: реферат Любошица о грязной исподней сорочке у барышни Фета, под розовым платьицем; тут ужасались и наши враги; старики: Андреевский, Урусов, покойный Чайковский, Танеев, Толстой, Соловьев и Тургенев ценили поэзию Фета; или — реферат Яблоновского (помнится мне — о Бодлере) явил исключительный дар: в выявлении бездари, просто невежества; Брюсов небрежным движеньем носка растоптал эти пыльники.

Деятели адвокатского мира имели здесь больший успех, потому что их козыри, ставка на аплодисменты,— у капиталистов, помещиков, у пожирал расстегаев — подчерк, что не сеем *«разумного, доброго, вечного»* мы, что *«спасиба сердечного»* русский народ нам не скажет[223], а — скажет им, *получающим тысячные гонорары свои за совет, как обжуливать;* выслушав это, отшлепав, оттопав,— шли уничтожать расстегаи, рейнвейны вылакивать: в смежную комнату.

В общем же, уравновешивалась эта борьба, в годах ставшая только игрою в футбол: с переменным успехом; и все ж летописцу Москвы не избегнуть «Кружка» тех времен.

Зал: пасть яблоку некуда; жадная публика: перекрахмаленные буржуа; обвисающие кружевами, шелками и перьями дамы, блистающие бриллиантами и голизной обнаженного ниже, чем следует, тела: приехали ужинать и продуваться в железку (швырялись десятками тысяч, как мячиком); но начинали с закуски: В. Брюсовым или Бальмонтом, зернистой икрой на тартинке, хватив рюмку водки сперва от Любошица, от адвоката, нас уничтожавшего плачем о горе народном (зал прений — закусочный столик); меж ними — рой барышень: с курсов; те шли за идеями; и мы старались для них; они путались: и адво-

кат — душка Собинов (с сеяньем доброго), и К. Бальмонт; тоже Тирсо де Молина хорош; ему учит Бальмонт, а на курсах — не учат; одно жаль: Бальмонт заявляет, что... хочет одежды сорвать[224],— фи! Тут и переодетые, с томными лицами, даже в браслетиках нового типа студенты: с цветочком в петлице, с Уайльдом на кончике — увы! — подкрашенных губ (появились и эдакие); тут — присяжный поверенный; тут — верхосвист из газет: этот скажет; тут — брюнеточка зубоврачебного мира с тоской по скандалу; тут — критики «с принципом»; тут — и Ю. И. Айхенвальд; тут — и вывертень от «утонченного мнения», рвущийся к кафедре с тою ж слепой механической силой, с какою тела, вдруг лишившись опор своих, падают: Борис Койранский.

Все это — сидит, шелестит, пожирая глазами эстраду, хихикает и ожидает скандала.

Сидят на эстраде: пропученный пузом, щеками, глазами, очками Баженов, Н. Н., психиатр, председатель, с серьезным комизмом и психиатрическим опытом (для него все — пациенты; и — только), как толстый кентавр водяной, кувыркающийся на волнах; он с достойным одергом, но с тайным сочувствием свой колокольчик поднял на С. В. Яблоновского-Потресова, рядом с ним вставшего: маленький, гаденький, черненький, с дрянно-морщавым лицом, Яблоновский, облизываясь перед публикою, с шепелявым сюсюком размазывает ей услышанную-де скабрезность, мелькнувшую в слове Бальмонта (гнилейшее воображенье!): будет ужо в «Русском слове». Носы затыкайте!

Сидят за столом вкруг Баженова: темный, румяный, кудрявый, брадатый мужлан — Любошиц (лютый враг, скоро «друг» декадентов), Ашешев (противник, но скоро — «союзник»), такой грустно-томный, невзрачный росточком, при усиках, с виду приятный, Мунштейн (или — Лоло) и серьезный, приятный, немного медведистый, точно сконфуженный, мягкий в *«немягких»* тех днях, Н. Е. Эфрос: газетчики; тут же блондин Дживелегов с приятной, красивой женою, еще начинающий Зайцев, Борис; худой, бритый, зеленый от кисли, обиженно-томный (до черных кругов под глазами), во веки веков благородный, «наилиберальный», «наилевейший» во всех отношениях Ленский, *«с душой геттингенской»*[225], им вынутой, видно, из томика стихотворений Коринфского,— Виктор Иванович Стражев, учитель словесности, ставивший

В. Ходасевичу, «ученику»,— о, не балл: треугольник (не смей, гимназист, защищать декадентов *); и тут же, чрез несколько лет уже перенырнувший чрез ученика, чтобы в «Третьей волне символизма» обставить всех нас — строчкой, напоминающей Фруга, Сергея Сафонова иль Мазуркевича (были такие поэты); сидит с атлетическим видом рыжавый усач, мускулистый силач, Гиляровский, сей Бульба, сегодня весьма отколачивающий меня, завтра моих противников из своей Сечи: ему нипочем! Все теченья — поляки, турчины; его нападенья с оттенком хлопка по плечу: «Терпи, брат,— в атаманы тебя отколачиваю!» Мы с ним дружно бранились, враждебно мирились в те годы; газета ему что седло: сядет — и ты вовсе не знаешь, в какой речи он галопировать будет.

Сидят на эстраде столь многие, что и не перечислишь.

За залом, в открытых дверях, пустоватая, серо-зеленая комната; как с горизонта покажутся крупные рыбины там в миг пожара на эстраде иль в зале: явить оскорбленность свою,— Иванцов, Лев Лопатин, С. Мамонтов, Южин; они только профиль подставят; и — скроются; эти — «министры» «Кружка».

Подбор лекторов: вся Москва, Петербург, Киев, Харьков, Одесса прошли через эстраду «Кружка»; Любошиц, Яблоновский, Ашешев, Чуковский, Свентицкий, Петр Пильский, Морозов, Волошин, Бальмонт, Брюсов, Глаголь, я, до... Венгерова, академика [226], здесь заявившего, что... мы от «доброго, вечного», как и Некрасов; [227] попадали в обмороки — Яблоновский и адвокат Ходасевич.

Семен Афанасьевич Венгеров, здесь возложивший на голову Брюсову академическою, дрожащею рукой им сплетенный лавровый венок,— уже новая эра, когда не Баженов сидел председателем, а Сергей Кречетов; следствие: уже не Южин являлся пожары тушить,— В. Я. Брюсов.

Мне помнится, как Айхенвальд, Ю. И., с сутуловатой, застенчиво-мягкой медовостью, жалом осиным, упрятанным им в усах, скромно поднявшись на кафедру, сделал бешенством вставших волос и блистанием злобных очков, тихим-тихим, вполне задушевным, вполне добродетельным голосом мироточивейшее сообщение, взяв от Уайльда совочек острот, как завар для холодно-болотной преснятины *«субъективизма»;* и казус случился: я и Сакулин, тогда молодой, с двух сторон (от марксизма и от символизма),

---

* Этот факт передаю со слов Ходасевича.

почти в тех же формулах, с негодованьем отвергли сию *«субъективную»* критику, руки пожавши друг другу; так на айхенвальдовой пище, на острых желудочных коликах, вместе испытанных, строилось с Павлом Никитичем будущее пониманье друг друга.

О да,— Айхенвальд был «зефириком», барышням с курсов казалось: два крылышка явно прорезались и перепархивали над сутулой сюртучной спиною; а муха, осою проколотая,— В. Я. Брюсов, показывалась Айхенвальдом сладострастному выводку зубоврачих, перепрысканных... опопонаксами;[228] все — аплодируют, топают, жадно осклабясь скандалом; гудит Соколов, точно в бочку, увесистым басом; Курсинский таким верхохватом взлетает на кафедру, чтобы отщелкать сентенцией и двумя пальцами: в публику; черно-муаровы отвороты его сюртука. Он выпаливает:

— «Я желаю совершить преступление; я бы... я... я...— изнасиловал всех!»

Сам же — кротче ягненка, трусливее зайца: но в зале ор, свист; а брадатые старцы подуськивают:

— «Так, так, так,— бей, бей, бей!»

Яблоновский удушливой вонью, таимой им под комплиментами мне, раз меня так взорвал, что, придя в исступленье, не видя, не слыша, я бросился с места, зажав кулаки, на совсем неповинного «Т»[229] (а не на Яблоновского) с ором над более чем семьюста головами:

— «Извинитесь, подлец, а не то оскорблю я вас действием!»

Тут же крепкие руки Н. А. Бердяева с силой схватили меня со спины; в грудь ударил с любвеобилием пылким М. О. Гершензон:

— «Что вы делаете!»

В зале — ор, взлет стульев, истерики, визг, голоса — от дирекции:

— «Занавес, занавес!»

Вонь Яблоновского и провокация были настолько явны, что в дирекции после они обсуждалися, а не безумный поступок мой; желтая пресса — и та — ни «гу-гу»: о скандале; директор «Кружка», Иванцов, на другой день сказал, пожимая мне руку:

— «Охота ходить в это гиблое место!»

Бывало, как вспыхнет скандал,— уж за спинами, как в назиданье поставленная иссушенная мумия, выставит

бороду Л. М. Лопатин — профессорский «кит» и спирит, между лекциями заседающий... в «Ребусе»; * он приходил насладиться скандалом, но издали: место его — перед водочной стойкой, где он возникал ежедневно: в двенадцать часов по ночам; он вставал в половине двенадцатого; и являлся за ужином к... «утреннему чаепитию», бодро осматриваясь золотыми очками, тычком бороды и кровавою нижней губой, на вершок отстоящей от верхней, мотаяся дрябло ручонками, брошенными за две фалды и в полуаршине от них, помогая себе, точно веслами, ими,— к стойке он плыл.

. . . .

Здесь же я восстановил свое давнее, детское, но озорное знакомство с П. Д. Боборыкиным.

В детстве стоит предо мной Боборыкин — вертлявым, высоким, худым, с совершенно багровою лысой головкой из дерга движений руки, суетливо приставившей к пресурово блиставшим очкам миниатюрный лорнетик, чтоб, бросив его, ухватиться порывисто за предметы столовые — пепельницы, разрезалки, салфеточки, ими метаться; ходил в светло-желтом; доказывая, багровел и привскакивал и становился в картинную позу, слегка прислонясь к буфету; бывал у нас с Софьею Александровной, тонной, худою, болезненной, милой супругою; и нам доказывал, как мы отстали от Запада: как независима женщина там.

Я, ребенок, ему показал из «Будильника» — шарж на него; был наказан за то; не видел его после этого двадцать три года; и снова в «Кружке» увидал.

Это было уже в 1908 году.

Он ходил точно плод, наливавшийся славою жизни, притекшей в истекшем столетии,— не кипятился, не обижал; стал седым и дородным, пленяя достоинством медленных жестов своих, в длиннополом, почти до земли сюртуке, семенил очень быстро, малюсенькими беговыми шажочками, скрытыми полами, так что казалось: несется, но медленно (перемещением ног), во всем черном, откинувши лысину, вымытую ослепительно, сереброусый, вдавив подбородок в крахмал; он с улыбкой мастито проявленного снисхождения к нам, символистам, вращая поставленной под головой окрахмаленной кистью руки, наливался спокойнейшим весом; и не без лукавости, с пыхом подчеркивал, что в свое время он первый же выдвинул кое-какие из наших тенденций.

---

* Спиритический журнальчик, издававшийся Чистяковым [230].

Теперь, повстречавшись со мной, с добродушной игривостью, кистью вращая, припомнил:

— «А помните карикатуру «Будильника»... Помните, как с Николаем Васильевичем мы воевали? Покойник — философ был; и прекрасный оратор; его Тургенев отметил!»

Налившися весом, он нес сереброусую голову к Брюсову, чрез сюртуки.

Одно время встречал его всюду: в «Кружке», в изощренных салонах, в «Эстетике», у теософов, у Астрова; его вводили, сажали; его угощали нетрудной словесной конфетою; он — оставался доволен, подремывая и подхрапывая под рулады поэтов в «Свободной эстетике».

Стал — безобидный старик; был не глуп; и старался пред новыми в грязь не ударить; и с Брюсовым, ставшим директором[231] и представлявшим, что кухня «Кружка» занимает его, сей сереброусый старик, расплываясь довольной улыбкой развалины, впавшей в младенчество,— с пыхом и смаком и чмоком губы рассуждал: о севрюге, селянках, *патэ-де-фуа-гра*[232].

Старик пригласил меня в гости; супруга писателя, тонно-любезная, в стильном чепце,— не казалась старушкой; П. Д. накормил меня вкусным завтраком с тонкими винами, интервьюируя о символизме, монизме, о богоискательствах, все приставая:

— «Сведите меня к Морозовой, Маргарите Кирилловне: я сочиняю роман; тема — богоискательство; у Маргариты Кирилловны — типы: Бердяев, Булгаков, Рачинский и прочие, нужные мне».

— «Ни за что!— испугалась Морозова, когда я ей об этом сказал,— знаю про Боборыкина: не оберешься потом хлопотни: лишь пусти...»

Старичок, подливая вина, называл меня мило «коллегою»; а на вопросы его было очень легко отвечать: надо было молчать; предложивши вопрос, он, помахивая белоснежной салфеткою, сам отвечал за меня,— отвечал так, как он полагал, что ему отвечать должен «Белый»; и я — не перечил: я знал, что роман Боборыкина — ни для кого: для него; он себя тешил им; он был так безобиден, так добр, так широк в меру семидесятипятилетнего возраста, что я, Брюсов, Бальмонт относились к нему осторожно и бережно.

Кстати сказать: у него же был в прошлом и ряд заслуг. Были трогательны: его бодрость и живость; сей «дедушка» был назидательною демонстрацией злобным отцам: как, со

сцены сходя, относиться к тому, что щекочет ушное отверстие абракадаброю.

И он особенно был умилителен через пять лет, когда я повстречался с ним в годы войны в итальянской Швейцарии: в тихом Лугано; с *«коллегой»* моим провели две недели, встречаясь за завтраками, на прогулках вдоль озера:[233] он, восьмидесятилетний, на солнышке в ватном пальто, семенил в одиночестве,— чистый, надутый, исполненный тихим довольством; надвинув на лоб котелок, руку с тростью закинувши за спину, другой вращая перед подбородком,— он плыл над лазурными струями, вслух бормоча сам с собою.

Я, встретившись с ним, прошел мимо: наверное, он разговаривал с прошлым своим.

Скоро он просто тронул меня, когда я, возвратившись в окрестности Базеля, вдруг получил от него умилительное извещение: он, прочитав фельетон мой, придя в восхищенье от стиля, сердечнейше просит прислать мой роман «Петербург»; это было последнею встречей; я скоро уехал в Россию; он — умер: довольно пожил!

Был забавный старик, незаслуженно оплеванный редакторшей писем А. Блока к родным; Блок, капризный, способный в иные минуты ругаться бессмысленно, матери пишет про... *«эту плешивую сволочь»;* и, кажется,— ясно: коли не указано кто,— *«уж молчи»*, не сажай в лужу Блока, отколовшего бессмысленно грубость; нет,— с глупым хихиком редакторское примечанье указывает, топя Блока, топя себя вдвое, что эта *«плешивая сволочь»* — беззлобный старик Боборыкин, никого не задевавший больно[234].

Иванов, я, Брюсов, Волошин, Бальмонт относилися к Боборыкину бережно; третьестепенный писатель — одно, никому из нас не вредивший уже беспомощный старик — другое: в чем дело? Почему — *«плешивая сволочь»?*

Плевок Блока без повода, а ненужное разъяснение Бекетовой, что *«плешивая сволочь»* — беззлобный старик Боборыкин, это... это... это... не знаю уж, в каком стиле!

. . . .

В «Кружок» затащили меня весной 903; в партикулярное платье (с чужого плеча) облеченный, явился я на реферат К. Бальмонта;[235] и в платье с чужого плеча на потеху В. А. Гиляровского — выступил: с прениями; Гиляровский писал, что «тогда — появилось «оно» и что *«уши — врозь, дугою — ноги; и как будто стоя спит»; да — не я же,* а платье с чужого плеча!

Все же аплодисменты снискал;[236] что говорил, даже не помню; но помню отчетливый шепот: у себя за спиною:

— «Бальмонтовец!»

— «Нет,— по Мережковскому».

Гордо сошел: не свистели; не знали еще, что сей юноша в платье с чужого плеча — Андрей Белый; мать, очень приятно взволнованная моим первым успехом, рассказывала с ярким юмором:

— «Рукой махал: на кого-то кидался; кого-то ругал!»

— «Да кого же,— голубчик?» — отец: с громким юмором.

— «Кончил, и — аплодисменты...»

БАЛЬМОНТ

В марте — апреле 1903 года я знакомлюсь с Бальмонтом, которого томиками «Тишина» и «В безбрежности» я увлекался еще гимназистом[237], в период, когда говорили мне: Гейне, Жуковский, Верлен, Метерлинк и художник Берн-Джонс: переневные строчки Бальмонта будили «Эолову арфу» Жуковского;[238] и — символизм в них прокладывал путь; они — синтез романтики с новыми веяниями; среди нас был Бальмонт — академик, с которым считалися старцы; он им отвечал пессимизмом, в котором тонул прошлый век: что-то от Шопенгауэра, от Левитана; еще не расслышался весь эклектизм его ритмов: Верлен плюс Жуковский, деленные на два, иль — лебеди, чайки, туман, красный месяц и дева какая-нибудь.

Меня удручили уже «Горящие здания»; портился ритм: скрежетала строка; неподмазанное колесо; скрежетал «тигр»; и это досадовало: кто-то с севера, попав в Испанию, в плащ завернувшись, напяливши шляпу с полями, выходит... из бара: скрежещет зубами, что он подерется с быком; зовут спать,— лезет в бой! Подражание Брюсову, собственный голос сорвавшее!

«Будем как Солнце»[239] — нас книга дразнила; в ней — блеск овладенья приемами, краски, эффекты; и — ритм; все же «испанец», срывающий платья, казался подделкой под собственный замысел: под золотистый тон солнца.

Бальмонт, поэт с песенкой, в «Будем как Солнце» надел хвост павлина; иль: он — Мендельсон, конкурирующий с... Леонкавалло: романтик, ныряющий в стиль «декаданс», чтобы стать средь новейших. Плакат же — *«Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...»* [240], *«Я вижу То-*

ледо, я вижу Мадрид... О, белая Леда, твой блеск и победа...»[241]. Мадрид и Толедо — Бедекер;[242] а белая Леда при чем? Для Толедо? Для — *тлд-лрд-бл-пбд?* Но у Пушкина, у Боратынского, у Блока — утончена аллитерация; здесь она — перстни на пальцах.

Чудесные строчки есть в «Только любовь»; [243] но все лучшее, как попурри из... Бальмонта; а далее — серия книг, утопляющих жемчуг искусства в воде.

Даже гении-импровизаторы мне неприятны: низать на какое угодно задание какими хотите размерами — то же, что силу бицепсов испробовать над... мандолиною; слушал Зубакина, импровизатора: жарит-то как! Ни единого слова живого: пошлятина дохлая!

К. Д. Бальмонт — гений импровизации; ловишь чудесные строчки; но лучше быть третьеразрядным талантом, чем гением этого рода. А в дни моей встречи с Бальмонтом он переходил Рубикон, отделяющий импровизатора в нем от поэта; конечно, в своем новом даре рекорды он бил; и мы — рты разевали: гром поз, скрежет шпор, залом шляпы с пером... дамским, страусовым; он свой дар посыпал эрудицией; мог с Веселовскими, со Стороженками преуспевать в исчислении, что, у кого, как и сколько раз сказано: «Шелли сказал о цветке — то и то-то... Бернс сказал...» Стороженко склонял свою лысую голову перед владеньем источниками.

До знакомства я выслушал рой анекдотов, восторженно переданных: Бальмонт — «гений»-де; «скорпионы» считали его своим «батькой», отметив заслуги; но знали, что «батькинская» булава есть декорум уже, потому что действительный «батька» есть Брюсов; Бальмонт, как прощальное солнце, сиял с горизонта; центр культа его — утонченно-никчемные барыньки, бледные девы; стыдясь социального происхождения (из кулаков), прикрывались Бальмонтом, как веером: папеньки не торговали-де ситцами, коли — в «испанском» мы кружеве; К. Д. Бальмонт выступал, весь обвешанный дамами, точно бухарец, надевший двенадцать халатов: халат на халат.

Бедный, бедный,— упился утопией, вшептанной дамами; и — утопал: в «гениальности», в подлинном виде являя куренка, зажаренного буржуазией; были комичны трагедии винно-зубовного скрипа.

Наслушался я.

— «Из Парижа приедет Бальмонт...» — «Мы с Бальмонтом...» — «Бальмонт говорит!..»

Бальмонт-личность во мне возбуждал любопытство.

Мне трудно делиться своим впечатленьем от встречи с Бальмонтом; она — эпизод, не волнующий, не зацепившийся, не изменивший меня, не вошедший почти в биографию: просто рои эпизодов, которые перечислять бы не стоило; К. Д. Бальмонт — вне комической, трагикомической ноты и не описуем.

Меж мной и Бальмонтом бывал разговор поневоле; он был обусловлен лишь встречами в общей среде и в редакциях, где мы работали; был он *с натугой;* я силился чтить и визит наносить, терпеливо выслушивая поэтические перечисления — что, у кого, где, как сказано: про перламутрину, про лепесток, про улитку; Н. И. Стороженке весьма назидательно выслушать о Руставели и Шелли; я был — не словесник: весьма назидательный смысл разговоров с Бальмонтом утрачивался; оставалась натуга — в прекрасных намерениях: мне — не задеть чем-нибудь; а ему — быть внимательным, благожелательным к младшему брату, что он выполнял с дружелюбием искренним; я — с трудолюбием искренним чтил; а вне *«чтений»* — две жизни, две разнопоставленные эрудиции, разнопоставленные интеллекты глядели, минуя друг друга.

И стало быть: яркое все в этих встречах — сплошной эпизод, каламбур.

Я увидел Бальмонта у Брюсова: из-за голов с любопытством уставился очень невзрачного вида, с худым бледно-серым лицом, с рыже-красной бородкой, с такими же подстриженными волосами мужчина,— весь в сером; в петлице — цветок; сухопарый; походка с прихромом; прижатый, с ноздрями раздутыми, маленький носик: с краснеющим кончиком; в светлых ресницах — прищуренные, каре-красные глазки; безбровый, большой очень лоб; и пенснэ золотое; движения стянуты в позу: надуто-нестрашным надменством; весь вытянут: в ветер, на цыпочках, с вынюхом (насморк схватил); смотрит — кончиком красной бородки, не глазками он,— на живот, не в глаза.

Так поглядывал, чванно процеживая сквозь соломинку то, что ему подавали другие; и в нос цедил фразы иль, точно плевок, их выбрасывал, квакая как-то, с прихрапом обиженным: взглядывал, точно хватаясь за шпагу, не веря в слова гениальные, собственные, собираяся их доказать поединком: на жизнь и на смерть.

Что-то детское, доброе — в очень растерянном виде: и — что-то раздавленное.

Помесь рыжего Тора[244], покинувшего парикмахера Пашкова, где стригся он, чтобы стать Мефистофелем, пах-

нущим фиксатуаром[245],— с гидальго, свои промотавшим поместья, даже хромающим интеллигентом, цедящим с ковыром зубов стародавний романс: «За цветок...— не помню — отдал я все три реала, чтоб красавица меня за цветок поцеловала».

Лоб — умный.

Не помню высказываний гениального «батьки»: говорил он, как будто поплевывал: поэтичными семечками; и читал как плевками; был странный напев, но как смазанный,— грустно-надменный, скучающе-дерзкий, порой озаряемый пламенем: страстных восторгов!

Подстриженный у парикмахера Пашкова, гений был грустен, вполне не уверен в себе, одинок средь матерых друзей-декадентов; те — как мужики, он — тростинка; останься он самим собой, никогда не сидел бы за этим столом, не бросал бы в «Кружке» свои дерзости, а с Николай Ильичом Стороженкою где-нибудь там заседал; пил бы с кем-нибудь из либералов, а не с Балтрушайтисом.

В том, что примкнул к декадентам, был подвиг; они ж его портили, уничтожая романтика и заставляя огнем и мечом пробивать: пути новые; меч его сломанный — просто картон; хромота — от паденья с ходуль, на которых ходить не умел этот только капризный ребенок, себе зажигающий солнце — бумажный, китайский фонарик — средь коперниканских пустот.

Первый вечер с Бальмонтом отметился только знакомством с... Волошиным. Врезалась в память с ним встреча у «грифов»— дней эдак чрез пять.

— «Вы?.. О, как рада я!— бросила, дверь отворившая, Нина Ивановна Соколова.— Сережки нет; я — одна, я — не знаю, что делать с Бальмонтом!»

Пьянел он от двух с половиною рюмок; и начинал развивать вслед за этим мечты, неудобные очень хозяйке (вино — выражение боли); он много работал, прочитывая библиотеки, переводя и слагая за книгою книгу; впав в мрачность, из дому бежавши, прихрамывающей походкой врывался в передние добрых знакомых; прижав свою серую, несколько декоративную шляпу к груди,— красноносый и золотоглазый (с восторженным вызовом уподобленьями сыпаться), с серым мешком холстяным: под рукой; вынимались бутылки из недр мешка; и хозяйка шептала: «Не знаю, что делать с Бальмонтом».

Мы тоже — не знали.

Он — бледный, восторженный, золотоглазый, потребовал, чтоб лепестками — не фразами — мы обсыпались

втроем: он желал искупаться в струе лепестков, потому что — «поэт» вызывает *«поэта»* на афористическое состязание; переполнял вином мой бокал (его Нине Ивановне передавал я под скатертью); и, как рубин, — пылал носик.

— «О, как я устала с ним: ведь уже четыре часа это длится, — шептала Н. И. — Где Сережа?»

«Сережа» — «поэт», Сергей Кречетов, — тут же вошел, с адвокатским портфелем; и слушал, как золотоглазый и рубинноносый, но бледный как смерть Константин Дмитриевич нам объяснял, что готов он творить лепестки, так как он — «лепесточек»: во всем и всегда; и кто это оспаривать будет, того — вызывает на бой; я и Кречетов, взявши под руки поэта, увели в кабинет, на диван уложили и уговаривали предать члены покою, отдаться полету на облаке; и опустили уже обе шторы; но Кречетов имел бестактность ему указать: не застегнута пуговица; он, оскорбленный таким прозаизмом, с растерянным видом испанца Пизарро, желающего развалить царство инков, но в силах весьма уверенный, вздернув бородку в нос Кречетову, пальцем ткнул в... незастегнутое это место:

— «Сергей, — застегните!»

Его б по плечу потрепать, опрокинуть (уснул бы); «Сергей» же, приняв оскорбленную позу берлинского распорядителя бара, но с «тремоло»[246] уже прославленного адвоката, надменно оправил свой галстук и вздернул пенснэ:

— «Дорогой мой, я этого места не стану застегивать вам».

И Бальмонт — не перечил: заснул; но едва мы на цыпочках вышли, он заскрежетал так, что Нина Ивановна уши заткнула: такой дикой мукой звучал этот скрежет; и мы за стеною курили, глаза опустив; дверь раскрылась: Бальмонт — застегнувшийся, в пледе, которым накрыли его, молниеносно пришедший в сознание, робкий, с пленительно-грустной, с пленительно-детской улыбкой (пьянел и трезвел — во мгновение ока); он начал с собою самим, но для нас говорить: что-то нежное, великолепное и беспредметно-туманное; мы, обступив, его слушали; то, что сказал, было лучше всего им написанного, но слова утекали из памяти, точно вода сквозь ладони.

От дня, проведенного с ним, мне остался Бальмонт ускользнувший и незаписуемый; а записуемая загогулина (вплоть до штанов) жить осталась как нечто трагическое: не каламбур это вовсе.

Мне первая встреча с Бальмонтом — вторая.

. . . .

Четыре часа; «файф-о-клок»[247] у Бальмонта, в Толстовском; он в чванной натуге сидел за столом, уважаемым «Константин Дмитриевичем» — вовсе не Вайем, не богом индусского ветра (он так называл себя), очень маститым историком литературы, заткнувшим за пояс Н. И. Стороженко; и — требовал, чтобы стояли на уровне новых, учёнейших данных о Шелли и о... мексиканском орнаменте; он принимал, точно лорд; вздергом красной бородки на кресло показывал:

— «Прш... сдитс...» — т. е. «прошу, садитесь».

Садился над кэксом, зажав свои губы и ноздри раздув, вылепетывая — по-английски — каталоги книг об Уайльде, о Стриндберге, Эччегарайе:

— «Кквы не чтл»,— или: «как, вы не читали?»

И тут, захватясь за пенснэ, им прицепленное к пиджаку, нацепив его с гордым закидом, легчайше слетал — сухопарый, с рукою прижатой к груди; пролетал к книжной полке, выщипывал английский том в переплетище, бухал им в стол, точно по голове изумленного приват-доцента:

— «Прочтите, здесь — нвы... днн!..» — иль: «новые данные».

Не ограничивался своей сферой: поэзией; его интересы — Халдея, Элам[248], Атлантида, Египет, Япония, Индия; то читал Родэ, то томы маститого Дейссена: помнил лишь то, что касалось *«поэта»*.

— «Опять библиотеку,— Брюсов разводит руками,— Бальмонт прочел: но — как с гуся вода».

Точно ветер,— Вай,— каждый кусток овевающий, чтобы провеяться далее; так — Вай, Бальмонт: пролетал бескорыстно над книжными полками, знаний не утилизируя, как утилизировал Мережковский, который, сегодня узнавши, что есть «пурпуриссима»,— завтра же всадит в роман; эрудиция К. Д. Бальмонта раз во сто превышала ее показ; набор собственных слов, неудобочитаемых, в книге о Мексике — занавес над перечитанным трудолюбиво; вдруг он зачитал — по ботанике, минералогии, химии, с остервененьем! Что ж вышло? Только — строка: «Яйцевидные атомы мчатся»;[249] как рой лепестков, отлетел рой томов: по ботанике, минералогии, химии.

Я в нем ценил: любознательность и бескорыстнейшее, перманентное чтение; что эрудит,— это ясно; но надо ска-

зать, что — не только; пылала любовь к просвещению в нем: в этом смысле он был гуманистом — не по Стороженке: а по Петрарке!

В естественном он «ореоле» почтенья сидел средь юнцов, не уча, лишь бросая: «Мн... нрвтс» иль «не нравтс», то есть «нравится» или «не нравится»; анализировать стих — не хотел, не умел.

Чай по вторникам, ровно в четыре: совсем академия — не Флорентийская: чопорно-тонная, точно Оксфорд; он неспроста дружил с академиком, лордом Морфиллем:[250] в Лондоне; и академикам, членам «Российской словесности»[251], было повадне здесь, чем юнцам: оборвешься, молчишь; и Бальмонт, перетянутый академичностью,— тоже; его супруга, Е. А., еле-еле, бывало, налаживает разговор.

И сидит здесь: при стене, без единого слова: брюнет моложавого вида, военный, румяный, с красным околышем и с серебряным аксельбантом: Джунковский; когда губернатором стал, то К. Д. с ним рассорился; сидит и литературная дама, Андреева, сестра Е. А.; сидит кто-нибудь из Сабашниковых; толстоватая Минцлова целится в нас миниатюрной лорнеткой; какой-нибудь приват-доцент, поэт Балтрушайтис или Поляков — за столом; и является Бунин, Иван Алексеевич,— желчный такой, сухопарый, как выпитый, с темно-зелеными пятнами около глаз, с заостренным и клювистым, как у стервятника, профилем, с прядью спадающей темных волос, с темно-русой испанской бородкой, с губами, едва дососавшими свой неизменный лимон; и брюзжит, и косится: на нас, декадентов, которых тогда он весьма ненавидел, за то, что его «Листопад» в «Скорпионе» не шел (а до этого факта тепло относился он к Брюсову);[252] я его, юношей, страшно боялся; он, перемогая едва отвращенье к «отродью» ему нелюбезных течений, с непередаваемой дрожью, отвертываясь, мне совал кисть руки; и потом, стервенясь (от припадков сердечных, наверное, в нем начинавшихся от одного моего неприятного вида), бросал свои взоры косые, как кондор, подкрадывающийся к одиноко лежащему раненому.

Я в ту весну, бывало, тащусь прямо с крыши химической лаборатории, где, молодежь, мы готовились дружной гурьбой к государственному испытанию,— в Толстовский к Бальмонту и думаю:

«Что, если Бунин сидит?»

Он сидел.

Чай Бальмонта сплетается мне с чаем воскресным

Н. И. Стороженки, где — проще, сердечнее (хоть пусто), где и К. Д. бывал; Стороженко в ту весну отрезал раз с добросердечием мне:

— «Константин Дмитриевич — жив?» — «Что?» — «Извозчик мой вчера — едва его не раздавил. Он был пьян».

Порой мне казалось: Бальмонт «файф-о-клока» такая же поза дитяти, как гордый испанец, стоящий пред лошадью Н. Стороженки во мраке Собачьей площадки, в надежде, что лошадь, узнавши Бальмонта по свету павлиньему, им излучаемому, шарахнется с пути, потому что я слышал рассказ: кто-то видел его вылезающим из сиденья на козлы извозчичьи с томом Бальмонта в руках и сующего том под сосули извозчичьих заиндевевших усов:

— «Я, Бальмонт,— написал это вот!»

Раз он в деревне у С. Полякова полез на сосну: прочитать всем ветрам лепестковый свой стих; закарабкался он до вершины; вдруг, странно вцепившися в ствол, он повис, неподвижно, взывая о помощи, перепугавшись высот; за ним лазили; едва спустили: с опасностью для жизни. Однажды, взволнованный отблеском месяца в пенной волне, предложил он за месяцем ринуться в волны; и подал пример: шел — по щиколотку, шел — по колено, по грудь, шел — по горло,— в пальто, в серой шляпе и с тростью; и звали, и звали, пугаяся; и он вернулся: без месяца. Е. А., супруга, уехала раз в Петербург; он остался в квартире один; кто-то едет и — видит: багровы все окна в квартире Бальмонтов: звонились, звонились, звонились; не отпер — никто; и вдруг — отперли: копотей — черные массы; сквозь них — бьют вулканы кровавые из ряда ламп с фитилями, отчаянно вывернутыми; среди черно-багровых Гоморр — очертание черного мужа, Бальмонта, устроившего Мартинику[253] не то оттого, что он выпил, не то от каприза, мгновенного и поэтического.

Я бы мог без конца приводить факты этого рода, весьма обыденные в жизни Бальмонта; весьма удивительно: не горел, не тонул и с сосны не низвергся; начал же эту карьеру скачком из окна в тротуарные камни с четвертого он этажа под влиянием жизненных трудностей; переломал руки, ноги;[254] и начал стихи писать (от падения лишь хромота оставалась); наверное, Вай, или ветер, которого чествовал оригинальною строчкою — «ветер, ветер, ветер, ветер»[255], к нему подлетевши, его, как дитя, опустил.

. . . .

Из окна сумел выскочить,— не из себя; и томился, зашитый в мешок своей личности; и — сумасшествовал, переводя томы Шелли[256], уписывая библиотеки, плавая в море романов и в море вина утопая, чтобы, вынырнувши, появиться средь нас,— поэтичен, свеж, радостен: десятижильный и неизменяемый!

Я стал — седым, лысым; Блок, В. Я. Брюсов — сгорели; согнулся — Иванов; Волошина и Сологуба не стало; Бальмонт в 921 году, как и в первом, лишь кудри волнистые вырастил: в них — ни techинки; с кошелкой в руке и в пенснэ средь торговок Смоленского рынка нащупывал репку себе: «Покупайте!» — «Я,— посмотрел с видом гранда,— себе покупаю морковь!»

На Арбате он в 903 году, как и в 17-м, ранней весною являлся, когда гнали снег; дамы — в новеньких кофточках, в синих вуалетках; мелькала из роя их серая шляпа Бальмонта; бородка как пламень — на пламень зари; чуть прихрамывая, не махая руками, летел он с букетцем цветов голубых, останавливался, точно вкопанный: «Ах!» — рывом локоть под руку мне (весна его делала благожелательным); вскидывал нос и ноздрями пил воздух: «Идемте,— не знаю куда: все равно... Хочу солнца, безумия, строчек — моих, ваших!»

Раз, меня усадивши на лавочку, в капах дождя, стал закидывать фразами: «Как меня видите?» — «Трудно сказать!» — «Говорите!— Но прямо: как видите?» — «Вижу вас нежитем». Он — огорчился... «Но в пышном венке!!!» Просиял, как дитя. Этот метафорический стиль, им предложенный, был тяжел; но он требовал; два часа рывом таскал по дождю, так что я — насморк схватил; а ему — нипочем!

Он в стихиях — воды, промоканий, пурги — точно рыба в воде; трубадур, поспевающий всюду, где строчки читают; он — последний поэт, проживавший в XIII веке среди сицилианской природы, дерущийся строчкой своей с мавританским поэтом, Валерием Брюсовым, а не в Москве, не в XX столетии; переполнял все журналы; вопили: «Довольно! Бальмонт да Бальмонт!» Он, придумав себе псевдоним «Лионель», заключал альманахи; «Бальмонт» — открывал альманахи;[257] и радовался, что он, всех перепевши, точно змея, ужалившая себя в хвост, есть омега и альфа; совсем трубадур, позабывший шестьсот лет назад умереть и принявший обличье безлетного юноши; Пушкин ему — прапраправнук; задания русской поэзии были ему, сицильянцу,— чужие; он, анахронизм,— играл

в сказки, желая на отблесках лунных пройти по водам; возвращался — промокший, растрепанный, жалкий; романтики — стилизовали то, чем — Бальмонт жил; влюблялся в пылинки, в росинки, в мушинки; влюбившись, бросал, увлекаясь — вуалеткой, браслеткой; неверный, от верности мигу последнему, он воплощал — то, что Брюсов гласил лишь:

«Мгновение — мне!»

Как зарница, помигивал; и — потухал; и таким же прошелся по жизни моей: лишь миганием издали: слабой зарницею; и — не припомнишь: когда начинало Бальмонтом помигивать.

Раз забежал я к нему; очень усталый, в подушках лежал он: «Говорите, сидите: что делали вы? О чем думали?» — квакало еле; я что-то свое, философское, начал; раздался отчаянный храп; я хотел удалиться; Бальмонт, точно встрепанный, переконфуженно квакал: «Я — слушаю вас: продолжайте!» Я рот — раскрыл; и — снова всхрап; я — на цыпочках, к двери. Он вскочил, посмотрел укоризненным, очень насупленным взглядом: «Я этого вам — не прощу!»

Мог быть мстительным; Брюсов рассказывал:

— «Раз он таскал глухой ночью меня; он был пьян; я боялся: его пришибут, переедут; хотел от меня он отделаться: стал оскорблять; зная эту уловку его,— я молчал; не поверите,— он проявил изумительный дар в оскорблении, так что к исходу второго, наверное, часа я...— Брюсов потупился,— я развернулся и... и... оскорбил его действием; он перевернулся и бросил меня».

— «Ну, и...?»

— «На другой день — подходит ко мне и протягивает незлобиво мне руку!»

И Брюсов вздохнул:

— «Добр!»[258]

И я испытал на себе незлопамятную доброту в инцидентах, меж нами случавшихся (без инцидентов — нельзя с ним).

Он спал, ненавидел, любил, ходил в гости не с кодексом нашего века,— с кодексом века тринадцатого,— видя перед собой не Тристана, Тангейзера и Лоэнгрина[259], а Бунина, Амфитеатрова; не удивительно ли, что прошел без зацепок он с кодексом этим; Бальмонт-трубадур, заключенный в застенок мещанского быта, последние делал усилия — вежливым быть до момента, когда в представленьях его, трубадуровой, чести предел наступал: что ка-

залося Амфитеатрову дерзостью,— было рипостом[260] оплеванного; кабы Амфитеатров помыслил об этом, конечно, не навалился б мужик здоровенный на слабенького Ланчелотика[261] в сцене ужасной, весьма унизительной — не для Бальмонта: последнее дело бить связанного!

И отсюда сквозь все — неисчерпанное:

Переломаны кости: стучат![262]

Иль:

Как будто душа о желанном просила.
Но сделали ей незаслуженно больно:
И сердце простило... Но сердце застыло:
И плачет, и плачет, и плачет невольно[263].

Терпеть он не мог Мережковского; Д. Мережковский выпыживал из себя свои бредни о будущем; и о далеком прошлом тосковал романтик Бальмонт. Мережковский его в те года презирал. Я однажды застал их сидящими друг против друга; Бальмонт, оскорбленный на хмурь, изливаемую на него Мережковским, славил *«поэта»* вообще: назло Мережковскому, вне религии поэзию отрицавшему. Очень напыщенно бросил он, разумея *«поэта»:*

Как ветер, песнь его свободна!

И Мережковский с ленивым презрением — осклабился; не поворачивая головы на Бальмонта, он бросил в ответ:

Зато, как ветер, и бесплодна!

Бальмонт, прибежавши домой, написал стихотворное послание, посвященное Мережковским; там есть строфа:

Вы разделяете, сливаете,
Не доходя до бытия.
О, никогда вы не узнаете,
Как безраздельно целен я[264].

Но не «нашинской» цельностью целен он был.

Точно с планеты Венеры на землю упав, развивал жизнь Венеры, земле вовсе чуждой, обвив себя предохранительным коконом. Этот кокон — идеализация поэта — рыцаря; Бальмонт в коконе своем опочил. Он летал над землею в своем импровизированном пузыре, точно в мыльном.

Пузырные «цельности» лопаются; мыльный пузырь очень тонок: он рвется; сидящие «в таких пузырях» — ушибаются, падая; оттого-то Бальмонт, когда выходил из состояния «напыщенности», то имел очень пришибленный вид.

ВОЛОШИН И КРЕЧЕТОВ

В те же дни, т. е. весной 1903 года, я встретился с Максимилианом Волошиным;[265] Брюсов писал о нем несколько ранее: *«Юноша из Крыма... Жил в Париже, в Латинском квартале... Интересно... рассказывает* о *Балеарах... Уезжает в Японию и Индию, чтобы освободиться от европеизма»* («Дневники». Февраль 1903 года) и: *«Макс не поехал в Японию, едет... в Париж. Он умен и талантлив»* («Дневники». Осень 1903 года)[266].

Эти короткие записи Брюсова — характеристика М. А. Волошина тех отдаленных годов: умный, талантливый юноша, меж Балеарами[267] и между Индией ищет свободы: от европеизма, и пишет зигзаги вокруг той же оси — Парижа, насквозь «пропариженный»[268] до... до... цилиндра, но... демократического: от квартала Латинского; демократическим этим цилиндром Париж переполнен; Иванов, по виду тогда мужичок, появлялся с цилиндром в руке, как Волошин.

Москва улыбалась цилиндру.

Здесь должен сказать: я зарисовываю не «мудреца» коктебельского, М. А. Волошина: с опытом жизни, своей сединой пропудренного, а Волошина — юношу: Индия плюс Балеары, деленные на два, равнялись... кварталу Латинскому в нем.

Этим кварталом, а не категорическим императивом он щелкал, как свежим крахмалом, надетым на грудь; этот юноша, выросший вдруг перед нами, в три дня примелькался, читая, цитируя и дебатируя; даже казалось, что не было времени, когда Волошина — не было.

Так же внезапно исчез он.

Его явления, исчезновения, всегда внезапные, сопровождают в годах меня; нет — покажется странным, что был, что входил во все тонкости наших кружков, рассуждая, читая, миря, дебатируя, быстро осваиваясь с деликатнейшими ситуациями, создававшимися без него, находя из них выход, являясь советчиком и конфидентом; в Москве был москвич, парижанин — в Париже.

«Свой» — многим!

Друг К. Д. Бальмонта, спец литературы, настоянный на галльском духе, ценитель Реми де Гурмона, Клоделя, знакомый М. М. Ковалевского, свой «скорпионам» и свой радикалам,— обхаживал тех и других; если Брюсов, Бальмонт оскорбляли вкус, то Волошин умел стать на сторону их в очень умных, отточенных, неоскорбительных, вежливых формах; те были — колючие: он же — сама борода, доброта,— умел мягко, с достоинством сглаживать противоречия; ловко парируя чуждые мнения, вежливо он противопоставлял им свое: проходил через строй чуждых мнений собою самим, не толкаясь; В. Брюсов и даже Бальмонт не имели достаточного европейского лоска, чтоб эквилибрировать мнениями, как в европейском парламенте.

М. А. Волошин в те годы: весь — лоск, закругленность парламентских форм, радикал, убежденнейший республиканец и сосланный в годы студенчества[269], он импонировал Гольцеву, М. Ковалевскому своим «протестом», доказанным: не мог учиться в России, став слушателем Вольного университета, основанного Ковалевским в Париже[270].

Всей статью своих появлений в Москве заявлял, что он — мост между демократической Францией, новым течением в искусстве, богемой квартала Латинского и — нашей левой общественностью; он подчеркивал это всем видом; поэты «проклятые» Франции на баррикадах сражалися; тип европейского дэнди — не то-де, что «отстало» о нем полагают у нас, сам Уайльд кончил жизнь социалистом-де; [271] «Новая Бельгия» [272] — Жорж Роденбах, Лемонье и Верхарн — друзья «социалистических» депутатов Дестре, Вандервельда; показывал это все Максимилиан Волошин компании «передовых европейцев»: Баженовых, Гольцевых и Ковалевских.

Везде выступая, он точно учил всем утонченным стилем своей полемики, полный готовности — выслушать, впитать, вобрать, без полемики переварить; и потом уже дать резолюцию, преподнеся ее, точно на блюде, как повар, с приправой цитат — анархических и декадентских: не дерзко; где переострялись углы, он всем видом своим заявлял, что проездом, что — зритель он: весьма интересной литературной борьбы; что, при всем уважении к Брюсову, с ним не согласен он в том-то и в том-то; хотя он согласен: в том, в этом; такой добродушный и искренний жест — примирял; дерзость скромная — не зашибала; его борода, жилет, вид парижанина не то заправского кучера, русского

«парня-рубахи», хотя облеченного в черный цилиндр, прижимаемый к сердцу под выпяченной бородою «не нашенской» стрижки, начитанность много видавшего, много изъездившего,— отнимали охоту с ним лаяться; наоборот,— вызывали охоту послушать его; он умел так блестяще открыть свой багаж впечатлений, с отчетливо в нем упакованными мелочами: вот — собор Богоматери, вот — анекдот о Бальмонте, о бомбе, разорвавшейся в отеле «Фуайо», о Жоресе, Реми де Гурмоне, прогуливающемся ночью глухой по Парижу с закрытым лицом и тайком (разъедала волчанка лицо), о собрании у Ковалевского, о кабачке и о том, что Париж в освещении утреннем — «серая роза»;[273] все — слушали: и модернист, и... отец, парижанин душой, откликающийся сочувственно на слова о Латинском квартале.

Максимилиан Волошин умно разговаривал, умно выслушивал, жаля глазами сверлящими, серыми, из-под пенснэ, бородой кучерской передергивая и рукою, прижатой к груди и взвешенной в воздухе, точно ущипывая в воздухе ему нужную мелочь; и, выступив, с тактом вставлял свое мнение.

Он всюду был вхож.

Я увидел впервые его в приложении к «Новому времени» еще до знакомства с ним; здесь поместили рисунок художницы Кругликовой, давшей изображенье Бальмонта, читающего в Петербурге; из первого ряда слушателей вытягивалась борода на читающего Бальмонта; такие в Париже носили, лопатою, длинная, с боков отхваченная; и курчавая шапка волос, вставших, вьющихся кольцами; выпят губы из-под носа в пенснэ, с синусоидой шнура, взлетевшего в воздух[274].

Увидев зарисованного господина, подумал я:

«Кто он такой?»

«Парижанин?»

«Вот дядя-то!»

А в тот же вечер, попав на званый ужин к В. Брюсову, я увидел из передней ту же курчавую ярко-рыжавую бороду, под рыжеватой шапкой волос, кучерских, тот же выпят губы, то же пенснэ, с синусоидой шнура, взлетевшего в воздух; то мой «парижанин» сидел в иллюстрации, вытянувшись, подавал, как на блюде, вперед свою бороду, руку прижавши к груди, как ущипывая двумя сжатыми пальцами тоненькую волосинку; и — щурился он на того же Бальмонта, не нарисованного, а живого, мерцая пенснэ, затонувшими в щечных расплывах глазами; когда я вошел,

нас представили; он подал мне руку, с приятным расплывом лица,— преширокого, розового, моложавого (он называл в эти годы себя «молодою душой»); умно меня выслушал; выслушавши, свое мнение высказал: с тактом.

Понравился мне.

Его просили читать; он, читая, описывал, как он несется в вагоне — сквозь страны, года и рои воспоминаний и мнений; а стук колес — в уши бьет: «ти-та-та, ти-та-та». Мы удивлялись ритмическому перебою их: то «ти-та», то «ти-та-та»;[275] было досадно: хорошее стихотворение он убивал поварскою подачей его, как на блюде, отчего сливались достоинства строчек с достоинством произношения, так что хихикали:

— «Э, да он это — прочел; он прочтет про «морковь ярко-красную кровь» так, что в обморок падаешь; падали же в обморок от прочитанного с пафосом меню ресторанного».

Если б Волошин в те годы умерил свое поварское искусство в подаче стихов, он во многом бы выиграл; а то иные умаляли значенье стихов его, пока печатные книги не выпрямили впечатленье, что интерпретатор Волошин — настоящий поэт; он в поэзии модернистической скоро занял почетное место.

Меня поразившее «ти-та-та» перечитывалось, даже — передере... оно — оттесняло другие стихи его; этому стихотворению все удивлялись, пленялись: и я и отец!

Появившийся вскоре с визитом ко мне, Максимилиан Волошин, округло расширясь расплывами щечными, эти стихи прочитал и отцу; он внимательно слушал отца, развивавшего ему свою «монадологию»; с очень значительным шепотом, очень внушительно стулом скрипя, заявил отцу, что и он развивает подобные же взгляды: в стихах; в подтвержденье этого, свои стихи прочел он отцу, зарубившему воздух руками в такт ритму:

— «Так-с, так-с...— вот и я говорю: превосходно!»

М. А., передергивая бородою и брови сжимая, высказывал мягко округлые доводы в пользу научной поэзии; и помянул про Максима Максимовича Ковалевского, отцу когда-то близкого, так что, когда вышел он, с прижимаемым к сердцу цилиндром под выпяченной бородою «не нашенской» стрижки, отец охвачен был старинными воспоминаниями о Париже, о своих завтраках с «юным» Ришпеном, о Пуанкаре, математике.

— «Это вот — да-с, понимаю: человек приятный, начитанный, много видавший!»

Волошин был необходим эти годы Москве: без него, округлителя острых углов, я не знаю, чем кончилось бы заострение мнений: меж «нами» и нашими злопыхающими осмеятелями; в демонстрации от символизма он был — точно плакат с начертанием «ангела мира»; Валерий же Брюсов был скорее плакатом с начертанием «дьявола»; Брюсов — «углил»; М. Волошин — «круглил»; Брюсов действовал голосом сухо-гортанным, как клекот стервятника; «Макс» же Волошин, рыжавый и розовый, голосом влажным, как розовым маслом, мастил наши уши; несправедливо порою его умаляли настолько, насколько священник Григорий Петров его преувеличивал, ставя над Брюсовым как поэта; уже впоследствии, когда Эллис стал «верным Личардою»[276] Брюсова, то он все строил шаржи на Максимилиана Волошина:

— «Это ж — комми от поэзии![277] Переезжает из города в город, показывает образцы всех новейших изделий и интервьюирует: «Правда ли, что у вас тут в Москве конец мира пришел?» Он потом, проезжая на фьякре в Париже, снимает цилиндр пред знакомым; и из фьякра бросает ему: «Слышали последнюю новость? В Москве — конец мира!» И скроется за поворотом».

Это — шарж, для которого Эллис не щадил отца с матерью. Сам же с Волошиным был он на «ты»; их сближали и годы гимназии[278], и университет, из которого ушел Волошин, и семинарий у профессора Озерова; брюсофильство Эллиса его делало бальмонтофобом и блокофобом; вышучивал он и Волошина; из всех острейших углов Эллис был — наиострейший; а необходима была роль Волошина как умирителя, не вовлеченного в дрязги момента.

Волошин понравился мне, а не Соколов, «Гриф»[279], с которым в тот же 1903 год я в «Кружке» познакомился: он сразу оттяпал стихи у меня и отрывки из четвертой «Симфонии»: для своего альманаха; он с первых же шагов ужаснул, опечатку со смаком оставивши в корректуре; напечатал-таки «закат — пенно-жирен».

— «Голубчик, Сергей Алексеевич, что вы наделали?»

— «А что такое?»

— «Да «пи́рен» — не «жирен» [280].

— «А я думал, что это вы новое слово создали».

В отрывке том самом мне пальцем на фразу показывал: «И тухло солнце».

— «В чем дело?»

— «Перемените: скажут — «протухло»; исправьте скорей»[281].

Он стал появляться у нас в квартире с корректурой; и приглашал на свои вечеринки.

Красавец мужчина, похожий на сокола, «жгучий» брюнет, перекручивал «жгучий» он усик; как вороново крыло — цвет волос; глаза — «черные очи»; сюртук — черный, с лоском; манжеты такие, что-о! Он пенснэ дьяволически скидывал с правильно-хищного носа: с поморщем брезгливых бровей; бас — дьяконский, бархатный: черт побери,— адвокат! Его слово — бабац: прямо в цель! Окна вдребезги! Слишком уж в цель: скажут — грубо; так лозунгами из Оскара Уайльда, прочитанного в переводе неверном (в таком, где Уайльд может выглядеть «Вильде»)[282], отчетливо он запузыривал так, что и Уайльд — не «уайльдил», а «соколовил».

Мочи не было слушать!

Враждебный к религиям, столоверченьем не прочь был заняться[283], как и дамским флиртом; однажды, влетев на трибуну, чтобы защитить Мережковского, он, пнув героически пяткой прямо в доски помоста и пнув большим пальцем себе за спину, в ту сторону, где, пришибленный его комплиментом, сидел Мережковский, бледнеющий от бестактности, дернул он, точно «Дубинушку»: по адресу Мережковского и Зинаиды Гиппиус:

— «Они люди святые!»

Бац — в пол ногой: и — бабац: себе за спину пальцем большим:

— «Эти люди овеяны высями снежно-серебряного христианства!»

Д. С. Мережковский — так даже лиловым стал; «Гриф», озираясь надменно, с трибуны слетел: победителем!

Точно такие ж обложки он «ляпал» на книги: и марку придумал издательства своего: жирнейшую «грифину», думая, что «Скорпиона» за пояс заткнул он; «Скорпион» — насекомое малое; «Гриф» — птица крупная.

В крупном масштабе он действовал: неделикатность его, точно столб Геркулеса, торчала: в годах; антипод Максимилиана Волошина! Если последнего сравнивать можно с упругим мячом, даже при нападениях не зашибающим, первый, желая друзьям удружить, на их лбы падал палицей.

Стих его был скрежетом аллитераций: точно арба неподмазанная. И сюжеты же! Кровь-де его от страстей так темна, так темна, что уже почернела она; перепрыгивал в «дерзостях» через Бальмонта и Брюсова, а получа-

лась какая-то вялая «преснь». Брюсов брови сдвигает, бывало; Бальмонт же покровительственно оправдывает преснятину эту; он Соколову мирволил, очаровываясь почетом, оказанным «Грифом» ему: «Гриф» был Бальмонтов «вассал»: в своем «Грифе»; ну, а в Благородном собраньи ревел он потом радикальнейшими убеждениями адвоката московского; Головину, Ходасевичу и Духовскому весьма импонировал он; Брюсов выглядел аполитично; ну, а Соколов, говоря о царизме, бывало: зубами скрежещет, а черные очи вращает — на дам. Кончил — аплодисменты!

Позднее он в Киев привез нас на вечер искусства;[284] меня провалил там; Блока — тоже; Блок мямлил стихи; я, петь разучась, потерял голос свой от бронхита; Соколов же как примется на весь театр заревать свои стихи «Дровосеки» (сюжет взял из моего «Пепла»)[285] под визг киевлянок хорошеньких, затрескотавших потом:

— «Соколов-то,— мужчина красивый какой!»

Я, вглядевшись в Соколова, увидел, что — слишком пухлявые у него руки для кречета; и точно под кожу набили ему гагачьего пуха; такого же пуха набили под щеки: глуповато торчали они пузырем; глаза были — пуговки: с дамских ботинок; а лоск сюртука точно вакса.

С эстрады — как кречет; а в кресле домашнем своем — само «добродушие» и «прямодушие», режущее «правдуматку»; не слишком ли? Бывало, он так «переправдит», что просто не знаешь, кидаться ли в объятия и благодарить иль грубо оборвать; правда его грубостью, как Геркулесов столб, пучилась.

Имел дар: был — делец, достающий деньгу для издательства и перекидывающий с руки на руку, точно брелоки, журналы: «Искусство» *, «Руно» **, «Перевал» *** — были сфабрикованы им, как и издательство «Гриф»; **** и — провалены им, как и «Гриф»; но умел добывать себе рукописи: средь талантливых юнцов; припростится, бывало; дымнет с томным вздохом:

— «Со мною — Бальмонт, Сологуб, Белый, Блок!»

Юнец — тает; протянет юнцу портсигар:

---

* Журнал «Искусство» вышел в 1905 году; просуществовал, кажется, менее года [286].

** Журнал «Золотое руно» стал выходить с 1906 года; Соколов был редактором литературного отдела его около полугода.

*** «Перевал» — журнал, сфабрикованный Соколовым, выходил с осени 1906 года до осени 1907 года.

**** Книгоиздательство «Гриф» существовало с весны 1903 года, кажется, до войны [287].

— «Трубку выкурим?»

И, не успев опериться, юнец — сидит уже в «Грифе»; посид такой не к добру; ничему Соколов научить не умел птенца малокультурного, хоть и талантливого; загублялись «грифята», хирели, ходили с головкой повисшей.

«Гриф» был не умен и не добр; простоватая стать, стать «поэта» и стать Демосфена — лишь видимость; пошлость и грубость, которую он невзначай обнаруживал, были не видимостями.

Не нравился он моей матери; и морщился как-то на него отец; и я, неопытный вовсе, натаскивал на Соколова себя: ведь — приятели; ведь — «почитателем» держится; не подкопаешься; и все ж — издатель. Нас всех побеждала жена его; с ней он вскоре развелся;[288] она мило пописывала: была же — умница, очень сердечная и наблюдательная; но — больная, больная, отравленная самопротиворечием; выглядела же просто мученицей: от «столбов Геркулесовых»; с Ниной Ивановной складывалась настоящая дружба; они дружили с ней: Брюсов, Бальмонт, П. Н. Батюшков, А. С. Петровский, С. М. Соловьев; и она «аргонавткой» была одно время.

ДЕКАДЕНТЫ

Смущал меня первый прием декадентов: в квартире у нас;[289] чтобы это понять, надо вспомнить: везде, где являлись Бальмонт, Брюсов и Соколов, начинались скандалы; В. Брюсов, умеющий быть безупречным, кусаемый точно злой сколопендрой, порою выкрикивал назло дерзость; Бальмонт несомненно бы выглядел «рыцарем»: при Гогенштауфенах, в XII веке; в веке XX казался вполне задиралой: и — немудрено: вид испанский!

Отец же был порох: расхваленный некогда И. С. Тургеневым, споривший с Писемским, с Л. Н. Толстым; он на министров кричал непредвзято; на П. Д. Боборыкина даже в разгаре спора раз графин поднимал; и Брандесу, Москву посетившему[290], нечто дерзкое закатил он. Доселе все встречи с профессорским миром кончались плачевнейше для декадентов. Я думал: Бугаев и Брюсов — дуэт роковой; были ж возгласы, что «за такие-с деянья — в Сибирь-с!».

И притом — видел отец: его «Боренька», уж завлеченный в «скандалы» и бросивший естествознанье для литературы, украден Валерием Брюсовым; Брюсов, как *«лесной*

царь», вырвал у отца сына, болеющего декадентством; 291
это же почва достаточная для внезапного взрыва:

«Позвольте-с!.. Ужасно, что вы проповедуете!.. За такие деянья!..»

Того и гляди, что слетит:

«Негодяй-с!»

Кобылинский-Эллис ярился при одном имени «Брюсов» в то время; он видел в нем выскочку, тень бросающую на Бодлера; когда Кобылинский кидался кусаться, то от возгласа «негодяй» — отделяла всего волосинка; «допустим, отец,— думал я,— еще сдержится; эта ж визгливая шавка, оскалясь при виде Валерия Брюсова, вцепится в фалду ему; и пойдет теребить; его братец, Сергей, будет — то же проделывать».

Тогда отец, густо взлаявши,— бросится им на подмогу.

Да, спор нависал — оскорбленьями, точно плодами созревшими (и хорошо, коль словесными!); вечера ж не избежать: все последние месяцы я пропадал на журфиксах — у Брюсова, у Соколова, Бальмонта; и Брюсов не раз намекал, что пора пригласить мне его; оставалось: избыть эту муку; она открывала другую: экзамены; вечер назначен был дня за четыре до первого, письменного, испытания.

Кто был на вечере, не помню точно; но, кажется,— Эртель, Владимиров, Сергей и Лев Кобылинские; мы упросили отца: не взрываться; и он обещал нам: взирать философски на все, что пред ним разыграется:

— «Что ж... я — не мешаю!»

Но «что ж» — поговорка отца, всегда предварявшая крик:

— «Как-с?.. Как-с?.. Как-с?..»

Он, устроив «Содом», излив «Мертвое море» на мненье, над ним с наслаждением перетирал свои руки: блаженствовал носом:

— «Вот... поговорили!»

. . . .

Звонок: появился отчетливый, вежливый, выпукло както внимательный, распространяющий бодрость лукаво и молодо — Брюсов; отчетливо вычерчена была его вежливость: с матерью; сдержанно мил и почтителен даже был он с отцом, ему сыр подставляющим,— тоже «лукаво и молодо»; отец все-то поглядывал на «декадента», приблизивши к нему нос и очки подперев двумя пальцами:

— «Чаю-с... Лимону-с!»

Отваливался на спинку кресла: подстаканный кружок под кружок переталкивал, усы надув; Брюсов, усы надув, как отец, на него зауглил из раскосов татарскими ясноживыми своими глазами, как будто играя с отцом в кошки-мышки, слова ж обращая ко мне:

— «Вы, Борис Николаевич,— руку, лежавшую за отворотом сюртучным, выдергивал он на меня,— приготовите,— за отворотом сюртука прятал руку,— нам сборник стихов: этим летом».

И тут же углил на отца из раскосов глазами татарскими он, наблюдая, как примет отец предложение это:

— «Мы вас анонсируем!»

— «Да-с, да-с: взять в корне,— не думаю»,— перетирал отец руки; и, надув усы, он конфузился, наткнувшись на взгляды матери, означавшие: осторожней!

— «Ну, я не буду: хотел я сказать, что не много найдется охотников, так сказать, эти стихи... Дело ясное...»

— «Мир их прочтет!» — клекотал, точно кондор, готовый к полету над чайною скатертью, Брюсов; отец же с иронией сдержанной переконфуженно на это «мир прочтет» гымкал:

— «Я только хотел...»

— «Будет время,— взлетал на отца черным кондором Брюсов,— Сергей Александрыч, и Юргис, и я — «Скорпион»,— мы будем перепечатывать все сочинения вашего сына: том первый,— рукой рубил воздух,— второй, третий, пятый».

И руку запрятывал за отворот сюртука; и стрелял озорными, такими живыми глазами — на мать, на отца, на меня и на Льва Кобылинского.

Белые зубы показывал нам.

— «В корне взять»,— с недовольством и все же с довольством мымыкал отец, стаканный кружок на кружок переталкивая; мать сияла довольством, шепча мне:

— «И умница ж этот твой Брюсов: вполне на него положилась бы я».

— «Я рукой и ногою подписываюсь под словами Валерия Яковлевича,— косил Эртель картавый,— схватил он быка за рога».

Бородой и лицом расплывался Владимиров; а Соколов точно палицей бацал по лбам:

— «Это будет тогда, когда в каждой квартире лежать будут томики «Грифа».

Все шло прекрасно; звонок: то — Койранский; звонок: Пантюхов, записавший тот вечер в своем дневнике, что не

умел-де я гостей занимать и что это мило-де выходило; отец мой-де — чудак добродушный, шутник незлобивый;[292] «слона» Пантюхов не приметил: «шутник добродушный» — вулкан непотухнувший; и чайный стол, точно над отверстием вечно готового огнем забить кратера, жутко висел весь тот вечер.

Звонок: то — Бальмонт, церемонный и скромный, подтянутой позой вошел, обошел всех, цедя:

— «Блмнт»,— т. е. «Бальмонт».

Сел: молчал.

И отец, растирая ладони, придумывал, чем бы занять его:

— «Так-с... А скажите, пожалуйста, вы в драматическом роде работали?»

— «Нет еще...»

— «Думаете!..»

— «Я — нзн»,— т. е. «не знаю».

Тут Лев Кобылинский, как муха к Бальмонту прилипнувший, выпятив в ухо Бальмонту губу:

— «Что, а, а?..»

И привязывался:

— «Как вы можете думать так, когда Бодлер и когда Леопарди...»

Отставясь, с налету вцеплялся:

— «А у Малларме, а у Жилкэна, а у Тристана Корбьера».

Л. Л. Кобылинский в те годы плохим был начетчиком в литературе французской (потом преуспел он); *«начетчик»* в Бальмонте обиделся: точно укушенный, губы презрительно сжал, раздул ноздри, откинулся, пальцем за серый жилет зацепился, пенснэйною лентой играя, цедил:

— «Все неврн... Все вздор... Отсбятн...» — т. е.: «Все неверно... отсебятина».

И я видел, как «Лев», в беспредельном волненьи вскочив, с передергом плеча и поматываньем своей лысой головки метался: между столом и стеной; пометавшись,— как овод, опять: на Бальмонта кидался.

«Ну,— думалось,— как по программе: пошла себе трепка; сейчас опрокинутся стулья; все вскочат; отец, громко взлаяв, забывши, что дал обещанье молчать, тоже бросится в свалку; и — будут дела!»

Но — звонок: дверь открылась; и надо же! Благонамеренный провозгласитель истин о том, что зимой идет снег, летом — дождь и что «три» минус «два» есть «один»: профессор математики, Леонид Кузьмич Лахтин!

Отец, человек старых правил, родившийся в тридцать седьмом году,— тот себе виды видал: что ему декадент? Эка невидаль! Сам «декадентил», выращивал каламбурные чудовища Лахтину в ухо; а этот профессор, способный пасть в обморок от нарушенья одного параграфа университетского устава и мало-мальски необщего мнения,— этот, пожалуй, домой не вернется: умрет, сев на стул, от обиды и страха, что встретил «подобное общество», да еще — где?

У своего уважаемого «учителя»!

Силой устава заклепан был Леонид Кузьмич в жесть, из которой выделывают самоварные трубы.

И — да: сев, он порозовел от стыда; и даже забыл, с чем явился: ни звука, ни взгляда, ни вздрога губы!

Кобылинский, белея, оставив Бальмонта, метался от печки к стене; вдруг, поймавши меня за рукав, оттащив и затиснувши в угол, губой полез в ухо:

— «Нет,— а? Бальмонт — вот нахал! Что, что, что — понимаешь? Да я...»

И слюною обрызгивал.

И снова к столу подскочил, стал задорно пощипывать усик, прислушиваясь, как Брюсов, укушенный самоуверенным голосом братца Сергея, некстати пустившегося нам доказывать на основании данных, почерпнутых им у философа Лотце, что Гиппиус пишет невнятицу,— Брюсов, лоб сморщив и руки сложив, явил вид скорпиона, задравшего хвост и крючком черным дергавшего.

— «Вы,— нацелился он на Сергея бровями, вдавив подбородок в крахмал,— вы есть...» — вздрогнул от злости он, бросив какую-то резкость, определяя Сергея.

И снова откинулся — спиною в спинку; затылком — за спинку; казалось, блаженствовал злостью, метая глаза на нас, белые зубы показывая потолку.

И я ахнул: Сергей, бледный, бритый, вихром бледно-желтым метающий,— видимо, собирался ответить еще большей резкостью: оба, руки сложив на груди, вызывающе выпятились друг на друга.

Но тут Лев Кобылинский взорвался, как бомба; два «братца», обычно являющие только зрелище псов, закатавшихся с визгом в условиях перегрызания горла друг другу (за Шарля Бодлера брат Лев и за Лотце Сергей),— как затявкают оба, как вскочат восьмерки описывать вокруг стола, средь которого Брюсов, скрестив на груди две руки, являл вид скорпиона, дрожащего черным крючком, записывавшим восьмерки за братьями.

Редко, короткими всхрипами он их жалил, и жалил, и жалил, оскаливаясь и метая татарские очи на мать, на отца, на меня — в той же позе скрещения рук на груди; иногда он закидывал голову, с дикою нежностью жало всадив; и начинал перекидываться своим корпусом справа налево и слева направо, как бы приглашая всех нас упиваться блаженством: от вида укушенных братьев; и снова ужаливал их, блистал нам глазами без слов:

«Агония!.. Яд — действует!»

А Леонид Кузьмич Лахтин, малиновым став, свою голову, как у скопца, малобрадую, скорбно повесил; и носом уткнулся в стакан, глаза вылупил на загогулины скатерти, точно жучок, представлявшийся мертвым: ни звука, ни взгляда, ни вздрога губы!

Сути спора не помню; остался набор величайших бессмыслиц, выкрикиваемых и братцем Сергеем, безусым, безбрадым, и Львом Кобылинским, ставшим черным, подскакивающим и злым паучишкою; такие ж бессмыслицы стал выкрикивать Брюсов, ценитель поэзии Пушкина и критики Белинского:

— «Ха... Пушкин — нуль: перед Гиппиус?.. Фразой одною Ореус * побьет том Белинского [293]. А Николай Чернышевский есть... Ха...» **

Нежный взгляд (от иронии, от издевательства дьявольского) — на Сергея.

Все рты раззевали растерянно; даже Бальмонт присмирел, только Мишенька Эртель, пытаясь мирить разгасившихся спорщиков, поднимал от угла свой картавенький голос, подписываясь одновременно и рукой и ногой: под словами всех трех; да отец, вопреки ожиданью не бросившийся на подмогу братьям, сраженный дикою картиною спора, побившего все рекорды, как знаток *«в сих делах»*, подпирал очки, с видом, каким наблюдают сраженье тарантулов в банке, поставив ее пред собой и весьма наслаждаясь.

С лукавством оглядывал нас, приглашая к вниманию, как бы восклицая:

— «Прекрасные-с спорщики!»

Спор — в его стиле!

Вдруг Лахтин — жучок, представлявшийся мертвым,— взлетел и, едва попрощавшись с отцом, свою голову скоп-

---

* Ореус — фамилия поэта, писавшего под псевдонимом Коневского; в начале века.

** Брюсов сам отмечает в «Дневниках» свою склонность говорить «нарочно» [294].

ческую бросил носом в пол; и — прочь, к двери: ни звука, ни взгляда, ни вздрога губы! Он — исчез. Увидавши тот жест, Кобылинские — тоже в двери за ним: ни с кем не простившись, наткнувшись в передней на тройку веселых, вполне добродушных и запоздавших блондинов; как ангелы мира, они вошли в дверь: Поляков, Балтрушайтис и Перцов, в Москве оказавшийся.

Вечер окончился очень приятно; В. Я. Брюсов, став тих, как овечка, проворкотал на прощанье отцу что-то очень приятное; он мог быть шармером: старушек пленял, воркоча им под ухо баллады Жуковского; отец, пленившийся декапитированьем двух гораздых до спора бойцов, свои руки развел, проводив «декадента»; с лукавым довольством покрикивал нам:

— «Этот Брюсов — преумная, знаешь ли, бестия!»

Точно присутствовал он на турнире, где Ласкер Чигорина и Соловцева (партнеров отца) уничтожил.

И думалось:

«Ну, пронесло!»

На другой день — письмо В. Я. Брюсова: матери: он просил его извинить в том, что был в ее доме он очень груб с Кобылинскими: «Но эти братья — несносные братья»,— запомнилась фраза письма;[295] я о них беспокоился мало; им подобного рода спор — был нипочем; каждый день они где-нибудь бились.

Гроза для меня надвигалась: государственные экзамены!

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Весна 1903 года отметилась мне изменением облика; всюду запел, как комар, декадент; стаи резвых юнцов, как толкачики, борзо метались в «Кружке»; расширялись заданья издательские «Скорпиона»; уж «Гриф» тараторил весенней пролеткой от Знаменки; три объявились поэта: Волошин, Блок, Белый; четвертый грозил появиться в Москве: Вячеслав Иванов; Бальмонт, появясь, запорхал по Арбату; В. Брюсов писал в «Дневниках»: *«Познакомился с... Ремизовым»* — и еще: *«У меня был Леонид Дмитриевич Семенов...»* Брюсов писал из Парижа о встрече своей с Вячеславом Ивановым: *«Это настоящий человек... увлечен... Дионисом...»;*[296] студент еще, Зайцев, Борис Константинович,— объявился писателем.

Литературные поросли!

И начиналось решительное изменение вида тогдашней Москвы: уже трамвай проводился; уже ломались дома; появились, впервые, цветы из Ривьеры; являлась экзотика в колониальных магазинах: груды бананов, кокосов, гранат; появились сибирские рыбины странных сортов; населенье — удвоилось; запестрили говоры: киевский, харьковский, екатеринославский, одесский.

Уже разобщенность кварталов сменялася их сообщением: пригород всасывался в центр Москвы; тараракала громче пролетка; отчетливее тротуар подкаблучивал; вспыхнули вывески новых, глазастых кофеен; и скоро огнями кино, ресторанов и баров должны были вспыхнуть: Кузнецкий, Петровка, Столешников и Театральная площадь, где новоотстроенный дом «Метрополь»[297] должен был поразить москвичей изразцовыми плитами: Головина.

И родимый Арбат не избег общей участи: переменялся и он; еще — тот, да не вовсе; дома, формы — те же, а не с тем выражением окна смотрели вчерашних дворянских построечек на раздувавшихся выскочек, новые постройки, покрытые лесами; домочки вчерашнего типа — «Плеваки», «Бугаевы», «Усовы» и «Стороженки»; недавно — какой-нибудь эдакий двух-с-половиной-этажный фисташковый «крэм», «Алексей Веселовский», пузатоколонно зачванясь кудрявыми фразами кленов, его обстоящих, беседу вел с флигелем «кафэ-брюлэ», «Стороженкой» пустейшими грохами старых пролеток; с подъезда же два лакея тузили ковры выбивалками: «У Грибоедова... Топ-топ... У Батюшкова». Дом напротив, с угла, «Николай Ильич»,— спорил («Шаша-антраша» *) — шумом кленов; «тара-татата: прочитайте Потапенку»,— говорил он громом пролетки.

Теперь особняк «Веселовский» был стиснут лесами домин «Рябушинского», с розой в петлице, желавшего вещать с трубы семи-шестиэтажного дома: «Потапенко, Батюшков?— Эка невидаль: я вам Уайльдом задам: по задам!»

«Николай Ильич» — сломан был: яма разрытая — вместо особнячка; так дворянско-профессорский, патриотический, патриархальный уклад отступал пред капиталистической, шумной, интернациональной асфальтовой улицей; Прохор, единственный наш всеарбатский лихач (*«Со мной, барин, Борис Николаевич: Боренька-с»*), вы-

---

* Шутливая поговорка Стороженки, обращаемая им к нам, когда мы были детьми.

теснен был раззадастою стаей лихих лихачей, ограблявших прохожих: у «Праги» *.

Пропал вид размашистый, провинциальный; центр переполнялся коробочным домом о пять и о шесть этажей; угрожал стать собранием грубых кубов: с трубами (кубы да трубы).

Прошло пять-шесть лет: и зафыркали всюду авто; пробежали трамваи; пропала исконная конка, таскаясь еще по окраинам; и трухоперлый забор, выбегающий острым углом между двух перекрещенных улиц, исчез — на Мясницкой, на Знаменке; клены срубились; витрин электрический блеск, переливы пошли; и — сплошная толпа, под зеркальной витриной — с муарами, с фруктами, с рыбинами; везде — ртутный свет, синий свет, розовый, белый, как день! И квадратные колесоногие туловища с колесом впереди и с клетчатой кэпкой шофера явились перед ресторанами; черт знает что: не Москва!

Такой стала она: через пять-шесть-семь лет!

И такой начинала она становиться уж в 903 году, выпуская на улицы даму в манто, обвисающую от плечей дорогими мехами и перьями, падающими от затылка ей за спину, почти до места, недавно турнюром украшенного: он — исчез.

. . . .

Незаметно зима убежала; *Страстную* неделю пролетка пробрызгала лужицей; с первою пылью и с первою почкой — расхлопнулись окна; и красные жерди набухли; и барышня шляпкой на крыльях,— на птичьих, на крашеных, красных,— летела, как сорванный с ниточки газовый шарик, с *«лала́»* да *«лала́»;* и глазенками милыми сопровождала весенний мотивчик, певаемый в дни, когда почки щебечут: про свой листорост.

Весна плодотворна приплодом — коров, поросят, настроений и рифм, и чириков из кустика, и чижиков бледно-зеленою песнью: из пресненских садиков.

Все покупали по тросточке, чтобы коснуться земли: окончанием тросточки, точно протянутым пальцем; а двух пяток — мало; тоска: о взыскуемой пятке, о третьей, есть тросточка; мысль эту мне развивал убежденно Сергей Кобылинский, ее прочитав: у философа Лотце.

. . . .

Запомнились мне почему-то весенние дни пред экзаменами, когда, сидя над книгою, ловишь ввеваемый воздух: из

* Ресторан на углу Арбата и Арбатской площади.

форточки; где-то затрыкало томной гитарой про очи, про черные;[298] и уж глазеют в зажженные окна: влюбленно и нежно; и кажется: эти два домика, вдруг побежав от заборов своих,— подбегут: поцелуются; даже из окон подвальных, откуда людей не видать,— а видать сапоги,— быстро выфыркнет кот: разораться над крышей.

Гармоника где-то рассказывает о таком о простом, о знакомом: и в ней — что-то страстное, страшное.

Видно, весною и любят и губят.

Меня ж погубили экзамены.

Глава третья

РАЗНОБОЙ

ЭКЗАМЕНЫ

Государственное испытанье на физико-математическом факультете — это не шутка. Но — смерть Соловьевых, знакомства, журфиксики, лирика, страх за отца,— словом: все полугодие я не работал: в музеи свои не ходил, костяков не ощупывал.

И что там мнемоника![1]

Отец особенно за меня волновался:

— «Ты, в корне взять,— ведь весь год, в корне взять».

И шел, охая, от меня, и помахивая рукою; я же знал, что значило в «корне взять»: в корне взять — не учился.

А то, шагая со мною, издалека наводил меня на мысль об экзаменах:

— «Ну там, решил, что литература... Писатель, ну там»,— и поглядывал сквозь очки с добродушною болью; с надсадкой прикрикивал:

— «Естествознание, мой дружок, всегда пригодится... Впрочем, я... Как знаешь сам».

Эти внезапные подходы ко мне с внезапным отскоком: меня волновали.

Я, как географ, был должен налечь на метеорологию, на географию, на динамическую геологию; знал из последней отдел о размыве; как специалист, мало знающий свои науки и знающий более химию, не относящуюся к специальности, чувствовал очень неважно себя.

Ряд томов: толстый «Паркер» *, «Сравнительная анатомия» [2] или — 500 с чем-то, почти что петитом, страниц, переполненных схемой скелетов, не одолеваемых памятью: без изученья в музее; не вызубришь и геологии — два толстых тома: 500 страниц том динамической, одолеваемой

* Учебник.

просто; 500 — исторической, с перечислением пластов друг под другом: по странам, периодам; к ним — ископаемые организмы, находимые в каждом; метеорология, или учебник Лачинова[3],— тоже 500 страниц; кажется, что зоология, или учебник Бобрецкого[4],— тоже 500; анатомия и физиология тканей растительных, химия и физиология;— курсы отдельные.

Я ощущал: стрекозою пропевшей всю зиму себя[5].

Уж уехала мать; мы с отцом проживали в чехлах; он ослаб: задыхался, томился в своем полотняном халатике, хватался за пульс. Как тут работать? А надо.

Подставивши спину друзьям, я уселся за Паркера: Мензбир, гроза,— не щадил; до первых экзаменов я изнемог, кое-как одолевши программу, которой один лишь билет, череп рыбы костистой, преследовал бредом.

Одно облегчало: экзамен — за письменным следовал; к письменному не готовились; время же — давалось: три дня; этот письменный — форма; тетради ответов хранились под спудом года; с них и списывали; взяв билет, отправлялись к студенту с тетрадками (свой — в каждой группе); взяв стереотип, с него списывали; это делалось перед комиссией, молча глаза опускавшей; Анучин просил: до экзамена: «Дали бы мне посмотреть трафареты: в них вкрались ошибки; весьма механически списывают».

Получив свой билет,— «Дождь, град, снег, гололедица»,— переписал на «весьма».

Испытание письменное выручало: семь дней подготовки; и я, к изумлению, курс анатомии все ж одолел, педантичнейше следуя методу запоминанья, который придумал себе: перед каждым экзаменом засветло я раздевался, как на ночь; и мысленно гнал пред собою весь курс; и неслись, как на ленте, градации схем, ряби формул; то место в программе, где был лишь туман, я отмечал карандашиком; так часов пять-шесть гнался курс; недоимки слагались в списочек; в три часа ночи я вскакивал, чтоб прозубрить недоимки свои до десятого часа, когда уходил на экзамен; вздерг нервов, раскал добела ненормально расширенной памяти длился до мига ответа; ответив, впадал в абулию:[6] весь курс закрывался туманом.

— «Я не терплю этого декадентишки»,— Сушкин шипел про меня: до экзамена; *«тройка»*, полученная у него,— мой триумф!

Вспоминаю стол, крытый зеленым сукном, над которым, как мертвая морда мартышки, помигивала голова Тихомирова, ректора, спрашивавшего пустяк и с «весьма»

отпускавшего; вот голова, как гориллы, М. Мензбира — с зеленоватым лицом, с черным встрепом волос; точно лаялся он на студента, неслышно бросаясь вопросами; около него — широкоплечий, матерый, совсем полотер в пиджаке, без студента тоскующий Сушкин, доцент-ассистент; он кабаньими глазками ищет себе подходящую жертву из тех, кто, стащивши билетик, готовится за малым столиком, пережидая, когда Тихомиров отпустит студента: бросались к нему чуть не по двое; шли и к Мензбиру, который — опасен; а Сушкин без дела сидел: от него все улизывали; кого сцапывал, с тем пыхтел долго; тяжелое, одутловатое, красное, точно в подтеках, лицо; губы, ломти, в светлявой растительности, передергивались и кривились; мясистый, багровый носище; и — сентиментальные, злые глазеночки: не то гусиные, не то кабаньи!

Я, взявши билет (полость носа у млекопитающих), ахнул от радости: без подготовки мог жарить; моргал очень весело на заморгавшего Сушкина, ждущего жертвочки; Сушкин меня поманил: «Не угодно ль со мною?» Я пошел. Тотчас мордища вспыхнула адскою радостью, уже не пряча намерений.

Сев рядом с ним,— забарабанил; он слушал доклад о строеньи носов и ноздрей: у ланцетника, рыбы, рептилии; когда я дошел до лягушки,— прервал:

— «Ну, а как развиваются ноздри зародыша?»

Я проглотил свой язык: это ж не анатомия,— а эмбриология, нами не пройденная! Даже Паркер молчит в этом пункте; вопрос повисал без других, наводящих; я импровизировал, но где ж нам знать. Мы Огнева не слушали. Дьявольски перетирая ладонями, Сушкин к вопросу прикалывал; и, веселясь красным носом, с пошипом бросал полуфразы: невежда, папашин сынок; выражаются членораздельно и внятно (намек на «Симфонию»); я знал, что проваливаюсь: по огневскому курсу; отец — председатель; и — жаловаться невозможно. Сушкин это учел; даже если позвать председателя, этот доцент будет ставить вопросы: на грани непройденного; спец сумеет всегда провалить; этот даже не валит, а рушит; мы зловеще молчали; и даже Мензбир удивлялся молчанию, вытянул губы под ухо мучителя; они шепталися.

Сушкин с издевкою повернулся ко мне:

— «А ну-с»,— перетер свои руки он, под потолок перемигивал.

И мне мелькало: «Сейчас доконает он черепом рыбы костистой!»

— «Валите об артериальной системе зародыша в соотношении с матернею системой и об утробном дыхании».

Головоломка не хуже костистого черепа! Этот вопрос попал в список моих недоимок; и спец на вопросе подобного рода собьется; я шептал: под зловещий посапик: ни звука в ответ, когда я замолчал; помолчав, продолжал; и мелькало: вру, вру?

— «Так-с!» — и *«три»* вковырнулося; замысел Сушкина рушился.

Двадцать семь лет содрогаюсь я, припоминая получасовое знакомство свое с *«академиком»* Сушкиным; * а через месяц уже, обсуждая кончину отца с Тихомировым, я пережил неприятный момент: Тихомиров, взглянув на меня, удивил вопросом:

— «А что у вас там приключилося с Сушкиным?»

Стало быть,— был разговор обо мне! Но... но... что мог ответить я *«превосходительству»*, ректору, врагу Мензбира и, стало быть, Сушкина? Ответ обернулся б доносом; и я — промолчал; Тихомиров отметил молчанье пожимом плечей:

— «Странно,— он закосился на рой шелковичных червей на отдельном столе, копошившихся из листьев скорционера ** [8],— вы мне отвечали отлично».

Отличный ответ — зоология: те ж костяки, но в ином освещении.

И физиология шла на «весьма»; Лев Захарович Мороховец читал анекдотически; шумный, безбрадый кругляк перещелкивал пальцами над зарезаемой в жертву науке собакою, руки простерши с веселеньким криком: «Бедняжечка,— мы перережем ей нерв!» Он являлся на первую лекцию в сопровождении двух служителей, с охом, кряхтом тащивших носилки с томинами; руки к носилкам, с приятным расклоном кидал:

— «Господа,— полный курс физиологии».

Рявк, полный ужаса!

С новым подщелком подскакивал к столику; и на трехтомье показывал:

— «Это — ракурс курса!»

Вздох облегчения!

— «Но можно сделать ракурсик ракурса,— он схватывал том Ландуа [9].— Я читаю вам в этих пределах».

Рявк, полный веселости: аудитории!

---

* *Сушкин стал академиком* [7].

** *Листьями скорционера питаются эти черви.*

— «А для экзамена,— схватывал тощую книжицу и потрясал ей к восторгу всех нас и себя самого,— это вот!»

Да и в книжицу всыпал-таки анекдотики; так что беседа моя о лоханочках почечных с ним — взрывы хохота.

Пятиминутное же посиденье с профессором химии Н. Д. Зелинским, которому сдал я экзамен на право зачислиться в лабораторию еще прежде,— приятное дело; меня, побеседовавши, отпустил: при «весьма»; с Тимирязевым тоже мы кончили быстро («весьма»); впечатленье от Сушкина сгладилось; а впереди два не страшных экзамена: метеорология и география — вместе; Лейст, дураковатого вида бородач, говоривший с акцентом, устраивал перед экзаменом свой семинарий; взяв в руку программу, ее излагал, представляя студента, «весьма» получающего; записавши немногие трюки,— справлялись легко.

На беду, оказались в Москве Мережковские;[10] мои свиданья с ними упали в часы семинариев; видеться ж — должен был; все же попав на один семинарий, прослушавши два-три билета, стал тихо выкрадываться; Лейст, увидев меня, отвергающего его помощь, узнавши, в глубоком молчании сопровождал меня мстительным взглядом; я понял: уход отольется; Лейст принадлежал к зубы скалившим на «декадента»; и кроме того: зуб имел на отца — за подтруниванье: де Демчинский обставил Эрнеста Егорыча в «Климате»; * профессор отнесся всерьез к этой шутке.

Уход с семинария, шутка, «Симфония»,— все отлилось; и «барометр», билет, уже сданный когда-то профессору Умову, не облегчил: побеждая в труднейшем, на легком мы ловимся; Лейст перепутывал брошенным роем вопросов, рыча, не давая мне сообразить: выбивая вопросом вопрос, он в вопрос выбивающий третьим вопросом валил с потрясением мстительным волосяного покрова.

— «Вы думаете, что на *«тройку»*?.. Я вас поздравляю... Пусть кто-нибудь ставит: не я-с... Ну-с?.. Вода-с закипает при скольких же градусах?.. А?»

— «При нуле!»

Тут вскричали, кидаясь друг к другу и перебивая друг друга: обмолвка, сорвавшаяся с языка,— не ошибка; а он утверждал, что — ошибка; так, бросив «барометр», пустились исследовать принципы знанья и «нуль», пока в спор не вмешался патрон мой, Анучин, уже отпустивший студента и ухо придвинувший к нам; и к нему я и Лейст по-

---

* Метеорологический журнал, издававшийся в 1902—1903 годах [11].

валились на грудь; Лейст с *«нулем»;* я же — без; а Анучин, хватаясь за красный свой нос, пометался меж нами лисичьими глазками, слушая с полным неверием: Лейста, меня. Лейст зафыркал:

— «Так экзаменуйте его: я — отказываюсь!»

— «Ну-ка, что у вас там? — добродушно отшмякал губами Анучин.— Барометр? Рассказывайте!»

Я прекрасно ему рассказал то, чего не мог высказать Лейсту; он с той же ленцою прошмякал вопросами по географии: что-то о градусной сети Меркатора [12], о цилиндрической сети, конической; факт отвечанья ему по чужому предмету, свидетельствуя о сплошном обалдении Лейста меж *«двойкой»* и *«тройкой»*, Анучин решил: ну, допустим, что метеорология — *«два»;* география — *«пять»*, «два» плюс «пять», разделенные на два предмета, есть общая *«тройка»*.

— «Согласны?»

— «Пусть так!»

С облегчением шел я домой; дома — казус; отец: как барометра не понимать? Лейст — дурак!

— «Метеорологи — разве ученые-с? Лунные фазы Демчинский учел... Бородач — не учел-с!» — он кричал, задыхаясь; до смерти покрикивал:

— «Вот геология,— дело иное: наука... А метеорология — что-с — ерунда-с! Бородач этот думает... А?.. Скажите?»

Последняя ставка — палеонтология и геология: Павлову; я не боялся: и все ж не хотелось при *«тройке»* остаться; я Павлова знал; он связался от детства с подарками, американскими марками: мне; подготовка — достаточная все же: предмет — два предмета, иль 1200 страниц; из них минимум страниц 500 — перезубр: для не спеца.

И я и отец расклеились: я — от своих опытов с памятью; он — от толканья экзаменов в двух отделеньях его факультета; экзамены у математиков — раз; у нас — два; там он казался таким молодым и здоровым, а дома — синел, иссякал, задыхался, хватаясь за пульс; Кобылинский позднее рассказывал мне:

— «Забегаю,— тебя дома нет; Николай же Васильич, в халатике, жалуется: «Душит, вот!» — и бьет в грудь».

Мне — не жаловался, видя, как я измучен; и гнал все от книг:

— «Брось, брось, Боренька, шел бы к Владимировым!»

И я шел — на час, на другой: поразвлечься эскизами друга, романсами Анны Васильевны; в то время Владими-

ровы переселились в Филипповский, что при Арбате; в университет мой путь лежал мимо них; и перед экзаменами, утром, я заходил за В. В.; его мать отправляет, бывало, нас:

— «Ну, сынки,— в путь-дорогу!»

И высунется из окна, и махает рукою, и ждет возвращения; на экзамене, отделавшись раньше Владимирова, жду его; и оба мы ждем разрешения участей А. С. Петровского, А. П. Печковского, С. Л. Иванова и черноусого, злого от страха Вячёслова; зубы подвязывал он; и, держась за живот, наседал на отца: непременно провалится он; отец журил этого черноусого мужа, едва ль не толкая к столу:

— «Не имеете мужества, ясное дело, порезаться?.. А еще муж!..»

И следил, из-за кучки студентов топыря свой нос, как Вячёслов зарезывается; оказалось: не резался он; и отец мой встречал поздравительным рявком его:

— «Сами видите, а — говорите!»

Так страхи Вячёслова, судорожное заиканье Петровского и глуховатость Печковского ведомы были отцу; я, бывало, едва мигну ему на Печковского, вспухнувшего и конфузящегося признаться в своей глухоте, как отец, уже тарарахая стульями, гиппопотамом несется к столу, чтобы экзаменатору в ухо вшепнуть с громким охом:

— «Он — глух-с: вы бы, батюшка, громче его!»

Вот отпущен Печковский; и мы несемся галопом кентавров в Филипповский, где ожидают — чаи, Митя Янчин, студент-математик, ждет: «Как сладко с тобою мне быть», романс Глинки.

Вот палеонтология и геология: *«пять»*, а отец, засиявший от радости, руки разводит:

— «Ну, Боренька,— и удивил ты меня: таки эдакой прыти не ждал от тебя; ты же, в корне взять, год пробалбесничал; прошлое дело!.. Диплом первой степени — все-таки-с![13] Ясное дело: да-да-с!»

СМЕРТЬ ОТЦА

На другой день отец объявил, что он едет со мной на Кавказ: полечить свое сердце; и кроме того: у него был участок земли вблизи Адлера; участок тогда — пустовал; четверть века назад раздавала казна почти даром участочки профессорам; «тоже — собственность»,— иронизировал годы отец; но проект черноморской дороги взбил цены на

землю; отец торопился участок продать; сердце екнуло у меня; я понял намерение: чувствуя смерть, нас хотел обеспечить;[14] и вот загорелся: скорей на Кавказ! Я был в ужасе: в эдаком-то состоянии? Доктор Попов, друг отца, покачал бородой: «Поезжай, брат, в деревню!» Прослушавши сердце отца, он — такой весельчак — мрачно крякнул; рукою — по воздуху: «Плохо!»

Услышав, что плохо, отец заспешил: все описывал горы, Душет, где родился; мне думалось: просится в смерть.

В эти дни говорил с сожалением:

— «Долго, голубчик мой, ждать окончания курса; да и — труден путь литератора: существовать на строку! Это, ясное дело,— разбитые нервы; Петр Дмитриевич Боборыкин талант потерял; стал журнал издавать; просадил двести тысяч, чужих; и выплачивал долг лет пятнадцать: романами; выплатил — ценой таланта; да-да-с! Что же это за путь? Притом, Боренька,— бегал в испуге глазами он,— твоя-то ведь литература для кучки; ну где ж тут прожить? Измотаешься!— Вдруг просияв:— Облегченье мне знать, что естественный кончил ты; как-никак, а — диплом есть; в крайнем случае вывернешься!»

Вдруг забыв, что еще я студент, он к портному тащил, мне заказывать партикулярное платье: «И осенью-с — фрак: молодой человек — да-с — иметь должен — фрак-с, шапоклак-с!»[15]

— «А зачем?»

— «Так-с! Все может случиться»,— и глазки опять начинали испуганно бегать.

А мне сердце щемило: он хочет при жизни, пока деньги есть, обеспечить меня одеждой; не верит в «студента»; и знает, что смерть у него на носу.

Разговоры, поездки к портному и сбор — меж экзаменами; математики еще не кончили; да и дипломы еще не подписаны им; я в ожиданьи сидел вечера у Владимировых; возник план: покататься на лодках в Царицыне; были: Владимиров, А. П. Печковский, Погожев, Чиликин, Иванов; каталися блещущим днем по прудам; по развалинам лазали; тешились перегонками; но сердце екало: «А что с отцом?» Стало ясно: припадок, последний! Он — ждет там, а — я?

— «Да что с вами? Оставьте!»— бурчал мне Владимиров; но я спешил и засветло все же вернулся; звонил с замиранием сердца; отец отворил:

— «Что ж ты так мало гулял?»

Он шел в клуб.

На другой день, под вечер, ушел на последнее он заседание, где прозаседал часов пять; подписал нам дипломы; к вечернему чаю пришел Василий Васильич Владимиров; невзначай завернул Балтрушайтис; в двенадцать — звонок: отец — тихий, усталый, задумчиво-грустный; и в клуб не пошел, изменяя привычке; уселся в качалку в сторонке от чайного столика, тихо раскачивая головою одною ее, благосклонно прислушиваясь и не вмешиваясь; он смутил Балтрушайтиса, тоже — когда-то студента-естественника.

Гости к часу ушли; мы с отцом побеседовали; он продолжал тихо радоваться, просияв не без грусти и превозмогая усталость; я поцеловал на прощанье его; он сидел в той же позе, в качалке, раскачивая подбородком ее; я в дверях на него обернулся; и — видел: тот же ласковый взгляд и кивок,— как прощальный, как благословляющий грустно, как бы говоривший: «Иди себе: путь жизни труден!»

Часов эдак в пять просыпаюсь; и не одеваясь — в столовую, чтоб посмотреть на часы; возвращаясь к себе коридором, я видел в открытую дверь кусок комнаты; в нем фигурочка в белом халатике: сгорбленно ложкой в стакане помешивала: «Принимает лекарство!» Не раз я утрами отца заставал копошащимся: все не спалось.

Я лег: и — заснул.

Мне привиделся сон: кто-то стонет; я силюсь прервать этот стон; но свинцовая тяжесть как валит меня; стонали ж все жалобней: недопроснуться! Вдруг — с постели слетел, не во сне, потому что хрипели ужасно! В отцовскую комнату бросился!

В том же своем затрапезном халатике, одной ногой на постели, другой на полу, запрокинулся он, отсидевши, как видно, припадок, который пытался лекарством прервать; я склонился к уже не внимающим полузакрытым глазам; хрипом дергалась грудь.

— «Папа...»

Грудь передернулась, грудь опустилась; пульс едва теплился: кончено; вынесся к спящей кухарке: «Попова!» Но не для спасенья, а — чтобы быть с ним вдвоем, без свидетелей; сам запер дверь; в кабинетик вернулся; сел у изголовья: не стало его; а лежит, как живой! Засветилось лицо, как улыбкою сквозь кисею; продолжала по смерти свершать свою миссию светлая очень, шестидесятишестилетняя жизнь: утешитель в скорбях! Было строго и радостно, будто он мне говорил выраженьем: «А ты не тужи:

надо радоваться!» И в последующей суматохе мне было уже не до прощанья, которое стало в годах мне — свиданьем по-новому: встречей с живой атмосферой идейного мира его[16].

Было странно сидение сына в восторге над прахом отца, когда доктор Попов влетел в дверь.

— «Ну, я этого ждал»,— мне отрезал он скороговоркой.

— «Я тоже!»

— «За партой сидели: пятидесятипятилетняя дружба! Мужайтесь!— хватил по плечу.— Мать в деревне? На вас это свалится!» — хлопнул меня он с прирявком веселым; и бросился в двери; в дверях поперхнулся рыданьем; в дверях же стоял в сюртучке человечек с пристойною маской: *«Бюро похоронных процессий»*. Каким нюхом вынюхал? Вел себя точно хозяин.

Я с этого мига — ни свой, ни отца: добывание денег (две тысячи, спрятанные в толстый том, лишь через полгода мне высыпались), ряд расчетов — кому, что и сколько,— отчет Тихомирову, сколько истратил: университет хоронил; выбор места могилы; и переговоры — с монахинями, с хором, с причтом, встречание профессоров, из которых иные мне совали два пальца и били глазами в ланиты, как будто отца укокошил; меня оттесняли от гроба, как вора, забравшегося не в свой дом, а не того, кто из нашего дома мог этих невеж удалить. Не до этого было мне: где-то за спинами их карандашик губами замусливал, счеты сводя, чтоб не думали, что я копейки университетские стибрил.

Мой дядя, Георгий Васильич, страдавший ногами, не мог мне помочь, удивляясь моей расторопности, все-то сражаясь с Петровским за шахматами, едко фыркая с ним на неискренних пыжиков, свои венки возлагавших.

Волновало: приедет ли мать? Телеграмма, что *«еду»*, пришла; ее ж — не было.

Вынос: десятки венков, над седыми волосами, над краем перил, как над беэдною,— куча цветов золотого, открытого гроба — с тем самым лицом. Мать? Не поспеет! Когда гроб выносили в подъезд, я увидел, как с плачем слезает под черными крепами мать с лихача, обнажившего голову; и — прямо в церковь. Я до опускания гроба не шел по стопам «дорогого покойника», ежеминутно слетая с кареты, носясь и туда и сюда: не забыли ли этого, то ли в порядке? Стоял вдалеке, в посторонних зеваках, чтобы не видеть Лопатина, евшего гадко очками меня, и Церасского, блед-

но-зеленого, евшего тоже, когда поднялась над холмом треуголка дрожавшего всхлипом своим попечителя округа; и столь знакомое с детства лицо, желто-одутловатое, помесь хунхуза с поэтом Некрасовым, хрипло сказало надгробное слово.

Но с того дня на закате ходил в монастырь, чтоб сидеть перед еще живыми цветами цветущей могилы, едва озаряемой вспыхами маленького темно-розового фонаречка надгробного; мраморный ангел взвивал свои белые крылья с соседней могилы; я помнил романс,— тот, который певала нам этой весной моя мать; а отец, распахнув кабинетик, с порога прислушивался, подпирая рукою очки, а — другой, с разрезалкой, помахивая:

— «Хорошо-с: и слова и мелодия!»

И, засутуляся, шел затвориться.

Слова — неизвестного; музыка — А. С. Челищева, моего друга; и — ученика его; помнились строчки: «Над тихой могилою ангел молчанья стоял...»

Он стоял!

Здесь под ангелом, глядя на вспыхи лампадок, на ряд точно руки подъявших распятий, внимая звененью фарфоровых, бледных венков, я испытывал необъяснимую радость; мой спутник, склонясь локтями в колени, без шапки, твердил в розоватые зори стих Блока, написанный только что, столь мной любимый в те дни:

У забытых могил пробивалась трава[17].

Спутник — Л. Д. Семенов; он связан мне с тихой могилой отца.

ЛЕОНИД СЕМЕНОВ

Явился в день похорон[18]. Мы с матерью вернулись из монастыря; позвонили: в дверях — худой, загорелый студент с шапкой темных курчавых волос; лицо тощее, острое; усики, помесь румянца с загаром; схватяся за маленький усик и сдвинув густые, нависшие брови, назвался Семеновым: от Мережковских, с письмом; и так близко сидящими карими глазками щупал меня; твердо сжатые, жесткие губы!

Узнавши о смерти отца, он хотел ретироваться, но я задержал; улыбнулся; с насупом уселся; локтями — в колени; и, доброе что-то оспаривая в проявленьи своем, завертевши картуз и глаза опустивши, баском выроკаты-

вал суждения о Мережковских; и встряхивал шапкой каштановых темных волос; он казался бы здоровяком, кабы не худоба.

Наконец поднялся он прощаться; когда подал жаркую свою сухую ладонь, то опять промелькнула улыбка, исчезнув в насупе бровей.

Он ходил ежедневно; и стал моим спутником в ежевечерних прогулках: к могиле отца.

Он углил подбородком, локтями, бровями, заостренным носом, всем тощим и строгим лицом своим; резал сухим, ломким, точно стекло, интеллектом; но сдерживали: петербургская стать и печать общества, в среде которого рос (сын сенатора)[19]. И казалось, что он — демагог и оратор, углами локтей протолкавшийся к кафедре, чтобы басить, агитировать, распространять убеждения — месиво из черносотенства, славянофильства с народничеством; он выдумывал своих крестьян и царя своего, чтобы скоро разбиться об эти утопии, ратовал против капитализма; дичайшая неразбериха; не то монархист, а не то анархист!

Резко подчеркивал аполитичность мою, опустивши глаза, перетряхивал темной шапкой волос, развеваемых ветром, бросая в даль улицы тощее, перегорелое, с ярким румянцем лицо: он ходил непокрытым, таская часами меня по переулкам и улицам, в роли наставника, руководителя, организатора моих общественных взглядов бил точно углом чемодана, рассудочно взваленного на плечо; а когда я бросал в него резкостями, он хватал меня за руку и начинал улыбаться по-детски, бася:

— «В сущности,— мрачно басил, опуская глаза, перетряхивая темной шапкой волос, развеваемых ветром,— мне очень чужда ваша аполитичность, чужда ваша литературная группа: люблю я замешиваться в толкотню, биться за убеждения, разубеждать, убеждать, а вы держитесь замкнуто; месиво жизни вам чуждо»[20].

Я ему возражал; он толкался, как локтем, упористым мнением; и порывался тащить меня в несимпатичную смесь черносотенных домыслов, странно окрашенных уже тогда анархическим буйством.

— «Мережковские, вы, Блок — мне чужды».

Меж тем — видел я: Мережковскими был он захвачен; и скоро уже обнаружилось: Блока считал он единственным, неповторимым поэтом; позднее он выпустил книгу стихов — недурных; и — под Блока[21].

Меня раздражало его самомненье, желание стать моим руководителем, организатором политических мне-

ний; огромнейшее самомнение перло из его слов на меня; ими бил, как углом чемодана, некстати тащимого им на прогулке.

— «Если Блок, Мережковские, Брюсов вам чужды, зачем же вы ходите к ним? Не они к вам пришли; вы явились к ним; и почему вы явились ко мне и таскаете на прогулку меня; политические убеждения ваши бессмысленны».

И я приходил в настоящий азарт:

— «И идите от нас... И не надо мне вас»,— останавливался я на перекрестке, всем видом показывая: вам — направо, а мне...

Тут он хватал меня за руку; и начинал улыбаться, по-детски, бася:

— «Не сердитесь, простите!»

Я, насупясь, молчал; казалось, точно он на плечах тащил тюк, от которого сам же страдал и которым толкался; тюк — идея предвзятая: царь-де с народом, коли устранить средостение, произведет революцию; через восемнадцать месяцев он превратился в отъявленного террориста; он шел 9 января в первых рядах с толпою рабочих, чтоб видеть, как царь выйдет слушать петицию; шел как на праздник, чтоб видеть осуществленье идеи своей; когда грянули залпы, он в первых рядах был; кругом него падали трупы; он тоже упал, представляясь убитым; и этим лишь спасся; в течение нескольких дней он переродился; скажу, забегая вперед, что я видел его в эти дни, оказавшися в Петербурге; он был как помешанный; эдакой злобы ни в ком я не видел в те дни; в течение нескольких дней бегал он с револьвером в кармане и жертву из светского круга себе выбирал; и его разбирало убить кого попало; но и тогда, когда он ощутил вдруг эсером себя, я не знал, что сильней возбуждало в нем ярость: расстрел ли рабочих, расстрел ли дичайших утопий его о царе и народе.

З. Н. Гиппиус говорила:

— «Рехнулся Семенов».

Я видывал, кажется, у Сологуба его: он сидел, суглив корпус, и с тем же насупом презрительным слушал левейшие для радикалов высказыванья; они ему жалкой казалися болтовней; он хотел немедленного ответного действия: бомб, взрывов; и обливал всех презрением.

В эти дни проживал с Мережковскими я; Леонид Семенов, растерзанный, дикий, в пальто, раз влетел в мою комнату; вывлек из дома; таскал по Летнему саду, рассказывал, как он на лестнице где-то встретился с князем ве-

ликим Владимиром-де, совершенно случайно, один на один; инстинктивно схватясь за карман, хотел выхватить свой револьвер, чтобы выстрелить; а Владимир откинулся, по его словам, устрашась инстинктивного жеста; он же, увидя Владимира беззащитным,— он-де... не мог...

Трагедия этого неуравновешенного человека в том, что он убеждения свои на себя точно взваливал; не вырастали они органически; он подбирал их, таскал, с охом, с кряхтом; он не понимал: убеждения вырастают естественно, точно цвет из питающей почвы; у него же и почвы не было.

Уж в октябре 905 года мы вместе толкались на манифестациях; он появлялся у нас, «аргонавтов»; ему П. И. Астров понравился; он патетически с ним зауглил; он басил: «Как у вас хорошо!» Вместе цепь мы держали на похоронах Трубецкого;[22] толкался локтями, пихаемый справа и слева: толпой; перетряхивая темной шапкой волос, развеваемых ветром, меня поражая загаром румянца, басил на всю площадь Калужскую:

— «Как хорошо здесь толкаться со всеми: ей-ей,— держи цепь!»

Он внезапно исчез.

Разорвав со своим кругом, нырнул в агитацию; пойман был где-то в деревне; избит; посидел; и был выпущен; тут объявился последователем Добролюбова; пешком к Толстому пошел: наставлять; *«пристыдил»*, поразил он Толстого[23], который вздыхал, что ему не дана сила: быть с Добролюбовым.

А от Толстого явился в Москву; я едва в нем признал поражавшего некогда талантом студента; густая, всклокоченная борода, армяк, валенки; сел со мной рядом; насупясь, рассказывал, как батраком он работал.

Епископ Антоний, к которому он заходил, раздраженный упорством Семенова, едко его обличавшего, встал, указав на дверь кельи; Семенов же, супясь: «А я не уйду, пока вы не ответите толком!» Антоний — на ключ от него; а Семенов угрюмо сидел перед запертой дверью: час, два; наконец объяснились они; после он рассказывал с доброй детской улыбкой: «Антоний с размахом!»

И кончил Семенов трагически: ходили лишь темные слухи о том, что он пал жертвой кулацкой интриги (во время хозяйничанья белой банды) [24].

Наверно, в последней своей фазе остался таким же софистом напористым, с диким насупом, с сидящими узко сверлящими карими глазками, с дерзостным встряхом каштановой шапки волос; сухой огонь бегал в жилах,— не

кровь; восхищал прямотой; он, сжигая пылинку, сжигал вместе с ней и тулуп, на который упала она; а с тулупом сжигал он себя.

В ту весну поэзия Блока нас сблизила; Семенов ей подражал неудачно; таская меня по бульварам, Девичьему Полю, углил он размахами палки, фуражкою с белым чехлом.

Проходили с ним воротами монастыря, мимо красного домика в зелень, цветы, к белоствольным березкам на фоне зазубренных башенок; здесь он затихал; отдав кудри ветрам, расширял он глаза на градацию красных зубцов и на купол сверкающий розового и большого собора; мы садились на лавочку, чтобы помалкивать; делался нежным, внимательным, чутким; меня без единого слова как бы приводя в состояние светлой грусти о близком, утраченном друге, отце, он боялся спугнуть, понимая всю гамму волнений, мне веявшую от могилы; и то, чему как-то не вняли во мне Соловьев, Кобылинский, Петровский, Владимиров, внял этот странный, случайный пришлец.

Запомнился с ним разговор из одних междометий; прислушивались к фисгармониуму, из окна монастырского домика: кто-то там Баха играл.

Этот тихий Семенов, а не петербургский поэт, агитатор, эсер, добролюбовец, мистик, крестьянский батрак,— зажил в моей памяти.

«ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ»

В те дни получаю письмо от М. Н. Коваленского, ранней весною в «Курьере» ругавшего меня;[25] он, помня прошлые встречи, весьма сожалел, что не мог появиться на похоронах; но ему ли, *«врагу»*, быть со мною? Визит нанесли: Поляков, В. Я. Брюсов.

В деревню со мною и с матерью ехали: А. С. Петровский и В. В. Владимиров; так что июня семнадцатого мы оказались в знакомых полях[26], где усталость сказалась упадком; даже припадки сердечные мучили.

— «Бросьте»,— дымил в нос Владимиров, когда, бывало, в долгушке летели полями; закидывали пристяжные; мотал головой коренник; я — за кучера; но ни поля, ни друзья не развеивали моей грусти.

Как жить? Декаденты — разочаровали; друзья мои — противоречий клубок; я же, мнивший связать их в гармонию, себе виделся птицей, которую щука тащила на дно

и которую рак пятил вспять; те, кого я искал, обращались в ничто, которое мне виделось всем и которое я обещал зажечь в солнце; оно стало — толчками сердечными; не было у самозванца обещанных сил.

Мать меня убедила дать отдых себе, не смущать себя думой о заработке; стол, квартира, да несколько тысяч, да малый доход от учебников, от библиотеки, математической, проданной университету, да пенсия,— хватит![27] Я думал работать в «Весах»; и рассчитывал чтением лекций кой-что подработать; но лекции мне попечитель, хрипевший над гробом отца, запретил; а «Весы» мне платили копейками[28].

Все же мало я думал о хлебе насущном.

Налеты лирических волн меня охватили.

Встав рано, до трех отдавался двум «Критикам» Канта[29], приваливаясь на ходу к углу лавочки, чтоб пристрочить примечание; стал хмур; не бывал у соседей; отмалчивался от домашних, шагая под липами или отмахивая километров пятнадцать верхом, колеся надовражным крутым плоскогорьем, господствовавшим над огромными ширями, крышами дальних усадеб, лесками, деревнями, оку не видными, журчавшими на дне водотеков ручьями; только море колеблемой ржи, испещренной летящими пятнами, всплески волны о межу разбиваемых ветром колосьев.

Здесь продумано, писано все, что писал в те года; плоскогорие — точно крыша мне видного мира; пройди сто шагов по меже,— и все станет приземистым; двадцать шагов к дну оврага — ущелье, где можно махать километрами; все здесь механически как-то отвеивалось; ветер — ткани пространства, летящего времени; небо же — круговороты осей; там ландшафт, топография, взятая в астрономической памяти, скидывали мою строчку: со всех обывательских счетов.

Мне казалось: свою непокрытую голову я поднимал не под кровлю,— в пространство Коперника, где шторка, марево, сорвана, переживая не солнечный час, а скрещение зодиакальных времен; но то не было иллюзией; было жаждою убежать от «Критики» Канта.

После уже я Петрова-Водкина слушал, как он проповедовал свою «науку видеть» и учеников заставлял пережить восход солнца взлетанием грудью навстречу лучам, а закат — упаданьем спиною: назад.

И я — говорил себе: «Это ж мои упражнения в обсерватории тульской!» Там я пережил глубокую волну атмосферы — каскадом.

...Веков струевой водопад,
Вечно грустной спадая волной,
Не замоет к былому возврат,
Навсегда просквозив стариной[30].

Возврат, или суточный круг,— просто космографическое ощущенье вселенной; так казалось мне; под отдачей себя природе чувствовалась — та же болезнь сознания, тот же раздвой.

Так три месяца прожил, бродя по полям, вылепетывая свои строчки; оброс бородой; бросил шапку носить; стал коричневый весь от прожара; мне казалось, что солнце спалило с меня то моральное и физическое утомление, которыми сказалась Москва; шутка ли: за этот сезон — три смерти близких, государственные экзамены, которые напоминали взятие приступом твердынь: с ничтожными силами. Стоя посреди горбатых равнин и ища забвения, я часами изучал колориты полей; и о них слагал строчки; книгу же стихов назвал «Золото в лазури», «золото» — созревшие нивы; «лазурь» — воздух. Но стихи того времени — жалкий срыв:

Тот же солнечный древний напев,—
Как настой, золотой перезвон —
Золотых лучезарных дерев
В бирюзовый, как зовы, мой сон.

Тот же ветер столетий плеснул,
Отмелькал ожерельями дней,—
Золотистую лапу рванул
Леопардовой шкуры моей *.

Солнечный напев — шум в ушах от напева; никогда позднее лирическая волна так не переполняла меня; все, записанное мной в строках, вышло жалко; лучшие строчки не осадились строками; но можно сказать: ненаписанные строки «Золота в лазури» как бы вошли в меня; и лишь поздней, в правке «фиктивного», мной написанного «Золота в лазури» [32], отразились подлинные мои восприятия того лета: полей, воздуха, напёка, шума в ушах; и была какая-то отрава в немоте моей, в неумении сказаться; солнце и одаряло меня, пьяня; но солнечный перепой сказывался ядовито; и было — больно: так больно!

---

* Из стихотворения эпохи «Золота в лазури» в позднейшей редакции [31].

Вы — радуги, вы, мраморы аркад!
Ты — водопад пустых великолепий!
Не радует благоуханный сад,
Когда и в нем как в раскаленном склепе...

Над немотой запепеленных лет
Заговорив сожженными глазами,
Я выкинусь в непереносный свет
И изойду, как молньями, слезами.

Я — чуть живой, стрелой пронзенный бард —
Опламенен тоской незаживною,
Как злой, золотоглавый леопард,
Оскаленный из золотого зноя *.

Вне упражнений подобного рода в тень щелкавших, сухих акаций я шел с книгой Канта, застрачивая примечанья, стараясь осилить железный узор, переплет из понятий, чтоб, Канта поймав, на его языке отразить от себя его; сколько раз я проделывал это, как муха из сети паучьей стеная июльской жарой, чтобы лишь в 907 вырваться — в Риккерта, в Риккерте путаясь; только в 913 я из двойных сетей вырвался, чтобы в 915 уже спокойно увидеть, в чем Кантова сила и слабость.

В июле 903 года под формой борьбы с кантианством всосался в него; оно, став атмосферой, меня отравляло, как лирика.

И протекала двойная какая-то жизнь: взвив лирической пены; и — пряжа паучья понятий: в усильях сомкнуть ощутимые ножницы; новые выявились: в ощущеньи задоха от собственной мудрости и в ироническом смехе: над «только поэтом».

Зачем этот воздух лучист!
Зачем светозарен... до боли?[34]

Так «Золото в лазури» — боль бьющейся бабочки: в лапах мохнатых у Канта; рассудочность — боль, что — «поэт»: не мудрец!

Этот страшный расщеп воплощен в семилетьи ближайшем; что в 901 сомкнулось, то в 903 разъехалось; Метнер, читая мои стихи того времени, предупреждал об опасности, о ядовитости темы моей: «Этот яд врубелизма вас губит!» — он вскрикивал в письмах[35].

В 908 сознав до конца боль моей «светозарности», я выразил ее в лирических строчках: поэт склонен к Канту; настенная тень его, образом демона выпав с обой, про-

* Тоже поздняя редакция «Золота в лазури» [33].

сиявши, как пыль в луче солнца, указывает желтым ногтем на... Канта *. «Я» — муха; и «я» же — паук; субъект лирики и субъект мысли, схватясь, заплетясь,— истерзали друг друга.

С годами в сумрак отошло,
Как вдохновенье, как безумье,—
Безрогое его чело
И строгое его раздумье [37].

«Он» — демон критический, писанный красками Врубеля, иронизирующий над усилиями доконать его; Метнер, его подсмотревши во мне, все подчеркивал: Кант одолим не борьбой, а — вглубленьем в него, объективным разглядом; страсть к преодолению — рабство. На эту, тогда современную, тему мы с ним переписывались.

Переписывались с А. А. Блоком, который, еще до знакомства схватив тему «боли» во мне, посвятил строчки: «Кто-то»

...На счетах позолоченных
Отсчитал то, что никому не дано;
И понял — что будет темно [38].

ПЕРЕПИСКА С БЛОКОМ

Она началась с первых дней января;[39] чтоб понять ее правильно, надо увидеть рельеф, на котором стоял; философия от символизма на базе теории знания — «крэдо» мое; но я видел, что Блок спотыкается тут; не желая ему показать, что он плох как философ, я письма к нему наполнял сплошной лирикой, мучаясь, в этом занятии напоминая медведя порхающего; все же, заговори с ним серьезно о Канте,— конец переписке; и так уж вопросы к нему воспринял он схоластикой, не отличая ее от теории знания; после недаром писал: *«Не могу принять... теории познания (Белый)»* **.

Я с ним, человеком, знакомился в письмах; казался сердечным он мне; вне «теории» — корреспондент был умен, остр, свой стиль выявляя; я — нет; так что наши позиции в письмах отчетливо сталкивались; он писал всею открытой силою ума и открытою немощью «логики»; я ж заикался, не будучи в силах открыто сказаться; я — был дальновиднее; он же — честней; лейтмотив непосредст-

* «Урна». Стихотворение «Философическая грусть» [36].
** «Записные книжки» Блока, стр. 89 [40].

венности жив в его поворотах: в годинах; а мой лейтмотив — критицизм; он шипит на меня: символисты-де *«слишком культурные»* * (20 апреля 1907 года). Проходит пять месяцев, и — *«...не считаю... для себя... позором — учиться у Андрея Белого». «Бугаев глубоко прав, указывая на... опасность — погибнуть от легкомыслия»* **. Это в 907 году.

А уж в восьмом он опять протестует: *«С лучшими друзьями и «покровителями» (А. Белый во главе) я... разделался навек»;* *** увы: *разделался* до... новой сдачи позиций; в десятом году пишет он: *«Будущее символизма — большой стиль... Это — когда мы будем знать, о чем мы говорили (что — А. Белый)»* ****, *«что — Белый»,* поставленное тут же в скобках,— отметка: «Белый» ведь в годах долбил «Блоку» одно: *«знать, о чем говорим»* *****, т. е. говорить внятно.

Здесь, в начале знакомства, подчеркиваю: мои письма начальные к Блоку — отметка: «Не ясно, о чем вы!» Указываю на себя: каким был и чему научился; подчеркиваю: я был связан капризом его «нелюбвей» к философии.

Начали мы переписку, скрестив свои письма; внезапная мысль осенила его и меня в тот же день: ему — написать мне; мне — написать ему; так: когда распечатывал я его синий конверт и читал извинения в том, что, не будучи лично знаком, он мне пишет, он тоже читал извинения мои, что, не будучи лично знаком, я пишу ему; письма эти пересеклись в дороге; так неожиданно для нас обоих началась наша переписка.

Предлог к письму Блока — статья в «Мире искусства»;[45] в ней эмбрион — формула принципа эквивалентов в искусстве; в трехзначном разгляде искусства как форм, содержаний, формосодержаний весь форменный ряд замкнут в методы, не подлежа содержательному разглядению; и если статью убирали метафоры о «глубине» музыкальной стихии,— так это раскраска поверхностная. Блок, минуя ход моих мыслей об эквивалентах, скорей приближающих меня к Оствальду, чем к зыкам «трубы

---

* «Записные книжки» Блока, стр. 74 [41].

** Там же, стр. 75 [42].

*** Там же, стр. 81 [43].

**** Там же, стр. 138 [44].

***** Я разумею лейтмотив всей нашей переписки и всех разговоров 1904—1906 годов, когда я добивался от Блока *внятных разъяснений* тех или иных темнот его разговорного стиля, а он на меня сердился за это; и дело доходило до крупных ссор.

Апокалипсиса», ухватясь за раскраску, метафору, сетует, что не трублю; [46] при чем «трубы»? «Симфония», пережитая мистически им, подала ему повод меня порицать за уступки рутине и академизму; а мысль основная — закон сохранения творчества — казалась неприемлемой до того, что С. Н. Трубецкой не хотел председательствовать на моем реферате о формах искусства; де «музыка» звучит двусмысленно — сетует Блок: она — 1) просто музыка, 2) «музыка сфер» (в реферате же эта последняя — метафорическая стилистика: центр — не в ней); Блок указывает: эти «сферы» суть сферы Премудрости; он приглашает меня вострубить «Ей» псалом (в реферате?!?). Я же брал только форму, методику, не содержание. Он, удивив меня «блесками» эпистолярного стиля, смутил реализмом, наивнейшим,— мистики; «мистик» — пугал; а стилист, «очень умница»,— радовал.

Смерть Соловьевых; и до февраля — перерыв переписки; [47] но, возобновившись, смущала сплошным разнобоем в тональностях наших; какое-то общее *«что-то»* казалось не ясным; а в «как», для меня, «методолога», важном (не важном для Блока), уже расходились мы.

В апреле меня пригласил он быть шафером (кажется, что у невесты) на свадьбе его[48], он женился на дочке великого химика, Д. И. Менделеева; шафером должен был быть и Сережа; отец, почитавший Д. И. Менделеева, радовался моему приглашению; но после смерти отца я, устав, отказался от шаферства;[49] летом мы с Блоком писали друг другу; я помню моменты, которые кажутся принципиальными: в них — корень будущей путаницы между нами.

Один момент: интриговала меня доминанта поэзии Блока: «Прекрасная Дама»; она — что? Жаргон «жениха»? Монах Данте не женился, как Блок; платонический образ? В поэзии это неясно: в него вплетены завитки: эротические; или это «идея»? Чья? Гностиков? Нет: Соловьев отделял философию гностика Валентина от «музы» своей; гностицизм, ярый враг метафизики, я — отвергал, постоянно подчеркивая, что В. С. Соловьев обосновывал тему своей философии, ставшей лирической, взглядами Канта о *целом* всего человеческого коллектива, рассмотренного «существом», т. е. онтологически; а «содержание» онтологизма могло изменяться: София, Мария и Марфа; «Мадонна» в прошедшем, она у Булгакова — уже культура хозяйственных форм (С. Булгаков об этом два тома поздней написал)[50].

Пыл не ясной мне лирики Блока смущал, разрушая дистанцию между «сегодня» и между «концом» времен; привкусы секты, осмеянной мною в «Симфонии», слышались; нота «шмидтизма» звучала; я пробовал щупать неясное «что-то» в поэзии Блока, найти ему место, поставить на полочку с надписями (метафизика, гностика, логика, лирика, мистика, методология), не разбирая позицию Блока в критериях истины, лжи (хоть абсурд!); лишь узнавши, о чем говорит он, я мог с ним или — согласиться, или — полусогласиться, иль — не согласиться вовсе; и многие мной к нему обращенные «каки» (как веруешь) — ход коня логики: на «Даму» Блока; он оттолкнулся в ответ на вопросник моего большого письма[51].

Читая ответное письмо его[52], я восклицал про себя: «Гениально, но — идиотично!»

Под идиотизмом же я разумел абсолютную отъединенность Блока от всякой культуры мыслительной, а, конечно, не глупость: Блок — умница; но его мысль, не имея традиций,— антисоциальна, отомкнута; ведь слово «идиотэс» по-гречески — частный, себя оторвавший от всех; [53] поняв это в нем, я *поспешил* оборвать всякую философию в переписке с ним и в мажорных заумных «кресчендо» фальшиво форсировал тему наших писем, сорвавши свой голос. Я ж, позднее с ним разойдясь, ведь удостоился замечаний, что с «покровителями» он «разделался»; осенью 1903 года я тему лирическую нашей переписки неумело в какой-то «сюсюк» превратил; перечтя наши письма позднее [54], я в ужас пришел: от себя.

Из всех писем его мне вставало, что он добрый и умник (в житейском смысле); и немного — остряк; но вставал — «идиот» (в упомянутом смысле).

На мое мыслимое про себя «идиот» он не раз мне ответствовал в будущем: «Разумею полупомешанных — А. Белый и болтунов — Мережковский» *.

В те годы я еще не знал его быта, его круга чтения; пишущий только о бабочках Фет — настоящий философ; Надсон философствующий есть невежда: Блок — думал я — мог быть и тем и другим. Оказался ж — ни тем, ни другим. С сентября стали мы писать «мимо» центральных тем, которыми я жил, ближе к событиям быта друг друга; писать стало легче.

---

* Письмо это где-то хранится в списке у родственников Блока или у его жены; вместо объяснений отсылаю к лицам, хранящим текст письма[55].

Сережа, вернувшись из Боблова, мне описал свадьбу Блока; и тут же сказал: ему ясно, что вся «метафизика» Блока — навеяна была его бывшей невестой (женою); и я дивился, шутя:

— «Не невеста,— идея двуногая: на них — не женятся!»

. . . .

Стихи, статьи, Кант, переписка с друзьями; и — лето мелькнуло, как сон; надо всем — мой вопрос: что зима принесет? «Золото в лазури», статьи «Символизм и критицизм», «Символизм как миропонимание», «О теургии», конспект курса лекций — готовы...[56] И я удивился, как много сработано; ведь экзамены были; а — не отдыхал. Основательно бородою оброс; дико выглядел; перегорел под солнцем, и решение ствердилось в душе: упорядочить рой разнородных стремлений в друзьях.

Гордость дьявольская!

Кобылинский твердил об отплытии нас, «аргонавтов», от берегов умиравшего мира: за солнцем; решил я, что «Арго», корабль, пора строить сложеньем стремлений друзей; склепать вместе стремленья, чтобы палуба общего «Арго» сложилась; история Эртеля, плюс бодлеризм Кобылинского, плюс синкретизмы Рачинского, культура Метнера, Восток Батюшкова, «форма» Владимирова, литературоведенье А. С. Печковского,— все на потребу-де: «утильсырье»; даже народничество Малафеева в новой увязке способно стать синим цветком, отпирающим клад; символизм, наш загаданный, «аргонавтический», виделся многоплоскостною фигурою, связанной в цельность, но не налагавшей бремен на природу отдельных стремлений; сумма связанных химией близости бытов, в рождаемом, не предрешенном своем новом качестве, сложит быт нашей «новой» коммуны.

В заносчивом плане опять я — идея двуногая, не понявшая собственной позы Орфея; я видел себя взрывателем музыкой мертвых твердынь и уверенным: в силу взрыва воображенной коммуны; вот, вот где она, моя мистика! Не метафизика Беме, а — самоуверенность[57], переоценка себя!

Возомнив о себе, дирижере сознаний, я действовал в силу инерции перерасхвала, которым друзья как подкидывали дирижерскую палочку; ей оставалось подмахивать.

Я и взмахнул.

Я себя настигаю бродящим в полях, загорелым, обросшим и дико размахивающим над оврагом, как дирижер,

обегающий с дирижерского пульта палочкой — ему подчиненные трубы, валторны, литавры и скрипки; и коли камни плясали в глазах у меня, как же людям не следовать мною поволенным ритмам? Чудовищное самомнение! Мне извинение — в том, что, по-видимому, эта мысль об Орфее, о новой коммуне носилася в воздухе; где-то уже Пьер д'Альгейм замышлял — то же самое; и Вячеслав Иванов, неведомый еще мне, из словарных пылей выносил свои взгляды о новом театре, рожденном новою общиною; позднее я люто боролся с идеями этого рода, на собственном опыте их отстрадав.

Загорелый, брадатый, себя не познавший, я был — самозванец, разыгрывающий тему *«Не тот»*, своего собственного стихотворения, только написанного летом *[58].

КИНЕМАТОГРАФ

Приезд из деревни осенью 1903 года — растерянность, «сбор всем частям», вихрь сквозных впечатлений, слагающих просто сумбур в голове у меня, и явление людей, близких мне, только средне знакомых, совсем незнакомых, впервые возникших; как-то: Кистяковские; он — приват-доцент, с жаждою адвокатской карьеры, белесый, баранно-тупой, не имеющий собственных слов; он скоро стал помощником С. А. Муромцева;[59] с пересапом сидел он — на «аргонавтических» сборищах: а появился у нас как «свойственник» мой (Кистяковская — тетка моя), от дядюшки *«Жоржа»* (Г. В. Бугаева); мадам Кистяковская, пышная, южная и волоокая дама, водила супруга к нам; и *Игорь* отсиживал на воскресеньях, безмолвствуя; вскоре, когда он завел шесть помощников и стал срывать с купцов куши, он провалился как в воду.

Много времени отнимали: задуманный журнал «Весы»[60], «Скорпион» и дела, с ним связанные; так же: пересмотр наших «аргонавтических» лозунгов; кроме того: перемещения в комнатах нашей квартиры, переустройства, составленье каталога математической библиотеки отца, поступавшей в университет, появленье епископа-«субъективиста», Антония, к матери[61], появление ко мне тройки «апокалиптиков» — Эрна, Флоренского и Валентина Свентицкого, с рядом заданий, меня ошарашивших, моя дружба внезапная с Н *** [62], верч около всех нас Рачинского, взвившего в жизнь пылеметы,— и... и... появление про-

* «Золото в лазури».

фессора Лахтина ко мне: с местом преподавателя в институте: мне девиц обучать биологии, химии, физике; место такое отверг я; [63] и профессор, обиженно вспыхнув, моргнул, ничего не прибавил и скрылся: навеки!

Все — в лоб!

В лоб Рачинский,— с своими «Гарнаками»:

— «Читайте Гарнака», «Гарнак говорит».

В лоб — Брюсов:

— «Вы не читали Жилкэна? Борис Николаевич,— как?»

В лоб — Бальмонт:

— «Перси Шелли... у Шелли... у Тирсо де Молина...»

А Метнер Эмилий — из Нижнего жарит письмами:

— «Кто хочет знать Гете, тот должен иметь под рукою «Софиен Аусгабе»!» [64]

Девяносто томов!

И кроме всего: мои воскресенья, владимировские понедельники, вторник Бальмонта и вторник «Кружка», среда Брюсова, приемы у «грифов», приемы в «Скорпионе», еще... стороженковские воскресенья; словом,— обходы квартир; дни — расписаны. Литературные деяния этой осени: пишу для будущих «Весов» рецензии, заметку о Спенсере и статьи «Окно в будущее»; [65] пишу в хронику «Мира искусства»; [66] стихи «Sanctus Amor» [67], рассказ «Световая сказка» (для «Грифа»); [68] усиленно переписываюсь с А. А. Блоком, с Метнером; вникаю в структуру стихов: В. Я. Брюсова «Urbi et Orbi», Ф. К. Сологуба и Гиппиус, выпущенных «Скорпионом»; [69] устраиваю заворошку между издательствами: «Скорпионом» и «Грифом»; [70] в итоге — временно кислеют мои отношения с Гиппиус и с Мережковским, которые, вдруг появившись в Москве, на меня едко сетуют; [71] я же, обидевшись, убегаю с публичного доклада Д. С. Мережковского и попадаю в «Альпийскую розу» (такой ресторан был) [72] на бурный мальчишник М. Н. Семенова (члена редакции «Скорпиона»), где и знакомлюсь с Т. Г. Трапезниковым, еще почти юношей (будущим своим другом) [73].

Словом: бессвязная лента кино, рассеивающая меня; в то время, как я делаю все усилия к тому, чтобы организовать в идейную группу хотя бы кружок «аргонавтов»,— я подчиняюсь стихийному развертыванию каких-то не от меня зависящих обстоятельств; точно кто-то передергивает все мои карты; и все чаще является потребность мне отдохнуть; лето, поля, загар, сосредоточенные думы — где все это? Видно, что мне дирижировать людьми — рано;

видно, мне судьба дирижировать разве что хлебными колосьями в полях; вспоминаю свои недавние ритмические жесты, брошенные в ветер с выборматыванием слов; и вспоминаю иные из своих летних стихотворений, в которых вынырнула нота сомнения; в них фигурирует какой-то себя вообразивший вождем и пророком чудак, угодивший в камеру сумасшедшего дома.

И подкрадывается горькая мысль: неужели я не тот, кем себя воображал в боях?

Улетающий день;
Запах розовых смол;
Как опаловый,— пень;
Как коралловый,— ствол.

Даже каменный хрящ —
Перламутровый трон;
Даже плещущий плащ,—
Весь облещенный, сон.

Поднимай над ручьем
Колокольчик ночей;
И,— как гром, серебром
Разорвется ручей.

Росянистая брызнь,—
Закипевшая жизнь,—
Колокольчика звук
Из скрестившихся рук.

И,— как взвизги меча:
«Побеждаеши сим!»
Но два черных грача
Залетали над ним.

И протопал табун;
И пронесся луне —
Красногубый горбун
На хохлатом коне *.

В духе тогдашнего моего жаргона «кентавр» — раздвоенный между чувственностью и рассудком; «фавн» — чувственник, а «горбун» — непреоборимый рок. Тему «рока», которого-де не победишь и который-де сломает твои усилия, начал особенно сильно переживать с осени 1903 года.

И письма мои к Блоку этого периода — грустные или истерически-фанатические.

В эту сумбурную осень и начались мои «воскресенья», которые вызвал к жизни, собственно, Эллис; они начались моим рефератом «Символизм как мировоззрение», став-

* Поздняя переработка стихотворения из «Золота в лазури» [74].

шим основой дебатов и споров, продлившихся целый сезон[75], раздуваемых Эртелем до мирового пожара, сжимаемых Эллисом в тезисы его агиток, с которыми он несся стрелой по лабиринту московских квартир; споры, музыка, шаржи, подчас инциденты, просто танцы — мне напоминали какой-то сеанс: человек двадцать пять, тридцать шумно кричали за столом; и помнился стих Блока:

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место[76].

Люди, собиравшиеся на воскресеньях моих,— какой-то ручей: рой за роем проходил, точно по коридору, сквозь нашу квартиру, подняв в ней сквозняк впечатлений; много фамилий и лиц я забыл; и не помню, когда кто явился, куда кто исчез; воскресенья продлились до 906 года; а в 907 году по составу посетителей они — уже иные совсем; бывали же в период 1903—1904 годов: Сизовы, два брата[77], студент Сильверсван, Рубанович, Печковский, Нилендер (позднее), Оленин, Петровский, Владимировы, все семейство (брат, две сестры, мать)[78], Малафеев, Леонов, Челищевы и Лев и Сергей Кобылинские, Батюшков, Эртель, Сергей Соловьев, Поливанов Владимир, Петровская, Нина Ивановна, старый художник Астафьев и прочие люди, которых не помню, которые все ж признавали себя «аргонавтами».

Ходили и «грифы»: С. Кречетов (Соколов), поэт Рославлев, братья Койранские, Поярков, студент Пантюхов (романист); «скорпионы»: Бальмонт, Поляков, Балтрушайтис, Семенов, М. Ликиардопуло (еще студент), Н. Феофилактов (художник), Шик, Брюсов, Волошин, Иванов, бывавший заездом в Москве; из художников — Липкин, Борисов-Мусатов, Шестеркин, Россинский, В. В. Переплетчиков и Середин, слишком вежливый; из музыкантов: профессор Танеев, Николай Метнер (Эмилий жил в Нижнем); сам Метнер-папа, хоть и не музыкант, ассистировал изредка, приподнимая седую бородку, а-ля Валленштейн; и Буюкли, пианист, завивался руладою Листа на старом, разбитом рояле.

Являлись позднее: Рачинский, д'Альгейм, П. И. Астров, с собою из своего кружка приводивший кого-нибудь, Б. А. Фохт, кантианец; бывал Н. Я. Абрамович: критик (в 1904 году); из мира профессорского: бывали Павловы, муж и жена (оба — геологи), И. А. Каблуков, профессор Шамбинаго, тогда лишь доцент; появлялись: Свентицкий, Эрн, но не Флоренский, всегда заходивший отдельно и га-

ма боявшийся; тут и знакомые матери: муж и жена Кистяковские, Л. А. Зубкова, Часовникова, К. П. Христофорова, сестра Эртеля.

Вспоминаю «попутчиков», и — голова идет кругом: мельк! мельк! И — выныривают: —

— почему-то — Поярков, участник моих воскресений, слагатель никому не нужных стихов, еще более вялых речей о Бальмонте и Оскаре Уайльде; садился и требовал точных ответов: сию же минуту. Зачем он сидел? Вагон общий, «Гриф»,— до ближайшей лишь станции, где мне — налево; направо — ему. Кобылинский, Сергей, прочитавший свое сочинение о Лотце мне все, от доски до доски! Почему? Вагон общий: теория знания — до остановки «Лопатин», где он соскочил, я же ехал в те годы до следующей пересадки: у «Канта». И спутник на час — еще молодой Абрамович, впоследствии критик из журнала «Образование»[79], еще не обозленный, еще не мой враг; своим частым приходом некстати меня вынуждает он часто бежать от него; он позднее за мной из страниц журнала гоняется, как папуас; и железным — пером, как копьем, протыкает лет восемь за эти невольные от него бегства. Что общего со староколеннейшим В. В. Переплетчиковым, передвижником, вдруг записавшим цветистыми точками? Сколько часов мы убивали друг с другом! К чему? Вагон общий: общество «Эстетики», тактика Брюсова, временная... А Россинский? Молчу. Мой товарищ, В. В. Владимиров, в умные мысли о живописи меня посвящал, а художник Борисов-Мусатов, тончайший и нежный горбун, привлекал обаянием личным; он — скоро умер...[80] А... а... для чего посещали меня — Середин, Липкин, тоже художники? Их я лично не знал; вероятно,— они думали, что меня знали. Иль,— идя к философу Фохту, ища семинария, каково преодолеть вместе с умницей, с педагогом-философом — его тусклых друзей-философов.

Золотоискатели цедят сквозь сито песок: для отсейки отдельных крупиночек золота; так поступая, сознание пересорял я, непризнанный «индокитаец», в толпе москвичей затолкавшийся: можно ль узнать человека, сдавив ему локтем микитку иль чувствуя его каблук на мозоли?

А форма чинения друг другу препятствий к обнаружению личности производилась под формой знакомств; знаю «Белого» — значение часто: вдавленье микиточное ощущает давящий меня чей-то локоть.

Отсюда — оскомина; моя общительность — невероятна в те годы была; велика была любознательность; быть соци-

альным — задание тогдашних дней; с детства учился болтать на жаргоне, заказанном мне взрослыми, но обставшее многоязычие в 1904 году переходило все грани; тактика ж вежливого с «извините, пожалуйста» в давке трамвайной наляпала на меня мне навязанный штамп: «Лицемер перекидчивый». И оттого наступали минуты, когда я, без видимого повода, вдруг бацал С. Л. Кобылинскому: «Лотце вполне отвратителен мне!» Сильверсвану же давал понять, что не великое счастье нам часто видеться.

С осени ж 1903 года печать переутомленья дала себя знать: я — срываюсь все чаще, с чрезмерной внимательности к посетителям; неуменье учесть напряжения давки людской дает внезапный эффект грубости; от «извините, пожалуйста» без интервала слетаю на «черт вас дери»!

Тридцать лет я являл своей личностью многообразие личностей, одолевающих статику, чтобы изо всех поворотов, как купол на ряде колонн,— теоретик, естественник, логик, поэт, лектор ритмики, мазилка эскизиков, резчик — явить купол: «я».

Тридцать лет припевы сопровождали меня: «Изменил убеждениям. Литературу забросил... В себе сжег художника, ставши, как Гоголь, больным!.. Легкомысленное существо, лирик!.. Мертвенный рационалист!.. Мистик!.. материалистом стал!»

Я подавал много поводов так полагать о себе: перемудрами (от преждевременного усложнения тем), техницизмами контрапунктистики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонией; так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким, простуженным горлом — и валторны, и флейты, и скрипки, и литавры в их перекликании.

И осеняла меня уже мысль о работающем коллективе, делящем в голосоведении труд, где историк, прийдя к символизму, по плану системы моей, пишет труд исторический, где отвлеченный эстетик проводит в эстетику мои принципы, а аналитики музыки, слова и живописи эту эстетику выявят в частных примерах.

Для этого нужен был план, данный книжным моим «кирпичом»; он — откладывался; собирались пока материалы к нему; и они распухли, взывая к разборке, к усидчивости, к кабинету, к закрытым дверям; я же их отворил; уж меня, вырывая из кресла, влекли в треск бравад, выступлений, борьбы, публицистики; я, проявив слабость воли, с осени 903 года, пять лет перетаскиваюсь

сквозь редакции, кафедры, тактики и оппонирования ради темы «увязки», надеясь: предметы увязки созревают в трудах сотоварищей; и — шкаф исследований будет полон трудов их.

А «исследователи» все — куда-то уныривали!

Эти несчастные всеохватные, горделивые замыслы начались с очень-очень горячих, порой интересных бесед на моих «воскресеньях» с октября 903 года, где ядро «воскресений» — товарищи-«аргонавты» — чувствовали себя новым идеологическим центром; но интересность «воскресников» их и погубила, когда повалили ко мне со всех сторон посторонние — сперва слушатели; потом — и участники бесед, очень скоро их развалившие, так что в течение трех только месяцев полные смысла беседы стали — лишь мельком людей; уже в январе 1904 года я Блоку жаловался, что — растерзан. «Воскресенья» тянулись до 1906 года; поздней бывали они не чаще раза в месяц; тянулись же до 1909 года; но то уже были скорее вечера «смеха и забавы», которые главным образом инсценировал Эллис.

Мимические его таланты развертывались в годах; он овладел тайной ракурсов сложных движений; например: изображал, как вы морозной ночью идете мимо ночной чайной; вдруг расхлопывается дверь; мгновение: вываливает световой сноп парами блинного запаха, охватывая теплом: гоготня, тусклые силуэты, махи рук, чайники, бегущий наискось половой; и тут же — «бац», все захлопнулось: никого, ничего; луна. Чтобы воспроизвести эту картину, ему стоило лишь набрать в рот табачного дыма и закрыть двумя ладонями лицо; вдруг, раздвинув ладони и выбросив дым изо рта, он начинал производить многообразные движения, испуская множество звуков — го, го, го, го, га, га, га,— и опять сомкнуть ладони перед лицом, внезапно застывши; все проделывалось с ужасающей быстротой — в две-три секунды; а зрители переживали импрессию сложной картины, переполненной движением.

Он изображал с неподражаемым искусством и слона, и профессора химии И. А. Каблукова, и Валерия Брюсова; заставив переодеться меня, изображал позднее вместе со мной драму Леонида Андреева «Жизнь Человека», попеременно делаясь и «Некто в сером», и старухами, и друзьями, и врагами Человека[81].

Великолепно под музыку изображал он все что угодно; мама садилась играть кинематографические вальсы, которые он ей заказывал; а он изображал, как танцевали бы

вальс любой из знакомых, изображал сложнейшие сцены кинематографа, передавая дрожание и стремительность жестов экранных фигур; изображал вымышленные инциденты, якобы происшедшие с тем или иным из знакомых; великолепнейшим номером Эллиса была лекция профессора В. М. Хвостова, якобы прочитанная в Психологическом обществе: мешковато усаживаясь на стул, морща лоб, громко, по-хвостовски, губами он чмокал и делался вылитым В. М. Хвостовым, гудя:

— «Милостивые государыни и милостивые государи! Некоторые уважаемые мыслители говорят, что свободы воли нет, а другие, не менее уважаемые, утверждают обратное; есть группа столь же уважаемых мыслителей, которая утверждает сперва, что свободы воли нет, а потом, впадая в явное и в кричащее противоречие с собою, приходит к заключению, что свобода воли есть; и есть группа уважаемых и столь же замечательных мыслителей, которая сперва утверждает, что свобода воли есть, а потом впадает в не менее явное и в не менее кричащее противоречие, приходит к заключению, что свободы воли нет. Милостивые государыни и милостивые государи: коли свобода воли есть, так она и есть; а коли ее нет, так ее и нет. Разберем же эти группы и подгруппы в их отношениях к проблеме свободы воли и т. д.».

Кругом — хохот; Эллис же, совершенно перевоплотившийся в В. М. Хвостова, развертывает часовую лекцию о *свободе воли*, всю сплошь состоящую из набора слов.

Рассказывали впоследствии: когда Эллиса и меня уже не было в России, В. М. Хвостов таки взял и прочел в Психологическом обществе лекцию о *свободе воли*, которая была удивительным повторением пародии Эллиса; говорили, что многие, прежде слыхавшие Эллиса, будучи охвачены внутренним смехом, с хохотом убегали из зала.

Пародии, импровизации, пляски свершалися Эллисом с бурною заразительностью; они охватывали и зрителей.

В эти же месяцы Владимир Иваныч Танеев, исчезнувший для меня на года, появился внезапно в квартире у нас; собрав огромнейшую библиотеку, средств уже теперь он не имел никаких; весь заработок был ухлопан на книги; книг не мог уже он покупать; но ужасная страсть, перешедшая просто в болезнь, его делала Плюшкиным; он, видя новую книгу, почти что ее выпрашивал; всякую дрянь подбирал; так, впоследствии, увидевши мое «Золото в лазури», так и затрясся он; я предложил ему взять эту книгу, чтобы «волнения страсти»[82] унять.

— «Я ведь должен сказать,— протянулся он к книге,— что ничего не понимаю в поэзии ваших друзей; потрудитесь отметить мне крестиком, что вы считаете наиболее удачным».— И к матери:

— «Жизнь так подла, так пошла, что выдумывают всякую ерунду, чтобы не видеть действительности».

И, трясясь от жадности, он перелистывал книгу; и после пустился, в который раз, нам проповедовать свою теорию: всякий художник есть хам эстетический:

— «Даа...— плакал голосом он,— все Танеевы плакали голосом;— люди же делятся на рабов, на убийц, на воров и на хамов; художники и проститутки и не рабы и не воры, а — хамы».

Убийцы — военные; воры — капиталисты; рабы — пролетарии и крестьяне; под «хамами» разумел мелкобуржуазную интеллигенцию и проституток.

— «Пройдет несколько десятилетий, и водворятся монголы; и — все поглотят».— Он на старости лет проповедовать стал разрушение Европы монголами.

Заходы В. И. Танеева к нам одно время были довольно часты; я его изучал; итог изучений в несколько перефасоненном виде неожиданно для меня выявился в «Серебряном голубе», где Танеев фигурирует под маской сенатора-чудака, Граабена[83].

Скоро дочь его, А. В. Часовникова, появилась на моих «воскресеньях»; возобновление знакомства с Танеевыми привело к тому, что мать моя с 1910 до 1919 года опять проводила лета в Демьянове, имении, где протекло мое раннее детство.

«АЯКСЫ»

Я встретился с тройкой студентов: с Владимиром Эрном, оставленным при университете при профессоре Трубецком, с Валентином Свентицким, еще студентом-филологом, и с Павлом Флоренским, кончающим математический факультет, учеником Лахтина и слушавшим лекции отца, обнаружившим уже ярко способности, даже талант в математике [84].

Они явились ко мне[85].

И белясый, дубовый и дылдистый Владимир Францевич Эрн недоверчиво закосился сразу же на меня простодушно моргавшими светлыми глазами. Он в ряде годин Вячеславу Иванову — верил ; [86] мне — нет; он в 1904 году лишь поддакивал мысли Флоренского.

— *«Значить...* Так *значить»* (не «значит»).

И руку рукою мял.

Был он — безусый, безбрадый, с лицом как моченое яблоко: одутловатым, с намеком больного румянца; казался аршином складным; знаток первых веков христианства, касаясь их, резал, как по живому, абстрактными истинами, рубя лапою в воздухе:

— «Значить,— тела воскресают!»

Сказавши, конфузясь,— моргал; выступало в лице — голубиное что-то.

Свентицкий, курносый, упористый, с красным лицом, теребил с красным просверком русую очень густую бородку, сопя исподлобья; не нравился мне этот красный расплав карих глаз; он меня оттолкнул; как бычок, в своей косо надетой тужурке, бодался вихрами; я думал, что сап и вихры — только поза; а запах невымытых ног — лишь импрессия, чисто моральная.

Вся суть — в Флоренском.

С коричнево-зеленоватым, весьма некрасивым и старообразным лицом, угловатым носатиком сел он в кресло, как будто прикован к носкам зорким взором; он еле спадающим лепетом в нос, с увлекательной остростью заговорил об идеях отца, ему близких. Это он, по всей вероятности, и явился инициатором захода ко мне: трех друзей; только он интересовался тогда новым искусством; и его понимал; Эрн в эти годы был туговат на понимание красоты; у Свентицкого были пошловатые вкусы; и кроме того: Флоренский же мог интересоваться мною и как сыном отца: он ценил идеи отца.

По мере того как я слушал его, он меня побеждал: умирающим голосом; он лепетал о моделях для «эн» измерений, которые вылепил Карл Вейерштрасс, и о том, что-де есть бесконечность дурная, по Гегелю, и бесконечность конечная, математика Георга Кантора; вспомнилось что-то знакомое: из детских книжек; падающий голос, улыбочка, грустно-испуганная; тонкий, ломкий какой-то, больной интеллект, не летающий, а тихо ползущий, с хвостом, убегающим за горизонты истории; зарисовать бы Флоренского египетским контуром; около ног его — пририсовать крокодила!

И вот он поднялся; прощаясь, стоял, привязавши свои неразглядные глазки к носкам, точно падая, с гиератическим сломом руки, в старом, в косо сидящем студенческом мятом своем сюртучке, свесив пенснэйную ленту;

тень носа, с аршин,— под ногами лежала: хвостом крокодила.

Разговаривал я только с Флоренским; Свентицкий и Эрн, как показалось, не доверяли мне; Эрн ясно покашивался с подозрением; с тех пор они появлялись; однажды опять явились втроем и передали в подарок мне великолепную фотографию Новодевичьего монастыря в знак того, что здесь могила моего отца; и этим растрогали. С тех пор приходил только Флоренский[87], он заинтересовал меня идеями математика и философа Вронского.

Арена встреч с «тройкой» — открытая секция «Истории религий» в студенческом обществе (при Трубецком): заседанья происходили в университете; тогдашнее ядро — три «Аякса», бородатый Галанин, два Сыроечковских, А. Хренников, несколько диких эсеров с проблемой мучительного *«бить — не бить»*, анархисты толстовствующие, богохулители, ставшие богохвалителями, или богохвалители, ставшие с бомбою в умственной позе, посадские академисты из самораздвоенных, кучка курсисток Герье; председательствовал С. А. Котляревский, еще писавший свой труд «Ламеннэ»;[88] появлялись Койранские, «грифики»; да «аргонавты» ходили: сражаться с теологами.

Заседания эти связались мне с осенью.

Мерзлые, первооктябрьские дни: все серело; и — падало, падало, падало; каплями — в стекла оконные, в душу; и что-то как взмаливалось; и, бессильно барахтаясь в падавшем времени,— падало сердце.

Я шел Моховой, заседать со Свентицким,— в унылейшей комнате, густо набитой тужурками, взбитыми мрачно вихрами власастых студентов с проблемою *(«бить иль не бить»)*, где Свентицкий учился показывать пиротехнический фокус с огнем, низводимым им с неба,— в ответ на проблему: ходить с бомбой на генерал-губернатора иль — не ходить?

И Свентицкий вещал:

— «Эта бомба — небесный огонь, низводимый пророками, соединившими веру первохристианских отцов с протестующим радикализмом Герцена!»

Он-де высечет небесный огонь!

Свою лабораторию с взрывчатым *«порохом»* он перенес в заседания секций; опыты с самогипнозом, с гипнозом ближайших, ему поверивших, грубо проделывал он, сидя, бывало, при Эрне, сопя, с озверевшим от напряженья лицом; точно пещь Даниила[89], пылали глаза, став дико, кроваво блистающими; бывало, переводит их на Бориса Сы-

роечковского, на Котляревского или на меня, чтобы привести нас в каталептическое состояние (что он пытался гипнотизировать, для меня стало фактом); бывало, как тарарахнет по нервам: картавыми рявками; он ожидает наития; а — запах от ног.

Курсистки же — в священном восторге!

Докладчик, бывало, кончает,— Свентицкий взлетит; и, бодаясь мохрами, как забзыривший бык или хлыст, вопия, рубя воздух рукой, прикартавливая и захлебываясь, из усов ротяное отверстие кажет, пылая губами кровавыми, как у вампира; и нас уверяет: явленье дамасского света и молния, которою Петр уничтожил Ананию [90],— с ним-де; Котляревский, похожий на сатира, просто не знает, что делать: полуусмехаясь, обводит он нас, бывало, сконфуженным, вопросительным взглядом.

Мне — тошно: рявк Свентицкого действует на меня чисто физически, как удар гонга, которым Шарко оперировал, вызывая у пациенток столбняк: часть аудитории, бывало, тупо балдеет: восторгом.

Часть — плюется:

— «Сомнительный шарлатан!»

Он же валится, красный и потный; хватаясь рукой волосатою (красная шерсть) за измятую грудь, он терзает тужурку; не знаешь: валиться ли с ног, стакан ли с водою ему тащить или... бить его.

После его выступления поднимался болезненный Эрн,— длинный, брысый, белясый; рукою рубил, выколачивая, точно палкою в лбы, тупым голосом пресные ясности о чудесах и явлениях-знамениях в первых веках христианства, пытаяся по Трубецкому связать их с евангельской критикой; он — переводчик *«святых вопияний»* Свентицкого на «ясный» язык; тот — пророк; этот — только *«дидаскалол * от Валентина»;* он в эти минуты казался мне типичным *«энесом»* [91], народным учителем: где-нибудь в дальнем медвежьем углу.

Рядом с Эрном с коричнево-зеленоватым лицом, некрасивый и старообразный, брезгливо подавленный громом Свентицкого, П. А. Флоренский,— замумифицирован в кресле; прикован невидными глазиками к сапогу; точно Гоголь, кивающий носом над пеплом своих «Мертвых душ»: души мертвые — Эрн и Свентицкий; Эрн — благообразно почивший до смерти; Свентицкий — в смердящих конвульсиях, заживо точно червями точимый. Флоренский

* Учитель.

в ответ им говорил умирающим голосом, странно сутулясь и видясь надгробной фигурою, где-то в песках провисевшей немым барельефом века и вдруг дар слова обретшей; его слова, маловнятные от нагруженности аритмологией, как ручеек иссякающий: в песке пустынь; он, бывало, отговорив, садится,— зеленый и тощий; фигурка его вдвое меньше действительной величины, оттого что — сутулился, валился, точно под ноги себе, как в гробницу, в которой он зажил с комфортом, прижизненно переменив знаки «минус» на «плюс», «плюс» на «минус»; мне казалось, порой, что и в гробах самоварик ставил бы он; и ходил оттуда в «Весы»: распевать пред обложками, изображающими голых дам,— «со святыми рабынь упокой!».

Я в «Весах» поздней заставал его с Брюсовым; он разговаривал странно сутулясь, скосясь, поясняя гнусавым, себе самому подпевающим, но замирающим голосом какой-нибудь штрих: деталь гравюры четырнадцатого столетия, что-нибудь вроде рисунка Кунрата со скромною подписью: «Ora et labora» *. И Брюсов почтительно слушал скорей аритмолога, перепротонченного в декадента, чем мистика или философа религиозного: снова казалось, что он — мемфисский полубарельеф, со следами коричнево-желтой и зеленоватой раскраски облупленной; выйдя из серожелтявого камня, шел медленно, в тысячелетиях, тысячи верст, чтобы предстать из Мемфиса в доме «Метрополь», где весело так приютились «Весы», из Мемфиса, а может быть, из Атлантиды явился он: поразговаривать о нарастании в XX столетии: египетских смыслов.

С тех пор он являлся ко мне, избегая моих воскресений,— как крадучись; в тайном напуге, не глядя в глаза, лепетал удивительно: оригинальные мысли его во мне жили; любил он говорить о теории знания; и укреплял во мне мысль о критической значимости символизма; что казалось далеким ближайшим товарищам — Блоку, Иванову, Брюсову и Мережковскому,— то ему виделось азбукой; мысль же его о растущем, о пухнущем, точно зерно разбухающем многозернистом аритмологическом смысле питала меня, примиряя с отцовскими мыслями мысль символизма.

Студент Флоренский — про математика Эйлера; а тень длинноносая, вытянутая от его сапога,— про другое, свое, очень древнее; и начинало казаться, что будет день:

* Молись и работай.

тень — сядет в кресло; Флоренский — уляжется: под ноги ей.

А с Валентином Свентицким и с Эрном мы мало видались вдвоем; Валентина Свентицкого, признаюсь,— бегал я: пот, сап, поза «огня в глазах», вздерг, неопрятность, власатая лапа, картавый басок,— все вызывало во мне почти отвращенье физическое; где-то чуялся жалкий больной шарлатан и эротик, себя растравляющий выпыхом: пота кровавого, флагеллантизма; срывал же он аплодисменты уже; бросал в обмороки оголтелых девиц; даже организовал диспут; на нем он, как опытный шулер, имеющий крап на руках,— бил за «батюшкой» «батюшку»; крап — тон пророка: тащили в собранье приходского «батюшку»; тот, перепуганный, рот разевал: никогда еще в жизни не видывал он Самуила, его уличающего[92] в том, что «батюшка» служит в полиции; пойманный на примитивнейшем либерализме, «батюшка», ошарашенный, с испугу левел.

— «Слушайте, слушайте»,— мрачно шептались вчерашние богохулители: Гамлеты с «бить иль не бить»... губернатора.

И тогда с бычьим рявком Свентицкий взлетал; и кровавые очи втыкал в «священную жертву»; и механикой трех-двух для «батюшки» ехидных вопросов, изученных перед зеркалом, «батюшке» *«мат»* делал он; мат заключался в прижатии к стенке; и в громоподобном рыкании: к аудитории:

— «Видите, отец Владимир Востоков отрекся от бога!» — Нет,— я не за «батюшку»; я — против шулерства; в эти минуты воняло так явственно: от Валентина Свентицкого!

Раз попытался он со мной откровенничать, неожиданно похвалив мое стихотворение «Не тот», которого тема — разуверенье в себе; и в связи со стихотворением заговорил о себе самом, посапывая и дергая себя за рыжеватый ус:

— «Иной раз такое переживаешь, что...» — усмехнулся он: и — не хорошо усмехнулся! Махнул рукою, дав понять, что имеет какие-то им таимые от всех «свои собственные» переживания.

И я подумал:

— «Этот «пророк» еще покажет себя!»

Он действительно себя показал.

Пока же вера в «пророка» Свентицкого начинала расти: он бил «козырем» по женским курсам, студентам, стареющим барынькам, ветеринарам и преподавателям даже:

взяв в шуйцу как бы динамитную бомбу, в десницу взяв крест, их скрещал, как скрещает *дикирий с трикирием* * золотоглавый епископ; слияние бомбы с крестом — личный-де опыт его; с бомбою он стоял-де, кого-то подкараулива; не мог бросить-де: ему-де открылось, как Савлу, что — бомбой небесной пора убивать губернаторов; так видение бомбы, спадающей с неба молитвами нашими, он проповедовал. Кроме того: в Македонию ездил-де: вместе с повстанцами ниспровергать падишаха;[93] и — как провожали!

Уехал же... куда-то в русскую провинцию; там мрачно скрывался; и вернулся в Москву; его встретили с благоговением: освобождал македонцев!

Да, злая судьба на смех выкинула звереватого вида больного, бросавшего в обморок диких девиц, извлекавшего у бородатых, почтенных, седых, уже виды видавших общественников суеверные шепоты.

Флоренский уже тогда не сочувствовал своим друзьям, Свентицкому и Эрну; но он таился; вообще в те года он не слишком много распространялся на различные темы; росла слава — Свентицкого; Флоренский как бы сел в тень; из теневого угла своего вытягивался длинный нос его; и раздавались мудренейшие рассуждения о математике и о символизме. Скоро он перестал меня посещать, на что-то обидевшись;[94] в «Новом пути» напечатал он сочувственную рецензию о моей «Северной симфонии»;[95] потом я встречал его только издали; скоро он отпустил длинные кудри; и когда молча сидел позднее на религиозно-философских заседаниях, то выглядывал перепуганный из кудрей чем-то его нос; мы его называли в те дни: «Нос в кудрях». Кличка придумана, разумеется, Эллисом.

Скоро он вовсе скрылся в Сергиевом Посаде[96].

«ОРФЕЙ», ИЗВОДЯЩИЙ ИЗ АДА

С осени 1903 года совсем неожиданно вырастает моя дружба с Н ***; ее почва — моя усталость; и — мое самомнение, заставлявшее меня думать, что я, беспомощный, вооружен опытом мудрости, позволяющей врачевать души;[97] источник этих недоразумений: севши однажды за письменный стол, написавши на листке «Этапы развития нормальной душевной жизни», я эти этапы себе добросо-

* Двусвечник с трехсвечником.

вестно изложил; изложив, излагал «аргонавтам», каждому порознь (излагал и Блоку, и Мережковским). Со мной — соглашались, вероятно, не слушая; но я же был уверен в себе: старшие перехвалили меня; писала же Гиппиус: каждое-де мое выявление «замечательно» (что это хитрая лесть и обычный прием, мне было еще невдомек).

Изложив свои *«правила»* жизни Н ***, я был потрясен эффектом, который произвели в ней они; не говоря прямо, что выбирает меня *«учителем жизни»,* она заставила, в сущности говоря, одно время стать таким.

Теперь — об Н ***.

Раздвоенная во всем, больная, истерзанная несчастною жизнью, с отчетливым психопатизмом, она была — грустная, нежная, добрая, способная отдаваться словам, которые вокруг нее раздавались, почти до безумия; она переживала все, что ни напевали ей в уши, с такой яркой силой, что жила исключительно словами других, превратив жизнь в бред и в абракадабру;[98] меня охватывало всегда странное впечатление, когда я переступал порог дома ее; мне здесь не было комнаты с пестрой оранжево-коричневатой, в черных крапинах, мебелью; не было ярко-красных рефлексов, бросающих жаркие тени от шелкового абажура; не было и тяжелых драпри, повисающих толстыми складками на дверях, над окнами и отделяющих от всего мира; не было и мягкого, глушащего шаг ковра: вместо комнатной обстановки — повисающие в воздух слова только что бывшего посетителя; коли был Бальмонт, обиход слов у Н *** — обиход слов Бальмонта; коли был тут Койранский,— Койранский кричал каждым креслом; среди всего этого ей чужого — Н ***, растерзанная в клочки ей навязанным миром; его она проецировала вокруг себя; если был Батюшков, умиленно чирикая ей о своем «белом лотосе»,— ей цвели лотосы; вместо обойных разводов вырастали из обой лепестки; мне всегда сперва приходилось бороться за право ей говорить свое с чужими словами, которыми она была переполнена; позднее я знал, что в Н *** всегда как бы обитало чье-нибудь «я»; смотришь на Н ***, и нет Н ***, не Н ***, а Бальмонт, из нее выговаривающий:

— «Я люблю лепестковую струйность... Люблю лунный лепет... Мои лунные руны...»

Не спрашивая, знаешь уже: сидел тут недавно Бальмонт; и даже кресло, на котором сидел он,—«Бальмонт». Когда же, бывало, от нее уходишь,— опять-таки: нет Н ***: стены, кресло, сама она — зеркала, отражающие

и преувеличивающие до искажения твои собственные слова; скажешь с горошину, а отразится тебе уж «горошина» огромным шаром, заключающим в себе все вселенные; и ты, засмотревшись в них, *кажешься* себе самому великаном.

Так и случилось: моя дружба с Н ***, переходящая в нежное сочувствие, питала меня утопией о себе как целителе ее души; измученный, перетерзанный выданными себе векселями (преодолеть то и се),— я так нуждался: в утверждении себя твердым и крепким; не видел еще, до чего Н *** утверждала меня нездорово; видя ее одержание чужими словами, я, нуждающийся в назидании, принимался ее назидать и «спасать»: от нее самое; и, получая впечатление, с какой мгновенною быстротой ее излечивают мои правила жизни, ей преподаваемые, уходил с благодарностью к ней за то, что она укрепила во мне доверие к моей «мудрости»; я серьезно вообразил, что одна из моих главных миссий — лечить эту душу, подпадавшую под действие всех случайно на нее дувших ветров.

Она меня незаметно втянула в навязанную ею роль: учителя жизни; и укрепила в иллюзии думать, что я ей необходим, что без меня-де — погибнет она; так заботы о ней начинали незаметно переполнять мои дни, переполненные и так; заходы к ней учащались до почти ежедневного появления; беседы вдвоем удлинялись; казалось: из всех живых существ она одна только правильно понимала меня; она же не понимала, а преувеличенно отражала лишь то, чем я, таясь от себя, хотел себе казаться; но она отражала не меня одного, а — каждого, кто к ней приходил и сидел с ней вдвоем; многие из бывавших у нее в то время, не видя других ее посещающих и назидающих, в наивности полагали: она-де понимает только их; и понимает — единственно, неповторимо, чудесно; вероятно, все удивлялись, что, настроив ее на свой лад, при следующем посещении находили: *«лад»* был сорван; язык «Брюсова» насмешливо высовывался из нее и дразнил «Белого»; язык же «Белого» вытягивался «Брюсову». Каждый ужасался ее «падению» с высот ей преподанного в *провал* чуждого мировоззрения; вероятно, иные, привлеченные к ней иллюзией доброго на нее влияния, так же, как и я, осознавали потребность «спасать» эту прекрасную гибнущую в истерике, самоотверженную душу.

Она была и добра, и чутка, и сердечна; но она была слишком отзывчива: и до... преступности восприимчива; выходя из себя на чужих ей словах, она делалась кем

угодно, в зависимости от того, что в ней вспыхивало; переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов, во время которых она готова была схватить револьвер и стрелять в себя, в других, мстя за фикцию ей нанесенного оскорбления; в припадке ужаснейшей истерии она наговаривала на себя, на других небылицы; по природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка; и, возводя поклеп на себя и другого, она искренно верила в ложь; и выдавала в искаженном виде своему очередному конфиденту слова всех предшествующих конфидентов; я узнал от нее тайны Бальмонта; Бальмонт, вероятно,— мои; она портила отношения; доводила людей до вызова их друг другом на дуэль; и ее же спасали пересоренные ею друзья, ставшие врагами; она покушалась на самоубийство под действием тяжелого угнетения совести; вокруг нее стояла атмосфера — опасности, гибели, рока.

С ней годами возились, ее спасая: я, Брюсов, сколькие прочие: Батюшков, Соловьев, Эллис, Петровский, Ходасевич, Муни, газетный деятель Я ***;[99] бедная, бедная,— ее спасти уже нельзя было; не спасатели ей были нужны, а хороший психиатр. Этапы диссоциации ее личности: сперва хоровод из ей ненужных поклонников; потом мечты, потом чахотка, которую залечили; потом — запой; потом — навязчивая идея: ей-де место среди проституток, которых она видела невинными жертвами; под этим всем — ее разрушавшая страсть к морфию.

Кончила самоубийством она[100].

Самый облик ее противоречивый и странный: худенькая, небольшого росточку, она производила впечатление угловатой; с узенькими плечами, она казалась тяжеловатой, с дефектом: какая-то квадратная и слишком для росточку большая, тяжелая голова, казавшаяся нелепо построенной; слишком длинная, слишком низкая талия; и слишком короткие для такой талии ноги; то казалась она мешковатой, застывшей; то — юркала, точно ящерка: с неестественной быстротой; она взбивала двумя пуками свои зловещие черные волосы, отчего тяжелая ее голова казалась еще тяжелее и больше; но огромные карие, грустные, удивительные ее глаза проникали в душу сочувственно; и подмывали на откровенность даже и тогда, когда открывалось, что ей верить нельзя; бледное, зеленоватое лицо с огромными кругами под глазами она припудривала; и от напудра оно казалось маской, теряя игру выражений, присущих ему; в обществе она страшно теряла; а в разгаре беседы вдруг сквозь эту пудру проступал нежный румя-

нец; и лицо полнилось выражением; но огромные, чувственно вспученные губы, кровавые от перекраса, кричали с лица неудачною кляксою; улыбнется,— и милое, детское что-то заставляло забыть эти губы; густые широкие ее брови точно грозили кому-то; и черная морщина, перерезавшая лоб, придавала лицу вид спешащей преступницы: пустить себе пулю в лоб; наклонив вперед свою тяжелую, раздутую волосами голову, подтянув к ушам узкие, нервные плечи, в черном платье с небольшим треном и застежкою на спине, шуркая шелком, как ящерка, скользила она в толпе, перепудренная и накрашенная; спрашивали: «Кто это?» Никто б не сказал, что мрачная, напоминающая Эриннию [101], женщина, растерянной девочкой, положив под голову руку и голову склонив на подушку дивана, свернувшись комочком, часами мечтает о таком о простом, о хорошем; и готова в такую минуту на подвиг, на жертву.

Но и подвиг и преступление — только очередной бред. Придешь к ней, бывало; в красной, шелковой кофте, среди красных отблесков красного своего абажура из жарких теней, замотает нелепо серьгами, напоминая цыганку; придешь в другой раз: бледная, черноволосая, в черном во всем, она — монашенка; я бы назвал ее *Настасьей Филипповной* *, если бы не было названия еще более подходящего к ней: тип средневековой истерички, болезнь которой суеверы XVI и XVII столетия называли одержанием,— болезнь, ставшая одно время в Европе XVII века повальной эпидемией, снедала ее; таких, как она, называли «ведьмами».

Я подробно вынужден остановиться на Н ***; она — стала музой поэта Валерия Брюсова; вспомните любовную лирику лучшей его книги — «Венка»: половина стихотворений обращена к ней;[102] вспомните образ «ведьмы», Ренаты, из романа «Огненный ангел»; там дан натуралистически написанный с нее портрет; он писался два года, в эпоху горестной путаницы между нею, Брюсовым и мною; [103] обстание романа — быт старого Кельна, полный суеверий, быт исторический, скрупулезно изученный Брюсовым,— точно отчет о бредах Н ***, точно диссертация, написанная на тему об ее нервном заболевании.

— «Н ***,— бросьте же: вам все это снится; не мучьте себя»,— говоришь ей, бывало.

---

* Героиня романа «Идиот».

— «Нет, нет,— я *видела* из мглы»,— и рука показывает на темный уголок портьеры; что «видела» — не важно; она жила в снах среди бела дня.

И делалось жутко: тебе делалось — *за нее* жутко; посид у нее столько раз делался посидом с «ужасиками», успокоить ее в такие минуты было почти невозможно; разыграется горошина твоих слов, бывало, до... «вселенной блесков».

— «Как хорошо! Вы слышите? Точно пение?»

— «Ничего не слышу... Обещайте не интересоваться жалким вздором»,— речь шла о спиритических сеансах, на которые тащил ее старый декадент, Александр Ланг (псевдоним Миропольский); на них присутствовал изучавший *«средние века»* Брюсов.

Она как обухом по голове:

— «Вы — настоящий ангел...»

Хватаешься за голову!

Увы, единственный мой досуг в тот грустный сезон — нездоровый досуг: миссия, ей внушенная мне, что я-де спасаю ее от ее душевных растерзов,— не к добру привела: я, жалкий романтик, «влюпался» в трагедию, окончательно разорвавшую весь мной себе составленный жизненный план[104].

Слабый «Боря» вообразил себя Зигфридом; не умеющий себя ни от чего защищать, вообразил... Орфеем себя, изводящим Эвридику из ада: вместо ж этого, усугубив «ад» жизни Н ***, я сам попался в «ад»; и потом позорно бежал от всех и «раев», и «адов»... в Нижний Новгород, к другу[105].

— «Выручайте!»

Иногда, успокоив Н ***, я радовался детскому выражению ее просветлевшего лица, на котором вспыхивали двумя огнями глаза; и улыбка так сестрински проникала в душу; но и эти минуты превращала она в предлог к бреду, когда, вздрогнув, спрыгивала с дивана с напученными губами, с ужасной морщиной,— вдруг разрезавшей ей лоб.

— «Что с вами?..»

Она косилась на черный угол:

— «Ничего: оставьте...»

— «Опять вы...»

Но она, шуркнувши шелком, отскакивала, точно из темного угла выпрыгивал ядовитый тарантул; и прерывистый свист, напоминавший шип кобры, слетал с ее губ:

— «Брюсс...»

— «Что? Что?»

— «Брюсов!»

Какой? Почему? Что?

В моем представлении, с Брюсовым она в эти месяцы и не могла видеться; Брюсов враждовал и с нею, и с ее мужем; так что ж это значило?

— «Что? Что?»

— «Брюсов! Опять он».

— «Что опять?»

— «Он мешает мне; он вмешивается в мои мысли: он за мной подсматривает; он крадется...»

Ничего не понимая, я шел, омраченный, домой.

Брюсов раз в «Скорпионе», точно оскалясь, мне бросил с огромной, как мне показалось, ненавистью: по адресу Н ***:

— «А почему это у Н ***...» — и сказал что-то весьма пренебрежительное [106]. На мои вопросы, «что Брюсов»,— молчала Н ***; и через неделю — новый припадок, в котором тот же мне непонятный испуг с произнесением фамилии Брюсова — повторялся; так Брюсов, ставимый ей предо мной, возникал предо мной, но в бредовых контурах,— таким, каким он стоял в растерянном ее воображении.

Это все — интриговало меня, я и не знал, что и Брюсов — постоянный ее конфидент; не знаю точно, где встречались они; знаю только: именно в то время, когда я полагал, что Н ***, мне ругавшая Брюсова, не видится с Брюсовым, в моем представлении тоже не любившим и игнорировавшим ее, они виделись часто; жалкие мои уроки жизненной мудрости, Н *** преподаваемые по ее ж настоянию, от слова до слова она передавала ему; но только все слова ненормально вытягивались ее бредовою фантазией, из центра которой возникал не я вовсе, а какой-то пылающий «дух»; если бы я это знал, то убежал бы с первого свидания с ней, как убежал от нее потом, когда было поздно; Брюсов внимал ее бреду обо мне и переиначивал его, сообразуясь с фабулой своего романа: из средневековой жизни [107].

И не понял я, «мудрец», элементарнейшей истины, что Н *** просто в меня влюблена и что Брюсов, ее полюбивший, запламенев мрачной страстью, готовит ей, мне и себе ряд тяжелых страданий.

Алогические, как казалось, понимания Н *** Брюсова с неожиданной стороны подчеркнули мне фигуру поэта: то, что я узнал о Брюсове из слов Н ***, был бред; она с убеждением говорила: Брюсов-де гипнотизировал ее, он-

де меня ненавидит; я-де должен весьма бояться его, и т. д. Знай я раньше корни этого бреда, т. е. знай, что Н *** видится с Брюсовым, что он в нее влюблен, а она его «дразнит» моим фантастическим образом (на то и истерическая ложь, чтобы путать действительность с грезой), я бы понял, что у Брюсова есть действительные психологические мотивы испытывать ко мне слишком понятное чувство досады.

Я ж ничего этого не знал; чем больше Н *** бредила, тем более я считал своим долгом возиться с нею.

Перед Н *** развивал я то, что поздней, как отклик тех дней, настрочилось в моей статье «Песнь жизни»; статью я кончаю словами: *«Мы разучились летать: мы тяжело мыслим, нет у нас подвигов; и хиреет наш жизненный ритм; легкости, божественной простоты и здоровья нам нужно; тогда найдем... смелость пропеть свою жизнь»* *. *«Нам нужна музыкальная программа жизни, разделенная на песни-подвиги»; «в миннезингере узнаем человека, преображающего свою жизнь»; «человечество подходит к рубежу культуры, за которым смерть либо новые формы жизни»; «мы начинаем песнь нашей жизни»; «души наши — невоскресшие Эвридики... Орфей зовет свою Эвридику»* **.

О, если бы я знал, что из всех *«Эвридик невоскресших»* наиневоскресшая — Н ***. Она ж поняла мои мысли о жизненной песне так, что ощутил я удар в лоб, как палицею: Эвридика ***— она-де! Я ж — Орфей, выводящий из ада ее! И совсем не тем способом, каким замыслил; когда я узнал этот ее больной бред о Гадесе **** и о себе, то изумлению моему не было границ; и я круто оборвал свои посещения Н *** [109].

Но — уже поздно!

Она вызвала меня и с плачем, с револьвером в руке, с ядом в шкапчике и с уплотнением *«символов»* до материальной реальности требовала, чтобы из *«ада извел»*; и неспроста В. Брюсов, узнавши из слов ее о наших разговорах об «Эвридике» (образ был мне навеян оперой Глюка[110] в транскрипции М. А. д'Альгейм),— неспроста он потом в своем стихотворении об «Эвридике», об Н ***, ей подставил слова:

---

* «Арабески», стр. 59.

** Там же [108].

*** Жена Орфея.

**** Владыка подземного мира.

Ты — ведешь; мне — быть покорной...
Я должна идти, должна.
Но на взорах облак черный,
Черной смерти пелена[111].

Ужасаясь бредом Н *** о появляющемся-де перед ней демоническом образе Брюсова (к ней приходил не «образ», а В. Я. Брюсов, собственной персоной), я, часто видяся с Брюсовым в «Скорпионе», невольно пристально его наблюдал; и тут я заметил: и он сквозь деловые разговоры точно все наблюдает меня; мы стали друг другу ставить вопросы, как бы выпытывающие «credo» друг друга; была натянутость, было острое любопытство друг к другу у нас.

Но сквозь все росла какая-то между нами «черная кошка»; тут случился инцидент, который и в линии литературных дел на краткое время окислил наши отношения.

Брюсов в своих «Дневниках» пишет, как мы поссорились; я обещал взять из «Грифа» все, отданное для печати; взяв, сдал в «Скорпион» и потом внезапно потребовал рукописи обратно, чтобы снова их вернуть в «Гриф»; Брюсов наговорил мне обидностей; я заявил, что уйду из «Весов»; *«после мы,*— пишет он,— *умилительно примирились»* *.

Стиль примиренья в годах — побеждал; побеждала действительная человечность Валерия Брюсова: под маской жестокости; сколько раз я разрывал все с «Весами»; и снова печатно гремел: за Валерия Брюсова; он побеждал меня несознанной мной в те годы своей живой человечностью.

К характеристике Брюсова этого отрезка лет: насколько я его понимал в те годы, он, что называется, был только скептик, не веря ни в бога, ни в черта, не верил он и в последовательность любого мировоззрения; его интересовали лишь ахиллесовы пяты любого мировоззрения: он хотел в них воткнуть свою диалектическую рапиру; он был диалектиком, но вовсе не в теперешнем смысле, а — от софизма. Поэтому: он выдумывал с озорством игрока различные подвохи и позитивисту, и идеалисту, и материалисту, и мистику; уличив каждого в непоследовательности, он проповедовал, что истина — только прихоть мгновения; отсюда вытекала его любовь к перемене идейных обличий, доходящая до каприза: играть во что угодно и как угодно; «духовидцу» он проповедовал: «Спиритизм объясним ма-

* «Дневники», стр. 134 [112].

териалистически: феномены стуков — неизвестные свойства материи».

Материалисту же он мог из озорства выкрикнуть: «Есть явления, доказывающие иной мир».

Не верил же он — ни в духов, ни в материю; но оборотной стороной этого скептического неверия было огромное любопытство: ко всему темному, неизученному; он сам же ловился на этом любопытстве, с нездоровою любознательностью перечитывая все, что писалось о передаче мыслей на расстоянии; помню, как выкрикивал он, вытянув шею:

— «А ведь Барадюк нашел способы фотографировать мысль!»

Для него было не важно: нашел или не нашел, а важно в данную минуту показать сомневающемуся, что его сомнения от узости, от какой-нибудь догмы; если бы он сам принялся доказывать свою мысль, он, вероятно, доказывал бы, что факт возможности такой фотографии свидетельствует, что мысль — материальная вибрация; вероятно, он являлся к спиритам в те дни, чтобы наблюдать их и доказывать, что для объяснения *«стуков»* не следует призывать никаких «духов»; но попугать суевера любил; и для этого приставлял при случае к своему лбу и рожки, являясь эдаким «чертом» пред ним.

На этом же основании с исступленною страстью изучал он средневековые суеверия; ведь в нем роился уже его средневековый роман, «Огненный ангел»; и фигура Агриппы, полушарлатана, полуоккультиста, полугуманиста, из слов вылезала его: «Знак Агриппы... Что думаете об Агриппе?»[113] — ко мне приставал этот полуспирит, материалистически разглагольствовавший о «флюидах», полускептик, высказывающий: «За бога, допустим, процентов так сорок; и против процентов так сорок; а двадцать, решающих,— за скептицизм».

Пятнадцатый век, сочетающий магию с юмором свободы мысли Эразма, став фоном его романа,— его волновал; крохоборствовал он, собирая штрихи для героев, задуманных среди знакомых, но их превращал в фантастику, в дым суеверий, в XV век; обирал он себя для героя романа, для Рупрехта, изображая в нем трудности нянчиться с «ведьмой», с Ренатой; натура, с которой писалась Рената, его героиня, влюбленная в Генриха, ею увиденного Мадиэлем, есть Н ***; графом Генрихом, нужным для повести, служили ему небылицы, рассказанные Н *** об общении со мной; он, бросивши плащ на меня, заставлял непроизвольно меня в месяцах ему позировать, ставя вопросы из своего

романа и заставляя на них отвечать; я же, не зная романа, не понимал, зачем он, за мною — точно гоняясь, высматривает мою подноготную и экзаменует вопросами: о суеверии, о магии, о гипнотизме, который-де он практикует; когда стали печататься главы романа «Огненный ангел», я понял «стилистику» его вопросов ко мне.

Опрокидывая старый Кельн в быт Москвы, он порою и сам утеривал грани меж жизнью и вымыслом; так, москвичи начинали в его представлениях жить современниками Неттесгеймского мага, Эразма и доктора Фауста; местность меж Кельном и Базелем — между Арбатом и Знаменкой: черт знает что выходило, приняв во внимание, что Н *** подавала ему материал для романа и своею персоною, и фантастикой своих вымыслов обо мне и наших отношениях; вполне понятно его тогдашнее любопытство ко мне как художника-романиста; и вместе с тем понятна все растущая ко мне ненависть как к воображаемому противнику в чисто личной трагедии: Н *** со свойственным истеричкам талантом делала все, чтобы его раздразнить; и с тем же талантом она делала все, чтобы мне нарисовать образ Брюсова в самом непривлекательном виде; она представляла себя объектом его гипнотических пассов; став между мною и Брюсовым, спутавши все карты меж нами, сама она запуталась вчетверо; и результатом этой путаницы явился морфий, к которому стала она — увы! — прибегать с той поры.

Вспоминая ужасную полосу своих отношений с поэтом[114], забегая в будущие года, я должен сказать: и ненавидя временами меня, он делал все возможное, чтобы преодолеть свою «ненависть», сам зная, что ненависть — временный дурман; человеческий облик сквозь все «черные кошки» великолепно порой в нем побеждал; и я видел блеск его ясных до ослепительности, исстрадавшихся глаз, на меня обращенных; одну руку он как бы заносил надо мной; другою точно от себя же оберегал меня.

Только через полтора года открылась реальная мне подоплека его странного поведения, казавшегося немотивированным нападением, но с порывами к истерической, повышенной дружбе и близости; поняв, я оценил в нем то именно, что заставляло меня некогда больно вскрикивать, согласно его стихотворению.

Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу *.

---

* Стихотворение Брюсова: «Бальдеру Локи» [115].

С осени 1903 года Брюсов вдруг стал предо мной как овеянный мглой:[116] мы видались тогда очень часто: в «Скорпионе», у него, у меня, у Бальмонта; чем более я вглядывался в него, тем более сквозь «литературу» меж нами выступала нелитературная, жуткая близость, которой корни — неведомы были.

При встречах в гостях он с таинственною интимностью подсаживался ко мне, отзывал в теневой уголок, усаживал рядом; и начинал говорить преувеличенные комплименты; вдруг, сквозь них, больно всаживал он, точно рапиру, подкалывая — «дьявольским» афоризмом или пугая намеком, что этот подкол может стать... и боем: на рапирах.

Не понимал ничего: и — становилось жутко: я приходил к Н *** и рассказывал ей о невнятице своих отношений с Брюсовым; она, мрачно улыбаясь, не объясняя мне ничего, на другой день передавала мои слова Брюсову; он, зная о моих недоумениях, продолжал меня эпатировать; словом,— и я стал объектом его экспериментов; непростительно в Н ***, что она в те месяцы не открыла мне ничего; но я не сужу ее: добрая, чуткая женщина! Но как погребенная заживо в истерию свою и в свой морфий.

Ее бреды (обо мне и о Брюсове) длились до лета 907; весною 1907 года читал я публичную лекцию; Н *** появилась под кафедрою с револьвериком в муфте; пришла ей фантазия, иль рецидив, в меня выстрелить; но, побежденная лекцией, вдруг свой гнев обернула на... Брюсова (?!) (вновь рецидив); в перерыве, став рядом с ним (он же доказывал Эллису что-то), закрытая, к счастью, своими друзьями от публики, она выхватила револьвер, целясь в Брюсова; не растерялся он, тотчас твердо схватил ее за руку, чтобы эту «игрушку опасную», вырвавши, спрятать себе в карман; Кобылинский увез Н *** домой, провозясь с ней весь вечер, а Брюсов, спокойно войдя ко мне в лекторскую, дружелюбно касался тем лекции[117].

Так он собою владел!

Он не так собою владел в роковую эпоху моих назревающих с ним и с Н *** бурь; в нем вскипали: то бешенство, то истерическое благородство.

Осенью 904 года углубилась трагедия между мною и Валерием Брюсовым максимально;[118] трагедия же с Н *** углубилась для меня уже к весне 1904 года.

Но осенью 903 года уж переживал я «двусмыслия» «аргонавтических» громов побед: кошки черные с Брюсовым, близость, трагедии с Н ***, ряд надрывов с «коммуною»: с Эртелем не пропоешь песни жизни! Л. Л. Кобы-

линский — зажаривал еще более скрежещущими диссонансами в нашем оркестре, портя мне и ритмы и темпы; открывалось: Рачинский — взрыв дыма табачного, а вовсе не ладана!

Уж из души вырвалось стихотворение «Безумец», как вскрик:

Неужели меня
Никогда не узнают? *

«Безумец» — последние строчки стихов, написанных для «Золота в лазури», уже набираемого в типографии Воронова; через дней девятнадцать — вскрик первых стихов, но уже отнесенных к сборнику «Пепел»:

Мне жить в застенке суждено.
О да: застенок мой прекрасен!
Я понял все. Мне все равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен[120].

Ужасная ясность ума есть картина, представшая мне: рой «аргонавтов»: *«В своих дурацких колпаках, в своих ободранных халатах, они кричали в мертвый прах, они рыдали на закатах»;* ** а между последними строчками «Золота» и первой строчкою «Пепла» — явление Блоков в Москве, и не воображавших, какую боль нес я под радостью первой встречи; отсюда и нервность моя с Блоками; ведь я чувствовал себя немного хозяином, принимающим их, наших гостей в Москве; а между тем: мысль моя перевлекалася к Н ***; за ней интриговал притаившийся Брюсов!

. . . .

Печальная осень!

Грустно пронесся ноябрь; уже запели метели; снежинки хрустели хлопчатою массой; зиму я любил; а эта зима навевала недобрые мне предчувствия; я вчитывался в стихотворение Блока; и содрогался: точно оно написано про меня:

...Тот, кто качался и хохотал,
Бессмысленно протягивая руки,
Прижался, задрожал,—
И те, кто прежде безумно кричал,
Услышали плачущие звуки[122].

Заплакавший — я, самозванец, «Орфей», увидавший себя: в колпаке арлекина.

---

* «Золото в лазури» [119].
** «Пепел» [121].

ЗНАКОМСТВО

Десятого января 904 года в морозный, пылающий день — раздается звонок: меня спрашивают; выхожу я, и вижу: нарядная дама выходит из меха; высокий студент, сняв пальто, его вешает, стиснув в руке рукавицы молочного цвета; фуражка лежит.

Блоки![123]

Широкоплечий; прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим; супруга поэта одета подчеркнуто чопорно; в воздухе — запах духов; молодая, веселая, очень изящная пара! Но... но... Александр ли Блок — юноша этот, с лицом, на котором без вспышек румянца горит розоватый обветр? Не то «Молодец» сказок; не то — очень статный военный; со сдержами ровных, немногих движений, с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне; он подходит, растериваясь голубыми глазами, присевшими в складки, от явных усилий меня разглядеть; и стоит, потоптываясь (сходство с Гауптманом юным):

— «Борис Николаевич?»

Поцеловались.

Но образ, который во мне возникал от стихов,— был иной: роста малого, с бледно-болезненным, очень тяжелым лицом, с небольшими ногами, в одежде не сшитой отлично, вперенный всегда в горизонт беспокоящим фосфором глаз; и — с зачесанными волосами; таким вставал Блок из раздумий:

Ах, сам я бледен, как снега,
В упорной думе сердцем беден![124]

Курчавая шапка густых рыжеватых волос, умный лоб, перерезанный складкою, рот улыбнувшийся; глаза приближенно смотрят, явивши растерянность: большую, чем подобало.

Разочарованье!

Мое состояние передалось А. А.: он, конфузясь смущеньем моим, очень долго замешкался с недоуменной улыбкою около вешалки; я все старался повесить пальто; он в карман рукавицы засовывал; и не смущалась нарядная дама, супруга его; не сняв шапочки, ярко пылая морозом и ясняся прядями золотоватых волос, с меховою, большущею муфтой в руке прошла в комнаты, куда повел я гостей и где мать ожидала их.

Сели в гостиной, не зная, как быть и о чем говорить; Любовь Дмитриевна, севши в сторонке, молчала и нас наблюдала.

Запомнился розовый луч из окна, своей сеточкою через штору заривший слегка рыжеватые, мягко волнистые кудри поэта, его голубые глаза и поставленный локоть руки, опиравшийся в ручку растяпого, старофасонного кресла. А слов я не помню: они — о простых, обыденных вещах, о Москве, о знакомых, о «Грифе», о Брюсове, даже о том, что нам — не говорится, а — следует поговорить основательно; тут же втроем улыбнулись: визитности.

Лед стал ломаться; все же: Блок — меланхолик; а я был сангвиник; обоим пришлось-таки много таиться от окружавших; он чужд был: студенчеству, отчиму, родственникам, Менделеевым, плотной военной среде, средь которой он жил (жил — в казармах);[125] он испытывал частый испуг пред бестактностью; а к суесловию — просто питал отвращенье, которое он закрывал стилем очень «хорошего тона»; скажу я подобием: анапестичный в интимном, он облекся в сюртук свой, как в ямб.

Ямбом я не владел, выявляя себя в амфибрахии: в чередованьи прерывистом очень коротеньких строчек; мой стиль выявленья — сумятица нервная очень на людях: при тихости внутренней; внутренно бурный,— на людях тишел он.

Столкнулись контрастами!

Всякий сказал бы, взглянув на меня, что — москвич: то есть — интеллигент, такт теряющий; вся моя роскошь — сюртук, надеваемый редко; пиджак же висел как мешок, потому что его не заказывал, а приобрел в дрянной лавке, ленясь примерить. Взглянувши на Блока, сказали бы все: дворянин, *натянувший* улыбку хорошего тона, как выправку, чтоб зевок подавить; но — душа сострадательно-ласковая: к бедным ближним. Я выглядел — интеллигентней, нервнее, слабее, рассеянней, демократичней его; интеллектуальнее и здоровее меня он казался; мы оба не выявили в себе стилей наших поэзий; никто не сказал бы, взглянувши на Блока, что он — автор цикла «видений» своих; он, по виду, писал даже крепче Тургенева,— но по Тургеневу, так же охотясь: в больших сапогах, с рыжим сеттером. Взгляд на меня возбудил бы догадку: рифмует — «искал — идеал»; в довершение недоумения Блока: я был перетерзан провалом «Кружка» и запутанными отношеньями с Н***.

Вид — не «суть».

Под «дворянскою» маскою в Блоке, конечно же, жили: и Пестель, и Лермонтов; а под моими «идеями» прочно засел методолог, весьма осторожно ощупывающий и всегда выжидающий мнения ответного; с виду ж дающий авансы: всем стилем речей, приспособленных для собеседника; так: торопясь, вперед забегая в словах, я был — крепче, спокойней; и, да,— терпеливей: он не выносил разговоров, которые я выносил, их отстрадывая.

Вскоре Блок мне признался: был миг, когда он не поверил в меня, в этом первом сидении, чувствуя, что я — *«не тот»*; и такое себя отражение в нем — я почувствовал тоже; *«Бугаев совсем не такой»*,— писал матери он из Москвы[126].

Я в тот день ощутил его старшим (мы были ровесники).

Вот еще штрих: если б А. А. стали расспрашивать о нашей встрече, он словом отметил бы внутреннее, что возникло меж нами, без психологической характеристики и без нюансов; он матери пишет, что *«...дверь соловьевской квартиры с надписью «Доктор Затонский». Бугаев и Петровский говорят, что его нет — затонул в тростниках»;* ракурс характеристики; иль: *«Господин... определенный мною: забинтованное брюхо»;* * или: *«Сидим с Бугаевым и Петровским под свист ветра. Радуемся»* **.

Я же прислушивался к обертону, к нюансам, слова забывая; весь первый мой с ним разговор позабыт; помню только, что я признавался в трудности с ним говорить; он же точку поставил над «и»:

— «Очень трудно!»

Я — анализировал трудности, вдруг спохватясь, что при первом визите анализ такой неуместен; Блок перетерпел с благодушием; и поразил «тихой силой» молчанья, слетающего с загорелого, очень здорового, розового, молодого, красивого очень лица: безо всякого «рыцаря Дамы»; стиль старых витражей, иль *«средних веков»*, или Данте — не шел к нему; что-то от Фауста.

Силою этою он озарял разговор, излучая тепло, очень кровное; *«воздуха»* ж — не было.

Слушая наклоном большой головы, отмечающей еле заметным кивочком слова свои, произносимые громко, и все же придушенным голосом, чуть деревянным; ды-

* «Письма Блока к родным», стр. 102.
** Там же[127].

мок выпуская, разглядывал, щуря глаза, повисающие и сияющие из солнечного луча дымовые светлобрысые ленты.

Он вызвал во мне впечатление затона, в котором таится всплывающая из глубин своих рыбина; не было афористической ряби, играющих малых рыбеночек, пырскающих и бросающих вверх пузырьки парадоксов, к которым привык я, внимая — Рачинскому, Эллису; он говорил тяжело, положительно, кратко, с прихрипом, с немногими жестами, стряхивая пепелушки; а все-таки «мудрость» дышала в скупом этом слове; а легкость, с которою будто бы он соглашался на все, была косностью, ленью; прижми его крепко к его же словам: «Может быть, это так»,— он возьмет их назад.

— «А пожалуй, я думаю, что и не так... Знаешь, Боря,— не так».

Не свернешь!

Все то в первом свидании же стало ясно, упорно взывая к работе сознания: я ожидал его видеть — воздушным; меня подавила интеллектуальность его.

Блоки вышли.

Запомнилась стужа, погасшая тускло заря, охватившая грусть; я пошел поделиться своим впечатленьем от Блоков к Петровскому; мы очутилися с ним на Никитском бульваре; и я рассмеялся вдруг:

— «Знаете что, он — морковь, а жена его — репа!..» — И мы, придираясь к мальчишествам этим, расшучивали наши мысли,— игривые, смутные, грустные.

ЗА САМОВАРЧИКОМ

Первые дни пребывания Блоков в Москве я к ним приглядывался; в тот же вечер с Петровским и с ними посиживали у Сережи, в уютной квартирочке в три малых комнатки, куда с усилием втиснули всю меблировку арбатской квартиры, большой.

С Блоками стало проще, теплее: Сережа, троюродный брат А. А., ближайший мой друг, ликвидировал официальности, перелетая по темам, кидаясь словами, руками, предметами; то темпераментно вскакивал, вздернувши брови, сутулые плечи, качался над чайным столом, руку ставя углом; тыкал в воздух двуперстием; и с тарарахами падал; и — перетопатывал, весь исходя громким хохотом; в нем было что-то пленительное: еще мальчик, а — муж



А. Белый в гостиной дома на Арбате. 1901 – 1902 гг.



О. М. Соловьева. 1880 г.

М. С. Соловьев. Около 1903 г.





А. Белый (сидит) в группе студентов на крыше лаборатории химического курса. 1903 г.



Московский университет. 1900-е годы

Арбатская площадь. 1890-е годы





А. Белый (слева) и Бутлер, студенты. Москва. Арбат. 1901 г.





В. В. Владимиров.
1902 г.

Пречистенский бульвар

В. В. Розанов. Около 1910 г.

Пречистенка. Колокольня церкви Троицы в Зубове. Начало XX в.











В. Я. Брюсов. 1904 г.

Шарж на В. Брюсова и А. Белого. Худ. В. В. Каррик. 1904 г.

Д. С. Мережковский

З. Н. Гиппиус. 1890-е годы







М. А. Волошин. 1910-е годы



К. Д. Бальмонт. Около 1905 г.

Никитский бульвар. Дом Шереметевых





Вяч. И. Иванов. Около 1900 г.

«Заседание Общества свободной эстетики». Рис. Л. О. Пастернака. На кафедре: Вяч. Иванов; сидят: А. Белый, Н. А. Бердяев









А. А. Блок. Рис. С. А. Залшунина

Храм Христа Спасителя на крови (на Волхонке)

Л. Д. Менделеева. 1898 г.

Дом Бекетовых в Шахматове. Рис. Е. А. Бекетовой-Красновой. 1882 г.





Б. К. Зайцев

Л. Семенов. 1905 г.





Л. Н. Андреев. 1903—1904 гг.



Ф. К. Сологуб.
1905—1907 гг.

Вид Московского Кремля



в бурях жизни: без всякой опоры; рой родственников — только куль тяготевший,— на детских плечах; а Рачинский, его опекун, с жаром, с пылом, с огромной сердечностью, уподоблялся налету растрепывавшей, распекающей бури; он сам взывал к опекунам.

И Петровский, в те годы бывший не раз в положении няньки Рачинского, уже выдвигался на пост опекунства: над «опекуном». В этот вечер Петровский над чашкою чая острил о «Затонском», утопшем в затоне квартиры: здесь под полом; Блок о Петровском вспомнил в письме: «Очень милый» *.

Сидели за чаем веселой пятеркой.

Блок юморизировал, изображая себя визитером с перчаткой в руке, наносящим визит обитателям синих московских домков, соблюдающим тон перед псами и галками; с неторопливым повертом всем корпусом, он излагал впечатленья свои Любовь Дмитриевне перекуренным голосом:

— «Знаешь ли, Люба,— Сережа, по-моему, стол опрокинет».

Со сдержанным юмором он излагал свои домыслы о Мережковском, а губы дрожали от смеха у нас: от тайных, смешных, вторых смыслов, которых не договаривал он, отрясая свои пепелушки, расширив невинно на нас голубые глаза.

Обсуждались «Весы», пробный номер которых с портретами Брюсова, Гиппиус тут же лежал; [129] Соловьев, ненавидевший Гиппиус, вырвав портрет поэтессы, со свойственной ему способностью все доводить до конца, ставя даже не точки над «и», а огромные дыры, колом пробиваемые (он шутил монструозно), топтал каблучищем портрет поэтессы — во славу супруги поэта (потом с Гиппиус дружил); [130] Блок, отметив единственность Гиппиус, иронизировал над ее слабостью: ссорить людей.

— «Ну, а вы?» — обратились к супруге поэта.

— «Нет,— я говорить не умею».

Но слушала пристально, ширясь синими, как кобальт, глазами из щура ресниц, как из ширмы,— разглядывая, она «старшей» держалась; и Блок называл ее строгой; была всех моложе, но силилась *«дамой»* держаться, с огромною муфтой входила в дома, где была не «своя», точно тупясь над муфтой, которую мяла в коленях.

* «Письма Блока к родным», стр. 102 [128].

Сережа, еще гимназист, подавал повод к смеху; зачем-то надев сюртучок, перешитый с плеча Соловьева, Владимира, выглядя куцым, он шею свою повязал белым шарфиком; Блоки дивились откиду, подпрыгу бровей с помаванием шейного шарфика: в пляшущих пепельных космах: как клюкнувший шафер с купеческой свадьбы; он весь разрывался гротесками — *«по-соловьевски»:* с потопами, с ором, с подкидом столовой доски и с зацепом за скатерть.

Петровский поставил стерляжий носочек в пенснэ; заикаясь, вонзал в него шпильки; и тупился, и розовел, как кисейная барышня, ворох ехидн прикрывая, как шалью: подумаешь,— розочки!..

Блок, Соловьев и Петровский мне виделись трио испытаннейших остряков; мой «лирический» стиль (не до шуток мне было в те дни) как надрывная трещина: в вечер забав; Александр Александрович Блок озорным разведением рук незлобиво вышучивал вымученность моей лирики; после умел представлять он, как просят читать меня; я же, конфузясь,— отнекиваюсь; говорят,— пародировал великолепно: при мне — ни за что. А я карикатурил в лицо ему, в Шахматове, хищно схватывая карандаш и трясяся от жадности, целился взглядом в заостренный нос его иль в лицо «репой» Л. Д., чтоб на смятом клочке быстро зарисовать едкий гротеск: Александр Александрович с идиотическим видом возводит жену на престол Анны Шмидт, ее свергнув с престола; Рачинский же, я, Соловьев, его «бабинька» в чепчике, в черной косынке,— кто падая в обморок, кто вознесясь, идиотски приветствуют «императрицу».

Сережа, меня провоцируя, все подносил к этим шуточным ужасам, как на гигантских шагах; от себя не шутил я, но вспыхивал часто от злого острячества Гиппиус, от «мастодонтов» Сережиного, как гром, хохота.

Юмор А. А. меня не провоцировал; и без Сережи бывание с Блоками делалось тихим, но грустным уютом; А. А не шутил: утонченнейше юморизировал, характеристик не строя; он черточкой, поданным метким, сражающим словом бил наповал; раз он выразил разность меж нами коротенькой фразою:

— «Ты, Боря,— мот, я — кутила»; «кутила» — способность отдаться; «мот» — россыпь словесная: от беззащитности, от немоты; и — раздача авансов: долги неоплатные!

Мать говорила:

— «Когда Александр Александрович скажет серьезно, мне хочется расхохотаться».

Движением глаз, головой строил шаржи, подкинув Сереже: на взрыв; если что и высказывал словом, то по-старомодному, чинно: по Диккенсу, не по Пруткову.

В тот вечер подчеркивал шарфик Сережи, еще гимназиста; и к матери в письмах подчеркивал гам: *«пробуждение в полдень от криков Сережи»; «Сережа кричит на всю конку, скандалит»; «Сережа с криками удаляется»*[131].

С нежностью Блок относился к нему.

Поразила грамматика речи в тот вечер: короткая фраза; построена просто, но с частыми *«чтоб»* и *«чтобы»*, опускаемыми в просторечии; так: «я пойду, *чтоб* купить» — не «пойду *купить*»; или: «несу пиво, *чтоб* выпить»; а деепричастий — не употреблял, говорил без стилистики; фразы — чурбашки: простые и ясные; в них же, как всплески, темнотные смыслы; они, как вода, испарялись: вниманье вперялось за текст; я потом раздражался на ясную эту невнятицу.

— «Блок безглаголен!» — рыкал Мережковский.

Позднее, написав «Против музыки»[132], я написал против фразы такой, точно за нос водящей: как будто все сказано; в сказанном же — ничего; знай, как знаешь; не то апелляция к тайному смыслу; а в сущности, лишь безответственность: наобещав горы золота миною, при предъявлении векселя с видом невинным помаргивать:

— «Не обещал!»

Улыбнуться Аничкову; с ним отобедать; потом в «Дневнике» пристрочить: «Идиот»: со всей искренностью![133] Не откликнешься на смыслы темные, будешь сегодня — «дурак»; а откликнешься, будешь — назавтра «дурак», потому, что два смысла, темнотный и ясный, перекувыркнутся за год.

«АРГОНАВТЫ» И БЛОК

Блок приехал в субботу, десятого; а в воскресенье, одиннадцатого, он с женой оказался в кругу «аргонавтов», попавши ко мне: принимали по времени первые, может быть, в России восторженные почитатели Блока: Эртели, Батюшков, мать моя, Челищев, Петровский, Печковский, Владимировы со своими, К. П. Христофорова, Янчин, Леонов, Петровская, Нина Ивановна; были: Бальмонт, Брю-

сов, два Кобылинских, Поярков, мадам Кистяковская, перерастающая даже муфту свою, с овнооким супругом[134], Часовникова, урожденная А. В. Танеева; всех человек двадцать пять.

Небольшая столовая точно взрывалась от криков и выпыхов дыма; поэт был любезен; хотя озабочен, попав в это «недро» Москвы, где не только Белинский, но Кетчер, но и Метакса с Репетиловым, даже с Ноздревым, протягиваясь из не столь уж далекого прошлого, отблеск бросали в потрепы обой, в ветошь штор и оливковых кресел гостиной, где сиживал и Лев Толстой, где Ковалевский и Янжул ораторствовали и дедушка Блока, Бекетов, меня на коленях держал; теперь здесь цитировали... Гюисманса!

Лишь мертвой луной, поднимая мертвейшие споры о Лотце, Сергей Кобылинский проламывал головы, бледным, как скатерть, лицом; братец, Лев, настоящий губан и вампир, ненасытно высасывал Блока, привскакивая, громко грохая стульями; Блок тщетно тщился вникать в то, что слышал; и, не успевая с ответом, теряясь, сидел с напряженной улыбкой, задеревенев, потемнев, и у глаз появились мешки; мы его увели в кабинет и обсели: Владимиров, Эртель, Петровский, я и Малафеев.

Опять наблюдал я его: он в разговоре не двигался; прямо сидел, не касаясь спиной спинки кресла; одежда не делала складок, когда наклонял рыже-пепельную и кудрявую голову или менял положение ног, положивши одна на другую, качаясь носком, но собрав свои жесты; порой, взволновавшись, вставал: потоптаться на месте иль медленным шагом пройтись, подойти к собеседнику, чуть не вплотную, открыв голубые глаза на него; и, деляся признаньем, отщелкивал свой портсигар, двумя пальцами бил по нему и без слов предлагал папиросу.

С врожденной любезностью, если стояли перед ним, он вставал и выслушивал стоя, с едва наклоненным лицом, улыбаясь в носки; а когда собеседник садился, он — тоже садился.

Такая природная ласковость, с выдержкой, чуть ли не светской, среди «аргонавтов», где он возбуждал любопытство и интриговал, проявили взрыв ярких симпатий. Со «старшими», с Брюсовым, с К. Д. Бальмонтом, Блок держался любезно, с достоинством: просто, естественно и независимо.

Помнился Брюсов: монгольской скулою и черным тычком заостренной бородки склонясь над поэтом, рукою летал (от груди и обратно: на грудь), разбирая: такая-то строчка стихов никуда не годится, такая-то строчка годится; а Блок, стоя рядом, отряхивая папироску, как бы сомневался.

В этот вечер меж ним и Л. Л. Кобылинским возникли какие-то непонимания, в ближних годах углубившиеся;[135] а с Бальмонтом, которому он не понравился, он не общался почти; на последнего произвела впечатленье супруга поэта.

И все ж: «аргонавты» понравились Блоку; пятнадцатого декабря писал матери он: *«Андрей Белый неподражаем»;* или: *«знаменательный разговор —...и прекрасный»* (с Сережей, со мной); он писал о Сереже, что *«разговор... с ним вдвоем... важен... светел и радостен»;* он выражался о Батюшкове: будто — *«будет у нас П. Н. Батюшков, одна из прелестей»;* он сообщал о Рачинском, что — *«производит впечатление небывалое...»;* он писал: *«будет... много хорошего в воспоминании о Москве»* *.

Впечатления свои скоро выразил стихотворением он «Аргонавты»; в нем строчка имеется: *«Молча свяжем вместе руки»*[137], этим как бы признавая, что себя чувствует в *«аргонавтическом»* братстве.

Зато впечатление от старших братьев — иное: *«Бальмонт отвратил от себя... личность Брюсова тоже... не очень желательна»* **.

Помню, в тот вечер читали стихи: он, я, Брюсов; я — «Тора»;[139] он — «Фабрику», «Встала в сияньи»[140], а Брюсов — «Конь блед»,— если память не изменяет.

Поразила манера, с которой читал, слегка в нос; не звучали анапесты; точно стирал он певучую музыку строк деловитым, придушенным, несколько трезвым и невыразительным голосом, как-то проглатывая окончания слов; его рифмы *«границ»* и *«царицу», «обманом — туманные»* в произношении этом казались рифмами: *«ый», «ий»* звучали как *«ы», «и»;* не чувствовалось понижения голоса, разницы пауз; он будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам.

И лицо становилось, как голос: тяжелым, застылым: острился его большой нос, складки губ изогнувшихся тени бросали на бритый его подбородок; мутнели глаза, будто

* Из письма Александра Блока от 14 января 1904 г., стр. 101—110[136].

** «Письма Блока к родным», стр. 110[138].

в них проливалося слово, он «Командором» * своим грубо, медленно шел по строке.

Это чтение вызвало бурный восторг; пишет матери он: *«Я читаю «Встала в сияньи». Кучка людей в черных сюртуках ахают, вскакивают со стульев. Кричат, что — я первый в России поэт. Мы уходим в 3-ем часу ночи. Все благодарят, трясут руку»* **.

Но я понял из чтения: он отстранял от себя, очень вежливо, впрочем, напористые *«санфасоны»* иных из московских знакомых, готовых шуметь, обниматься и клясться, запхав собеседника локтем; мог быть очень грубо пристрастным; так: в дни, когда он расточал свою ласку Сереже и мне, он писал потрясающе грубо, а главное, несправедливо об очень культурном, почтенном, для нас безобидном П. Д. Боборыкине:

«Маменька бедная, угораздило тебя увидеть эту плешивую сволочь» ***. Позднее я сам испытал оскорбительность самого облика Блока в эпоху, когда мы, рассорясь, не кланялись: на петербургских проспектах, среди толкотни пешеходов увидел я Блока; зажав в руке трость, пробежал в бледно-белой панаме,— прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих *оскорбительных губ;* они чувственно, грубо пылали из серо-лилового с зеленоватым потухшего фона просторов.

Он не видел меня.

Оскорбил меня этот жест пробегания с щеголеватою тросточкой, на перевесе, пырявшей концом перед ним возникавших людей; а слом белой панамы казался венцом унижения мне: как удар по лицу!

«Как он смеет?» — мелькнуло.

Он не видел меня.

А в период сближения не было меры в желании снизиться, все уступить; он — не требовал, он удивлялся: и резкому гневу, и резкой восторженности; *«поэт»* пересекался со скептиком в нем; и бросалась в глаза непричастность его интеллекта к «лирическим» веяньям; как посторонний, его интеллект созерцал эти веянья: издали! Воля кипела, но — в мареве чувственном, мимо ума, только зрящего собственное раздвоение и осознавшего: *самопознания* — нет! Оставалось знание: это-де понял; а этого-

---

* Стихотворение Блока [141].

** «Письма», стр. 103 [142].

*** «Письма», стр. 109 [143].

де не понять; и вставала ирония,— яд, им осознанный,— только в статье об иронии; после он сам написал: *«Самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой врачам. Эта болезнь... может быть названа «иронией»... все равно для них... Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба... и все мы, современные поэты, у очага страшной болезни»* *.

Я, не страдавший иронией, или страдавший ей менее, эту иронию силился сделать тенденцией, чтобы бороться с хотя бы Гейне, которого тут же цитирует Блок: *«Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо»;* ** я требовал строго осознанного разделения сфер; и в эпоху борьбы моей с Блоком о Блоке писал: *«Самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину)»* ***. И еще об *«остротах»* меня ужасающего «Балаганчика»: *«Удивляет бумажный небосвод и вопль какого-то петрушки о том, что... кровь... жертвы... кровь клюквенная»*[147].

Вот на эти-то выпады моей «иронии» против *«иронии»* Блока он мне отвечал записанием в *«полупомешанного»*, чтоб чрез годик сказать об иронии, переписав мои *«полупомешанные»* заявленья.

Причина иронии — некий толчок, отшибавший А. А. от него самого; отшибал в нем сидевший «остряк», полагающий: «In vino veritas» ****.

С крупным знакомимся по мелочам; запах яда, его погубившего, я раз унюхал в нем: вскоре же; грани меж юмором и меж иронией неуловимы; а я — уловил.

Это было у церкви Миколы: паршивеньким, слякотным днем; сани брызгали; меркло сырели дома; все казалось и ближе, и ниже, чем следует; темно-зеленое, очень сырое пальто, перемокшая набок фуражка, бутылка, которую нес он в руках, мне напомнили: студента с Бронной; бутылку показывал (мы с ним на *«ты»* перешли):[148]

— «Видишь... Таки несу себе пива к обеду, *чтоб* выпить».

В «таки» и в «чтоб» — острость иронии, вовсе не юмора; я посмотрел на него: ущербленный, с кривою, надетой

---

* Собр. соч., т. VII, изд. «Эпоха», стр. 107[144].

** Там же[145].

*** «Арабески», стр. 465[146].

**** См. стихотворение Блока «Незнакомка».

насильно улыбкой; не пепельно-рыжий, а пепельно-серый оттенок волос; и зеленый налет воскового и острого профиля: что-то простое; но — что-то пустое.

Подумалось:

«Блок ли?»

Я был перетерзан трагедией с Н *** не до *«чтоб»* и *«таки»;* он как бы локтем зашиб; распростясь, от меня в переулок пошел, чтобы... *«чтоб»:* есть ли штопор-то? Капало; шаркали метлы; и черные серо-синявые тучи висели.

АХИНЕЯ

Мы держались, точно хозяева в хлопотах гостя занять, его потчуя, точно ухою, знакомствами; всюду таскали; зачем-то таскали к *Антонию: «сидим у него, говорит много и хорошо»;* * гимназистик, Сережа, церемониймейстер, врываясь в распахнутой шубище, в куцем своем сюртучке, с разлетающейся белою шейною тряпкой, с большущею шапкой в руке,— точно клюкнувший шафер с купеческой свадьбы; раз видел его на извозчике; шуба — враспах; тряпка белая билась по ветру: вразлет; снег на грудь ему сыпался.

Он подцепил скарлатину в крикливых разъездах, таская уже утомлявшихся Блоков.

Вот выдержки из писем Блока:

«12-е, понедельник. Приходит Сережа... Втроем едем... в Новодевичий... Из монастыря бродим по полю за Москвой, у Воробьевых гор... Входим в Кремль. Опьянение и усталость. Входим в квартиру Рачинских... Вечером приходит Бугаев... Пьем вино, чокаемся... Ночь»; ** *«13-е, вторник. Утром Сережа... Едем в Сокольники с весельем и скандалами... к Саше Марконет... Обедаем у Сережи... Сталкиваемся с Рачинским, Мишей Коваленским...* *** *Мчусь... к Бугаеву, чтобы ехать в «Скорпион»... Не застаю. Приезжаю один, уходим с Бугаевым... Едем на собрание «Грифов»; заключаемся в объятия с Соколовым; собрание: Соколовы, Кобылинский, Батюшков, Бугаевы (и мать), Койранский, Курсинский... Ужин... Входит пьяный Бальмонт... Кобылинский, разругавшись с ним, уходит... Уходим в третьем часу. Тяжеловато и странновато»;* **** опять — перемельк:

---

* «Письма», стр. 105 [149].

** «Письма», стр. 104 [150].

*** Историк, марксист.

**** «Письма», стр. 105 [151].

«14-е, среда. Утром: мы, Бугаев, Петровский и Соколов в Донской монастырь, к Антонию... Худой, с горящими глазами... с оттенком иронии... Идем пешком...» *

Каждый день — этот таск: как он выдержал! А в результате:

«Мы... здешних... сторонимся» **.

В день годовщины кончины М. С. и О. М. Соловьевых *«приехали мы в Новодевичий»*,— пишет он матери; *«после заупокойной обедни (монахини хорошо пели)»* — отправились роем к Поповым: и шумно здесь *«ели блины»;* и *«была масса тостов»;* в тот день *«перешли,*— пишет он,— *мы с Бугаевым на ты»*[154].

Снег похрустывал; пух падал с елок; был матовый, мягкий, чуть вьюжащий день; вспоминаю соборную роспись: «святых кувыркающихся» (выражение Блока о позах); из тени шли стаи шушукающих, рясофорных, хвостатых, сутулых, чернеющих стариц, склоненных огнями огромных свечей над летающими клобуками.

Волною муаровой в елях просвистывал снег над фарфоровым, скромным венком: из-за веток; и ширилось око янтарной лампады над громко стенающим кладбищем; Блок был серьезен: не с нами,— в «себе».

Эллис, влипнув в него таким дэнди потрепанным, быстро рукою под руку ему занырнувши, в рот брызгал громчайше: про что-то свое, не ко времени; бледный, изящный, блестящий, со сверком в глазах, с истерическими перетрясами локтя, с «гигигигиги»,— мешал Блоку; и — далее: все у Поповых он лез на него, крутя усики, с принципиальными лозунгами, с вымогательством точных, немедленных, длинных ответов ему.

Александр Александрович долго терпел, хоть бледнело лицо, как бы перегорая остатком загара; молчал с папиросою; вдруг, не без вызова, с удалью, точно усиливаясь стряхнуть Эллиса, нарисовал лицом линию — вверх, выпуская из губ над собою двухвьюнную линию дыма; и что-то капризное, вспыхнув, погасло в нем.

Как бы не так!

Эллис, дьявол и мим, в сюртучке с обормоткой, взвивал в потолочные выси манжетку резиновую: над поэзией Данта, под кровли соборов, к химерам, оттуда повесившим клювы:

— «Нет, вы понимаете?»

---

* «Письма», стр. 106 [152].

** Там же [153].

Блок уже не понимал,— только вздрагивал от этой фальши в себе; потускнел от теней, проостряющих, как у Пьерро, длинный нос; он потом признавался:

— «Нет, знаешь ли, Боря: Льва Львовича я выносить не могу!»

И понес по годам этот тост у Поповых.

Я был терпеливее, как он, страдая; он — ежась, отвертывался; я ж себя отдавал на растерзы; порою, взрываясь скандалами, то защищая Эллиса, то нападая на Эллиса, как в эти дни; я ругался с Бальмонтом за Эллиса, который его оскорбил: *«Андрей Белый написал тут же письмо Бальмонту, что пока он не извинится перед Кобылинским, Бугаев не может иметь с ним дела»* *.

То было четырнадцатого; а шестнадцатого я, увидев, как Эллис точно выпивает Блока, прилипнув к нему, готов был накласть по загривку ему; приходилось же грудью отстаивать Эллиса: даже от Блока; и внутренне с Блоком я был на ножах: из-за Эллиса; но, как хозяин, «церемониймейстер», себя подавив, кое-как отодрал от поэта ужасного «Льва»; Блок не видел совсем: в выдвигаемом Эллисом трезвом, живом историзме (история, остолбеневши, кончалась у Блока),— в живом историзме, конечно, отстраданном *«экономистом»*, который таки в Кобылинском сидел, было много того, чему стоило бы поучиться поэту; в космических «пышностях» Блока — *боли* не было (потом явилась она); я ж свисал, как с креста, в это время в упорной тенденции ритмы извлечь в коллективе: из скрежетопильных ораний!

И вечер у «Грифа», начавшийся тотчас же после Поповых, еще раз притиснул меня к моей боли. А Блок о нем пишет спокойнейше: будто *«С. А. Соколов произвел... впечатление фальшивое, вечер — был неудачен»* **.

Я — думаю: он был разгром для меня, собирающий в фокусе всю безнадежную фальшь глупо стукнутых лбами людей, высекающих с пыхами «ритмы» и не понимающих, что эти ритмы лишь искры из глаз от нелепых ударов (лбом в лоб): с синяками и с шишками; в каждом проснулся свой «монстрик»; и, как «морской житель», на Вербе в Москве продававшийся, выскочил из разоравшихся ртов, чтоб зажить средь гостей — тоже гостем.

И Блок отмечает ужаснейшее настроение Нины Петровской (писательницы); понимаю ее: ее муж, Соколов,

---

* «Письма», стр. 107 [155].

** «Письма», стр. 108 [156].

наорав всякой дряни рифмованной (кровь-де его от страстей так черна, что уже покраснела она!) — с'кон апэль истуар[157],— ррадикально сметнувши поморщем брезгливого дэнди от носа пенснэ, пузырем надув щеки (набили гагачьего пуха),— рукою на стол:

— «Стол!» — таращась на Блока глазами, как пуговицами ботинок.

— «Что стол?»

И басищем, таращась на Батюшкова, как столпом Геркулесовым, бух: в лоб!

— «Глядите!»

И все, растаращась на стол, запыхтели: а стол — ничего; он — стоял.

— «?!»

Увидя, что ждут объяснения, присяжный поверенный Соколов, только что попавший к спиритам, с достоинством поправляя пенснэ и сконфузившись своего жеста, басил:

— «Стол — гм: но мне кажется, в нашей квартире с недавнего времени...»

Все стояли и ждали:

— «С недавнего времени начались... стуки».

Он разумел — «спиритические».

При чем стол? Стол, по-видимому, не собирался подпрыгивать: стол, покорный осел, тащил грузы тарелок, и фруктов, и вин. Писательница Петровская,— та даже за уши схватилась от такого бессмысленного безвкусия: как оскорбленная оплеухой, дрожала; стыдно видеть своего мужа таким.

Мы стояли как на иголках; сели как на иголки; и весь вечер томились; а тут возник пренелепейший разговор; присяжный поверенный Соколов высказал свои «мистические» воззрения, на которые не отзывался никто, кроме «божьей коровки», младенца с railsединками, Батюшкова; тот, схвативши кого-то за руки и патетически дергая руки,— то подбрасывал их себе под микитки, то бросал их себе под живот, с риском их оторвать: для выражения сочувствия к захваченным рукам и к присяжному поверенному Соколову.

А Мишенька Эртель, блеснувши зеленым глазком, как кукушка облезлая, закачался и — задрожал усиным огрызом, выражая свой полный восторг Соколову.

— «Сейгей Аексеич схватий — гы-ы-ы!— нам быка за гога!»

Соколов, надевая пенснэ: с томным, бархатным басом:

— «Спасибо, родной: вы меня понимаете!»

Я — чуть не в пол, как Петровская: *«аргонавтический»* фейерверк иль —

> Все кричали у круглых столов,
> Беспокойно меняя место[158].

Тот вечер сыграл в моей жизни крупнейшую роль, провалив навсегда, окончательно, «стиль», из которого я хотел высечь мелодию искристого социального тока; так вот оно, *новое качество* в химии душ, в контрапункте сплетенья людей? Не гармония, а — *«стол трясется»*. Мистерия жизни? Мистерия — мышь родила; вероятно, и слово-то *«мюс»* от *«мюс-тэрион»; «тэр»* же по-гречески — зверь;[159] он и вылез: в тот вечер.

И после в годах я лишь вздрагиваю, слыша слово *«мистерия»:* и в 906, вспомнив про «грифское» бредище, я написал: *«Гора родила мышь... Кто-то на вопрос хозяйки... «чаю?» крикнул: «Чаю воскресения мертвых»... В одном доме оказалась просахаренной мебель; нельзя было садиться в кресла: везде липло»* *.

Проваливался в этот вечер перед Блоками «аргонавтизм»; я сам перед собою давно провалился: в истории с Н ***.

Александр Александрович сердцем почувствовал это во мне; «грифский» вечер связал с ним; он бросил на меня свой встревоженный взгляд через головы «монстриков»; вскоре мы вышли на мягкий снежок, пороживший полночную Знаменку.

БРАТ

А. А. Блок пишет матери: *«Пришел Бугаев, и мы долго пили чай»* **, но он не пишет, о чем говорилось: был он — душа сострадательная; но — ему-то что: он был в восторге еще от Москвы; о которой я писал уже через месяц:

> В своих дурацких колпаках,
> В своих оборванных халатах,
> Они кричали в мертвый прах,
> Они рыдали яа закатах[162].

Об этом-то я и сказал: и —

> Бессмысленно протягивая руки,
> Прижался к столу, задрожал...[163]

---

* «Арабески», стр. 321 [160].
** «Письма», стр. 108 [161].

Не к столу («стол» вчера доконал), а — к нему, брату, как бы прося его строчкой, ему посвященной:

Не оставь меня, друг,
Не забудь...[164]

Он, прочтя мою боль, мне ответил всем жестом, как строчкой ответной:

Молчаливому от боли
Шею крепко обойму[165].

Вскоре описывал я свой убег:

Я бросил грохочущий город
На склоне палящего дня[166].

Даже Брюсов любил вспоминать:

— «Это было, Борис Николаевич, в дни, когда, помните, бросили вдруг вы «грохочущий город» — не правда ль?»

«Грохочущий город» — Москва; ее бросил, сбежав в Нижний Новгород, к Метнеру: в марте же; тема «ухода» меня, как Семенова, мучила; неудивительно: мы говорили о том, что, быть может, уйдем; но — куда? В лес дремучий?

Ушел — Добролюбов: не Блок.

Александр Александрович мне улыбался своею двойною улыбкой: скептически-детской; но ласка его оживляла меня; Любовь Дмитриевна, зажимаясь клубком в уголочке дивана, платком покрывая капотик пурпуровый, свесясь головкой своей золотой, нам светила глазами: под старенькою занавеской окна; начиналась заря; розовели снега; из графина к стене перепырскивал розовый зайчик.

Я выше отметил: ум Блока — конкретно-живой, очень чуждый абстракциям; уже я испытал полный крах переписки с ним: на философские темы, сведя ее — к образам, сказке, напевности и «баю-бай».

Наша связь — в этой ноте: не в идеологии; мальчик, Сережа, еще гимназист, раздувая все более пафосы к идеологии с Блоком — до чертиков, до фанатизма, до тряпочки шейной,— под северным ветром, схватив скарлатину, внезапно свалился в постель; но еще до болезни, как пещь Даниила, палил экстремизмом своим, развивая иной, «свой» стиль: с Блоками.

Он, бывший третьим меж нами, стушевывается в те дни; наш посид в марконетовском флигеле, мое сближение с Блоками (на почве моего горя) — уже без Сережи; то «выбытие» отразилось позднее во всех наших встречах: Сережа пел про «Ерему», а я — про «Фому».

Но об этом — потом.

. . . .

Спиридоновка, дом «Марконет»: в пустовавшей коричневой, старой квартирке, обставленной всеми предметами, зажили Блоки;[167] их домохозяин был свойственником Соловьевых: учитель истории, староколенный москвич, член дворянского клуба, с табачного цвета глазами, взлетающими на безбровый, большой его лоб,— рудо-пегий и козлобородый,— гремел добродушно из кресла, повесив живот сероклетчатый между ногами:

— «Цто? Брюсов опять написал про козу?..»

Удивленный собою самим, он, подкинув пустое безбровье,— все схватывал Блока за руку:

— «Цто, цто?»

— «Что Владимир твой Федорович?» — раз спросил я А. А. Блока.

— «Хороший: приходит, сидит!»

Что, казалось бы, общего меж рудо-пегим учителем, вылитым сатиром, и меж поэтом? Владимир же Федорович ежедневно являлся утрами, осведомиться: все в исправности ли? Называл Блока «Сасей»; к нему пристрастился до... до... пониманья стихов (декадентов осмеивал он); и накидывался на меня, будто я — враг поэзии Блока.

— «Хоросее стихотворение!.. Цто?»

Он года вспоминал, как жил в доме его «Саса Блок»:

— «Цто? Как Блоки?.. Сережа цто?.. Брюсов опять написал про козу?» — поднимал ту же тему над кучами снега, у паперти церкви, где Пушкин женился[168] (жил рядом); его встречал часто я, пересекая по делу — район Поварской; этот старый толстяк с увлекательною простотою рассказывал:

— «Саса — поэт, настоящий... Цто? Выйдет, бывало, на улицу,— голову кверху: заметит, какой цвет небес, и какая заря, и какая тень тянется: зимняя или осенняя; цто цитать? Видно сразу: поэт — цто, цто, цто?»

И лицо добряка начинало сиять.

Я заметил, что Блок возбуждал очень нежные чувства: у дедов и бабушек, внявших Жуковскому и метафизике

Шеллинга, тихо влекущих в могилу свои «геттингенские души»; «отцы» ж — пожимали плечами:

— «Бред, бред: декадентщина!»

Бабушка старенькая, Коваленская, делая вид, что поэзия Блока во всем уступает Сереже,— ее понимала; но ревность и тяжба с Бекетовыми не позволила: вслух восхищаться; другая старушка, Карелина, Софья Григорьевна, великолепнейшая, сребро-розовая, разводящая в Пушкине кур, погибающая над Жуковским,— та просто влюбилася в Блоков, покалывая семидесятилетнюю свою сестру, Коваленскую; в Дедове летом, бывало, старушки сойдутся: и — дразнятся:

— «Да вот, Сережа такие стихи написал, что...»

Карелина жует губами; и вдруг:

— «Была в Шахматове... Блоки,— ах, что им делается?.. Люба — роза... А Саша такие стихи написал: прелесть что!»

Коваленская — сухо губами жует; а Карелина, взявши реванш, затрясется от смеха и напоминает мне Виттихен, ведьмочку из «Потонувшего колокола»[169].

Шмель жужжит: над старушками.

Тонкие критики и специалисты не вняли в те годы поэзии Блока, как некогда Тютчеву и Боратынскому, тоже весьма «непонятным» когда-то (теперь это даже не верится); люди простые с душой, безо всякого опыта критики, не понимали, что тут непонятно, коль строчка берется душой; так твердили всегда — три сестры, три поповны села Надовражина; так утверждала Владимирова, Евдокия Ивановна, русская, умная, очень простая душа — без затей, подковыков; так полагала и мама, но не имевшая опыта критики,— скорей опыт балов; и так мыслил один старовер, собиратель икон, крупный деятель «толка»:

— «В России один настоящий поэт: это — Блок!»

Стало быть, мимо критики, истолковательства и поднесенья читательским массам искусственного препаратика (есть ведь такой: *«поэтин»*, изготовленный *«толстым»* журналом),— такими была хватка: души, непосредственно знающей, что хорошо и что плохо. И видели: Блок — *«хорошо»*.

И не только поэзия Блока: сам Блок! Волновала волной золотого какого-то воздуха — строчка; но и — волновала волна точно розового, золотого загара, играющая на его молодом, твердом, крепко обветренном профиле, в солнце бросающем розово-рыжие отсветы пепельных мягких во-

лос; его мощная, твердая грудь, продохнувшая жар летних зорь, ставший пульсом кипения крови, выдыхала теперь — в перекуренных комнатах, в модных гостиных, где он как светился; и слышалось:

— «Блок — он какой-то такой: не как все!»

Таким после не виделся, выдохнув с жаром, с дымком папиросы,— иные, зловещие дымы, в них сев, как в тяжелую, черную, с тускло-лиловыми и желто-серыми пятнами, мантию.

. . . .

Я его видел таким перед отъездом, когда мы пошли с ним в кружок юных религиозных философов — Эрна, Флоренского и Валентина Свентицкого, где я читал реферат[170] и где он поникал, выступая из тени: проостренным носом; когда выходили из душненькой комнаты, где обитал В. Ф. Эрн, он сказал:

— «Между этими всеми людьми — что-то тягостное... Нет, мне не нравится это... Не то!»

Он был прав.

С молодыми философами я познакомился только что.

. . . .

Перед отъездом своим чета Блоков явилась с прощальным визитом;[171] нарядный студент, в сюртуке с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим, отдавшися в руки нарядной жены, посидел в старом кресле, помигивая улыбавшимися голубыми глазами, держа на коленях фуражку; привстал за женой, потоптывался:

— «Ну, прощай, Боря».

Крепко прижались губами друг к другу:

— «Пиши!»

Любовь Дмитриевна, улыбаяся прядями гладко на уши зачесанных золотоватых волос, с меховою большущею муфтою вышла в переднюю: в сопровождении матери.

СТАРЫЙ ДРУГ

Блоки уехали; чин представления им «аргонавтов» ухлопал меня; в дни сидения их в марконетовском флигеле точно с вкушеньем людей, как варенья, мои отношения с Н *** заострилися до невозможности видеться; черными кошками падали тени; то — Брюсов, не видимый мною, просовывал ухо в мою биографию; стены действительно уши имели: все, что говорилось у Н ***, в тот же день ста-

новилось известно и Брюсову; кроме того: я имел объяснение с матерью, внутренним ухом услышавшей фальшь моей жизни;[172] так что: отношения с Н *** были вдруг атакованы с двух сторон; сам уже видел себя неприглядно; Сережа лежал на одре; Блок, к которому бегал, уехал; а хор «аргонавтов» поревывал *«славься»;* бред, бред!

Разразилась война;[173] над Москвой потянуло как гарью огромных далеких пожаров; уже авангард поражений на фронте давал себя знать; Порт-Артур грохотал еще; в иллюстрированных же приложеньях еще гарцевал с шашкой Стессель; Москва, государственная, стала ямой; в воздухе повисла — Цусима.

Все это взвивало в душе точно смерч полевой, перемешанный с колкой, секущей меня гололедицей; и никогда не забудется мартовский день, когда я ощутил, что мне некуда деться (и дома — одни неприятности); встав в сквозняки у скрещения двух переулков, я думал: «Куда?» И увидел, что — некуда; сыпались льдяные иглы на нищего духом.

И вдруг мне блеснуло: бежать, скорей,— в Нижний, к единственному человеку, который не шут, не ребенок и не «скорпион»,— человек, понимающий муж, не романтик: к Эмилию Метнеру![174]

Под гололедицей — на телеграф! Телеграмма ответная тотчас пришла; на другой же день, в вихре снежистом, несся в Нижний, к полуночи выскочил на неизвестный перрон, а навстречу из морока тел ко мне ринулся великолепный бобровый мех — с криком:

— «Вот он!»

Из-за меха снял шапку — *старинный* мой друг; за два года он неузнаваемо переродился, здоровьем дыша: скрепом стана и цветом лица удивил; исчез взгляд исподлобья: волчиный, с подглядом; а вместо раздвоенных вздохов из задержи — крепкий порыв; эта твердость пожатья, упругие мускулы эти,— сумеют из пропасти вытащить; он приготовился, видно; и десятидневная жизнь точно переродила меня; из вагона слетел на перрон некто бледный и жалкий; садился в вагон некто твердый и даже веселый, вполне осознавший комизм положения: шишки на лбу; поделом, гляди в оба![175]

Такое чудесное перерождение — действие Метнера: стиль дирижированья, произведенного твердой рукой во все мелочи быта, которым сумел он обставить меня, и культурой, которую, точно ковер-самолет, развернул пе-

редо мной, не забыв и о завтраке, очень уютном (жена его, Анна Михайловна, из двух яиц, хлеба с маслом умела создать инцидент интересный), прогулках над Волгой со вздергом руки на зарю, с анекдотами о местных жителях и с каждодневным таcканием к Мельникову, нам рассказывавшему о жизни сектантов, которую знал он по данным Печерского-Мельникова.

Разговор в Благородном собрании, нас познакомивший,— точно и не было лет,— продолжался, как фраза, оборванная запятой; осень 902 связалась с весной 904 минус 903; и вновь возникали: и Вагнер, и Шуман, и Ницше, и «Goethe-Gesellschaft»; вдруг, как режиссер, подняв занавес, он мне показывал на фоне Гете — Новалиса, Шлегелей, Тиков; и Шеллинга — на фоне: Канта; средь разных «Люцинд», «Офтердингенов»[176] вставил мой образ, чтоб я себя видел «романтиком»; через Новалиса следует перешагнуть к отчеканенному гетеанству; он, выщипнув томики Goethe, превкусно, за чаем с печеньями, цитировал ворохи великолепных подробностей — из жизни Гете; сидел предо мною на стуле, пружинный и четкий, с обрезанным золотом томиком.

Вдруг он, вскочив, начинал быстро бегать и пересыпать свой подгляд громким хохотом, явно подуськивая меня к шаржам над собственной глупостью; и из корректного немца, сквозь шутку, как из-за кустов, обнажив свою шпагу, испанец какой-то бросался меня доконать окончательно:

— «Все, что вы переживаете, происходило и с Гете, пока не сумел он под ноги подмять свою тень, бросив в публику Вертером, выбросив Вертера из своей жизни; романтик — нахлебник при классике, если не вышвырнуть: сперва — объест, потом — съест; нет, гоните его от себя. Гете же с собой — справился!»

Анна Михайловна нам подавала поджаренный крендель; а кофе так вкусно попахивало, когда Метнер, взяв чашку, прихлебывал кофе, подкопы ведя против мистики, свойство которой — прокиснуть в сомнительные анекдотики; сплошь анекдотик, по мнению Метнера.— Тик-драматург; через двадцать же месяцев я прямо ахнул, припомнив до слова Метнера,— в квартире Блоков, когда прослушивал в первый раз «Балаганчик»: роман-тик с «роман-*чиком*»; этого «-чика» (иль «Тика») на Блоке — я Блоку едва мог простить.

Слова Метнера я принимал точно хлеб после приторных кушаний с... дымом табачным; почувствовал, что я

и молод, и жизнь впереди еще, и много радостей будет — с условием, чтобы «Орфея» в себе я покончил; с живой благодарностью другу внимал, наблюдая его: обозначалась явно морщина у губ,— саркастическая; стала явною лысина; кудри, его ослаблявшие, срезал; и коротко стригся; бросалось сращенье костей черепных: напряженье в узоре сращенья, казалось, что голова разлетится на части; он жил, развивая стремительно мчащуюся, как экспресс, свою зоркость к культурным подглядам, которыми был перекупорен он безо всякой возможности ими делиться — здесь, в Нижнем; как бомба упав на меня, разорвался всем тем, что надумано им в одиночестве; и — попал в центр; был я как взорван, как вырван — из неврастении; сложилася твердая строгость решения: как быть.

И последние дни жизни в Нижнем мы, весело с ним подбоченившись, с хохотом, с грохотом мчались по миру идей, как по чащам, охотясь за «монстром».

— «Нет, нет,— громко вскрикивал он просто жалобным плачем, взмахнувши руками, гремя, в три погибели сгорбившись,— я не могу, не могу больше выдержать, ха-ха-хо!» — с дисканта до тяжелого баса он голосом рушился; рушился прямо в диван головой.

И потом, надев шубу с прекрасным бобром, схватив палку крюкастую, крепкий и стройный, он влек на откос; мы неслись над обрывистым берегом Волги; за Волгою, в голых лесах, ниже нас, разгоралась заря; снесся снежный покров; Волга тронулась; был ледоход; птицы пьяно чирикали, выпив весны; пролетев над откосом,— в Кремль: к Мельникову: слушать сказки о жизни хлыстов;[177] и опять Э. К. эти рассказы повертывал — на ту же тему: на яд утонченных радений, с которыми надо покончить.

В Эмилии Карловиче мастерство сплавлять темы, по-видимому, не имеющие ничего даже общего, было невероятно; он раз навсегда мне связал: Гете, Тика, Новалиса, «Сказку» «Симфонии» с юной монашкой «Симфонии», просто с хлыстовкою, с «Дамою» Блока, с Люциндой; и — далее, далее, далее: все — к одному; а «одно» — дать лечебное средство: мне в душу[178].

И я, возрожденный, окрепнувший, трудность свою сознающий, знал твердо, как тяжелорогого, хрюкающего носорога судьбы положить на лопатки мне.

Взмах дирижерской руки, зажимающей шапку, с перрона; ответный взмах; буферы перетолкнулись: Москва — полетела навстречу.

— «Иванов сказал!» — «Был Иванов!» — «Иванов сидел». — «Боря, — знаешь: Иванов приехал: он — рыжий, с прыщом на носу; он с тобой ищет встречи, расспрашивает; трудно в нем разобраться: себе на уме иль — чудак!..» — «Как, с Ивановым вы не знакомы?» — «А мы тут с Ивановым!..»

Словом: Иванов, Иванов, Иванов, Иванов![179]

Когда я вернулся в Москву, мне казалось: прошло десять лет; уезжал я зимою; приехал: в разгаре весны; большой благовест, Большой Иван, разговоры упорные — о Вячеславе Иванове: как он умен, как мудрен, как напорист, как витиеват, как широк, как младенчески добр, как рассеян, какая лиса!

Все то — в лоб: в «Скорпионе», у нас, у Бальмонтов; и хор «аргонавтов» подревывал — голосом Эртеля:

— «Мы с Вячеславом Ивановым — гы — за — гога», — как недавно еще «за гога»: с А. А. Блоком!

Шумел Репетилов: вовсю!

В чем же дело? Где Брюсов? Бальмонт? Белый? Блок? Нет их! Только — Иванов, Иванов, Иванов!

Бегу я к Сереже; Сережа, поправившийся от скарлатины, громким хохотом не то всерьез, не то в шутку, не то — перепуганный, не то — плененный Ивановым, пойманный в противоречии, руки разводит, пытаясь меня посвятить в то, что произошло: в десять дней:

— «Понимаешь, начитанность — невероятнейшая; но безвкусица — невероятнейшая; что-то вроде Зелинского, пляшущего «козловака»: с юнцами; Сергей Алексеевич, «Гриф», чуть не в обморок падает; и признается: «Я — не понимаю: ни слова!» Я должен сказать: ни Сабашниковым, ни «грифятам» понять нельзя эту лабораторию филологических опытов; в ней — и раскопки микенских культур, и ученейшая эпиграфика; все то поется в нос, точно скрипичным смычком с петушиным привзвизгом под ухо мадам Балтрушайтис иль — Нине Ивановне: с томными вздохами, с нежными взглядами зорких зеленых глаз рыси; и — ты понимаешь? А «грифы» бегут от него; он — вдогонку; понятно: невежды же; ну, «скорпионы» с серьезным почтением слушают, — не понимая; Валерий же Яковлевич, сложив руки на грудь, надзирателем классным нам в уши воркочет: «Такой поэт — нужен нам». Слушайка: я — написал!»

С громким хохотом шарж свой прочел, где описано: у генерала Каменского резво танцуют арсеньевские гимназисточки и поливановцы; в залу врывается Брюсов, влача, как слепого Эдипа, рассеянного Вячеслава Иванова; и всех объемлет — священнейший трепет; а Брюсов, показывая на «Эдипа» египетским жестом, кричит на юнцов:

Такой поэт — нам нужен:
Он для других — пример!..
Он — лучше многих дюжин
Изысканных гетер!

Не прошло полусуток с минуты, как я соскочил на перрон, а уже обалдел: ушат вылили на голову; об Иванове слышал от Брюсова, «Кормчие звезды» * открывшего [180] и мне показывавшего на тяжелые, точно булыжники, строчки; В. Я., побывавши в Париже, вернулся смятенный от встречи с Ивановым, преподавателем Вольного университета М. М. Ковалевского, курсы читавшим с терпеньем [181], готовясь подолгу к ним; с курсов — бежали; Иванов же не унывал; десять лет он до этого гнулся в архивах швейцарских музеев, таяся от родственников мужа первого первой жены,— той, с которой бежал из России:[182] зажить в одиночестве средь привидений античного мира — Терпандров, Алкеев, Сафо, Архилохов; до этого он обучался у Моммсена, преодолевши историю;[183] так он латынью владел, что свою диссертацию он написал на изящной старинной латыни;[184] и, приведя в изумление немцев, нырнул в катакомбу, где он все читал Роде, Лобеков, Шлиманов, Фразеров и Узенеров, нарыл свои данные, заново строящие положения Ницше-филолога; то, что у Ницше есть миф, объясняющий музыку Вагнера и осуждающий каннибализм древних дионисических культов, то В. И. Ивановым вновь воскрешалось: на данных науки;[185] и главное: жуткие, тысячелетние культы сей очень ученый, рассеянный муж, спотыкаясь о тысячелетья, привел за собою в Париж; вскружил голову будущему профессору Ященке, нескольким очень ученым доцентам (и — Брюсову), он вместе с пылью, Л. Д. Аннибал, своей первой женой, ее шляпной картонкой, в Москву притащил: и показывал в «грифской» гостиной; и не понимали, кто он: архивариус, школьный учитель из Гофмана, век просидевший в немецкой провинции с кружкою пива в руках над грамматикой, или романтик, доплетшийся кое-как до ре-

* Первая книга стихов Вячеслава Иванова.

волюции 48-го года и чудом ее переживший при помощи разных камфар с нафталинами, иль мистагог, в чемоданчике вместе со шляпой Л. Д. Аннибал уложивший и культ элевзинской мистерии [186], чтоб здесь,— на Арбате, Пречистенке, Знаменке,— Нину Ивановну, Кречетова, меня, Эртеля, Брюсова, Батюшкова и Койранских собрав, нас заставить водить хороводы под звуки симфоний Бетховена, возгласом громким гнусавя, лоснящийся выдвинув нос:

— «Конгс ом пакс!» * [187]

Подобные Мишеньке Эртелю люди — уже недвусмысленно гыкали:

— «Гы, мы с Ивановым ужо покажем, где гаки зимуют, куда Макаг гонит тегят».

— «Гы — Огфей настоящий, не ложный,— в Москве!»

Снобы, губы поджав, каламбур обо мне в уши вшептывали:

— «Андрей Белый — хе, хе!— экс-король: земли обетованной!»

. . . .

Был праздничный день; вдруг — спотыкаясь в пороге, с цилиндром стариннейшей формы, слегка порыжевшим, с перчаткою черной на левой руке, в сюртуке,— мне казалось — с отсиженной фалдою, косо надетом, сутулящем, сунулось в дверь нечто ярко-оранжевое, лоснясь пористым, красным и круглым лицом (пятна выступили) и пугая проостренным носом, бросаясь усами, короткими, рыжими (бороду он отпустил уже после); скользящим движеньем сутулых плечей, с громким скрипом сапог и с претыком о кресла, то «нечто» пропело:

— «Иванов!» [188]

На карточке же, на визитной, которую подали мне перед тем, было выведено «Vinceslav» при «Ivanov» — стариннейшим шрифтом; и я успокоился — сразу же: не «мистагог»: старомодный профессор, корпевший над Шлиманами, растерялся; от солнца, знать, темные пятна глаза залепили; и всякую дрянь принимает всерьез.

И я бросился; мы, спотыкаясь, схватяся руками,— тряслись; я не знал, где его усадить; он не знал, как сидеть; и все вскакивал; мать с откровенным испугом глядела на это печальное зрелище; мне же казалось, что бегает каждый из нас в лабиринте своем; слышит где-то за стенкой другого в обрывках каких-то.

---

* Таинственный возглас иерофанта из элевзинской мистерии.

Вот — первое впечатленье: сумбур, подавляющий бездной штрихов, наблюдений, подглядов: как заново! Точно упал он с Венеры, где тоже есть жизнь; и мне надо бы знать ее! Но — недосуг.

Я подскакивал, точно в холодной испарине[189], как на экзамене; он же тряс своей книгой «Прозрачность», тогда только вышедшей, взяв ее у меня на столе, и меня, как школьника, спрашивал:

— «Вам, разумеется, ясно, что значит: «Семи разлук свирель»?»[190]

Фу-ты! нелегкая — вынеси! И наугад прошептал:

— «С семью отверстиями свирель?»

Он, просияв, точно солнечный кот, запушась кудерьками, стал мягким; и точно старинная скрипка лучистой струной Страдивариуса раздалась:

— «Ну конечно же! И понимать-то тут нечего!»

В эти же дни я Сереже рассказывал:

— «Да,— и намучился же: но — прекрасный, сердечный, несносный, мудреный, вполне изумительный!»

— «Очень талантливый»,— строго прибавил Сережа.

— «О да: понимаю теперь, почему от него улепетывают декадентские дамы, поэтики грифские! Вынести им эту мудрую головоломку, просиженную в катакомбе, нельзя: лишь Грушке, Соболевскому; он — настоящий поэт, воспевающий эпиграфический камень; конечно, и это — поэзия!»

После уже изменил свое мнение; В. И. Иванов рос быстро: в большого поэта; тогда же досадовал: не разбираясь ни в чем, приходил в восхищенье[191] от всякого кукиша.

— «Очень пронырлив»,— отрезывали.

— «И назойлив!»

Иванов в рассеянности укреплял этот «миф», проявляя бестактность, настырство какое-то; в поисках себе сторонников, он, разрываясь в чужих мировоззрениях, как бы идя на них, в сущности, производил кавардаки: во всяком.

Его ощущали сплошным беспорядком в гостиных, весьма утомительным, хоть интересным; хотелось — на воздух, к цветам, мотылькам; я жил мыслью: в деревню бежать; а Иванов стоял на дороге, как пересекая мой путь и как бы нападая с мудреными витиеватыми спорами — о Дионисе, Христе, евхаристии, жертве.

Охая, я шутливо восклицал, встретив моего друга Сережу:

— «Нет, Ивановы — будущее!»

Я надеюсь, читатель, что вы поймете меня: если вообразите вы, что «Ивановы» — будущее мировой культуры, то выкажете неостроумность по отношению к показу Иванова в этом отрывке, достаточно марионеточному и унижающему В. Иванова, который заслуживает уважения; «будущее» разумел я — *мое будущее:* будущее последующих пыльных дней весны 1904 года; и «будущее» меня ужасавшее: будет, будет нападать на меня этот рассеянный теоретик, затаскивая в невыдирные чащи своих мудрословий; а я после пережитого хотел в поля, в тишь: прочь от этого мне навязанного и казавшегося непереносным «будущего» прения с тщетным тщеньем понять.

Но я был пленен, побежден, умилен, посетивши Ивановых, остановившихся в доме, стоявшем в том месте, где ныне возвысился памятник К. А. Тимирязева:[192] дом тот сгорел в Октябре; в меблированных комнатах, в маленьких, перед столом, заливаемым чаем, осыпанным крошками, скрашенным розой в стакане, сидела чета: оба — сорокалетние и подпыленные, мило чирикали, точно воробушки, глядя друг другу в глаза; Вячеслава Ивановича только понял при Лидии Дмитриевне Аннибал, полномясой, напудренной даме, увидев которую вскрикнуть хотел: «О, закрой обнаженные ноги свои!» Но осекся, увидев, что — руки: такие могучие! Была в пурпуровой тряпочке; может — кумач, может — ситец: не шелк. А на кресле валялась огромная черная плюшка, не шляпа (наверно, сидели на ней); лицо — дрябло, болезненно; алые губы, наверное след оставлявшие: розовый; глаза — большущие, умные, синие, милые, девочкины; так что тряпочка, губы и чьим-то посидом промятая шляпища,— все отметалось, как вихрем, потоками слов.

Понял я, что тряпчонка пурпуровая, под хитон,— не ломанье и не безвкусица, а детская радость быть в *«красненьком»;* стиль «романеск» в пересыпе пылей, себя переживание в Делякруа; т. е. бездна неведенья, где, в каком веке живем, что подумают, как *«оно»* выглядит в «Грифе»; и тут я представил: шалэ[193] среди зелени, комнатки бедные, разброс предметов (среди словарей — пудра); в окнах синеет Женевское озеро;[194] и десять лет — никого!

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Встретясь с ним через год, оценил этот путаный профиль: культур синкретических; он меня удивил, предложив перейти с ним на *«ты»;* летом пара исчезла в Швейца-

рию[195], куда поехал и Эрн, где скрепилася парадоксальная и бестолковая дружба фанатика от православия с этим Протеем[196].

Зимой 905 года, в конце ноября, в декабре, в Петербург переехал на жительство он;[197] золоторунная, изумрудноглазая его голова с белольняной бородкой, которую он отпустил, наклонялась лоснящейся красною лобиной с загнутым носом, ронявшим пенснэ, к дамским ручкам с пугавшей, свирепою вежливостью, обрывавшей оборки спотыком о юбку; опускалась пред старцами, впавшими в детство, политиканами-мастодонтами, юными девочками, перед пупсами, перед багровой матроной, пред светскою львицею; стадами поэты стекалися к доброму пастырю, чаровнику, даже уши дерущему так, что, казалось, щекочет: под ухом.

Вселились Ивановы в выступ огромного здания, новоотстроенного над потемкинским старым дворцом, ставшим волей судьбы Государственной думой;[198] впоследствии выступ прозвали писатели «башней Иванова»;[199] всей обстановкой комнат со старыми витиевато глядящими креслами, скрашенными деревянною черной резьбой, в оранжево-теплых обоях, с коврами, с пылищами, с маскою мраморной, с невероятных размеров бутылью вина, с виночерпием, М. М. Замятиной (другом жены)[200], с эпиграфикою, статуэткой танагрской,— Иванов над Думой висел, как певучий паук, собирающий мошек, удар нанося декадентским салонам; однажды в присутствии сутуловатого гостя, пленительно певшего в нос, З. Н. Гиппиус — грубо ко мне:

— «Боря, вы молодой человек; Вячеслав же Иванович вас старше лет на двадцать; вам не пристало бы «ты» говорить».

В. Иванов, покрывшись багровыми пятнами, впившись лоснящимся носом в меня, фистулою резнул:

— «Ты, Борис, может, против?»

И тут же споткнулся, вильнув черной фалдою.

— «Что ты?»

Достав носовой свой платок, он моргал, растирая платком запотевшие стекла.

Я был у него через день.

— «Неужели,— обрушился он,— Мережковским ты веришь?»

И, в золоторунные кудри свои заиграв тонким пальцем, посеял сомненья; свисал над салонами Гиппиус, Розанова с своей «башни», скликая известнейших профессоров,

хлыстов, мистиков, старых народных учительниц, даже писателей-знаньевцев, в косоворотках ходивших, устраивая литературоведческие семинарии «батюшкам» или развешивая орари на склоненных поэтов.

Одна беда: всякий юнец мог в житейском его объегорить; в мире идей всех затаскивал в дебрь; был период, когда я подумал: не волк ли сей овцеподобный наставник? Пушился, горбатясь за черным чайком, точно кот; а поставив вам профиль, являл вид орла, застенавшего кличем: орлиною лапой на шнуре пенснэ перекидывал; и человечность при этом какая! Дверь — в улицу: толпы валили; лаская, журил; журя, льстил; оттолкнув, проникал в ваше сердце, где снова отталкивал.

«Бык» был преставлен овцою; четыре животных — библейских (лев, человек, бык-овца и орел), кувыркаясь друг в друге, являли колеса пророческие у колесницы библейской, с которой он, перетряся руном завивающихся белольняных волос, улыбаясь устами пурпуровыми из портрета художника Сомова *, напоминая раздвоенною белольняной бородкой Христа по Корреджио **,— многим являться стал; недоставало, чтоб он, возложивши терновый венец на себя, запахнувшись во взятую у маскарадного мастера им багряницу, извлек восклицания:

— «Се человек!»[202]

Прошу не смешивать с евангельским текстом; в контексте с показом Иванова «се человек» означает:

— «Се шут!»

Таким мне казался; казалось, что за год вырос он из немецкого учителя в какого-то «Мельхиседека»; прошу не смешивать с Мельхиседеком библейским;[203] в контексте с показом Иванова «Мельхиседек» означает: почти... шарлатан; таким казался не раз; и — как я ошибался!

Бальмонт — менестрель запевающий; Брюсов — глаголящий завоеватель; взывающий — Блок; Мережковский, Д. С.,— Аввакумик, в салоне своем вопиющий. Иванов как бы собирался: глаголить, вопить, петь, взывать; но пока еще был не глагол: разве филологический корень; не пел, а гнусавил; покрикивал, взвизгивая, с неужасным притопом, а не вопиял; не взывал,— придыхал ***.

---

* Сомов писал портрет В. Иванова [201].

** Известный тип лика Христова, данный Корреджио.

*** Читатель на этот раз, надеюсь, поймет меня: «поюще, вопиюще, взывающе и глаголяще» взято вполне в ироническом смысле в отношении к Иванову.

Блок пугался, узнав, что В. И. пламенеет попасть к Блокам в дом, покрываяся от нетерпения красными пятнами и припадая к плечу моему головой златорунной:

— «Борис, отвези меня к Блокам!»

— «Нет, Боря,— не надо: боюсь! Он — профессор; мы с Любой совсем растеряемся с ним!»

Вячеслав оказал просто невероятную чуткость к поэзии Блока, разрушив мой миф о себе: не поэт,— теоретик; я сватал Иванова с Блоком; сама Любовь Дмитриевна помогала мне в этом; стремяся на сцену, она откликалась на мысли о новом театре мистерий, на игры в театр без подмостков, на импровизации выспреннего «феоретика»; к этому времени ветхопрофессорский лик перегримировав под персону из «страсти Христовы», протей Вячеслав собирался створить свою «башню» в Обераммергау * какое-то (с примесью критских обрядов); я не разглядел, что стремление к новому быту в нем — вздерг; через год преодолеватели «только искусства» явили гримасу подмостков.

Но в 905 я сам способствовал встрече Иванова с Блоком [204], в ней видя начало отбора людей в коллектив; В. И. Иванов Чулкова привлек; Чулков влек Мейерхольда и Мейера; Блок — Городецкого; и — что-то лопнуло меж символистами, когда Чулков на газетах и на альманашиках «се человек» повез, между тем как В. Брюсов скомандовал: «Трапы поднять! Символистам быть только в «Весах»!»

Рассужденья Иванова о перестройке квартир под игру начались для меня в тот несчастный денек, когда я потащил на извозчике к Блокам его, созерцая сутулую, скрюченную под огромною шубой персону в пенснэ, выставлявшую свою бородку, подстриженную под Корреджио, думая, как бы профессорским видом своим не спугнул бы он Блоков; тогда разговор оборвется.

Так золоторунная голова Вячеслава Иванова в шапке мехастой явилась в передней; стряхнувши снега, косолапую сбросивши шубу, в которой он выглядел сущим попом еретической секты,— вошел; Блоки встретили «батюшку»; «батюшка» в светло-оранжевой теплой столовой, впиваясь взглядом своим то в того, то в другого, трясясь, сперетиром, с лукавым мурлыком подкрадывался: де театр не театр, разумеется, и не... трапеза, а,— ну, допустим; и — хнык носовой; и лоснящимся носом меж мною, Л. Д. и

---

* Местечко в Баварии, где разыгрываются старинные мистерии.

А. А. переныривал, точно пушившийся, спину свою выгибающий кот; хорошо собираться в интимном кружке:

— «А что будем мы делать?»

И выяснилось: то, что ритм продиктует; Л. Д. осторожно спросила: «Одежда обычная ритм не нарушит?» Иванов повел деликатные речи о том, что пурпурный оттенок есть знак дионисова действа; а... впрочем; и — хнык, перетир!

Вячеслав пленил Блоков; в Л. Д. осозналась артистка; недаром под Блокову «Даму» приигрывала; и я слушал хвалы, расточаемые Вячеславу; так складывалось настроение «Факелов» *, «Ор» **, по которым поздней канонаду открыли «Весы»; в связи с ним изменились и «среды» Иванова, первая «нового стиля» — запомнилась; я на нее затащил староколеннейшего Безобразова, П. В., профессора, годы страдавшего дико боязнью пространства; он все умолял меня, чтобы под локоть его я поддерживал, когда с усилием, с кряхтом тащился по лестнице он; Вячеслав, увидавши впервые профессора этого, перетрясенный нечаянной радостью, с носа пенснэ уронил от усилия очаровать П. В., не понимавшего, что происходит на «башне»:

— «Польщен чрезвычайно! Вы — старший средь нас! Господа, предлагаю избрать председателем импровизации Павла Владимировича!»

П. В., переконфуженный, но очарованный и отошедший от страха в набитом пространстве, поплелся воссесть председателем:

— «Кхе, кхе, кхе, кхе, но ведь я — сторона тут!»

Заложен был первый фундамент составивших эру «блистательных сред»;[207] были: Д. Мережковский с женою, Бердяев с женою, Блок, Розанов; тема беседная: «Что есть любовь?» Л. Бердяева томно поведала: «Есть розы черные: страсти!» Не помню, кто что говорил, но у всех вырывались слова: «Эротическое крыленье Платона!»

П. В., председатель, покряхтывал:

— «Кхе, — ничего не пойму!»

Ставши в России поэтом, почтенный «профессор» Иванов совсем обалдел, перепутавши жизнь с эпиграфикой, так что история культов от древних Микен до руин Элевзиса, попав из музея в салон, расцвела в чепуху; видно, бросилась в голову кровь, застоявшаяся в семинариях.

Уединенно росла большелобая эта персона, очертив себе круг интересов от прикосновения к старым камням

---

* Альманах мистических анархистов [205].

** Издательство Вячеслава Иванова [206].

и германским музеям; проверив историей Ницше, Элладу и взгляды на музыку Вагнера, он педагогическим культом, им вырытым, Ницше удобрил, крича о восстании мифа, схватясь за витую резьбу черных кресельных ручек и ставя свой профиль на фоне оранжевых стен под свисающей мраморной маской; Деметрой в пурпуровой тряпочке Лидия Дмитриевна выходила из каре-бурявых ковров.

Я уехал; увиделись полуврагами; он, густо увешанный «мистиками», как лианами дерево, им отдавал сок идей о грядущем театре, сошедшем с подмостков, чтоб укрепиться в гостиных, которые звал он «коммунами», для ошалелых артисток, газетчиков и... педерастов (и «эти» явились); я, взорванный тем, что таинственный, золоторунный учитель, с плечей обвисающий мягко кудрявыми кольцами, с женственной грацией из колесницы своей рукоплещет козлам, зубы стиснув, смотрел на него,— каюсь,— с ненавистью.

Сразил завтрак: у Е. В. Аничкова;[208] этот последний и Щеголев, толстоживотые оба, испивши вина, зашалили; Сергей Городецкий, «анфан», закощунствовал в крупном масштабе над тем, что Иванов чтил; этот последний, горбатясь, как кот, закатавши кулак по ладони, «анфана» приветствовал смехом; я — бурно взорвался; Иванов же, топнув ногою, взвизжал на меня: «Со своею ты провинциальной, московскою этикой!» Я же ушел в разговор с Куприным, пока что не напившимся; но я решил: этот визг распустившегося «мистагога» — разрыв отношений: война! Я открыл по нему свой огонь изо всех батарей (из газет, из «Весов»), утверждая в статье своей «Штемпелеванная калоша»: ногою в калоше штампуют святыни: «презренье ломакам»; * *«истинный художник... предпочтет до времени облечься бронею научно-философских воззрений... а если уж будет говорить, то честно назовет имя своего бога»;* ** писал против «Ор», против «Факелов». *«Восхищались, что символ... дерзновения — золотой, булочный крендель. Мистический анархизм создал еще нечто более смелое: резиновую штемпелеванную калошу. Калоша — вот знамя мистического анархизма»* ***.

Таков звук полемики, длившейся год; Вячеслав бесконечно обиделся на сочетание слов «штемпелеванная кало-

---

* «Арабески», стр. 281 [209].
** «Арабески», отдел «На перевале» [210].
*** «Арабески»: «На перевале», «Штемпелеванная калоша» [211].

ша», увидев намек на издательство «Оры»: его марка «Ор» — треугольник; и марка калош — треугольник.

В конце ноября 1907 года появился в Москве он; я старался не видеться с ним, хоть скорбел за него; он ходил как раздавленный: смертью жены;[212] но «Калоша» задела настолько, что он — передавали мне — всюду кричал о ней; С. Соловьев мне рассказывал:

— «К Брюсову я захожу; Иоанна Матвеевна встречает словами: «В. Я. с Вячеславом Ивановым занят». Сидим в смежной комнате; вдруг из закрытых дверей тишину разрезает взвизг птичьего голоса: «Но,— штемпелеванная калоша, Валерий!» Молчание мертвое; и — снова взвизг: «Нет, позволь, а — калоша?» «Не может простить»,— улыбнулась Иоанна Матвеевна»[213].

А при намеке на Эллиса он багрянел, как петух.

Вдруг явился в «Кружок», где читал реферат я о драме, направленный против него, за который мне руку жал Ленский; тащился средь тренов и смокингов с видом Эдипа, ведомого прочь от злосчастного места, где рок раздавил ему зрение; он спотыкался о юбки, пропятясь орлиною лапой, положенной скорбно на плечико падчерицы, почти девочки, Веры, сквозной, точно горный хрусталь, с волосами белясыми, гладко зачесанными: во всем черном; отвесясь рукою, он шел; на меня протянулся сутуло; широкую черную ленту пенснэ он за ухо, прикрытое мягко пушащейся бледной космою, отвил; поразил похудевший, страдальческий, как перламутровый, профиль.

А из-за плеча — головища, тяжелая, одутловатая, каменной «бабы», изваянной древними скифами,— в черном мешке, а не в платье; мочалом растрепаны желтые космы, затянутые в тяжкий узел затылочный; толстой, короткой рукой приставляла лорнеточку к щурам безглазым, которые разорвались вдруг ужаснейше — в два колеса, в две бездонные серые пропасти: Анна Рудольфовна Минцлова, выросшая при Эдипе слепом, по пятам его следовавшая, вернее, водившая медленно «пастыря доброго», ею превращенного ныне в «овцу».

Каюсь,— остолбенел, когда черная тройка пошла на меня: Вячеслав со свисающей, длинной сюртучною фалдой споткнулся; сквозная, тишайшая Вера вела на меня его; забултыхался за ними живот из мешка-балахона торжественной Минцловой; бросился жать его слабую кисть.

Скоро мне у Герцыков, где остановился, доказывал:

— «Ты, Борис, еще не веришь: боишься меня; ты страдаешь химерами; ты меня видишь чудовищем, слу-

шай,— тебе говорю: изменись; и — восчувствуй доверие к людям, тебе все же близким!»

Своим выцветающим золотом косм щекотал нос, склонялся безброво растерянным лбом, такой добренький; глазики серо-зеленые, став незабудками, детски просили: «Давай же водиться!» Ослабнул, поклевывая исхудалой щекою, под кольчатым локоном.

Я — угрызался!

Так фаза почтения перед профессором, фаза сомнения перед слащаво-сомнительным мистом сменилась рождающейся человеческой дружбой: мы облобызались с ним.

. . . .

Вышел «Пепел». Приехав в 909 году читать лекцию в Питер и остановясь у Д. С. Мережковского, я занемог; З. Н. Гиппиус мягко отхаживала; тем не менее с кряхтом поехал в Тенишевский зал: [214] вместе с Гиппиус; гляжу из лекторской: шапочка, мягкенькая, меховая,— в дверях; стуча громко калошами, с видом Терезия [215], в шубе, напомнившей шубу священника, бросился, руки сжимая под бороду, В. И. Иванов, сутуло протянутый, как бы валясь на меня: придыхать мне под ухо:

— «Я только прочел книгу «Пепел» твою; эта книга — событие;[216] вечером нынче же должен с тобой говорить».

— «Я же болен».

— «Тебе все равно, куда ехать: ночуй у меня; за вещами твоими пришлю к Мережковским; сегодняшний наш разговор очень важен: везу тебя».

Выказал крупную долю бестактности перед З. Н., меня сопровождавшей, которая уже шептала под ухо:

— «Коли вы поедете с ним,— не прощу никогда; лучше не возвращайтесь!»

Обиделась на предложение перетащить мои вещи на «башню». Глядел на бородку,— все ту же, раздвоенную; но — звонок; и я вышел дочитывать лекцию; кончил; вбегает Иванов; меня отдирает от Гиппиус, точно я — куль; тащит, нос утыкая в меха; совсем «батюшка»; я же, «псаломщик»,— за ним.

Подымались с кряхтом на пятый этаж; позвонили; в распахнутой двери квартиры Иванова не оказалось: как некая брешь в разговоры трехсуточные, из которых катился, представьте, на нас ком тяжелого тела в мешке, с запрокинутою головою, в космищах желтеющих: Анна Рудольфовна Минцлова, руки развеся, как жрец перед чашей, с лорнеткой, блистающей в правой руке, с помаханьем платочка из левой, оказывается, водворилась в

квартире: входила в заботы семейные с М. М. Замятиной, жившей здесь и управлявшей домашним хозяйством.

Иванов, взяв под руку и передернув портьеру, нос выбросил в недра свои, в коридорики желтые, с неосвещенными далями, где топотало всегда стадом коз (ассамблеи М. А. Кузмина; иль — курсистки Ростовцева, подруги падчерицы).

— «Нам бы, Марья Михайловна, чаю!»

Мешок, или — толстое тело, уселся в кресло; лорнеточка затрепыхалась на толстом его животе; завращались два глаза, как два колеса, на рисунке утонченного Пиранези: гравюра висела на красно-оранжевом фоне стены; Пиранези, витое, утонченное итальянское кресло, в нем Минцлова — воспринимались как сон, потому что Иванов в застегнутом наглухо черном своем сюртуке, в золотых своих локонах, вьющихся кольцами, с дико-багровым лицом, лихорадкой крапивной окрапленным, эдак часов восемь — доказывал мне: настроение «Пепла» — действительность; «Пепел» рисует распад, наваждение, яды, которыми мир отравляется; Минцлова двумя колесами глаз протыкалась за стены: в пустоты космические; и уже белым днем, когда я издыхал от усталости, он, оборвав круто речь, передернув портьеру, нос выбросил — в коридорики желтые:

— «Марья Михайловна! Нам бы яишенки!»

И коридорики желтые протопотали, вшипевши яишенкой; я же остался дожить у него до отъезда в Москву, чтобы не застудиться; и Гиппиус мне не простила такого поступка.

Три дня — разговор: бурю мира,— вот что проповедовал мне В. Иванов, предвидя в трагедии Ницше и в драмах, написанных Ибсеном,— молнии из набегающей над человечеством тучи; Толстой-де весь — кризис сознания; весь Достоевский есть весть о грозе. Образуем же общину из бунтарей! Он сплавлял темы Блока, мои и свои, как бы подготовляя союз символистов, который он осуществлял в терпеливом усилии, с Блоком миря; союз осуществился в девятьсот десятом году, процветя в «Мусагете»; он подлинно знал: нас роднит чувство кризиса; ось разрешения — в каждом по-разному; он ее видит в сложеньи коммун из творцов-созидателей, пересекаясь дословно с д'Альгеймом, сложившим коммуну такую, «Дом песни»; во мне эта ось есть проблема сознания долга, ответственности; Блок-де искал сомкнуть ножницы между народом и нами, Иванов заставил меня осознать, что Блок — близ-

кий мне брат, сам став братом, творящим мир братьям; я уж написал: *«Кажется, что на черный горизонт жизни выходит что-то большое, красное... Но что?..»* * Блок уже написал: *«Наша действительность проходит в красном свете...»* **

Иванов подписывался и доказывал, что я и Блок — об одном: в своих точках исхода; в конечном Блок чувствовал: *«Звон набегающей тройки»* ***, народной; в конечном я чувствовал: мы должны — *«струны лиры натянуть на лук тетивой»* ****.

В эту пору Иванов стал суше, серьезней; прошло «обалдение» от декадентской шумихи, в которой недавно такие он вредные плевелы сеял; не так уже кольчато локоны падали; слегка облез; скоро, сбрив свою бороду, даже усы, как-то выпрямившись, даже промолодев откровенною старостью, ясно блеснув серебром седины, к нему шедшей, стал — лектор на курсах [221], научный сотрудник Зелинского, от анархизма мистического отвернувшийся, перевернувшийся к Греции, к ритмике, к *«только поэзии»;* уж философствовал над современностью нашей,— не критской; явил молодевшим лицом точно пересечение: Тютчева с Моммсеном!

Изображенье Христа — по Корреджио — стерлось с него: навсегда.

БАШЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Быт выступа пятиэтажного дома, иль «башни»,— единственный, неповторимый; жильцы притекали; ломалися стены; квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетенье причудливейших коридориков, комнат, бездверых передних; квадратные комнаты, ромбы и секторы; коврики шаг заглушали; пропер книжных полок меж серо-бурявых коврищ, статуэток, качающихся этажерочек; эта — музеик; та — точно сараище; войдешь,— забудешь, в какой ты стране, в каком времени; все закосится; и день будет ночью, ночь — днем; даже «среды» Иванова были уже четвергами: они начинались позднее 12 ночи. Я описываю этот быт таким, каким уже позднее застал его (в 1909—1910 годах).

* «Арабески», стр. 490 [217].

** А. Блок, т. VII, изд. «Эпоха», Берлин, стр. 17 [218].

*** А. Блок, т. VII, стр. 66 [219].

**** «Арабески», стр. 16 [220].

Хозяин «становища» (так Мережковские звали квартиру) являлся к обеду: до — кутался пледом; с обвернутою головой утопал в корректурах на низком, постельном диване, работая не одеваясь, отхлебывая черный чай, подаваемый прямо в постель: часа в три; до — не мог он проснуться, ложась часов в восемь утра, заставляя гостей с ним проделывать то же; к семи с половиною вечера утренний, розовый, свежий, как роза, умытый, одетый, являлся: обедать; проведший со мною на «башне» два дня Э. К. Метнер на третий сбежал; я такую выдержал жизнь недель пять; [222] возвращался в Москву похудевший, зеленый, осунувшийся, вдохновленный беседой ночною, вернее, что — утренней.

«Башня» висела с Таврической над Государственной думою; Недоброво, друг Иванова, рядом жил; в том же подъезде (но первый этаж) проживал генерал Куропаткин;[223] и где-то высоко жил Гессен, философ, сын Гессена[224].

Мы же, жильцы, проживали в причудливых переплетениях «логова»: сам Вячеслав, М. Замятина, падчерица, Шварцалон, сын, кадетик, С. К. Шварцалон, взрослый пасынок; в дальнем вломлении стен, в двух неведомых мне комнатушках, писатель Кузмин проживал; у него ночевали «свои»: Гумилев, живший в Царском; и здесь приночевывали: А. Н. Чеботаревская, Минцлова; я, Степпун, Метнер, Нилендер в наездах на Питер являлись: здесь жить; меры не было в гостеприимстве, в радушии, в ласке, оказываемых гостям «Вячеславом Великолепным»: Шестов так назвал его[225].

Чай подавался не ранее полночи; до — разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, *совет* Петербургского религиозно-философского общества; или отдельно заходят: Аггеев, Юрий Верховский, Д. В. Философов, С. П. Каблуков, полагавший (рассеян он был), что петух — не двухлапый, а четырехлапый, иль Столпнер, вертлявенький, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительную; иль сидит с Вячеславом приехавший в Питер Шестов или Юрий Верховский, входящий с написанным им сонетом с такой же железною необходимостью, как восходящее солнце: изо дня в день.

У В. Шварцалон, в эти годы курсистки,— щебечущий выводок филологичек сюрприз репетирует: для Ф. Зелинского; ну, а в кузминском углу собирался «Аполлон»: * Гумилев, Чудовской или Зноско-Боровский с Сергеем Маковским; со мною — ко мне забегающие: Пяст, Княжнин иль Скалдин.

Все отдельные эти рои высыпаются к чаю в огромную серо-бурявую пыльно-ковровую комнату; ставится монументальных размеров бутыль с легким белым вином; начинается спор; контрапункты воззрений, скрещаемых,— невероятны; хлысту доказуется Аристоксен; а случайно зашедшему сюда от сына редактору «Речи» внушается, что верчи дервишей, как хоровая оркестра, весьма оживили б кадетскую партию.

К двум исчезают «чужие»; Иванов, сутулясь в накидке, став очень уютным, лукавым, с потиром своих зябких рук, перетрясывает золотою копною, упавшей на плечи; он в нос поет:

— «Ну, Гоголек,— начинай-ка московскую хронику!»

Звал он меня «Гогольком»; [226] а «московская хроника» — воспоминания старого времени: о Стороженке, Ключевском, Буслаеве, Юрьеве; я, сев на ковер, на подушку, калачиком ноги, бывало, зажариваю — за гротеском гротеск; он с певучим, как скрипка, заливистым плачем катается передо мной на диване; «московскою хроникою» моею питался он ежевечерне, пригубливая из стакана винцо; и покрикивал мне: «Да ты — Гоголь!» Являлся второй самовар: часа в три; и тогда к Кузмину:

— «Вы, Михаил Алексеевич,— спойте-ка!»

М. А. Кузмин — за рояль: петь стихи свои, аккомпанируя музыкой, им сочиняемой,— хриплым, надтреснутым голосом, а выходило чудесно[227].

Часов эдак в пять Вячеслав ведет Минцлову или меня в кабинетик, где нас исповедует, где проповедует о символизме, о судьбах России часов до семи, до восьми; а потом, оборвав свою исповедь, будит Замятину, где-нибудь здесь прикорнувшую,— слабый, прищурый, сутулый:

— «Нельзя ли яишенки, Марья Михайловна?

Так что к восьми расходились.

И так — день за днем; попадая на «башню» — дня на три, живал до пяти недель; яркая, но сумасшедшая жизнь колебала устои времен; а хозяин, придравшись к любому

* Журнал, посвященный искусству и редактировавшийся Сергеем Маковским.

предлогу, вколачивал принцип Эйнштейна: ни утра, ни ночи, ни дня; день — единый; глядишь,— прошел месяц уже.

Утро,— правильней — день: вставал в час; попадал к самовару, в столовую, дальнюю, около логовища Кузмина; Кузмин в русской рубахе без пояса гнется, бывало, над рукописью под парком самовара; увидев меня, наливает мне чай, занимает меня разговором, с раскуром: уютный, чернявый, морщавый, домашний и лысенький; чуть шепелявит; сидит, вдруг пройдется; и — сядет; «здесь» — очень простой; в «Аполлоне» — далекий, враждебный, подтянутый и элегантный; он — антагонист символистам; на «башне» влетало ему от Иванова; этот последний привяжется: ходит, журит, угрожает, притоптывает, издевается над «Аполлоном»; Кузмин просто ангел терпенья, моргает, покуривает, шепелявит: «Да что вы, да нет!» А потом тихомолком уйдет в «Аполлон»: строчит колкость по нашему адресу; и — неприятный «сюрприз»! И — разносы опять. Вячеслав любил шуточные поединки, стравляя меня с Гумилевым, являвшимся в час, ночевать (не поспел в свое Царское), в черном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова.

Мы распивали вино.

Вячеслав раз, помигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: «Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию...» С шутки начав, предложил Гумилеву я создать «адамизм»; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово «акмэ», острие: «Вы, Адамы, должны быть заостренными». Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив нога на ногу:

— «Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию — против себя: покажу уже вам «акмеизм»!» [228]

Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце символизма.

Иванов трепал Гумилева; но очень любил; и всегда защищал в человеческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным противникам; все-таки он — удивительный, великолепнейший, добрый, незлобивый. Сколько мне одному напростил он!

Из частых на «башне» — запомнились: Е. В. Аничков, профессор и критик, Тамамшева (эс-де), Беляевские,

устроительницы наших лекций, учительницы, прилетающие между лекциями с тарараканьем, Столпнер, С. П. Каблуков, математик-учитель и религиозник, Протейкинский, Бородаевский, Н. Недоброво, Скалдин, Чеботаревская, Минцлова, Ремизов, Юрий Верховский, Пяст, С. Городецкий, священник Аггеев; являлися многие: Лосский, Бердяев, Булгаков, писатель Чапыгин, Шестов, Сюннерберг, Пимен Карпов, поэты, сектанты, философы, богоискатели, корреспонденты; Иванов-Разумник впервые мне встретился здесь[229].

Живя здесь подолгу, совсем перестал я бояться медовости, кажущейся лишь «иезуитической» тонкости: до «чересчур»; эта тонкость рвалась; ригорист, фанатический схематизатор с нею таился в приеме: пробраться в чужое сознание, выволочить подоплеку, ее подтащить к себе, очаровать, полонить, покорить, сагитировать; в сложных идейных интригах, на версту всем видных, с наивной лукавостью жизнь проводил; «дионисовец» старый, он был в «Аполлоне», но не для карьеры (карьеры не делал), а так себе, для каламбура веселого; все ведь «интриги» его — бескорыстны; любил нарядиться; курсистки его раз при мне облачили в халат, обвязавши тюрбаном: пашою сидел перед ними; и интриговал: за Ростовцева против Зелинского; и похохатывал. Спорт: как увидит врага,— в его сторону: нюхает, точно мышь сало; залоснится, нежно воспев, сядет рядом: «Я, собственно, не столь уж чужд!» И докажет, пленит: очень рад!

Называли идейной кокеткой его; раз я вскричал с озлоблением: «А Вячеслав снял квартиру себе в православии с тою же легкостью, с какой на Крите квартиру снимал в лабиринте, дружа с Минотавром»[230]. Неправда: он всюду живал с той же легкостью не бытовою; всегда водворял у себя с беспримерным радушием всех: от Аггеева до Кузмина; спорт — добиться побед плюс добрая мягкость, рассеянность, часто неряшливость путали карты его в глазах мало его понимавших. И кроме того: предприимчивость спрятанного под покровом согласий фанатика нудила его, видя «добычу», дрожать, заметавшись пенснэйной тесемкой; бывало, безбровые плоскости лоснятся; глазки зеленые щурятся сыском душевным; пленяет и ластится; вдруг отстранится и зорко, как бы сквозь личину, впивается, точно стервятник, в лежащее мясо: не верит еще, что пленил; убедясь,— зашагает, сутулясь спиною, к добыче, слетает пенснэ; васильковые добрые глазки заяснятся; верит теперь: «Победил!»

Победил,— и уже: затевает с другим свою «партию»; ни для чего ему эти «победы»; так: шахматы после обеда!

В серьезном умел, независимо вскинувши голову,— требовать, как Мережковский: «Все иль ничего!»

Да, фигура неспроста! В ней интерферировала простота изощренностью, вкрадчивость безапелляционностью; побагровеет и примется в нос он кричать: неприятный и злой; станет жутко: кричащая эта фигура — химера; отходчив: вот и засутулится; льет незабудки из глаз; распивает вино; добрый, ласковый, нежный:

Моргает синий, детский глаз,—
Летают фейерверки фраз
Гортанной, плачущею гаммой:
Клонясь рассеянным лицом,
Играет матовым кольцом
С огромной, ясной пентаграммой.

Лицо — плоское, очень широкое: лоснилось; лоснился лоб; он огромных размеров — не «лобик», как у Мережковского; мужиковатое было бы это лицо; но — змеиные губы, с двусмысленной полуулыбкой:

Ты мне давно, давно знаком — .
(Знаком, должно быть, до рожденья) —
Янтарно-розовым лицом,
Власы колеблющим перстом
И длиннополым сюртуком
(Добычей, вероятно, моли) —
Знаком до ужаса, до боли!
Знаком большим безбровым лбом
В золотокосмом ореоле[231].

Любил его дома: в уютной и мягкой рубашке из шерсти, подобной рубашке А. Блока; любил его в ботиках, в шубе на лисьем меху, в мягкой, котиковой малой шапке; когда мы садились на саночки, я имел вид псаломщика, он — изможденного батюшки (в шубе старел); я застегивал полость ему; и сказали бы: «Ну,— повезли попа: службу справлять!» Эти редкие выезды в гости имели ответственный смысл: сложить группу, союз заключить, конъюнктуру налаживать, провозгласить; и — кого-то свалить; словом: службу справлял; было очень уютно с ним после вернуться на «башню» и с ним поповесничать, изобразив в лицах карикатурно то, что перед тем с благолепной серьезностью деялось им; он любил, чтобы даже над ним подшутили, беззлобно смеясь над ему поднесенным комическим, собственным «мельхиседековым» видом.

А в жизни простой — верный и расположенный: любвеобильный к союзникам; тройку наладив в издательстве нашем (я, он, А. А. Блок)[232], пред редактором, Метнером, он защищал эту тройку, блюдущую честь символизма,— в эпоху, когда я, рассорясь с редактором, уж не работал в издательстве; как волновался он, когда узнал, что В. Брюсовым и П. Б. Струве отвергнут роман мой; [233] меня затащив в Петербург, он устраивал сбор всем частям, заставляя читать меня перед Аничковым, Гессенами, Алексеем Толстым и другими писателями, возбуждаясь, сверкая глазами, крича, что роман мой — эпоха; считаю: не столько достоинство произведения, сколько горячая и бескорыстнейшая пропаганда его Вячеславом мое поражение с «Русскою мыслью» перековырнуло в победу над «Русскою мыслью»; и если отвергнутый «Русскою мыслью» роман нарасхват отнимали у автора, чтобы скорее печатать, так — это итог оглушительного просто шума, который поднял Вячеслав, показав себя братом,— не только союзником.

С той же горячностью он, петербуржец, введенный в редакцию нашу, московскую, в ней завелся, бескорыстно суя всюду нос свой, сражаясь с «идеалистами» *, заполонившими нас, за права символизма, журнала трех нас (его, Блока, меня), появляясь в Москве, атакуя настойчивость Метнера, даже выписывая его к себе в «башню», чтобы убедить его прийти на помощь моему забракованному роману.

Он был его крестным отцом, дав заглавие: «Только одно есть заглавие этой поэме, Борис: *«Петербург»;* им и будет она»[234].

И добился.

Насильно меня повернул он на Блока, с которым я был с 908 в серьезнейших контрах; так два моих крайних «врага» 906 года теперь стали братьями; дружба ничем не нарушилась. Сложные с ним рисовали фигуры в кадрили годин; не до них в этом томе: откладываю; здесь рисую лишь тему Иванова в жизни моей, не развитие темы; отмечу момент: год 12, мы с А. А. Т.[235] проживаем на «башне»; нам кажется, что эта «башня» — бессменная, верная пристань его; наша пристань — Москва.

Через семь только месяцев — нет ни Москвы, ни России для нас с А. А. Т.; мы в разрыве с друзьями москов-

---

* Речь идет о засилии в издательстве «Мусагет» в 1910 году риккертианцев, издававших журнал «Логос», с которыми боролись «мусагетцы» за количество выпускаемых книг.

скими; нет для меня «Мусагета», «Пути», «Скорпиона»; нам грустно; мы в Базеле; около Рейна градация крыш черепитчатых ярко-оранжевым цветом висит из тумана; по маленьким уличкам ходят зобатые кучки; в гостинице холодно и неуютно; толкуем о том, что Иванов спешит из французской Швейцарии: к нам; он, как мы,— в новой жизни; нет «башни», втянувшей в себя Петербург, куда он не вернется; вернулся в места, где лет десять назад его жизнь протекала, где с Лидией Дмитриевной он, «профессор», еще не «поэт», над томами корпел, отдыхая на лавочке около зыблющегося Женевского озера.

Вот он приехал:[236] рассеянный, зоркий, взволнованный; в сером пальто влетел в комнаты наши; и — первый вопрос: «Как же быть с символизмом, Борис, если ты не вернешься в Москву, если я проживу тут, а Блок и не деятель, и не москвич, не сумеет один провести нашей линии?» С трогательной озабоченностью заметался по комнатам[237].

Мы провели с ним два дня; мы гуляли по улицам Базеля; мы любовались на площадь, где миниатюрный дракончик разъял свою пасть на зареющий, пламенный Мюнстер; в беседах о кризисе наших с ним жизней, оглядывая эти домики, мы вспоминали, как Ницше страдал здесь, как утешаться он ездил к поблизости жившему Вагнеру, в Трибшен; оба изгнанники были; и мы — чем-то вроде того.

Он уехал к французским озерам, а я к Фирвальдштедтскому озеру; это стоянье двух странников, нас, на изломе путей,— мне запомнилось.

. . . .

Здесь, зарисовывая миг, когда судьба выкинула, как под ноги, Иванова, наперерез моим целям ближайшим, даю силуэт его как бы в кредит; его *тема* в вариации лет стала темой в вариациях; сам Вячеслав — перманентная смена вариаций своих; то — профессор-чудак, то — поэт, то — сомнительный мистик, а то — академик, настоянный на дрожжах Гете и Тютчева, он предо мной изменял даже внешность; явившись в усах и в прыщах, предстал через год белольняным и золоторунным, с бородкой раздвоенной, каким писал его Сомов; вдруг сбрился и засеребрился сединками.

Три Вячеслава Иванова я попытался здесь изобразить: в субъективной импрессии,— так, как обличия эти во мне отразились, нарочно разъяв, подчеркнув, упростивши; все фазы в нем, интерферируясь, жили; сидит перед тобою какой-то Христос самозваный; глядь — нос в табаке: старый

провинциальный немецкий учитель, педант, поглядел из личины.

Беседуем с этим «педантом», придирчивым к слову; и — вдруг, как туман, разлетается все: и — спокойная ясность наследника Гете; поверил в него, и — опять все зазыбилось.

Первая встреча, в эпоху, когда во мне зыбилось все, подчеркнула досадную зыбкость; он мне эпизод, лишь мешающий трудное дело мое ликвидировать,— то, о котором мы с Метнером в Нижнем переговорили. Я ехал в Москву не затем, чтобы с ним говорить о куретах и о корибантах;[238] он встал предо мною толчком неожиданным поезда: между двумя остановками: в поле пустом.

Одна — Нижний; другая же — Шахматово; меж — перемогание: стук колес поезда: «Твердость, решимость и мужество: помни совет тебе Метнера!»

«Трах-та-ра-рах» — неожиданный в поле толчок. Вячеслава Иванова нос из окошка; и чох о Дионисе: в поле пустом.

Не успел разглядеть, как опять — стук колес.

НА ПЕРЕВАЛЬНОЙ ЧЕРТЕ

А как с Н *$_*$*?

С Н *$_*$*... возились; я с ней имел объяснение; я ей доказывал, что корень зла — любопытство к спиритизму;[239] а мой интерес — «Аналитика» Канта-де; Канта форсировал ей, поступая с ней круто.

В те скорбные дни на столах красовалася книга с безвкусной обложкою: «Золото в лазури», дразнившая прошлым меня; воротило от книжного вида и сути: беспомощность, самоуверенность детских стихов удручала в сравнении с маленькой, трудно прочтенной книгой стихов Вячеслава Иванова, т. е. «Прозрачностью»; я и Иванов — как два коня пред ипподромом; и было мне ясно: Иванов меня обскакал[240].

Таков мой переход к теме «Пепла»: себя ограничить «реальным» предметом, избой,— не рефлексами солнца на крышах соломенных; и овладеть материальной строкой, чтобы ритмы не рвали ее; образцы мои — Тютчев, Некрасов и Брюсов. Свороту в стихах соответствовал и поворот в оформлениях: я отклоняю далекие цели; и я выдвигаю себе семинарии: логика, Штанге и Зигварт — моя философская эпитимья; келья — лето в деревне, куда рвусь

к плодотворным трудам, к расписанью. Мелькают: Иванов, Семенов, проездом, с «мистической» строчкой... по Блоку; насколько был близок, настолько стал в пафосе чужд.

Из деревни пишу:

Я покидаю вас, изгнанник,—
Моей свободы вы не свяжете;
Бегу — согбенный, бледный странник —
Меж золотистых хлебных пажитей[241].

Бледным, согбенным приехал в деревню, себя обложив грудой строго логических книг; ни поездок верхом, ни лирических пений над скатами: логика, солнцебоязнь!

. . . .

Мне развитие мое напоминает ломаную, состоящую из отрезков, отклоняющих периодически меня вправо и влево от некой поволенной линии устремлений моих; взлет — романтика, падение — период скепсиса: от разуверенья в увлечениях вчерашнего дня: вздерг вверх, слет вниз; между сдвигами медленно мне в годах выяснялась и крепла идеология; лишь серьезная встреча с естествознанием Гете в 1915 году[242] мне дала понимание моих юношеских ошибок; в 1903 году переживаю я максимум романтической веры в «символизм» как мировоззрение; и в 1909 году я пытаюсь обосновать одну пятидесятую увлечений 1903 года; выражение моей романтики — статья «Символизм как мировоззрение»; * мои подрезанные крылья — статья «Эмблематика смысла» **.

В статье «Символизм как мировоззрение» мировоззрение обещано: «Сегодня вечером!» Ход мыслей прост: теза, *плюс* антитеза, *плюс* синтез. В статье 909 года, в «Эмблематике смысла», обещано, в принципе,— мировоззрение; *«синтез»* пока что — номенклатура, учет заблуждений при ряде фиктивных синтезов; в первой, юношеской статье я, синица, хочу поджечь море искринкой; в последней я лишь разрешаю возможность к такому поджогу в туманном мне будущем, которое принадлежит не мне лично, а всей культуре.

Между статьями лежит шестилетие; что в «Эмблематике» перечень чисто абстрактных кривизин, то в самом авторе — боли и раны раздвоенного символиста, увидевшего

---

* Статья написана летом 1903 года, тотчас по окончании университета; напечатана летом 1904 года в журнале «Мир искусства» и перепечатана в 1911 году в сборнике статей «Арабески».

** Статья написана в 1909 году для книги «Символизм», вышедшей в 1910 году.

свой разрез на абстрактного «старца» до старости и обобранного жизнью нищего, завопившего в поле из гроба о том, что никто не встречает его, мертвеца, и что нет ему дома иного, чем гроб *.

. . . .

Из деревни я подал прошение о поступленьи в университет;[244] мелькнул месяц; а сделал я более, чем с октября и до мая, роясь толкачиком среди толкачиков.

Выяснилась невозможность базировать на психологии мысль; выяснилися планы осенних занятий по логике; руководителем выбрал: Б. Фохта; все это пришлось оборвать, отвечая настойчивому приглашению Блока приехать к нему, с Соловьевым, уж сдавшим экзамены, надевшим фуражку и ставшим моим однокурсником; но он пропал; мы назначили встречу в Москве; приезжаю, сижу, жду; в те дни умер Чехов; в статье о нем я отчеканиваю основной лозунг свой: *«Символизм не противоречит подлинному реализму»; «Символизм и реализм — два методологических приема... Точка совпадения... есть основа всякого творчества»; «в чеховском творчестве... динамизм истинного символизма»* **.

В моем самосознании оздоровление, хотя здоровье сказалося бледной, сквозной худобою и тайной слезой; торжествую, что преодолел точку косности в самом интимном; и знаю, что мысль о предмете с предметом ее живут в их проницаньи друг друга.

Сережа, которого я ожидаю,— пропал окончательно; я у Владимировых в оживленных беседах с Н. М. Малафеевым силюсь развить: Чехов ближе — Верлена, Некрасов — Бодлера; Н. М. Малафеев, народник, приветствует стихотворение «Тройка», в нем видя отказ от безумия:

Будет вечер: опояшет
Небо яркий багрянец,
Захохочет и запляшет
Твой валдайский бубенец.
Ляжет скатерть огневая
На холодные снега;
Загорится расписная,
Золотистая дуга[246].

— «Это молодо, просто и ясно; Борис Николаевич,— с новым здоровьем!»

На мне — лица не было, а соглашался: искания шли от невнятицы — к логике, от бодлеризма — к Некрасову, от

* См. «Пепел» [243].
** «Арабески», стр. 395 [245].

романтизма — к критическому реализму; теперь убедился я: мысль о предмете — предметна; предмет во всех случаях — мыслим; а всякие «вещи в себе», не открытые словом,— зачеркивал.

ШАХМАТОВО

В начале июля я трогаюсь в Шахматово;[247] неожиданно вовсе со мною поехал Петровский; в вагоне мы перепугались: я — осознавая, что еду впервые в семью, неизвестную мне, без Сережи, с неприглашенным Петровским; он — ежился, что напросился.

С Подсолнечной * наняли тряскую и неудобную бричку; и верст восемнадцать — болотами, гатями, частым, совсем невысоким леском протрусили; с холмов подымались леса; не Московской, Тверской губернией веяло, как и под Клином, и веял ландшафт строчкой Блока; я думал, что ближние станции этой дороги ** связалися с рядом знакомых имен: Химки, или — Захарьины; Крюково, иль — Соловьев, Коваленские; Поворовка, иль — Петровский; Подсолнечная, или — Блоки, Бекетовы; далее же — Менделеев; Клин, или — Майданово, Фроловское, где живали: Чайковский, Кувшинниковы, дама странная, Новикова; а — Демьяново, где вырос я, где — Танеевы все! А Дулепово, где — Костромитиновы, отдаленные родственники моей матери! А Нагорное (посередине пути меж Подсолнечной и меж Демьяновом), где жгли костры, собирали грибы, где Григорий Аветович Джаншиев жарил шашлык нам!

Вдруг — проредь лесная; и въезд неожиданный на поросший травою просторный усадебный двор с рядом служб и таящимся в зелени домиком, где жили Блоки; подъехали к главному одноэтажному, кажется серому, семиоконному дому; надстройка — в одно полукруглое, очень большое окно; подъезд плотно закрыт: никого; отворяем — две тоненькие невысокого роста, не старые, не молодые, весьма суетливые дамы сконфузились; то — Александра Андреевна Кублицкая, Марья Андреевна Бекетова: мать А. А., тетка. Петровский увял; я с конфуза понес чепуху; вчетвером мы уселись в гостиной и долго не знали, что делать.

Меня поразила весьма Александра Андреевна: в серенькой кофточке, с серой прической от проседи, с малым,

---

* Станция Октябрьской железной дороги [248].

** Октябрьской.

редисочкой, красненьким носиком, скромно одетая, зоркая, затрепетавшая: птичка в силках! Этот вид пепиньерки ужасно ее молодил: не чертами, а бойкостью, родом общенья: не мать, а — сестра (одновозрастна); трепет за нас пред «отцами»,— вот что ее делало столь характерной.

В уютной, просторной, осолнечной комнате, где все предметы стояли в порядке, блистая протертостью, как на смотру пред хозяйкой (трепещущей), трепет запомнился, а не слова несуразные.

После защелкали пятками два протонченных, худых правоведа; за ними — такая же бледная, легкая, тонная, очень приятная голубоглазая дама, их мать, или Софья Андреевна, третья сестра[249].

Мы прошли чрез террасу крутыми дорожками сада, спадающими прямо в лес, через лес, на поля; и — увидели тотчас идущих с прогулки супругов; вон там — Любовь Дмитриевна, молодая и розовощекая, в розовом, легком капотике, плещущем в ветре, с распущенным белым зонтом над заглаженными волосами, казавшимися просто солнечными, тихо шла из цветов и высоких качавшихся злаков, слегка переваливаясь; Александр Александрович, статный, высокий и широкогрудый, покрытый загаром, в белейшей рубахе, прошитой пурпуровыми лебедями, с кудрями, рыжевшими в солнце (без шапки), в больших сапогах, колыхаясь кистями расшитого пояса,— *«молодец добрый»* из сказок: не Блок!

Средь цветов, в визгах ласточек, остановясь, приложив к глазам руку, разглядывал; и... крупным бегом, с запыхом; он без удивления, став перед нами, с улыбкою руки жал.

— «Вот и — приехали!»

И на Петровского — ласково:

— «Вот хорошо!»

Тот, запутавшись, только рукою махнул, обрывая себя. Александр Александрович видом своим подчеркнул, что приезд Алексея Сергеевича просто порядок вещей: непреложный!

Л. Д. подошла, улыбаясь, как к старым приятелям; поудивлялись пропаже С. М. Соловьева и поговорили об общих московских знакомых и о пустяках, смысл которых изменчив, которые могут то вспыхивать внутренним светом, то меркнуть; А. А. освещал молчаливым уютом наш щебет: довольство друг другом; и веяло — пряно: ветрами, стеблями и визгами ласточек; так он, приятный хозяин, сумел водворить простоту и уют, проявив обходительность

и окружая заботами: несуетливо, но пристально, до пустяков; в нем сказалась житейская, эпикурейская мудрость, привязанность к местности; точно пустил корни и точно рабочая комната — эти леса, и поля, и шиповники, густо закрывшие флигель,— покрытые ярко-пурпуровыми с золотой сердцевиной цветами (таких я не видал).

Вернулись к террасе; он сильным и легким вспрыжком одолел три ступени; Л. Д., нагибаясь, покачиваясь, с перевальцем, всходила, округло сутулясь большими плечами, рукой у колена капот подобравши и щуря глаза на нос,— синие, продолговатые, киргиз-кайсацкие, как подведенные черной каймою ресниц, составляющих яркий контраст с бело-розовым, круглым лицом и большими, растянутыми, некрасивыми вовсе губами; сказала грудным, глухо-мощным контральто, прицеливаясь на меня,— с напряжением, став некрасивой от этого:

— «Ну,— а как Н *_**?»

Не казалася дамой в деревне,— ядреною бабою: кровь с молоком! Я подметил в медлительной лени движений таимый какой-то разбойный размах.

И мы сели, немного опешенные; Александра Андревна забегала быстрыми, точно мышата, словами и карими глазками; Марья Андревна, присевшая рядом, вся в рябеньком, присоединялася к ней: морготней, передергом лица; «Саша» сел, положив нога на ногу, перебирая свою поясную махровую кисть; и сидел как-то так: раскоряченно, с добрым лицом, открыв рот, точно он собирался нам что-то сказать, но затаивал; и вылетало какое-то «хн»; а наклон головы выражал откровенно согласие: слушать,— не говорить.

Поразила тяжелая стать его; вспомнился тульский помещик Шеншин, свои стихотворенья о розах и зорях подписывавший: *«А. А. Фет»*.

Блок «московский» на фоне сидящего так комфортабельно мужа, которого, может быть, мы оторвали от ряда домашних забот, показался вполне псевдонимом того, кто привык, сидя вечером на обомшелом бревне с синеватым дымком папироски, бросать чуть надтреснутым голосом домыслы, чисто хозяйственные, занимающие много места; меня приведя к огородику, четко окопанному, взяв лопату, воткнув ее в землю, сказал:

— «Знаешь, Боря: я эту канаву весною копал... Я работаю — каждой весною тут!»

В письмах к родным, относящихся к этому времени, все переполнено: домостроительством; он пишет матери: *«Ма-*

менька, вот тебе ключ» *, *«поросята — превосходные звери... Две телки остались на племя. Я написал две... рецензии... Около орешника будет картофель... Сделана новая калитка... Зачем ты велела испортить луг... В Прослове вырубили несколько участков... Боров стоит 21 рубль... Загон для коров — превосходен...»* ** и т. д.[250].

Письма наполнены этим: «рецензии» и «разговор с Соловьевым», весной приезжавшим,— случайности; Блок здесь — земной, до... чрезмерности, до пейзажа позднейших голландцев, рисующих... зайцев. *«Сейчас... принесли сладкий хлеб и бисквит, изготовленный Дарьей... чай... величину...* *** *бледнозаревую с пламезарною оторочкою, нежную, не соленую... Покушав, гуляли...»; «Дарья — аристократическая хозяйка, изготовляющая на любителя: ветчину, битки со сметаной, творог... молоко... суп с вареной говядиной и суп с корнями»* ****. Фламандское есть что-то в *«величине»* с заревой оторочкой, которую плотно *«покушав, гуляли»; «едим хорошо, много... вкусно»;* ***** и перечисление, что именно: «яйца, молоко, чай, хлеб; супы с мясом, битки, ветчина, творог...» ****** и т. д.[251]. Перечисление пищи, оценка, весьма добросовестная, ее качества — лейтмотивы всех писем к родным. Так и видишь — не *Фета*, а плотно покушавшего *Шеншина* перед картиной, опять-таки писанной поздним фламандцем. «Шестнадцать розовых поросят, сосущих двух превосходных свиней... боров с умным и спокойным выражением лица» *******. Как? Лица!?! У людей — что же: *«лики»* иль — *«морды»?*

«Плешивая сволочь»; ******** *«молодой жидок»;* ********* *«забинтованное брюхо»;* ********** «дама... скрипящим от перепоя голосом» *********** и т. д.; *«считаю себя вправе умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях»;* ************

---

* «Письма Блока к родным», стр. 114.
** Там же, стр. 115.
*** «Величиной» Блок в шутку называл ветчину.
**** «Письма Блока к родным», стр. 113.
***** Там же, стр. 115.
****** » , стр. 118.
******* » , стр. 113[252].
******** » , стр. 109[253].
********* » , стр. 102.
********** » , стр. 102.
*********** » ,стр. 102[254].
************ , стр. 257[255].

позднее, в эпоху полемики с нами (со мной и с Сережей): «Сережа совсем разжирел... подурнел» *.

Натуральный голландец неспроста явил... *Шеншина;* обертон впечатленья — вполне осознался в годах; когда выброшены дневники, биография и переписка с родными, вполне стало ясно: Шеншин, иль — помещик, женатый на Боткиной,— прежде гусар, закадычнейший друг Аполлона Григорьева[257].

В Шахматове, как в Москве, в первый миг под доверием («Саша» и «Боря»),— испуг друг пред другом мы явственно ощутили; с моей стороны — перед натурализмом, перед *«Шеншиным»*, замечающим *«блюда»*, которые ел: даже в первый, московский приезд,— романтический — он отмечает, что — *«за вторым ужином»*, «будем обедать в *«Славянском базаре», «Платил Сережа»* ** иль: «ели блины» ***.

Но и он — испугался того, вероятно, что я бы не мог перечислить блюд, съеденных в Шахматове; Александра Андреевна передала впечатление Блока от первого вечера: С. Соловьеву (тот — мне).

— «Кто же он? И не пьет, и не ест!..» — про меня.

Пил и ел; но, измученный историей с Н *$_*$*, утомленный упорнейшим теоретическим чтеньем последних недель, я, конечно, не выглядел «натуралистом»; но — волил сознания, мысли, отчетливости, прорабатывал убеждения так, как А. А. огород; кроме чувственных мускулов есть волевые.

Я жилистей был: в сухожилиях сила — не в мясе.

Потом: я — раздваивался; протянувшися к другу, меня обласкавшему, я затаил от него свое знанье о всей переписке прошедшего лета; под черепом этого здоровяка, этой умницы,— чушь, меледа, о которой понятия даже не может составить он, с детства испорченный тем, что считался родными себя уже сделавшим Гете, которого *«пик»* принимается за прорицанье; мелькало: «кто скажет, что здесь от здоровья, а что от спесивости» ****.

Дружба с поэтом — была мне опорою: в том смысле,

---

* «Письма Блока к родным», стр. 236 [256].

** Там же, стр. 108.

*** » , стр. 108 [258].

**** Переделывая в этом месте свои воспоминания, напечатанные в «Эпопее» в 1922 году, я включаю ряд реальных штрихов, неудобных к опубликованию в момент кончины поэта, когда мы, его любившие, были охвачены романтикой поминовения; теперь, через 10 лет после смерти, можно о многом говорить спокойней, реалистичней.

что всякая личная дружба — опора; но сквозь нее — суетливое, мышью скребущееся за порогом сознания знанье о полном идейном банкротстве, подкрадывающемся к Александру Блоку, так сказать, со спины; и я переживал раздвоение: тема «зари» стала только «жаргоном» меж мной и поэтом, метафорой, теряющей реальный смысл,— вот что удручало меня и делало тем, кто казался Блоку не пьющим и не ядущим; трудно жить в тесной обуви; тесно мне было без «пира сознания»; Метнер меня пировать приучил; так недавно, ободранный жизнью, я прикосновением к Метнеру, к его культурным интересам, почувствовал себя рыбой в воде; здесь же, в Шахматове, где все пышнело природою чувственно-ласковой, где мне было так тепло, комфортабельно с Блоками,— половина меня самого почувствовала себя вдруг без воздуха, в смертельной тоске; точно я за два года пережил всю глубину разногласий, открывшихся вдруг между мной и поэтом уже в 1906 году.

Отсюда и «дерг», без возможности начистоту объясниться; я понял, что в Блоке есть и литературная культура, и вкус; а вот высшей культуры, расширенности сознания в стиле Гете, многообразия устремлений в нем не было! И оттого-то: в кажущейся широкости его была суженность интересов: слишком многое, чем мы с Метнером волновались всерьез, было ему непонятно и чуждо.

Себя объясняю словами Чайковского, ибо они отражают, что я испытал, что едва ликвидировал, что становилось изнанкою мизантропической во всех «филиях» моих: *«Не умею быть самим собой... Как только я не один, а с людьми... новыми, то вступаю в роль любезного, кроткого, скромного и притом будто бы крайне обрадованного новым знакомством человека, инстинктивно стремясь... очаровать, что по большей части удается, но ценой крайнего напряжения, соединенного с отвращением к своему ломанию»* *.

Я ж был искренен — одною второю сознанья ища дружбы с Блоком и соединяясь с ним в посиденьи без слов; а другою второй примеряя оценку романтиков, данную Метнером,— к Блоку, критически перебирая в уме его пышно таимые «культы», к которым ни я, ни Сережа еще не могли прикоснуться, чтоб опытно, внятно понять,— понять в формуле, что — аллегория зорь, что от... розового капота, в котором сидит Любовь Дмитриевна, что она «облеклась», что ее «облекли», это сказывалось в ее позе ак-

---

* Модест Чайковский. «Жизнь Петра Ильича Чайковского», т. III, стр. 5 [259].

терственной, к нам обращенной с — «неспроста»; Блок матери пишет, что «*Анна Николаевна считает себя воплощением... Души Мира... Она хочет играть в Петербурге ту же роль, что Люба в Москве*» *.

Как, как, как?!?

. . . .

Мне запомнилось, как он за чаем сидел, накрывая стаканом рассеянно муху, внимал болтовне: о Москве, о Сереже, о Брюсове, Г. А. Рачинском, с чуть видной улыбкой и с носовым придыханием; перетопываясь, своим словом как бы снисходя к косолапости, что через год уже раздражало меня, с жестковатою нотой по адресу «Грифа», А. Г. Коваленской; когда говорил «тетя Саша», то голос его становился глухим, а когда говорил «тетя Соня», голос его становился певучим[261].

Мне трудно дать текст его слов: в наших *трио, квартетах* он был — примечанием к тексту иль броской метафорою на полях им читаемой книги, меняющей тексты; без текста Сережиного, моего, Александры Андревны ретушь транспаранта, наложенного на рисунок,— невнятица!

Помню,— о Розанове:

— «А Василий Васильевич... ххнн... С бороденкою... Знаешь ли, он — шепелявит... Он — с ужасиком...»

Смыслы — в жесте: покура, покива, качанья носка.

Провоцировал к играм с фамилиями, чтобы выразить степень влияния Брюсова; вышло, как помнится: Брюсов, иль *«брю» «сов»*, вливается в нас, изменяет поэзии наши: от «Блока» — лишь «ка» оставалось; он делался — *«Брюк» («брю»* — влияние *Брюсова); «Белый»* же делался — *«Бесов» («-сов»* — действие *Брюсова)* [262].

В шаржах, в пародиях неподражаем он был, нога на ногу, рука на свесе,— другою рукой, со стаканом, жужжащую муху накрыл; рот смешливый, открытый; спокоен и нем. *«Передать шутливый тон... Блока... почти невозможно. Дело было... не в словах, в тех шаловливых жестах и минах, к которым он прибегал вместо речи»* **.

Так: слушая мой пересказ одной встречи и вспомнив мои же слова, что мне слышится в каждом почти окончанье на «ак» (кул-ак иль дур-ак) звуковое подобие танца козлов, он на чей-то вскрик *«как»*, стряхнув пепел, повесивши ногу на ногу, сказал с мрачной сухостью:

---

* «Письма Блока к родным», стр. 120 [260].

** «О Блоке». Сборник литер. исслед. Ассоциации Ц.Д.Р.П. Изд. «Никитинские субботники». М. Бекетова: «Веселость и юмор Блока»[263].

— «Да и не «как»: просто — «ак»!»

Соловьев, мальчик взрывчатый, вспыхивал, точно склад пороха; мимика Блока его поджигала, как спичку.

Порою Блок делался ласковым, нежным,— без слов: разговора как не было: он становился журчаньем; слова, как кристаллы, текли, испаряясь в ландшафте кучевых облаков, изменяющих форму; а смысл становился — текучим: внесмыслием; сколько на эту текучесть ругался: «Бессмыслица!» Сколько раз сам отдавался, взвивая словесные радуги, точно фонтан, у которого Блоки сидели; Л. Д. отвечала мне вспыхами глаз, кроя плечи платком; Блок внимал, как кот, у которого чешут за ухом.

Представить текст Блока — прочесть Эккерманову запись: слов Гете; она — граммофон; оба тома, без третьего, записи Гетевых жестов,— мертвы.

В отношении Блока я быть не хотел Эккерманом: отказываюсь приводить разговоры, которые в Шахматове обнимали десятки часов; только миги запоминались.

Блоки ведут к флигельку, сквозь шиповник; А. А., зацепяся за ветку, срывает пурпурный цветок; и с насмешкой, как бы приглашая к чему-то хорошему, мне подает; иль, прервав разговор, своим медленным шагом, с насмешкой подходит, как бы приглашая к хорошему очень, ведет в уголок: «Пойдем, Боря!» Стоит, потаптываясь, приближаясь глазами: «Все — так... Ничего, знаешь ли!» И приводит обратно.

День первый — болтня; обед: два правоведа, любезно отвесив поклоны, прощелкали, сели, прямые, как струнки; и передавали тарелки — подчеркнуто чопорно; София Андреевна, держася отдельно, невнятными жестами губ говорила с испуганным, глухонемым третьим сыном, Феролем; [264] сидел песик Крабб; Александра Андревна и Мария Андревна держалися парочкой; после обеда ушли Пиоттухи.

— «Они — позитивисты,— нам Блок объясняет,— не мешают: являются... А про себя презирают... Но будут любезны».

Так, предупредив о черте, отделяющей оба семейства, живущие под одной кровлей, повел сквозь поляну в обстание топких и мшистых лесов с голубыми болотными окнами; розовое, золотистое небо сияло над горкой; Л. Д. показала рукою на розовое:

— «Там — жила я!»

За горкою — Боблово, где — Менделеевы.

А. С. Петровский — под локоть:

— «Вот поза!»

В «роль» вставилась? Нет,— «императорский» тон этой пары нас интриговал; и Петровский отметил подчерк, подаваемый нам интонацией: в жизни А. А. и Л. Д. есть какое-то *«не тронь меня»*, о котором помигивают и подмаргивают.— «Да скажите же?» Как бы не так! Как *«энигм»:* де и Люба, и Саша — *особенные;* и мы прибегали к уловкам: при помощи сверл и стамесок (коварных вопросов) взломать запертой сей комод: с драгоценностями: что, в самом деле,— невнятица, идеология, секта, шутливость, застенчивость? Этот молчок с интонацией, с позой Л. Д., впрочем, детской, отметил Петровский, признавшися вечером:

— «Я понимаю теперь, что Сережа и вы пристаете к ним».

Впрочем, он был очарован хозяевами; став резвящимся мальчиком, в кэпи, нашлепанном на голове, был бодр и общителен. Блок нас провел в нашу комнату: в верхней надстройке, с окном полукруглым (над крышей террасы); до света возились мы: сон убежал; пересказывали впечатления дня.

Бирюзово-зеленое небо златело краями смуглеющих тучек; восток трепыхался мгновенной зарницею.

ТИХАЯ ЖИЗНЬ

Просыпались с ленцою часам к девяти; опускались часам к десяти; пили кофе со сливками при Александре Андреевне; не раз я ловил на себе ее острый, меня наблюдающий взгляд с «растолкуйте»; что, собственно? Не понимала, как мы, она, видно, *«не только»* поэзию, предпочитая, чтоб «Люба» была не *«Прекрасной Дамой»*,— женою, а тут что-то малопонятное от метафизики, с ссылками на ряд цитат; на цитатах не женятся; их вырезают и вклеивают (Блок любил вырезать из журналов картинки, их вклеивая); метафизика — физика Меты? Так, что ли? Писалось же: *«жизнь пролью в... крик»* [265] (о чем?); или: *«мне в сердце вонзили красноватый уголь пророка»;* [266] меня упрекал, что в статье своей «Формы искусства» пасую я, маской лицо закрываю; писал же ведь про *«Петербург, не готовый к нашему приезду из Москвы с требованиями действительной жизни»* *.

* «Письма к родным», стр. 106 [267].

Действительна жизнь — молодого супруга, студента-филолога, слушавшего профессора Шляпкина, домохозяина, занятого своим боровом; но не действительно слово поэта-ироника, с углем пророческим жизнь изливающего не то в *«Даму Прекрасную»*, не то... в мистическую ветчину *«бледнозаревую, с пламезарною оторочкой, нежную, не соленую и мало копченую»;* * тут уж, действительно, жизнь — иронически: не то девушка с русой косой, не то просто с косою в руках, коей косят **, а может быть, девушка эта... *косая?*

Что Блок соотносит иронию с тяжелым грехом ***, что он сам был *«ироник»*,— нет спору: *«в доме... сооружаются мною книжные полки под потолком... чтобы достать книги мог тот, кто дорос до понимания их»*[271].

Но на иронии строить — «не только»... поэзию?

Мне было трудно порой с Александрой Андреевной.

Блоки являлись в двенадцатом: А. А.— в рубашке с пурпуровыми лебедями; в широком и *«бледнозаревом, пламезарном»* капоте — Л. Д.; после кофе ленились в уютной и светлой гостиной; во всем — своя форма; всему — свое время; о том позаботилась, видно, рука Александры Андреевны.

Она после кофе скрывалась: хозяйствовать; мы вчетвером — Блоки, я и Петровский — посиживали: в мягких креслах; я, стоя над креслом, разыгрывал что-нибудь; «теоретический» мой разговор — точно заигрыш: линия слов, развиваемых к Блоку, чтоб он их окрасил своим: «так»; «не так». Раз он бросил:

— «Не надо: довольно!»

Не к слову, а — к стилю.

Раз, слушая, он наклонил низко голову; но и наклон головы, и поставленный нос выражали растерянно-недоуменное: «хн» или «ха»,— смесь иронии, что все — игра, с беспредметным испугом слепца, раскоряченного не на кресле, на кочке болотной, и перебирающего не махровую кисть, а бандуру с расстроенным строем; вдруг встал; взяв за локоть, увел на террасу; спустились с ним в сад, упадающий круто тропами в лесняк, стали в поле средь трав; с закривившимся ртом разгрызал переломанный злак; выговаривал медленно мысли, подчеркивал, что они — не каприз; нет,— он знает себя, мы его принимаем за светлого; это — неправда: он — темный.

* «Письма к родным», стр. 113 [268].
** Каламбур из драмы «Балаганчик» [269].
*** См. его статью об иронии [270].

— «Напрасно же думаешь ты, что я... Не понимаю я...»

Голос — подсох: носовой, чуть туманный, надтреснутый; как колуном, колол слово свое, как лучину, прося у меня безотчетно прощения взглядом невидящих и голубых своих глаз:

— «Темный я!»

Мы стояли без шапок под пеклом; мы тронулись медленно, перевлекая короткие черные тени; он мне говорил о коснении в быте, о том, что он не верит ни в какое светлое будущее, что минутами ему кажется: род человеческий — гибнет; его пригнетает, что он, Блок, чувствует в себе косность и что это, вероятно, дурная наследственность в нем (род гнетет), что старания его найти себе выражение в жизни — тщетны, что на чаше весов перевешивает смерть: все — мы погаснем все ж; иное — вне смерти — обман.

И натянуто так улыбался, и тужился словом, всклокоченный точно, рассеянно-пристальный: мимо меня; мне запомнились: это волнение, непререкаемость тона: как будто попал на исконную тему, которую в годах продумывал.

Тема позднее сказалась поэмой «Возмездие»; возмездие — отец, Александр Львович Блок, которого он в себе чувствует. Я и действительно был перетерян; никак не увязывались с этим мрачным настроением, от которого веяло и скепсисом и сенсуализмом, цветущий вид, натурализм, загар, мускулы, поза спесивая старца, маститого Гете из нового Веймара, которую родственники вдували в него.

Силою мысли я не признавал власти рока, границ: бытовых и мыслительных; но понимал: философией с этим земным интеллектом, тяжелым и косным, направленным к мысли о борове и ветчине, не управишься; думалось: как совместить с этой мрачностью поэзию Прекрасной Дамы и слова его об «угле пророка», возжженном в нем, слова его родных о том, что *«Саша и Люба особенные»*, и столь многое прочее! Это ж — Шеншин; скептик, старый чувственник, бывший гусар, приводивший в отчаяние Льва Толстого, В. С. Соловьева. При чем тогда культ поэзии В. Соловьева, им развиваемый?

Все это, как вихрем, взвилось во мне: от появления на моем горизонте «темного» Блока; помнится, что мы шли в полях, и я отмахивался, бормоча что-то бледное для разумения четкого, но ограниченного интеллекта, чуравшегося даже подступов к гносеологическому сознанию.

Я посмотрел в синеву, и она мне — почернела; в «Серебряном голубе», гораздо позднее, я зарисовал впечатленье от этого душевного черного *«ада». «Но именно в черном воздухе ада находит художник... иные миры»*,— писал Блок (уже поздней); [272] описание в «Голубе» черного неба, внушающего жуть, поэт оценил и отметил в статье [273], потому что оно — впечатленье, оставшееся от момента, когда предо мною слетела завеса «романтика» Блока (на мгновение только); и «черное небо полудня» увиделось в нем.

Он же стоял предо мной с переломанным злаком в руке:

— «Ты, Боря же,— знаешь это переживанье и сам!»

Нет,— тогда еще я не знал: я знал мрак жизни; но этого мрака себя угашающей жизни, приклеенной слепо к чувственности, не знал.

Если бы на миг преднеслось мне будущее наших отношений? Блок после писал:

«Как я выругал Борю и Эллиса» (из писем к матери); * и преднеслось: *«Отваляли 35 верст на велосипедах, хотя накануне и напились»;* ** *«Розанов... показался мне близким»;* *** *«уже пьянствовали»;* **** *«надоела холостая жизнь»;* ***** *«напиваюсь ежевечерне»;* ****** *«трачу много энергии... на женщин»;* ******* *«ужасное одиночество и безнадежность»;* ******** *«актерки, около которых зажимаешь нос, как будто от них должно пахнуть потом»;* ********* *«А. Белого я не видал. Кажется, мы не выносим друг друга»* **********.

Писано через четыре лишь года; поэт скоро потом славил дамский каблук, ударяющий в сердце его; [282] а я написал удалую статью: «Штемпелеванная калоша», направленную против «мистического анархизма», в котором считал Блока повинным [283].

Мне идеология Блока-слепца невыносна не тем, что не видел логических выходов он: тем, что, живя уже в невылазном душевном мраке, спесиво писал из Москвы о ка-

---

* «Письма», стр. 224.
** » » 223 [274].
*** » » 228 [275].
**** » » 216.
***** » » 217 [276].
****** » » 214 [277].
******* » » 211 [278].
******** » » 219 [279].
********* » » 232 [280].
********** » » 236 [281].

ком-то пришествии *«Саши и Любы»* в столицу тогдашней Российской империи.

Чувство протеста против него на миг ожило в моем подсознаньи, когда я поглядел на него и почувствовал — что-то незрячее, нищее, медленным голосом точно «псалм» распевающее по дорогам; [284] и вспомнилася спесь его фанфар в письмах ко мне летом 1903 года; прошел всего год, а что-то в нем решительно изменилось.

Вернулись; сидели опешенные: Любовь Дмитриевна, сдвинув брови и морща свой маленький лобик, как будто прислушивалась напряженно к молчаниям нашим; и стала совсем некрасивой; и снова поднялся в ней точно разбойный размах; и его погасила она; Александра Андреевна засуетилась, а Марья Андреевна, в рябеньком платьице, стала моргать; где-то пели про Ваньку, про ключника — злого разлучника.

Я стал расспрашивать, любит ли русские песни А. А.

— «Нет: там, знаешь,— надрыв!»

Он все русское в эти годы считал лишь надрывным; стиль песни, платочки, частушки — казались враждебными; едва допустишь платочек,— появится Грушенька из Достоевского, а «достоевщину» он ненавидел: там — гулы, разгулы; там... Катька «Двенадцати»; «Тройка» моя была чуждой пока.

Я, паяц, у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк [285].

Александра Андреевна все суетилась, расставивши руки направо-налево ладонями и пропуская меж них свою голову розовым носиком; бегала карими глазками, в платье какого-то серомышеватого цвета; за ней суетилася Марья Андреевна.

Я рассказал этой ночью Петровскому о восприятии Блока; Петровский вздохнул, протирая пенснэ:

— «Так: сгорел, провалился!»

Но мы постарались отвеять все это; и дни проходили в приятнейшей лени; и к завтраку щелкали пятками два правоведа; потом мы сидели; потом расходились; к обеду сходились опять; бродили по дорогам к селу Тараканову, за Таракановом; тихо посвистывал, бросивши руки за спину: по сохлой дороге с раскатанными в пылевой порошок колеями; земля от засухи пожескла; и пригарью пахли поля; и пылищами перевихлялись дали.

И падалищная ворона картавила.

Думал о том, что Сережа пропал: торопились с отъездом.

Накануне отъезда из Шахматова, под вечер, в лесу раздался заливной колоколец: влетела тележка; и выскочил громкий, как негр загорелый Сережа, в помятой студенческой черной тужурке, наполнивши вечер буянством и смехом; рассказывал он о своем пребывании в деревне; [286] решили с Петровским: отъезд отложить.

Прошли бурновеселые дни, громовые пародии, арии, спетые тенором, басом из «Пиковой дамы»; Сережа гусарил под Томского: песней «Однажды в Версале»;[287] он изображал роли Фигнера; но меж градациями буффонад он представил гротеск, пародирующий А. А. Блока, вернее, позицию Блока: топить все позиции в полном молчании; изображал академика, старца Лапана, в грядущем столетии, на основании данных решавшего трудный вопрос: была ль некогда секта, подобная, скажем, хлыстам,— «соловьевцев»?

Лапан пришел к выводу: секты-де не было; предполагали ж — была (вроде бреда А. Шмидт); друг В. С. Соловьева, С. П. Хитрово, воплощала «Софью»-де; мудрый Лапан доказывал: «Хитрово» (С. П. Х.) — криптограмма: София Премудрость Христова; «мадам» Хитрово, или Софья Петровна, жившая в Пустыньке, бывшем имении А. К. Толстого, где и написаны «Белые колокольчики»,— только легенда, составленная уже после кончины В. С. Соловьева [288].

Пампан же, «лапановец»,— дальше шел: Блок — не женился; «Л. Д.» — криптограмма: «Любовь» с большой буквы, аллегоризация лирики Блока в попытке ее возродить культ Деметры; так: Дмитриевна есть «Де-ме-тровна» [289].

Мы хохотали; [290] пародия эта — стрела: муть сознания Блока, весьма чепуховистого в смысле философического объяснения своей позиции как «не поэзии только»; молчок; и — потом: — «Люба — строгая; Люба — особенная» (?!?).

После летнего опыта говорить идеологически с Блоком в письмах пришел к убеждению я: лучше просто дружить, чем давиться невнятицей, ставящей термины кверху ногами; Сережа же, мальчик, впервые вникавший в мысль дяди-философа теоретически, а не «мистически», уже считался с серьезными критиками Трубецких, указующих на весьма смутную религиозно и слабую теоретически тему «Софии» как церкви-невесты, души мировой (человечест-

ва — тож); что ж — антропо-софия она (человечество), космо-софия (душа мировая) иль — Христо-софия? По Беме, Шеллингу ли, Валентину ли, Конту ли эту «идею» разглядывать? Уже идея дала гадкий плод: в виде Шмидт; теперь братец троюродный «мистический» томик стихов приготовил, назвавши идею, уже волновавшую Шеллинга, Беме, В. С. Соловьева, и Гете, и Данта, по-новому: «Дамой Прекрасной»; я высмеял уже бредовой завиток этих мыслей в «Симфонии».

Я должен сказать: Александр Александрович подал нам повод его интервьюировать шаржами (вне их — отмалчивался); обнародование его переписки вполне объясняет Сережу, студента, желающего «семинарийно», а не «вздыхательно» выяснить идеологию Блока, который — писал же ведь матери, что Петербург не готов к пониманию «пришествия» Блоков, что Шмидт, бред двуногий, желает играть ту же роль, что и Люба (позвольте-с, такую же?), и что с Сережею говорили прекрасно и «тяжеловажно»; * тяжелая важность — о том, что поэзия Блока — «не только» поэзия.

Я не нуждался уже в реактиве, решив сей вопрос прошлым летом; Сережа же стал уже в позицию или признать философию дяди, или отвергнуть (через год на года от нее отвернулся), а в 905 году, перемученный этой пустой глубиною, он отмежевался от Блока, что значило в этот период для этого прямолинейного юноши: быстро прервать отношения с источником неразберихи: с кузеном.

Он все восклицал:

— «Его спрашиваю о «субстанции», думая, что он берет этот термин в спинозовском смысле, а он — порет гиль, называя «субстанцией», — черт подери, — Менделееву, Анну Ивановну; боготворящая тетушка, мать, в философии не разбирающиеся, — в восторге: какое словечко! А я почем знаю, в каком новом смысле страннит со словами; помянешь какую-нибудь категорию Канта, — впросак попадешь еще: тетушку выругаешь!»

Я юморизировал.

— «Саша — шутник: ‚полномясая Анна Ивановна — кто ж, как не знак материальной субстанции; очень эффектно: старик Менделеев затем и женился на ней, чтобы хаос материи в ритме системы своей опознать; говорится же в Библии, что «опознал он жену...».

* «Письма к родным» за 1904 год [29].

— «Ну, а Люба?»

— «Конечно же, *темного хаоса светлая дочь»* [292].

— «Ха-ха-ха!»

Теперь предоставляю судить, кого Блок осмеял в «Балаганчике»: нас или... себя?

Так затея Сережи ясна: на крючке хоть пародий извлечь эту «Даму» из неизреченности; лучше пождал бы он: ведь через год она вынырнула в дневной свет: не съедобною рыбою, а головастиком: тогда поэт озаглавил находку «Нечаянной радостью»; [293] С. М., весьма оскорбленный в своем романтизме увидеть идею «не только» поэзии в ряде годин, не мог слышать о Блоке, слагая пародии на «глубину»:

Мне не надо Анны Ивановны
И других неудобных тещ.
Я люблю в вечера туманные
Тебя, мой зеленый хвощ!

В девятьсот же четвертом году разговор Соловьева с кузеном еще не имел резкой формы; кузен не был схвачен за шиворот: «Что это? Гусеница или... *дама?»* В то время как мы сочиняли пародии, Блок заносил в записных своих книжках, что *«без Бугаева и Соловьева обойтись можно»* (117), что Белый — *«вульгарность»* (90) [294] и *«кажется, мы не выносим друг друга взаимно»; «прочти, как я выругал Борю»* *.

Раз Блок нам читал свои стихотворенья; лицо стало строгое, с вытянутым, длинным носом, с тенями; выбрасывал мерно, сонливо и гордо: за строчкою строчку; поднял кверху голову, губы открывши и не размыкая зубов; удлиненный, очерченный профиль, желтевший загаром; и помнился голос, глухой и расплывчатый,— с хрипом и треском: как будто хотел пробудиться петух; и — раздаться: напевом; и вот — не раздался: в бессилии старом угасло сознание; и относилася внятица, точно сухие поблекшие листья и шамканье скорбной старухи о том, что могло быть; и — чего не было.

Опыт с «глубинами» Блока, которых и не было там, где искали, предстоял; наш «Лапан» — еще первая экспериментальная удочка: выудит на свет дневной невнятицу; Александра Андреевна, особенно Марья Андреевна в эпоху показывания им пародии не понимали, в чем горькая соль ее.

* «Письма», стр. 224 и 236 [295].

«Лапан Лапаном», а молодость — молодостью; и она побеждала; симпатии нас еще связывали; было просто, сердечно, уютно,— пока еще что («Лапан» вскрылся в печати позднее под формой борьбы с анархизмом мистическим). Соедините: иронию Блока, блестящие, но барабанные, с грохотом, шаржи Сережи, мои остраннения их (я, согласно обычаю, лишь возводил в превосходную степень чужие затеи, а сам не придумывал шаржей); присоедините колючие реплики А. С. Петровского, и вы представите, что договаривались до гротесков.

Блок выдумал тему статьи сумасшедшей А. Шмидт, будто ею написанной в «Новом пути», где сотрудничала эта странная дама: *«А. Шмидт: Несколько слов о моей канонизации»;* [296] должен сказать, что и мы под шутливой личиною изображали Л. Д., выступающей в розовом своем капоте перед нами, как будто она собиралась поведать нам:

«Несколько слов о моей канонизации!»

Будущие полемические проклинанья друг друга таились шипами тех радостных роз, когда Блок интонировал, а Соловьев падал в кресло от грохота, перетопатывал каблуками; Блок вдруг не без вызова голову взбрасывал вверх, выпуская из губ дымовую струю.

Розы — молодость: мне и А. А. было 23 года; Л. Д.— только 21; А. Петровскому — 22; и 18 — Сереже.

Порою нам делалось тихо: особенно к вечеру; Блок улыбался, растериваясь голубыми глазами; застенчивое наклоненье большой головы в полусумерок — помнилось мне; а Л. Д. освещалась легчайшим румянцем, как яблочным цветом; и делалась вся бело-светлою:

> Голуби ворковали покорно
> В терему, под узорною дверью [297].

В ней точно таился огромный какой-то разбойный размах под платком, когда, кутаясь, кончиком носа да щуром сапфировых глаз из платка улыбалась на нас; мне она говорила; без слов подбодряя меня в моем тяжком житейском конфликте (история с Брюсовым, с Н ***), укрепляла решение: стойко держаться; я к ней привязался.

Порою казалось: Л. Д. и А. А. молодые, красивые, яркие, а... не тепло, холодок вблизи них поднимается, как

ветерочек; и — тяжесть от этого; и, чтобы не было тяжести, Любовь Дмитриевна, точно усильем округло-широких плечей, поднимала на плечи свои — театральную позу, чтоб пустою игрой заменить смысл простой, человеческой жизни; тем более искры сердечности я в ней ценил.

Я позднее утратил их (не говорю, что их не было).

В один прекрасный день подали нам лошадей; Блоки, ставши в подъезде, махали руками; поехали: ветвь их закрыла: лес, лес...

На перроне, в Москве, мы узнали: фон Плеве — убит! [298] Эта весть поразила. Поставилась точка: на Шахматове; до Шахматова ли? Зрели события исторической важности.

Глава четвертая

МУЗЕЙ ПАНОПТИКУМ

СНОВА СТУДЕНЧЕСТВО

Осенью стал н студентом-филологом [1].

В академической жизни был кодекс приличий; считалосн, что декадент, изучающий логику,— бред; афоризм — смертный грех; передали негласно от будущих учителей (Трубецкого, Лопатина): не для менн философин-де, учителн мои дико боялись Флоренского, Эрна, Свентицкого; нвно преследовали и кантианцев.

Профессор Лопатин, нвлнвшийся с черного хода к спиритам, считал, что под формою критики Рилн зарезал он линию Канта * когда-то; Когена и Риккерта знал он лишь в пересказе профессора права, Хвостова; живали летами они в одной местности; бойкий Хвостов, дилетант в философии, старому, опытному, философскому «козлищу» свой итог чтенин передавал на прогулках, а «козлище», чтящее Лейбница, Лотце, Владимира Соловьева, остервенялось, ознакомлннсь с ходом мысли философов: Когена, Риккерта, Наторпа; сейчас даже трудно представить себе, как различные оттенки идеализма гипертрофировались и какие глубокие бездны вырывались меж ними; возьмите книгу Эрна «Борьба за Логос», и вы наткнетесь на почти бранные выраженин по адресу молодых риккертианцев; [3] книга вышла уже в 1910 году, когда смягчились острые углы между оттенками идеализма; идеалист Лопатин в первых годах столетин преследовал кантианцев и особенно неокантианцев (идеалистов другой масти).

---

* «Положительные задачи философии», т. II [2]. В этом сочинеиии Лопатин борется с взглядом Риля на формальный характер принципа причинности, Лопатин, староколенный метафизик, поклонник Лотце, Соловьева и других метафизиков, считал линию наукообразной философии Когена опаснее всего. Отсюда его нападение на инакомыслящих идеалистов.

Нажим метафизики определенного толка на метафизиков другого толка, «онтологистов» на «гносеологистов», аннулировал почти смысл моего поступления на филологический факультет, на котором я хотел изучать Канта, Риля, Когена, Либмана, а не Лотце, Спинозу, Платона и Аристотеля, официально мне предлагавшихся; семинарии по последним были; по первым — не было семинариев. Нажим оказался последней попыткой конца века вырвать с корнем философские моды начала века. После смерти Сергея Трубецкого под давлением более мягкого его брата, Евгения, заместившего кафедру брата [4], крепостнические замашки Лопатина получили отпор. Евгений даже силится разобраться и в нас, символистах; не понимая нас, все же пытается понять.

Увы! — не пленяло меня посещение лекций. Никитский качался над греческим текстом; [5] всклокоченный, чернобородый чудак, Роман Брандт, кричал, как на пожаре, стуча мелом в доску: «Словачка, словак» [6]. Наглазником черным с причмоком бросался просерый Любавский с серейшей истиной о расселеньи на Припяти древних славян... [7] Тимирязев, Мензбир, Павлов, Умов,— какой яркий рой имен по сравнению с этой серой компанией.

Был исключением курс философии, читанный нам Сергеем Трубецким; этот длинный, рыжавый, сутулый верблюд с фасом мопса на кафедре вспыхивал: из некрасивого делался обворожительным; он не судил по Льюису, Новицкому, Целлеру иль Виндельбандту; купаясь в источниках, заново переживал Гераклита, Фалеса или Ксенофана; бросая указку, он импровизировал над материками, их, а не «школу» вводя в поле зрения курса. В стиле таком он вел и семинарий свой по Платону; мы, взявши диалог, осилив источники, в ряде живых рефератов и прений знакомились с мыслью Платона; профессор не гнул линии, лишь дирижируя логикой прений; я пробовал в эти месяцы читать рыхлые тома Альфреда Фулье (о Платоне) [8].

Иной семинарий Лопатина, взявшего «Монадологию» Лейбница; еженедельно по тезису мы разгрызали; но расходились ни с чем; фыркал Фохт; студент Топорков, лишь для вида себя превращавший в лопатинца, сыпал цитатами из источников, а овцеокий профессор, проваливаясь в своем кресле, блистая очками, сидел с видом издыхающего, сомкнувши глазенки; взопревшие овцы,— впустую мы прели; порою лишь профессор выскакивал из кресла, как леший с кочки, вцепляясь в ненужную частность во-

проса, чтобы, отколовши над ней «козловак», повалиться овечьей головкой в кресло, присесть за кустом бороды, дожидаясь минуты: бежать с семинария; и она наступала; тогда, переваливаясь мелким трусом, махая бессильными ручками, брошенными себе за спину, точно гребущими воздух, он кустом бороды улепетывал: в дверь.

Студенты-философы, чувствуя, что надо же что-нибудь делать, ютились в кружках; в одном выбрали предметом разбора «Критику» * В. Соловьева и глава за главой грызли ее: здесь работали Бердников в качестве «дьявола» от диалектики, Хренников, Сыроечковские, Эрн, Соловьев и Свентицкий (потом оставленный при университете Эрн исчез за границу); кружок не давал ничего; ища дела, его я забросил: и стал промышлять от себя, где бы мне для себя раздобыть педагога; так был я прижат к кантианцам, возглавленным Б. А. Фохтом [10].

Порывистый, бледный, бровастый, он взвил в круг моих жизненных встреч каштановую свою бороду и свои турьерогие кудри; и в мир трансцендентальных априори силился меня унести, с видом пленяющим молодцеватого рыцаря, пленяя курсисток восторженных, Борис Александрович Фохт — «Мефистофель», склоненный к шестидесятипятилетнему и одноглазому старцу Когену, воздвигшему в Марбурге трон, точно к Гретхен, Молоху сему экспортировал юношей, им соблазненных философией Когена; точно налаживал рейс: «Москва — Марбург», пока не поехали... московские юноши... к философу Гуссерлю. Нервный Фохт откидывал лик, водя бровью, хватаясь за голову; он с сатанинскою яростью, перетирая ладони, зарезывал «чистым понятием» ** нечистоту символизма, трясяся от ненависти к инакомыслящим до... до... ласковости; он импонировал мне благородною злобой своей.

Гонимый Лопатиным, перегрызал он лопатинцам и религиозным философам горло: великолепнейший умница и педагог, несправедливо оттесненный от кафедры, кафедрою он сделал свой дом, обучая здесь методологии нас; я, уважая его и любуясь трясущейся яростью, к «декадентам», к нам, обращенной, силился с ним завязать разговор: увидав интерес к критицизму во мне, он изменился; в двух фразах, случайно бросаемых, после в беседах мозги мои «вывихнутые», по его мнению, «ввихнул» в Канта он; я у него находил то именно, чего искал: как пианист ставит

* «Критика отвлеченных начал», собр. соч. В. С. Соловьева, т. II [9].
** Термин Канта.

пальцы, так ставил он аппаратуру логическую, не касаясь мировоззрительного содержания, но требуя четкости в методологии: я не встречал никого, кто бы так умел пропагандировать Канта; его внедрение нас в трудное место у Канта звучало, как романс.

Запевающий Канта Борис Александрович — Фигнер философской Москвы 1904 года: высокий, плечистый, с подергом бровей, с удивительной пластикой жестов, с потряхом каштановых турьих рогов, он напоминал оператора-медика, может, отца своего — Александра Богданыча Фохта; ни в ком не встречал я такого уменья в лепке абстракций чудовищных: в наших мозгах; я позднее двенадцать лет мозг мой в лубках консервировал, чтобы зарос его слом: возжигал в наших душах он Канта так, как когда-то Лев Поливанов Жуковского: трогала зоркость Фохта к логическим сальто-мортале в мозгах его паствы; он показывал пальцем на малую полочку томиков: и восклицал: «Где ее изучить? И трех жизней не хватит!» Тут стояли: Кант, Файгингер, Наторп, Коген. Он считал: философия, чистая, вся — от Когена до Канта; и — от Канта к Когену; а прочая «нечистота» — отсебятина, гиль; он не «прел» уже с риккертианцами, предпочитая в салоне выщипывать винные вишни, ему предлагаемые из коробки конфект юной дамой, плененной его мефистофельским профилем. Промедитировав десятилетье над «Критиками» Канта, ядовитой слюной обдавал он пробеги по томам истории философии, и это — дилетантизм!

Раз мы встретились с ним у К. П. Христофоровой; он за ужином, выпивая вино, открыл фейерверки афоризмов... в стиле Ницше (??)... «Борис Александрович,— и это вы, кантианец? Как можете вы думать так?» Он в ответ дернул бровью: «Не думать,— а быть...» Щелкнув пальцем по рюмке, моргнул: «Кантианцы, мы думаем днем, а бытийствуем вечером; истина, правда — совсем не жизнь, а — метод» [11].

«Жизнь,— шепчет он, остановясь
Средь зеленеющих могилок,—
Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок» *.

Такой методолог сознанию моему импонировал в те годы: Кантом; в мое бытие, омраченное,— уже Брюсов входил; Фохт и Брюсов — тогдашние мои ножницы; неразре-

* А. Белый. «Урна» [12].

шаемая чепуха с Н***, вконец натянуты мои отношения с Брюсовым: этот последний, все более ревнуя меня к Н***, меня ловил у Бальмонтов, в «Весах»: и, раздразнясь афоризмами, делаясь «чертом», он мне намекал, любезнейше, на поединок, возможный меж нами; еще я не знал тогда о его отношениях с Н*** (сама настрачивала его на меня, а потом ужасаясь себе): раз его, возвращаяся с лекции проф. Брандта, я встретил; он, выпучив губы, сжимая крюкастую палку, сидя в Александровском саду на лавочке и вперяся в красные листья, которые с мерзлой пылью крутились: в косматый туман; увидавши меня, он опять намекнул мне о возможности нам драться; и мне даже показалось, что он поджидал меня здесь.

Скоро он мне стихи посвятил, угрожая в них: «Вскрикнешь ты от жгучей боли, вдруг повергнутый во мглу»*. А бумажку со стихами сложил он стрелой, посылая их мне; я ответил: «Моя броня горит пожаром! Копье мне — молнья, солнце — щит... Тебя гроза испепелит»[14].

Скоро встретился я с ним у Бальмонта: он, хмуро ткнув руку, тотчас исчез; Н*** потом мне рассказывала, что он видел сон: его-де протыкаю я шпагой[15].

Веселенькая, в общем, осень!

И сыпались, точно осенние листья, никчемные лекции профессоров, исполнительные заседания у «аргонавтов», работа в «Весах», споры у П. И. Астрова. Все как серело: и — падало, падало, падало: каплями дождя в окна; я силился, точно петух, закричать, но сознание гасло, отчаянно взмаливаясь и бессильно барахтаясь в падавшем времени; яркими были одни впечатленья от концертов Олениной-д'Альгейм.

Средь моих однокурсников вырисовались Борис Садовской, скоро верный сотрудник «Весов», Сергей Соловьев, Ходасевич, пока еще только поэтик от «Грифа» (он к Брюсову переметнулся позднее), Малевич, впоследствии, кажется, музеевед, еще юный Борис Грифцов, черный, четкий Гордон, когенианец, в то время левонастроенный общественник (с симпатиями к большевикам), Владимир Оттоныч Нилендер, с которым впоследствии мы продружили лет двадцать (и ныне дружим); он был студентик с забегами, с прочтением диких своих стихов: лес шумел в них «багровыми звонами» и — «синий стук» стучал: он стал «аргонавтом» впоследствии.

---

* «Бальдеру Локи». Через два года это посвящение было снято[13].

ТРОЙКА ДРУЗЕЙ

Верный добрым традициям дружбы, Владимир Оттоныч Нилендер — не раз избавитель, целитель, внимающий друг и... учитель подчас; он ученой карьерой пренебрегал для... ученейшего описания им собираемых «перлов»: не данных академическою наукой; знакомый Федора Евгеньевича Корша, внимавшего юноше, он, «спец», научивший ученых,— не мог сдать экзаменов: вечный студент! И — почти... академик! Ему казалось: экзамены сдать — недосуг, когда он прокладывал новые вехи в чащобах античной культуры с секирой в руках (в час экзамена официального), свет проливая на сущность орфических гимнов, на александрийские тексты; в науке дыхания, произношения, ритма античных стихов этот живо-взволнованный, самоотверженный «путаник», часто чудак,— мой учитель и ментор; он, точно закупоренный багажами никем не учтенных подглядов, хватал мою руку и требовал, часто без слов: «Да ощупайте!» И мне нащупывался нерв культуры науки, еще ждущей кадров, идущих за ним по пятам: но кадров — не было; и оттого квинтэссенция строгой научности порою в нем бредом звучала мне; но бред в годах прояснялся: в науку.

Владимир Оттоныч врезался в нерв нашей жизни; он стал «аргонавтом»; «золотое руно», по данным истории,— золото реки Риона;* Нилендер, как золотоискатель, свои золотые песчинки выщипывал двадцать пять лет: в грудах текстов; и прял как бы из этих песчинок свою драгоценную научную ткань: понимал заново Грецию; точно новый Язон, совершающий свое одинокое плаванье в глуби веков: из XX века; глубокие он рыл всюду ямы для мощных, железобетонных фундаментов будущего; «ямы» эти пугали; но я не пугался, в них видя начало гигантской работы над текстом, взывающей к кадрам ученых; «ученого» в косноязычном тогда молодом человеке я чтил; «человека» же в нем, бросавшего труды, чтоб лететь выручать своих ближних, я нежно любил и люблю: сколько он напоил, накормил, материально, духовно; открыв двери комнаты, этого книгой снабжая из великолепной, единственной по сочетанию книг библиотеки, того — одеждой, деньгою последней, последним куском заработанного часто в трудных усилиях хлеба.

---

* Страна «золотого руна», нынешняя Имеретия.

В «Дону» некогда взял он в руки быт жизни Эллиса: поил, кормил, опекал; бесприютному, мне однажды открыл двери; [16] и — тоже поил, кормил, со мной нянчился; целое раз учреждение выручил он, приволочив вагон с хлебом (в год голодовки); рассеянный этот ученый-чудак мне доказал, что такое есть сила стремления; он, неудачник, не кончивший курса, тренировавший своих учителей, археолог, учившийся пению для понимания греческих текстов, учивший артистов плясать и держаться на сцене, жестикулируя по Бругману, Роде и греческому словарю,— парадокс.

Помню его диким студентиком, бледным и зябким; сперва он принес мне свои «бреды» стихов; потом — перлы еще не доросшей до ясности мысли, меня поражавшей порой прыгучею и жизнетворческой силой; оригинальный и гордый, скромнеющий с виду, он мне открывал лабиринт и — убегал в свои словари; никогда не любил я абстрактников и мономанов; но, «моноса» мысли порой не видя в Нилендере, я ужасался долго этому развертывателю «ям», из которых тянуло сырым, жутким хаосом.

Бледный и нервный студентик не раз пугал.

Но, приглядываясь к нему, понял я, что «ямы» суть клады, где покоится данность сырья, добываемого не по штампу, что у него есть метод в борьбе за свободу от предпосылок сознания; иные филологи по сравнению с Нилендером для меня в шорах ходили; и даже «великий» филолог Вячеслав Иванов казался мне догматиком перед Нилендером.

Громкий Фаддей Францевич Зелинский казался мне взглядом, отвлеченным от «нечто». Обратно: Ростовцева убивало ненужное крохоборствование. Нилендера мелочь интересовала лишь как симптом, подтверждавший его часто очень оригинальный научный подгляд; все его выводы из жизни Греции для меня имели животрепещущий смысл; не было в нем ничего от академических филологов: он был часто парадоксален, субъективен, но — жив, но — «наш»: нашей эпохи; если он на года нырял в невылазные для меня чащи архаической Греции, то только для того, чтобы, вынырнув из них, вернуться в жизнь и показывать, как говорил, дышал, писал гимны и их читал исторический орфик или александриец; и эту живость восприятия Греции он позднее доказывал великолепными своими переводами древних; [17] меня менее занимало, прав он или не прав; меня занимала живость его выводов; и их связь с нашей эпохой; все-таки Зелинский воспевал «прошлое»;

Ростовцев его разваливал в груды неинтересных мне фактов; а Нилендер возвращал это прошлое нам (пусть его он перековывал по-нашему); для уразумения орфизма походив в орфиках года, возвращался он все же в XX век: тем же милым, любвеобильным Оттонычем.

В сперва очень редких заходах его ко мне я чувствовал монументальную цель: говорит, говорит... вдруг: «Ага, схвачено!» И — исчезает. В подкладке мне им книжечек чувствовалось очень бережное руководство моим интересом. С. М. Соловьев оценил бескорыстную ярость под скрытною скромностью юноши; Метнер подчеркивал ценность усилий его; им дивился и Вячеслав Иванов.

Нилендер стоял мне примером, как связывать метод ныряния в Грецию Фридриха Ницше с работой Бругманов; он же, внимая работе моей, то подкидывал, бывало, Аристоксена или Вестфаля, а то маловнятного, но мне нужнейшего в данном моменте профессора Петри; * беседы с композитором Танеевым и разговоры с Нилендером формировали некогда мой метод разбора стихов; и за все ему хочется крикнуть «спасибо»; я не говорю о бодрителе, друге, товарище, брате, к которому еще придется не раз возвращаться впоследствии (в других томах, где его лейтмотив звучит ярче); в периоде мною описываемом он еще — тихий студент, забегающий ко мне изредка.

В то же время прочерчивается передо мной и сухострогий, тощий студент Н. П. Киселев, книголюб, собиратель книг, спец по романтикам и по трубадурам, весь — «экс-либрис»; молчальник,— лишь изредка он реагирует четкой поправкой историко-литературного свойства на наши слова иль, палец прикладывая к протонченному профилю, басом своим трещит: «Я сейчас...» — и исчезает, чтобы выйти с редчайшей книгой, ее поднося, как икону (боишься дотронуться): «Вот — физика: это — труд Атанасия Кирхера»[18]. Или: «Арс бревис. Труд Раймонда Луллия: машина мысли».

Сидел он всегда с укоризненным видом, отвертываясь от всего, что не есть книга, точно слабая тень,— у стены в тенях; пенснэ с черной ленточкой, тощие усики, правильный нос; лицо серпиком; строен, высок, худокровен; он гербаризировал то, что ему подавалось под категорией жизни, высушивая живые инциденты, как цветики: и их точно расплющивал в книжных томах; утонченный знаток

---

* Исследования по счислению метров.

древних ритуалов, истории тайных, мистических обществ, готовил он «Каталог каталогов» как труд жизни, который не мог он завершить, отписавшись однажды заметкой: «К вопросу о методах при составленьи каталогов»; [19] нос свой просунув куда-нибудь, понюхав что-нибудь, трещал голосом: «Здесь — спирит сидел... Здесь мистик чихнул». И, обнюхав любое явленье, точно писал к нему каталожную карточку, чтобы в свой каталог его засунуть, и ходил к нему, чтобы нас регистрировать: карточкой музееведческой.

Этот сухарь доскональный и бледный таил в себе, однако, и дикие взрывы страстей, выступая не раз экстремистом и максималистом; по линии этой он одно время и сблизился с Эллисом: сухо-скупой на слова, пунктуальный и запоминающий текст с приложеньем всех его вариантов, внушал нам уваженье, мы обращалися с ним, точно с тонким стеклом: еще разобьется, обидясь на наши незнания; Эллис развил шутливейший стиль в отношении к нему; приставал, дразнил его, тыкал, схватив за загривок, а он с фатализмом сносил эти резвости, лишь сухо покрякивая: «Лев, оставь меня!»

— «Человек изумительный!» — Лев изумлялся. Н. П. Киселев платил тем же, снося все неряшества Льва; и, поглядывая сухо, строго, касаясь пальцем лица, он скрежещущим голосом напоминал нам о светлых сторонах путаника.

В дни, когда мы пропадали на митингах, когда Петровский вместе с кучкой студентов, забаррикадировавшихся в начале забастовки, в пылу азарта вытаскивал железные жерди из университетской ограды, чтобы защищаться от предполагаемого нападения полиции этими «пиками»*, тогда именно Киселев, наплевавши на все, всему спину подставив, казалось, пылал в «инкунабулах»; вдруг однажды он позвонился ко мне; неспешно разделся, пошел в мою комнату, сел с укоризненным видом, дотронулся пальцем до лба, помолчал; и — сказал своим резким, скрежущим голосом: «Я эти дни размышлял, что нам делать; и вот я пришел к убеждению: необходимо составить нам, — вам, Алексею Сергеевичу, мне и Сизову, для взрывов...

* Речь идет о баррикадах в университете в начале всеобщей забастовки. Эти баррикады возникли случайно: во время избиения демонстрантов перед Думой часть преследуемой публики вместе со студентами, забежав в университет, стала в целях самообороны баррикадировать входы и выходы, наспех вооружаясь чем попало; университет около суток был обложен казаками и полицией.

минный парк...» — «Что?» — «Минный парк, говорю я!» — «Да вы спятили?» И я стал доказывать: нам ли это?

Он выслушал молча и со мной согласился: «Пожалуй,— вы правы». Корректнейше встал и ушел; и опять провалился, казалось, в своих каталогах*.

Третьим предстал в то время передо мною Михаил Иванович Сизов.

Мне помнится длинный, худой гимназист, полезший однажды на кафедру в «Кружке», чтобы возразить К. Бальмонту; две первые фразы, им сказанные, поразили весь зал; третьей же — не было: пятиминутная пауза, он выпил воды, побледнел; и — ушел: к удивлению Бальмонта и всего зала; он вынырнул для меня уж студентиком через год на реферате моем [20], возразив мне таким способом, что я подумал: когда этот студент распутает гордиев узел своих идей, то последние выводы моей теории (я же в те годы мечтал о теории мною построенной) будут превзойдены этим будущим «теоретиком» символизма, Сизовым; да, мы были еще и юны, и глупы; и нам казалось, что каждый из нас чуть не звезды хватает с небес.

Стал он часто являться ко мне; мы чаи распивали; я за мятными пряниками посылал; мы их кушали и рассуждали о «мудрых глубинах», лежащих на дне символизма; он с милым уютом переусложнял до безвыходности мои мысли; он всюду являлся — красивый, веселый, уютный и... длинный; его полюбили за добрость, шутливо дразня: «Длинный Миша пришел». Он дружил с Киселевым; опять — дружба странная: Сизов был — естественник, а Киселев — убежденный словесник; Сизов увлекался массажем, пластикою, физиологиею и... Дармакирти, буддийским философом, а Киселев — совал нос в Вилланову, Кунрата, Ван-Гельмонта.

Миша Сизов был незлобивый юноша, стихи писал, к ним мотив подбирая на гитаре своей;— и — отливал «загогулины» мысли; хотелось воскликнуть: «Куда его дернуло? Сюда и Макар не гоняет телят!» Он же, съездив к «Макару» на обыкновенном извозчике (часто и «Андрон на телеге» с ним ездил), возвращался восвояси,— здоровый, веселый, живой; и показывал нам свои шутливые

---

* Подчеркиваю еще раз: я описываю коллектив «чудаков»; мы, «аргонавты», в освещении позднейших лет, требовавших четкого самоопределения, были несосветимые путаники; описываю я «нелепые» идеи друзей моей юности не для того, чтобы сказать: «Как это оригинально!» — а для того, чтобы читатель увидел, какой хаос господствовал в нашем сознании.

шаржи; как-то: «Будду в воздухе»; он был не прочь при посредстве гитары пропеть нам свой стих.

Киселев — Сизов — пара.

С. М. Соловьев говорил мне, смеясь:

— «Ты — любишь арбуз, а я — дыню; ты — над комментарием к Канту способен гибнуть, а я — погибаю над греческим корнем. Сизов — тебе ближе, а мне — Киселев; мы насытили ими различия наши; я первую книгу стихов своих назову: «Серебро и рубины»; а тема твоих стихов — лазурь, золото; слушаешь ты — Трубецкого, а я — Соболевского; с Метнером — ты; я с д'Альгеймом».

Владимир Оттоныч Нилендер нас связывал: тройка друзей казалась мне приращением 1904 года.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ АСТРОВ

Рои посетителей, пестрость!

Исчезла интимность моих воскресений: ну, как сочетать Соколова и Фохта, поэта Пояркова и доцента Шамбинаго? Смех, музыка, пенье — собрания у В. В. Владимирова; Сергей Соловьев же, сплотивши у себя поэтов-филологов, круг своих тем ограничил; Эллис, томящийся организатор «аргонавтов», ища себе кафедры, стал ко мне приставать:

— «Астров, Павел Иванович, дает нам квартиру для сборищ и чтений, у них там — «свои»: земцы, судьи; я прочту о Бодлере, о Данте им: они будут молчать; это — ничего; Астров — милая личность; ну — там он с Петровым, Григорием, с детской преступностью борется... Следователь».

— «Но послушай...— что общего?»

Эллис же настаивал, усик крутя: и при помощи Эртеля нес свою агитацию: «Что же, попытка не пытка — гы-ы!» Будем-де мы вперемешку с хозяйской идеологией сеять и свою; Эллис ведь новых людей вырывал, как коренья, из разных кварталов Москвы, то являясь с хромым капитаном в отставке, читающим нам двадцать пять написанных драм,— Полевым, то с Н. П. Киселевым, то с революционером Пигитом, то с белясой девицею Шперлинг, то с зубною врачихою Тамбурер, то с где-то подобранным им Кожебаткиным, то с Асей и Мариной Цветаевыми, то с К. Ф. Крахтом, скульптором, принесшим в дар свою студию, где некогда отгремел молодой «Мусагет», то с Ахрамовичем (Ашмариным), с Папер, Марией, поэтес-

сой, пищавшей в стихах о том, что она задыхается страстью.

Эллис нуждался в кафедре; и ради нее ввергнул всех нас он к мировому судье, тогда еще следователю, к супруге его и к мамаше, Цветковой, к трем братьям П. Астрова (с женами), к старцу-художнику Астафьеву, к терпкой его половине, к учителю Шкляревскому; прибавьте: философ права, Филянский, судеец-поэт, лет почтенных, седой Громогласов, профессор; и — сколькие! О, о,— не много ли? Верлен и... Петров... Дефективные дети и... Данте... Иван Христофорович Озеров и... Клеопатра Петровна Христофорова... Ведь это — как... семга с вареньем!

Но Эллис гигикал: священник Петров — ерунда; он — песочек плевательницы; не в нем суть, а в нам уступаемой квартире; мы Астровых-братьев заставим молчать; они-де загарцуют, как кони, под нашею «дудкою». Так восстал к жизни ненормальный кружок, из которого я убежал через год [21].

Помню день, когда, взмаливаясь лепетавшими каплями, дождик по стеклам постукивал; в слякоти дымы клокастые серыми перьями черного и чернoперого времени стлались; из дыма восстал мне аскетический следователь, или евангелист от Петрова, Григория, Павел Иванович Астров — костлявый, высокий, с прорезанным ликом, с бородкою острой, порывистый, нервный; глаза его серо-зеленого цвета впивались, высасывая, будто вел он допрос; ему было лет сорок; он думал о зернах полезного, доброго, вечного, собранных с нивы священника Петрова, хватаясь за лоб, улыбаясь с натугой, давяся улыбкой и скалясь от этого, вовсе не слушая вас и соглашаясь на все, что бы вы ни сказали, но пронзая глазами, усиливаясь быть не резким; и в этом усилии напоминал он нам героя великого Диккенса, Урия Гипа; [22] посетителя он в кресло сажал, будто схватывая, чтоб защелкнуть наручники; с рывом бросался на смежное кресло, руками схватясь за колено; и, весь напряжение, как обмирал, выливаясь в глаза, выпивавшие зорким вниманьем — не вас: свои собственные мысли о детских приютах и об «Юридическом обществе», где он был деятель.

Впав точно в каталепсию на полуслове и на полужесте своем, он становился: столпом соляным; иные видывали его посреди мостовой, под пролетками, с взором, вперяемым в небо; он что-то руками выделывал в воздухе; и — бормотал сам с собой: быть может, молился он — в скрещении рельс, посредине Кузнецкого Моста?

И то же случалось, когда, обхвативши руками колено, глазами он высасывал вас: и потом ломал свои пальцы пальцами, а пальцы — хрустели; и делалось страшно от этого, и казалось, что он — флагеллант [23], а не следователь; казалось: отпустив посетителя, с себя сорвавши одежды, схвативши нагайку, во славу «святого» Петрова и детских приютов отхлещет себя он!

В деловом отношении — сух, наблюдателен: настоящий следователь, а в «идеальном», став точно труба самоварная, паром пырял из себя самого через все потолки, даже крыши... под звезды: в пустоты. Он с кем-нибудь вечно возился, кого-нибудь вытаскивая из беды, выручая и деляся своими скуднейшими средствами; доброта напряженная эта для тех, кто встречался впервые с ним, выглядела иногда вкрадчивостью судебного следователя; но под маскою вкрадчивой таились шип ригоризма или — режущая беспощадность какого-то аскета и столпника.

Он — совсем не владел своим словом.

Пытаяся, бывало, нам возражать, он долго качался на кресле, схватясь за колено; и пальцы свои изламывал, голову, вскинутую, защемивши в руках, спотыкаясь, молчал, нас измучивал напряжением и отысканием ему нужного слова; откинувшись, с полузакрытыми, точно в экстазе, глазами стремительно потом произносил, точно хлыст зарадевший, слова: вперегонку, и стучал кулаком по столу прокурором каких-то святейших, никому не зримых судилищ; вдруг, точно с неба упавши, испытывал он стыд, прижимая к груди руки, стуча в грудь, точно в дощечку, костяшками пальцев; и кланялся, точно прося прощения.

Как Урия Гип!

Босоногим испанским монахом, одетым во вретище светское, позднее мне выглядел он.

Середины в нем не было: только углы; то — суровый, сухой, непреклонный; то — мягкий, готовый на все с униженным поклоном и с перетиранием рук: и на «Падаль» Бодлера, и на «Святися» Рачинского, Г. А., которого он провалил-таки раз в Юридическом обществе, вдруг, с угловатою резкостью в миги, когда он считал своим долгом кого-нибудь выручить, крупно помочь втихомолку, сквозь все потолки и от Петрова, Григория, и от своего либерализма прогорклого он убегал; по Москве чьи-то бегали ноги; а грудь, голова, видно, носилась: в космической бездне!

Он и пописывал, но — жалко: о детских приютах, о книжках священника Петрова; [24] в искусстве же он был — ихтиозавр: от нечуткости; зная этот «грешок» за

собою, расписывался он в уважении к мнению Эллиса... «Нуте, что скажете нам, Павел Иванович?»

«Что уж я! Вот что скажет Левушка-с».

Левушка же усик крутил: «Рыцарь — гигиги,— а в искусстве — гиги — ни бельмеса!»

Семь лет выволакивали братья Астровы Эллиса из всяких бед.

Николай же Иванович, брат, думец, после — видный кадет, еще после «министр» от Деникина,— худенький, маленький, усик крутя, становился, бывало, у стенки, являясь на «среды» брата, и слушал очень покорно, расширив свои голубые глаза, панегирик Эллиса Бодлеру. «Ну, за Николаем Иванычем слово!» А он, засутулясь, сконфузясь у стенки, только помахивал рукой испуганно: «Левушка, что вы? Мы... мы... Для нас ведь праздник послушать, что говорят об искусстве: мы отдыхаем здесь от прозы городской думы, ну, а мнений своих обо всем этом у нас — нет!»

Чрезвычайно любил он пародии, шаржи и импровизации Эллиса; и даже таскал «пародиста» к знакомым: показывать им, как «па д'эспань» протанцевал бы... Вячеслав Иванов.

И появились на «средах»: братья П. И. Астрова, Владимир Иваныч с хромым Александром Иванычем.

Вот главнейшие посетители Астрова: старый Иван Александрыч Астафьев, художник: крепчайший, лобастый, седастый старик; он все только крякал, ни слова его не слышал за год я: «э» да «гм»; если, бывало, Эллис загнет величаво коленчатую свою дичь, сморщив лоб, то старик крякнет; взмудрится Сизов,— старик с благодушием: «Ээ... ээ... ээ...»; Эртель, бывало, заварит свое картавое миро,— Астафьеву это очень понравится: «эком» барашечьим он отзовется. Лет двадцать он усидчиво перерисовывал собственную композицию: лика Спасителя, дорисовав перед своей смертью этот очень наивный рисунок, однако исполненный чувств; теософки почтенного возраста ездили перед ликом слезы точить.

Ну, а графика?

«Гм... эээ...» — и только.

Старик нас добил раз, принеся свой проект для обложки сборника: «Свободная» — горизонтально; и «совесть» — перпендикулярно; на «о» — слова перекрещивались; я — пал в обморок: «Павел Иваныч,— да это черт знает что». Астров, точно подавяся улыбкой: «Так?» Ему ведь понравилось очень. Иван Александрыч, старик, оскорбился на

критику, обложку убрав; и на ближайшей «среде» в ответ на слова мои раздалось злое, козлиное:

— «Эгм... ге... не» (то есть: «Вот бы — в морду тебе»).

Тоже сиделец на «средах» — приземистый, чернобородый, с присапом, учитель Шкляревский: глазами «святыми», чистейшими, нежными (цвет — Рафаэля) сиял он; здесь отсопел целый год: ни единого слова! Казался какою-то алмазною россыпью, всяким бурьяном поросшею; его лицо отражало тончайше вибрации голоса: каждого из выступавших; оратор, бывало, глядел на Шкляревского — и весь отражался, как в зеркале, в нем; если кто рычал на него, то Шкляревский пугался; если кто в речи грозил кулаками, то он откидывался; если же на «вершины» брал, то — следовал, очень охотно; когда ему «розою вечности» тыкали в нос, то он — нюхал.

Однажды — сюрприз: реферат. Как,— Шкляревского? О Хомякове...

— «Был... гм... Хомяков... Гм... Хомя...я гм... славя... нофилом».

Но муки этого реферата были кратки: всего пятнадцать минут; севши в стул, опочил он, и опять на него в неделях кулаками грозился оратор: пугался, опять его влекли на ледник, он — бежал, розой тыкали — нюхал.

Однажды, явяся, спросил я:

— «Кто этот юный брюнетик?»

— «Какой?»

— «Вон, вон: бритый».

— «Шкляревский».

— «Как? что?»

— «Он же обрился».

Обрился — и вскоре пропал со «сред».

Собиравшиеся разделялись: на говорунов и молчавших; Рачинский, Сизов, Эртель, Батюшков, я, П. И. Астров — говоруны, да еще Поливанов, Володя, студент, театрал, исполнявший роль Лира, любитель-актер, вдохновенный и «только» поэт; он пытался и в прозе работать (недурно); живой, то открытый для братских общений, то дикий «волчонок», то друг, то бранитель колючий, — с ним встретясь у Астрова, я продружил восемь месяцев; он, став «аргонавтом», став со всеми на «ты», провалился внезапно сквозь землю, на всех точно обидясь.

Молчавшие — Киселев, Петровский, барышня Мамонтова, дочь Саввы Мамонтова, мадам Астрова, белая, желтоволосая и полнотелая дама: ее мамаша, Цветкова, в пенснэ; Шперлинг, бледная, умная барышня (даже не писк-

нула), пара Астафьевых, еще не бритый Шкляревский, три брата Астровы, Христофорова К. П., «тонкая» дама, Рачинская Т. А., тоже «тонкая» дама; заходили: присяжный поверенный Шкляр, профессор Громогласов, профессор Покровский, тогда доцент из посада, Филянский, Свентицкий и Эрн; приводили сюда Леонида Семенова; здесь являлись поздней: Боборыкин, Бердяев, Вячеслав Иванов, С. А. Котляревский, М. О. Гершензон, думец Челноков, профессор И. Х. Озеров, П. Н. Петровский, поэт (от Ратгауза к Бунину), старые девы, судейцы, философы религиозные и дамы из «попечительств» всяких [25].

К восьми вечера мы трусили: к Каретной-Садовой; собрания происходили в синявеньком одноэтажном домочке Цветковой; бывало, звонишь: П. И. Астров, влетая угласто в переднюю, улыбочкой своею подавится, за руки хватает и руки ломает и в комнату, полную людом, ввергает, где Эллис трясет уже пальцем и где чирикают уже Батюшков с Эртелем — «гы-ы-ы»: в «эк» Астафьева; синее око Шкляревского уже лопается из угла: рафаэлевым светом, и уже Рачинский брыкается цитатой из Библии.

Заседание открыто: Астров, с бородкой под потолком, закрывая глаза, произносит уже: «Священник Григорий Петров говорит». Мы бросаем каскады из ртов; Поливанов же, во всем усумнясь,— отмежуется.

После пойдут в маленькую столовую ужинать.

— «Вы, гы-ы-ы, понимаете ли, дорогой мой Иван Александры-ы-ы...»

— «Сейте доброе, честное: детский приют, господа... И...»

— «Священник, Григорий Петров, говорит...»

Рядом — брык, коловерт, перепрыги: Рачинский и Эллис:

— «Паф: первосвященник... Бодлер... Одевая — паф!— Урим и Туним [26]. Бодлер красил волосы... Мельхиседек: паф-паф-паф...— Безнадежность... Святися...— паф!..— Падаль... Христос — паф!— воскресе... И — нет никаких воскресений. Жилкэн говорит... Златоуст рече,— паф: «Россия...» Мрак... Свет разума».

И — не поймешь между водкой и между селедкой, где тут «Григорий Рачинский», где «Левка Кобылинский».

А в два часа ночи хрустим по Садовой: я и Эллис; метель, битый час стоим у моего подъезда, схватяся руками за шубы друг друга, терзая их в споре; но Эллис меня перекрикивает:

— «Соответствие: это — здесь, это — там. И... И... абсолютная между ними черта: ни-и-каких совпадений!.. И... и... ни-каких утешений!.. Здесь — только падаль, там — только свет. Абсолютная — игигиги — грань! Седой Гриша со своим «Святися, святися». А Павел Иванович — гиги — со своим «Григорий Петров»... Ни-икаких утешений: прощай!»

И — унывает от меня под метелицу: только дворник всхрапнет у ворот, провалясь головою в тулуп.

У Астрова я — как турист, в чужеродной мне игре впечатлений: но это — наркоз; это — тень, а не жизнь; выпоражнивался здесь своим словом; бывает,— пустой я к двум ночи; и — отчетливо мне: я — лицевое, ручное, сердечное и головное изъятие. Я, как черный контур: ничто!

Посещение этих «сред» — только форма моей истерики.

АЛЕКСАНДР ДОБРОЛЮБОВ

В те дни неожиданно появился в Москве поэт, Александр Добролюбов.

Старейший из нас «декадент», представлявший себе, что зеркало есть водопад, куда можно нырять, гимназистом еще оклеивший свою комнату черной бумагой, взманивший и Брюсова к играм в «покойники», к самоубийству юнцов подстрекавший когда-то, он долго странил;[27] вдруг — стал странником; с потрясенным сомнением, бросивши книги, он в поля убежал, где подстрекал, бунтовал; и даже — в тюрьму сел; его едва вытащили оттуда, объявив сумасшедшим и спрятав в больнице, откуда уже попал он на поруки к родителям; и — снова бесследно канул, как в воду[28].

Потом он объявился на севере как проповедник, почти пророк: своей собственной веры; учил крестьян он отказу от денег, имущества, икон, попов, нанимаясь по деревням в батраки; работал хозяевам за пищу, одежду и кров — то в одной, то в другой деревушке; в свободное же время учил, препираясь с олонецким, волжским и вологодским хлыстовством; росла его секта: хлысты, от радений отрекшиеся, притекали к нему; и — толстовцы, к которым был близок; учил он молчаливой молитве, разгляду евангелий, «умному» свету слагая напевные свои гимны, с «апостолами своими» распевая их.

Эти песни тогда ходили в народе; из них напечатал он в те дни в «Скорпионе» ряд отрывков «Из книги невиди-

мой»; [29] книга лежала у нас на столах; ее Брюсов ценил, сестры же Брюсова с почти благоговением встретили «брата», поэта и странника; он, появившись в Москве, поселился у Брюсовых; [30] Брюсов мне жаловался: «Надоел! Просто жить не дает; уходил бы; казанский татарин за ним притащился в Москву; все к нему ходит: неграмотный; сестры просто с ног сбились; явился ко мне в опорках; я купил ему полушубок и валенки; он же, с татарином скрывшись, опять явился в опорках своих. «Полушубок?» — «Отдал неимущему». Не можем ведь по полушубку в день жертвовать мы неимущим; просили держать на себе; усмехается в бороду и молчит: он — себе на уме».

Раз придя к Брюсову в это время, я уселся с семейством за чайный стол; вдруг в дверях появился высокий румяный детина; он был в армяке, в белых валенках; кровь с молоком, а — согбенный, скрывал он живую свою улыбку в рыжавых и пышных усах, в грудь вдавив рыже-красную бороду; и исподлобья смотрел на нас синим, лучистым огнем своих глаз: никакого экстаза! Спокойствие. Сметку усмешливую в усы спрятал, схватяся рукою за руки, их спрятавши под рукава, подбивая мягким валенком валенок, точно колеблясь в дверях: войти или — скрыться? В усах его таял иней; и жгучим морозом пылало лицо.

Зная, что Добролюбов — у Брюсова, все же явленье этого румяного, крепкого и бородатого парня не связывал с ним, потому что я себе представлял Добролюбова интеллигентом, болезненным нытиком; у декадентов он слыл декадентом; а у обывателей — декадентом, возведенным в квадрат; стихотворная строчка его — казалась кривым передергом.

Тут же передо мною был крепкий, ядреный, мужицкий детина; и — думал я, что это брюсовский дворник; я видывал много толстовцев и всяких мастей опрощенцев, ходивших в народ; а такого действительного воплощения в «молодца», пыщущего заработанным на вологодском морозе румянцем, еще не видывал; не представлял себе даже, что это возможно. К примеру сказать: Клюев перед Добролюбовым с виду — трухлявый; этот же — как тугопучный осиновик: пах листом; сердцевина — белейшая, крепкая; глаза — сапфиры; а — гнулся; такие типы встречались в дебри лесной, близ медвежьих берлог: лесники, сторожа, дровосеки в безлюдии глохлом сгибаются, а на медведя — с рогатиной ходят.

Но Брюсов открыл мне глаза, когда он, вскочив неожиданно, бросивши руки, метнув выразительно татар-

ский свой взгляд на меня, громко выорнул: «Брат Александр, возьми стул и садись».

Лишь тогда осенило меня, что это — Александр Добролюбов.

Я был чрезвычайно далек от его круга жизни; и пафос подлаживанья к нему В. Я. Брюсова с «брат» — мне претил; и на брошенное мне «брат Андрей» я подал Добролюбову руку, с пришарками: «Мое почтенье-с!»

Он тихо присел за столом, положивши на скатерть свои две руки: пальцы в пальцы, а голову — наискось; тихо покачивая бородой, он беседе нашей внимал; перетаптывался под столом двумя валенками, энергично плечами водя, очевидно, привыкшими таскать за плечами поленья, кули и заплечную сумку; нос — длинный, прямой; губы — сочные, яркие, тонкие; профиль — не тощий и продолговатый; усы, борода — лисий хвост; а глаза, не моргающие, без экстаза, учитывали — разговор, крошки хлеба на скатерти, все мои движенья; он нас как бы приветствовал взором с простою улыбкой, очень идущей к нему, отзываясь на наши слова без слов.

Как бы взяв в свои мысли нашу беседу, он стал на нее отзываться, вкрапляя претрезвые, краткие свои фразы, вызывающие к напряженному в себя нырянию, чтобы ответить ему впопад; я же, чувствуя, что испытуем им, отворотясь, трещал что-то Брюсову; и — мало внимал; Добролюбов, не слыша ответа себе, без всякой обиды на меня, опять усмехнулся себе в усы, занырявши широкими плечами; и стены обвел голубыми, живыми такими глазами.

Ни тени юродства!

Но было мне трудно с ним, он все подводил. «Верно, так, еще шаг,— и вы оба уткнетесь в «мое». И такою спокойною верою в «перерождение» наше в его веру несло от него, благодушно взиравшего на «окаянства», что мне сделалось стыдно, и я, оборвав разговор, привскочил и с пришарками выскочил из-за стола:

— «Мое почтенье-с!»

Запомнилось: мы говорили о М. Метерлинке, Рейсбруке, о чем-то еще; Александр Добролюбов спокойно, уверенно, с книгою драм Метерлинка в руках, длинным пальцем показывал тексты; мол,— вот: так, не так; я же ждал изувера, проклявшего литературу. Досадовал тон превосходства, быть может не сознанного.

Скоро я от него получил обстоятельное, но написанное просто детской каракулею указанье-письмо, что в статьях

моих, им в это время прочтенных, — «так» и — что «не так», с припиской: «брат Метерлинк», близкий мне, полагает — так, эдак-де; ручная работа, наверное (топор, лопата), связала так его пальцы, что почерк его стал уже черт знает чем; я очень жалею, что текст письма мной утрачен:[31] я даже не вник в него, будучи в вихре забот, своих собственных.

Но «брат Александр» — не оставил меня.

Как-то вскоре раздался в квартире звонок; прибежала прислуга:

— «Стоит мужичок; и — вас спрашивает».

Это был Добролюбов.

Старательно вытерши свои белые валенки, не раздеваяся, с ныром плечей, как волною качаемых, крупный, румяный, сутулый, он вплыл, как медведь, в мой кабинет; и сел тотчас на зеленый диван; и — молчал, улыбаясь.

Я жил тогда в большой комнате; а мне показалась она тесней мышеловки; он как бы занял всю комнату; рост ему прибавляла, верно, привычка под небом ходить, на ветрах провевающих, или в стволах цвета кофе, покрытых зелеными мхами,— в сосновых — вращаться; казался мне — проломом в простор: стены каменной; и точно перекосились предметы, распавшись в мизерности; это — не «мистика»; это — контраст: его валенок с плюшевой мебелью, его румянца с моим беднявым лицом, увядающим в зеркале.

Он о своем письме мне — ни намека, а — о пустяках; вдруг, подняв на меня с доброй и с нежной улыбкой глаэа удивительные, он произнес очень громко и просто:

— «Дай книгу».

Имел в виду Библию.

Я — дал; он — раскрыл, утонувши глазами в первый попавшийся текст; даже не выбирая, прочел его; что — не помню; и снова, подняв на меня с той же нежной улыбкой глаза, он сказал очень просто:

— «Теперь — помолчим с тобой, брат».

И, глаза опустив, он молчал.

Мне стало неприятно; и я засуетился, как мышь в мышеловке. А он, помолчав, объяснил мне прочитанный текст; но я тотчас забыл его объясненье; и он — стал прощаться; с ныряющим, добрым, медвежьим движеньем в переднюю сплыл, в ней наткнувшись на мать.

Она только что от мадам Кистяковской вернулась; увидев такую фигуру, уставилась на нас; он же, снимая ме-

хастую шапку, держа ее так, как просители держат — нищие на перекрестках,— оглядывал мать, усмехаясь себе в усы; мать, не вникнув в него, ему зачитала нотацию:

— «Надо бы — проще быть! Дается-то жизнь — раз!»

Он же сгибался с улыбкою перед нею, с шапкой в руке, представляясь покорным и раскачивая головой и ныряя плечами; как будто он мать благодарил за «науку». Вдруг, нас обведя своим зорким, вспыхнувшим сине-сапфировым взглядом, с глубоким поклоном — в дверь, шапку надев!

И все тут точно возвратилось на место; все стало — обычным; не виделось маленьким: комната — комнатой; зеркало — зеркалом; не водопад, куда можно нырнуть. Мать рассказывала о мадам Кистяковской: какие наряды и шляпы!

Я больше не видел его.

Было мне грустно в мелькающем беге хромой, семиногой недели: о, о, — колесо Иксионово! [32]

Л. Н. АНДРЕЕВ

Мне этою осенью множились встречи с артистами, с рядом писателей; и возникает Борис Константинович Зайцев в «Кружке» и у «грифов»; я начал бывать у него в тот сезон; [33] он дружил с Леонидом Андреевым; он с Голоушевым (или — «Сергеем Глаголем») [34], врачом, бойким критиком, организовывал тогда литературный кружок «Среда»; [35] Голоушев меня приглашал у него появляться; на «Средах» я был гостем.

Борис Константинович Зайцев, активный «средист», примирял очень резкие противоречия литературных платформ между Чириковым, молчаливым и мрачным Тимковским, Иваном Буниным и — декадентами; тихий, весь розово-мягкий какой-то, с отчетливо иконописным лицом, деревянный, с козлиною русой бородкой, совсем молодой еще, вчера студент, он казался маститым и веским, отгымкиваясь от всего щекотливого: точно старик; вдруг сигнет юным козликом, стиль византийский нарушив; и снова, опомнившись, свой кипарисовый профиль закинет; и так иконно сидит.

Энергичный «средовец» С. С. Голоушев: высокий, с седеющей гривой волос, с бородою густою и серою, с мягким наскоком, с тактичным огнем; ритор, умница, точно гарцующий спором, взвивался, как конь на дыбы; затыкал всех за пояс.

В кои веки ходил я попреть со «средовцами»: с «середняками» — верней; они, пудрясь слегка модернизмом, держались позиции «Знания» до появления «Шиповника»*, силившегося сплотить вокруг Андреева литературную «среднюю» всех направлений.

«Среда» мне запомнилась мягкими литературными спорами; я, приглашенный «чужак», объяснял «середовцам» свои убеждения; прения переносились на ужин; застрельщик их — С. С. Голоушев; участник — не глупый, тактичный Алексей Евгеньич Грузинский. Голоушев вставал на дыбы, перетряхивая серой гривой волос, точно конь; и, показывая статность, рост, громкий голос трибуна, гремел:

— «Символисты — фанатики и отвлеченники; ломятся просто в открытые двери; и мы тоже защищаем художество: к чему эта полемика?»

Я же доказывал: двери — иллюзия; смешивают бытовизм, «патюр-морт», с реализмом действительным; мы, «символисты», не против реальности, а — против условности натуралистического штампа.

Грузинский тоже в беседу вступал, силясь определить по-своему символизм; а Борис Константинович Зайцев мастито потряхивал своей узкой и русой бородкой; и всем видом доказывал нам: Леонид Николаевич прав — в том и том-то; Борис Николаевич — прав в том и том-то; Иван Алексеевич Бунин прав — в том-то; и — всегда выходило: Борис Константинович, сняв сливки с нас, сочетает своей персоной все истинно новое с истинно вечным; последнее, впрочем, домалчивал он — встряхами иконописного профиля.

— «С вами приятно поспорить»,— смеялся мне Грузинский, садясь со мной рядом за ужином.

Чисто товарищеская атмосфера кружка растворяла все остроcти; было приятно, но — рыхло: за ужином и за стаканом вина; милый, тихий, сердечный Иван Белоусов; пофыркивал злым ежиком только Чириков,— в галстучке своем белом, мотаяся прядью волос и сверкая ехидно очками; он слушал с большим протестом меня, меж Грузинским и С. Голоушевым свое жало просовывая; тут же сидели: художник Первухин, художник Россинский, горбатенький, небесталанный писатель Кожевников (с явною склонностью к нам, символистам), очень корректный, вы-

---

* Книгоиздательство «Шиповник», основанное Копельманом и Гржебиным, рекламировало Леонида Андреева[36].

сокий, красивый шатен, Н. Д. Телешев; тут же всегда добрил Ю. А. Бунин, или «тетя Юля» (так звали его), брат писателя Бунина, который все меня упрекал в отвлеченности.

— «Вы посмотрите,— вскричал он раз в кружке, руку свою бросив прямо в тарелку мою,— вот, вот — к чему привела символиста его оторванность: не полоскайте же свой галстук в ботвинье, Борис Николаевич!»

Я опустил глаз в тарелку, и, к ужасу,— вижу, что мой шарфик купается в квасе.

— «Вот вам и источник всей вашей «весовской» полемики: даже поесть не умеете!»

«Поесть» — разве аргументация? С этим «поесть и запить свою мысль» ведь и боролись мы; тогдашние «натуралисты» слишком себя проедали в кружке.

Симпатичнее всех на этих собраниях мне казался С. С. Голоушев, с которым я и дружил; живой, темпераментный, с искрой,— готов был порою восстать на позиции собственные!

— «Удивительно реалистично в «Возврате» описан у вас прогрессивный паралитик; я, врач, свидетельствую, что ваш Хандриков точно модель специальных клинических данных».

Стиль «Сред» — теплота, человечность, но — не идеология; вместо последней — какое-то сплошное «нутро»; с этим плотным «нутром» мы, сухие и злые «Весы», люто, принципиально боролись.

С Леонидом Андреевым я познакомился на «Среде», но собравшейся не у С. С. Голоушева, а — на квартире писателя; память об этой встрече скудна, потому что Андреев стоит как в тумане: без мелких штрихов живет в памяти, из тумана разве мигнет вздерг бровищи, блеснет взгляд косящих, тяжелых, как воткнутых глаз, а все прочее — тонет; портрет в память вписан манерой Карьера: т. е. туман, из которого лишь видится глаз да проостренный нос; если же ближе вглядеться,— Андреев «орловец», и — только; [37] «орловцев» таких встретишь сотнями; город Орел ими очень богат.

«Середовцы» — упорные бытовики; Леонид Николаевич встает среди них как безбытный в раздрызганной «бытице»; точно с явленьем его за столом электричество гасло; он точно сидел во тьме; вдруг — вспышка магния: жест молниеносной отчетливости; и снова — тьма; в ней мне бездарно погашены встречи с Андреевым; осталась лишь: странность всех жестов; ненужность их; так во вспыхе

молнии прохожий над лужей с воздетой ногой вырезан в памяти; где, почему, в каком смысле — отсутствует; просто динамика мига, оторванная от их цепи, став статикой, дико бессмыслит: из «вечности».

Итак, Леонид Николаевич мне вспыхивает на момент, мне блеснув, меня поразив и приблизившись ко мне невероятно, но — беспроко, чтоб снова погаснуть.

Я помню его посредине пустой, освещенной, квадратной просторнейшей комнаты: его квартиры на Пресне; тут только что спорили, выбежав скопом: пить чай; двойки-тройки пустых, глупых стульев друг к другу точно кидаются, споря; а спорщики, на них сидевшие, выбежали; и уже закусывают себе за стеной: там — гул, гам (то, вероятно, Грузинский, Тимковский, Иван Белоусов и Чириков), в комнате же, странно пустой, тяжелея, как валится, полуобняв Б. К. Зайцева, грузный, большой, большелобый, чернявый и бледный Андреев, поставивши ногу на стул; электрический свет освещает сапог лакированный; его штанина, широкая, синяя, спрятана в голенище; Борис Константинович Зайцев гнется под локтем, «мастито» бодрясь (а — не выходит); он — в сереньком, светленьком: «зайчик» испуганный! А Леонид Николаевич, ногу со стула не сняв, повернулся, прищурясь, ко мне и — разглядывает меня своими черными глазами; белость щек, прядь волос, черных, падает к острому носу; знакомая мне по портретам бородка, портрет ближе к жизни, чем эта фигура «орловца»; таких очень много в Орле; разве — взгляд из-за носа; таких — очень мало!

Все — как вспышка!

Так мы встретились; что говорили — не помню; какое-нибудь «мне приятно» (не очень); пустой разговор! В память врезан, как нож из тумана, лишь взгляд с тихим подмигом мне, со вздергом бровищи, как бы говорящей:

«Ты, брат, не увертывайся; дело вовсе не в том, что «приятно», а в том, что за всяким «приятно» таится — пренеприятное; ты мне покажи-ка себя перед зеркалом в комнате, где никого нет»,— так сказал мне его неморгающий взор точно скошенного, с острым носом лица, с прядкой черных волос, упадающих к носу, как бы из бессонницы выкинутый неприлично наружу: при первом нашем свидании:

— «Литературные партии, мнения нас друг о друге,— какой это вздор! Партий — нет; одна партия, каждому: гибель во мраке».

Так, грузной фигурой вдавленный в быт, он лишь взором внебытным вполне ужасался случившемуся; в чрезмерности своего перепуга казался неискренним; точно позировал перед портретом: «Андреев — в тумане, над своей бездной». И все то, точно вспышка, живет в моей памяти.

И тотчас же:

— «Идемте-ка, Борис Николаевич»,— и, взявши под руку, он вел меня в густо набитую комнату, мимо пустующих стульев — высокий, дородный, закинув свой профиль, казавшийся гордым, в рубашке из черного бархата, стянутой туго серебряным поясом (явный живот), в сочетании дикости с нежным касаньем рукою руки, с деликатностью преувеличенной, с выпятом грубости, чисто наружной; меня поразило: точно где-то уже встречались мы: и — точно во сне это было.

Он был со мною весь вечер ласковым, гостеприимным хозяином, силясь своих гостей усадить, напоить, накормить, разговор меж ними наладить; в усилии этом казался немного смешным, неестественным, как на ходулях: со скрипом порою пустым; и мне казалось: что все, что он делает,— делает перед собою самим, в пустой комнате, в круге зеркал; Голоушев, Грузинский, Тимковский — лишь замути зеркала, то бестолковье, которое тряпкой стирают; когда наливал нам в стаканы вино он, то мне казалося, что из пустого в порожнее переливает он: впоследствии все это вскрикнуло мне, когда «Жизнь Человека» читал; мне казалось, что я представление его «Жизни» увидел при первом уже свидании с ним; тогда же казалось, что он,— доктор Керженцев*,— встанет сейчас на карачки перед нами и в черную бездну, не в дверь,— побежит; сам же я написал, что *«все... кончено для человека, севшего на пол»* **.

Была в этот вечер меж нами как бы перекличка без слов, о которой сказать разве можно словами А. Блока: *«Воспоминания мои... лишены фактического содержания... Леонид Андреев... знал, что существует такой Александр Блок, с которым где-то, как-то... надо встретиться»; «...ближе были ему... символисты, в частности Андрей Белый и я, о чем он мне говорил не раз»****. Эту близость сквозь нас разделявшие литературные партии чувствовал я, когда стал в глупых стульях, перед сапогом, закачав-

---

* Герой «Мысли» [38].

** «Симфония» [39].

*** «Книга о Леониде Андрееве», стр. 95—97 [40].

шимся, как-то нелепо поставленным на стул, когда точно валился Андреев в плечи Б. Зайцева, одною рукою его обняв и другою рукой покоясь на вздернутом синем колене, как будто из тьмы в неизвестном пространстве шагал он над лужей во тьму; и вспых молнии вырезал мне этот жест в странной статике позы, изваянной в вечность.

Таким встал Андреев при первом свидании.

Я просидел у него часов пять; он был очень внимательным. Как говорили, о чем говорили и кто в разговоре участвовал? Все это стерто, как тряпкою мел.

И прошло — два года.

Раз, в пылающем солнце, у дома Чулкова, где жил доктор Добров, приятель Андреева, я шел к одной барышне, проживавшей в квартире у Доброва; и чуть лоб не разбил мне распах двери; в арбатское в пекло какой-то, как будто упав, пырнул в бок меня велосипедом, бросаясь из тьмы; смотрю: плотный мужчина, в свисающей, мятой, как помнится мне, чесучовой рубашке, вцепившись одной рукою в машину, с высокого лба отирал испарину; кажется, он был без шапки; толчок между нами заставил нас бросить друг в друга весьма неприязненный взгляд; мне мелькнуло:

«Мужлан: куда прет?»

«Куда лезет?» — мелькнуло, наверное, в нем: все же мы принялись извиняться.

Вдруг оба откинулись, в голос воскликнувши:

— «Вы, Леонид Николаевич? Без бороды?»

— «С бородой вы,— Борис Николаевич?»

Бороду сбрив, он был в усах; я же не брился два месяца; и мы — рассмеялись; и что-то хорошее, теплое, доброе, точно дыхание близости, вспыхнуло в нас: в простоватых словах, что судьба не велит нам встречаться, а — надо бы; молодо как-то тряхнув волосами, он ловко вскочил на машину; и — был таков.

Выскок из тьмы — вспышка магния снова.

Скоро мы встретились: в той же квартире, у доктора Доброва; [41] Андреев собирался переезжать в Петербург, меня долго расспрашивал об А. М. Ремизове и о Блоке, с которым он только что встретился; [42] с Блоком я был тогда — на ножах; зная это, он точно нарочно меня на него поворачивал, пристально вглядываясь и точно изучая мои слова о Блоке; мы пошли от стола, точно выдернувшись из беседы (кто был за столом, я просто забыл), ставши в тень; что-то высказал мне он, выскакивая из-за стола и занавес приподымая над всей ситуацией нашего глупого быта, в котором Борис, Леонид Николаевичи занимают не то поло-

жение друг относительно друга, какое должны бы занять: повторяю, что так отдалось мне; а что сказано было,— опять не помню.

Пожалуй, и помню: не фразу, а среднюю часть ее, без окончания и без начала:

— «Как странно!»

Опять — только выхват двух слов из их цепи; но выхват, как магниев свет, потому что он мне подмигнул на свое «как странно»; и смысл слова «странно» — страннел.

Этой осенью из Петербурга он появлялся в Москве; он был в зените известности, сопровождаемый роем людей, меня резко ругавших в газетах; порой он хотел из-за этого роя — ко мне просунуться; я ж в этом рое — ежился; и — отходил от него; а его — от меня отволакивали; он бросал через головы как бы грустный, сочувственный взгляд, мимолетом помигивавший, как зарница.

Запомнилось: фойэ Художественного театра; я чувствую мягкую руку, положенную на плечо; я — повертываюсь: Леонид Николаевич ласково мне улыбается; обнял за талию, отвел к стене; покурили в согласном молчании; но рты разевали на нас (на него!); и я — убежал от него. Скоро, встретясь опять (где — не помню), мы попали с ним вместе на «Бранда» (он мне лишний билет предложил); восхищался игрою Качалова он; [43] в толпах мы говорили с ним в антрактах об Ибсене; он, взявши под руку, мягко ступая в сине-серых коврах, склонил нос; перетряхивал прядкою; и разговор соскользнул просто к жизненной драме; я жаловался на разбитые нервы, на мельки людей; он косился со вздохом:

— «Борис Николаевич, перемудрили вы: я книги бы у вас отобрал да увез бы в Финляндию вас; сунул бы вам удочку в руки».

Так пять актов сидели мы рядом: в потушенном свете; и пять актов молчали под Ибсеном, так говорившим ему, да и мне; после этого (судьба, как нарочно, вставляла молчание в нас) захотелось мне услышать и слова его, а не подмиг: вздергом бровищи; и я явился в «Лоскутную», где он временно жил; [44] мы — затворились вдвоем; я пространно ему говорил о том, что волновало меня в его творчестве; он — слушал внимательно; видя, что я от мигрени страдаю, он вдруг сердобольно засуетился, отыскивая мне порошок от мигрени; но затащил — в ресторан: вместе обедать; и вдруг возбужденно за рыбой принялся рассказывать он наперерез разговору: де старая дева явилась к врачу с объяснением, что потеряла невинность,— слу-

чайно, а доктор ее уверял-де, что кажется ей это; она потребовала, чтобы доктор свидетельство дал, объясняющее этот случай несчастный; меня удивляло волнение, мимика, нервность, с которой единственный случай коснуться друг друга словами Л. Н. превратил в разговор об утрате невинности; я поспешил удалиться, чтобы успокоить свою мигрень: в этот вечер читал я публичную лекцию; и мне показалось, что Андреев — ужасный чудак.

Скоро передали с ужимочками — те, чья функция сплетничать,— слова Леонида Андреева о нашей встрече в «Лоскутной»:

— «Ко мне приходил Андрей Белый; доказывал жарко, а я не понял ни слова».

Подумалось, что он ломается перед газетчиками, подавая им повод к плакату: «Андреев и Белый»; я знал, что «не понял» — гримаса; сам он признавался А. Блоку впоследствии, когда я сознательно избегал его, что мы — близки друг другу.

Редакция «Утра России» [45] меня пригласила однажды Андреева сопровождать к Льву Толстому; [46] но я наотрез отказался, Андреева избегая. Но, попав в Петербург, видясь с Блоком, я касался Андреева; мы устанавливали, что какая-то близость меж нами троими действительно — есть; это было — на «Балаганчике» Блока: [47] у стойки буфетной; мне помнился Блок: сюртук — с тонкой талией; локоть — на стойке; а нос — наклоненный в коньяк:

— «Знаешь,— «Жизнь Человека»... Хн... Выпьем?»

И мы говорили о музыке Саца к андреевской драме; [48] крикливые, хриплые, талантливо задребезжавшие во всех московских квартирочках ноточки; была в эти дни — тьма реакции: всюду «свеча» догорала в те дни; что-то падало, падало мокрыми хлопьями; точно хотел пробудиться петух; не раздался; и все замирало бессильно; Андреев ходил точно в маске; писал свои «Черные маски»; и — странно: последняя наша встреча — под маскою. Это был маскарад у художника Юона: на святках; я, закутанный в красное шелковое домино, вызывал удивление:

— «Кто такой?»

Явился Андреев среди масок, торжественный, бледный, высокий, серьезный, нес профиль свой; он так пристально вглядывался в маскарадные позы; и впервые казался естественным; точно ходил среди масок в своем собственном быте.

А когда сняли маски, то я, войдя в роль («некто в красном»), все еще дурачился и интриговал, своей маски

не сняв, и, пробираясь торжественно и угрожающе в шепотах: «кто это, кто?», Поляков и мадам Балтрушайтис, прижавши к стене, приставали ко мне:

— «Зачем не снимаете вы маски? Кто ж вы такой?»

За моею спиной раздался спокойный, отчетливый голос:

— «Это — Борис Николаевич».

Быстро оглядываюсь: Леонид Николаевич; и — Поляков ему:

— «Вовсе же не он!»

Леонид Николаевич лишь мне подмигнул с тем подрогом бровищи, с которым он встретил меня в первый раз на квартире: с сочувственно-грустным, как бы вопрошающим; миг — и спокойный, застылый, тяжелый свой профиль понес от меня, точно маску средь масок.

Я больше не видел его.

Так последняя встреча — вспых тьмы, как и первая; вспых, помигавши, погаснул в пустом разговоре меж нами; он, выйдя из тьмы, в тьму ушел от меня; мои встречи с Андреевым — несоответствие меж оформлением и смыслом: какой-то разрыв, — ненормальный, ненужный, — в период, когда разрывалась душа и вопрос возникал:

— «Жить или — не жить?»

Тогда в бездну реакции, в сумерки сальных, коптящих, огарочных «Саниных» [49], криков похабных из «Вены» *, в вой мороков о кошкодавах-писателях**, о странных оргиях, будто бы бывших на «башне» Иванова, —

падало, падало, падало —

— сердце!

«ВЕСЫ-СКОРПИОН»

Кружок «Арго» — словесный запой; Кант — учеба; «Свободная совесть» — популяризация; ну, а «Весы» — трудовая повинность: кование лозунгов литературной платформы; кругом было вязко, нечетко; в «Весах» была ясность, заостр литературоведческой линии, предосудительной многим; но было измерено, взвешено, кого, за что, как — хвалить или — бить; здесь несли караул: часовой — под ружьем; пушка — наведена; снаряд — вставлен.

«Весы-Скорпион» — близнецы: «Весы» только этап «Скорпиона» [50], в котором «весовцы» — я, Эллис, Борис

* Петербургский ресторан, посещавшийся писателями.

** Малопроверенные слухи о том, как компания пьяных писателей затаскивала кошек и вешала-де их.

Садовской, Соловьев (под командою Брюсова) — были в контакте с С. А. Поляковым, Семеновым, Брюсовым и Балтрушайтисом как «скорпионами». До 900 года в Москве совсем не считалися с Ибсеном, Стриндбергом, Уитменом, Гамсуном и Метерлинком. Верхарн пребывал в неизвестности; Чехов считался сомнительным; Горький — предел понимания. А к десятому году на полках — собранье томов: О. Уайльда, д'Аннунцио, Ибсена, Стриндберга, С. Пшибышевского и Гофмансталя; уже читали Верхарна, Бодлера, Верлена, Ван-Лерберга, Брюсова, Блока, Бальмонта; зачитывались Сологубом; уже заговаривали о Корбьере, Жилкэне, Аркосе, Гурмоне, Ренье, Дюамеле, Стефане Георге и Лилиенкроне; выявились подчеркнутые интересы к поэзии Пушкина, Тютчева и Боратынского; даже Ронсары, Раканы, Малербы, поэты старинные Франции, переживались по-новому вовсе.

Исчезли с полок — Мачтеты, Потапенки, Шеллеры, Альбовы и Станюковичи с Коринфскими, Фругами, Льдовыми; не проливали уже слез над Элизой Ожешко; и не увлекались «характером» Вернера.

Произошел сворот оси! [51]

К исходу столетия сел на обложки печатаемых «дикарей» «Скорпион», хвост задрав предложеньем читать Кнута Гамсуна в тонком, лежавшем в пылях переводе С. А. Полякова («Пана», «Сьесту» [52] — прочли по дешевкам поздней на шесть лет); стервенились на задранный хвост «Скорпиона», протянутый, как указательный палец, к фаланге имен, почитаемых ныне (Уитмен, Верхарн, Дюамель, Гамсун), но неизвестных еще Стороженко (Брандесы потом их представили, в качестве «новых талантов»); пока ж называли К. Гамсуна: «пьяный дикарь» *. Надо было б хвалить «Скорпион», что он зорок; а — мстили ему: за свой подтираемый плев; «идиот и дикарь», «не лишенный таланта дикарь», «мощно-дикий талант»,— курбет с Гамсуном; то же — с Верхарном, с Аркосом, со Стриндбергом, с роем имен, выдвигаемых с первой страницы «Весов»; сплагиировав вкус, чтобы скрыть плагиаты, плевали теперь на «скорпионов».

О, последующие брани по адресу имажинистов или футуристов — журчание струй! Допотопные старики перемазывались из «Кареева» и «Стороженки» в сплошных «Маяковских», чтоб отмстить нам за то, что мы, а не они подняли на знамя Верхарнов, Уитменов, Гамсунов, которых

* «Русское слово» в 1900 или 1899 г.

они оплевали в свое время; надев рубашки ребяческие, голопузые старцы помчались вприпрыжку... за Хлебниковым: «И я тоже!»

Но факт — оставался; а — именно: свороты вкуса сплелись с оплеухой по чьим-то ланитам; был сломан хребет «истин» Пыпина, после чего появилась и бескорыстная критика: просто повидло какое-то приготовлял Айхенвальд; а «Весы», подытожив свою шестилетку, закрылись: весовский товар под полой продавался теперь везде; и на «браво, Верхарн» выходил и раскланивался, прижимая к груди пришивные «весовские» руки, приятный весьма... «силуэт» Айхенвальда.

Такого упорного литературного боя, как бой за решительный переворот в понимании методики стиля с буржуазной прессой, впоследствии не было: были только кокетливые карнавалы: стрелянья... цветами; довоенная пресса, нахохотавшись над символистами, вдруг проявила сравнительную покладистость по отношению к течениям, из символизма исшедшим.

Нам некогда казалось, что стояла эскадра в девятьсот четвертом году: броненосцы-журналы, газетные крейсера били по юркавшей с минами лодке подводной; вдруг «Русская мысль» подняла белый флаг: «Я сдаюсь»; а на мостик командный взошел В. Я. Брюсов, доселе — «подводник». «Весы» — упразднились[53].

Шесть лет при боевых орудиях службу я нес с Садовским, Соловьевым; четыре — с Л. Л. Кобылинским; на капитанском мостике стоял Брюсов; С. А. Поляков — при машинах; друг другу далекие — не расходились мы: самодисциплина. Бранили нас — Андреевы, Бунины, Зайцевы, Дымовы и Арцыбашевы; Блок и Иванов часто покряхтывали на нас, и им влетело — за то, что хотели они царить в те минуты, когда Брюсов, я — лишь трудовую повинность несли. Коль Иванову льстили «чужие», он — маслился от удовольствия; а коли Брюсову льстили, он — откусывал нос. В «Весах» не было строчки, написанной не специалистами; тут — корифей, тут — статист, тут — в венке, тут — в пылях, с грязной тряпкой; «весовец» — таким был; Брюсов пыль обтирал, как «Бакулин»; З. Гиппиус — как «Крайний»; Борис Садовской — в маске «Птикса», а я был — ряды греческих букв (вплоть до «каппы»), «2 бе», — «Б. Бугаев», «Яновский» и «Спиритус»; благодаря псевдонимам шесть или семь специалистов — казалися роем имен; [54] они давили: зевок, отсебятину, позу, «нутро», штамп, рутину, цель — вовсе не

в том, чтобы «перл» показать; цель — тенденция: с «Блоками», «Белыми» и «Сологубами» о «Дюамелях», «Аркосах», «Уитменах» внятно напомнить: «Читайте не Льдова — Языкова, не Баранцевича — Дельвига, коли уже касаться «вчерашнего дня».

«Весы» пряталися в «Метрополе»[55], отстроенном только что и удивлявшем слащавой мозаикой Головина; вечер: розовое электричество вспыхнуло от подъезда гостиницы, там, где стена и проход на Никольскую,— сверт: двор, подъезд, этажи, доска: «Скорпион»; комнатушки: в одной — полки, книги и столик с подпиской (печатки, расписки), пальто, котелок, трость Василия;[56] он — и служитель, и — друг: пиджак, синий, и лиловенький галстук, при усиках; ростом — невзрачен; он все понимал в нашей тактике, ярко «врагов» ненавидел, участвовал в «прях», дерзил Брюсову; в часы досуга, надев котелочек, пальто (трость — под мышкой), фланировал под «Дациаро»[57], раскланиваясь: с этим, с тем.

Комнатушка вторая — не редакция, а — лавчонка: фарфорик, гравюра, кусок парчевой, изощренные часики, старый пергамент и выставка пестрых обложек; два стула, синявый диванчик, стол, шкафик, на нем антикварные редкости, гранки; лежит на столе пресс-папье: препарат скорпиона, когда-то живого, запаян в стекло; стены — красочный крик: Сапунова, Судейкина, Феофилактова, Ван-Риссельберга; тяжелая рама с Жордансом, добытым в московском чулане; Рэдон и — обложка, последняя, Сомова; ряды альбомов: Бердслея и Ропса; мы все спотыкались о стол, о второй; он — огромен, он — веер обложек: последние книжки журналов — французских, английских, немецких между итальянскими, польскими, новоболгарскими и новогреческими; все прощупано и перенюхано С. Поляковым; из морока красок его голова с ярко-красным, редисочкой, носиком, втиснута криво в сутулые плечи; в нем что-то от гнома, когда он поставленной наискось желтой своей бородой измеряет рисунок и маленькой желтой плешью с пушочком — глядит в потолок.

Он скрежещет кривою улыбкой; лицо очень бледное, старообразное; желтая пара; как камень шершавый, с которого желтенький лютик растет; так конфузлив, как листья растения «не-тронь-меня»; чуть что — ежится: нет головы; лицом — в плечи; лишь лысинка!.. «Что вы?» — «Я — так себе. Гм-гм-гм... Молодой человек из Голландии — гм-гм — рисунки прислал».

И все — убирается; перетираются руки; на все — «что ж, прекрасно»; в уме же — свое (хитр, не скажет): «Рисунки голландца — издать, чтоб носы утереть ретроградной Голландии; лет через десять она академиком сделает этого — гм — молодого — гм-гм — человека; теперь — дохнет с голода!»

Раз я накрыл в «Скорпионе» С. А. Полякова, когда все разошлись (он тогда именно и заводился, копаясь в рисунках); поревывая про себя, он шагал, скосив голову набок, средь полок, фарфоров и книг, зацепляясь за угол стола и покашиваясь на меня недовольно (спугнул); носик — в книгу.

— «Вы что это?» — «Гм-гм,— подставил он мне сутулую спину и желтую плешь,— изучаю,— весьма недоверчиво из-за спины смотрел носик,— корейский язык».— «Зачем?» — «Гм-гм: так себе — гм!»

Языки европейские им были уже изучены; близевосточные — тоже; и очень ясно, что дело — за дальновосточными; с легкостью одолевал языки, как язык под зеленым горошком; большой полиглот, математик, в амбаре сидел по утрам он по воле «папаши»;[58] а — первый примкнул к декадентам, тащил «Скорпион», в нем таща символизм сквозь проливы и мины бойкота: к широкому плаванью; в миги раздоров он, морщась, присевши за том, нюхал пыль: «Образуется... Ну, ну... Пустяк». Выходил из угла: миротворной рукою заглаживать остросги; вдруг вырастал, заполняя пространство; загладив, горошком катился в свой угол, куда никого к себе не пускал; там — рисунки, концовки, заставки; а право идеи планировать — нам предоставил; в артурские дни бросил публике номер «Весов» в очень стильной японской обложке[59]. «Весы» — возвращали подписчики: в знак протеста.

Вкусы его — подобные жадности: к... глине; я видывал странных субъектов: «Приятно погрызть уголек». Так любовь Полякова к тусклятине напоминала подобное что-то: как будто, явясь в «Метрополь», с удовольствием перетирая сухие и жаркие очень ладошки, заказывал блюда: раствор мела с углем; жаркое — печеная глинка; хвативши стакан керосинчика, переходил он к помаде губной, посыпая толченым стеклом вместо сахара; после съедал вместо сыру тончайший кусочек казанского мыла; за все заплативши огромнейший счет, появлялся в «Весах».

Таков супер-модерн его вкусов, подобный... корейской грамматике; глаз изощрял он до ультра-лучей; красок спектра не видел; где морщил он доброе, гномье лицо над

разливами волн инфракрасных, тусклятину видели мы в виде супа астральных бацилл иль — рисунков Одилона Рэдона; порою хватал лет на двадцать вперед.

Он был скромен; являлся конфузливо, в желтенькой, трепаной паре, садясь в уголочек, боясь представительства; спину показывая с малой плешью, покрытой желтявым пушком; и поревывал: «Полноте вы». Я не помнил ни тоста его, ни жеста его: сюртук на нем появлялся — раз в год.

Эрудит исключительный, зоркая умница, а написать что-нибудь,— скорей зеркало съест! Впрочем, раз появился обзор кропотливый грамматик, весьма экзотических; подпись — Ещбоев: «Ещбоевым» высунул нос свой в печать[60], чтобы, спрятавшись быстро, сидеть под страницей «Весов», шебурша «загогулиной» Феофилактова, и утверждать: она — тоньше Бердслея: ее очень тщательно гравировали: она — украшала «Весы»[61].

Комнатушка «Весов» — парадокс; как в каюте подводника, тесно; технические аппараты — везде; к ним же радиоволны неслись — из Афин, Вены, Лондона, Мюнхена: трр! — «Покушение немецкой критики на талант поэта Моргенштерна». И — трр,— телефон с резолюцией сотруднику Артуру Лютеру: «Давайте скорее заметочку о поэзии Моргенштерна»[62]. Афины, бывало, докладывали Москве, что Маларикис кровно обижен коринфской критикой; и — Ликиардопуло, греческий корреспондент, темно-багровый от гнева, строчит: «Всему миру известно, поэт Маларикис — гордость Европы»[63]. Читатель же российский читал лишь, как обкрадывают в «Весах» критика Айхенвальда, не зная, кто — Лерберг; а в Брюсселе «Весы» благодарили: «У нас есть защитник: «Весы». Когда я в Брюсселе жил, то меня брюссельцы уважали за то, что я — бывший «весовец»; великолепны были обзоры латвийской поэзии и обстоятельные обзоры, почти ежемесячные,— новогреческой лирики.

Быстро повертывалась рукоять; и снаряд лупил из «Метрополя» — в Афины, Париж, Лондон, Мюнхен; минер — М. Ф. Ликиардопуло[64], он — налетал: «Торопитесь, топите, лупите, давайте». Сухой, бритый, злой, исступленно-живой, черноглазый, с заостренным носом, с оливковым цветом лица, на котором — румянец перевозбужденья, пробритый, с пробором приглаженных, пахнущих фиксатуаром волос, в пиджачке, шоколадном, в лазуревом галстуке — ночи не спал, топя этого или того, вырезая рецензии иль обегая газеты, кулисы театров, выведывая, интри-

гуя; способен был хоть на кружку для чести «Весов». Доказал он поздней свою прыть, пронырнувши в Германию в годы войны и с опасностью жизни ее описав — в сорока фельетонах[65].

Со всеми на «ты» был.

Расправлялся он с враждебными журналами нечеловечески круто; был он своего рода контрразведкой «Весов». Поляков, бывало, ему: «Тише вы — гм-гм». Ликиардопуло же, бросаясь, баском тарахтя, как разбрасывал по полу пуговицы: «Тах-тах-тах,— что за гадость: читайте!»

Подсовывал мне номер с ругней; и — строчил свою ответную «гадость». Был англо-грек (англичанин по матери); злостью его питалось года «Бюро вырезок».

— «Бить их по мордам,— на вазу фарфоровую налетел,— давить, бить: церемониться нечего!» — носом на кресло.

Когда ни зайди — дело жаркое: битва; трещит телефон; деловито, зло, сухо: раскал добела; диктатура — железная: «Бездарность, тупица, дурак!» И Алексей Веселовский, с пробитым навылет профессорским пузом, в пробитую брешь захвативши портфель,— юрк, юрк: Ликиардопуло; Эллис, Борис Садовской, Соловьев юрк — за ним; это — вылазка; или: трещит барабан день и ночь: «Арцыбашев»,— и рушился. Лозунг «весовский»: «топи сколько можешь их» Ликиардопуло в жизнь редакции проводился.

И тут же бросалися гелиознаки[66] в Европу: политика вкуса не русская, а европейская; движенье имен — европейских, топленье имен — европейских; единая логика связывала: травлю Ляцкого с провозглашеньем... какого-нибудь Маларикиса поэтом. Блок, Иванов — этого не поняли; они хотели прожить на своем на умке, на своем на домке; а «Весы» — волновалися фронтом, в котором Мельбурн и Москва — пункты в сети литературного движения; в «Весах» забывались: Москва, «Метрополь», из которого с кряком спешил Поляков; с ним — Семенов: в цилиндре, с сигарищей,— розовощекий блондин, грубо-нежный и тонко-дубовый.

Еще не отмечен никем заграничный «весовский» отдел; в нем представлена Франция: Ренэ Аркосом, двумя братьями Гурмонами, Ренэ Гилем; «спец» Лувра, И. Щукин, отчет давал о выставках, так что Париж был в «Весах» — первый сорт; Брюсов — Бельгией ведал; и лично сносился с Верхарном; я в Брюсселе слышал высокое признанье «Весам»: «Проповедуя Лерберга, Ван-Риссельберга, они в авангарде шли нашей культуры!» О Суинберне — где

было сказано? Только в «Весах»; академик и лорд Морфиль — английским отделом заведовал, а итальянским — Джиованни Папини, теперь — знаменитость; Германию — представлял Лютер: теперь он в Германии — «имя»; Элиасберг давал обзор Мюнхена; севером ведали — два «спеца» севера: Ю. Балтрушайтис и С. Поляков.

Я вовсе не утверждаю, что былой памяти «Весы» имеют какое-либо отношение к политической и социальной революции; но что они во многом лили бунт против литературной затхлости своего времени,— за это стою.

Боролись «Весы» — с кем? С Веселовскими, Пыпиными, Стороженками. За кого? За Аркосов, Верхарнов, Уитменов, Гамсунов, Стриндбергов.

. . . .

Балтрушайтис, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым;[67] являлся в желтявом пальто, в желтой шляпе: «Мне надо дождаться». И, не раздеваясь, садился, слагая на палке свои две руки; и запахивался, как утес облаками, дымком папироски; с гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных жилках; то — юмор; взгляните на нос — миротворнейший нос: затупленный, румяный.

Казалось: с надбровной морщины несло, точно сосредоточенным холодом,— Стриндбергом, Ибсеном (переводил, редактировал);[68] он — переряженный в партикулярное платье Зигурд;[69] цвета серого пара, как скалы Норвегии; глаз — цвета серых туманов Нордкапа;[70] вынашивал он роковое решение: встать, перейдя от молчания — к делу; уже перекладывал ногу на ногу с прикряком, со вздохами:

— «Надо сказать тебе...»

— «?»

Он же вставал: «Надо бы...— посмотрев на часы, басил он:— Но на днях, как-нибудь, а теперь — мне пора».

И глаза голубели цветочками луга литовского: около Ковно; нордкапский туман — только утренний, свежий парок, занавесивший теплое и миротворное солнышко; он затупленный, румяный своей добротой нос — в дверь нес.

Куприна, уже выпившего, раз подвели к Балтрушайтису, чтобы представить: «Знакомьтесь: Куприн, Балтрушайтис». Куприн же: «Спасибо: уже балтрушался». Ему показалося спьяну глагол «балтрушайте-с» — в значении понятном весьма: «Угощайтесь».

Но — невозмутимый Балтрушайтис:

— «Еще со мной: рюмочку!»

Мирен — во всем; он коровкою божьей сидел (а вернее — тельцом), примирений елей лия на кусающих, злобных «весовцев», совершая свои возлияния и вне «Скорпиона» с С. А. Поляковым, которого линию длил, вея вздохом добра, обещая мне множество раз: «Надо бы мне сказать тебе». И, поглядев на часы, прибавлял: «Я приду к тебе завтра; теперь — мне пора». Лет двенадцать я ждал, что он скажет; а он не рассказывал.

— «Раз он сказал,— дернул губы мне Брюсов.— В Италии: он рассказал мне про раковины так, что я ахнул: поэт, крупный, Юргис!»

С ним точно подводная лодка, «Весы», выплывала к поверхности; портились наши компасы, манометр ломался: толчок; Брюсов — деревенеет, а Ликиардопуло — пляшет захлопнутой крыскою; праздно слонявшийся Юргис тогда только брался за руль: «Надо плыть, руководствуясь звездами». И, проведя по опасному месту, на палубе снова болтался, чтоб с первою шлюпкой — на берег: исчезнуть надолго.

С. А. Поляков и Ю. К. Балтрушайтис — тишайшая, голубоглазая и красноносая пара блондинов; Семенов меж ними являлся как третий блондин; Поляков — с отклоненьем в фагот, Балтрушайтис — в рог турий, Семенов — в валторну: вели свое трио в «Весах» против трио брюнетов, колючих и злых; трио черное — Ликиардопуло, Брюсов и Эллис.

Ю. К. Балтрушайтис был необходим видом праздным и флегмою, чтоб под водой не задохлись в раскале котлов, в перепаренном жаре и ярости Ликиардопуло, в сухости Брюсова, в бредах полемики Эллиса, в щелканьи жадных зубов Садовского, Бориса,— акулы, которую Брюсов любил выпускать, чтоб отхватывала руки-ноги она Айхенвальду, купавшемуся: в море сладости — под броненосным бортом «Русской мысли». Ю. К. Балтрушайтис сидел подчас перед конвульсией ярости; и поперечной морщиной бороздился его умный лоб; и гудением тусклого, как голос рога, баска — утверждал: «Надо бы мне сказать».

В 21-м еще, выдавая мне визу в Литву[71], встал, как прежде в «Весах», и сказал: «Очень жаль, что ты едешь: надо бы мне, но...» — посмотрел на часы он; и с нордкапским туманом в глазах он пошел — в свой посольский авто.

И не надо сказать, потому что все — сказано: сказ его — лирика стихов: о цветах и о небе; поэт полей,— он и под потолком чувствовал себя как под открытым небом;

помню: в 1904 году мы раз рядом сидели у Брюсова: был — потолок: в разговорах сухих, историко-литературных; над макушкой же Ю. К. Балтрушайтиса был потолок точно сломан (так мне привиделось субъективно); Балтрушайтис сидел с таким видом, точно он грелся на солнце и точно под ногами его — золотела нива: не пол; он достал из кармана листок и прочел мне неожиданно свое стихотворение, только что написанное о том, как над нивою висело небо; и в чтении стихов — сказался весь как поэт; так что «надо сказать» — относилось к прочтению стихов; и все о всем в этом смысле мне уже сказано было: в девятьсот четвертом году; я знал, что когда он чувствовал лирическое настроение, то вставал и гудел: «Мне бы надо...»

Стихи написать?

Он в годах вырастал как поэт; в миг сомнений являлся в редакцию в желтом пальто, в желтой шляпе с полями; и, встав среди нас, стучал палкой своей, как мечом:

— «Весам» — быть!»

Не журналу — созвездию, зодиакальному кругу, всем звездам; и — небу над ними.

. . . .

Блондины — тишели в «Весах»; а брюнеты — пылали стремленьем: топить и садить в дураках.

Брюсов над корректурой, сложив свои руки в той позе, в которой его писал Врубель позднее, вынашивал адские замыслы: взором блистал, как омытым слезою; стоял сочетанием — Гамлета с Гектором: посередине редакции; я, Садовской, Соловьев — его видели: Цезарем; нашу когорту повел он на «галлов»; Помпей — Балтрушайтис, Красс — С. Поляков: триумвиры; и Эллис — прошел в Лабиэны[72].

Перед Брюсовым переюркивал Ликиардопуло, остросухой, суетясь сухоярыми местями: некогда, негде присесть! Переполненный черным деянием, с черным портфелем, в котором таился,— как знать, не стрихнин ли,— в таком же пальто, в котелке, переюркивал от «Метрополя» в градации разнообразных редакций: тарах-тахтах-тах,— точно пуговицы костяные ронял на полу. Вел из маленькой комнаты до десяти, до двенадцати черных подкопов; и к ним — контрподкопы, чтобы вовремя переюркнуть в контрподкоп; все взрывалось: тарах!

Между всеми делами, как барышня, рдея ланитами, в ухо шептал: Садовскому, мне, Эллису: «Вы написали б заметку об авторизации на переводы Уайльда: мое ж право скот узурпировал!» Имея какую-то авториза-

цию[73], годы боролся с каким-то «скотом», тоже право имеющим; вид имел лондонца с явным пристрастием к греческой лирике, к греческим губкам и спелым оливкам; он пропагандировал греческих деятелей (имена их кончались на «-каки» и «-опуло»): «Как же,— да, да: «Мореас» — псевдоним: Папондопуло!»[74]

Был он замешан во всех закулисных интригах Художественного театра; и доказывал в ряде годин: «Топить этот театр!» Проповедовал Ленского и Коммиссаржевскую; вдруг, оставаясь секретарем «Скорпиона», явился в «Весы» с секретарским портфелем Художественного театра; и вел ту же линию против театра: в «Весах»; в литературных волнениях,— всегда минутных! В эпоху полемики с мистическими анархистами и выпадами «Весов» против Блока, Чулкова, Иванова и Городецкого он всегда делал вид, что и он — литератор; и он — кровно-де замешан: в наших волнениях; и даже по собственной инициативе агитировал против Чулкова в «Утре России» и «Слове», куда забегал; нам твердил: «Ну, ну,— нечего, нечего... Уже иссякло терпение!»

Тут Поляков, походя на нелепую желтую бабочку, тихо трепещущую пыльцевым своим крылышком над фолиантом:

— «Ну это вы, знаете,— слишком!»

Поляков — не «скорпион»; Брюсов — да; имел хвост, утаенный сюртучною фалдой: с крючком; М. Ф. Ликиардопуло в эти года скорпионин «детеныш», растущий стремительно; он имел фрак — ах! В него облекаясь, просовывал свой ядовитый крючок между фрачными фалдами; скоро крючок при появлении Брюсова вздрагивать стал; скоро затарахтело: де снюхался Брюсов с С. В. Лурье, чтобы, нас ликвидировав, перебежать к Кизеветтеру, в «Русскую мысль»[75]. В свою очередь,— Брюсов доказывал:

— «Ликиардопуло — греческий плут».

— «Ну, ну это — гм-гм-гм — уж слишком!» — взревал Поляков.

Я поздней ужаснулся сим двум «скорпионам», в теснейшем пространстве с сухой торопливостью перебегающим от телефона к столу и уже подающим друг другу не руки, а пальцы; казалось: Ликиардопуло, Брюсов, став спинами, фалды раздвинув, задравши скорлупчатые скорпионьи хвосты, подрожавши, вонзят два крючка в уязвимые, мягкие части друг друга.

М. Ликиардопуло виделся утром съедающим горку оливок и после себя обдающим уайт-розой[76], чтоб с запахом этой струи, не оливок, ворваться в «Весы»: тарахтеть и кипеть; отсидев с Поляковым часок в ресторане «Альпийская роза», он будет стоять перед трюмо, своим собственным, талию сжав в стройный фрак, чтоб пройти с шапоклаком, в который совал бледно-палевые он перчатки, — на раут, куда Полякова, меня не пропустят (таких одежд нет), чтоб от имени нашей редакции адрес прочесть, мной составленный.

Несимпатичен был мне...

Ловкий редакционный техник и литературный интриган: до способности высадить из нам враждебных редакций враждебных нам критиков; там, где В. Брюсов бежал, заткнув нос, М. Ф. всякие вони разнюхивал, ими прованиваясь: для того и уайт-роза, чтоб ее перепрыскивать духами (настоящая хлопотливая Марфа). Он так «перемарфил», что... лучше не стану... и впоследствии мир удивил, обманувши разведку немецкую, переюркнув сквозь Германию, въюркнув в Грецию, встреченный громами аплодисментов: Антанты*.

. . . .

Часто являлся в «Весы» к нам поджарый, преострый студентик;[78] походка — с подергом, а в голове — ржавчина; лысинка метилась в желтых волосиках, в стиле старинных портретов, причесанных крутой дугой на виски; глазки — карие; сведены сжатые губы с готовностью больно куснуть те две книги, которые он получил для рецензий; их взяв, грудку выпятив, талией ерзая, локти расставивши, бодрой походкой гвардейского прапорщика — удалялся: Борис Садовской, мальчик с нравом, с талантами, с толком, «спец» в технике ранних поэтов и боготворитель поэзии Фета; оскалясь, как пес, делал стойку над прыгающим карасем, издыхавшим и ширившим рот без воды; «карась» — лирика Бунина иль — «Силуэты» Юлия Айхенвальда;[79] порой, с Николаем Николаевичем Черногубовым встретяся, делал он, вздрагивая, восхищенную стойку; оба рвали акульи какие-то рты и стояли, оскаляся долго и нежно; и после уж слышалось: «Помните, Фет го-

---

* С 1916 года след Ликиардопуло исчез с моего горизонта; в 1915 или 1916 году он, оказавшись корреспондентом «Утра России», ухитрился проникнуть в Германию и потом дал ряд фельетонов о ней в «Утре России». С начала революции он, конечно, эмигрировал; ходили слухи, что — умер[77].

ворит...» — и оскал до ушей Черногубова; «А у Языкова сказано...» — ржавые поскрипы голоса Б. Садовского.

Поскаляся, перетирая руками, они — расходились; и долго еще себе в руки оскаливались.

Был еще посетитель, угрюмейший, сероբородый и серовласый, в пенснэ, зажимающем огненный нос: то — Каллаш; приходил он ворчать на журналы, в которых писал, отвести душу с Брюсовым. Н. Сапунов, Дриттенпрейс и Судейкин являлись с рисунками; Феофилактов валялся на синем диване, иль зубы свои ковырял зубочисткой, иль профиль в ладони ронял: профиль как у Бердслея; не верьте его «загогулинам»: страшный добряк и простак.

Все здесь делалось быстро, отчетливо, без лишних слов, без дебатов; все — с полунамека, с подмигами: «Вы понимаете сами». Политика — Брюсова: умниц и спецов собрав, руководствоваться их политикой; Брюсов являлся диктатором — лишь в исполнении техники планов; глупцов — изгонял, а у умниц и сам был готов поучиться, внимательно вслушиваясь в Садовского, в С. М. Соловьева; система такая слагала фалангу: железную, крепкую. Вместо программы — сквозной перемиг: на журфиксе, на улице, при забеганьи друг к другу; «программа», «политика», «тактика»,— это бессонные ночи Б. А. Садовского, меня, Соловьева и Эллиса, ночи, просиживаемые в Дедове или в «Дону» (с Соловьевым иль Эллисом), а — не «Весы», не заседания, не постановления. Не было этих последних.

В иные периоды — явно казалось, что я — единственно связан с «Весами»; тогда мы боролись не с Пыпиным,— с соглашателями-модернистами, спаявшимися с бытовиками; фронт — ширился; вкусы — менялись; и сам мещанин нас обскакивал борзо с трибуны «Кружка», проносяся в оранжево-бурые отбросы от революции: литературной, да и политической; это случилось в эпоху «огарков»; толпа подозрительно шустрых поэтиков к нам повалила; Иванов упал в их объятия (даже писал о «трехстах тридцати трех» объятиях он)[80].

Неожиданно: Брюсов — скомандовал:

— «Трапы — поднять. Пушки с правого борта — на левый!»[81]

И вот кто вчера нас ругал как «левейших», теперь восклицал: «Старики, мертвецы!» В Петербурге войною на нас шел — Блок; поэты из «Вены» (такой ресторан был), где Дымов, Куприн, Арцыбашев, Потемкин себя упражняли в словах,— собирались брататься с Ивановым и Горо-

децким; огромнейший табор «Шиповника» с Л. Н. Андреевым и с филиалом московским, возглавленным Зайцевым, соединились: топить нашу малую подводную лодку.

В. Брюсов, бывало, склонясь скуластым лицом, руку нависъ поставивши:

— «Они — наглеют, Борис Николаевич... Надо, Лев Львович, сплотиться очерченной группой».

И Эллис, задергавши плечики, лысой головкой качает, трясяся мухром сюртучка с заатласенными, полустертыми, крытыми желтым пятном рукавами: «Сознательность. Без дисциплины нельзя». Брюсов, палку и шляпу схвативши,— куда-то; живой, молодой, палкой вертит; горошком с лестницы. Эллис: «Смотри,— а, каков?» Эллис дул из страницы «Весов» по всему бесконечному фронту: от Блока до... Стражева: «Есть лишь один символизм; и пророк его — Брюсов»[82].

Другая картина: «Весы» сотрясались от внутренних взрывов; я, С. Поляков, Балтрушайтис и Ликиардопуло — против Валерия Брюсова, Эллиса и Соловьева[83]. С. А. Поляков: «Вы, Валерий — гм — Яковлевич, что-то... гм!» Брюсов — руки на грудь, сардонически ерзал плечом, издеваясь над Ликиардопуло; Ликиардопуло — черный, оливковолицый, сухой: «Пусть докажет Валерий мне Яковлевич, что... Сергей Александрович... Да погодите, Лев Львович... Да слушайте, Юргис... Пускай он докажет, что он не порочил меня...» Юргис в ухо мне: «Брюсов нас топит: тебе бы — редактором быть!» «Ну уж нет, Боря,— дружбою дружба: но если тебя — выдвигают, я — против!» — Сергей Соловьев говорил мне потом... «И я тоже...» — отрезывал Эллис. И мы — похохатывали.

Заседания шли напряженно: два «лидера», Брюсов и я, проявили предел деликатности, друг друга явно поддерживая против собственных единомышленников; так сложилася партия третья (двух «лидеров»); они — пожар ликвидировали, разделив свои функции (ведал теорией — я, ведал критикой литературною — Брюсов).

Так было в последний год существованья «Весов».

В то далекое время каждый из близких «Весам» был кровно замешан в проведении литературной платформы журнала; таких неизменно близких, на которых рассчитывал Брюсов, была малая горсточка; литераторы и поэты — наперечет; с 1907 года до окончания «Весов» такими были: Брюсов, Балтрушайтис, я, Эллис, Соловьев, Борис Садовской; Поляков — почти не влиял; поддерживая дружбу с жившим за границей Бальмонтом, он встречал

оппозицию в оценке Бальмонта у Брюсова, очень критиковавшего все книги Бальмонта после «Только Любовь»;[84] я тоже к Бальмонту относился сдержанно; Эллис — почти враждебно; Бальмонт в ту пору — «почетный» гастролер, а — не близкий сотрудник; такими же гастролерами были Гиппиус, Иванов, Блок, Сологуб; Сологуб давал мало («Весы» мало платили, а он, «корифей» литературы, уже привык к «андреевским» гонорарам); Блок и Иванов косились на «Весы», не прощая нам нашей полемики; Гиппиус изредка гастролировала стихами; лишь месяцев пять она писала часто под псевдонимом Антон Крайний, не потому, что разделяла позицию «Весов» до конца, а потому, что разделяла нашу полемику того времени с Чулковым и В. Ивановым[85].

С 1907 года ядро близких сотрудников — ничтожно; район обстрела — огромен: все литературные группировки, кроме «весовской»; отсюда многие псевдонимы; каждый из нас имел несколько псевдонимов: Садовской писал под псевдонимом Птикс; Брюсов под псевдонимами — Пентауэр, Бакулин;[86] я писал как Белый, Борис Бугаев, Яновский, Альфа, Бэта, Гамма, Дельта, «2Б», Спиритус и т. д.

Я не намерен теперь защищать ряда эксцессов, допущенных «Весами»; полемика была жестока; Брюсов — ловил с поличным: всех и каждого; Садовской переходил от едкостей к издевательствам, например,— по адресу Бунина; Эллис являл собою подчас истерическую галопаду ругательств с непристойными науськиваниями.

Я в этой полемике был особенно ужасен, несправедлив и резок; но полемика падает на те года, когда был я морально разбит и лично унижен; и физически даже слаб (последствия сделанной операции); я был в припадке умоисступления, когда и люди казались не тем, что они есть, и дефекты позиций «врагов» разыгрывались в моем воображении почти как полемические подлости по адресу моей личности и личности Брюсова; объяснение моей истерики — личные события жизни уже эпохи 1906—1908 годов;[87] вот эти-то «личные» переживания, неправильно перенесенные на арену борьбы, путали, превращая даже справедливые нападки на враждебные нам течения в недопустимые резкости, обезоруживавшие меня: таковы безобразные мои выходки против Г. И. Чулкова, на которого я проецировал и то, в чем я с ним был не согласен, и то, в чем он не был повинен: нисколько;[88] так стал для меня «Чулков» — символом; полемизировал я не с инте-

ресным и безукоризненно честным писателем, а с «мифом», возникшим в моем воображении; меня оправдывает условно только болезнь и те личности, которые встали тогда меж нами и, пользуясь моим состоянием, делали все, чтобы миф о «Чулкове» мне стал реальностью. Теперь, после стольких раздумий о прошлом, я должен принести извинения перед Г. И. Чулковым и благодарить его за то, что он мне литературно не воздал следуемого.

Но, повторяю, мотив к полемикам — был; и на одном участке полемического фронта «Весы» сыграли нужную роль; они сделали невозможным длить традиции от Стороженок, Алексеев Веселовских и Иванов Ивановых, задушивших нашу молодость; даже старые рутинеры, ругавшие «Весы», стали равняться по ним.

Когда это обнаружилось — «Весы» кончились.

Д'АЛЬГЕЙМ

В «Весах» была четкость литературной формулы. Но «Весы» говорили о форме; Оленина, М. А., по мужу д'Альгейм, в те года — песня: о содержании; в «Весах» обретаю я стиль; у д'Альгеймов ищу вдохновенья; концерты Олениной — переплетенье романсов в поэму и драму: сознательная пропаганда Мусоргского, Шумана, Шуберта, Гретри, Рамо, Вольфа, Баха и Глюка; цикл песен,— не опера,— сходит с подмостков: творить дело Вагнера.

Роль четы д'Альгеймов, мужа, организатора «Дома песни»[89], жены, единственной, неповторимой исполнительницы песенных циклов для первого десятилетия нового века,— огромна; они двинули вперед музыкальную культуру Москвы; Оленина появилась, как помнится, в 1902 году; концерты ее длились до конца 1916 года; четырнадцать лет огромной работы, в результате которой — не только повышение вкуса публики, но и — музыкальная грамотность; супруги Оленины расширили диапазон знакомства с песенной литературой; с 1907 года музыкально-художественная организация, во главе которой стояли д'Альгеймы, при участии лучших музыкальных критиков своего времени (Энгеля, Кругликова, Кашкина), переводчиков, композиторов (С. И. Танеева, Метнера, А. Оленина), поэтов, занялась пропагандой ряда песенных перлов, доселе неизвестных русской публике; думается: нигде в европейских столицах публике не предлагался с таким вкусом, подбором такой материал, как тот, который пред-

лагался московской публике д'Альгеймами; концерты «Дома песни» в ряде лет были и эстетическими подарками Москве, и образовательными курсами; если в Италии знали Скарлатти и Перголези, в Англии — песни на слова Бернса, в Германии — песенные циклы Шумана и Шуберта на слова Гейне и малоизвестного у нас поэта Мюллера, то Москве вместе с Глинкой, Балакиревым, Римским-Корсаковым, Бородиным и песенными циклами Мусоргского (кстати, до появления д'Альгеймов малоизвестными) показывались и Скарлатти, и Перголези, и Рамо, и Григ, и Шуман, и Шуберт, и Лист, и Гуго Вольф: в песнях; из года в год «Дом песни» учил Москву и значению песенных циклов, и роли художественного музыкального перевода, и истории музыки, не говоря уже о том, что семь-восемь ежегодных концертов, тщательно составленных, изумительно исполненных, с программами, сопровождаемыми статейками и примечаниями, заметно повышали вкус тех нескольких тысяч посетителей концертов, часть которых позднее вошла в сотрудничество с д'Альгеймами, когда концерты «Дома песни» стали закрытыми. Ежегодно д'Альгейм устраивал концерт, программа которого составлялась по выбору публики; и каждый год д'Альгейм при обнародовании этой программы наводил, так сказать, критику на выбор номеров программы. До д'Альгеймов концерты были пестры; составители их руководились модой, а не строго художественными требованиями; эстрада была переполнена слащавыми романсами Чайковского и ариями из «модных» опер; д'Альгейм часто шел против моды, прививая свою «моду»; и «мода», привитая им в Москве,— «мода» на Баха, Бетховена, Шумана, Шуберта, Глюка, Вольфа, Мусоргского. Вот, например, результат требований публики (программа концерта): Бах, Моцарт, Глюк, Бетховен, Берлиоз, Мусоргский, Шуман, Шуберт, Гретри и т. д.

Вот программа «Дома песни» эпохи 1907—1912 годов (составляю ее на основании кучечки книжечек-афиш, со статейками д'Альгейма, случайно у меня сохранившейся): циклы песен: Бетховена («Далекой возлюбленной», «Духовные песни»), циклы песен на слова Эйхендорфа и Андерсена (музыка Шумана), цикл Шумана «Любовь поэта», цикл Шуберта «Любовь мельника» (слова Мюллера); его же —«Зимнее странствие», или — цикл, доселе Москве неизвестный, за исключением двух-трех песенок; Москва так полюбила этот огромный цикл, что он исполнялся не раз по требованию; далее — циклы: Шумана

(«Любовь женщины»), Мусоргского — «Без солнца», «Детская», «Песни и пляски смерти»; циклы Метнера: на слова Гете и на слова русских поэтов (Тютчева, Пушкина); цикл песен на слова французских труверов XII — XIII века (Куск, Адам де Галль), песни о Роланде, цикл песен Бернса, с гармонизованными народными мелодиями, цикл песен разных народностей: вечера русских, еврейских, французских народных песен; вечера, посвященные Метнеру, Листу, Гуго Вольфу, Брамсу, Григу, Мусоргскому; вечер, посвященный Гейне (музыка разных композиторов); исторические вечера, на которых исполнялись романсы композиторов эпохи Возрождения; романсы анонимов, Люлли, Камбра, Мартини, Гретри, Скарлатти, Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта; наконец, исполнялись и такие монументальные произведения, как «Орфей» Глюка (с оркестром, под управлением Ипполитова-Иванова).

Над каждым концертом работала мысль д'Альгейма, чтобы он был выточен из цельного камня, чтобы песня вырастала из песни, как стихотворная строка из строки, чтобы песня рифмовала с песней. «Дом песни» объявлял ряд конкурсов на лучшие переводы циклов на русский язык, на музыку и т. д.; из запомнившихся конкурсов отмечу: конкурс на гармонизацию народных английских мелодий (слова Бернса), конкурс на перевод 12 песен на слова Гете, на перевод стихов Мюллера, положенных на музыку Шуманом, на перевод драмы «Рама» индусского поэта Бавабути[90], и т. д.

Ниже, давая юмористическую характеристику Пьера д'Альгейма как «чудака», окруженного чудаками, я должен отделить «чудака» в нем от тонкого критика, педагога, насадителя подлинной музыкальной культуры, боровшегося против рутины с необыкновенным мужеством, стойкостью и с небывалым успехом; д'Альгейм-чудак, идейный путаник — одно: трагический его конец, помешательство, подкрадывалось к нему — издалека; жизненная борьба сломила эту личность, непокорную и независимую; д'Альгейм музыкальный педагог — совсем другое.

Перед тем как перейти к описанию моих личных отношений с д'Альгеймами, я должен отметить: все странное и диковатое, встреченное в их доме, — лишь ретушь к основной ноте; и эта нота — высокого удивления и уважения.

Не говорю о певице, М. А. д'Альгейм (урожденной Олениной); пусть оспаривают меня; пусть в последних годах голос ее пропадал; скажу откровенно: никто меня так

не волновал, как она; я слушал и Фигнера и Шаляпина; но Оленину-д'Альгейм такой, какой она была в 1902—1908 годах, я предпочту всем Шаляпиным; она брала не красотою голоса, а единственной, неповторимой экспрессией.

Ничего подобного я не слышал потом.

Криком восторга встречали мы певицу, которую как бы видели мы с мечом за культуру грядущего, жадно следя, как осознанно подготовлялся размах ее рук, поднимающих черные шали в Мусоргском, чтоб вскриком, взрывающим руки, исторгнуть стон: «Смерть победила!»

Поражали: стать и взрывы блеска ее сапфировых глаз; в интонации — прялка, смех, карканье ворона, слезы; романс вырастал из романса, вскрываясь в романсе; и смыслы росли; и впервые узнание подстерегало, что «Зимнее странствие», песенный цикл, не уступит по значению и Девятой симфонии Бетховена.

— «Просто святая: болтает под ухо мне; синею птицей моргает; и — шалями плещется; вдруг — подопрется, по-бабьему: заголосит — по-народному!»

Так покойная Соловьева, с ней познакомившись, передавала о ней; мы же знали: она — транспарант; создавал же ей жест, интонацию, силу блистательный, ригористичный, начитанный, взросший в гнезде Малларме — символист: Петр Иваныч д'Альгейм, ее муж.

Ну и пара же: редкая!

Встретился с нею у Г. А. Рачинского: в лоск уложил меня Петр Иваныч; и пленила певица величьем своей простоты;[91] с той поры — я, Рачинские, Поццо, Петровский в антрактах спешили вынырнуть к ней в уборную, чтобы цветок получить от нее, удостоиться после концерта беседы за ужином: с нею; так медленно крепло знакомство: в сближение.

Ужины: стол — под цветами, дюшесами, рыбами, винами; рой голосов: Петр Иваныч — изящный стилист, поэт, публицист и писатель, некогда близкий знакомец им боготворимого Вилье де Лиль-Адана,— был как фонтан афоризмов над этим столом, поблескивая глазами, вином и умело вкрапленными цитатами из Малларме, Верлена и Ницше; в этот венок из цитат, конкурируя с Рачинским и его побивая цитатами, он вправлял отрывки из древнеиндийских поэм, еврейских каббаллистов и средневековых труверов XII и XIII столетия; ткань речи его напоминала мне тонкую инкрустацию из дерева и слоновой кости, какая поражает в Египте на иконостасах древних коптских

церквей; в нем был понятен эстетически узор метафор; смысл же был нам порой темен.

С такими речами он поднимал свой бокал над столом; мы — Рачинский, Сергей Иваныч Танеев, Кашкин, Энгель, Кругликов — на него разевали в такие минуты рты;* мы удивлялись изяществу оборотов мысли, глубочайшим замечаниям, бросаемым вскользь; мы им любовались, но и немного пугались: чего хочет он?

Целое его мысли заволакивал от нас часто туман из метафор; довод выглядел стихотворной импровизацией, напоминающей тексты древних индусских поэм; а он требовал от нас программы действий в XX веке, основанной на поэзии седой древности; с одной стороны — Малларме; с другой стороны — «Рама», а современности, московской, тогдашней,— не было.

Пугало барокко мысли: сверкающий тысячегранник — предмет удивления;— а что делать с ним?

В иных ходах мыслей перекликался он с Вячеславом Ивановым, но с тою разницей, что Иванов казался лукавым, а д'Альгейм удивлял прямотой; он был мудреней Иванова, но более блестящим в импровизациях, и был более «поэтом» в своей риторике, чем поэт Иванов.

В те дни он мечтал о рождении ячеек, подобных «Дому песни» в Москве, во всех центрах пяти континентов земного шара; и тут выявлялся в нем откровенный мечтатель-чудак, высказывавший свои утопии о связи художников, поэтов и музыкантов всего мира, воодушевленных концертами Мари, его жены:

— «Кан Мари шантера́...» («Когда Мари споет...»)

Она должна была запеть из Москвы — всему миру; смягченные сердца Щукиных, Рябушинских, Морозовых отдадут-де миллионы: ему, д'Альгейму.

— «Вот,— на «Дом песни»!»

«Дом песни» немедленно-де распространится из Москвы, организуясь в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бомбее; во всех центрах поэты, художники, певцы и певицы, которых он и Мари при нашем участии вооружат молниями художественного воздействия, обезглавят тысячеголовую гидру порабощения;

---

* Д'Альгейм великолепно перевел древнюю поэму «Рама» (с санскритского) и изящно издал ее; написал музыкальной прозой на очень трудно понимаемом французском роман «La passion de François Villon»[92]. Он писал статьи, стихи; когда-то он был близок с французскими символистами.

«золотой телец» расплавится и протечет под ноги ручейком.

Революцию жизни способно свершить лишь искусство. Такова упрощенная схема его вожделений; она казалась наивной: до чудовищности; и тут он, чувствуя, что этой схемою не убедит, начинал отгранивать ее великолепнейшими цитатами с демонстрацией перед нами, как надо понимать мысли Вагнера, Шумана, и что означают символические образы в таком-то стихотворении Гете, и что выйдет, если соединить так-то и так-то и так-то раскрытые тексты.

По его представлению, тот, кто владеет разумением художественных символов, может сочетанием образов и художественных воздействий перевертывать по-новому жизнь; д'Альгейм видел себя призванным к такому переверту; его жена, которую создал он великолепной певицей, была показом его владения тайнами искусства; каждого из нас хотел он, забрав в руки, переделать по-своему, сделать «Олениной-д'Альгейм» в своей сфере, чтобы, передвигая нами, как пешками, из Москвы вести партию шахмат: с рутиною всего мира (?).

И тут-то начиналась и тогда уже болезнь в нем.

Но толковал он художественные явления изумительно; в нем жил не только художественный критик, но и художник-критик. Так грезил он; и вдруг обрывал свои «мировые» грезы, переходя к показу опытов: и из слов его возникал оригинальный театр марионеток, макет из кисей сквозной сцены.

Крэг * (Гордон) спер-де у него идею своих цветных сукон[93] (жест слова или — пантомима алфавита, где каждая буква — была раскрашена и изъяснена в звуковом жесте).

С этих пиров возвращались весьма сомневаясь, чтоб он, предысчисливши винтики новой культуры, в карман положил свой листок с вычислением; жил он в уверенности, что раздастся в передней звонок: миллиардер, Рокфеллер,— а за неименьем его С. И. Щукин,— придя в наше общество, бухнет под ноги д'Альгейму мешок с миллионами:

— «Вот,— на «Дом песни»!»

Тогда из кармана он вынет листок.

* Гордон Крэг в эти годы казался новатором в области сценических постановок, он приезжал в Россию; одна из его постановок была показана Художественным театром; д'Альгейму казалось, что Крэг украл у него идею постановки.

Щукин — медлил: сутулая, полуседая, усталая умница, с глазом ребенка не то сумасшедшего, кутаясь в серенький пледик, дрожа, погасивши огни красноречия, шипом гадюки дышала на тайных врагов, перебивших у Щукина деньги,— ведь дал же Щукин Челпанову, ясное дело, на психологический, черт подери, институт. «Враги», видно, за шторой — подслушивают; даже больше того: шпионов своих засылают в «Дом песни»; и Кругликов, Энгель, Кашкин, Сергей Львович Толстой, так ужасно обиженный Петром Иванычем, скоро, хватаясь за шапки, чесали носы: [94] не «шпионы» ль они?

Тут Метнер, противник д'Альгейма и ненавистник Листа, которого он ругал «католическим попом», с воистину маниакальной яростью схватывал меня за руку:

— «Нет, нет,— вы слушайте: он же — больной культом Листа, католика и инквизитора музыки... Лист,— обезьяна в сутане,— был эдаким вот неудавшимся магом... Абстрактный монизм только с виду блестит... Вся изнанка — больная и жалкая*.

Мы раздвоялись, когда нас хватали: за правую руку — д'Альгейм, а за левую — Метнер: указывая друг на друга, они идейно чернили друг друга, смеясь друг над другом; и — разоблачали китайские головоломки друг друга; [96] мы же слушали, точно романс, когда д'Альгейм, косолапо привставши, с бокалом рейнвейна, угрозою властной руки над столом, заставляющей слушать насильно, картаво привзвизгивая, как фантош,— с перекряком, со всхлипом, с гадючьим шептаньем — влеплял гениальные, маниакальные свои схемы; казался он подчас сочетанием барса... с... немного... облезлым медведем иль сутуловатым капралом, доживающим свой век в деревушке, открывшим табачную лавочку: не то — состарившийся Мефистофель.

Он провозглашал сумасшедший свой тост за немыслимое предприятие; критики — Энгель, Кашкин, Семен Кругликов, каждый, глаза опустив, бормотал: «Черт дери: я — сел в лужу!» Профессор бактериологии Л. А. Тарасевич, сидевший всегда тут, имевший обычай в огромной рассеянности затвердить ему слухом подброшенное, совершенно случайное слово, среди громового безмолвия — произносил:

— «Апельсин!»

---

* Этот взгляд на музыку Листа позднее Э. К. Метнер высказал в своей статье о Листе, напечатанной в «Золотом руне» за подписью «Вольфинг» [95].

И — все вздрагивали; и — опять:
— «Апельсин!»
И, хватаясь за шапки,— бежали...[97]

. . . .

«Дом песни» позднее осел в Гнездниковском: просторные синие и сине-серые с точно такою же синею и сине-серою мебелью стены: в серяво-синявых коврах и в синяво-серявых портьерах; здесь, сероголовый, сутулый, пошлепывал туфлями, в серой, с поджелчиной, паре, в серяреньком пледике; взмахивая бахромою пледика, бросал на стены чернявую тень и синявый дымок волокнистой тоски,— бритый, только в усах растопорщенных напоминал он капрала в отставке, живущего около Тлемсена:[98] не Мефистофеля!

Входишь,— он кряжистым, круглоголовым, квадратным медведем согнулся с насупом: над крошевом; зябнет таким горюном, перекручивая папиросочку из табачка «капораль», с подшипеньем «саль сэнж, саль пантэн»;* «пантэн», может быть, Артур Лютер, читавший курс лекций для «Дома песни», а может быть, это — Энгель, с усилием, с верностью «Русские ведомости» на «Дом песни» настроивший в ряде годин. Уши, точно прижатые к серой его голове, быстро, бывало, дернутся; дернется вся голова, уйдя в плечи и в плед.

И не то улыбнется, не то огрызнется:

— «Курю вот «капораль»: это — память Франции... Я здесь — чужой».

Так же в собственном домике, в Буа-ле-Руа[99], близ Мэлин, в огородике, в садике, в пьяных цветах, в красных маках, на фоне облупленной каменной серой стены, за которой пузатые и сизоносые лавочники в окна тыкали пальцами с «русский» (эльзасец по происхождению он),— в том же бахромчатом пледике он набивал «капораль»; и — мне жаловался:

— «Мне в Россию бы: я здесь — чужой же!»[100]

Бывало, склоняя медвежий свой корпус над узником, перетирал он ладонями; ходил на цыпочках, шмякая туфлей,— лукавый, довольный, вытягивая кругловатую голову с серой щетиной: бобриком. Дергались его уши.

А вы — в сине-серой «тюрьме» уже: засажены за работу; для чего-то ему переводите из Ламартина;[101] редакция первая, третья, четвертая, пятая; все — им отвергнуто; пятиминутный заход ваш превратился в пятичасовое

---

* «Грязная обезьяна, марионетка».

сидение над переводом; уже два часа ночи,— о господи!— Вдруг пение из «Зимнего странствия»; это — Мари: вы — заслушались: в третьем часу вы, восторженный пением, влюбленный в своего мучителя, вас отпускающего за седьмую версию им редактируемого перевода, тащитесь: ужинать жалким остатком вчерашнего пира (весь заработок за концерт ушел в ужин).

Ко всем был протянут он: за всеми нами следил; посещал наши лекции; силился вникнуть: кто — в чем; привлечь в свой «Дом», дать возможность испробовать свои силы. А — не выходило: он — не понимал нас; и не понимали, зачем пристает и за что он так мучает нас.

Он имел исключительный дар: приневолив к сотрудничеству, садить в лужу друзей и собственный «Дом песни», набитый друзьями; имел он способность устраивать неприятности: непроизвольно, конечно; коли мозоль давит ногу, прыжком подлетает с пакетом: скорее, сию же минуту, бегите — к тому-то; и, видя, что вы захромали, смеется усами; и дергает бровь к Тарасевичу:

— «Вы посмотрите, Леон!»

И «Леон» — машинально:

— «Лимон»,— из-за шахмат: с Мюратом.

Мы все, начиная с Рачинского, переводившего с ловкостью и с трудолюбием тексты программ,— в побегушках, сгибаяся под гениальнейшими парадоксами, преподаваемыми с такой точностью, как исчисление математических функций; профессор Л. А. Тарасевич — еще как посыльный: «Леон,— постарайтесь... Леон — это сделает». Анна Васильевна, его жена,— ученица Олениной, а потом и деятельная сотрудница; Лютер, теперь заслуженный немецкий профессор,— «Ce Luther — хаха́!». Бывший директор же консерватории, С. И. Танеев, друг П. И. Чайковского и Рубинштейна, писавший свой труд, прогремевший в Европе, единственный,— по контрапункту,— творец «Орестейи»[102], под градом его избивавших софизмов стыдливо, бывало, расплачется смехом,—девицей, с румянцем, потупивши глазки, сидит и посапывает.

А над всеми метается черная тень «Мефистофеля», в синей стене.

Я однажды — попался: увидевши жест мой в переднюю дернуть (мигрень разыгралась), дразнясь и сутулясь тяжелой, скругленной спиной, две руки свои д'Альгейм уронил мне на плечи; ломая их, бросил в свое сине-серое кресло; и в нос совал схему, тяжелую головоломку,— доламывать лом головы, потому что я с ним согласился:

слить слово с движением, автора, интерпретатора, зрителя — в вечную тройку; в одно сочетанье поэзии с музыкой — вовсе не в драме, как Вагнер напутал-де, а — в песне; не в опере, а — на концертной эстраде; недаром проводил он бессонные ночи, вынашивая циклы песен для своей Мари.

Согласился со мной, потому что ранее меня это знал.

И тут же взлетел эластичным каким-то прыжком, всплеснув крыльями серого пледика в синие и сине-серые с точно такою же синею и сине-серою мебелью стены; и взвизгивал, как картавый фантош, изогнувшись размашистым жестом, с поклонами какого-то воспламененного мага:

— «Вот и прекрасно,— окрысясь, схватил за жилетную пуговицу,— при открытии «Дома» вы выступите со своею программою песен и с лекцией; скажите то-то и то-то».

И тем же окрысом, с испанским поклоном, с отводом руки, косолапящей лапищи, к длинной певице, сидящей в углу величавою черной вороною, вестницей смерти:

— «Мари — пропоет: то и то-то; потом вы заявите...— стал он грозиться дрожа и шипя на синяво-серявых портьерах, весь сероголовый, сутулый, напоминавший серую ведьму,— заявите, только ритмической прозой, «кресчендо», на мощных басах, савэ ву,— то и то-то; и можете даже Мари дать программу: она пропоет вам».

Сутулая, полуседая, усталая умница, кутаясь в пледик, скосясь на Мари детским, идиотическим глазом, как пискнет:

— «Мари — «Лорелею»[103] нам спой».

Тотчас покорно взлетев из угла, длинные руки слагая под черными крыльями шали, вытягивая лебединую шею, запела: и — как!

Разделан в два дня под орех: предысчисленным планом; он требовал, чтобы я в лекции импровизировал, в гроб заколачивая; указания сыпались градом: в подробнейших письмах; при встречах, став милым, уютным, как будто назло, ходил, шмякая туфлями, ставши на цыпочки, перетирая ладони, облизываясь, как на куру, которую завтра опустит в свой суп,— с придыханием:

— «Вы не забудьте сказать о Терпандре».

И — лекция, пока Толстой, Сергей Львович, рассеянно в уши нам пальцами перебирал на рояли.

— «И — главное: упомяните Гонкуров,— бросал он в мой обморок: а на кой черт они мне?— Непременно их

с Верленом сплетите: он близок Ватто, потому что Мари вам споет Габриэля Форэ: текст Верлена...» — И тут же под ухо: картавым приписком: «О, ма́ске, лари́ририри́: бэргами́скэ».

Петровский, Б. С., брат А. С., секретарь «Дома песни», студентик с портфелем, влетал: в распыхах; и, оттарирарикавши с ним, возвращался ко мне: «Кстати, помните, что тон Ватто — голубой». Я же думал, что — темно-зеленый.

Все вместе: рулада Толстого, влетанье Бориса Сергеевича и Мюрат, походивший лицом на Мюрата, на наполеоновского (его — родственник, кузен д'Альгейма), — как бред; в довершенье всего взрывы серых портьер из передней, откуда, бывало, летел на всех вскачь, из дымов, своих собственных, в дыме, дымами дымящий Рачинский.

И, с ним поплясав, на Мари, разрывавшей покорно сафировый глаз на супруга, д'Альгейм как замурлыкавший барс; и — возвращался: меня дотерзывать:

— «Мы вот с Мари и с Ратшински все перерешили: она поет то-то; подскакивает «трохеями» к ней, чтоб она, на «трохеях» привстав, — могла спеть; она кончит — «анапестом»; схватывает, ее опуская на «диминуэндо».

— «Я — в ужасе: я не могу».

— «Как? — мне в ухо бородкой, с привзвизгом: — Афиши висят, все билеты распроданы; сделаны по специальным рисункам трибуны «дэмисиркюлэр»?» *

Над трибунами, видно, работало воображенье «Мерлина» ** (так мы звали его): как закрыть ноги лектору, чтоб дать возможность метаться направо-налево, склоняясь на локоть: направо-налево; и тут курс мелопластики преподавался мне как лектору; и на извозчике в консерваторию (Малый зал) тут же меня отвез: показать, как стояли трибуны — для Мари, — для меня: направо-налево; меж ними, совсем в глубине — инструмент Богословского; стиль — «треугольник», наверное вычерченный ночью им; на эстраде трясясь, он трибуны рукою обхлопывал, пробуя нюхать их; и, шаловливо подмаргивая, толкал: под локоть локтем:

— «Довольны теперь? Сэ шарман: са ира? *** А? Не многим честь выпала: с эдакой и за такою трибуной стоять».

---

* Полукруглые.

** Древний волшебник[104].

*** Очаровательно, пойдет.

Я — чуть не в слезы,— к Петровскому:

— «Нет,— не могу, не могу!»

— «Ну чего тебе стоит,— прочти: ведь никто ничего не поймет».

Наступило позорище:[105] зал был набит; всем хотелось услышать Оленину; и посмеяться над Белым: в роли осла, подревывавшего лучшей тогдашней певице; я с первою частью кое-как управился, так как Оленина в ней не мешала мне; ну, а во второй, став ослом заревевшим и падая в обморок от своих собственных «тремоло с диминуэндо» (простужен был и — кукарекал),— ужасно певице мешал; и смешок, уже переходящий в растущую злобу, бросался из зала; окончив свою жалкую роль, я в уборной дрожал от душившего меня гнева: на Пьера д'Альгейма.

Д'Альгейм, крепкий старый «капрал», развивавший кулак на шеях новобранцев, сутуло склонясь искаженным, болезненно-белым от злости лицом, обдавал в свою очередь меня злобным шипом:

— «Не справились с миссией: вы в день открытия дела всей жизни моей,— и не то улыбался, не то огрызался, сверля, как алмазиками, небольшими глазенками,— дела жизни: внесли — дисгармонию!»

Уши, прижатые к черепу, дергались; верно, сидел эту ночь напролет он с посапом, в своем сером пледике, над табачком «капораль», нервно вскакивая, чтобы всхлипывать с самим собою «саль сэнж» (это — я) и метать за собою по синей стене свою черную тень: обнищавшего дьявола.

Та же история при выступлении нас, лекторов, долженствующих из символизма «тетраэдр» построить (д'Альгейм — режиссер, марионетки — Рачинский, С. В. Лурье, Брюсов, я); Лурье выступит-де с темой: идея — из правды природы; или: символизм семитический; но пением «Лорелеи» Шуберта[106] Мари опрокинет его, потому что природа — обманна; я же выдвину тезис «арийства»; он — творчество-де мира над миром природы; Мари меня «Атласом» того же Шуберта бьет: «миротворец» наказан-де за держание купола неба на своем темени; Брюсов-де взойдет на трибуну — нас похоронить: символизм и Лурье и мой есть иллюзия: брюсовский символизм — только скепсис; Мари «Шеценгребером» * Шуберта Брюсова свалит, чтоб слияньем Лурье и меня увенчал: Г. А. Рачинский.

Перед самым началом концерто-беседы В. Брюсов с Лурье отказались читать: по программе д'Альгейма; «тетра-

* «Шеценгребер» — вырыватель кладов.

эдр» д'Альгейма — распался: Рачинский с «воздравием» выскочил первым; но синтез его я — раздвоил; Лурье, номер третий, расстроил нас всех; Брюсов, скептик, расчетвертовав,— зарыл наши трупы.

Д'Альгейм стоял где-то в углу за кулисами в черном своем сюртуке, с лицом белым, как смерть; «тайный враг», излив токи астральные в Брюсова, его руками — разрушил концепцию[107].

После второй этой пробы слияния слова и музыки всякий себя уважающий лектор бежал от трибуны, которую с таким радушием нам предоставил д'Альгейм; и последней, пискливой попыткой явилось явленье на этой трибуне пробора, берлинского шика, с моноклем в глазу, или... Максимилиана Шика, но — с Глюком в зубах (вечер Глюка).

Программа д'Альгейма: от пошлого «шика» — вверх: к Глюку; а вышло: от Глюка — вниз, к пошлому «шику»; и — хихикали, шикали в ухо друг другу: «Провал «Дома песни», провал!»

Бедный он!

Говоря о «врагах», он, усталый и пепельно-серый, калясь добела и окрысясь улыбкой, шипел из-за ужина, бывало, до четырех часов ночи — над рыбинами, над цветами, над фруктами, над головами Оленина (брата, талантливого композитора), художника, С. В. Досекина, С. Л. Толстого, Петровскими (Борисом, Алексеем), Метнерами (Николаем, Эмилием), над Тарасевичами (женой, мужем и сыном), над княгиней Кудашевой, графом Стенбок-Фермор, над Е. В. Богословским, Рачинским, Энгелем, «петит» *, иль — над племянницами М. А., бледно-зеленой Наташею и бледно-розовой Асей:[108] он мог говорить с кем угодно; и — сколько угодно: умел говорить с лекционным, французским, мелодекламаторским пафосом, аудитории свои вербуя (для этого ж — ужины); «девочка» Ася с улыбкой ребенка, с глазами зелеными, в розовой, шелковой кофточке, из серо-пепельных локонов с грустной улыбкой покачивалась колокольчиком розовым, слушая и не понимая ни слова; и вдруг портсигарик доставши (девчонка, а — курит), из локонов розовый ротик раздвинув,— с «курнем!»: в нос Рачинскому — дымом.

Все прочие, бывало, гнутся под тяжестью великолепий, риторик, сплетающих — бич; бывало,— выскочат из-за

* Малютки.

стола Сергей Львович Толстой, братья Метнеры, Поццо и я, чтоб в передней вскричать: «Ни ногою сюда!» Будут выгнаны «петит», задружившие явно с врагами (мной, Метнером), диким разлетом серяво-синявых портьер, из которых рукав пиджака желто-серого, с пальцем, из рая сих «Ев» изгоняющим, перетрясется манжеткою; и уж невидимый голос, как голос Синая, вcшипит с призадохами:

— «Аллэ ву з'ан!» *

Разбегутся отсюда!

И Метнер, предвидевший первым «пассаж» с утеканием — кто куда [109] — из Гнездниковского:

— «Что говорю? Посмотрите, как он гримасирует: маг, иссушивший в себе все живое; дух мрака, дух Листа, сплошной декаданс всей латинской культуры; Равель, подновленный Мусоргским![110] Гурман,— с ананаса к капусте полез. Нет, Борис Николаич,— ваш путь не с д'Альгеймами!»

А Соловьев, оторвавши от Метнера, в ухо другое нажуркивает:

— «Знаешь, Боря, д'Альгейм — самый близкий мне ум: ну куда же Иванову до этих блесков!»

В другие минуты — другое Сережа: «Нет, нет,— невозможно с д'Альгеймами; они — тончайший душевный соблазн в нашей жизни».

Петровский на это:

— «Беру их такими, какие они: с их капризами, с неразберихою; ведь разбиваться о жизнь — тема их жизни; удар в стену лбом до высечения искры из глаз есть источник — единственный — их вдохновений!»[111]

Мария Алексеевна, бывало, немотствует за ужином: строгая, очень худая, с открытою грудью, пригубливая свой рейнвейн, разблещается на мужа сафировыми неземными глазами, чтоб осуществить, что прикажет: «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью... И сердце утонет в восторге — при виде тебя»,— говорит ее взгляд; оправляет сияющее свое платье, играя стеблистою розой, ей брошенной часа два назад среди криков «бис»; белая, вся кружевная, сквозная шаль дышит едва; с ней рядом Наташа Тургенева, тонкая, бледная барышня, с великолепно-испуганными, протаращенно-злыми глазами, с каштановыми волосами и с личиком ангельским, впрочем,— уже ироническим; копия юной дельфийской Сибиллы: Сикстинской капеллы![112]

---

* *Пошли прочь.*

Петровский мне шепчет:

— «Наташа — смотри: удивительная по размаху; Раскольников в юбке!»

Сережа, меня оторвав от Петровского, громко:

— «Наташа — есть ведьмочка... Сам Петр Иваныч боится ее».

— «Ты, Сережа,— совсем не туда!»

— «Позволь,— знаю я, что говорю: я не «мальчик» Сережа, которого можно учить!»

Почва — взрывчата; все в «Доме песни» над «бездною» ходят; уходят с «пиров» восхищенно-разгромленные.

— «Апельсин»,— в совершенном растере бросает, за шапку хватаясь, профессор бактериологии Л. А. Тарасевич.

БЕЗУМЕЦ

Д'Альгеймов весьма уважали; все ахали, слушая пенье Олениной; не поддержал же — никто!

М. Оленину на словах похваливали «Щукины»; но никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы поддержать материально великолепное предприятие; д'Альгеймы годы выбивались из сил, чтобы наладить кое-как дела «Дома песни», который существовал, кажется, на взносы членов да на выручку с концертов; сколько раз д'Альгеймы при попытках обратиться за денежной помощью получали отказ в то время, когда на пустяки жертвовались тысячи: денежные тузы точно мстили за презрение к деньгам д'Альгейма; это презрение точно страшило, озлобленный д'Альгейм их точно дразнил, выбрасывая свой последний грош в носы толстосумам на общее дело; мгновение, каждое, П. И. д'Альгейм сознавал как ужасное рабство у капитала; он неосмысленно силился его отрицать: «презреньем» к монете; «Щукины» ж воспринимали весь д'альгеймовский быт — оплеухой себе[113].

Петр Иванович ждал, что «Цирцея», Мари,— свинью претворит в херувима; «Цирцея» ж, мифическая, людей свиньями делала, не сотворяя обратного[114].

Передавали мне: видели «Цирцею» в ужасный для нее момент, с ней столкнувшись в передней одной из... (по слову д'Альгейма) «скотин»; шляпа — черная, черные перья; такое же платье; такие ж перчатки; она проносила свой остов, повесив вороний заостренный нос — с оскорбленным насупом; увидев очевидца, сгорбив плечи, едва кивнув, вдруг стала ярко-малиновая, потому что ему ведом

был корень ее появленья в совсем неожиданном месте; д'Альгеймы сидели без денег; программа концерта повисла; а билеты заказывать не на что; гордой, ей, слезы глотая, пришлось-таки клянчить[115].

В д'Альгейме сверкал неутомимый протест против экономического и политического гнета; и — тем сильнее, чем менее он осознавал причины гнета; протест стихийно в нем разыгрался: и в дни всеобщей забастовки в октябре 1905 года, и в дни декабрьского восстания в Москве (того же года), средь роя притворных сочувствий рабочему классу он был весь — жест сочувствия до готовности выйти на баррикаду. П. И. бегал среди баррикад, приседая под пулями, дико болея за участь восставших районов, таская под пули своих обожаемых «ньесс» *.

А позднее не раз из-под «рыцарской» маски — «товарищ» вставал: помню — предупреждал меня: «Этот Д., вас зовущий ему оппонировать,— агент охранки». И — «заезжий француз» рыскал всюду и сведения собирал, чтобы Д. уличить.

Ко мне он являлся в минуту, когда материально страдал я; шипел, шумел, исходя демонстрациями,— неумелыми, жаркими.

В необходимости выудить тысячу для дописанья романа и чтобы А. А. могла кончить гравюрный класс в Брюсселе, я изнемог (это было в 1912)[116].

— «Как, как?»

— «Достал».

— «Сколько?» — он оскаблялся не то огрызался; и дергались уши, прижатые к черепу.

— «Тысячу; только — в рассрочку: по двести рублей, в счет написанной книги...»

— «Как, как? — дико пырскала тень «Мефистофеля», крыльями пледа на синих обоях: — в месяц — вам двести? Двоим? Стол, квартира,— я Брюссель-то знаю, пожалуй, и хватит, но — без табаку и концертов. О, сосчитали! Табак и концерт — позабыл!»

И вдруг он, подставивши спину, затрясся, как серая ведьма:

— «Мэ, мэ — экутэ, Леон» **,— крысясь, с поклоном к профессору Л. А. Тарасевичу; и, хватая за руку, прилипнул к лицу моему своей серо-бледной, уставшей, моргавшей щекой:

---

* Племянниц.

** Но слушайте, Леон.

— «Обязуюсь, что тысячу — вам достану: но — с условием: вы приглашаете... X... и Y... с вами отужинать»,— перетирал руки он, став на цыпочки; и вдруг под локоть:

— «В «Славянском базаре».

И шмякал вокруг:

— «Вы тогда обратитесь ко мне; я сумею вам ужин такой заказать, с виду скромный, чтоб с чаем ровнехонько стоил он тысячу; вы — угощаете; вы — расточаете X. комплименты; вам счет подают; вы — небрежно бросаете перед носами их,— и представлял, как бросаю я тысячу,— мэ, савэ ву, даже не поглядев на бумажку, рассказывая анекдот: я придумаю... Бросите тысячу,— я достану,— которую они пять месяцев будут выплачивать вам: на прожитие, но — без табаку... А? Скажите: заботятся об экономии вашей!»

Я — угомонять, чтобы он не забегал по городу для отыскания «нравоучительной» тысячи[117].

Он же, скосясь на меня умилительным, детским, моргающим глазом, пищал, шипел, как сутуло трясущаяся марионетка:[118]

— «О, ради меня,— натяните им нос! Пусть тысчонкой в рассрочку оплатят они вам ваш же ужин».

Довольный нелепой затеей, обшмякивал комнату, вытянувши кругловатую голову, перетирая лукаво дрожащие руки.

Он опытом жизни показывал, что деньги — пыль, перестрадывая этот опыт; и «опыт» ему[119] — не прощали.

— «Жуон!» * — взвизгивал он в самые жесткие минуты нужды; и — закатывал ужин друзьям, равный месячному, трудовому, кровавому поту: его и Мари.

Мари — шла на это безумие: с гордым величием[120], вставши над черствою коркою хлеба, взметнувши руками свою белоснежную шаль; и — в который раз — пела:

Веди к недоступному счастью
Того, кто надежды не знал!
И сердце утонет в восторге —
При виде тебя![121]

Она пела — ему!

Однажды сижу без гроша; полночь; вдруг — резкий звонок: П. д'Альгейм из передней в распахнутой шубе, забыв шапку снять, падает мне на плечи, как кондор на курицу:

* Будем играть.

— «Мне,— шипит в ухо он,— необходимо, чтоб к утру был текст перевода; я — промучаю вас до утра; я вас отрываю: вы — работаете; но это — не задаром: сто рублей — хотите?»

— «Очень охотно... Но — деньги при чем?»

Он же — в ярость: как? Я оскорбляю его? Он — не Щукин, чтоб нос утирать благородством ему я посмел; он — ремесленник, честный: к такому же, как он, труженику обратился.

— «Сдеру с вас семь шкур; я — заранее предупреждаю; конечно,— оплата ничтожна».— Меж нами сказать, не ничтожна: за всю книгу «Возврат» получил же я сто; а тут — маленький текст.

— «Не зарежьте меня»,— уволакивал он меня из дому; и мы ночью в «Дом песни» неслись: по Арбату.

Томил, браковал, зачеркнул пять редакций; седьмую за утренним кофе проверили: сто рублей — меня выручили.

Я позднее уже узнал стороной, что и он ужасно нуждался, без денег сидел — в то именно время, перевод, им придуманный, был ему — почти ни к чему: утонченнейшая деликатность; меня выручая, мне ж кланялся: де выручаю его; но требовал, чтоб поступали и с ним — так же.

Шипели:

— «Д'Альгеймы не платят долгов!»

Замечательно: Эллис, годами не евший, делившийся с каждым последней копейкой, стал «вором» у хапавших золото за свои строчки Лоло; а певица, которая нас обучала Мусоргскому, Глюку, Гретри, циклам Шуберта, Вольфу, которая нас угощала двойной концертной программой, чтоб третий концерт начать, «бисовой»,— на протяжении пятнадцати лет (что равняется десяткам тысяч, в подарок ей брошенным),— не заплативши кому-то там долг, может быть, П. И. отданный мне (сто рублей), оказалася с Эллисом рядом: в ворах... у... Щукиных!

— «Вы послушайте,— вы мне должны сто рублей».

Вижу жест П. И.— на обращенье подобного рода:

— «Саль сэнж,— не отдам».

Бился в стены вполне сумасшедший этот «Роланд», полагая, что борется с мавром:[122] мавр — Щукин.

. . . .

Д'альгеймовский дом мне казался торчавшею крепостью в скалах французского берега: над старым Рейном, на том берегу, немецком, окошко в окошко, торчала немецкая крепость: «дом» Метнеров; «Рейн» — Гнездников-

ский переулок; из окон квартиры д'Альгейм рогом звал братьев Метнеров: биться; и Метнер, Эмилий,— мечом опоясывался.

За углом, на Тверской,— начиналось нашествие «гуннов»: фланеров, плевавших цинично на обе фортеции; дикий Аттила в кофейне Филиппова оргии правил оранжевою бородкой Александра Койранского, там заседавшего, произрастаньем по способу «змей фараоновых» (опыт химический) из грязноватого сора окурочного... Кожебаткина.

«Мавр» появлялся вблизи «Дома песни», поддразнивая двухсоттысячным даром Челпанову: на «Институт»; он являлся в гостиные этого же околотка; он, чуть заикаясь, рассказывал Конюсам, что, мол, Матисс — зажился у него: пьет шампанское, ест осетрины и хвалит иконы; [123] не хочет-де ехать в Париж; всех в «Эстетике» очаровал бородою оранжевой, гладким пробором, пенснэ.

«Мавр» — твердеющий, чернобородый, но седоволосый, напучивший губы кровавые, Щукин: с виду любезен, на первый взгляд — не глуп, разговорчив; в общении даже прост, даже... афористичен:

— «Сезанн,— это кк... кк... кк... корочка черного хлеба... пп... после... мм-ороженного».

Тут же:

— «Дд... дд... дд... дд-авить: конкурентов».

Давя, как клопов, их, кидал в Персию ситцы свои, переходил он в разговоре от сс... Сезанна к... вв... вв... вв... Ван-Гогу; натура «широкая», говорят, что картину Матисса, выписанную им себе, сам же он у себя подмалевал (и Матисс-де сделал вид, что этого не заметил); цветисто рассказывал он, как на ослах ездил он на Синай, как стоял перед Сфинксом, в гг... гг... гг... глаза божеству заглянув.

Близость этого «мавра» мешала д'Альгейму; и слышалось: ночи и дни:

— «Се Сстшиуккин».

. . . .

Разрываясь проектами, деньги последние на них ухлопывал; одно время стал как родной; его «петит» * — стали наши; путь жизни связал меня одно время с Асей Тургеневой, его племянницей; с Наташею — П. [124], помню: в синем пространстве росла наша близость; я в синее кресло садился, в котором д'Альгейм меня мучил; Ася рисовала

* Маленькие.

меня; а д'Альгеймы — скрывались; порой Петр Иваныч высовывал нос с табачком «капораль»; и, сутуло и кряжисто крадясь, пищал:

— «Не мешаю?»

Порою мы, тогда еще молодежь, улепетывали, чтоб остаться без «старших», в квартиру Наташи Тургеневой (напротив); д'Альгеймы — ловили с поличным, затевая игру в кошки-мышки; однажды, когда благодушествовали мы одни, сев калачиком на мягком ковре,— звонок; и — голос Марии Алексеевны...

— «Тант Мари!» *

Дверь — расхлопнулась; Мария же Алексеевна будто бы с гневным, полусатирическим видом из двери свой вздернула нос:

— «Вот!..»

— «Сидят!..»

— «Дураки!»

И, захлопнувши дверь[125], удалилась торжественно.

Вскоре с д'Альгеймом имел разговор о поездке в Италию[126] с «петит»; тот отъезд с точки зрения нравов мещан — сумасбродство; таков же отъезд Н. с П.

— «Бедные девочки»,— злобно шипели одни.

— «Дрянь девчонки,— скрутили болванов»,— шипели другие[127].

Д'Альгейма «побег» занимал: романтично!

Он проклял нас совсем не за то: когда Ася уехала в Брюссель, а я отказался читать в «Доме песни» курс лекций, то полетели крикливые письма племяннице: я-де — «враг»[128].

Год он страдал, не видаясь с «петит»; и дал знак наконец, чтобы я, П., Н., А. появились в концерт М. А.; в антракте — сутулый, заискивающий, перепуганный, к нам он подкрался: побитой собакою; голосом старенькой девочки пискнул просительно, глазом помаргивая:

— «Бон суар!» **

И мы вновь явились в серявые пространства квартиры, но уж — другой, тарасевической, где д'Альгеймы тогда теснились, где тот же Сергей Казимирович Мюрат с лицом наполеонского Мюрата, женившийся на Рукавишниковой (сестре И. С., покойного поэта), фыркал из шахмат с Петровским, где, лопасть портьеры взорвав, с тарарахами вскачь проносился Рачинский: в дымах: из-за дыма:

---

* Тетя Маруся.

** Добрый вечер.

— «Достойно есть, яко воистину... Приснοблаженная — паф-паф — Мария: дас эвих — паф — вайблихе цит унс хинан» *.

И — паф-паф — несся: дальше.

— «Стакан!» — возвещал профессор Тарасевич: в рассеянности.

. . . .

Еще год; и — Буа-ле-Руа:[130] севший в зелень французский поселок, вблизи Фонтенебльского леса, в котором — гадюки; серявенький дом с черепитчатой крышею; сад с огородиком; здесь я с д'Альгеймами жил; у них жил мосье Питт, певавший народные песни, — большой, краснощекий и чернобородый француз, друг писателя Поля Клоделя; «Диди» наезжала: отец ее, лондонец, бритт, тридцать пять лет — во фраке ходил: по салонам; нажив себе сплин, чтоб бежать такой жизни, однажды он, став на карачках пред леди и лордами, на четвереньках — в переднюю, на пароход; и — в Париж.

Так покончил он с Англией, ставши художником; трубку раскуривал с П. И. д'Альгеймом; до смерти дружил с ним.

В те дни, когда мы поселились в поселке, д'Альгейм пела в Лондоне; с невероятным успехом; ее удостаивали чести спеть пред королевской фамилией, — в «Мюзик-холле», меж клоунами, потому что король на концерт — не ходил; песню Шумана между двух клоунов выдержать мог еще он; а цикла песен — не мог; д'Альгейм наотрез отказалась от «чести» петь в «Мюзик-холле» перед королевской фамилией; сбор поступал престарелым... — вы думаете, инвалидам труда?

Нет, — коням!

Это — факт; и д'Альгейм, когда ей выдвигали почтенную миссию вечера, тотчас крупную сумму пожертвовала... «престарелым коням», удивив англичан, не привыкших к тому, чтоб им нос утирали... долларами: но это — в духе д'Альгеймов.

Петр Иваныч, изгоев, нас (мы с А. А. разорвали тогда с друзьями московскими) встретил, открывши объятия: с уютом, с сердечностью; шмякая туфлями, ходил на цыпочках около нас. А М. А. облеклась в балахоник; в переднике с утра до ночи сидела на корточках в сине-зеленой капусте, выпалывая свои гряды; я ею любовался, когда у колодца она с величавою ясностью мыла свои расцара-

---

* *Вечно женственное нас влечет* [129].

панные, перепачканные землей руки; работала в поте лица, выгибая дугою костлявую спину, и с нами болтала средь маков пылающих.

. . . .

Когда, прорвавшись в Москву из Швейцарии[131], сквозь гром войны, я явился к д'Альгеймам в Москве, М. А.— встретила с криком:

— «Как?.. Ася осталась, когда... вас... призвали? Как?»

Петр же Иваныч меня напугал.

Он сидел, провисая широким атласным халатом мышиного цвета с пурпуровыми отворотами,— с бледным, разбрюзгшим лицом; ярко-красный атласный и косо надетый берет неприятно кричал с головы, выявляя опух его тиком ходившей щеки и зеленый провал, из которого светом пылал на меня бриллиантовый глаз; он не то улыбнулся, не то огрызнулся, царапая воздух усами; задергались уши, когда, ухватяся рукой за качалку, припав головою в берете к коленям, он взвизгнул:

— «Сэ ву?» *

Пурпуровой кистью халата взмахнул, шебурша повисающими широчайшими складками, слишком стремительным для его возраста жестом вскочив; приседая в глубоком, придворном, испанском поклоне, с отводом большой косолапой руки, опрокинул в меня ураганные домыслы; и поразило шипящее бешенство речи его, кипятка, выпускаемого из открытого крана; лился без удержу; жестикуляция точно на сцене: расклоны с отставом руки и ноги, с перегибом сутулого корпуса; он — заскандировал: точно поэму читал мне.

А кровавого цвета берет, расклочившийся на голове, придавал его «пенью» зловещее что-то: не то — страстный маг, а не то — полоумный архангел.

Об Асе — ни слова!

— «Да, да,— неудавшийся Лист: обезьяна в сутане».

Я внутренне вздрогнул, взглянув на М. А.; в складке, резавшей лоб, и в морщинке у губ продрожало — обиженно, гордо:

— «Я знаю, что знаю: но я — не скажу».

Тарасевичей — не было; не было Г. А. Рачинского; даже Сергей Казимирыч Мюрат, постоянно вращавшийся около, блистал отсутствием; в чине сержанта, не маршала, он воевал: под Парижем.

. . . .

* Это — вы?

Д'Альгеймы сидели в России в 1920 году: до зимы; и П. И. написал ворох великолепных стихов; вдохновеньем хлестал, как из бочки, которой дно выбито; еще в Норвегии, где выступала М. А., он ораторствовал.

В Париже открылось, что он — сумасшедший.

МУТЬ

Конец года[132] для меня — как муть: во всех смыслах.

Контраст неожиданный с 901 годом; тогда я бросался, как с берега, в воды, унесшие прочь от того, в чем я жил; от предмета, упавшего в воду, круг четкий бежит; так граница меж *новым* и *старым* бежала; внутри круга — четко; вне — хаос. Круг ширился; люди вступали в него; расслоились заданья в деленьях «кружков»: на «кружки»; рост заданий (заданье в заданьи) — как кольца, одно за другим расширявшиеся на воде; в их градации грани утрачивались между старым и новым.

Со всех сторон перли к нам, к *новым*, вчерашние люди; и даже люди — от *третьего дня*.

Борис Фохт как попутчик — в одном; а Флоренский — попутчик в другом; так казалось мне; но пути их, скрещаясь с моим лишь в моменте,— уже расходились: в последующем; все моменты прямой линии жизни теперь были мне скрещеньями, противоборствами, тактиками согласования, а не простыми «да» иль «нет»; Эллис — резкий раздвой; Г. Рачинский — столпосотрясение, стиравшее четкость в согласиях и несогласиях; В. В. Владимиров в этот период — меня раздражающее самодушие; «астровский» гомон — растаск интересов; «весовская» четкость — служение форме.

В мире ж мысли я был одинок.

В мире чувства скликался я с С. М. Соловьевым, Петровским и Блоком, а не в идеологии; Блок — идеологическая «меледа»; Соловьев — был еще становлением (он в те месяцы — первокурсник);[133] Петровский — был зажат в кулачок от щемящих усилий вчерашнюю переоценку — переоценивать; он — молчал; он сказался — позднее; он был мне как брат милосердия, а не как идейный союзник в то время.

С Ивановым, с Брюсовым — было мало сердечности: в Брюсове даже — «ненависть»; с первым — таимая «пря» (она вспыхнула вскоре);[134] Волошин, Бальмонт — не субъекты общенья: объекты разгляда; не знал еще, кто —

Сологуб; Метнер мог бы мне быть сочетанием сердца с идеями,— да жил в Нижнем он: корреспондент,— не сопереживатель. Сердечность была только с Блоком да с Гиппиус: в письмах; последняя меня звала, как и Блоки,— «узнаться»[135].

Треск лозунгов, мельки кружков,— человек жив не этим: я к ласке тянулся; жилось-то мне холодно: и неладица с Брюсовым, и неприятности с Н *** ; собирался все махнуть в Петербург, откликаясь на сердечные зовы, совсем не теории; призрак человечности на краткое время спаял меня с петербуржцами.

Воли я волил; «новаторы» издали виднелись мне героически; ближе — д'Альгеймы и Брюсов предстали: в страстях, в слепоте. Волил я сочетанья способностей, видя конкрет только в нем; а — наблюдались: орлиные мысли на... рачьих ногах, или — стопа мамонта при... курьем мозге, или пылание чувственное (Эллис, Н ***), погашающее разуменье; сам я с «пылкостей» начал; а пришел к семинарию: одолевания логики; контуры нового быта, ломаемые социальными рамками общества, вновь наводили на мысли о соотношении личности и коллектива: я видел, что личность — гниет; выхода ж в те дни искал — в самосознании; и — полагал: индивидуальное «я» расширяемо лишь тогда, когда оно в коллективе; и даже: я в те дни полагал, что сфера выявления индивидуальности — община, но непременно противопоставленная государству; моя молодость прошла под знаком отрицания государственности; всякая государственность виделась мне тюрьмою в 1905 году.

Мои два задания: самопознание — раз; социальная грамота — два; и отсюда — две линии моих вопросов: в чем путь социальный, в чем *внутренний?* Уже чеканился лозунг: *идя от себя, повернись на себя;* корень «я» — в «мы»; но «мы» — нам загадано; сделай его, и ты сделаешь «я».

В своем малом отрывке «Место анархических теорий» я скоро пишу: *«Индивидуализм, иссякающий в собственных истоках, надо преодолеть... Мы переживаем... разочарование как в индивидуализме, так и в самоновейших коллективистических и мистико-анархических теориях... Мы выстрадали себе право на осторожность... Ведь мы одни из первых индивидуалистов стали сознавать узость индивидуализма»* *.

---

* «Арабески», 280, 1906 год[136].

Под узостью индивидуализма я разумел в 1905 году «персонализм», который казался мне суррогатом индивидуализма; под «индивидуализмом» же разумел я нечто, отличное от личности; индивидуальное «я» виделось мне в те дни комплексом переживаний, подобным комплексу людей в общине; но к идеям Кропоткина я был враждебен; и я писал в 1906 году, что теоретики анархизма, подобно Кропоткину, *«обезоруживают себя перед социал-демократией, отношение к социал-демократии бросает современных анархистов в объятия буржуа»* *.

Я стараюсь отмежеваться от персонализма, от новой соборности, выдвинутой мистическим анархизмом, от анархизма Кропоткина, от государственности: *«Горьким опытом мы убедились в пустоте преодоления того истинного, что получили в наследство от... Гете... Индивидуализм... цитадель, которую не следует преодолевать преждевременно... Но еще более... претят... выкрики о свободе искусства...»* **

Эта апелляция к индивидуализму, недостаточность и даже изжиточность которого мною была осознана, была в те дни одним из средств подчеркнуть пустоту тщений модернистов-соборников, упрекавших нас в устарелости и под соборностью проповедовавших нечто, казавшееся нам невразумительным; моя тактика была: бить новых соборников с тылу тем, что ничего путного они не создали в искусстве· после Ибсена; и бить их с фланга тем, что ни о каком преодолении социализма у них речи не может быть.

Разочарование в коммуне «новаторов» — мой шаг на «Весы», от которых я до 1906 года стоял дальше; меня сблизила с редакцией полемика с «новой соборностью»; но я же писал: мы — «не пришли к выводу, что надо остаться с индивидуализмом» ***. Отказ от вчерашних утопий, разбитых сплошной социальной бездарностью нас, меня сильно дручил.

Из отдаления 1904 год мне видится очень мрачным: он мне стоит как антитеза 1901 года; я неспроста охарактеризовал 1901—1902 годы годами «зари»; в те годы мне все удавалось; я чувствовал под собой почву; я жил расширенными интересами; с 1904 года до самого конца 1908 я чувствовал, что почва из-под ног ускользает; широ-

---

* «Арабески», 278 [137].

** Там же, 280—281 [138].

*** Там же, 280 [139].

та интересов выбила меня окончательно на четыре года из линии искусства; я мало работал творчески; все время отнимало общение с людьми, многочасовые разговоры, чтение теоретических сочинений, вразброс,— с недочитанными хвостиками: не поспеть же всюду! Ведь я стал студентом-филологом, вынужденным вместе с занятием философией, которое заострилось для меня изучением Канта и неокантианской литературы, все ж для зачетов возобновить занятия латынью, греческим, мне постылой русской историей; чтоб активно присутствовать на семинарии по Платону у Сергея Трубецкого, которому я обещал реферат, взяв темой его один из диалогов, надо было подчитывать специально источники; и на письменном моем столе появились развернутые томики Альфреда Фуллье, посвященные Платону[140], с повсюду воткнутыми бумажными хвостиками для отметки нужных мне справочных мест; должен сказать, что развернутые страницы этих томиков покрывались пылью, потому что не было времени: каждый вечер — собрания у кого-нибудь, очередная рецензия или статья в «Весы», написанная наспех; наконец: история древней философии мало интересовала меня в те годы: я больше влекся к вопросам теории знания и методологии; и поскольку воздух философствующей молодежи моего круга в это время — Кант и Коген с его школой, пытавшейся обосновать методологию точного знания, то приходилось главную массу времени тратить на изучение Канта (чтение с комментарием Карла Штанге) [141], Риля, Риккерта; воля свое идейное самоопределение, я хотел написать во что бы то ни стало философский кирпич под заглавием «Теория символизма», вместе с досадливым чувством, что я еще не умею ответить в гносеологических терминах на резкое отрицание всей мной поволенной теоретической линии со стороны схоластиков от философского папы Когена, превративших логику в приемы японской гимнастики, в «Джиу-Джицу» какую-то,— все вместе взятое определило мое решение, в годах сказавшееся как крупный промах; решение заключалось в том, что я должен был до времени затушевать свое резкое несогласие со школой Канта, чтобы, пойдя на выучку к кантианцам, овладеть всеми фокусами кантианской методологии; и этими ж фокусами взорвать: кантианцев; таким необдуманным шагом я себя на года обрек быть каким-то минером: вести подкоп под книжный шкаф сухих и бесполезных трактатов, которые я должен был осилить: труд, едва ли одолимый и для профессора философии; где же мне, художнику слова, уже

затащенному Брюсовым в публицистику «Весов» (с обязанностью выступать во всех драках за новое искусство),— где же мне было справиться с задачей, непосильной и спецам? Московские кантианцы уже и тогда разделилися на две фракции: на сторонников «наукообразной» линии Когена и на философов культуры от Генриха Риккерта (школа Марбурга, школа Фрейбурга); риккертианцы не знались с когенианцами; риккертианец Рубинштейн мало водился с представителями марбургской школы; риккертианца Богдана Кистяковского еще не было в Москве; лишь в 1909 году явились активные пионеры от Риккерта: молодой Ф. А. Степпун, юный С. И. Гессен. Я же, сосредоточившись на «Предмете познания» и на «Границах естественнонаучного образования понятий» (сочинения Риккерта) [142], ходил, так сказать, брать урок к марбуржцу, Борису Фохту; создавались и тут, на малом участке поволенного мной фронта, максимальные трудности: выслушивать Фохта, проверять его замечания чтением Риккерта про себя; и одновременно знать: и Кант, и Риккерт, и Коген — философы совершенно чуждые мне; они, так сказать,— фермопильское ущелье, которое когда-нибудь мне надо взять приступом, чтобы, выйдя из этих теснин, строить собственную философию.

Друзья-«аргонавты», разделяя со мной критику Канта, не понимали моих усилий: для критики «Критики» вообразить картину мира по *«критике»;* тут против меня вооружились: и Эллис, и старый пестун моих стремлений Рачинский, тащивший меня к образованию с ним вместе религиозно-философского общества.

Я, как нарочно, создавал себе максимум путаницы, не учитывая времени, сил, условий работы и нервов; ибо я превратил наскок свой на Канта в прохождение сквозь него в годах, в какое-то систематическое превращение кантианских терминов в антикантианские, так что позднее, когда Шпет дразнил меня, что я ношу кантианский фрак для приличия, то профессор Кистяковский, Богдан, в то же время поздравлял меня с успешным одолением семинария по Риккерту; полемисты ж из «Золотого руна» (Тастевен, Вячеслав Иванов и другие) кричали громко: Андрей Белый подменил-де сам символизм философией Риккерта.

В 1904 году я окончательно запутался в своей философской тактике; эта «тактика» позднее сказалась и в отказе написать теорию символизма.

Но философия еще с полбеды; одновременно: замысливши в своей будущей книге пересмотреть историю религиозной символики, я изо всех сил залезал в кружки спорящих религиозных философов, отзываясь на их споры: по-своему; в эту же злосчастную осень я особенно часто видался со Свентицким, Эрном, Флоренским, выслушивал религиозно-философские эскапады Рачинского, благопресности П. И. Астрова и других; а с 1905 года, попав в Петербург, я на несколько лет окончательно запутался в кружке Мережковского. Религиозные философы не выносили моей «кантианской» закваски, которая была не закваскою, а терминологическим добровольным ярмом: для взрывания изнутри позиций Канта; философы же от Канта воротили носы и от моего «религиозно-философского жаргона», и от символизма; а соратники по «Весам» — Брюсов, Балтрушайтис, Поляков, Бальмонт — глядели на мои интересы как на «игры на стороне» Андрея Белого, отвлекшие его от прямых обязанностей: писать статьи, закручивать залихватские афоризмы, появляться на боях символистов с несимволистами и писать полемические заметки против всех литературных направлений, кроме нашего «московского», «весовского»; если принять во внимание, что уже появился д'Альгейм со своим покушением нас всех анонсировать в будущий «Дом песни», то читатель поймет: положение мое было нелегким.

Путаница создавалась ужасная; путаница даже и не идей, а хотя бы людей, кружков, часов, дней, организации порядка обязанностей, с которыми бы и трехжильный «мужик», силач мысли и воли, не справился бы; люди кружков, не понимая моего отрицания кружковщины, моего задоха в каждом отдельно взятом кружке, не понимали и моего уже «понимания», что им и не объяснить подлинного мотива временной моей работы с каждым; в этой атмосфере и друзья становились как не друзья; и идейные противники становились как не противники; антиномии стали опять осью моей жизни; и хотя я поволил преодоление их, но преодоление это виделось теперь в веренице лишь лет, а не — с налету; юношеский «налет» 1901 года на все области культуры окончился тяжким охом и стоном разбитого авиатора, который лишь к 1909 году стал медленно оправляться от идеологических увечий, себе самому нанесенных в 1904 году.

Главная же антиномия была антиномией между личной жизнью и жизнью в идеях; именно в этом злосчастном году рухнула надежда моя гармонизировать свою жизнь;

«творец» собственной жизни оказался банкротом в инциденте с Н *_*, поставившем меня лицом к лицу с Брюсовым, покровителем моих литературных стремлений, наставником в области стиля, идейным союзником на фронте борьбы символистов с академическою рутиной; черная кошка, пробежавшая между нами в 1903—1904—1905 годах, разрослась в 1904 году просто в «черную пантеру» какую-то; если принять во внимание, что осенью 1904 года Брюсов меня ревновал к Н *_*, а в начале 1905 года вызвал на дуэль, то можно себе представить, как чувствовал себя я в «Весах», оставаясь с Брюсовым с глазу на глаз и не глядя ему в глаза; мы оба, как умели, превозмогали себя для общего дела: работы в «Весах», ведь нас крыли в газетах, в журналах, в «Литературно-художественном кружке»; и я должен сказать: мы оба перешагнули через личную вражду, порой даже ненависть — там, где дело касалось одинаково нам дорогой судьбы литературного течения: под флагом символизма; и в дни, когда Брюсов слал мне стихи с угрозой пустить в меня «стрелу», и в дни, когда я ему отвечал стихами со строчками «копье мне — молнья, солнце — щит»[143], и в дни, когда он вызывал меня на дуэль,— со стороны казалось: все символисты — одно, а Белый — верный Личарда своего учителя, Валерия Брюсова.

С Брюсовым дело обстояло тем трудней для меня, что Эллис, возмущенный убийственным разносом его переводов Бодлера, напечатанным в «Весах»[144], грозился при встрече побить Брюсова, а меня упрекал за то, что я допустил выход рецензии Брюсова (увы,— Брюсов был прав); [145] и Эллис, и Брюсов постоянно бывали у меня; и надо было держать ухо востро, чтобы не произошла случайная встреча их у меня и чтобы не случилось чего-нибудь непоправимого.

Эллис в эту пору выступает передо мной окончательно в своей роли «бывшего марксиста»; хотя и не марксист, он в атмосфере нарастающих гулов революции, сотрясающих все наши порядки дня, планы, литературно-философские здания, все чаще и чаще с видом ментора бракует жалкие социально-политические высказывания, раздающиеся вокруг нас, и, выявляясь в поступках как анархист-максималист, то приносит мне «Капитал», то советует ознакомиться с «Историей социал-демократии» (три тома Меринга), которую я и одолеваю, но уже позднее[146].

Здесь опять повторю: я описываю Эллиса в истории моих увлечений социал-демократической литературой того времени; я не рисую «бывшего» марксиста ни марксистом,

ни «бывшим»; но ведь я стал встречаться с *настоящими* марксистами лишь позднее: с 1906 года; а этот том посвящен лишь событиям, обнимающим 1905 год (и то — до лета); стало быть: было б насилием с моей стороны утверждать, что я относился скептически к Эллису как к «бывшему» марксисту; что он не марксист — было ясно; что и в прошлом он «не марксист», этого я не мог видеть еще; и всерьез принимал за «марксистскую» его чеканку моих мыслей по социологии, которые вспыхнули стихийно, неорганизованно, не по плану, а под давлением нараставших событий, когда разобраться в них стало жизненной необходимостью; лишь осенью 1905 года я, бросив все, «революционно» метался по московским улицам, силясь примкнуть к движению до осени 1905 года, самый 1905 год воспринимался лишь в чувстве негодования: сквозь дым кружков, длящихся общений, личных драм и круга чтений; события, разыгравшиеся вокруг, читались мною и криво, и предвзято. Читатель, для меня 1905 год стал тем, чем он был, лишь с момента, когда я голосовал за закрытие университета и превращение его в революционную трибуну; это было в сентябре 1905 года. События же января восприняли как удар, на который я ответил вскриком негодования; они оформились в сознании: к осени.

Но с осени 1905 года и я, и Брюсов, и Эллис, и Петровский, и все, меня окружавшие, вдруг понеслись влево; занятия кружков продолжались, длились те же общения, те же личные драмы заполняли сознание; но почва, на которой встречались мы, нас несла механически от средних, безразличных, пугающихся к тогдашним крайним левым; в 1904 году мы еще могли «преть» с Астровыми; осенью 1905 года все круто порвалось между мной, большинством «аргонавтов» и ими; когда я приехал в Петербург в 1905 году, Мережковский «левою» своей болтовней импонировал, а через два месяца в линии политических устремлений между нами оказалась трещина; сочувствия мои стихийно развивались в сторону социал-демократов; он же где-то запутался между Струве и... эсерствующими.

Я говорю, что меня «несло», потому что круг чтения, самообразование (по Бебелю, Каутскому, Штаммлеру, Мерингу, отчасти Марксу, вперемежку с разными историями капитализма вроде «Истории» Вернера Зомбарта[47]) длилось весь 1905 и 1906 год; но воспоминания эти вместе с воспоминаниями об общении с Жоресом, личность которого поразила меня,— тема второго тома «Начала века», который я напишу, если на него будет спрос.

В конце 1904 года я застаю себя в отчаянных спорах с Рачинским, с Астровым; я начинаю стрелять в них «марксистскими» цитатами (может, и «псевдо»-марксистскими); «Хозяйство и право» Штаммлера[148] отвечает линии моих интересов (интересу к Канту, интересу к социологии); книгу, конечно, мне рекомендовал «бывший» марксист; в эти месяцы впопыхах, наспех, откладываются мои переходные взгляды на общество, которые отразились в статьях, наспех писанных, два года спустя лишь; привожу из них несколько цитат не потому, что стою за них, а для показа сырья, характеризующего мои переходные взгляды описываемого момента.

«Мертвец... восседает над жизнью»; * история культуры в периоде борьбы с буржуазным государством — *«история развития форм производства»;* ** *«пока существует классовая борьба, странны... апелляции к эстетическому демократизму* ***, *общество — только «слова»;* **** *«жизнь вне общины — отдана кафе-кабаку»;* ***** *«государство — склероз, отложение прошлого, созданное, чтоб насиловать будущее»;* ****** *«социализм — единственное учение о государстве, последовательно развертывающее посылки...»;* ******* *«мы призываем всех под знамя социализма»;* ******** *«коли социализм государственен — механистичен он; но можно рассматривать социалистическое государство как переход к свободной общине... Урегулирование экономических отношений тогда... взлет жизни... из праха»* *********.

Все это написано в 1906—1908 годах; после собрано уж в «Арабески».

В первых днях января 1905 года меня звали в Питер; случайно заехавший к Эртелю его брат, офицер, А. А. Эртель, служивший, как помнится мне, под командою отчима Блока и живший в одном с ним коридоре, остановиться любезнейше мне предложил у него, потому что имел он свободную, ему ненужную, комнату; жить вблизи Блока весьма соблазнило меня, Москва утомила; и я — почти бежал из нее.

---

* «Арабески», 45.
** «Арабески», 47[149].
*** «Арабески», 28[150].
**** «Арабески», 46[151].
***** «Арабески», 53[152].
****** «Арабески», 150.
******* «Арабески», 150.
******** «Арабески», 150.
********* «Арабески», 151[153].

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Восьмого января я сел в поезд; рос рой диких слухов; кричали газеты; лавиной росла забастовка; и все повторяли: Гапон! А девятого утром я был на петербургском перроне;[154] сперва зашел в парикмахерскую; парикмахер: «Сегодня рабочие двинутся; царь примет их; так нельзя больше жить». Поразил видом Невский; гудело: «С иконами!» Чмокал губами извозчик: «Они, стало,— правы!» На улицах кучки махались: мальчишки — присвистывали; в контур солнечный, красный, повисли дымочки солдатских везде распыхтевшихся кухонь, скрипевших по снегу; солдаты топтались при них.

От Литейного моста ногами на месте потопатывал взводик солдат,— в башлыках, белоусых, хмуреющих, багровоносых; а два офицера дергали шутками. Набережная: просторы, зеленые льды; вот — казарменный двор, а — не видно солдат; я разыскиваю А. А. Эртеля; мне открывает его денщик: «Самих нет... Ждут: пожалуйста!» Я — прохожу, а денщик за мной следом: «Казарма пустая: полк выведен».

Здесь — жить нельзя!

Я бросаюсь к Кублицким: квартиры их выходят в один коридор с той, где я остановился; Блок — в рубашке без талии, не перетянутый поясом: «Что?» — «Говорят, что пошли...» Торопливо, взволнованно: «Боря,— иди...»

Александра Андревна и Марья Андревна: примаргивают: «ужас что: говорят...» Александра Андревна махается ручкою; возгласы, предположенья: Дворцовая площадь! А — слухи из кухни: стреляли, стреляют, убитые... И Александра Андревна — за сердце: «Поймите, как «он» ненавидит все это, а должен там с отрядом стоять...»[155]

Блок, как ветер, метался вдоль окон и пырскал широкою черной рубашкой в оранжевом фоне стены.

Я спешил к Мережковским.

. . . .

Тут пауза.

Условимся: беспорядочный набросок того, что я видел и слышал в исторический день, есть «кино»-снимок — не более, не характеризующий состояния сознания съемщика; про себя я пережил слишком много в те дни; пережитое лежало где-то глубоко: под спудом; оно поднималось к порогу сознания в месяцах, определяя характер мироощущения лет; пережитое позже сказалось презрением

к «Полярной звезде», журналу Струве[156], сотрудничеством в социал-демократической газете[157], беседами с Жоресом в 1907 году и т. д.; январь 1905 года — перегружение внешними впечатлениями от встречи с людьми, с которыми издавна я хотел познакомиться, которые интересовали меня с 1901 года; вдруг все они обрушились мне на голову; и — внезапно предстали: Минский, Сологуб, Перцов, Чулков, Лундберг, Булгаков, Бердяев, Дмитрий Философов, Аскольдов, Тернавцев, Лосский, Розанов, Зинаида Венгерова, Сомов, Бакст, присяжный поверенный Андриевский, тогда интересное имя; и — сколькие!

В первых днях все было метнулись «налево»; в последующих — появилась задержь: у скольких!

Подлинно переживал я события дней лишь в беседах с Семеновым, Леонидом, готовым: к немедленному восстанию; он коридором, минуя гостиную Гиппиус, прибегал в мою комнату; и вывлекал меня в Летний сад, где мы и беседовали; вероятно, его тянуло ко мне: он во мне находил себе эмоциональный отклик; «серьезно *помалкивали*» мы о событиях времени — с Блоком: на прогулках с ним по «рабочим районам»; говорю — помалкивали: сочувственное молчанье с покуром было формой общенья для Блока в те дни; из этого молчанья потом вынырнули его стихи, революционно окрашенные, и будущие статьи о России, интеллигенции и народе; и мои статьи вроде «О пьянстве словесном»[158], в которых я предлагал закрыть интеллигентские «говорильни», чтобы научиться ходить поступью Марксов; * это была моя реакция и на «говорильню» у Мережковских, когда они убедили меня: переехать к ним; «говорильня» в первых же днях оказалась трудной нагрузкой, которую избыв, как от тебя требуемый урок, я удирал: к Блокам; подлинная потрясенность событиями выявилась лишь к осени 1905 года.

Я даже не старался глядеть в себя самого, чтоб не видеть, как меня сражала «общественность» Мережковских; оттого-то они потом и записали меня в категорию «безответственных»; и — да: по отношению к их «общественности» я был безответственен, выделив из них «личности», которых я разглядывал пристально; «деятели» ж перестали вовсе интересовать в них.

Я, болтая с Гиппиус, скорее общался с ней по линии дурачеств: она была — остроумницей: едкая, злая, с искрой. С Мережковским же у меня — ничего не вышло!

---

* См. «Арабески».

Но в роковой день, когда я несся к ним, пересекая отряды, походные кухни, взволнованные кучки на перекрестках, я пережил многое: не повторяемое никогда.

Помню: вот — уже Литейный: вот — черно-серый угловой (углом на Пантелеймоновскую) дом Мурузи; подъезд, дверь четвертого этажа; дощечка с готическими буквами: «Мережковский»; звонюсь, отворяют, вхожу; и...

— «Ну, выбрали день»,— З. Н. Гиппиус тянет душеную лапку с козетки, стреляя душеным дымком папиросочки, вытянутой из коробочки,— лаковой, красной, стоявшей с духами; на этой козетке сидела комочком до трех часов ночи — с трех часов дня: в шерстяном балахонике, напоминающем белую ряску.

Запомнился мячик резиновый пырскавшего пульверизатора, пробочка, притертая, от духов «Туберозы-Лубэн»,— в красных, ярких обоях и в красно-малиновых креслах, едва озаряемых золотоватыми искрами: взмигивал отблеск на туберкулезной щеке ее.

Мережковский, малюсенький, щупленький (на сквознячках унесется в открытую форточку), в туфлях с помпонами шмякал ко мне, неся лобик и090 зализь пробора, и нос свой огромный, и всосы ввалившихся щек, обрастающих шерстью: «Борис Николаевич»,— хилую ручку мне подал, поросшую шерстью; и выпуклил око,— пустое, стеклянное: «ужас что!»

Келейные сплетни о Вилькиной, о — чем нанюхался Федор Кузьмич Сологуб! О событиях — с шипким подходом; сужденья, как брюки,— со штрипками; пальцем — к бисквитику; передавалась хрупкая чашечка; к ней прикасались, склоняя пробор и оттачивая остроумное слово.

Кто?

Юркий Нувель; он, загнувши мизинец, усами касаясь чашки, рассказывал нам: Сергей Павлович * ехал-де в карете, некстати надевши цилиндр; и — рабочие... остановили карету?! Смирнов, бледнолицый философ и *«новопутеец»* в студенческом с тонным душком сюртуке, с тонкой талией, с воротником, подпирающим уши; и он — говорил: о философе Канте; коли Лундберг был (а может, был и воскресеньем поздней), то о хаосе он говорил: бледный, страдающий, кажется, от расширенья сосудов.

Был какой-то Красников-Штамм.

Звонок: Минский.

— «А я — с баррикад!»

---

* Дягилев.

Извиваясь тростиночкой-талией, вставив лорнетку в глаза, З. Н. Гиппиус с нами кокетничала тем же черным крестом, тарахтящим из четок, склоняя рыжавое пламя волос под каминное пламя; Д. С. Мережковский, похлопав глазами, ушлепал, метая помпоны, к себе в кабинет.

Я остался у Мережковских обедать; и после все вместе отправились к Философову (он жил у своей матери[159]), чтобы он вывез нас в Вольно-экономическое общество — на заседание экстренное.

Философов года «вывозил» Мережковских!

. . . .

Растерянная толчея вокруг стола, за которым сидели испуганные бородатые люди, метаясь руками, чтоб, павши локтями на стол, вдруг молчать, ожидая вестей, среди криков о том, что движенье — совсем не «поповское».

Кто-то встает и выпячивает на нас бороду:

— «Вооружимся!»

В лице же — испуг, что события перемахнули: да, да,— ре-во-лю-ция! Гиппиус влезла на стул, чтоб лучше видеть; и — выгнулась над головами: в шуршащем, блистающем черном атласе, приставив лорнетку к зеленым глазам; я вскарабкался рядом; но чопорно к нам подошел Философов — изящный, пробритый, с пробором зализанных светлых волос, в синем галстуке, передвигаясь шажочками, длинный, как шест; он, обидно приблизивши маленький усик, с картавым привзвизгом сказал З. Н. Гиппиус, что неприлично ввиду национального траура ей улыбаться; здесь — русская интеллигенция,— не «декаденты»!

И — обиженный взгляд стекловидных, светло-голубеющих глаз.

З. Н., вспыхнув, сконфузясь, глаза опустила, со стула сошла, затерялась в толпе... Я без «тона» стоял и над гробом отца; неужели же, думал я, тот факт, что он-де общественник, дает ему право дать мне урок?

Тут какой-то субъект — на весь зал: «Прошу химиков выйти за мною в отдельную комнату!» Думал: «Как можно: под уши ж шпиков?» Стал искать Мережковских; их — нет уже; мне объяснили: они-де делегированы закрывать в знак протеста Мариинский театр; вместо них — торчит Арабажин, мой дальний родственник.

— «Ты как попал сюда? Едем ко мне!»

Шумы:

— «Горький!»

С ним — бритый субъект, на которого не обратил я внимания, хрипло кричал, призывая к оружию: с хоров; потом объяснили, что это был переодетый Гапон[160].

Я было к Арабажину, а Арабажин — уже исчез.

. . . .

И снова я в темных проспектах; все — пусто; тьма — мертвая; нет полицейских; лишь издали в лютый мороз открывается пламя костра, у которого серо топочут солдаты; и там — ружья в козлах. Хрустела тяжелая поступь патрулей; чтоб им не попасться, винтил в переулках: без паспорта; еле добрался до бока казармы, куда утром съехал, ворота — захлопнуты; а часовые — меня не пускают.

— «У офицера, у Эртеля я...»

— «Вот пройдет господин офицер: он — рассудит!»

А ноги замерзли.

«Хруп-хруп»: в темноте побежал рыжеусый толстяк; и за ним — два солдата; сжимая револьвер, оглядел подозрительно.

— «Деться ж мне — некуда!»

— «Вы подвергаетесь всем неприятностям, связанным с весьма возможной осадой... Казарма пуста, а рабочие двинулись к ней...»

— «Что ж, подвергнусь...»

— «Пустить!»

«Трус,— мне Блок объяснил,— ночью всех обежал и кричал в офицерские двери: «Рабочие!» Это — Короткий!»

Позднее в Москве полицмейстером был: беспощадно сажал, взятки брал.

Факт расстрела войсками рабочих поставил меня в невозможность остаться у Эртеля; Блок соглашался со мною, ругая военных в лицо виноватого отчима; пользуясь тем, что меня уговаривали Мережковские переселиться к ним, утром, десятого, взяв чемоданчик, я — к ним.

МЕРЕЖКОВСКИЕ

Первые дни в Петербурге меня отделили от Блоков: вихрь слов: Мережковские! Сыпались удары репрессий, после чего электричество гасло на Невском; аресты, аресты; кого-то из левых писателей били; я левел не по дням, по часам; Мережковскому передавали из «сфер», что его — арестуют; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене.

С ней общенье, как вспых сена в засуху: брос афоризмов в каминные угли; порою, рассыпавши великолепные золото-красные волосы, падавшие до пят, она их расчесывала; в зубы — шпильки; бросалась в меня яркой фразой, огнем хризолитовым ярких глазищ; вместо щек, носа, лобика — волосы, криво-кровавые губы да два колеса — не два глаза.

Вот и прическа готова: комочек с козетки, в колени вдавив подбородок, качает лорнеткой, любуяся пырсныо ее инкрустации; белая, с черным крестом, в красном фоне обой, в розовато-рыжавых мельканьях каминного света, как в бабочках.

Я, с кочергой,— при камине: на маленьком пуфике; красная горсть — в черно-пепельных кольцах:

— «Смотрите-ка: угли точно свернувшийся злой, золотой леопард!»

— «Подложите поленья; уж вы тут заведуйте!»

Ведаю: вспыхнули!

В безответственных разговорах она интересна была; в безответственных разговорах я с ней отдыхал: от тяжелой нагрузки взопреть с Мережковским; она, «ночной житель», утилизировала меня, зазвавши в гостиную по возвращении от Блоков (к 12 ночи); мы разбалтывались; она разбалтывала меня; и писала шутливые пируэты, перебирая знакомых своих и моих; держала при себе до трех-четырех часов ночи: под сафировым дымком папироски, расклоченным лаписто (это она приучала меня курить); мы, бывало, витийствуем о цветовых восприятиях: что есть *«красное»*, что есть *«пурпурное»!* Она, бывало, отдастся мистике чисел: что есть один, два, три, четыре? В чем грех плоти? В чем — святость ее? И дает свою записную изысканно переплетенную книжечку: «Вот: вы впишите в нее свою мысль о цветах: мне на память... Как, как?.. Дневников не ведете?..»

Она подарила мне книжечку: «Вот вам, записывайте свои мысли... А чтобы повадпее было, я вам запишу для начала... У Дмитрия, Димы,— такие же книжечки: друг другу вписываем мы свои мысли».

Она проповедовала «коммунизм» дневников, став на фоне каминных пыланий: сквозной арабескою; лучшие стихотворенья свои она выговаривала, отдаваясь игре.

Но — тук-тук: в стену; и — глухие картавые рявки:

— «Да Зина же,— Борю пусти... Ведь четвертый час... Вы мне спать не даете!»

И — топ: шамки туфель; в открытых дверях — всосы щек и напуки глаз неодетого маленького Мережковского:

— «Мочи нет... Тише же!»

И он — проваливается в темноту: и опять — за стеною колотится.

Он — нас не одобрял: не серьезные темы! З. Н. провоцировала меня к шаржам; я редко острил — от себя: от чужой остроты я взлетал до абсурдов; и Гиппиус, зная тогдашнюю слабость мою, меня уськала темой смешливой; вытягивала свою нижнюю, злую губу, подавая дымок, из нее вылетающий, щурилась, брыся ресницами; и — представлялась простячкой:

— «Вам З *** [161], Боря, нравится?» — «Нравится».— «Ну, а по-моему,— она назойлива...» — «Может быть...» — «Помните, к вам приставала, как муха?..» — «Пожалуй, что муха».

З. Н. кошкою дикою вцепится, даже подпрыгнет с козетки, готовая ведьмой с дымами в трубу пролетать: «Ну, ну,— муха же? Всякие мухи бывают; а вы,— вы подумайте: муха — какая?.. Не шпанская же». Увлеченный сравненьями с мухами, бацаю трудолюбиво: «Она — песья муха!»

И — кончено: через три дня ею будет передано с видом девочки глупой: по адресу:

— «А Боря о вас говорил, что вы...— в синий дымок с наслажденьем злым,— песья муха...»

Всю жизнь она ссорила; после она... клеветала, что А. Ф. Кони продался-де советской власти за сахар, а А *** — за ботинки *.

Шаржировал я над чужим материалом: пассивно, коли инспиратор был добр, то слагались во мне — добрейшие шаржи; она ж — была «злая»; она из меня с наслажденьем выуськивала осмеяние: «Как вам глаза ее?» — «Великолепные, серые...» — «Выпученные; а белок как крутое яйцо...» — «Что же, думаете,— бутерброд?» — «Как?» — «Яйцо разрезают; и кильку кладут на него...»

Этот бред был по адресу передан П *** [163]. П *** за него до смерти меня не любила...

— «Как вам, Зина,— не стыдно!»

— «Не я ж говорила, а — вы: я же только передала правду».

---

* Смотри напечатанные за границей дневники Гиппиус (кажется, в пражском журнале Струве) [162].

Проклявши меня за «Октябрь», в 1918 году[164], напечатала она в своих воспоминаниях о Блоке — по-русски, французски, немецки, венгерски,— какой я-де «дразнило» дрянной; и вдобавок еще — «косой»;[165] одна публицистка венгерская, встретив в Берлине, спросила меня: «Вы... вы...?» — «Что?» — «Да не косой!..» — «А откуда вы взяли, что мой удел — косость?» — «Я прочла в будапештской газете: из воспоминаний З. Гиппиус...»

Мне в 1905 году было лишь 24 года; потребности в резвости я изживал — в шутках и в жестах, нелепейших; но не «разыграешься» при Мережковском; она же любила приигрываться: ко мне; и наш разговор закипал, как кофейник, калясь, как раскал кочерги, мной засунутой в уголь; ее я вытаскивал, чтоб завертеть: из теней — вензеля завивные, пылающие перемельками, искрились.

Гиппиус часто копалась в своих граненых флакончиках, в книжечках, в сухих цветочках, в тряпицах; повяжет свою прическу атласною красною ленточкой; кротко дает мне советы:

— «Я к Вилькиной вас не пущу... К Сологубу — идите... С сестрой моей, с Татой, сойдитесь; ее растолкайте-ка: какая-то рохля она... С Антоном Владимирычем — постарайтесь узнаться... Куда завтра вы? Дима же будет у нас...»

Ночь: четыре часа; вьюга хлещет, бывало, в открытые окна ее малой спаленки (спала с открытым окошком): «Проснусь,— в волосах моих снег; стряхну — ничего; коль не окна — мне смерть; я ведь туберкулезная...» Утром (от часу до двух) из «ледовни» своей проходила в горячую ванну; жила таким способом: десятилетия!

. . . .

Дмитрий Сергеич — оранжерейный, утонченный «попик», воздвигший молеленку среди духов туберозы, гаванских сигар; видом — постник: всос щек, строго-выпуклые, водянистые очи; душою — чиновник, а духом — капризник и чувственник; субъективист — до мизинца; кричал он об общине, а падал в обмороки от звонков, проносясь в кабинет,— от поклонников, сбывши их Гиппиус; отпрепарировав, взяв за ручку, их Гиппиус вела в кабинетище:

— «Дмитрий!»

А он выходил и обнюхивал новых своих поклонников, скороговоркой рявкая в тысячный раз, в миллионный: «Вы — наши, мы — ваши: ваш опыт — наш опыт!» Он слушал не ухом, а — порами кожи; показывал белые зубы и напоминал Блоку маску осклабленного арлекина, оброс-

шего шерстью до... бледно-зеленой скулы; сядет слушать; и — бьет по коленке рукой; не дослушав, загнет трехколенчатым, великолепно скругленным периодом; хлопнет, как пробка бутылочная, почти механически:

— «Бездна: бог-зверь!»

И, пуча око, ушмякивает в свой кабинет,— превосходный, огромный, прекрасно обставленный, как кабинет управляющего департаментом; стол: двадцать пять Мережковских уложишь! «Священная» рукопись — еще раскрыта: его рукопись! Он пишет в день часа полтора: с половины одиннадцатого до полдня; бросал — при звуке полуденной пушки; весь день потом — отдыхал; как ударит вдали Петропавловка — кладет перо; я видал его еще не просохшую рукопись; и фразу последнюю с нее считывал; она кончалась порой двоеточием.

Вокруг «священного» его текста — квадратом разложены: карандаши, перья, ножницы, щипчики, пилочки, клей, пресс-папье, разрезалки, линейки, сигары: как выставка! Рукой касаться — ни-ни: сибаритище этот оскалится тигром; что было, когда раз, завертевшись, я сломал ему ножку от ломберного, утонченного столика; в эту минуту звонок: он!

— «Как? Что? Мне сломали?.. Что делали?..»

— «С Татой вертелись...»

— «Как? Радели?»

— «Помилуйте: попросту веселились!»

— «Радели, радели: какой ужас, Боря!»

Нас — выставил, а сам — захлопнулся: холод, покой, тишина! Одиночество, блеск, аккуратность; коричнево-вспухшие, чувственные губы посасывали дорогую сигару, когда, облеченный в коричневый свой пиджачок, перевязанный синим, опрятно затянутым галстуком, садился он в свое кресло; и девочкину волосатую ручку с сигарой на ручку кресла ронял, пуча очи в коричнево-серую стену и — праздно балдея.

Бывало, в огромных стенах под огромными окнами шлепает туфлей по диагонали,— как палка, прямой и холодный; схватясь за спиною руками, напучивши губы,— насвистывает; а сигарный дымок отвеется от фалды его.

Пахнет корицами!

Холодно,— в пледик уйдет; и — прыг: ножками в черный диван; закрывается пледиком, туфлей с помпоном вращая, читает арабские сказки: часами один!

А в гостиной — Антон, Дима, Зина «запрели» над темою спешной заказанной ему статьи; он с сигарой, от ска-

зок своих оторвавшися, шмякал туфлей; к нам выйдет; усядется хлопать глазами; а Дима, Антон, Зина, Тата ему подадут, точно мед, за него продуманный материал; отведав его, свистнет, уйдет; а с утра — застрочит фельетон, где сбор книжный мыслей у Гиппиус, у Философова, у Карташева: невиннейше выступит; *«община»* [166], кооперация, или — поставка сырья; сырье — мы, Зинаидою Гиппиус вываренные: в каминном огне; он ей сбыл — Философова, Волжского, Блока, меня, Карташева, Бердяева; она,— бывало, старается; он уж — выходит на голос; послушает, встанет при двери, и *«новопутеец»* Смирнов склонит свой воротник и два уха: приять бледно-нежную лапочку, поданную с неприязнью: о,— не обращайте внимания!

З. Н., Смирнов, рыжеватый Иванов, Е. П., его вводят в суть речи; а он поучает Смирнова: «Борис Николаевич — интуитивно берет; вы — логически; вы с Борисом Николаевичем не поймете друг друга; различье — непереступаемо: бездна!»

З. Н.: «Дмитрий,— слушай ушами: опять невпопад. Боря же — с Кантом; Смирнов — с метафизикой».

Тщетно: не слушал; и — путал; увидев Евгенья Павловича Иванова, впавши в игривость: раз прыг — с рыком:

— «Гыжжак».

И, толкнув Иванова на диван, ну игриво локтями пыряться, кидаясь бочком:

— «Он — гыжжак гыжжаком»,— *«ер»* как *«ге»* выговаривал, *«полуге»;* «же» — подчеркнуто; так что «рыжак» выходило: «гыжжак».

— «Порами кожи, а не ушами слушает»,— нам поясняла Гиппиус.

Или он примется едко дразниться: поэзией Блока:

— «Блок — косноязычен: рифмует «границ» и «царицу»[167].

Как мячиками, пометает глазками в меня, в Философова:

— «У Льва Толстого кричал Анатоль, когда резали ногу ему: «Оooo!» Иван же Ильич у Толстого, когда умирал, то кричал: «Не хочу-ууу...» [168] А у Блока: «Царицуууу!» «Ууу» — хвостик; он — шлейф подозрительной «дамы» его; не запутайтесь, Боря, вы в эдаком шлейфе!»

И очень доволен, что нас напугал; и бежит: в кабинете захлопнуться, бросив нас Гиппиус.

Я с ним встречался за утренним кофе: часам к десяти; З. Н.— к двум из ледовни своей выходила; а Тата и Ната,

художницы-сестры, часов с девяти — в Академии; белая скатерть, стаканы и булки; Д. С., я — ни звука друг другу; и всякий — сказал бы: «Надулся». С оттенком брезгливости, чопорно он подавал свою ручку мне, но я знал, что «брезгливость» его — роман «Петр»;[169] он писал его с половины одиннадцатого; и боялся, что мысли ему я спугну; мы над кофе бросали друг в друга угрюмые взоры; вдруг, бросивши кофе,— шлеп-шлеп: в кабинет; с величайшею мукою отстрачивать свою фразу прекраснейшим почерком; в рукописи не было помарок: лишь — вычерки.

Но вот — пушка ударила.

И, тихо насвистывая, в меховой своей шапке, в пальто на меху — легким скоком: в переднюю; шел — в Летний сад;[170] недописанная же фраза — на запятой досыхала.

Бывало: пуржит над Невой; пересвистывает через копья решетки всклокоченной лопастью белая пырснь; из нее выбегает вдали он — в бобре оснеженном: малюсенький; воск,— не лицо; я не раз на него натыкался; фигурка бежала, не видя меня; а когда замечала, то чопорно, с явной брезгливостью к шапке тянула два пальца; и, не дотянувшись,— руку в карман: под углом прямым свертывал в боковую дорожку, чтоб скрыться в клокочущем дыме пурги.

Мы сбегались к двум: завтракать.

Завтракали, как за кофе,— вдвоем; Таты, Наты и Зины — нет; в третьем З. Н. из ледовни в капоте, с обмотанною головою проходит в горячую ванну, которую Даша, ее престарелая няня, готовит. В четвертом — камин затрещал:

— «Боря, что же не идете?»

Сидение наше открыто: звонки — с четырех.

КАРТАШЕВ, ФИЛОСОФОВ

Д. В. Философов является с видом придиры и экзаменатора, безукоризненно бритый, при маленьких усиках (американская стрижка); сияя молочною ямочкою подбородка и галстуком бледнонебесного цвета, светился пробором прилизанных русых волос; на нем гладкая серо-мышевая пара: налет — серо-перловый; слушает с бледным ледком; и свой сломленный корпус несет, перешмякивая на шажочках: малюсеньких; он, отвечая, лицо подает, как ладонь; весь — обидная поза вниманья:

— «Пээ...звольте же,— тенором, несколько смазывая «о» и «э»; руку — нáвись; своей папироской — над пепельницей: точно выставленный манекен из зеркальной витрины; стеклом немигающих глаз: — Почему вы так думаете?»

Удивлял, впрочем, он: лед затает; распек перейдет в журкотню; вот уж он улыбается верхнею частью лица (губы — не улыбаются); шмякает мягким ковром; и несет на диван длинный корпус: шажочками маленькими; изогнув свою брюку, с пóохом в диван он обрушится корпусом: локоть — в подушку; отсюда несутся дымки; он доволен, что службу понес, потому что обидная трезвость, распек, журкотня как ступени спадающей лестницы; то — пролегомены: к его функциям.

Он — тетушка и экономка идейного инвентаря Мережковских; он гувернанткой, бывало, за вами следит, как за пупсом, играющим с вверенным его дозору смешным карапузиком; «Дмитрий» — его карапузик; держал в рукавицах ежовых; за ручку схватив, с ним он шмякал в салон, где Слонимский и Струве — и эдак, и так: карапузика; а карапузик с опаской косился на «Диму», который в салоне перед «Дмитрием» нес караул; здесь он был — камердинер; пришмякавши с ним из салона, придирчиво анализировал каждую глупость «наивного малого»; «Дмитрию» все отливалось: по косточкам перебиралось; и ставилось: «два» или — «три» (а *«четыре»* не ставилось); «Дмитрий» нахлопает громкой риторикой; «Дима» подаст, как ладонь, подбородок, с протягами корпуса:

— «Позволь, позволь: тут — смешение... А во-вторых...— он обдернет с перловым налетом пиджак: два шажка, остановка,— тут есть,— два шажка, остановка; и — задумь, и — задержь: в носки,— Гессен так тебе скажѐт,— и, корпусом пав на диван, локтем — в угол подушки: — Не правда ли, Боря? Скажите ему,— социал-демократы ведь его осмеют?.. А? Не правда ли?» — с долгим растягом на «а». И, как липка ободранный «Димою», «Дмитрий» бежит в кабинет: чинить схему; а — Зина вдогонку: «Хорош!» «Дмитрий» шмякает, бегает, курит, чинит; «Дима» раза четыре заставит его пробежаться; гоняет сквозь строй; наконец под статейкой подпишет: «одобрено»; и как бы штемпель приложит.

Философов — канцлер двора Мережковских; это он уволок Мережковского в дебри политики, силясь в нем вымыслить мысль; когда вымыслилась, то оказалось, что — жалкая; лучше бы оставил его при риторике; сила

Д. С.— риторическая загогулина; слабость — его фельетончик, который уносится «Димой» в газету и там перед Струве, Туган-Барановским отстаивается; на важное общественное заседание, куда «Дима» фрак надевал, бедный «Дмитрий» не брался; от имени «Дмитрий Сергеича» тонно вставал и докладывал «Дмитрий Владимирович»; Туган-Барановский и прочие: «Дмитрий Сергеич, нет, нет...— и смешок сквозь морщок.— Ну, а Дмитрий Владимирович — человек положительный...»

Дмитрий Владимирович ярок был, когда в «Мире искусства» сидел;[171] но зато не был он «человек положительный»; сколько усилий себя опреснить для того, чтобы Струве сказал: «Человек положительный он».

. . . .

И галопом влетал с четырех часов, угрожал чернотами глазных провалов, виясь, точно уж, Карташев, называемый в быте коммуны в те годы «Антоном»; кивал из дверей указательным пальцем и гоголевским своим носом,— зеленый, костлявый, с несвежею кожей, с пожухлыми усиками: цвет — медвежьего меха; порхали «последним» протестом зеленые глазки его:

— «Вы сидите, а тут кругом — дела: да-да-да!»

Нигде не присаживаясь,— мимо кресел, диванов: по кругу, галопом, прискоком, с притирами рук под усами, с сиганьем спины, с перевертом на Дмитрия, Зину и Диму, которых — обскакивал; мчался, как с кочки на кочку:

— «Сергея Платоновича Каблукова я уговорил оппонировать, если Булгаков придет...»

И, захлебываясь южнорусским своим тенорком, как дьячок из Диканьки,— вприпрыжку, взахлест: и слова тарахтели, как десять мешков, высыпавших сухие горошины,— о заседании Религиозного общества, о женских курсах, где долго церковное право читал он, о митинге; все, скосясь, мчалось: радел, закрывая глаза и поматывая носом такой загогулиной; вкопанным ставши, ладонь прижимая к дощечке грудной, он снедался сухим огнем,— своей лихоманкою страстной; казалось, что — вспыхнет: лиловым морщочком отвеется в пламени; губы, скривленные точно в блаженнейшей боли; глаза, так змеино прикрытые,— щелки.

В своем красноречии он числился —«Златоустом», но — проходившим учебу у... Писарева. Бывало, иссякнувши, рушился трупом в кресло; короткий пиджак — масти рябчика; сжаты костяшки лягушечьих пальцев; над ним, как нос, подбородок, проостренный; напоминал мне

он Павла Астрова: так же глазами пил речь; не поймешь: издевается или согласен; он раз пригласил меня к себе отобедать; был внимателен донельзя: «Да, да, да, да!» Угостивши, повел: на заседание; я читал реферат в его обществе; он, председательствуя, слушал меня с тем же покивом, с зажимом костяшек костяшками пальцев; и вдруг, точно в пляску скелетов, взвивающих саваны, он, председатель, взлетел, развивая сюртук, чтоб, приставивши два указательных пальца к вискам, изогнув саркастически губы, юля вправо-влево рогами, им сделанными, южнорусским своим тенорком показать меня чертом:

— «Да-да-да-да-да! Тут показывали нам — хвостатых, рогатых! Но мы не согласны на них!»

Я — спиною к нему; он — за мною; после заседания:

— «Борис Николаевич,— к вам я: два слова».

И, взяв меня под руку, ринулся в дверь; неслись петербургскою ночью; и он:

— «Не сердитесь, пожалуйста!..»

Свою брошюру поднес:[172] с задушевною надписью; был столь же искренен, как и в минуту, когда меня сделал чертом: для паствы своей.

Он, ломаясь зигзагами, выбросив палец с *«да-да-да-да-да»*, с *«нет-нет-нет»*, мчал, бывало, по кругу гостиной опущенный выцветший усик, свинцовые всосы щек и нос как у Гоголя; больно углил во всех смыслах: душевном, духовном, физическом; «Дима» щипцами забукливал, как парикмейстер, идеи Д. С. Мережковского, а Карташев их трепал трепками — налево, направо; налево: *«вы жертвою пали»;* и — Писарев; вправо: *«воззвах к тебе, Господи»;* и... Златоуст.

То и дело я слышал от Мережковских: «Антон убежал: хлопнул дверью... Антон нигилизм развивает... Антон развивает церковность... Пусть Тата и Ната притащут Антона...» Сестрицы, две, сильно дружили с ним; Зина — царапала больно; царап-цап,— он в дверь; за ним — Тата и Ната; бывало,— вволакивают; он — брыкается: «Нет, нет, нет, нет... Не могу с Зинаидою я Николаевной» (не «Николавною», как южнорус); «Дмитрий» — нем и напуган, а «Дима», ныряющий «Дмитрия»,— нежен, внимателен, предупредителен с Карташевым; он есть мирящий; проблема: «Антон или — Зина»; кого кто обидел: кто бровью не так передернул, кто эдак губу прикусил? Мне бывало ужасно, когда меня втаскивали в эти стародавние их «при»:

— «Нет же, слушайте, Боря!»

Почем знаю я корень свар: может,— «семинарист», в своем быте русейший, наталкивался на дворянку и на «декаденточку», происхождения шведского; где-то носами их, видно, стукнуло; может, в те годы, когда он, Успенский — два юных профессора из духовной академии — жар свой несли, откликаяся на зов Мережковского; когда «небесный профессор» (так в шутку обоих звали), катая З. Н. в час заката на лодке, песни певал ей: «Свете тихий!»

Певал он прекрасно церковные песни (я — раз его слушал).

Не знаю, но — «черная кошка» меж ними была; раз он жаловался мне на «патронов» своих: «Они — узкие...» Моя последняя встреча с ним — дни февраля 1917 года;[173] с тою ж дикой страстностью, как и при первом знакомстве, он, провопияв — *«Не могу, не могу»*,— из гостиной Мережковских в переднюю: хлоп! Мережковский:

— «Антон убежал!»

Я скоро — уехал в Москву; Карташев вернулся к Мережковским с портфелем министра;[174] мы — больше не виделись.

Он связан мне с сестрами Гиппиус: с Татой и с Натой; он более с Татой дружил; все она меня уводила к себе; усадивши на серый диван, мне показывала ряд альбомов: дневник зарисовок фантазий и снов; Блок рисунки ее оценил, посвятив Тате «Твари весенние», иль:

Скоро... чертик запросится
Ко святым местам[175].

Темы рисунков — чертики, нежити или — скелеты; один на луне загогулиной несся, плеснув белым саваном.

— «Знаете, Тата, кого бы я пририсовал? Догадайтесь!»

— «Антона Владимировича?»

— «Конечно!»

— «Не правда ли, что-то в нем от Хомы Брута, промчавшего ведьму по кочкам, а после отчитывавшего ее... в пустой церкви?»[176]

— «Пожалуй!»

Он так же отчитывался от укусов З. Гиппиус; пуще того: министр исповеданий,— читал в пустой церкви проекты свои: стены — рухнули...

Тата, как помнится, брала уроки у Репина; Ната насвистывала и вырезывала статуэтки; красивая, голубоглазая, бледная и молчаливая «стрижка»; казалась мне послушником.

Зина, Дмитрий — «марийствовали»: в кабинете, в гостиной; а Тата была вечной Марфою; [177] бремя хозяйства, уборки, храненья квартиры лежало на ней и на нянюшке, Даше.

. . . .

Антон, Тата, Ната и Дима — столпы «догмы» Дмитрия в эти годы; остальные — «оптанты»; они — приближались, отскакивая; их состав — изменялся; потели над ними с терпеньем; никто не пришел: это — я, С. П. Ремизова, А. С. Глинка, Бердяев, Тернавцев; кто тут не присиживал? И — Шагинян на короткий срок приседала, и — А. Блок, и... и... и...— Вильковысский с Румановым — не присели ль? Присел-таки... Савинков!

А в 905—906 появился здесь Николай Бердяев.

Высокий, чернявый, кудрявый, почти до плечей разметавшийся гривою, высоколобый, щеками румяными так контрастировал с черной бородкой и синим, доверчивым глазом; не то сокрушающий дерзостным словом престолы царей Навуходоносор, не то — древний черниговский князь, гарцевавший не на табурете,— в седле, чтобы биться с татарами.

Синяя пара, идущая очень к лицу; малый, пестрый платочек, торчащий букетцем в пиджачном кармане; он — в белом жилете ходил; он входил легким шагом, с отважным закидом спины; и, слегка приподнявши широкие плечи,— с подъерзом, почти незаметным, кудрями отмахивал: к ручке; грустнея улыбкой, садился на пуфик: под Гиппиус; сиял глазами, стараясь молчать, как воспитанный эпикуреец, а не как философ; в усилиях на низком пуфике стройно сидеть (не орлом), он потрескивал пуфиком, дергался шеей и галстук рукой оправлял: сан-бернар в голубятне!

Внимал, силясь быть церемонным и мягким.

Но вот, сдерживаясь, задетый (его точку зрения тронули), с живостью, с дергом, со скрипом, схватясь трепетавшей рукою за ручку, закидывал ногу на ногу, чтобы не слететь себе под ноги, точно под ними — отверстая бездна.

Слетал:

— «Вообще говоря,— нет же... Я... утверждаю...» — с пронзительной силою, точно карьером несясь и держа в отлетевшей руке боевое копье, а не выскочивший карандашик; миг — Гиппиус нет: кверх тормашками рухнет под этим наскоком богатыря на «татарина», а... не на даму.

Но дама сидела; а вот богатырь — кувырком: через голову лошади,— прямо лбом: в бездну!

Не это случалось, а нервный претык к «утверждаю»: упав головою в свои кулаки, подлетевшие к красным губам, как у мавра, рвал губы, оскалясь, мигая и прыгая теперь сутулой спиной, подавясь утверждением; из ротового отверстия черно-огромного красный язык вывисал до грудей; он одною рукою язык себе силился снова упрятать, трясяся над ним, а другой, отлетевшей, хватался за воздух и рвал его (так ловят моль); после этого нервного тика — рука, рот, язык, голова возвращались на место.

И — «я утверждаю» — лилась Ниагара коротких, трескучих, отточенных фразочек; каждая как ультиматум: сказуемое, подлежащее, точка; сказуемое, подлежащее, точка, которую ставил его карандашик-копье, протыкая пространство меж пуфиком и дьяволицею белой: ни возраст, ни пол, ни достаток, ни класс не влияли; сиди тут бог-отец, паралитик иль пупс,— с одинаковою убежденностью произнесется прокол точки зрения: точкою зрения; «мавр» — непреклонен!

Свершив свое дело, задумчивый, грустный, внимающий — мягко, бывало, сидит; и сияют глаза его синие; чуть улыбнется; и — галстук оправит. В том пафосе было несносное что-то; но — детское; точно слепой; Мережковский, глухой,— тот кричал про свое: когда спорили до хрипоты про «Фому и Ерему», то другие старались вернуть разговор в берега:

— «Дмитрий, слушаешь порами»,— Дмитрию Зина.

— «Как вы, Николай Александрович, не видите сами»,— бывало, Дима.

Не внемлют: гам этих догматиков — идеалиста-философа с мистиком от теологии напоминал бой тапира с... мартышкою.

. . . .

Бердяев, вспыхивая, выговаривал нестерпимые, узкие крайне, дотошные истины; лично же был не узок, и даже — широк, до момента, когда себя обрывал: «Довольно: понятно!»

И тогда над мыслителем или течением мысли, искусства, политики ставился крест: возомнивший себя *крестоносцем,* Бердяев, построивши стены из догмата, сам становился на страже стены, отделившей его самого от хода им наполовину понятой мысли; себя он ужасно обуживал; необузданное воображенье воздвигало очередную химеру; эту химеру окобывал непереносным догматом он; оковав,— никогда уже более не внимал тому, что таилось под твердою оболочкою догмата; оборотною стороной догматизма

его мне казался всегда химеризм; начинал он бояться конкретного знанья предмета, провидя химеру в конкретном; и с этим конкретным боролся химерою, отполированною им — под догмат; совсем химерический образ больного Гюисманса оказывался догматически бронированным: истинами от Бердяева; и он объявлял крестовый поход против созданной им химеры, дергаясь, вспыхивая, выстреливая градом злосчастных сентенций, гарцуя на кресле, ведя за собою послушных «бердяинок» приступами штурмовать иногда лишь «четвертое» измерение; и вылетал, как в трубу, в мир чудовищных снов: он — кричал по ночам; мне казался всегда он «субъективистом» от догматического православия, или, обратно: правоверным догматиком мира иллюзий.

Дома ж часто бывал так спокойно-рассеян, грустно-приветливый, очень всегда хлебосольный,— являлся из кабинета воссиживать каким-то сатрапом: на красное кресло, только что отскрипевши пером, проколовшим позицию Д. Мережковского в бойком своем фельетоне, который появится завтра же,— после боя чернильного ужинал, молчаливый, усталый, предоставляя Л. Ю. Бердяевой и сестре ее за ужином монополию мира идей; и внимал им с сигарой во рту.

В его доме бывало много народу: особенно много стекалось сюда громких дам, возбужденных до крайности миром воззрений Бердяева, спорящих с ним и всегда отрезающих гостя от разговора с хозяином; скажешь словечко ему; ждешь ответа — его; но уж мчится стремительная громкая стая словесности дамской, раскрамсывая слова, не давая возможности Бердяеву планомерно ответить; было много идейных вакханок вокруг него.

. . . .

Мережковские меня приглашали, затащив в разговор, подымать с Бердяевым нудные, ставшие скоро мне несносными темы, когда возвращался от Блоков я около двенадцати часов ночи.

— «Ну, наигрались,— пора и за дело»,— лукаво мигал Мережковский.

— «А мы,— З. Н. Гиппиус,— пока вы с Блоком молчали, тут все обсуждали: подписываться под протестом иль — нет...»

Оглашался протест; и, кряхтя, на плечах подымал я общественно-религиозную тему; но скоро меня утомила общественность эта,— тем более что в ней всплывал уже... Струве с «Полярной звездой»; я ж — левел: Мережков-

ский во мне натыкался: во-первых,— на недопустимое для него поднимавшееся сочувствие к эсдекам (он же лынял меж кадетами и меж эсерами); и, во-вторых: ему претил круг моего философского чтения.

— «Это ж механика мертвая!» — он восклицал: мертвой механикой он считал все, что — не он.

Любопытство и художественного, и теоретического порядка влекло меня к этим религиоэным философам, как оно же влекло и к философам не религиозным.

ПИРОЖКОВ ИЛИ БЛОК

Мережковский когда-то пленял разгляденьем художников слова на фоне истории; но мне претили при ближайшем знакомстве с кулисами мысли его: они — догматизм, журнализм; так что громкий рычок на церковность апокалиптического и безгривого «левика» — надоедал: он рычал на церковность из «церквочки», связанной с тем, с чем он рвал; так что рвал и метал на себя самого этот «левик»; Д. В. Философов последовательно отдавался кадетской общественности; Карташев клевал на церковь; союзники, в сущности, уже тогда улепетывали от него; Философов хотел бы «дострувить» его; Карташев бы хотел его «дозлатоустить»; до пояса — «струвик», до ног — «златоустик», он стал не собою самим: «Филошев» с «Картасофовым» дали серейшую мазь; этой мазью замазал он собственные, прежде яркие краски: фатально; его «Юлиан» интересней, живей, чем «Воскресшие боги», которые лучше «Петра»; «Петр» свежей «Александра»;[178] так все им написанное — в нисходящей градации; жалко приклеенный «туфлей с помпоном» к трамплину, с которого прыгал, явил не прыжок через бездну, а только сигание ножки, приветствующее революцию; разве что туфелька с ножки, вильнувши помпоном, слетела в расщеп меж двумя берегами; помпон, это — бомба, которую хотел метать вместе с Савинковым; подскочившие сзади друзья,— «Филошев» с «Картасофовым», его отклеив, стащили в Варшаву, где он объявил: «Ожидаемый миром мессия — Пилсудский»[179]. Поставив в Париже «наивного малого» — во все лопатки: Д. В. Философов — в Варшаву; [180] А. В. Карташев — под Святейший Синод [181].

В 905 году дружба с сестрами — Зиною, Татою, отклик на сердце, которого не было (была лишь видимость), меня держали в гипнозе; и я от себя самого утаил, до чего этот

«левик» мне чужд в выявленьях идейных и личных: несло от него, как из погреба,— холодом!

Гиппиус в тонкостях мыслей и чувств была на двадцать пять голов его выше; она отдала свою жизнь, свой талант, свой досуг, чтоб возиться с хозяйствами «всеевропейского» имени; она — работница с грязною тряпкой в руках; Мережковский питался ее игрой мысли; во многом он вытяжка мыслей З. Н.; порошки ему делали: «зинаидин» (нечто вроде «фитина»); «коммуна» позднее мне виделась лабораторией газов, которыми «тещин язык» * верещал: на весь мир!

Не случайно, что я и Д. С. друг на друга глазами лишь хлопали; и не случайно, что с З. Н. я ночи свои проводил в неотрывных беседах; в те годы она — конфидентка, мне нужная; еще не видел я тени ее, ставшей ею впоследствии, когда она — стала тень; это — сплетница, выросшая в клеветницу и кляузницу! Мотив жизни в сем «логове» — не только Гиппиус; Блоки, с которыми виделся я ежедневно («коммуна» моя номер два); Мережковские грызли меня за мое убеганье в казарму: что общего?

«Дмитрий», бывало, попугивает: рифмой с хвостиком Блока:

— «Кричал Анатоль: «О, о, о!» Губку пятила жена Андрея Болконского. Иван Ильич кричал: «Ууу!» Блок — «Цариц-ууу!»

И — склабился; Блок отмечал тот осклаб:

— «Арлекин!»

— «Боря, Блок — тюк какой-то: не сдвинешь»,— З. Н. добавляла; не «Боря» у ней выходило,— «Бэз...оря!»

Однажды Д. С. и З. Н. загорелись желаньем: с Л. Д., женой Блока, встретиться: «Бэ-оря, тащите их, сдвиньте их с места!»

Порой порученья давалися мне щекотливые: для Мережковского я покупал... «пипифакс»; и — его знакомил в Париже — с Жоресом. Я помню, как я вез А. А. и Л. Д. на извозчиках к дому Мурузи в весенних капелях; зиял юный серп; Александр Александрович губы скривил, спрятав нос в воротник; и мехастую шапку — на лоб.

З. Н. встретила с официальной приветливостью; рыже-розовые волоса подвязала пурпуровой лентой; лорнетку — к глазам, Любовь Дмитриевну оглядев с головы и до пят: «А... скажите... А как же... А Боря рассказывал?» Д. С., взволнованный, будто пришел Пирожков, а не Блоки,

* Детская игрушка, продававшаяся на Вербе в Москве.

с любезно-картавыми рыками зубы показывая, стал эластичный, слетая с дивана, как мячик, и бегая диагоналями; Блок же печально тенел из угла.

Ничего из знакомства не вышло[182].

Блок, я, Любовь Дмитриевна, слухи; в 1906 году Савинков; где-то таимый, все — мельк пыли подсолнечный; «Дима» в 1906 году помчался в Париж; за ним «Зина» и «Дмитрий» рвались; все зависело от Пирожкова, издателя; Д. Мережковский, млея на солнышке, брал тогда с собою на Литейный меня и показывал мне на барашки: «Весеннее небо».

С утра и до вечера слышалось:

— «Вот Пирожков... С Пирожковым... Придет Пирожков».

Продавалась «Трилогия»; идеология, всякая, таяла пред ожидаемыми посещениями Пирожкова[183].

И вот он — пришел.

И сейчас же потом, взяв с собою пальто Мережковского (уже в Париже — весна), застегнув на нем шубку, схвативши его чемоданчики,— я, Карташев, Тата, Ната и Ремизова — на Варшавский вокзал;[184] он в вагоне облекся в пальто, сбросив в руки нам шубу:

— «В Пагижже фиалки!»

Боялся — простуды, заразы, клопов, революции; и посылал меня за... «пипифаксом».

Мне связаны вместе: отъезд, Пирожков и... «пипифакс».

В. В. РОЗАНОВ

Раз, когда с Гиппиус перед камином сидели с высокой *«проблемой»*,— звонок: из передней в гостиную дробно-быстро просеменил, дрожа мягкими плотностями, невысокого роста блондин с легкой проседью, с желтой бородкой, торчком, в сюртуке; но кричал его белый жилет, на лоснящемся, дрябло-дородном и бледно-морковного цвета лице глянцевели очки с золотою оправой; над лобиной клок мягких редких волос, как кок клоуна; голову набок клонил, скороговорочкою обсюсюкиваясь; и З. Н. нас представила:

— «Боря»!

— «Василий Васильевич!»

Это был — Розанов[185].

Уже лет восемь следил я за этим враждебным и ярким

писателем, так что с огромным вниманьем разглядывал: севши на низенькую табуретку под Гиппиус, пальцами он захватывался за пальцы ее, себе под нос выбрызгивая вместе с брызгой слюной свои тряские фразочки, точно вприпрыжку, без логики, с тою пустой добротою, которая — форма поплева в присутствующих; разговор, вероятно, с собою самим начал еще в передней, а может,— на улице; можно ль назвать разговором варенье желудочком мозга о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге? Он эти возникшие где-то вдали отправленья выбрызгивал с сюсюканьем, без окончания и без начала; какая-то праздная и шепелявая каша, с взлетаньем бровей, но не на собеседника, а над губами своими; в вареньи предметов мыслительности было наглое что-то; в невиннейшем виде — таимая злость.

Меня поразили дрожащие кончики пальцев: как жирные десять червей; он хватался за пепельницу, за колено З. Н., за мое; называя меня Борей, а Гиппиус — Зиночкой; дергались в пляске на месте коленки его; и хитрейше плясали под глянцем очковым ничтожные карие глазки.

Да, апофеоз тривиальности, точно нарочно кидаемой в лоб нам, со смаком, с причмоками чувственных губ, рисовавших сладчайшую, жирную, приторно-пряную линию! И мне хотелось вскрикнуть: «Хитер нараспашку!» Вдруг, бросив нас, он засопел, отвернулся, гребеночку вынул; пустился причесывать кок; волоса стали гладкие, точно прилизанные; отдалось мне опять: вот просвирня какого-то древнего храма культуры, которая переродилась давно в служащую при писсуаре; мысли же прядали, как пузыри, поднимаясь со дна подсознания, лопаясь, не доходя до сознания,— в бульках слюны, в шепелявых сюсюках.

Небрежно отбулькавши мне похвалу, отвернулся с небрежеством к Гиппиус и стал дразнить ее: ведьма-де! З. Н. отшучивалась, называя его просто «Васей»; а «Вася» уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем,— о розовощекой матроне своей (ее дико боялся он); дергалась нервно коленка; лицо и потело, и маслилось; губы вдруг сделали ижицу; карие глазки — не видели; из-под очков побежали они морготней: в потолок.

Вдруг Василий Васильевич, круто ко мне повернувшись, забрызгал вопросиками: о покойном отце.

— «Он же — умер!!.»

Вздрог: выпрямился; богомольно перекрестился; и забормотал — с чмыхом, с чмоком:

— «Вы — не забывайте могилки... могилки... Молитесь могилкам».

И все возвращался к «могилкам»; с «могилкой» ушел; уже кутаясь в шубу, надвинувши круглую шапку, ногой не попав в большой ботик, он вдруг повернулся ко мне и побрызгал из меха медвежьего:

— «Помните же: от меня поклонитесь — могилке!»

И тут же, став — ком меховой, комом воротника от нас — в дверь; а З. Н. подняла на меня торжествующий взгляд, точно редкого зверя показывала:

— «Ну, что скажете?»

— «Странно и страшно!»

— «Ужасно! — значительно выблеснула, — вот так *плоть!*»

— «И не плоть,— фантазировал я,— плоть без «ть»; в звуке «ть» — окрыление; *«пло»* — или лучше два «п», для плотяности: п-п-п-пло!»

В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы Розанова:

— «Просто *«пло»*!»

Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает отправлениями аппарата слюнного; без всякого повода смякнет, ослабнет: до следующего отправления; действует этим; где люди совершают абстрактные ходы, он булькает, дрызгает; брызнь, а — не жизнь; мыло слизистое, а — не мысль.

Скоро стал я бывать на его «воскресеньях», куда убегал от скучных, холодных воскресников Ф. Сологуба, который весьма обижался на это; у Розанова «воскресенья» совершались нелепо, нестройно, разгамисто, весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось утеснения в тесненькой, белой столовой; стоял большой стол от стены до стены; и кричал десятью голосами зараз; В. В. где-то у края стола, незаметный и тихий, взяв под руку того, другого, поплескивал в уши; и — рот строил ижицей; точно безглазый; ощупывал пальцами (жаловались иные, хорошенькие, что — щипался), бесстыдничая переблеском очковых кругов; статный корпус Бердяева всклокоченною головой ассирийца его затмевал; тут же,— вовсе некстати из «Нового времени»: Юрий Беляев; священник Григорий Петров, самодушная туша, играя крестом на груди, перепячивал сочные красные губы, как будто икая на нас, декадентов; Д. С. Мережковский, осу-

нувшийся, убивался фигурою крупною этою; недоуменно балдел он, отвечая невпопад; с бокового же столика — своя веселая группа, смакующая безобразицу мощной вульгарности Розанова; рыжеусый, ощеренный хищно, как бы выпивающий карими глазками Бакст и пропухший белясо, как шарик утонченный с еле заметным усенком — К. Сомов.

Все — выдвинуты, утрированны; только хозяин смален; мелькнет белым животом; блеснет своим блинным лицом; и плеснет, проходя между стульями, фразочкою: себе в губы; никто ничего не расслышит; и снова провалится между Бердяевым и самодушною тушей Петрова; здесь царствует грузная, розовощекая, строгая Варвара Федоровна, сочетающая в себе, видно, «Матрену» с матроной; я как-то боялся ее; она знала, что я дружил с Гиппиус; к Гиппиус она питала «мистическое» отвращение, переходящее просто в ужас; я, «друг» Мережковских, внушал ей сомнение.

Розанов, взяв раз за талию, меня повел в показную, парадную комнату; она зарела, как помнится,— розовым; посередине, как трон, возвышалося ложе: не ложное; и приводили: ему поклониться; то — спальня.

Однажды он, смяв меня и налезая, щупал, плевнул вопросом; и я, отвечая, чертил что-то пальцем по скатерти: непроизвольно; он, слов не расслышав, подставивши ухо (огромное), видел след ногтя, чертившего схему на скатерти, и, точно впившись в нее, перечерчивал ногтем, поплевывал: «Понимаете!» Силился вникнуть; вдруг он запыхался, устал, подразмяк, опустил низко голову, снявши очки, протирал их безглазо, впадая в прострацию; физиологическое отправленье совершилось; не мог ничего он прибавить; мыслительный ход совершался естественной, что ли, нуждою в нем; так что, откапав матерей мыслей, он капать не мог.

Не забуду воскресников этих; позднее на них пригляделся — впервые я к писателю Ремизову; он сидел, такой маленький, всей головою огромной уйдя себе под спину; дико очками блистал; и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взъерошенных, вставших волос; меня вовсе не зная, уставился, как бык на красное; вдруг, закрививши умильные губки, он мне подмигнул очень странно; мне сделалось жутко; и он испугался; сапнувши, вскочил, оказавшись у всех под микиткой; пошел приставать к Вячеславу Иванову:

— «У Вячеслава Иваныча — нос в табаке!»

И весь вечер, сутуленький, маленький, странно таскался за В. И. Ивановым; вдруг, подскочивши к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски-цапким движением перепрокинул качалку; все, ахнув, вскочили; Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде: там, где сапоги,— голова; там же, где голова,— лакированных два сапога; все на выручку бросились; только не Розанов, сделавший ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то.

Однажды я днем зашел; он посулил подарить свою книгу, редчайшую («О понимании»):[186] «Вы приходите за ней; я вам ее надпишу». Закрученный вихрем, признаться, о книге забыл; не зашел; он же ждал: приготовился; и страшно обиделся.

В этот приезд я его повстречал на Дункан; был я с Блоками;[187] взяв меня под руку, он недовольно поплескивал перед собою, мотаясь рыжавой своей бороденочкой:

— «Хоть бы движенье как следует; мертвый живот; отвлеченности, книжности... нет!»

И, махнув недовольно рукою, он бросил меня, не простившись.

Поздней его встретил в «Весах»; М. Ф. Ликиардопуло, гостеприимно его усадив на диван, перед ним разложил животы оголенных красавиц; и Розанов мерил их, как специалист по вопросу, высказывая очень веско и строго суждения, геометрические,— об удобствах или неудобствах младенца: лежать — в животе такой формы; в нем был не цинизм,— что-то жреческое, исправлявшее свою обязанность; вдруг он воскликнул:

— «Вот это — живот: согласился бы крестным отцом быть!» — плевнул он, довольный.

При встречах меня он расхваливал — до неприличия, с приторностями; тотчас в спину ж из «Нового времени» крепко порою отплевывал; там водворился Буренин, плеватель известнейший; Розанов, тоже сотрудник, равнялся с другими: по плеву; меня это не занимало; при встречах конфузился он; делал глазки и сахарил; значит,— был плев; и поэтому как-то держался в сторонке от Розанова до момента еще, когда прежние его друзья вдруг с усердием, мне не понятным (чего ж они прежде дремали?), его стали гнать и высаживать из разных обществ;[188] а он — упирался; я несколько лет не бывал у него уже.

В 1908 году мокрая осень стояла в Москве; день плаксивился лепетнем капелек; небо дождями упало; весь этот

период покрыт мне тоскою и тьмою; в гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, раз брел уныло я, пересекая Тверскую; у памятника кто-то дерг — за рукав; оборачиваюсь: смотрю,— мокренькое пальтецо, шапка мятая; в скважинах поднятого воротника — зарыжела бороденка: метелкой; рука без перчатки хватается: мокрая.

Розанов!

— «Откуда это, Василий Васильич?»

— «Да вот — проездом; спешу в Петербург; дожидаюсь заведующего газетой.— Схватился руками за локоть и ижицу сделал: — Голубчик мой, не покидайте меня; делать нечего!»

Дергая за руку, дергаясь и пришепетывая, стал он водить и туда и сюда в закоулках, завешанных грязным туманом; воняло; и — брызгали шины; калошами черпали воду; вдруг кинулись мороки красные, белые, синие, «Часы Омега», брызнь кинематографов, перья накрашенных дам; среди мороков — Розанов, сделавши ижицу, мокрой губою выбрызгивал свои «ужасики»: об аскетах святых; и прохожие, остановившись, оглядывались.

Затащивши в кофейню Филиппова, меж освещенными столиками, продолжал он выплевывать «бредики»,— мокрый, потертый, обтрепанный, до неприличия,— средь щеголей, пшютов, пернатых и размазанных дам; вдруг он выразил немотивированный интерес к А. А. Блоку, к жене его, к матери, к отчиму; я же был с Блоком — в разрезе; и мне было трудно на эти интимные темы беседовать с В. В., он сделался зорким; трясущейся, грязной рукою хватал за пальто, рысино глазки запырскали вместе с очковыми блесками; голову набок склонив, залезая лицом своим, лоснясь в лицо, стал выведывать, как обстоит дело с полом у Блока.

И тут же, средь чмыхов и брызг, обхвативши карманы свои, стал просить у меня — себе в нос:

— «Уж простите, голубчик, в кармане платка нет; а — насморк; нет мочи; у вас нет платка?»

— «Есть, нечистый!»

— «Давайте же, миленький, какой ни есть: не побрезгую!»

И, отхватив мой платок, суетился над ним: де заведующий ожидает; мы вылетели на бронхитную, рыжую от освещения пырснь; он в ней — канул.

И вновь для меня провалился сквозь землю: на год.

. . . .

Юбилейные дни 1909 года; полный зал: фраки, клаки; Москва, вся,— здесь: чествуют Гоголя;[189] и даже я надел фрак, мне пришедшийся впору (не свой, а чужой); как бездомная психа, ко мне притирается Розанов, здесь сиротливо бродящий; места наши рядом — на пышной эстраде; А. Н. Веселовский, уже отчитавший, плывет величаво к Вогюэ и другим знаменитостям; Брюсов, во фраке,— выходит читать; В. В. в уши плюется, мешая мне слушать; а я добиваюсь узнать, от кого он приехал сюда, что собой представляет он: общество, орган, газету? Мы все — «представители» здесь (на эстраде); он делает ижицу, делает глазки; и явно конфузится:

— «Я?.. От себя...»

Значит,— «Новое время» [190], мелькает мне; и мне, признаться, не очень приятно с ним рядом; он, взявши под руки, не отстает; и мы бродим в антракте, толкаясь в толпе; уж не он меня водит, а я его, в тайной надежде нырнуть от него: меж плечей; нам навстречу — Матвей Никанорович Розанов; вообразите мое удивление: друг перед другом два однофамильца, согласно расставивши руки и улыбнувшись друг другу, сказали друг другу:

— «Матвей Никанорович!»

— «Василий Васильич!»

Такие различные Розановы!

У меня сорвалося невольно, весьма неприлично:

— «Как, как,— вы знакомы?»

Матвей Никанорыч, представьте мое изумленье, воскликнул:

— «По Белому,— да!»

— «Как «по Белому»?»

— «Да не по вас, а по городу Белому, где я учительствовал».

И Василий Васильич сюсюкнул с подъерзом:

— «Матвей Никанорыч,— мой учитель словесности — как же!» [191]

И, глазки потупив, такой пепиньерочкой, чуть ли не с книксеном, стал еле слышно поплевывать что-то: Розанов — Розанову.

Я их бросил, нырнув меж плечей; и с тех пор никогда одного из них уже не видел; Матвея Никанорыча видывал после; Василья Васильевича — никогда, никак!

ФЕДОР КУЗЬМИЧ СОЛОГУБ

После Розанова, Мережковского — не краснобай, Сологуб нарочно молчал, угрожающе, с хмурою сухостью, чтобы сидели, пыхтели; и после он высказывал неприятности; в матовых, серо-зеленых тонах своих стен, как пожухлая кожа пергамента стертого, он; Сологуб — *псевдоним.* Был приписан Тетерниковым.

«Воскресенья» у Розанова — шум и гам; молодежь убегала с холодных, нелюдных воскресников Ф. К. Тетерникова; приходили отписываться в посещении, точно в участок; хозяин все помнил: кто был и кто не был; ждал визита, подчеркивая:

— «Были в Питере; и — не зашли!»

Этот оригинальный писатель,— естественно, материал для этюда серьезного; не ожидайте его от отписки моей: Сологуб, как и Розанов, видится издали; Розанов — чужд; Сологуба читал очень пристально; Розанова избегал я впоследствии; а Сологуб механически мне отстрапялся другими людьми: в ряде лет; как москвич, попадая в Питер, общался я с теми, кто мне подставлялся; так: в доме Мурузи влеплялись курьезно обязанности мне «преть» и общаться с Бердяевым, с Лундбергом и с Карташевым; на *«башне»* у В. Иванова мне подставлялись: Бородаевский, Верховский и даже — Кузмин, Гумилев.

Ну, а Федор Кузьмич проживал от меня далеко: на Васильевском острове;[192] и вне дома почти что не виделся.

Бывало: лекции, журфиксы, словесные «при»; и — вдруг угрызения совести: «Надо бы к Сологубу!» В редакциях, на заседаниях виделись; назначали друг другу свидания; и я подхватывался механически возникшим кругом знакомств; там не виделся Сологуб: он в берлоге сосал свою лапу,— угрюмо и зло; ждет, бывало, давно обижается; знаешь, что встретит сарказмами; как кислотой обожжет; так что боязно, бывало, сунуться после долгого отсутствия в серые, в зеленоватые комнаты: встретит «Тетерников», школьный учитель:[193] с допросом, с экзаменом; вымотает; с В. Ивановым очень легок контакт; с Сологубом же личный контакт мне казался почти невозможен; стих Блока и проза Сологуба увлекали в те годы меня; я подолгу вникал в сухо-сдержанный, тускло-пожухлый стиль его ранних рассказов, лапидарных, далеких мне, мировоззрительно чуждых; но многое вынес я, анализируя мастерство его.

Мне казалось порой: он какой-то буддийский монах, с Гималаев, взирающий и равнодушно и сухо на наши дела, как на блошкин трепых.

И я вздрагивал, когда вступал в помещение школы, где жил и в которой давал он уроки, минуя пустейшие классы; там виделись доски и парты; потом проходили в строй старых, холодных и сводчатых комнат, где время — стояло, где Розанов и Мережковские точно тряпкой стирались с памяти, как с доски; коридор с переходами, сводами — в бело-зеленые, в серо-зеленые стены, как недро открытое: жутило тенью и пыхом лампадки, зажженной откуда-то: там — «недотыкомка» *.

А выходил старичок, лысый, белый, с бородкой седою и с шишкой у носа прямого, в пенснэ; ему было лишь сорок три года; казался же древним; он вел за собой жутковато; усаживал в кресло и ждал, что гость скажет, разглядывая свои пальцы: в глаза не глядел.

«Лучше вы нарисуйте штаны Пифагора; и не ерундите»,— как бы давал он почувствовать, едко ощерившись; и из усов, белых до желтизны, торчал зуб; и — чернело отсутствие зуба; а взгляд, оторвавшись от пальцев, ел, как кислотою, лицо; так глумился, улыбку в усах затаивши, учитель Тетерников, что он писателя приготовишкою сделал, спокойно захватывая то один, то другой из флаконов с духами, стоявших пред ним, потому что он был духонюхатель; нюхая важно притертую пробку, он ждал, ставя терпкий вопрос, им измеренный опытно.

Ты же сиди и пыхти!

«Единица, Бугаев!»

Вопрос смысл имел; он как бы значил: «Вы без «так сказать», ясно, толково; не легкое дело дать формулу; на то писатель, чтоб до появления ко мне сформулировать «крэдо» свое. И казалось при этом: его бородавка под носом хохочет, хотя лик — напыщен в нарочитой гримасе достоинства; видом этот школьный учитель, ставший писателем, напоминал буддийского бонзу; владел он собой; дядя двужильный; казалось: ты в крепкие лапы попал; он в тебя рожу всякую вляпает,— «пупс» безответственный.

Чтобы сходить к Сологубу для литературной беседы без едкостей с ним вдвоем, надо было забыть все то, что тебя волновало вчера и сегодня: «ветхий деньми», с угрожаю-

---

* Бредовой образ, возникающий в сознании сходящего с ума Передонова, героя романа «Мелкий бес»; одно время «Недотыкомка» стала термином в литературных кругах для обозначения всего серого и тусклотоскливого.

щей шишкой под носом, знал мысли мои о себе; он, лукаво упрятав улыбку в желтящих усах, прожимал до десятого пота; и значило это, что мстит мне: *не был тогда-то, тогда-то;* ему доложили уже: *ушел в половине десятого от Сологуба в прошлый приезд, к одиннадцати появившись у Розанова.*

За это за все и приходилось мне отдуваться в начале каждого нового визита; в миг, когда я собирался, бывало, бежать без оглядки от всяких сарказмов, чтобы больше сюда, к негостеприимному «дяде», уже ни ногой, чтоб, увидевши этого редкого, как лунь, белого волка в толпе, шастать зайцем в плечи нас отделяющих сюртуков или в дамские прически, как в капусту, он, вдруг продобрев, положив гнев на милость, строгий, но милостливый наставник, читающий «пупсику» сказку, начинал раздельным, холодным, отчетливым голосом, чуть придыхая, учить по-своему, изрекая простые по виду, но темные от троящихся смыслов истины от... «Сологуба»; при этом закидывал он профиль седой, казавшийся барельефом превосходного белого мрамора из Геркуланума[194], впаянным в серо-зеленоватую стену, поставивши локти на ручки, сжимая кулак с кулаком под седою клинушком бородкой, с которой стекала пенснэйная лента; вид римлянина-полководца и вместе немного... лукавого мужичка, спрятавшего в усы издевательскую улыбочку; видом гласил:

— «А вы сейте — полезное, вечное!»

И поражала порой надменность этого плешивого умницы, умевшего при случае принять вид и тихого скромника; поражало всегда в его речи: ни единого слова заемного! Никакой приподнятости! Ничего от того, чем волновались у Мережковских, Розановых, Брюсова, Блока, Бальмонта; бывало, цедит:

— «Возврат» — умная книга... Блок умница, когда стихи сочиняет... Он глуп, когда мыслит... Придет инженер: он — нас съест!»

Проще простого; но разговор прописями имел смысл: Сологуб, учинив суд и расправу, положил гнев на милость, прописями заканчивал вечер он; и то — значило: «С миром тебя отпускаю домой!» Вновь слияние римлянина с мужичком, в сюртучке и в пенснэ, выступало, бывало, когда он, сутулясь, но гордо закинув плешивую голову, вел гостя в переднюю, точно встав из курульного кресла; казалось: два ликтора сопровождали его, когда вел переходами темными; зеленовато лампадка мигала откуда-то; он становился в передней совсем небольшим «старикашкою»;

ему было в период нашей первой с ним встречи сорок три года всего! А выглядел шестидесятилетним; склонив плешь с сединой, не серебрящейся, а какою-то матовой, вдруг поморгает, бывало, тебе удивленным, большим, ставшим детским, таким голубым своим глазом; спина вовсе прямая (сутулину строят лопатки); раздвинув усы, лихим дедушкой кажет свой зуб (и — отсутствие зуба), чтоб, дверь затворив за тобой, сесть и лапу с урчаньем засасывать.

Федор Кузьмич, этот строгий, отмеченный даром, тяжелого права писатель, в те годы выказывал благоволение мне как художнику слова: «Не стал бы и строчки вычеркивать я в ваших книгах».

Не ликторы из переходиков темных, где виделись миги не им затепленных зеленых лампадок, бежали пред ним: переюркивала, без кровинки в лице, с бледно-желтыми зализями жидких гладких волос, шелестящая «Федор Кузьмич безбородая», с видом мещанки, вся в черном, сухая, костлявая,— его сестра, походя на «Тетерькину»; Федор Кузьмич, чтя до чертиков свою сестрицу, с тоской неутешною встретил кончину ее; [195] справив тризну,— обрился, женился[196], став видом: «сенатор в упадке»!

Сестрица, Ольга Кузьминична, шуркая платьем, садилась при чае,— без век, без единого слова, без признаков собственной жизни, схватяся кистями костлявыми за свои локти костлявые; Федор Кузьмич, точно ужасаясь ее, от чрезмерного почитания и нам подносил ее, как на блюде: в знак назидания: «Не кичитесь, но чтите!» И мы приседали при чае, под нею, как в классе, почтительной очередью,— я, Кондратьев, Леонид Семенов, Пяст,— чтобы ответить урок или выслушать: медленное втолкование:

— «Атом — есть пылинка пискучая, вроде бациллы...»

И все вздрагивали, не зная, как прочесть подносимый, как кукиш, афоризм.

Лишь профиль Владимира Гиппиуса, декадента времен допотопных, потом педагога, не вздрагивал; [197] Федор Кузьмич, встретив гостя весьма неприязненно, вел... к сестре: под самовар, на поклон. Встретив на стороне его, слушал я произносимое медленно, со старомодным поклоном, с грудным придыханием:

— «Милости просим: ко мне!»

Он считался с визитами; и он — требовал их; появляясь в Москве, наносил сам визиты, смущая юнцов «историческою», всем памятною бородавкой при носе и плешью, вносимыми в комнату; раз, появившись ко мне, старомод-

ным поклоном, прижав кулаки к сюртуку и роняя пенснэйную ленту,— представился маме:

— «Тетерников!»

Мама (что дернуло?), блеснув глазами и пальцем над плешью тряся, ему бросила:

— «Выверты этих новых писателей — вздор! Дунуть: фу, фу-фу-фу! Ничего не останется!»

Я — так и замер: мать не читала ни строчки из Сологуба, а попала не в бровь, а — в глаз.

Но Федор Кузьмич, нос и шишку поставив в пустое пространство меж нею и мною, изрек с придыханием:

— «А вы сделайте — фу-фуфуфу! И — увидите: все остается на прежнем месте!»

Мать даже присела: такой аргумент не от логики, что «фу» — «не фу», мгновенно ее усмирил; а Сологуб, откинувши мраморный профиль на спинку зеленого кресла, опять провалился в молчание, созерцая события мира, как блошкин трепых, как «фуфу», обернувшееся перьерогою шляпой: мадам Кистяковской (для — матери, восхищавшейся шляпами Кистяковской).

Когда вышел,— мать ко мне:

— «Да кто он такой?»

— «Писатель Сологуб!»

— «Он вылитый Владимир Иванович Танеев! Та же манера держаться».

Открыла глаза мне: Владимир Иваныч Танеев, которому я посвятил очерк в книге «На рубеже», себя повторял в Сологубе: манерою стеснять и томить, проповедуя мир и свободу; войдет, бывало, и точно вынет дыханье; не глядя, все высмотрит, все увидит; и, как Сологуб, прочитает нотацию всем; а все, что ни скажет,— свое, с виду очень простое, по сути — мудреное и непонятное; и так же тих, тая омут; но в облике старого самодура «барина» — что-то от Грозного; а Федор Кузьмич видом — «Каракалла какая-то!».

В Сологубе меня поражала маститая монументальность; в словесности его поражали сухость и лапидарность, отделявшие его от других модернистов; Танеев ходил среди ему современных Джаншиевых так точно, как Сологуб среди нас; Джаншиевы, Боборыкины, Гольцевы чтили Танеева, но разводили руками; и посмеивались: «Владимир Иваныч — чудак». Символисты, к которым Сологуб сам причислил себя, относились с почтением к более их зрелому и казавшемуся старцем писателю; но

покашивались на него с опаскою: «Поди-ка к Федору Кузьмичу: влетит от него!»

Федор Кузьмич был упорен и тверд, как железо: стоял на своем.

В 905 году он очень ярко откликнулся на расстрел рабочих;[198] его жалящие пародии на духовенство и власть были широко распространены в Петербурге: без подписи, разумеется.

Стоят три фонаря — для вешанья трех лиц:
Середний — для царя, а сбоку — для цариц[199].

Был обидчив; я попал с ним в историю, в шуточном тоне сказавши о нем, будто он «Далай-лама» из города провинциального, но подчеркнув, что писатель — крупный; он тотчас прислал свой отказ от «Весов»; я писал, что в таком случае и я ухожу из «Весов», чтобы мое присутствие в журнале не мешало ему числиться сотрудником; и он сменил гнев на милость[200].

Андреев, Куприн, Горький и Сологуб стали одно время четверкой наиболее знаменитых писателей; четверку эту провозгласила критика 1908—1910 годов; и гонорар, и пришедшая поздно известность пьянили «почтенного старца», который, став юношей, внезапно развеселился; и даже — обрился; и в новой квартире, обставленной пышно, похаживал в синенькой чистенькой парочке, ручками в брючки со штрипками; в пестром носке; он игриво цепочкой бренчал; и таким круглоголовым счастливцем встречал в светлой зале гостей; но почему-то тогда именно показался «Тетерькиным» (я любил шутливые клички); барышни от мелопластики щебетали роем вокруг новой знаменитости; он, в позе «Весны» Боттичелли, показывал самодовольную шишку; и все лепетали:

— «Богато и пышно!»

Он же в нос нам затеивал при всех веселую возню с не юной женою, принимаясь лукавым котенком барахтаться с нею, отчего делалось как-то неловко.

Он — стал вдруг необычайно общественен: вылез из норы; его выбирали третейским судьею в спорах; резолюции «судьи», строгие и формально справедливые, передавалися шепотом:

— «Федор Кузьмич полагает».

— «Третейский суд постановил».

Мне далекий то время, серьезно помог он, громким голосом на весь Петербург произнеся приговор, осуждающий поступок со мною Петра Струве; устроил обед; и, на нем

заседая, имея «ошую» меня, «одесную» критика Е. В. Аничкова, среди цветов, рыб и фруктов, как римский сенатор, которого мненье — закон, произнес мне как писателю неожиданный панегирик;[201] от этого сотряслися издатели: Ляцкий, Некрасов и Гржебин восчувствовали интерес к «Петербургу», которым пренебрегали доселе;[202] писатели хором подтягивали:

— «Дело ясное: Федор Кузьмич полагает!»

И Струве скрыл в руки свой лик *.

А позднее еще, очень право настроенный, он произнес приговор: А. А. Блоку, Иванову-Разумнику, «Скифам» и мне в такой форме, что я положил разорвать с ним всякое знакомство; раз, встретясь с ним в «Тео», я сознательно не подошел под поклон;[203] он моргал изумленно; я видел растерянный голубой, ставший детским, расширенный его глаз, на меня устремленный, как бы говорящий:

— «Чего ты обиделся?»

Я спину подставил ему.

Он ценил иногда резкость по отношению к себе; кроме того: он — менялся; ставши «лояльным», он работал давно уже в Наркомпросе;[204] испугал его мифический «инженер» или воображенный, всемогущий и деспотический, владеющий тайнами техники; он стал проповедовать пришествие в мир своего мифического «инженера-антихриста»: к концу двадцатого века:

— «Мы все попадем в его лапы!»

Он стал появляться на лекциях, мною читаемых: сиживал где-то вдали; и потом подходил церемонно, немного сконфуженно, с традиционным поклоном, с грудным придыханием:

— «Милости просим ко мне!»

После трагической кончины жены он, бобыль бобылем,— внушал жалость: сперва погибла в Неве его жена, Анастасия Ник. Чеботаревская;[205] потом бросилась в Москву-реку сестра жены, Александра Ник. Чеботаревская;[206] причина самоубийства обеих на почве психического заболевания. Этот крепкий старик вынес много страданья; он жил одиноко, себя взявши в руки; ствердяся, сколько мог, он ушел с головою в дела Союза ленинградских писателей как председатель его: хлопотал, председательствовал, поучал, до самой смерти...

---

* В 1911 году редактором «Русской мысли» мне был заказан роман (впоследствии «Петербург»); я принял это предложение, полагая, что роман этим предложением его написать заранее принят редакцией; Струве, придя от романа в ужас, его вернул.

Он справлял юбилей[207].

Я спешил в Ленинград, отчасти и для того, чтобы приветствовать его от «В.Ф.А.», иль «Вольфилы» *, а также и от русских поэтов; во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувши мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг, пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно; и — облобызал меня[208].

За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой:

— «Ой, сделали больно,— и палец тряс, сморщась,— ну можно ли эдаким способом пальцы сжимать?»

И, качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал.

Лишь последние встречи показали мне его совсем неожиданно; я имел каждый день удовольствие слушать его: летом двадцать шестого года[209], он так красиво говорил, вспоминая свои впечатления от певицы Патти, что, Патти не слыша, я как бы заочно услышал ее; говорил — о фарфоре, о строчке, о смысле писательской деятельности, о законах материи, об электроне; его интересы — расширились; он перед смертью силился вобрать все в себя; и на все отзываться; Иванов-Разумник и я молча внимали тем «песням»: он казался в эти минуты мне седым соловьем; до 26 года я как бы вовсе не знал Сологуба.

Он стал конкретней: в сорок три года казался развалиной; а став шестидесятипятилетним,— помолодел; порою мелькало в нем в эти дни что-то от мальчика, «Феди Тетерникова»; эдакой словесной прыти и непритязательной простоты я в нем и не подозревал; каждый день к пятичасовому чаю за столом у Иванова-Разумника вырастал старый астматик, несущий, как крест, свое тело больное; он журил нас и хмурился; потом теплел и добрел; на исходе четвертого часа словесных излияний уходил юношески взбодренный: собственным словом.

Он временно жил в Детском в те дни, у нас за стеною; в пустующей квартире ему сняли комнату; он явился из Ленинграда: побыть в одиночестве, вздохнуть летним воздухом; бобыля привозили, устраивали на попечении Разумника Васильевича Иванова.

В четыре часа являлся пылающий чай,— в тихой квартирке Разумника; в окна глядела доцветавшая сирень; со-

---

* «Вольной философской ассоциации», существовавшей с 1919 до 1925 г.

ловьи распевали в задумчивом парке, где тени — двух юношей: Пушкина, Дельвига. Тогда Разумник Васильевич начинал стучать в стену: и в ответ,— хлоп-хлоп: входная дверь:

— «Это Федор Кузьмич!»

И шаги и запых: алебастровая голова лысой умницы, белой как лунь, в белом во всем,— появлялася к чаю; садясь за стакан, он хмурел и поохивал:

— «Тяжко дышать!»

Раздавались обидности, есть-де ослы, полагающие так и эдак: Разумник Васильевич, пыхтя, нос налево клонил; я, пыхтя, нос направо клонил, потому что известно, какие такие «ослы» (мы — ослы!).

Чай откушав, старик просветлялся; с растерянной, ставшей нежной улыбкой, сиял голубыми глазами на все и рассказывал, точно арабские сказки: о Патти, о жизни, о строчке стиха; так четыре часа он журкал каждый день; и, бывало, заслушаешься.

И я, его бегавший двадцатилетие, улыбался с утра; и думал:

«И сегодня явится сказочник, Федор Кузьмич!»

Раз почти прибежал, совершенно растерянный:

— «Моя постель проломалась».

Пошли; и чинили пружину кровати ему; на этот раз, к своему удивлению, починил я, доселе умевший лишь портить металлические предметы; починивши ему постель, я, довольный собственной прытью, уселся перед ним, и он зачитал мне свои последние стихи, написанные в 24, 25 и 26 году; читал более часа.

Смерть приближалась к нему; он, не чувствуя смерти, помолодевший, с доброй улыбкой, которую я впервые увидел в нем, которой и не было на протяжении нашего двадцатилетнего знакомства, мягко меня выслушивал, без прежних придиров, заставляя читать ему стихи, читал свои; и вспоминал, вспоминал без конца свою молодость.

Через год и пять месяцев его не стало[210].

РЕЛИГИОЗНЫЕ ФИЛОСОФЫ

Дом Мурузи, малиново-красная мебель: сидит Андриевский, поэт и присяжный поверенный, умница, кот седоусый: «Не верю в безумия ваши,— целует он лапочку Гиппиус,— все в вас ломание; искренен — вот кто,— кивок на меня,— но зато он — рехнулся: простите»,— ко

мне. И приходит Тернавцев: румяный, большой, красногубый и черноволосый; садится и охает: «Ведьма вы: вас бы сжег!» Мережковские любят его; и со смехом сжигают друг друга они; появляется В. А. Пястовский (поздней поэт Пяст); первокурсник: «Читальня Пястовской» гласит внизу вывеска: [211] в том же подъезде живет; я позднее сошелся с ним; [212] в этом году — он еще вдалеке: очень чопорный, нервный и бледный: несет караул перед лозунгами символизма. П. С. Соловьева сидит с Зинаидой Венгеровой; Минский, Ф. К. Сологуб, П. П. Перцов, Бакст, Лундберг являются; Волжский — почти каждый день; Нувель ходит.

Гостиная — мельки людей; З. Н. Гиппиус вмешивается в социальные связи мои; и таскают в редакцию «Вопросов жизни»; [213] туда декаденты отрядиком ходят; я брался на роли резерва; Булгаков, Бердяев, Аскольдов, Франк, Лосский — имели в тылу своем армию: с тяжелобойными от формирующейся еще только кадетской общественности; журнал — «блок» Мережковского с ними; горсть «новопутейцев» съедалася «идеалистами», перевалившими в идеализме через Маркса к церковным отцам мимо троп, на которые звал Мережковский; боряся с Булгаковым, последний звал на подмогу «весовцев»: так римляне на Карфаген выпускали германцев, которых в чащобах ловили.

Редакция «Вопросов жизни» в те месяцы — гомон: протесты, петиции, подписи, спор; мимиограф Чулкова трещит; [214] сам Чулков — бледный, тощий, лохматый, брадою обросший «Зевесик»; З. Н. утверждала: согрела змею на груди-де (ни слову не верю: ей верить нельзя): сосватав с Булгаковым, Чулков передался врагу-де[215], их выдав, так что Мережковские были затиснуты в угол: мощь, численность, деньги, умение полемизировать — с идеалистами.

Пугал Булгаков, пугавшийся — Блока, меня, З. Н. Гиппиус, Брюсова; с В. И. Ивановым и Мережковским он еле мирился; был силой в редакции; к нам поворачиваясь, имел мину профессора-экономиста; он, по носу щелкнув статистикой, сильно дручил либеральною теологистикой; вид он имел осторожный; формально любезный, зажал у себя в журнале он декадентов в кулак; и — не пикни; показывал видом, что знает, где раки зимуют.

Стонали:

— «С Бердяевым можно еще столковаться: Сергей Николаевич — не понимает ни слова».

З. Гиппиус с ним воевала; и даже едва не разрушила «блок», когда ее статью о поэзии Блока Булгаков решительно не пропустил.

— «Боря, вы бы могли нам писать *то* и *то-то,* кабы не Булгаков; с ним — каши не сваришь».

Через два уже года Булгаков явился в Москву, став профессором и заведясь у Морозовой; тогда Рачинский жундел:

— «Паф: Булгаков! Он — все понимает; он тонкая — паф-паф-паф — штука... Борис Николаич,— паф-паф!..— Мережковским не верьте: Булгакову верьте... Он...— паф-паф-паф-паф!»

Был идейно враждебен; а жестом и мягкостью был он приятен весьма; несло лесом, еловыми шишками, запахом смол, средь которых построена хижина схимника-воина, видом орловца, курянина; головы он заколачивал догмами, в жестах, которыми сопровождал свое слово,— иное; несло свежим лесом; стоический, чернобородый философ мне виделся в ельнике плотничающим; сквозь враждебное слово он мне импонировал жизненностью и здоровьем.

Шел в паре с Бердяевым в эти года; и они появлялися вместе; и вместе отстаивали свои лозунги; уже потом раскололись; обоих мы звали: «Булдяевы» или «Бергаковы». Начнешь «Бул...» — кончишь же: «-дяев!» Начнешь «Бер...» — кончишь же: «-гаков!» В платформе журнала так именно было; «Бер-...»: «Дайте стихи!» Дашь стихи, зная: «-гаков» не станет печатать; чернявые, а — не похожи: манерой держаться и лицами.

Не расплетешь их!

Булгаков — с плечами покатыми, среднего роста, с тенденцией гнуться, бородку чернявую выставит и теребит ее нервно, застегнув сюртук на одну только пуговицу; яркий, свежий, ядреный румянец на белом лице; и он всхлипывает до пунцового, когда прорежет морщина его белый лоб; нос — прямой, губы — тонкопунцовые; глаза — как вишни; бородка густая, чуть вьющаяся.

Что-то в нем от черники и вишни.

К нему подбегает с растерянным видом рыжавенький, маленький, лысый, в очках, Н. О. Лосский; Булгаков наставится ухом на Лосского; глаза уходят в свое; головою, поставленной набок, на ухо наматывает; глаза — бегают, остановились, как вкопанные; и морщина прорезалась: внял; отвечает со сдержанным пылом, рукой как отрезывая; а другой — теребит бородавку; и чувствуешь — воля, упорство.

Сутуло на слове качается: мешкотно; тоном и взором косится на Гиппиус; резок; одернув себя, законфузится, смолкнет, усядется, гладит бородку; глаза точно вишни. Его дополняет кудрявый, чернявый Бердяев; он падает лбиной в дрожащие пальцы, стараяся, чтобы язык не упал до грудей; говорит не другим, а себе; карандашиком, точно испанскою шпагою, тыкается, проводя убеждение: все, что ни есть в этом мире, коснело в ошибке; и сам господь бог в ипостаси отца ошибался тут именно до сотворения мира, пока карандаш Николая Бердяева не допроткнул заблуждение: «я» Николая Бердяева — со-ипостасно с Христом. Сказав это, откинется.

Кресло — трещит.

Мережковский — раздавлен; Булгаков забил в бородавку; Жуковский, издатель, мотается шарфом: доволен; А. С. Волжский, кудластый, очкастый, сквозной, нервно-туберкулезный, в очках золотых, потрясает своей бородищей над впалою грудью; и — лесом волос: на сутулых плечах; Блок балдеет в тени; мимиограф Чулкова трещит.

И трещит в голове: у меня.

. . . .

Посещение редакции в воспоминаниях этого времени связано мне с ураганным налетом Свентицкого, Эрна, вернувшегося из Швейцарии (от Вячеслава Иванова),— на дом Мурузи; [216] они, прилетев из Москвы, на послание отцов иерархов, расстрел покрывающее, ураганом носились по Питеру и предлагали Булгакову, Розанову, Мережковским и Перцову свой манифест подписать: «христиан-радикалов»; Свентицкий хотел самолично явиться в Синод, чтобы бросить эту духовную бомбу в «отцов».

Мережковский, призвав Карташева, Д. В. Философова, выслушал этих «апостолов-мучеников»; порешили: собраться у Перцова, в «Пале-Рояле» (он жил там) [217], чтобы дообсудить; призвав Розанова и Тернавцева, сего в те годы таинственного Никодима, томящегося в ортодоксии и не могущего с ней разорвать (антиномия меж мирочувствием, новым, и мировоззрением, ветхим).

В. В. Розанов, нагло помалкивая и блистая очками, коленкой плясал; он осведомился пребрезгливо:

— «Свентицкий... Поляк вы?»

— «Эрн — немец?»

— «По происхождению — да».

— «Поляк с немцем».

И выплюнул: по отношению к Синоду:

— «Навозная куча была и осталась; раскапывать — вонь подымать; навоняет в нос всем... И только...»

Тернавцев был внутренне в церкви; а Розанов силился блеском церковных лампадочек иллюминировать акт полового сожития; и тем не менее чернобородый, большой, крепкотелый Тернавцев и рыженький, маленький, слизью обмазанный Розанов, сев в одно кресло, друг друга нашлепывали по плечам: и, называя друг друга «Валею», «Васею», пикировались: без злобы.

Проект Валентина Свентицкого, со всех позиций разобранный, был отклонен А. В. Карташевым, Д. В. Философовым как героизм совершенно бесцельный и вредный, срывающий подготовление к борьбе[218].

Свентицкий и Эрн уже отделались от П. А. Флоренского, видевшего, что затеи их — ни к чему; Эрн использовал свои познания по первохристианству; В. А. Свентицкий — фальшивый свой пыл; оба «молнью» свели... на А. С. Волжского и на Булгакова. Волжский, кудластый, сквозной, нервно-туберкулезный, в очках золотых, потрясал бородищей над впалою грудью; и лесом волос на сутулых плечах.

— «Небывалое знаменье: новый пророческий тип, да-с, мистического радикала!» — он зубы показывал; и нам доказывал, что *«радикал»*, В. Свентицкий,— ценней Августина! Пленный таким «радикалом», он скоро примчался в Москву; нес сутулые плечи и чахлую грудь сквозь квартиры: с евангельской вестью; запомнилось, как он копною волос потрясал у меня в кабинете, стуча пальцем в стол:

— «А вы думаете, что они не сумеют огня низвести? Низведут-с!»

А Сергей Николаич Булгаков, держась осторожней (он тоже явился к «пророкам» в Москву), предовольно бородку оглаживал, слушая речи такие.

Огонь низводящие, или — «правдивец», Свентицкий, сопящий, потеющий, с видом звереющим, Эрн, или — «Варнавва», дубовый, тяжелый, безвкусно отчетливый, палкообразный, с «так *значить*, так *значить*»,— доказывали, что «огонь» низводить весьма просто, коли — деньги есть, шрифты куплены и прокламации с черным крестом напечатаны; несколько шалых эсеров, да барышни с курсов Герье, да какие-то раздираемые противоречиями полубомбисты, да несколько батюшек внимали песне Свентицкого.

Не видели: корень всему — психопатология, или болезнь самотерза, сменяемая пароксизмами чувственности; и — ложь, ложь!

Почитатели принимали подлог.

Но я, возмутяся, однажды попер на Пречистенку, где обитали пророки средь неразберихи предметов, в пылях, при огромном кресте в человеческий рост; В. Свентицкому, себя называвшему «голгофским», бацнул:

— «Ложный пророк, на гипнозе работающий!»

Он же, перекосившися, вдруг разразился бычиным подревом с притопами; слезы — ручьем; я, испуганный, сам чуть не в слезы; белясый же Эрн, еле розовый пятнами злого, больного румянца (лицо как моченое яблоко, глаза — навыкате), только вздохнул с укоризненной кротостью; поняли оба позднее мы: рыки и громы с проклятием — король козырной; туз — рыдания (мог в три ручья заливаться в любую минуту).

Скандал разразился позднее: «пророк» книгу выпустил, кажется, что под заглавием «Антихрист», в которой рассказывал, как он обманывал Эрна, как не был совсем в Македонии, где-де боролся за вольность; [219] и книга — лишь поза: «болезнью» смягчить грозных мстителей (за оскорбленную честь).

Эрн был книгой — убит, а Булгаков — раздавлен.

По воле судьбы я присутствовал при тяжелейшей картине, когда заседали в каком-то унылом углу при Свентицком — Рачинский, Булгаков, Эрн, я; как попал на «судилище» эдакое, позабыл; Эрн, напомнив чахоточную институтку, болезненно хлопал глазами; Булгаков, нахмуренный, очень спокойный лишь с виду, Свентицкому ставил вопрос за вопросом; тот рявкал картаво; вдруг грянул стенаньем, слезой с передергами; я со стаканом воды — на него; но Булгаков с убийственным холодом вышел из комнаты: с Эрном; Свентицкий хватался за сердце: сипел, умирал.

Когда же я вышел, Булгаков мне бросил:

— «Все лжет!»

Эрн болел от волнений; «пророк» провалился: ни слуха ни духа!

Так блок двух «священных» студентов с почтенными профессорами на почве сведенья «огня» оборвался в трагическую оперетку; Эрн выздоровел, стал трезвый в магистрантском обличии: книги писал, выступал; милый в личном общении, был дубоват, грубоват в своих дурьих полемиках, нас ужасая корявым строением фраз, рубом

длинной руки, пучеглазием и невозможнейшим *«значить»*.

Я здесь отступаю от темы, бросая взгляд в будущее; провал «братства» — конец уже года; провал Валентина Свентицкого еще позднее; но мне провалился он ранее, в Питере, где и наладилась связь между «братством борьбы» и «Вопросами жизни»;[220] Булгаков, тогда возмущавшийся лирикой Блока, пал в ноги Свентицкому; уже в эпоху проклятья его, всего более — лирику Блока ценил.

УСМИРЕННЫЙ

В те годы мне важным параграфом мировоззрения значилось: *«Дружба, сердечность!»* Под «дружбою» я разумел — З. Н. Гиппиус, а под сердечностью — Блоков; в З. Н. было мало сердечности; дружба, но... как сквознячок ледяной, пробегал Мережковский, метая помпоны меж нами; и я бежал к Блокам: от роя людей; Любовь Дмитриевна, Александр Александрович и Александра Андревна мне стали родными; измученный «прями», я жаждал покоя; и вот раздавался напев: «Нет вопросов давно, и не нужно речей»[221].

Александра Андревна однажды, взяв за руку, мне поморгала:

— «Да как вам без нас: ясно, просто, естественно!»

Гиппиус пятила нижнюю розовую свою злую губку, выпуская дымочек: «Стыдились бы... Взрослый, а бегает к своим Блокам!» «Хлыстовщина!» — рявкал Д. С. Мережковский. «Постой, Дмитрий,— Гиппиус с новым дымком,— не туда!.. Нет же, не понимаю я: Блок — молчаливый; жена его — тоже; ну что вы там делаете!» — «Зина, Борю замучаешь! Боря,— не слушайте: к Блокам идите себе»,— перешлепывал Д. Философов. «Нет, Дима, зачем ты мирволишь: ведь *это же «что-то»* и *«где-то»:* они в пустоте завиваются».

И дебатируется: отпускать меня к Блокам иль нет; я же мимо дверей,— коридором; и вижу, бывало: кусок темно-красных обой, на них белую Гиппиус, только что взявшую ванну, перед зеркалом чешущую водопад ярко-красных волос, закрывающих — плечи, лицо, руки, грудь; и, бывало, из гущи волос застреляют ее изумруды: «Опять?»

Я — в передней; задвижка защелкнута; мимо швейцара; свободен: вернусь только вечером; из-за дымка голубо-

го услышу сейчас: «Знаю,— не объясняй!.. Измотался... Украдкой удрал; а вернешься,— влетит тебе: Тата и Ната запрут; ключ — в карман».

Возвращаешься; Гиппиус — едко: «Что делали с Блоком?» — «Гуляли».— «И — что же?» — «Ну там...» — «В пустоте завивались?» — «Пожалуй, что так».— «Удивительно: аполитичность! Мы вот — обсуждаем; а вы там — гуляете; знаю: наверное нас предаете!»

Любили все громкое; коли не «преешь» от трех и до трех —«предаешь»!

. . . .

Я, бывало,— Литейным: Нева, мост, каналы, ветра; вот и зданье казенного вида; в воротах стоит часовой; сирый двор; большой корпус, где двери квартир открываются на коридор: светлый, в окнах; вот — войлок; блистает доска: «Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух». Открывает денщик: «Дома, дома... Пожалуйте... Завтракают!»

Раскрываю гостиную дверь, где светлеет в окне кусок льдов, перерезанный четко густым листолапым растеньем, которое все поливала, бывало, хозяйка; и лоск бледно-желтых паркетиков; мебель зеленая: старых фасонов; меж ней невысокие шкапчики красного дерева, переплетенные томики, глянец рояля, свет, тишь, чистота. Александр Александрович шапкой волос перерезывает освещенные стекла; он с белой столовой салфеткой в руке, в черной мягкой рубашке из шерсти: без талии, пояса; шея — открытая, воротничок отложной: белый, мягкий; он выглядит Байроном; тени лежат на лице,— протонченном и белом: загар отлетел; точно перерисован со старой гравюры он.

— «Боря»,— бросает в столовую; она — поменьше; оклеена ярко-оранжевым; стол, скатерть: завтракают; золотая головка Л. Д. в розовато-зеленом капоте; под красною тальмочкою Александра Андревна трепещет; вот — худенькая, в невоенно сидящем мундире фигурка склоняет в тарелку свой нос, как у дятла, и дергает узкую черную с проседью бороду слабой, костлявой рукой; глазки — кроткие, черные, не без лукавости — отчим А. А.

— «Франц Феликсович, Боря,— с сухой жестковатостью Блок мне рассказывал,— таки не любит меня».

Но я видел — уступчивость в мягком полковнике.

— «Францик же вспыльчивый,— мне Александра Андревна,— он может престрашно кричать, хоть — отходчив!»

Л. Д. с ним дружила; я думаю: разности бытов столкнулись: профессорский сын, да и внук; и — служака, немного испуганный в собственном доме, что он «не поэт», а «полковник»; при всех положениях улизывал в двери, дилинькая шпорой, ущелкивая лакированными сапогами.

А. А., вычерняясь, бывало, рубашкой из шерсти, сажает; его голова как камея на фоне оранжево-ярких обой вызывала подчас впечатление портретов Гольбейна: серебряно-серое, черное, ярко-оранжевое. Франц Феликсович, нос, как у дятла, роняя в тарелку, старался не слушать крепчайших намеков, что он-де солдат: занимался котлетой своей; Александра Андревна бросала сконфуженный глазик на «Францика», свой кружевной разговор поднимая, смущая подобием с покойной Ольгой Михайловной Соловьевой, родственницей:

— «Вы,— слабеющим, но заползающим голосом,— Боря, почти нигилист».

На дыбы!

— «Нет, позвольте!»

Как с Ольгой Михайловной!

Л. Д., А. А., встав, ведут на свою половину; она состояла из спальни и из кабинетика; весь кабинет занимали: объемистый письменный стол, полированный, красного дерева; мягкий диван вдоль стены (при столе); широчайшее кресло, в котором сидел А. А., при деревянной резной папироснице; кресла и стол у окна; Любовь Дмитриевна собиралась комочком, с ногами на кресло, склонив свою голову в руки, которыми крепко, в обхват зацеплялась за кресло: любимая поза; а я — на диване. Окно выходило в пустой коридор; его Блоки заклеили сине-зелено-пурпуровою восковою бумагою, изображающей рыцаря с дамой; днем свет, проникавший сквозь стекла, бросал пестрый отблеск на розово-зеленоватый капот Л. Д. и на пепельно-рыжие кудри А. А.: как витраж!

Статный, грустно откинутый в тени и красные блики, молчал, растерявшись глазами светлявыми: цвет незабудок; и воротничок отложной, широчайший весьма обрамлял лебединую шею; казался мне Байроном, перерисованным заново; глубже, чем летом, чернели круги под глазами; едва уловимые складки: у глаз и у губ.

Развалясь на диване, я думал: никто не спугнет тишины; и не шмякнет помпон Мережковского: в ухо мне; слушал молчание; Блок, выпуская дымок в потолок,— тоже слушал: молчание; что-то беспомощно-милое, точно письмо

его мне, отвечавшее на подношенье «Возврата» недавно; игрушку прислал мальчик мальчику к елке[222].

О чем говорили?

Об очень простом; я — о лекциях С. Трубецкого; а он — о профессоре Шляпкине; был у него интерес к мелочам; он — всех помнил: Рачинского, Эртеля, Батюшкова; в тоне — нежность сквозь юмор: к людской косолапости; его мутило — от сплетен, шумих, болтовни; он в те годы сидел домоседом; его называли балдеющим мистиком; и обвиняли в апатии; отблески страшной године России ложились уже на него; был готов к баррикаде скорее, чем к спору с Булгаковым в людной редакции, где мимиографом громко оттрескивал Г. И. Чулков, где, являясь, тускнел, перепуганный, бледный, довольствуясь, что еще терпят его.

У себя потопатываясь, склонив голову набок,— острил:

— «Знаешь, идеалисты толкаются всюду; приходят, как стадо тапиров, топочут калошами: толстые, грузные,— давят; косятся на Гиппиус; а декаденты — костистые, бледные, юркие, злые, сухие!»

Представилось: стадом слонов навалилися «идеалисты»; и стая тушканчиков, нас,— мимо них — пырск-пырск-пырск!

— «Ну, как Дмитрий Сергеич? С корицами, в пледике, сказки читает? Ну, как «синий» Дима? Антон еще с ведьмой на шее?»

Общественность Блока свершалась не там, где свершали ее Мережковские; пересекались мы в ней, но пока еще вовсе без слов.

. . . .

«Нет больше домашнего очага...»; * *«двери открыты на вьюжную площадь»;* ** *«наше общее поприще... пустой рынок... где... воет вьюга»;* *** *«исторический процесс завершен»;* **** *«смерть зовет... как будто тревожно бьет барабан»;* ***** *«действительность проходит в красном свете»;* ****** *«зажженные со всех концов, мы крутимся в воздухе»;* ******* *«залегло неотступное чувство катастро-*

* Собрание соч. Алек. Блока, т. VII, Берлин, 1923 года, стр. 16.
** Там же, 16.
*** Там же, стр. 17 [223].
**** Там же, стр. 57 [224].
***** Там же, стр. 17.
****** Там же, стр. 17.
******* Там же, стр. 17 [225].

фы»; * *«вот грянет гром»;* ** *«будет кровь, топор и красный петух»;* *** *«есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой»* ****. Вот над чем молчал Блок от 905 года до 1914; все цитаты из статей, писанных до мировой войны.

«Человечество пойдет на бой»; ***** *«символическая драма... проповедь роковой развязки»;* ****** *«мы призываем всех под знамя социализма»;* ******* *«мы должны восстать... и струны лиры натянуть на лук тетивой»;* ******** *«мертвец... восседает над жизнью»;* ********* *«не должна ли взорваться вся наша жизнь»;* ********** *«человечеству грозит смерть»;* *********** *«проваливается культура»;* ************ *«взорваться... средство не погибнуть»;* ************* *«наша жизнь — безумие»;* ************** *«на черный горизонт жизни выходит что-то большое, красное...»* ***************. Вот что было предметом моих дум 1905 года. В них мы пересеклись с А. Блоком.

. . . .

Бывало, посмотрит, привстанет, ко мне подойдет: «Ну, пойдем; я тебе покажу переулки». Ведет от казармы кривым переулком, наполненным людом, бредущим от фабрик; мелькали измученные проститутки; мигали харчевни; разглядывал это; позднее ландшафт переулков увидел в «Нечаянной радости».

Стройный, с лицом розовеющим, в шубе и в шапке мехастой, он, щурясь, оглядывал отблески стекол, рабочих с кулями, ворон; этот взгляд был летучим, не пристальным, видящим целое; Гиппиус дерзко втыкалась глазами, как иглами.

---

* Собрание соч. Алек. Блока, т. VII, Берлин, 1923 года, стр. 94.

** Там же, стр. 104 [226].

*** Там же, стр. 123.

**** Там же, стр. 123 [227].

Все цитаты из лирических статей VII тома сочинений Блока.

***** Ар. 24.

****** Ар. 37 [228].

******* Ар. 150 [229].

******** Ар. 16 [230].

********* Ар. 15—26 [231].

********** Ар. 45.

*********** Ар. 43.

************ Ар. 43.

************* Ар. 53 [232].

************** Ар. 174.

*************** Ар. 490 [233].

Все цитаты — из «Арабесок». Статьи писаны от 1903 до 1909 года.

Вот он меня остановит; и взглядом своим переулок возьмет:

— «Захудалая жизнь: очень грустно... Они, Мережковские, не замечают».

А вещи глядели уже в феврале... Октябрем.

— «Ну, пойдем!»

И запомнился: красный, морозом нащипанный нос; он глядел себе в ноги, запрятавши руки в карманы; бывало: пылающий яхонт торчит над забором; и — нет его; клочья вишневые в зелени неба; Невы нежно-розовый снег.

Приведет и под локоть усадит; и — неторопливо возьмет папиросницу: «Выкурим!» Раз ей взмахнул; я — откинулся; он засмеялся: «Ты что?» — «А ты?» — «Нет, почему ты смеешься?» — «А ты почему? Испугался?»

Рассказывал много о встречах с отцом: как его тяжелят эти встречи; о друге своем, композиторе Панченко: «Панченко думает... Панченко — темный, но Панченко — острый».

Так мне оживает он братом: без идеологии, даже без «Дамы», своим: тихим, вглядчиво-бережным; и оживает наш месяц тишайших покуров: легко, чуть-чуть грустно; как будто прощанье: надолго.

Один месяц, единственный,— Саша и Боря: не «Белый» и «Блок».

А когда на перроне вокзала мы с ним обнялись, то в Кремле прокатился грохот бомбы Каляева; и — разлетелся на части Сергей Александрович[234].

МОСКВА

А Москва волновалася; митинговали везде.

Начинались банкеты в богатых домах; буржуазия требовала для себя всяких прав; Соколов упражнялся: рыкающий лев в Благородном собраньи. Писал я:

Ликуйте, пьяные друзья,
Над распахнувшеюся бездной![235]

И —

Вдоль оград, тротуаров,—
Вдоль скверов,—
Частый короткий
Треск
Револьверов[236].

Писал А. А. Блок:

Так — негодует все, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев[237].

В особняке у Морозовой митинговали; здесь присяжный поверенный Сталь выступал; посещал я иногда и приватные лекции, здесь устраиваемые: слушая профессора Кизеветтера и обучаяся конституционному праву у маленького Фортунатова; эта последняя лекция читана М. К. Морозовой, ее сестре, Востряковой, Скрябиной (кто еще слушал,— не помню); в морозовском доме роились — эсдеки, организующиеся кадеты, профессора и адепты уже сформированного «Христианского братства борьбы»; весною явились здесь Мережковские; Д. С. читал лекцию (в пользу каких-то организаций).

Я застаю в кружке моих близких товарищей сильный сдвиг влево; Эллис, ушедший от своих прежних, как он любил выражаться, нелегальных связей, возобновил эти связи; все чаще и чаще я слышу о Кларе Борисовне Розенберг, с которой он в то время, как мне казалось, дружил; она была интересная дама; у нее бывали профессора и социал-демократы; ее симпатии были к эсдекам (мы с ней познакомились осенью); я от Эллиса слышал в те дни имена: Череванин, Громан, с которыми он где-то видался; но симпатии его лежали к экстремистам. Киселев, оставаясь по виду таким же спокойным, уткнувший свой нос в «инкунабулы» и говорящий о «каталоге к каталогам», вдруг прикладывал палец к протонченному профилю; и — трещал басом что-нибудь вроде:

— «Надо захватить в руки городской водопровод».

И склонял бледный нос над столом: с видом старого архивариуса.

Из щелей, как вода в наводнение,— подымался протест; и месть за расстрелянных сжимала горло: мне, Эллису, А. С. Петровскому, С. Соловьеву; Эллис организовал у К. П. Христофоровой ряд вечеров (в пользу ссыльных).

Быть может, в то время, быть может, позднее являлись ко мне и к нему два рабочих (как помнится, что металлисты); лишились работы; один — синеглазый блондин, а другой — темно-карий, худой; в тертых шляпах, заплатанных куртках; у них была пара сапог одно время; когда в сапоги облекался один, то другой оставался без обуви; голубоглазый был страшный фанатик; другой — философствовал... о символизме; мы с Эллисом что-то такое устроили в пользу их группы; и жаркие споры затевали.

— «Символизм — буржуазен...» — «Нет, вы ошибаетесь!» — «Чем вы докажете?» — «Логикой, то есть тем сред-

ством, которым доказывают в науке...» — «Докажете нам буржуазно — наука буржуазна». — «Как?» — «Так... В нашем строе изменится все!» — «И понятия?» — «Да...» — «Восприятия?» — «Как же иначе!..» [238]

Раз Брюсов влетел, когда мы разгласились в споре; стал молча, весьма напряженный, с наморщенным лбом, склонив черный свой клок бороды, ухватившись руками за спинку тяжелого кресла и выпучив красные губы; он вдруг, как петух, протянувший пернатую шею, чтобы прыгнуть,— в центр спора; не помню, чем он удивил, только он удивил; и задорно поглядывал, перегибаясь через спинку тяжелого кресла; «фанатик», став красным, мотал головою обиженно: «Нехорошо говорите!»

. . . .

По возвращении из Петербурга я сперва знакомлюсь с Морозовой, а потом учащаю посещения особняка ее (угол Смоленского бульвара и Глазовского); [239] смерть ее мужа, М. А.,— начало для нее новой эры; до нее она — дама с тоскою по жизни; а после — в Швейцарии — деятельная ученица А. Скрябина, даже отчасти (в одном лишь этапе) последовательница; вернувшись в Москву, она — впопыхах, в поисках идеологий, часто нелепых, но часто и колоритных; в ней Ницше, Кант, Скрябин, Владимир Соловьев встречались в нелепейших сочетаниях; будучи совершенно беспомощной, не умея разобраться ни в одном из идейных течений, которые подняли в ней вихрь вопросов без возможности ей разрешить любой, она с какой-то ненасытимой жадностью устраивала тэт-а-тэты с Лопатиным, Хвостовым, Фортунатовым, мной, Борисом Фохтом, женой его, пианисткой Фохт-Сударской, водившейся с эсерами (у Фохтов я познакомился с Фондаминским, еще гимназистом); и, выслушав этот ряд людей, устраивала тэт-а-тэты с Рачинским, Эрном, Свентицким, после чего у нее появлялись и — Милюков, и присяжный поверенный Сталь, демонстрировавший в те дни свое сочувствие меньшевикам; что делалось у нее в голове после интервью с лидерами всех течений, не постигаю; я ее помню в разговоре с многими; разговор с каждым кончался ее полным согласием: с каждым; выслушав, например, декадента, она вспоминала что-нибудь из напетого ей противниками декадентства и приводила это возражение не от себя, а от — «что говорят»: разумеется, возражения такого рода уничтожались мгновенно перед ней: Лопатин уничтожал ей довод «от Андрея Белого»; Белый — доводы «от Лопатина»; разговор неизменно кончался беспомощным: «Да, да, ко-

нечно»; *да, да, конечно* слышал, вероятно, и присяжный поверенный Сталь; он, может быть, базировал на нем надежду получить помощь для меньшевистской пропаганды; увы,— отсидев со Сталем, она отсиживала с Милюковым, разбивавшим ей доводы «от Сталя»; будущие кадеты переполнили вдруг ее гостиную, с князем Львовым и графиней В. Н. Бобринской; но кадеты исчезли через несколько месяцев; религиозно-философская общественная тенденция Евгения Трубецкого с кругом друзей Евгения Трубецкого (Рачинским, Булгаковым, Эрном) стала господствующей в ее салоне: с конца 1905 года.

Весной 1905 года она искала самоопределения, или, верней, искала, чтобы *ее самоопределили;* дом ее в весенние месяцы напоминал арену для петушиных боев; Фортунатов и Кизеветтер читали ей лекции о конституции; но и бундисты сражались с социал-демократами меньшевиками; я был на одном из таких побоищ, кончившихся крупным скандалом (едва ли не с приподыманием в воздух стульев); скоро московские власти строго ей запретили устраивать домашние политические митинги с продажей билетов; устраивались литературно-музыкальные вечера; мы с женою Бальмонта, Е. А., устраивали лекцию приехавшего Мережковского (в пользу нелегальных) [240].

Ища самоопределения и не будучи в состоянии решить, в какую сторону направить ей интересы (в сторону ли искусства, в сторону ли философии, в сторону ли общественности), она приглашала несоединимые, вне ее дома не встречавшиеся элементы: для «дружеских», интимных чаев с музыкой и разговорами; играли на рояли: Сударская-Фохт, Желяев, чаще всего В. И. Скрябина, первая жена композитора, с которой она дружила; так-то и случилось, что я стал встречаться в ее салоне с людьми, доселе меня ненавидевшими: профессорами Лопатиным, Хвостовым, Сергеем Трубецким, Фортунатовым, Кизеветтером и т. д.; одновременно: гонимые Лопатиным Б. А. Фохт с Кубицким брали приступом ее сознание, преподавая ей три правила категорического императива, или «евангелие от Канта», поскольку она интервьюировала меня, я, разумеется, проповедовал ей новое искусство; и раздавалось мягкое, грудное контральто:

— «Да, да,— конечно!»

Кантианцы скоро обманулись в своих надеждах; издательницей кантианского журнала не стала она; благоволение ее к Канту, кажется, ограничилось рефератом Фохта под заглавием «Кант». Старик Лопатин победил в тот пе-

риод всех философов другого толка; салон Морозовой функционировал до самого моего отъезда за границу в 1912 году; он сыграл видную роль — в той новой моде на скрещение нескрещаемого, соединение несоединяемого; мода длилась весь период от 1905 до 1912 года; из нее выросли и чудовищности культурно-бытовой жизни, которые, став мне поперек горла в 1910 году, заставили меня в 1912 с Москвой ликвидировать, когда я потерял способность выносить винегрет из дам в венецианского стиля платьях, «старцев», декадентов, философов школы Риккерта, внедрявших в сознание — Ласков и Христиансенов, поклонников старых икон, среди которых появился золотобородый, румянокожий Матисс, слишком долго зажившийся у Щукина (его катали в Москве, как сыр в масле).

Салон Морозовой с 1905 года открывал новую эру «высококультурного» будущего, которое стало мне «глубокопретящим» позднее; пока тянуло в него: новизной, остротой себяощущения; помилуйте,— Лопатин, сей тигр, кидающийся на тебя во всех прочих пунктах Москвы,— «лютый враг»,— в уютной гостиной Морозовой — «тигр в наморднике»; «намордник» — Маргарита Кирилловна, с ласковой улыбкой встречающая и его, и тебя, Маргарита Кирилловна, создающая такой стиль, что, кроме приятных улыбок нас друг другу под музыку Скрябина, нельзя себе ничего иного позволить.

Будучи совершенно беспомощна в умении разобраться в течениях мысли, искусства, науки, общественности, Морозова обладала огромным умением мирить и приучать друг к другу вне ее салона непримиримых и неприручимых людей; и в этом отношении роль ее сказалась впоследствии. Лопатин имел слабость рассказывать «страшные» приключения (он был трус и со свойственной трусам слабостью собирал рассказы о «привидениях», таинственных убийствах и т. д.); позвав его, позвав меня, она заставляла старика нагонять на нас страх; старик рассказывал мастерски; и вот на почве этих рассказов мой недавний «гонитель» вынужден был переменить стиль своего обращения со мной; раз у Морозовой надо приятно улыбаться Белому, то неловко же за порогом дома кидаться на Белого; это сказалось поздней; на моем реферате у Морозовой на тему «Будущее искусство» (кажется, в 1908 году);[241] профессора, рвавшие и метавшие по адресу «Белого», возражали мне в приятно-академическом тоне (и не без комплиментов); Лопатин, доселе лишь надо мной издевавшийся, вдруг завозражал по существу; Евгений Трубецкой

на треть соглашался с моими тезисами; даже неокантианцы не столько спорили, сколько обменивались мыслями со мной. Только мой в то время друг, любивший меня как художника, Г. Г. Шпет, иронически отнесясь к вынужденно-паточному тону между седыми профессорами и непричесанным «скандалистом» (в ту эпоху гремели мои «скандалы» в «кружке»), нанес позиции моей удар жесточайший; и после реферата дразнил меня:

— «Это я — нарочно; зачем надел ты из приличия философский фрак; он тебе не идет; если бы ты выступал без защитного цвета, я бы тебя поддерживал».

«Защитный цвет» — тон необыкновенной «культурной вежливости» и терпимости к позициям друг друга, который впервые установила Морозова между университетскими кругами и символистами; и факт характерный: в эпоху, когда Сергей Яблоновский поливал нас вонючею бранью из «Русского слова», Игнатов из «Русских ведомостей» уничтожал с большим приличием, но с не меньшею злостью, когда гучковский «Голос Москвы» опрокидывал на нас уже прямо ассенизационные бочки, издевалась Тэффи из «Речи», Измайлов же, Саша Черный и прочие писали пародии, когда то я, то Эллис попеременно бацали с кружковской арены по адресу всей прессы выражения, вряд ли допустимые и в полемике,— при встрече нас, символистов, с Лопатиными, Трубецкими, Хвостовыми, Котляревскими господствовало благорастворение воздухов (правда, от него-то я и бежал позднее из Москвы).

Конечно, в роли умирителя свары между стариками и молодежью, профессорами и художниками, символистами в среднем лево настроенными и серединно настроенными, *«кадето»*-подобно настроенными вырос около Морозовой ее старинный знакомец, Рачинский: подтаскивая Трубецкого ко мне, заставляя его вникать в мои стихотворные строчки, он тащил нас, упиравшихся (главным образом Метнера и меня), к Трубецкому как к человеку (в позициях непримиримость оставалась); в таком же духе на меня позднее влиял М. О. Гершензон; так и сложилось, что сотрудники будущего издательства «Путь» (Гершензон, Трубецкой, Булгаков, Бердяев, Рачинский) и члены редакции будущего «Мусагета» (я, Эллис, Метнер, Степпун, Яковенко и т. д.) зажили в натянуто-дружественном, но тайно-враждебном (по устремлениям) соседстве.

В 1912 году у меня лопнули отношения с «Путем»; и появилась глубокая идейная трещина между «Мусаге-

том» и мною; бежав от всех и вся за границу, я там переживал одновременный разрыв с Рачинским, Морозовой, Эрном, Булгаковым, Степпуном, а потом и с Метнером, Эллисом.

Эпоха примирений привела позднее к глубочайшим обидам.

Весной 1905 года получаешь, бывало, тяжелый, сине-лиловый конверт; разрываешь: на толстой бумаге большими, красивыми буквами — четко проставлено: «Милый Борис Николаевич,— такого-то жду: посидим вечерком. *М. Морозова»* [242].

Мимо передней в египетском стиле идешь; зал — большой, неуютный, холодный, лепной; гулок шаг; мимо,— в очень уютную белую комнату, устланную мягким серым ковром, куда мягко выходит из спальни большая-большая, сияющая улыбкой Морозова; мягко садится: большая,— на низенький, малый диванчик; несут чайный столик: к ногам; разговор — обо всем и ни о чем; в разговоре высказывала она личную доброту, мягкость; она любила поговорить о судьбах жизни, о долге не впадать в уныние, о Владимире Соловьеве, о Ницше, о Скрябине, о невозможности строить путь жизни на Канте; тут же и анекдоты: о Кубицком, о Скрябине, моющем голову... собственною слюной, чтобы не было лысинки (?!?); о Вячеславе Иванове (с ним М. К. в Швейцарии познакомилась до меня).

В трудные минуты жизни М. К. делала усилия меня приободрить; и вызывала на интимность; у нее были ослепительные глаза, с отблеском то сафира, то изумруда; в свою белую тальму, бывало, закутается, привалится к дивану; и — слушает.

И, бывало, мне Метнер:

— «Нет, нет,— Маргарита Кирилловна только к исходу четвертого часа оттаивает; сперва — «светская дама»; потом — лишь «хозяйка», потом — перепуганная путаница; наконец-то эти пласты пробуравишь в ней».

Мы звали в шутку ее — «дамой с султаном»; огромного роста, она надевала огромную шляпу с огромным султаном; казалась тогда «великаншею»; если принять во внимание рост, тон «хозяйки салона»,— то она могла устрашить с непривычки; кто бы мог догадаться: она пугалась людей, потому что, за вычетом всех заемных слов, она была — немая: без слов; в ней жив был лишь жест.

Весной 1905 года Морозова мне предстала как знак, от которого больно сжималось сердце; напомню читателю:

мои жизненные силы надорвались в личной драме, переживаемой на протяжении всего 1904 года, и в этом же году перепутались во мне все широкоохватные стремления в какой-то нерасплетаемый узел; личная дружба с представителями кружка «Арго», на котором год назад мы отплыли к новым берегам культуры, не могла меня утешать после того, как я увидел всю тщету организовать этот коллектив из чудаков: в фалангу твердых бойцов; никакого кружка и не было там, где были столкнуты несколько кружков в беспорядочную кучу; уж какие там новые берега, коли на борт «Арго» сумасшедший Эллис затащил П. И. Астрова, присутствие которого ознаменовалось тупейшим, ничтожнейшим сборником «Свободная совесть», где столкнулись такие ничем не соединяемые люди, как Эллис, С. А. Котляревский, Бобринская[243]. Эллис устроил нам этот в крупном масштабе конфуз; сам готов был бросать бомбы, а... втащил-таки в наш круг Астрова; и после удивлялся, как это случилось.

То же во всех плоскостях: мои дерзания разбить философию Канта окончились в этот период семинарием по Канту, советами Фохта мне: изучать так-то и так-то; мое желание по-своему осветить историю религиозных символов окончилось тем, что Мережковские, пользуясь моей депрессией и неврастенией, на полтора года «оседлали» меня; и я по слабости воли не мог свергнуть с себя это «иго».

Меня бы изъять от людского общения в санаторий, дать отдых, чтобы хоть немного очухаться, а тут, по приезде из Петербурга,— раз, раз: вызов на дуэль со стороны Брюсова (о чем ниже) и целый салон Морозовой, опрокинутый в сознание; ни времени, ни возможности, ни физических сил не оказалось, чтобы всему этому противостоять; ведь мое искание дружбы, простой человеческой ласки определили и особенность отношения к Блокам, и шутливые «игры» у камина с З. Н. Гиппиус.

Лопатина и других воспринимал я не как друзей, не как врагов, а просто как забавные силуэты на обоях уютной комнаты; мельк людей — как кино; но я не хотел еще себе в этом признаться: самопознания не было; и я «тщетно тщился» обосновать необходимость мне встречаться с людьми; в конце концов это было полным банкротством синицы, обещавшей поджечь море, вместо этого пойманной в клетку, в которой она билась более чем пять лет.

«Великие порывы» с этой весны — какие-то беспомощные биения пленника, имеющего рой друзей и чувствующего себя в одиночестве.

Появление, вторичное, «старцев» на моем горизонте,— «старцев», которые меня прокляли в 1908 году (я ж их ранее), во всяком случае, означало, что такой-то цикл завершен; этот «цикл» оплотневал в течение пятилетия; с 1910 лишь года я начал сызнова, как умел, пробивать стены своей тюрьмы.

Оттого и идеологические высказывания мои за этот период какие-то путаные; приводя их, я хочу дать почувствовать и читателю «витиеватость» моих тогдашних высказываний; я считаю, что в этот период измеритель моих переживаний — единственно лирика, не статьи; стихи же писал я редко; они, вошедшие в книгу «Пепел», не соответствовали ничему из того, что окружало меня; в них не отразились: ни Мережковские, ни салон Морозовой, ни кружок «аргонавтов»; но в них отразилось мое подлинное «я»; темы «Пепла» — мое бегство из города в виде всклокоченного бродяги, грозящего кулаком городам, или воспевание каторжника; этот каторжник — я.

Привязанность, молодость, дружба —
Промчались: развеялись сном.
Один... Многолетняя служба
Мне душу сдавила ярмом.

(1904 г.)[244]

Так писал я «из-под» комментарий к Канту, прений у Астрова, выслушиваний витиеватого д'Альгейма; все это — «служба»: и она — «ярмо»; или:

Здесь — рушусь в ночь я,—
Рушусь в провалы дня...
Клочья вьюжные — бросятся...
Скоки минут,— уносятся:
Не унесут меня.

(1905 г.)[245]

В другом стихотворении я пишу, как мой двойник, глядящий в зеркало,—

Ломает в безысходной муке
В зеркальной, в ясной глубине
Свои протянутые руки[246].

И та же тема бегства в поля от всех и вся стоит надо всей поэзией «Пепла», или эпохой 1904—1908 годов; она началась с возгласа:

Я покидаю вас, изгнанник,
Моей свободы вы не свяжете.
Бегу, согбенный, бледный странник,
Меж золотистых хлебных пажитей[247].

Бегу — от всех: Блоков, Мережковских, Брюсовых, «аргонавтов», кантианцев, религиозных философиков, салона Морозовой; и кончается эта лирика тоски и убега, уже в 1908 году, угрозами по адресу праздноболтающих:

Дождливая окрестность,
Секи, секи их мглой!
Прилипни, неизвестность,
К их окнам ночью злой![248]

Глухо задавленный в выявлении второй мой голос, голос озлобленного бродяги, замученного в тюрьме, и слышал Эллис, когда развивал он фантазии свои о моем «черном контуре», будто убежавшем от меня самого; дело в том, что «я сам» был уже «не сам»; «сам» сказался позднее, когда, рассорившись со всеми салонами, исчез на четыре года из «московской тюрьмы»; это было в 1912.

. . . .

Один из симптомов весны 1905 года для меня: появление у меня на дому композитора С. И. Танеева (брата В. И. Танеева).

Раз на моем воскреснике собралося особенно много гостей; вдруг звонок; и... и... и — натыкаюсь в передней на яростного осмеятеля символистов, заседавшего в кружке старых дев и старых холостяков, которых центром была квартира Масловых; почтенный профессор теории музыки, автор «Орестейи» и знаменитого сочинения о контрапункте, который и Вагнера не допускал в музыке, а не то что нас, явился собственною персоной, без зова, в гнездо символистов; я — даже присел: от изумления; он, очевидно, сконфузился, но тотчас расплакался громким смехом:

— «Аа... Аа... А я... к вам!»

Все Танеевы плакали смехом.

Единственным связующим звеном между мною и другом Чайковского и Николая Рубинштейна — Мишенька Эртель; Сергей Иваныч Танеев знал меня только маленьким «Боренькой»; это было лет восемнадцать назад; над «Андреем Белым» Танеев глумился, как и надрывал он живот над стихами Брюсова и Бальмонта; и вот, коллекционер «чудаков», сам чудак, появился и он среди нас по линии чудачества, а не идеологии; не без смущения ввел его; он же, чернобородый, довольный, широкий, уселся и, перетирая ладони, бросал красный нос — на того, на другого, от всякого слова всхохатывал, с громким плачем:

— «Аа... аа!..»

Очевидно, он шел к нам, как в цирк; я не знал: оби-

жаться на этот заход или принять его; но как-то так повернулось, что смех его был благодушен; он в спор перешел: в мягкий спор; обнаружился ряд интересов связывающих: Греция, ритмика; скоро уже стали мы посещать его «вторники» (Эллис, я, Батюшков, Эртель, С. М. Соловьев); жил он в Гагаринском, в особнячке; Танеев встречал с добрым смехом, с любовью, с сочувствием явным: к чудачествам нашим; он музыку даже писать собирался к стихам Соловьева «Саул»[249], к стихам Эллиса; его нянюшка, некогда им прековарно у братца похищенная (ее знает история музыки, Никиш ей письма писал), мне известная с первых младенческих лет, появилась за чаем как знак, что «омега» есть «альфа»; круг сомкнут!

Танеев, бывало, смеется:

— «Нет, вы объясните... Аа... аа... Ничего не пойму... Аа... аа... аа!..»

— «Да позвольте, позвольте»,— ему объяснишь: поймет; и — примет к сведению; сидит, выпрямившись, свой почтенный живот на нас пятя, руками в колени, склонив набок голову; и уж морщина внимательного напряжения перерезает большой его лоб.

Он — считается с доводом.

Часто под формою шутки он ставил серьезно вопросы, на них ожидая ответов: ему импонировали если не убеждениями, то независимостью; он скоро разорвал все с Сафоновым, консерваторию бросив; он в нас ценил то, что карьера для нас есть «ничто»; я поздней получил от него ряд ценнейших, мне нужных весьма указаний, когда приступил к своей «ритмике»; он же заканчивал труд своей жизни: том по контрапункту; к нему приходили, как помнится мне, Померанцев, Яворский и Л. Сабанеев; бывал старик Маслов, товарищ Чайковского, по правоведенью, белый как лунь.

Собирались к Танееву в пятом часу; ждали: к вечеру будет нам Баха играть; часов в семь он садился: играл изумительно — час, полтора.

Вскоре встретились мы в «Доме песни»; и даже позднее работали вместе в жюри, изучавшем внимательно 56 переводов прекрасного цикла «Die schöne Müllerin»[250]. М. А. д'Альгейм собиралась по-русски пропеть этот цикл; жюри конкурса: критики — Энгель, Кашкин, Семен Кругликов; три композитора — Метнер, Танеев и А. Гречанинов; и три литератора: Брюсов, Корш, я; Брюсов скрылся, а Корш — заболел; я один представлял литераторов; споры возникли; я выдвинул с Метнером один пе-

ревод; трое критиков и Гречанинов — другой; спор был яростный: Метнера, да и меня, обвиняли в отчаяннейшем модернизме. Танеев молчал; сила — в нем; взвесив все, он с горячностью соединился со мною и с Метнером; так старый классик, «профессор», со мной, символистом, стал против рутины (весь спор шел о недопустимости «паузника» в переводе, который отстаивал я).

Появленье Танеева к нам, дружба с нами — симптом: надо было задуматься; и я — задумался.

ОТНОШЕНИЯ С БРЮСОВЫМ

Снова увиделись мы с Брюсовым в феврале 1905 года, когда я, забывши об Н *** и о нем, переполненный весь впечатленьями от революции, пережитой в Петербурге, от Блоков и Д. Мережковского, вновь появился в Москве; он явился как встрепанный, с молньей в глазах и с неприязнью в надутых губах; с дикой чопорностью сунув пальцы и вычертивши угловатую линию локтем, он бросил на стол корректуры, мои, прося что-то исправить; но видом показывал, что корректуры — предлог; кончив с ними, стоял и молчал, не прощаясь, наставяся лбом на меня, точно бык перед красным, посапывая: бледный, весь в красных угрях.

Вдруг без всякого повода, точно бутылка шампанского пробкою, хлопнул ругательством,— не на меня: на Д. С. Мережковского, зная, что у этого последнего жил и что для внешних я в дружбе с ним; я — оборвал Брюсова; он, отступая шага на два, свой рот разорвал: в потолок:

— «Да, но он продавал...» — «что» — опускаю: ужаснейшее оскорбление личности Мережковского;[251] я — так и присел; он, ткнув руку, весьма неприязненно вылетел.

Когда опомнился,— бросился тотчас за стол, написав ему, что я прощаю ему, потому что он «сплетник» известный;[252] ответ его — вызов: его секундант ждет в «Весах» моего[253].

Я, все взвесивши, понял: Д. С. Мережковский — предлог для дуэли; причина действительная — истерический взрыв, мне неведомый, в Н ***; тут же понял я, что *«испытует»* во мне просто честность; кабы уклонился, он мог бы унизить меня перед Н ***: трус, друзей защитить уклонился! Все взвесив, ответил ему, что предлогов действительных нет для дуэли; но, если упорствует он, я, упорствуя в своей защите Д. С., отрицая дуэль, буду драться [254].

Он взвешивал долго письмо; вдруг, явясь к Соловьеву, взволнованный, мягкий и грустный, уселся писать мне ответ примирительный, чтобы С. М. Соловьев передал его лично;[255] в те дни клекотал Соловьеву, что хочется очень ему, «просияв», умереть. В эти месяцы лучшие стихотворения сборника «Стефанос» им написаны; в них — отражения его издергов с Н *_*.

Скоро мы встретились пред типографией: вблизи манежа; из шубы торчал толстый сверток закатанных гранок; склонив набок голову, он воркотал, как пристыженный:

— «Да, хорошо умереть молодым: вы, Борис Николаевич, умерли бы, пока молоды; еще испишетесь: переживете себя... А теперь,— как раз вовремя!»

— «Да не хочу я, В. Я., умирать! Дайте мне хоть два годика жизни!»

— «Ну, ну: поживите себе еще годика два!»

Повалила хлопчатая снежная масса на мех его шубы; из хлопьев блеснул на меня бриллиантовым взглядом: из длинных и черных ресниц; побежал в «Скорпион» — рука в руку; а голову — набок; хлопчатая масса его завалила. Да, жило в нем что-то от мальчика, «Вали»; и это увидел в нем Блок:

— «Знаешь, Боря, в нем детское что-то; глаза,— ты вглядись: они — грустные!»

. . . .

С 905 до 909 года мы, вместе работая, часто встречались и много беседовали: не вдвоем, а втроем, вчетвером: с Соловьевым иль с Эллисом; мы составляли уютную, дружную очень четверку; то время — полемики: бой «Весов» против решительно всех — под командою Брюсова; «вождь» был покладист, любезен, сдавая так часто мне, Эллису знамя «Весов», даже следуя лозунгам нашим. Встречаяся с нами, любил порезвиться, задористо, молодо, быстро метая свои дружелюбные взоры; но стоило нам с ним остаться вдвоем,— наступало молчанье: тяжелое; мы опускали глаза; тень от «черной пантеры», меж нами возникнувшей некогда, точно мелькала и солнечным днем.

Но запомнилось мне посещение Дедова им; был июль;[256] мы с С. М. обитали в уютнейшем маленьком флигеле, среди цветов, в трех малюсеньких комнатах; Брюсов явился сюда; ночевал, во все вник: в быт, в цветы и в людей, оценив белоствольные рощи, А. Г. Коваленскую, старенькую и трясущуюся средь настурций, с Вольтером в глазах и с Жуковским в устах, в черном платьице, в черной наколочке, в черной косынке.

В. Я. мы водили по полю; он, став вдруг шалун, предложил состязание: вперегонки; я показывал свое искусство в прыжках; тотчас он захотел меня в этом побить, перескакивая через куст; но был бит; увидав, как вбегаю я по наклоненному низко над прудом стволу, не держася за ветви, он тотчас испробовал это: с успехом; конечно, стащили его мы в село Надовражино, к сестрам Любимовым, трем остроумным поповнам; одна из них, тонко внимавшая Блоку, ему, совершенно пленясь молодой простотою его, вдруг схватив его за руки, бросила:

— «Вы — удивительный!»

Вечером он, прималясь и подсевши под ухо старушки Коваленской, ей стал ворковать про Жуковского что-то,— такое пленительное, что старушка, его не любившая, быстро затаявши, стала каким-то парком; ее сын, В. М., приват-доцент, постоянно глумившийся над строчкой Брюсова, только руками развел:

— «Ну,— и я побежден!»

. . . .

Всех пленил и уехал.

Я здесь опускаю работу, которую с ним провели мы за этот период: в «Весах» и «Скорпионе», борясь с пафосом *, с оппортунизмом «Шиповника»; ** эта эпоха боев, открывающая 907 год,— тема не этого тома; покончу лишь с линией внутренних встреч. В девятьсот лишь девятом году неожиданно он мне напомнил ненужное прошлое наше в стихах, посвященных мне, где он описывал, как он свой жезл поднимал на меня, чтоб убить, и как выпал тот жезл из руки[257].

Я обменял мой жезл змеиный
На посох бедный, костяной[258].

Я ответил стихами, в которых есть строки:

«Высоких искусов науку
И марево пустынных скал
Мы поняли»,— ты мне сказал:
Братоубийственную руку
Я радостно к груди прижал[259].

---

* Мистический анархизм (представители — Чулков, Городецкий, Иванов, Мейер и т. д.) исчез к 1909 году; в 1910 — ни «Шиповник», ни Брюсов меня не волновали нисколько.

** Издательство «Шиповник» Гржебина и Копельмана, тогдашняя штаб-квартира Андреева, группировавшая ряд имен (Андреев, Дымов, Зайцев, Семен Юшкевич, Сергеев-Ценский и множество других).

Но стихи вышли, как расставание в сфере культурной работы, которая — оборвалась; примирением внутренним, но расхождением внешним открылся период тот; Брюсов мне выявил, так сказать, «правый уклон» в символизме: союзом с Лурье, с Кизеветтером, Струве, директорством в своем «Кружке» и т. д. Уже закрылись «Весы»; я ушел в «Мусагет»; Брюсов — в «Русскую мысль»; он дружил с «Аполлоном»; а я — враждовал, заключая союзы с Ивановым, Блоком, с которыми полемизировал он, подкрепясь Гумилевым.

Мы скоро ударились лбами, когда под давлением Струве не принял он заказанного мне «Русской мыслью» романа: я кричал на него; даже сцены устраивал: на заседаньи «Эстетики»; он же, терпя мои резкости, молча морщился, силясь меня успокоить; он был совершенно бессилен; давил его Струве, который пришел от романа — в неистовство, до ультиматума мне, чтобы я вообще не печатал романа нигде[260].

Вышел громкий скандал, от которого лишь пострадал он со Струве; я ж — переборщил в своей долгой злопамятности, лет двенадцать отказываясь от свидания с ним; я не понял, что «инцидент» наш — неразбериха игры, от которой он более пострадал: в своих воспоминаниях о Блоке[261] я изобразил его монстром; тут субъективизм объективно не вскрытой обиды (я с тем же пристрастием, впрочем понятным, приняв во вниманье смерть, переромантизировал Блока).

Еще раз столкнулись мы лбами с В. Я.: в 1918, когда меня группа писателей прочила вместо него, предлагаемого Луначарским, в заведующие «Лито».

Только в 1924 году он, больной, примиренный, явясь в Коктебель, где я жил у Волошина[262], с доброй сердечностью мне протянул через колкости «Воспоминаний» моих свою руку; тогда лишь воистину:

Братоубийственную руку
Я радостно к груди прижал[263].

В Коктебеле для Макса Волошина в день именин его изображали пародию мы на кино (верней, фильму «Пате»[264]); но и в легкой игре проскользнул лейтмотив отношений — старинный, исконный: борьбы между нами; он, изображая командующего аванпостом французским в Сахаре, сомнительного авантюриста, меня — арестовывал; мне передали, как оба, в пылу нас увлекавшей игры, за

кулисами перед готовимой импровизацией спорили, кто кого на цепь посадит:

— «Я — вас!»

— «Нет,— я вас!»

Наблюдавшие нас утверждали, что в лицах (моем и его) был действительный пыл, точно речь об аресте — не шутка: серьез.

И запомнилось раннее утро; четыре часа; солнце не подымалось; тяжелые тучищи заволокли горизонт; на морском берегу мы прощались: под взревы волны; он сердечно мне подал ослабевшую руку; я с чувством пожал ее; я собирался в Москве навестить его; кашлял отчаянно он, незадолго промокнувши у Карадага: под ливнем; вернувшись в Москву, не поправился он[265].

Через месяц не стало его[266].

Провожая печальное шествие, я был притиснут толпой под балкон того здания, внутри которого с ним каждый день я встречался, когда мы, не зная друг друга, учились у Льва Поливанова,— здания ГАХНа; на мне столь знакомый балкон вышел тихо А. В. Луначарский; за ним вышел Коган; и произнеслось над Пречистенкой:

— «Брюсов — великий!»[267]

Взволнованный воспоминаньями, помнится, выкрикнул я нечто дикое; переконфузившись,— юрк: в переулок; позднее пришлось объяснить этот вскрик... «из волнения»; ведь для меня ж — умер «Брюсов»: эпоха, учитель, поэт!

Неизъяснима синева.
Как сахарная голова,
Сребрея светом,
Как из пепла,—
Гора из облака окрепла[268].

ОЦЕПЕНЕНИЕ

Брюсов — текучая диалектика лет: противленец, союзник, враг, друг, символист или — кто? Можно ли в двух словах отштамповать этот сложный процесс, протекавший в нем диалектически? Мы, отработавшие вместе с ним в одной комнате шесть почти лет, награжденные определеньем «собаки весовские», можем ли быть вместе с ним взяты в скобки? Одну из «собак» вызывал на дуэль; а другая «собака» гонялася с палкой за ним; и потом, отслужив, повернулась спиною к нему в «Мусагете» (то Эллис).

«Весовская» группа — есть группа или разнобой?

Брюсов — нет, мне не пара. А кто пара мне? Есть традиция думать, что — Блок; на показанной четырехлетке достаточно ясно: не пара: сентиментально нас парить; в «распре» страстей, дважды схватываясь за оружие, парились мы; лишь к 1910 году мы остыли до дружбы, холодно-духовной; в интимную жизнь наших личностей мы не глядели, минуя ее; и на этом основана «дружба», которая есть констатация: в том-то, и том-то, и том-то согласны; а в том-то — расходимся; если бы вглядывались в интимные жизни друг друга, в живое теченье идеи, моральной фантазии, то, вероятно, «распарились» бы опять до больших неприятностей; так что я спрашиваю: Блок мне кто? Противленец, союзник, враг, друг, символист или — кто? В годы узкой захваченности символизмом В. Брюсова Блок символизмом ругался; а в годы предания символизма В. Брюсовым Струве Блок каялся в том, что когда-то предал символизм.

В. Иванов, опять-таки,— кто для меня? Противленец, союзник, враг, друг? Я нарочно в трех главочках дал материал к диалектике сложных, запутанных с ним отношений, в которых момент яркой ярости чередовался с моментом сердечнейшей нежности; нудилось что-то во взаимодействии нашем меж нами; какая-то лаборатория опытов строилась даже в полемике; не говоря о моментах согласий; но можно ль назвать то согласие полным? Скорее пытался я для равновесия строимого между нами морально-идейного мира то Брюсовым уравновесить Иванова, то в пику Брюсову выдвинуть мировоззренье Иванова; и совершенно сознательно действовал я, потому что я знал: символизма как школы и нет, и не будет; а мировоззренье построено будет сквозь школы и мировоззренья; и вовсе не нужно для мировоззрения этого ряда пустых этикеток, как-то: символизм, символ; знал же я с первого года столетия, так же, как знаю в 30, что догмат, единственный, мировоззрения строимого есть борьба с догматизмом; в известный период лаборатория наших исканий с удобством могла обозначена быть: символизмом; те, кто думал, что символизм ряд готовых построек, с удобством ощупываемых, весьма ошибались, лишь надпись столба путевого с протянутым пальцем; не здание,— только дорога, бегущая за горизонт; символизм — это значило: «к северу»; мы, путешественники,— В. Иванов, В. Брюсов, А. Блок — отправлялись на север; пройдя километров пятнадцать, я видел загиб в направлении западном; дальше: загиб:

в направлении восточном, опять возвращающем к северу; Блок и Иванов, не видя загиба, лупили на север, к конечным путям символизма — к «коммуне людей»; а мы с Брюсовым к западу перли, крича: «Эй, товарищи, здесь заплутаетесь, здесь хода нет!»

Так мне это виделось; Блоку, Иванову, Брюсову виделось это, вероятно, иначе; и, если б не я, а они написали бы «Начало века», читатель увидел бы, как плутал зря «Андрей Белый», сбиваясь с дороги.

Так выразил бы я тенденцию книги: дать ряд зарисовок в малом отрезке моего литературного пути, очень сложных, противоречивых. «Начало века» — лишь первый том моих мемуаров; чтобы очертить двенадцатилетие литературной деятельности до войны, мне понадобилось бы писать еще два тома; первый том обнимал бы эпоху журнальной деятельности с Брюсовым в «Весах»; с «Весами» я очень тесно связался лишь с 1907 года; этот период мне памятен, в противовес зарисованному, сильным сужением, но и концентрацией интересов, большей четкостью в понимании задач своей деятельности; раскидавшись, я потерял под ногами почву; сузившись, я обрел уверенность на сравнительно узком участке идейного фронта: на литературном; этим я обязан Брюсову; второй том «Начала века» обнимал бы 1905—1909 годы. Третий том обнимал бы перенесение арены деятельности из «Весов» в книгоиздательство «Мусагет»; в этот период я пытаюсь обосновывать символизм как философию культуры, отхожу от Брюсова, отдаляюсь от Мережковских, мирюсь с Блоком, В. Ивановым; конец периода этого — мой уход из «Мусагета» и отъезд за границу.

Все описанное в этом томе воспроизводит не столько оценку с сегодняшней точки зрения бывшего давно, а именно это бывшее давно; я пытаюсь накладывать краски, соответствующие тогдашнему восприятию людей и идейных течений.

Пусть читатель увидит, как мы бродили впотьмах, как переоценивали свои силы, как обманывались и ошибались в людях, какие сюрпризы вырастали из встреч с людьми, издали казавшимися близкими. Те, кого критика объединила как группу писателей-символистов, представляли собой людей разноустремленных, порой даже чуждых друг другу.

Что в момент отказа от форм, школ искусства каждый искал по-своему жизненного искусства, а не абстрактного «крэдо», не мировоззрения из рассудка,— свидетельству-

ют заявления, начиная с первого по времени символиста, с Добролюбова: вот им написанные последние строчки: *«Все это* * *я написал ради того, чтобы засвидетельствовать осуждение всему прежде написанному*... Оставляю навсегда все видимые книги» **. И Брюсов писал мне: *«То, чего все мы жаждем, есть подвиг... но мы отступаем перед ним и сами сознаем свою измену, и это сознание... мстит нам...» «Справедливо, чтобы мы несли казнь...»* *** То же — Блок; безответственность свободы превращает в *«балаган»* самое творчество; **** *«возникают вопросы о проклятии искусства, о возвращении к жизни, об общественном служении»* *****. *«Что произошло с нами в период антитезы?.. Превратили мир в балаган... Поправимо или не поправимо... Мой вывод... самоуглубление, пристальность... диэта... Должно учиться вновь...»* ****** Так же жизнью ответил поэт-символист Л. Семенов; тем именно, что стал крестьянский батрак. Как со мной обстоит? *«Писатели не могли ограничиться печатной словесностью... попытка Толстого пахать для искусства — искусства быть в жизни — значительней «звучности»... Образец лучшей «звучности»... толстовская «Азбука»...» «Словесные фонтаны обильны; если бы, по мудрому слову Пруткова, закрыли бы эти фонтаны... может быть, услышали б... то, что не слышим...»* *******

Я бы мог и еще, и еще, и еще приводить: себя, Блока, Брюсова: жизнь, жизнь, а — не «искусство»!

От осуществления только к стремлению — вот переворот, мной мучительно пережитый; символизм как конкретное мировоззренье, которое завтра-де мы осуществим, стал в 1905 году для меня неопределенною, туманною далью культуры; стало быть: самый термин «символизм» стал из точного термина — только эмблемой дальнейших исканий; в эпоху с 1906 до 1909 года выступили для меня и Брюсова более всего проблемы, связанные с художественным ремеслом.

И открылось: всякому идейному устремлению должны соответствовать люди, его проводящие в жизнь; а мы как

---

* Разумеется содержание «Из книги невидимой».

** Добролюбов. «Из книги невидимой». Последние слова [269].

*** Из письма ко мне, напечатанного во 2-й главе.

**** Блок. «О современном состоянии русского символизма», т. VII, стр. 186, изд. «Эпоха».

***** Там же, стр. 188.

****** Там же, стр. 191—195 [270].

******* Белый, «Мировоззрение Гете», стр. 23—27 [271].

люди не сдали экзамена; первые же опыты со строительством жизни для меня окончились крахом; и вставал подо всею суетой жизни новый вопрос: что же есть человеческая личность? Что есть человек? Человек оказался сложней всех моих юношеских представлений о нем.

Вы идете к знакомому на пятый этаж неизвестного вовсе вам дома; вы звонитесь в квартиру, где все вам известно, где все так уютно, где все вас влечет; возникает иллюзия, будто и дом, в одной из квартир которого вы бываете часто, известен вам, как квартира; а вы пробегаете лестницей, где ряд неизвестных квартир; и у вас возникают мысли о том, что там свои жизни, порой очень страшные. Пятый этаж с вам известной квартирой вы отождествляете с личностью: это ж — участочек личности; личность — весь дом, т. е. энный ряд устремлений, переживаний, противоречий, о которых вы и не подозреваете вовсе.

Такая картина предстала мне, когда я пытался гармонизировать кружок «аргонавтов»; тогда и открылось, что все слова о прекрасном, о новом в каждом из друзей — квартирочка в ряде квартир, обитатели коих живут и не по-новому, и не прекрасно; мечтая о деле, связующем тесно друзей, ты мечтаешь и о связи квартир, т. е. общности переживаний; казалось бы — налажена связь. Как бы не так! В поволенную общую жизнь введены ряды, сотни квартир с неизвестными, подчас ужасными в них обитателями; и выявляется косность, не преодоленная в каждом; «отцы» — не во мне лишь: часто непреодоленные, они в нас таятся; оттого-то и грань между близкими и дальними, меж старым и новым порой для нас незаметна: ускальзывает в каждом миге; и порывы наши к изменению жизни разбиваются ежеминутно; «тюремщик» всегда соприсутствует; он неизбывен; и это — ты сам, не опознавший себя; ты думаешь, что побеждаешь, что круг твоих новых заданий, расширяся, осуществляется; ты разорвал с своим прошлым; ты — только о будущем, с будущим; и вдруг — то же разбитое корыто; ты — описал круг; твое освобождение из «тюрьмы» — только сон об освобождении...

Такие лукавые мысли посещали меня весной 1905 года.

Я вспоминал, как только еще три года назад я жаждал познакомиться с новыми людьми: Мережковский, Брюсов, Блок виделись издали в романтическом ореоле; то, что окружало, казалось плесенью; и вот я добился своего; ценой проклятий по моему адресу я вырвался из постылого мне обстания; университет — за плечами; поставленная мной себе цель — осуществлена: я стал — писателем; ко

мне прислушиваются; Брюсов, Блок, Мережковский — мои друзья; почему ж грусть охватывает?

Мережковский, Блок, Брюсов — совсем не «герои»: запутанные, самопротиворечивые, как и я; стоит ли биться за новое, если новое не так уж ново? Такие лукавые мысли посещали меня.

И порой начиналось со мной что-то вроде кошмара: те «старики», которые угрожали ребенку, мне, как тяжкокаменные кариатиды, нависающие над головой (кариатид я боялся), стали встречаться вновь вместо поволенных мною друзей; придешь к Морозовой, а с дивана подымается тебе навстречу старый «леший» Лопатин, у гроба отца соизволивший не заметить тебя; у Морозовой он — замечает; и даже: жмет руку; за ним поднимается и профессор Хвостов; а там — чешет на третий этаж из стана ненавидящих старух Масловых, сих Эринний староколенной Москвы, надрывающий над Бальмонтом живот Сергей Иваныч Танеев; и ты оказываешься в его особнячке на углу Гагаринского переулка. Даже раз Буюкли затащил меня в особняк к Бобринской, что на Смоленском бульваре; и хотя мы крупно, слишком даже бурно столкнулись с кадетствующей рутинеркой в искусстве, однако — спрашивал я себя: зачем я там был? Потому что у нее жил Буюкли? А почему у нее жил Буюкли? Потому что ему некуда деться: старые устои Москвы оцепили нас; без изменения социальных условий — новой жизни не выстроишь.

Так от противного мысль о социальной революции, о невозможности без нее обойтись, все чаще и чаще с неожиданной стороны поднималась перед моим сознанием; политически мы были «левы»; но недостаточность этой левизны, власть капитализма, обусловленность всех нас атрибутами капитализма, банками, золотом и прочими идолами выступала с отчетливостью; и это сознание незаметно меня пригоняло к необходимости вчитываться в программу тогдашней социал-демократической партии; я впервые усвоил себе, что такое прибавочная ценность и что такое фетишизм товарного производства.

Не хочу сказать, что я становился социал-демократом,— у меня для этого не было подготовки, опыта; но я становился сочувствующим; и в споре с товарищами чаще и чаще выдвигал теперь ставшее совершенно конкретным свое убеждение: без социальной революции невозможно мечтать ни о какой коммуне, ни о каком осуществлении нового быта; и если она будет, то так, как ее рисует Маркс; хочешь не хочешь, а она — будет; она — должна

быть; когда это будет — никто не знает; мне лично в то время казалось, что это случится не скоро еще, что агония продлится столетие, что поднимающаяся русская революция — первый гул еще очень далекого будущего; и этим отодвинуты наши «аргонавтические» стремления: осуществить коммуну нового быта сейчас; все утопии об этом — тщетны: гыканья Эртеля и прочие писки в «аргонавтическом» галдеже — слащавые благоглупости; про себя минутами я ненавидел уже наш кружок:

В своих дурацких колпаках,
В своих ободранных халатах,
Они кричали в мертвый прах,
Они рыдали на закатах[272].

И криком и истерическими рыданиями впустую теперь мне казались наши «среды» у Астровых.

Возненавидел я капитализм как режим; и тем лютее, чем более мне лично нравилась представительница этого режима, в нем неповинная, в нем оказавшаяся вследствие «несчастного» замужества: Морозова; в то время я отделял режим от людей. Эти мысли о неизбежности социального переворота высказывал я и Эллису, и С. М. Соловьеву; с другими же говорил осторожно и глухо на эту тему; но с той поры во всех статьях и заметках 1906—1908 годов постоянный выпад против капитализма и против капиталистов-меценатов, для многих казавшийся *ни с того ни с сего*.

Капитализм казался мне символом самого человеческого рока, преодоление которого — победа над косной природой вселенной; и, стало быть, надо свергнуть узы капитализма; и в этом смысле писал в статье «Театр и современная драма»: «Взрывчатый снаряд разорвется не прежде, чем человечество станет под одним трагическим знаменем»[273]. «Снаряд» — борьба с косностью всей вселенной; но чтобы вырасти до этой борьбы, надо свергнуть капитализм; в этом смысле и писал: «Фетишизм товарного производства еще... не рок»; но он — «личина рока»;[274] необходимо ее сорвать, т. е. ликвидировать классы; для этого и необходима социальная революция; так мысль о социальной революции с этого времени — необходимая поправка к моим статьям, высказываемая под сурдинку (и ввиду цензуры, и потому, что я был далеко не тверд в понимании механики социальной борьбы); но мысль о какой бы то ни было коммуне вне революции претила мне, будь то коммуна толстовская или коммуна художников-

новаторов, и я с 1906 года люто травил «мистических анархистов» в их мысли о коммуне вне социального переворота; и потому-то я скоро потом обрушился на теории Вячеслава Иванова о подмене революции в жизни революцией на сцене; особенно мне претили неонароднические экивоки — у Блока, Чулкова, Иванова: «Когда дразнят нас многосмысленным лозунгом соединения с народом в художественном творчестве, нам все кажется, что одинаково хотят нас сделать утопистами и в области политики, и в области эстетической теории» *. Я был сам еще утопист в 1905 году; но я стал осознавать уже свои утопии недавнего прошлого; по отношению ж к меценатам-капиталистам, обволакивавшим нас со всех сторон,— у меня вырвался в 1906 году долго таимый вскрик возмущения: «Как смеете вы хотя бы ценить нас!.. Идите себе в цирк... Знайте, что когда... икая, вы хвалите художника, а тот любезно улыбается вам в ответ, он влагает в улыбку свою вечную анафему вам» **.

В лирике моей появился символ восстания: *красное домино;* оно бегает по строчкам стихов:

С кинжала отирая кровь,
Плеща крылом атласной маски[277].

«Маска» — мои сидения в академических салонах; под ней — нарастающий протест, который стихийно вырвался осенью 1905 года, в дни всеобщей забастовки; до этих дней я еще из своей депрессии глядел, как из окна, на происходящее кругом; с осени я был вырван из всех устоев — личных, эстетических, теоретических; вихрь охватывал меня: начавшись с осени 1905 года, он в 1906 выхватил меня и из России; впереди ждали — Мюнхен, Париж: иной быт, иные люди; среди них — яркая фигура Жореса, с которым мне пришлось по прихотям судьбы видеться чуть ли не каждый день в течение двух с половиной месяцев.

Но это темы второго тома, пока лишь замышленного.

. . . .

Первая четырехлетка моей литературной новой жизни — взлет; и быстро за ним склон, скат; и — подмена деяния творческого разгляденьем критическим; я переживаю угасание веры в «героя»-новатора; я переживаю дикий испуг пред рядом сюрпризов, которыми угостит тебя твой

* «Луг зеленый» — «Символизм и современное русское искусство»[275].

** «Арабески», стр. 328[276].

«герой»; и отзыв на все: «Нет, не то!» С этим мысленно произносимым «не то» я и жил; так что четырехлетка моя — диалектика: от «то» к «не то»; теза бурных стремлений и скорых деяний совсем незаметно во мне обернулась своей антитезою: вялых свершений, медлительнейших созерцаний; я просто не знал одно время, где грань меж добром и меж злом; что хвалить мне и что порицать мне: в В. Брюсове, в Д. Мережковском, в Иванове, в Блоке, во всяком человеке.

Одно оставалось: учиться; и я незаметно втянулся в разгляд человека; я коллекционировал, даже каталогизировал посланный мне материал из друзей (не друзей) и врагов (врагов ли?); так проблема союзов с людьми мне подменилась проблемою тактического соглашения с ними; если союз, то в одном отношении лишь; в другом — бой. Я был парализован узнаниями; лишь потом осознал период мучительный этот как школу писателя; а пока она не осозналась, ужасно мне было, вращаясь в гирлянде кружков, точно в «шен-шинуаз» *, где Блок, Эллис, Метнер, Бальмонт, Философов и Астров, вращаясь друг в друге, вращали меня, утомленного,— без остановки, без отдыха! То, что отслаивалось от всех этих «вращений», внедряяся недоуменно и горестно в цепи причинности, нас всех связавшей, не имело еще своего выраженья; осознавались две линии дум об общей всем «тюрьме»: как бежать из нее индивидуально? Ответ: самосознание. Как разрушить ее социально? Ответ: революция всех условий жизни; во мне подымался вопрос: в чем же пересекаются эти два пути и есть ли в пересечении их третий?

Но было нужно получить опыт того, как и с прекрасным намереньем садятся в лужу; знать лужи — надо; в лужу же садиться — невкусно; я — сел; посидел, посидел; и — встал; но пока я сидел, мне казалось, что — жизнь моя кончена; кончен же был лишь малый отрезок большой диалектики лет; но на малом отрезке уже нащупывалась огромность узнания: все становящееся в «ставшем» — труд; в миг остановки я виделся трупом себе; пережив свою смерть, понял Гете в его «Stirb und werde»; ** эпоха романтики сдернулась змеиной шкуркой; процесс выхожденья из прошлого, нудимый, как расширенье себя, был мучителен; «шкуркою» переживалось и «я» и обстание; шкурка — фатальная мумификация

---

* Фигура кадрили.

** Умри и будь [278].

всего свершаемого: мимо подлинной жизни; и главы «Начала века» рисуют естественную мумификацию: первая глава — «Аргонавты»: стремление нас без руля и ветрил плыть за новою жизнью; вторая глава, или — «Авторство»: сужение мировых стремлений во мне (бессознательная эгоизация), ведущее к развалу всего плана жизни; отсюда и заглавие третьей главы: «Разнобой»; в ней показана жизнь в разрывах; итог — мумификация теперь уже бессвязных стремлений: ‘«Музей паноптикум», выставка портретов, мельк силуэтов, вызывающих усталость, и только.

На этом кончаю рассказ об этом отрезке моего пути; продолжу ли я воспоминания? Это зависит не от меня: от читателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Прилагают фотографии деятелей литературы к данным о них; воспоминания мои — фотографии: материал для литературоведа-историка; не одушевлен я желаньем тряхнуть стариной иль расправиться с ней; что и как было,— вот жест записания.

Биография выныривает, поскольку у воспоминаний есть мыслящий субъект их; описание прыщиков собственного носа не интересует автора, [в описываемый период грешащего гипертрофией абстракций, определявших стиль живых отношений; отсюда и необходимость в силуэтах идейного мира автора (того времени); *«хороши»* они были иль *«плохи»*,— не мне судить.]

Оценок тут нет.

[Силуэты взглядов скроены мной из цитат, имеющих почти 25-летнюю давность; ссылки на книги и на страницы,— увы,— ничто для зло-читателя; и тут он будет утверждать: «Выдумываете!» С 1908 года с меня, точно с трупа, снимают гипсовые маски; живой человек упразднен; маски вывешены в антикварных музеях; *«Андрею Белому полагается так полагать»* доминирует над *«Андрей Белый так полагает»*.

Читатель, не прочитавший всего меня, лучше, чем я, знает мой мир идей: так было, так будет!]

В предлагаемых воспоминаниях я не критикую идеологий литературных спутников: у них есть свои книги; идеологии их изучаемы на материале им⟨и⟩ написанного; не привожу и долгих диалогов: разговоры свои не записывал я; у меня слаба память на слово; я помню жест, смысл, интонацию и действие их на меня.

Что помню, то и описываю.

За 30 лет менялись мои отношения к Блоку, Брюсову, Иванову, Мережковскому, Метнеру, Эллису, Эртелю и другим. В рассыпанном материале писем, заметок, статей, дневниковых записей найдешь что угодно о каждом: от субъективной хвалы до пристрастной ярости; таким оценкам на час — грош цена. Приходится исправлять грехи переоценки или недооценки и в печатном тексте; в *«Начале века»* стараюсь я стереть пристрастную полемику с Брюсовым эпохи *«Воспоминаний* о *Блоке»* и пристрастную романтизацию самого Блока, данную в «Воспоминаниях». В письмах, набросках, в ряде пропавших дневниковых записей о Сологубе, Брюсове, Блоке и прочих много разбросано субъективной дряни, которую автор уже не может предать огню за неимением этой «дряни». Но этим заявлением о том, что импрессиям дня он не придает цены, аннулирует значимость его субъективных мнений о том или другом на протяжении 30 лет. Приготовляя к печати *«Начало века»*, автор показом стиля отношений к современникам доказывает: стиль его отношений — диалектика, живой, текучий процесс, превышающий *«да»* или *«нет»*, сказанный современникам по прямому проводу.

[Сказав это, я отвечаю и на слухи, доходящие до меня: от времени до времени мне передают, будто кто-то (много есть литературных спекулянтиков) показывает из-под полы какие-то де письма мои или другие материалы с резкими мнениями о моих литературных собратьях. Проверять слухи после этого моего заявления не имею намерения. Лишь скажу: писем с оценками никому из заведомых спекулянтов я не писал уже лет 15; а черновой материал с набросками неоднократно у меня пропадал (ведя переменный образ жизни, я разбрасывал свои бумаги); мои письма, заметки можно было бы подобрать и на улице; им — грош цена после сказанного здесь; найдя утраченную рукопись, не *«воры»* возвращают ее по принадлежности. Но и на *«чох»* показа из-под полы — не наздра⟨в⟩-ствуешься.

Повторяю: в 31-ом году значимо лишь то, что я думаю о писателях в *«Начале века»*, а не в каких-то там письмах или в чем еще.]

Автор

Кучино. 18 декабря. 30 года.

ВВЕДЕНИЕ

ЗАДАНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ

«Начало века» — продолжение книги *«На рубеже»*. Фон воспоминаний — идейные течения моей молодости; и — быт эпохи; в *«На рубеже»* исходная точка — конфликт двух столетий в душе подростков, отбор идей и протест, родивший течение, именовавшееся символизмом.

Я попытаюсь нарисовать картину сознанья символистов и неувязку, которая обнаружилась среди них, внешне объединенных, внутренне раздираемых противоречиями; мне пришлось принять участие в выработке платформ символизма и иметь отношения к видным деятелям искусства моего времени; как и в *«На рубеже»*, я включаю в воспоминания и биографию самоопределения — сырой материал для историка, литературоведа, физиолога творчества, социолога, а не оценку прошлого; дефект моего сырья — в том, что оно собрано на одном лишь участке; положительная сторона: собранное суть факты.

Я — подаю; не я — сужу.

Залп скороспелых суждений — не для литературоведения, которое интересует — симптом, а не штампы: «истина» и «ложь»; история переоценок с отмывом транзитных виз на право прохода в ближайшую пятилетку; *«пьяный дикарь»* — таков в десятилетиях был штамп на имени «Шекспир»; *«гений»* — так штамповали... Кукольника;[1] нагар столетий лег густым слоем на краски русских икон; заклепали в тяжелое золото пропорции, изучаемые ныне всем миром; и показывали на копоть лицевого провала, зияющего из оловянной брони.

Суеверов не осеняло правильное отношение к не известной никому живописи: отодрать золотой штамп, отмыть нагар.

Джотто и Дюрер в трактовке тем следовали предрассудкам времени; оспаривать их глаз в *«науке видеть»* — переть против рожна; стоящее в глубине времен отражается в нас с достаточной объективностью; мы видим и стихотворное мастерство, и гражданское мужество в монахе Данте;[2] и мы не поддадимся логическим заблуждениям Кампанеллы на том основании, что он — первый поставил нас перед картиной социалистической жизни *.

* Утопия Кампанеллы: «Солнечный город» [3].

Явления же вчерашнего дня мы подвергаем абстрактному ригоризму, накладывая копоть хулы или золото прославления; коли не топим, то тащим: за уши; химик Оствальд в интересной статье вскрыл зерно правды в старом взгляде на процессы горения, опровергнутом французом Лавуазье; критик-варвар, француз, заявил, что цель крупного немецкого химика — лягнуть Францию. Мысль Оствальда ясна: в свете закона сохранения энергии и забракованная Лавуазье аналитическая «теория флогистона», и синтетический взгляд на процессы горения — *теза* и *антитеза* в *синтезе* современности.

Литературным деятелям вчерашнего дня наряду со справедливыми нападками на них приходится иметь дело и с копытом, бьющим стариков и бьющим в барабаны перед всем сильным; *«Личарды»* господствующей тенденции стоят в позе обвинителей; вспоминая иных из них в их вчерашних деяниях, вспоминаешь слова, которые я обронил 23 года назад в фельетоне, озаглавленном *«Люди с левым устремлением»*: *«Что такое человек с левым устремлением в обыкновенное* — т. е. не революционное * — *время? Дай бог ему... подойти к Чехову... Он взлетает в артезианской струе»;* я развиваю мысль: артезианская струя, вырываясь наружу, бьет и грязью; *«Он... косно летит вверх и влево... В нем развивается левый пафос... Он... летит... обгоняя на ходу и Штирнера, и Бакунина... Так Иван Иванович становится мистическим анархистом... Он пересек все оттенки... от фиолетового до красного... И Иван Иванович чернеет... Левое устремление провалило... за горизонт. Если он взойдет... то только справа. Он опишет, как солнце, круг... Иван Иванович... будьте поправее... и хотя бы социализм не ругайте...»* («Арабески», 336—338. 907 год)[5].

Так я писал 23 года назад; среди символистов и людей к ним приставших была тенденция преодолевать символизм одновременным бегством и в анархическую общественность, и в мистический соллипсизм; Георгий Чулков напечатал манифест о *«стоустом вопле»* мистического анархизма; Сергей Городецкий сказал: *«Всякий поэт мистический анархист: как же иначе?»* [6] *«Как же иначе»* прогремело в качестве аргументации «левого» когда-то уклона в символизме; пока не явился в самом уклоне

* Фельетон написан в 1907 году, в эпоху реакции, в газете, чуть ли не ежедневно закрывавшейся Гершельманом[4] и пытавшейся воскресать под названиями: «День», «Час» и т. д. (так что не помню, в «Дне» ли, в «Часе» ли он напечатан).

уклон — *«наилевейший»*, себя объявивший *«символизмом третьей волны»*, которого вдохновителем был провозглашен бытовик-натуралист, Борис Зайцев,— Виктором Стражевым; апологет наилевейших, почтеннейший дядя, Сергей Голоушев («Сергей Глаголь»), жалел нас: «Вы старички!» Мне было 26 лет. Голоушеву около пятидесяти.

Я дернул фельетоном об Иване Ивановиче, человеке «левых устремлений»; мне открылась вечная истина о *«левых»* заскоках во всяком течении, преодолевающем нечто на деле, а не на словах; и я писал: *«Инфракрасные эстеты с инфракрасными общественниками, занимаясь постройкой новых небес, планет и душ... восходят справа. Они пятнают Гете, Пушкина... как пятнают Маркса... Иван Иванович, скорее проходите мимо... Ближе нам Белинский, Писарев... Довольно с нас левых устремлений»* («Арабески», стр. 341. 907 год)[7].

В 906 году я познал левое устремление, в котором вчерашние правые преодолевали нас, левых; немного позднее — постиг я и *«правый уклон»* в символизме: в картине проталкивания *«пассеистических»* ревизий Гумилева и *«прекрасной ясности»* Кузмина [8] с Валерием Брюсовым; и нам, *«весовцам»*, наш *«вождь»* угрожал слияньем... со Струве и Кизеветтером[9].

Теперь, на другом плацдарме, наблюдаю я изученное явление: «левую чехарду» вчерашних еще не марксистов, а сегодня уже *«мистических»* марксистов, объявляющих *«нюх»* пролетария критерием критики; и узнаю знакомца; жив, жив курилка, Иван Иванович, имеющий *«нюхи»* — сегодня пролетарский, вчера — нюх на богача, прикармливавшего его в газете; кто бы сказал лет 20 назад, что в армии тогдашних сотрудников желтой прессы откроются столькие «пролетарские» нюхи?

В 903 году мой знакомец, Иван Иванович, клеветал на меня — посетителям «Художественного кружка»; в 910 году я ощущал во рту сладковатый привкус от его лести, вызывающий, однако, колики в желудке; льстя, он учил искажать то, чему обучился у меня же: в период травли; встречая его теперь в усилиях меня вынюхать по-пролетарски,— заливаюсь смехом; и он стал «диалектиком», высказывающим выученную назубок вытяжку — не из Гегеля и не из Энгельса.

Между знанием назубок *«о»* чем-либо и овладением — бездна; и Дарвин изложим в три минуты; и с Дарвином на кончике языка дойдешь до... Овидиевых метаморфоз.

Диалектика — там, где владеешь изменением смыслового оттенка и где слова — не *«божки»;* она там, где понимают, что есть «реализмы», от которых бежит диалектик; как-то: «реализм» Фомы Аквинского.

Почему похвальное в одном случае зазорно в другом? Почему Энгельсу в идеалистической схеме Гегеля разрешено видеть симптом зреющей под ней реалистической мысли? А мне не разрешено в линии дионисовых культов, борющихся с Олимпом, видеть наступление на Олимп динамизма, позднее перерожденного в диалектику Аристотеля, который был в одной из фаз мысли Греции кристаллизатором зреющей научной мысли, как стал он же позднее кристаллизатором средневекового склероза; отцы диалектического материализма видели в Гераклите «мистические темноты» и здоровую тенденцию будущего, не боясь метафор языка и понимая процессы рожденья понятий из мифов; темнота темноте — рознь; темнота от засора мысли не темнота от обилия не переваренного научно сырья; и в «метаморфозе богов» может лежать семя учения Гете: о метаморфозе позвоночной кости.

Я буду говорить о том, как я и мои друзья, будучи юношами, унюхивали символы при помощи логики, химии и социологии; Брюсов изучал Спинозу; я — Менделеева; Эллис — Энгельса и Маркса; я буду говорить о том, почему мы, универсанты, не убоялись слов, поняв, что смыслы диалектичны, что от *«реализма»* Фомы сбежишь, пожалуй, в *«идеализм»* Гегеля.

Там, где не диалектик ляпает штампами «истина», «ложь», диалектик разглядывает корни заблуждений в истине и корни истины в заблуждении; он понимает: [и «идеалист» Гегель близок подчас мысли Ленина.]

Азбучные истины, о которых стыдно писать, становятся «мистикой», как скоро студент-естественник, Борис Бугаев, интересуясь метаморфозой образов и понятий друг в друге, разглядывает древние культы как символизации эмбрионального в них закона эквивалентов; или как скоро он, одушевленный разглядом корней заблуждений в истине, оперирует с энергетическими понятиями так, как оперировал бы грек: и говорит о «боге» Дионисе, о котором так много рассказано и филологами, и Ницше, и профессором Зелинским, и Роде.

Почему же не предположить: суть проблем, выдвинутых символистами, людьми с высшим образованием,— в разгляде метаморфозы образа в понятие (и — обратно), вне которой образ и понятие как метафизические реаль-

ности пусты; и лишь процесс, их сцепляющий в метаморфозу,— наполнен содержанием; ведь переоценка понятий и образов прошлого — основа их поворота вспять; что искусства, культы и быты — для них опытный материал, а не регалии культа; в их фольклоризме, как в средстве,— проблема расчистки сознанья в борьбе со штампом; почему не предположить: теоретику символизма «in statu nascendi»[10] в 1901 и 1902 годах дороги и история символизма, и задача самообразования, а не «радения»; отсюда: интерес к мифам и культам; интерес к способам символизации в ранних фазах более поздних идей.

С первых страниц этой книги подчеркиваю: зарисовываемое мной — попытка осмыслить юношеское «credo»; до 901 года моя биография — утопание в быте отцовских квартир «Бореньки», «Бори» и, наконец,— Бугаева, Бориса: «студента»; первое десятилетие литературной деятельности скрещает во мне *«Белого»* с *«Бугаевым»*, «ученика» с «учащим», «студента» с «лектором»; это есть — жизнь в идеях и понятиях, в бо́льшей степени, чем личная жизнь; социальные связи, чтение, тактика, дружбы и ссоры, согласия и несогласия — определяют «credo»; я вижу себя *«двуногой идеей»*, раскаленной спором; ошибки мои — идеологический ригоризм.

Личная биография — провал биографии; быт понятий проваливает ряд художественных заданий.

О том, что меня *раскаляло* и *перекаляло*, я хочу рассказать страницами этой книги.

Высказывания 902—910 годов — фрагменты черновика к книге, не увидавшей света, или — дневник студента; теория символизма — тема дневника; стержень ее сковался в университете; она — в разгляде многообразия допустимых оформлений и в правилах владения оформлениями; краски, стиль подачи материала менялись в 910, 912, 916 годах; мысль оставалась тою же.

С 901 до 911 года нет изменений в методе говорить о методах; но с 901 до 911 года краски *«оперения»* гаснут: мажор переходит в минор; *«аллегро»* в *«анданте»;* пульс жизни мысли бьется слабей в тисках повторов: себя самого; диалектическая спираль, свернувшись в круг, поймана в тенета не преодоленного догматизма.

Единственный догмат юношеского мировоззрения провозглашает борьбу символизма с «догматом»; и этот лозунг я начинаю ощущать: *«догматом»;* я ощущаю абстракт-

ность в борьбе с догмами; борясь с инерцией рутины, я упускаю из вида инерцию прямолинейного и равномерного движения; * абстрактная правота уживается с конкретной ложью; конкретная правота есть абстрактная правота; плюс: поправочный коэффициент на каждый случай; я ощущаю свою терминологию бедной поправками; мой критический смысл выглядит в высказывании наивно; появляются оспаривающие друг друга *«Белые»* — в Белом: компания их: мистик, кантианец, поэт, стиховед, оккультист, скептик, индивидуалист, коллективист, анархист и социалист — таким выгляжу я извне; [неправда вкралась между мною и словом, меня отделяющим от тех, с кем мне положено быть, и соединяющим с теми, от кого я далек; эмпириокритицист Валентинов мне говорит: «Вы проповедуете социализм под флагом символизма». Блок и Иванов отказываются от меня.

«Казусы» сопровождают все мои выявления; правильность теории оказывается неприложимой в конкретном деле; и я становлюсь собственным мифом.]

Вход в литературу в 1901 году и выход из нее во внутреннем «нет», сказанном соратникам по оружию в 1912 году, и сопровождаемый разрывами *«дружб»*, обусловлен идеологическими исканиями; ярок мой литературный оптимизм 901—902 годов; мрачно мое «нет», сказанное в 912 году «литературщине», из-под которой я не вижу будущего русской литературе; так поднимается тема «кризиса».

Свертываются светлые перспективы *«Золота в лазури»;* звучат темы *«Пепла»* и *«Урны»* — книг, в которых я ставлю над собою крест как над литератором; на кресте же — эпиграф:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизни прожить не сумел[11].

Блок, Брюсов, Мережковский, Иванов,— попеременно друзья и враги,— выглядят мне на этом абстрактном отрезке жизни эмблематическими актерами в моей драме. [Я переживаю кризис коллектива, без которого литературная борьба за «credo» — лишь сон.]

* Физика различает два рода инерции: инерцию покоя и инерцию движения.

[Кризис, пережитой мной, не был кризисом символизма во мне: кризисом — из-за символизма; тяготел в коллектив, к которому я примкнул, разорвав с традицией детства и отрочества; все базировал я на связи с людьми: с Мережковскими в 1902 году, с Блоком в 1903-ем, с Вячеславом Ивановым в 1904-ом; мой пафос: преодолеть отъединенность эстетства и дурной наследственности феноменалистической культуры, символизму предшествующей; бессознательная в отцах, в детях осознавалась она как чувство гибели.]

Считал и декадентство синонимом символизма; декаденты — те, кто себя ощущал над провалом культуры без возможности перепрыга; для декадента крылья — крылья воздухоплавателя, Лилиенталя, доказавшего своею гибелью невозможность авиации... за несколько лет до открытия воздушных путей. Декаденты и символисты осознали необходимость вылета из культуры; декаденты не видели осуществимости к вылету; символисты — делали, так сказать, авиационные пробы.

Декадент — Бодлер; символист — Ницше; символ для первого — соответствие двух рядов; символ для последнего — пересечение рядов: в новом качестве.

Так виделось юноше, мне, соотношение между символизмом и декадентством.

[Мироощущение декадента прекрасно выразил Брюсов:

Но лестница все круче.
Не оступлюсь ли я,
Чтоб стать звездой падучей
На небе бытия?][12]

Сознанием падения исчерпывает себя декадентство. [Юный Блок поднимает для меня, юноши, голос символиста, когда, обращаясь к товарищам, велит:

...Вместе свяжем руки,—
Отлетим в лазурь[13].

Связь рук — в каком смысле и с кем? Тут — подана проблема символизма без «декадентства»; отделенность переживается как детская болезнь роста; не воскресший в символизме декадент становится скептиком-снобом вроде Франса, иль святошей с перепугу (Верлен, Гюисманс), или словесником, подменяющим вопрос *«как жить»* во-

просом *«как писать»;* таким видится позднеи Валерий Брюсов (эпохи 1910—1916 годов).]

Декадентов, поставленных в необходимость осознать кризис старого мира, я не считаю упадочниками; смех мещан над Бодлером напоминает смех отца-сифилитика над наследственным сифилитиком, сыном, имеющим мужество показать свои язвы отцу.

Таково мое отношение к Бодлеру, Верлену, Рэмбо, но не... к Малларма, силившемуся дотолкнуть декадентство до символизма; в русских символистах, явившихся на смену французским, я вижу шаг: от скепсиса к оздоровлению; так я гляжу на Брюсова; он — старший в опыте кризиса, но отставший в опыте осознания новых форм жизни, подавленный гибелью *«Лилиенталей»* культуры; мы с Блоком осязаем себя братьями Райтами, борцами за авиацию.

Нас называли *«символистами второй волны»;* для меня это название значило: *«символисты»*, но не *«декаденты»*.

Лозунг Брюсова и Бальмонта *«мгновение принадлежит мне»* обнажал *«тайное»* феноменалистической философии Спенсера.

Так путник посредине луга,
Куда бы он ни кинул взор,
Всегда пребудет в центре круга,
И будет замкнут кругозор.

В. Брюсов[14].

[Вытекающая из феноменализма музеология,— вот чем звучали мне строки Брюсова:

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья:
И господа, и дьявола
Хочу прославить я.][15]

Замкнутость «Я» — склероз декадентства на символизме; [в 1900 году я объявлял отцу: «Мир есть мое представление» (— «Как же так, Боренька?»); под миром же я разумел *«мир квартир»* средневысшей интеллигенции.]

В 901 году мне делалось грустно за Брюсова, когда я читал:

В безжизненном мире живу:
Живыми лишь думы остались.

В. Брюсов[16].

Я волил разрыва границ познания, борясь за безграничность его, за преодоление *«Я»* в *«мы»*, за организацию «СО-»: *со*-знания, *со*-чувствия и *со*-волия.

Личность в моем понимании в индивидуализме включалась в соборность; я изучал виды соборностей (церкви, братства, коллектива, коммуны и т. д.); я понимал понятия индивидуума в терминах философии Риккерта, называвшего «индивидуумом» только неразложимый комплекс (предметов, чисел и личностей), отмеченный стилем.

Личность (или «а» комплекса «abcd») изживаема не как «а», а суммой отношений, развертываемых от каждого к каждому (в «ab» — одно, в «bacd» — другое); «индивидуум» для меня был личностью, расширенной коллективом и взятой в коллективе; *«персонализм»* и *«индивидуализм»* становились понятиями полярными; личность, отъединенную от коллектива,— считал я личиной; в статье «Маски»[17] я вскрывал трагедию декадентства как «персонализма»; символизм связывал я с соборным индивидуализмом.

Но такую соборность противополагал я механическому ее пониманию.

Отношение Блока и меня к Сологубу, Бальмонту, Брюсову сперва — отношения почтения издалека; задержь относилась к противоборствованию идее коллектива; «Я» немыслимы без «мы».

С 1905 года стерлись контуры, отделявшие символистов первой *«волны»* от *«второй»;* во мне — разрывом с Блоком и союзом из тактики с Брюсовым; в Блоке — близостью с Чулковым, Городецким и Вячеславом Ивановым.

И Брюсов меняет позиции: он проявляет организаторский талант, отдаляясь от Бальмонта; ряду моих лозунгов он говорит «да» в статье «Священная жертва»[18], отрекаясь от соллипсизма.

Но в первой встрече он мне скорее — попутчик, чем явный союзник.

В 901—902—903 годах я подчеркивал связь с Блоком и отъединенность от Брюсова в кружке, названном *«Арго»,* мы считали себя аргонавтами, плывшими от *«декадентства»* к поискам новой коммуны: по-новому «жить», а не «писать»,— лозунг, соединявший нас.

Из ячейки искателей я протягивался к голосам, утверждавшим новую жизнь; таким голосом был и голос Ме-

режковского, пока не вскрылась фельетонная церковность казавшихся издали революционных стремлений; таким голосом был голос юного Блока, приглашавшего нас «связывать руки»; разочаровавшись в обоих, я внял роговому фальцетто Брюсова, звавшего в фалангу борцов; если не за жизнь, то *«хоть»* за искусство.

Мысли о символизме как жизненном пути, осуществляемом в коллективе, сменились мыслями о *«литературной школе»*, разрабатывающей методологию.

Не закрываю глаз на свои промахи; но пребываю в недоумении: символисты перескочили через символизм; историки новейшей русской литературы отметили в символизме на 80% то, с чем я боролся, не отметив того, что я защищал; я боролся с музейной редукцией вправо, боролся с «мистическим анархизмом», гипертрофирующим в символизме мистику; эти наросты и фигурируют в качестве мифов о символизме 1) у квазисимволистов, 2) у квазиизобличителей; распространяются пародии на символизм: субъективно-иллюзионистические сюсюки об *«искусстве для искусства»;* символизм же — выдвигает лозунг *«искусство — не только искусство»;* под флагом символизма доселе плавает в сознаниях *«мистический анархизм»*.

Обрываю себя; спрашиваю: мои представления — рисуют ли символизм? Они рисуют нечто, пережитое как опыт детства; пытаюсь себя убедить словами обо мне: меня считают же, черт подери, символистом; кроме того: о символизме я много писал с дней молодости.

Написанное обойдено глубоким молчанием, если оно не подано в искажениях; читали Чулкова; читали исследовательские труды Валерия Брюсова под формой критических заметок; теории символизма в них нет; читали и «К звездам» В. Иванова;[19] там умные мысли об очень многом не ориентированы вокруг символизма, заставляя предполагать в авторе — филолога, богослова, литературоведа, интересующегося и... символизмом; сумма всех этих не моих воззрений облекает меня в андерсеновское *«царское платье»*, в котором порою я чувствую пренеловко себя; а когда я вспоминаю о том, чем я, собственно, волновался, то получаю письма: вы-де сдали позиции (*«чулковские»* некогда).

Касаясь эпохи 901—910 годов, я буду порой прерывать воспоминания о личностях воспоминаниями о силуэтах, составленных из взглядов того времени субъекта воспоминаний, не потому, что они были безупречны, а потому, что они

были таковы, каковы были; [я ведь касаюсь эпохи боев за символизм,— боев, сопровождаемых разрывом с друзьями и создававших мне после каждого выхода очередного номера *«Весов»* отряды врагов за цель: размежеваться с псевдосимволистами;] и я не могу довольствоваться указанием: мне быть «мистическим соборником» по Вячеславу Иванову, рыцарем «Дамы» по Блоку или стать Г. И. Чулковым, с которым я люто боролся; с ним ныне я в добрых отношениях; и я готов просить у него прощение за несправедливую жестокость полемики с ним; но от существа ее не отказываюсь: он, ныне не символист, создал некогда миф о символизме, последствия которого через 25 лет сказываются... на мне.

Ему-то — ничего; мне-то — каково!

Вот почему свою книгу я снабжаю и показом идейного паспорта: эпохи окончания университета; побуждают нападки справа: я мимикрирую материалиста; допустим, я — плут; все же: не такой наивный, чтоб верить, что мне поверят; нападки основаны на невежестве; к показу побуждает и ирония слева: «А как... с *«антропософией»?*». Оная сплетена с естествознанием Гете; об этом я распространился в своей книге о Гете;[20] отсылаю к ней: там показано — *«как»*.

В благосклонном отзыве на книгу «На рубеже» (см. в *«На литературном посту»*)[21] я разглядел улыбку: пока автор рисует *«Бореньку»*, гимназиста, или *«студента Бугаева»*,— он ясен; иное будет, когда он коснется «Белого», утонувшего в мистике. Был период сосуществования *«Белого»* и *«студента»* (900—903 годы)! В нем и *«Белый»* приготовлял анилин; и *«студент»* лаборатории *«в небеса запускал ананасом»;*[22] оба срослись, являя двухголовое существо.

То — аллегория; была одна голова, озабоченная проблемой увязки стремлений в картине проекций, строящих пространственную фигуру по законам логики, а не мистики; вставала проблема, как такая фигура возможна; именно: как возможно скрестить науку, искусство, философию в цельное мировоззрение; *«художник»* в Бугаеве колебал точность лабораторных занятий; и — лопались склянки, ломался термометр, рассеянно превращенный в палочку для помешивания; художественному же *«нутру»* Белого делалось неповадно от проблем логики, которыми его Бугаев просаживал; живой темперамент сказывался не только в стихах о *«кентаврах»*, загалопировавших в его стихо-

творной строке с полотен импрессиониста Штука, но и в попытке формулировать действие закона эквивалентов в эстетике: [наблюдение, свойственное естествознанию, переносилось в сферу: изучения колоритов зари — по годам, чтобы открыть закон господства разных закатных типов; пожимали плечами, когда я, бросив *«кентавров»*, заводил речь о *«плотности энергии»*,— понятии, введенном в науку моим учителем, Умовым; *«мы имеем возможность говорить об обратном отношении между количеством и плотностью материала художественного произведения и плотностью энергии»*,— писал я в 906 году;[23] и Брюсов, Блок, Иванов, *«филологи»* по образованию, не понимали степени живости для меня этих понятий; такие мысли — продолжение мыслей 900—901 годов, развитых в статье *«Формы искусства»;* статья напечатана в декабрьском номере *«Мира искусства»* за 1902 год; на нее обратили внимание «старики»: математик Бугаев и профессор Кирпичников; она осталась чужда — Брюсову, Иванову, Блоку.]

Весь круг идей о символизме — кристаллизация мыслей, выношенных в университете,— [между занятием химией, сочинением об оврагах и изучением Вундта, Гельмгольца, Оствальда, Спенсера и т. д. Были другие интересы — к Метерлинку и Рэйсбруку, что ж,— Якова Беме любил же... Энгельс.][24]

В эту эпоху зарисовывались контуры теории символизма в дневнике, который я вел; он — утрачен; но он — источник позднейших фрагментов; в них вкраплены мысли, жившие систематически в плане ненаписанного философского кирпича.

Если эти фрагменты дать в вытяжке цитат,— контур теории не вызывает сомнений; и ясна роль естествознания в ней; оно — в проблеме стиха, ставшей камнем преткновения для *«филологов»*-формалистов.

Подавая схему воззрений, не склонен ее защищать или разоблачать, а склонен показать: стиль сырья; то, что есть, а не то, что сфантазировано; в вязи «цитат» из высказанного четверть века назад мой «ответ» и на — *«приспособляетесь»*, и на иронию слева: *«А как увязан «Белый» со студентом-естественником?»* *

---

* Я цитирую себя только из двух моих книг: «Символизм» и «Арабески», являющих главным образом перепечатку журнальных статей, написанных в 1902—1909 годах; в сносках я буду обозначать «Ар.» — «Арабески» и «С.» — «Символизм», с указанием страниц и с указанием года написания статей.

«Действительность многогранна»;[1] стремление к многогранности *«полагает... установление порядка и границ между отдельными дисциплинами»;*[2] *«легко спорить об объектах познания... Важно уяснить целесообразность в порядке познания»;*[3] порядок — не метафизический: *«мы видели крах метафизики»;*[4] *«догматическая философия погибла до Канта»;*[5] *«злоупотребление отвлеченными понятиями...— неизбежно в догматизме, если не обращать внимания на способ возникновения и употребления их»;*[6] *«смена философских систем есть смена терминологии»;*[7] но мы можем видеть и *«красоту высоких заблуждений»*,— например: у Канта, у Гегеля.

В статьях 904 года метафизический догматизм отклонен; чем он заменен?

«Основою... положительных сведений о действительности мы считаем точную науку»;[8] *«история науки рисует... картину... выпадения из философии...; научная индукция... уверенно... врезается в расплывчатые границы... априоризма... Для философии наступает роковой момент. Она оказывается без объектов»*[9].

Так говорю я в 1904 году.

«Научный метод превратился в многие методы: возникли частные логики наук»;[10] *«оставаясь на точке зрения частной науки, мы не получим объективного соотношения между различными научными методами»;*[11] *«вопрос о методе подчиняет научное толкование... теории знания»;*[12] *«точность наук в группах связей»;*[13] но эти группы — *«ряд параллельных, непересекающихся линий»;*[14] *«частные логики наук требуют общелогического обоснования»;*[15] вне его и *«догматы научных мировоззрений... суть утопические фантазии...; они не говорят ясным языком»;*[16] *«философия... является... в новой роли... Она устанавливает правильное соотношение между науками»;*[17] без *«критицизма лучшие бы из нас задохнулись...»*[18].

«Рассудок ручается только за правильность выведенного, а не за действительность»;[19] *«исторически смысл знаний менялся»;*[20] *«вчерашний предел перестает быть пределом...; молекула-атом-ион»*[21] — стадии расширения

---

[1] С. 12. 904. [2] С. 13. 904. [3] С. 13. 904. [4] С. 94. 909. [5] С. 21. 904. [6] С. 22. 904. [7] С. 103. 909. [8] С. 51. 909. [9] С. 12—19. 904. [10] С. 51. 909. [11] С. 12—19. 904. [12] С. 12—19. 904. [13] С. 55. 909. [14] С. 55. 909. [15] С. 54. 909. [16] С. 55. 909. [17] С. 12—19. 904. [18] С. 21. 904. [19] С., статья: «Критицизм и символизм».[20] С. 56. 909.[21] С. 55. 909.

пределов материи; статике противополагается диалектика становленья понятий; *«винегрет... из предельных методологических понятий... ведет к гетерономии каждого»*[22].

Дается отпор и подстановке служебных понятий под общелогические: *«смешны... решения проблемы причинности путем подстановки понятий вроде энергии, силы...; ведь тут объясненье целого... ее частью; сказать, что причина есть сила,— сказать, будто единица равна своей трети»;*[23] *«соединение науки и философии в нечто однородно смешанное — только словесно»;*[24] *«принципы метода образуют частную логику науки...; но частных логик много»;*[25] *«мировоззренье не может лежать ни в основе частной науки, ни в ее выводе; мировоззрение не может лежать и в основе системы наук»;*[26] *«некоторое время научным мировоззрением считалась система наук...; но частные науки развивались независимо от системы... Система распадалась за системой...»;*[27] *«Кряж «синтетической философии» распался»*[28],— говорю я о Спенсере;[29] *«в позитивизме как системе наук... открывается характер научного мировоззрения как... догматического»;*[30] *«нужно быть многострунным»*[31].

Отклонив систему наук позитивизма, я отклоняю и попытки строить мировоззрение на данных частных наук.

«Пытались... в центре научного мировоззрения поставить выводы одной из частных наук (химии, физики, механики), принятых за основную»;[32] *«философию... превращали в историю... психологию и даже термодинамику... Ответы были ответами методологическими»*[33].

Отклонив догматизм, метафизику, позитивизм, механицизм, я разбираю психологические мировоззрения моего времени.

Когда под базой психологии берут психофизиологию, то подставляют понятие о пределе; *«понятие о бессознательном... понятие о предельном... оперируя в психологии с понятиями о сознательном и бессознательном, мы оперируем с понятиями соотносительными»;*[34] *«Крайний вывод... соллипсизм. Это выясняет Шуппе...»*[35].

В статье 1904 года «О границах психологии» я даю краткий разгляд позиций волюнтаризма, психофизики

---

[22] С. 55. 909. [23] С. 55. 909. [24] С. 23. 904. [25] С. 53. 909. [26] С. 54. 909. [27] С. 51. 909. [28] С. 909. [29] См. сочинения Спенсера: «Основные начала», «Основание биологии», «Основание психологии», «Основание социологии», «Опыты». [30] С. 22. 904. [31] С. 30. 904. [32] С. 50—53. 909. [33] С. 50—53. 909. [34] С. 35. 904. [35] С. 44. 904.

Фехнера, сенсуализма и параллелизма, признаваемого мной недостаточным, ибо «внутренний» ряд в этой позиции остается лишь *«постулатом эмпирической психологии»*, а *«раскрытие постулата лежит... за пределами психологии»*;[36] но и запредельное *«психологии»* я отвергаю, как-то: рациональную, невозможность которой еще доказал Кант, и спиритуалистическую: *«бедные психологи-спиритуалисты»*[37].

Так *«основные проблемы... возникающие в психологии... выносятся из ее области»*;[38] *«психология... оказалась... химерой»*;[39] границы ее, *«во-первых... предельные механические понятия и, во-вторых, познавательные формы»*[40].

Таков первый абзац мировоззрителя «Белого», проповедываемый им и в 1904 году, и в 1909 году в статьях, а ранее (в 1901 и в 1902 годах) проповедуемый в университете, товарищам: Суслову, Петровскому, Владимирову, Печковскому и многим другим,— проповедуемый дружески расположенному семейству Соловьевых, горячо принимавших *«поэта»* Борю и холодновато относившихся к *«Бориным теориям»;* отец мой, горячо споря, порой безусловно соглашаясь, относился приязненно к мировоззрительному строительству своего сына, не подозревая в нем *«художника»*, не подозревая и «мистики» в отклонении позитивизма, крайностей механицизма, историзма, психологизма и плюрализма.

[Вероятно, *«мистика»* и проблема трансцендентности влетели в Белого с «черного хода», ибо парадный вход — *«бутафория»*.

Увы,— ее нет: высказываемые истины естественны для естественника; ими были *«заражены»* не одни символисты; их исповедовали сотни *«студентов»*, читавших Милля, Спенсера, Вундта, Оствальда, Фехнера, Гельмгольца, как я, штудировавших историю индуктивных наук, как я; и интересовавшихся соотношением естествознания и философии, как я,— например, сын профессора медицины А. Б. Фохта, Борис Фохт, окончивший в эти годы естественный факультет и изучавший Канта на филологическом, с которым у меня бывали схватки и у которого я впоследствии учился тому, как штудировать Канта: с комментариями.]

Проблема критического мировоззрения волновала меня в эпоху изучения естествознания, она же волновала и в эпоху пребывания моего на филологическом факультете;

---

[36] Там же. [37] С. 41. 904. [38] С. 47. 904. [39] С. 48. 904. [40] С. 44. 904.

волновала позднее, определяя встречи с кружком молодых философов — Фохтом, Кубицким, Гордоном, Гессеном, Яковенко, Шпеттом и сколькими, вызывая недоумение, недружелюбие со стороны Брюсова, Мережковского, Иванова, Блока; Брюсов предпочитал в разговорах со мной философии литературу; с Блоком при всем желании было невозможно вести философский спор; в Иванове я старался опрокинуть *«реалистическую»* концепцию символизма не потому, что она *«реалистична»*, а потому, что его реализм был для меня «метафизическим реализмом».

[Почему же соединялся с ним? Философская оправа на Иванове, филологе, тончайше воспринимавшем «стили» и понимавшем искусство, выглядела «дышлом»; она делалась неопасной мне; его сила и меткость не в философии, а в историзме. Теоретизируя,— он сбивался; но он высказывал тончайшие и глубочайшие истины о символизме, ставя их на исторический фундамент; в моей *«теории»* он был — отдел, озаглавленный *«История символизма»;* необходим был Брюсов в другом отделе, озаглавленном: *«Символизм и литературные школы».*]

В теоретических интересах я был одинок, [и когда говорил врагам «мы»,— то разумел себя и надетые на правой руке фикцию *«литературоведчества»* Брюсова или — «мы — с Брюсовым», на левой — фикцию *«исторических экскурсов»;* или —«мы — с Ивановым»; я поступал, как напуганный ночной тьмою еврей, показывающий вооруженным разбойникам надетые на руки: шапку и ермолку.

Это было — нелепо, наивно и гордо; оказалось же — непрактичным: в сумме шишек на моем лбу от критических тумаков я ощупываю и те, которые относимы к Брюсову, и те, которые относимы к Иванову.]

ТЕОРИЯ ЗНАНИЯ, ИЛИ... «ВЕЛИКАН РИЗА»?

«Законы вещества, устанавливаемые... химией и физикой... модели, сосредоточивающие внимание на требованиях, которые мы должны предъявлять изучению формальных принципов»; [1] *«указание на массу как на энергию сопротивления равнозначно указанию на динамический базис всякого учения о массе»;* [2] *«законы сохранения вещества... следствия закона сохранения энергии»;* [3] *«современные энергетики пытаются даже формы познания вывести из*

[1] С. 182. 906. [2] С. 183. 906. [3] 182. 906.

энергетических процессов»;[4] *«Риль определил причинность как вид энергетического процесса»;*[5] *«закон эквивалентов нашел бы свое выражение в формальной эстетике»*[6].

Так говорит естественник; гносеолог в нем понимает: данные механического мировоззрения — модели; пользоваться ими надо с большой осторожностью; так что: хотя *«в термодинамике не обойтись без понятия энергии»*[7], но это *«понятие — определенно лишь в той области, где с этим понятием связано понятие о механической работе»;*[8] оно, *«вынесенное за пределы частной науки, становится... совершенно не ясным»;*[9] критика основоположений механики ставит его в отношение подчинения к теории знания: *«механические и динамические понятия оказываются в зависимости от данных гносеологического анализа»;*[10] *«переход этих понятий... механики к понятиям гносеологическим стоит в связи с расширением каузальной проблемы»*[11].

Но критика основоположений всякой *«науки ставит науку в отношение подчинения к теории познания»;*[12] вне ее и научная систематика есть *«систематика... незнания»;*[13] ее формулы, практически не раскрытые в жизненном смысле,— отношения, протекающие между неизвестными величинами, или *«винегрет из... методических понятий»;*[14] *«частные логики... требуют общелогического обоснования»*[15], или — вскрытия многосмыслия отвлеченных понятий в жизненную осмысленность их:

«Теория знания есть введение ко всякого рода миросозерцаниям»;[16] *«критическая философия имеет дело с основными проблемами познания»;*[17] *«она занимает независимое место в ряду прочих наук»;*[18] *«не против точного смысла научного знания направлено жало...; против иных способов расширения знания»;*[19] *«само знание становится предметом»;*[20] *«познание — знание о знании»*[21].

Что здесь мистического?

В 906, 907, 908 годах Александр Блок и Вячеслав Иванов упрекали «мистика» в отвлеченном рационализме и в безуханной неблагодатности его мыслей о символизме; из *«Золотого руна»*, штаб-квартиры мистических анархистов, летели стрелы Генриха Тастевена по его адресу.

Был ли рационалистом я?

Рационализм в первые годы начала столетия был пред-

---

[4] С. 23. 904. [5] С. 31. 904. [6] С. 187. 906. [7] С. 187. 906. [8] С. 187. 906. [9] С. 52. 909. [10] С. 43. 904. [11] С. 44. 904. [12] С. 55. 909. [13] С. 56. 909. [14] С. 55. 909. [15] С. 54. 909. [16] С. 54. 909. [17] С. 56. 909. [18] С. 57. 909. [19] С. 57. 909. [20] С. 57. 909. [21] С. 57. 907.

ставлен рядом школ, берущих начало в Канте: Коген, Наторп, Кассирер, Кинкель с одной стороны, Виндельбанд, Риккерт, Ласк, Кон, Христиансен — с другой рационализировали до крайности трансцендентальный идеализм Канта; отношение к Канту было экзаменом на право быть принятым в общество «порядочно» мыслящих; для этого надо было усидчиво преодолевать некую понятийную гимнастику, заменяющую мировоззрение овладением приемами схоластических головоломок, как-то: знать, чем форма отличается от «формы формы» и почему *«форма формы формы»* равна *«форме формы»*[22].

В 1905 году я писал против идеализма и рационализма: *«Переоценка ценностей... выразилась в бунте против узкого материализма и натурализма... Но... не к рационализму, не... к идеализму призывала новая литературная школа»;* в этом-то *«но не...»* и была загвоздка для понимания моих тогдашних идей; *«но»* предполагало какое-то *«хотя — однако»; «хотя»* — относилось к условному допущению метода в отмежеванной ему сфере; *«однако»* — относилось к отрицанию реальности за методическим смыслом; *«но не»,* — на нем спотыкались: товарищи символисты и *«враги»* — идеалисты, рационалисты, механицисты, позитивисты, наивные материалисты, метафизические реалисты и теософы; они смешивали в молодом символисте две проблемы: овладения языком, т. е. умением говорить при случае как идеалист, как метафизик, как механицист, как материалист, как теософ, и оценки языка как определяющего мировоззрения; я учился у идеалистов: они были склонными порою меня счесть своим, видя меня оперирующим их понятиями; глупые люди и доселе видят в моих естественнонаучных интересах лишь желание примазаться к... Молешотту; это доказали иные из читателей книги *«На рубеже»*.

Через всю жизнь проходит знакомая картина: Степпун, Гессен, проф. Богдан Кистяковский мне говорят: «Тут вы мыслите как... риккертианец»; Мережковский в 1902 году заявляет студенту-естественнику: *«Вы — наши, мы — ваши»;* социал-демократ Валентинов видит в позиции «Эмблематики смысла» позицию, близкую к социализму; Георгий Чулков в 1905 году записывает и меня в *«мистическую соборность»;* Гончарова в 1902-ом записывает в теософа. И это оттого, что они видят во мне — *«хотя»; «хотя»* —

---

[22] Этими уточнениями занимались последователи ученика Риккерта, профессора Ласка.

означает: умение говорить как мистик, как идеалист, как позитивист и т. д.; смешивают средство, учебу,— с целью: с заданием критически вскрыть корни *«языка»;* разглядеть в нем заблуждение; и даже: увидеть в заблуждении искажение истины, подобное искажению ее в теории, забракованной Лавуазье.

Это *«хотя — однако»* — выявление в естественнике проблемы ножниц, о которой я говорю подробно в книге *«На рубеже»,* жалуясь, что понимающий меня в науке отец приходил в ужас от «мистики» стихотворений, мною написанных; не понимающий этих стремлений литературный патрон, М. С. Соловьев, всемерно покровительствовал «художеству».

Это проистекало из усилий выработать собственную теорию знания, а не взять ее напрокат; изучая жаргон Канта, не делался кантианцем; изучив жаргон Владимира Соловьева, написал о его философии, что она *«малоговорящая метафизика»*[23], хотя личность Соловьева чтил чрезвычайно.

Теория Канта для меня — *«только проблема»;* [24] теория знания *«отсутствует у Канта»;* [25] *«теории знания как науки нет у него»;* [26] у него же *«выведение опыта из... предпосылок лишает объект знания предметной значимости: содержание выводится из формы... «Вещь в себе»... оказывается мыслимым понятием...; улетучивается... объективно данный материал...; бытие становится формой мысли»;* [27] *«тяжкая форма хронического незнания по пунктам есть предмет гордости нескольких теоретико-познавательных школ»;* [28] *«Кант... был восьмым книжным шкафом своей библиотеки... Может ли книжный шкаф обладать личным творчеством»;* [29] *«из кантовского критицизма, отрицающего существенность познания, выход или в позитивизм, или к Гегелю»* [30].

Позитивизм — отвергнут; Гегель — метафизичен; и я зову от Канта к постановке по-новому его проблем, чтобы с критицизмом как тенденцией встретились актуальные проблемы начала века; и жду от встречи новой теории знания: насквозь критической, насквозь жизненной; в ней не только возможно обоснование эстетики в логике, но и логики в эстетике; она должна вскрыть самое творчество как точную фантазию мысли.

---

[23] См. «Арабески». Владимир Соловьев (силуэт). [24] С. 60. 909. [25] С. 59—60. 909. [26] С. 60. 909. [27] С. 69. 909. [28] Ар. 213. 910. [29] С. 215. 910. [30] С. 27. 904.

Такая теория только — загадана; мое задание: сдвинуть ее с точки загаданности хотя бы на шаг.

Осуществление в усилиях поколений.

Здесь корень моего символизма: он — в мироощущении рубежа, в опыте понимания, что *«несостоятельность научно-философских теорий в... оценке... бытия и необходимость подобной их оценки... побуждает перейти за пределы теорий»*[31], провозглашающих предел познанию и полагающих бытие в непознаваемом; вот где корень «потусторонности», аромат которой разливает мой литературный портрет (чуть было не сказал «памфлет»).

Не раз употребляю я термин *«трансцендентный»*. В каком смысле? В смысле перехода границ ограниченного познанья — познанием же, а не верой; переход — куда? *«За пределы... теорий... в области практического идеала»*[32].

Я провозглашаю примат созидающего познания над познанием рефлектирующим и отражающим «тени вещей»; мой трансцендентизм — разрыв границ и переход в сферу жизни,— из двух расколотых половинок, объявляющих, каждая, себя в *«здесь»* и полагающих, каждая, другую — в *«там»;* он в соединении *«кажущегося»* запредельным с *«кажущимся»* внутрипредельным — в том, что ни *«вне»*, ⟨ни⟩ *«внутри»*, ибо самые *«внутри»*, *«вне»*,— миросозерцательный расщеп дуализма, пара автономий *«психологии в себе»* и *«естествознания в себе»*, психологизма и наивного натурализма.

Мой *«трансцендентизм»* — 1/2 моего «имманентизма»; понимание символизма как имманентизма за пределами метафизики с ее «вещами», что термин «трансцендентный» фигурирует у меня лишь в смысле пропирания через искусственные рогатки, поставленные познавательными импотентами.

Я вижу, что *«современная теория знания претерпевает кризис»;*[33] ее *«единство оказалось метафизическим»;*[34] *«Кант пришел к необходимости теории познания»;*[35] и — только.

Вносится проблема борьбы за должную, не данную теорию знания и за путь науки, вырванной из механистических тисков, выдвигается вопрос о мысли: активное ли она начало или — пассивное отражение? Подчеркивается: действительность не данный конгломерат фактов, не отраженная номенклатура понятий, а совпадение бытия с поволенным познанием.

---

[31] Ар. 104. 905. [32] Ар. 104. 905. [33] С. 62. 909. [34] С. 99. 909. [35] С. 60. 909.

Такая действительность *«трансцендентна»* познавательному формализму, из своей *«не жизни»* грезящему о жизни как о чем-то «потустороннем» ему; деятельному познанию все имманентно: все — в *«здесь»*.

И мы *«возвращаемся... к деятельности...; то, что творится, называем мы действительностями; действительности, воспринимаемые в законах, являют нам образ объективной действительности; мы узнаем в ней ту самую действительность, от которой уплыли по морю познания...; мы к ней вернулись...»* [36].

Кругосветное путешествие от действительности как данного (тезы), сквозь отвлеченно-критическое распыление ее в формы (антитезы) к воссоединению ее с познанием критическим в действительность претворенную и должную (синтез-символ) называю я образно путешествием аргонавтов за *«золотым руном»*, которое — действительность.

Так полагал я 25 лет назад: так ли положенное еретично и так ли оно *«мистично»?*

Беру случайно оказавшийся под руками номер *«Литературной газеты»* от 15-го июня 1930 года; глаза падают на статью Федора Гладкова; читаю: *«вопрос об искусстве,*— пишет Гладков,— *есть... практический вопрос, а не вопрос теорий»; «искусство есть творчество жизни»*,— пишет он; *«художник-диалектик не может ограничиться изображением объектов в себе, а анализирует развитие и изменение»;* рефлексирующий художник, по Гладкову, *«упирается в пресловутую «человеческую природу» и дальше этой метафизики не в силах пойти»* [37].

Четверть века назад я волил преодоления природы как метафизической сущности, рожденной философией дуализма, с ее щепленьем вещей на *«для себя»* и *«для нас»*.

Гладков приводит цитату из сочинений Плеханова: *«Действительность нынешнего дня,— развивая своими собственными силами свое собственное содержание, выходит за свои пределы, переживая самое себя и создавая основу для действительности будущего, когда она, по прекрасному выражению Гегеля, оказывается в состоянии произвести волшебные слова, вызывающие образы будущего»*.

Четверть века назад, не читая Плеханова, но — Гегеля, Канта, Риккерта, Вундта и тех, чтение кого входило в круг тогдашнего философского самообразования, не соглашаясь

---

[36] С. «Эмблематика Смысла». [37] Ф. Гладков, «О диалектическом методе» («Лит. газ.», № 24).

с Кантом, Риккертом, Вундтом, я силился различать в понятиях о действительности *«данное»* и *«должное»;* и я понимал: и этимологически, и логически слово *«действительность»* связано со словом *«действие»*. Лозунг выхождения из действительности — данной к должной — лозунг моего миросозерцания того времени; только вместо *«мистического»* слова *«волшебный»*, нравящегося Плеханову, я употреблял иные слова: *«Наше задание «мочь», т. е. дерзать вступить в бой... с... прошлым»*[38],— в данном случае со склерозом остановившейся природы в нас; *«Жизнь... борьба человека, ставшего богом, с... формой»;*[39] художник — *«творец вселенной»;*[40] в искусстве *«символы... врастают в действительность»*[41], как ее типы; *«художник — проповедник будущего»*[42], что значит, по Гегелю, Плеханову и следующему за ними Гладкову,— творец *«волшебных»* слов, ибо, с одной стороны, «искусство есть искусство жить»[43], а не только писать; с другой стороны: «жить — значит уметь»[44], не отдаваться природному быванию физиологических отправлений; уметь, а не *«не уметь»:* творить, или выходить за пределы положенного быванием.

Проблема *«трансцензуса»* для меня — в умении развивать: данное в должное; установленное канонами — в по-новому ставимое: с отбросом канонов; *«трансцензус»* — там, где есть процесс изменений, диалектически выводящий вещь из себя как тезы, полагающий ее вне себя как антитезу, чтобы в акте синтеза соединить положения «в себе» и «вне себя».

В этом корень *«мистики»* моего юношеского *«трансцендентизма»*, о котором провопияла критика; он приближает меня... к Плеханову, которого я в эпоху моего приближения к нему не читал, как и к Энгельсу, пишущему: *«Диалектика берет вещи и их умственное отражение главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении, в их уничтожении»* [45].

Я брал вещи, например «мифы», не только в их уничтожении в понятиях, но и в возникновении до понятий в качестве... познавательных символов; но я брал и «понятия» не только в их возникновении из мифов, но и в их лежании внутри мифа, ибо меня интересовала проблема взаимной связи вещей, о которой пишет Энгельс, что искание ее

---

[38] Ар. 217—218. 910. [39] Ар. 217. 910. [40] Ар. 152. 906. [41] Ар. 403. 904. [42] Ар. 246. 909. [43] Ар. 908. [44] Ар. 217. 910. [45] Энгельс: «Развитие социализма».

показательно в диалектике; проблему связи, соединения в конкретном синтезе — не только количественном или качественном, но качественно-количественном — я назвал проблемою символизма, а самую связь — символом.

Вероятно, *«символ»*-то и подгадил мне репутацию; подгадило *«слово»*, взятое не в нюансах, диалектически развиваемых из него, а — в *«фиге»*, которую они видели, читая мои книги,— вместо: моих книг.

. . . .

Меня не слишком волновало задание дать законченную систему своих воззрений; и вовсе не волновало задание: взять «систему» напрокат у других; «Ваше мировоззрение?» — «Кантианец». Для скольких проблема мировоззрения решается признанием напрокат одного строя мыслей и отрицанием напрокат всех других строев мысли; [полагают: иметь мировоззрение — быть книгоношами, разносителями книг: Энгельса или Канта; я к *«системам»* не присоединялся; я знал: законченно систематизируется лишь строй мыслей, заканчивающий себя; обычно он падает под ударами далеко не системных взглядов, алогически возникающих где-то на стороне и алогически бьющих вдребезги логику «системы»;] разбитость систем философий — картина, стоявшая передо мной в эпоху мыслей о собственном мировоззрении; [я понял:] мировоззрение — процесс вынашивания системы *, [а не система; «система» —] агония [в жизни мировоззрения, склероз его сердца.] Потенциалы к системе, [подгляды и образы к ней,] данные в афористической форме, динамизировали мое [философское] творчество в большей степени, чем системы, изучаемые с карандашиком [в руках для того, чтобы под слишком зализанным местом открыть алогическую яму; системы как опытное сырье, нужное для извлечения материалов, поддерживающих горения живомыслия,— одно; системы как флагманские корабли мировоззрительных странствий — другое; мое] мировоззрение, [не отработанное в систему и ныне,] имело лозунг борьбы с[о всякой] излишней систематичностью, которая виделась мне чем-то вроде протез для безногих; в мировоззрении я видел — путь, поступь, [собственные, живые ноги, годные для скачков, а не деревянные подпоры: к стоянию на месте в величии законченности; я знал: мировоззрение мое —] мяч, бросаемый в руки следующим поколениям; [это была — наивная мысль, но мысль, полная кипения

---

* *Далее исправлено:* которая есть агония, склероз. *(Примеч. ред.)*

юности;] мировоззрение мое — [мировоззрительный] процесс, которого форма — движение, [мой взгляд на символизм — взгляд на процессы мировоззрительного пути, на фазы пути, могущие склеротизироваться, могущие стать системами; я] волил культуру пути, обнимающую и познание, и творчество.

[Если угодно, тут я был «мистик»; я верил в силу познания, строящую действительность; верил же я потому, что имел опыт силы, как бы пронизывающей уверенностью, что все поволенное, как должное, не может не стать действительным; задумываясь над химией рождения новых свойств вещества в производимых нами лабораторных опытах, переносил я *«чудо»* химизма, свойственное материи, и в мир идей; я думал: «По правилам рассудочной мысли, сумма двух ядов — яд; в действительности — отрицание ядов; не так ли и в других сферах? Кажущееся безумным, немыслимым,— не осуществится ли оно в некой химии творческого расплава?»

Романтизм юности делал ставку па этот расплав, на приподнятость переживаний почти до экстаза; а императив фанатика превращал сферу должного в творческое веление: «Да будет!» Вера в химию становилась верой в некую алхимию способностей, пригоняющую к последней черте; став на нее, я ждал чуда человеческой силы; часто потом эта вера в силу человека-творца ставила в положение синицы, поджигающей море, после чего следовал отчаянный крах надежд; и переживалось смешное положение обманутого, когда обнаруживалось, что поджигание морей — от меня улетающий журавль, в погоне за которым я из рук упускал «синицу» реальных возможностей; в поисках «партии» символистов, в борьбе воображенных мной «мы» с врагами, с которыми не стоило бороться, я выпустил возможность написать хорошо продуманную в голове книгу о символизме.]

КОММЕНТАРИИ

Воспоминания «Начало века» печатаются по единственному прижизненному изданию: Б е л ы й Андрей. Начало века. М.— Л., Государственное издательство художественной литературы, 1933.

4 апреля 1930 года, четыре месяца спустя после выхода воспоминаний «На рубеже двух столетий», издательство «Земля и фабрика» заказало Белому второй том воспоминаний. В середине июля 1930 года, находясь на отдыхе в Судаке (Крым), Белый приступил к работе над новой книгой. Работа была продолжена осенью того же года в Кучине. В декабре 1930 года второй том воспоминаний, «Начало века», был завершен. «...Кончил 18 декабря; и потом до января правил по ремингтону (надо было из 30 печ. листов выжать 4 печ. листа, чтоб для приличия было 26, а не столько)»,— сообщал Белый Р. В. Иванову-Разумнику 2 января 1931 года (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 22). «В 26 печ. листов едва вогнался *«минимум материала»* к этому тому,— добавлял он в том же письме,— но *«Начало века»* взывает к продолжению; оно — первая часть ненаписанного, обрывается без точки, а на «тире»: «итак — следует —...» В этом смысле книга не цельна. Но внешне в пять раз проработаннее «На рубеже» (в смысле красок, рисующих *«рой»*, линии силуэтов и т. д.). Книга удалась технически, стилистически и приведением фактов; удалась ли *«морально»*,— не знаю; удалось ли *«концепцией целого»*,— не знаю: и сомневаюсь. Во всяком случае, писал с трудолюбием; и не *«халтурно»;* не как «На рубеже». Ту книгу прокатал в 2 месяца; эту выпиливал — 6 месяцев, да еще имея подспорьем черновые материалы». По тематике и хронологическим границам основного автобиографического повествования (первое пятилетие XX века) вторая книга мемуаров отчасти соотносилась с «берлинской» редакцией воспоминаний того же заглавия, однако по характеру истолкования собственного жизнен-

ного пути и обрисовки исторических лиц, по идейным акцентам и стилевым приемам это было принципиально новое произведение.

В отличие от воспоминаний «На рубеже двух столетий», выпущенных в свет без промедления и без существенных исправлений текста, издательская судьба «Начала века» оказалась сложной и драматичной. В начале 1931 года рукопись была сдана в Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) — акционерное кооперативное издательство «Земля и фабрика», с которым первоначально имел дело Белый, к тому времени было ассимилировано ГИХЛом — и долгое время оставалась там без движения. 12 марта 1931 года Белый извещал Иванова-Разумника: «...с *«Началом века»* — плохо: кажется, — книга не пройдет» (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 22). 3 ноября 1931 года он писал В. П. Полонскому: «Уже около года «Начало века» лежит в «Гихле» (книга писалась по предложению Ионова для *«Земли и фабрики»*); 7 месяцев рукопись лежала зарезанной цензурой, пока В. И. Соловьев (директор ГИХЛа. — *Ред.*) ее не передал другому цензору, нашедшему, что книга вполне цензурна, но требует ретушей; после этого я уехал из Москвы; и 2 месяца о судьбе *«Нач⟨ала⟩ века»* — ни звука» (Перспектива-87. Советская литература сегодня. Сб. статей. М., 1988, с. 500; публикация Т. В. Анчуговой). Переговоры между Белым и представителями издательства возобновились в начале 1932 года, тогда же ему было указано, в каком направлении должна производиться «ретушь» воспоминаний.

Переработкой текста «Начала века» Белый занимался в феврале — мае 1932 года, в мае им было написано новое предисловие к книге («От автора»). Сообщая о работе над рукописью представителю ГИХЛа И. А. Сацу (ранее сформулировавшему издательские претензии и требования к книге), Белый писал о характере проделанной им правки и внесенных изменений:

«...я внимательно прошелся по списку Ваших указаний мне; и все, что мог, сделал, чтобы книга выглядела приемлемой; кроме того: я всюду особенно подчеркнул, 1) что описываемые факты отделены от нас 25-летием, 2) что приводимые мои макетцы взглядов — отнюдь не показ моего «credo», а показ юношеских стремлений, часто курьезной путаницы, которой я не разделяю в настоящее время; 3) я «овнятил» кажущееся невнятным, что, увы, повело к разжевыванию и иногда к удлинению текста.

Легче всего мне было изменить текст в смысле «цензурном»; но Вы не представляете себе, сколько возни мне пришлось затратить, чтобы художественно впаять новые варианты так, чтобы не видно было спешных и в художественном смысле пустых заплат.

И тут была работа адская: я справился только с двумя главами ⟨...⟩ ведь изменение в одном месте взвевает изменение в 10 местах; рукопись моя стала и так во многих местах трудной для набора; ведь ужасно править по ремингтонному тексту; ряд страниц пришлось переписать от руки: что могла, переписала жена; частью переписывал я ⟨...⟩ Но я надеюсь, что теперь текст не внушает недоумений.

Чтобы подчеркнуть установку автора, я написал объяснительное предисловие; кроме того: ради архитектоники кое-что перенес из одного места в другое ⟨...⟩ через 3—4 дня принесу и обе последние главы; сегодня сдаю $^1/_2$ работы. Медлительность от вынужденной художественной переработки, вытекающей из вставок; иначе рукопись будет в заплатах. Надеюсь, что вторично мне не придется производить этой усидчивой работы ⟨...⟩ Начало второй главы пришлось все заново переработать, чтобы нужные изменения, указанные политредактурой, не казались заплатами ⟨...⟩ это уже не снимание «пылинок», а в некотором смысле переработка книги в другую тональность; с правкой 3-ьей и 4-ой главы я тоже кончил; остается пересмотреть и художественно ретушировать» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 131).

Текст, представленный в издательство в мае 1932 года, был принят к опубликованию. Книга редактировалась и печаталась во второй половине 1932—1933 году, вышла в свет (с предисловием Л. Б. Каменева) во второй половине ноября 1933 года. 1 декабря 1933 года в «Вечерней Москве» была помещена информационная заметка о «Начале века» («Жестокая книга»), оповещавшая, что воспоминания Белого должны на днях поступить в продажу. Кроме того, в ходе печатания книги в «Новом мире» появились два фрагмента из нее (1933, № 7—8, с. 261—293) — «Из книги «Начало века». I. Валерий Брюсов. II. А. Блок» (Белый предложил их опубликовать в ответ на запрос редактора «Нового мира» В. П. Полонского в письме к нему от 22 октября 1931 г.); один фрагмент («Из воспоминаний») еще ранее был помещен в журнале «Красная новь» (1931, № 4, с. 166—177).

Изменения, внесенные Белым в текст «Начала века» в ходе переработки рукописи, столь многочисленны и конструктивны, что позволительно говорить о двух редакциях этой книги — «кучинской» (первоначальный текст 1930 г.) и «московской» (переработанный текст 1932 г.).

Первоначальная редакция «Начала века» (беловой автограф с авторской правкой и сокращениями, частично — список рукой К. Н. Бугаевой) хранится в архиве Андрея Белого (на обложке — надпись рукой Белого: «Начало века (кучинская редакция 1930 года). Общее количество страниц — 658»). Тексту предпослана пояснительная записка Белого:

«Начало века» (редакция 1930 года) есть радикально переработанная часть материала берлинского трехтомия *«Начала века»;* весь тон книги иной; в берлинской редакции подчеркнуты интимные, личные ноты; в «гихловской» редакции выдвинута абстрактная нота (идеология юноши — «Белого»); и социальная нота; несмотря на переработку, политредактура выдвинула мне до 150 мест, которые следовало бы изменить. В настоящую минуту текст *«Начала века»,* подготовляемый для печати «Гихлом» (выйдет в 1933 году), сильно отличается от первоначального, предлагаемого текста, «гихловского» (не говоря уже о материалах берлинской редакции). Политредактура устранила, например, «Введение» (56 страниц) и почти все воспоминания о юношеской идеологии.

А. Белый».

(ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 29, л. 2). Там же хранится и авторизованный машинописный текст «кучинской» редакции (ф. 53, оп. 2, ед. хр. 8, 559 лл.); из него изъяты отдельные страницы.

В архиве Белого хранится и рабочий текст «московской» редакции (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, 31), представляющий собой исправленный и переработанный вариант машинописи «кучинской» редакции с сокращениями и рукописными вставками. Этот текст дает наглядное представление о характере авторской правки первоначального варианта книги. Прежние преамбулы к собственно мемуарным главам («Вместо предисловия» и «Введение», состоящее из 4-х главок) изъяты и заменены новым «Предисловием» (рукой К. Н. Бугаевой), соответствующим опубликованному тексту «От автора». Целиком переработаны (прежний машинописный текст полностью или в значительной части заменен новым, рукописным) главки: «Студент Кобылинский», «Аргонавтизм», «Авторство», «Симфония», «В тенетах света», «Лев Тихомиров», «Мережковский и Брюсов», «Встреча с Мережковским и Зинаидой Гиппиус», «Я полонен», «Из тени в тень», «Леонид Семенов», «Золото в лазури», «Кинематограф», «Орфей», изводящий из ада», «Д'Альгейм», «Безумец», «Муть», «Федор Кузьмич Сологуб», «Москва», «Оцепенение». Почти без изменений (небольшая правка главным образом стилевого характера) оставлены главки: «Гончарова и Батюшков», «Мишенька Эртель», «Великий лгун», «Рачинский», «Старый Арбат», «Знакомство с Брюсовым», «Чудак, педагог, делец», «Профессора, декаденты», «Лавры и тени», «Кружок». П. Д. Боборыкин» («Литературно-художественный кружок»), «Бальмонт», «Волошин и Кречетов», «Декаденты», «Перед экзаменом», «Экзамены», «Смерть отца», «Знакомство», «За самоварчиком», «Аргонавты» и Блок», «Брат», «Старый друг», «Вячеслав Ива-

нов», «Башенный житель», «Шахматово», «Тихая жизнь», «Лапан и Пампан», «Павел Иванович Астров», «Александр Добролюбов», «Л. Н. Андреев», «Пирожков или Блок», «В. В. Розанов», «Религиозные философы», «Усмиренный», «Отношения с Брюсовым». Доработка остальных главок сводилась по преимуществу к сокращениям первоначального текста и (или) к добавлениям новых фрагментов (рукописные вставки).

Поскольку переработка «Начала века» носила изначально вынужденный характер — велась в соответствии с декретивными требованиями «политредактуры» издательства, возникает вопрос о том, какую из двух редакций текста — «кучинскую» или «московскую» — следует предпочесть при новом издании как наиболее адекватно отражающую авторскую волю. Естественные доводы в пользу «кучинской» редакции — текста, непосредственно не испытавшего на себе внешнего давления,— наталкиваются, однако, на ряд существенных контраргументов:

1) авторская переработка текста не сводилась к механическому удовлетворению требований «политредактуры», а имела по преимуществу собственно творческий характер (добавлялись новые умозаключения, факты, эпизоды, характеристики, которые невозможно истолковать лишь как уступку стороннему «декрету»; повсеместно осуществлялась стилевая правка);

2) в рабочем тексте «Начала века», отразившем требования «политредактуры», нет возможности четко отделить исправления и нововведения, сделанные в угоду «цензурным» нормативам того времени, от исправлений и нововведений, содержащих принципиально авторскую трактовку тех или иных явлений, лиц и обстоятельств; любые попытки их четко разграничить носили бы гадательный характер;

3) «кучинская» и «московская» редакции «Начала века» не представляют собой по своему идейному существу различных, опровергающих друг друга мемуарных версий (характерно, что большинство главок при доработке не претерпели существенных изменений); если «московская» редакция в каких-то фрагментах текста отражала уступки автора внешней «цензуре», то «кучинская» редакция, писавшаяся с ясной, глубоко осознанной установкой на опубликование в СССР в начале 1930-х годов, также неизбежно несла в себе значительный элемент автоцензуры, оглядки на господствовавшие в ту пору идеи, однозначные оценки и репутации; глубокой и принципиальной разницы в этом отношении между двумя редакциями текста нет (показателен в этой связи, например, характер переработки главки «Встреча с Мережковским и Зинаидой Гиппиус»: исправления не диктуются априорной установкой на дополнительное «очернение» писателей-эмигрантов, наоборот — в ряде случаев снимаются неко-

торые прежние резкие, насмешливые характеристики и определения).

В силу этих соображений приходится отдать предпочтение «московской», опубликованной в 1933 году редакции «Начала века», отразившей не только внешние «цензурные» требования, но и — главным образом — окончательную авторскую волю в отношении всего текста мемуаров. В приложении воспроизводятся «Вместо предисловия» и «Введение» к «кучинской» редакции, замененные в «московской» редакции преамбулой «От автора». Объем настоящего издания, к сожалению, не позволяет поместить там же первоначальные редакции радикально переработанных мемуарных главок. Кроме того, в примечаниях приводятся связные фрагменты из основного текста «кучинской» редакции, изъятые при подготовке окончательного текста ряда главок, не подвергавшихся общей структурной переработке.

В отличие от «На рубеже двух столетий», «Начало века» по выходе в свет не вызвало большого количества печатных откликов. В целом положительная и весьма умеренная по тону рецензия на книгу появилась в «Известиях» (1934, № 50, 27 февраля); она подписана криптонимом К. Т. (К. Н. Бугаева, А. С. Петровский и Д. М. Пинес в своих материалах к библиографии Белого указывают, что ее автором был Н. И. Бухарин, тогда ответственный редактор «Известий»). Белый характеризуется в рецензии как «человек огромного своеобразия и очень крупного художественного дарования». «Основная идейная ось» мемуарных книг Белого, по убеждению автора отзыва, «глубоко ошибочна, несмотря на добрые намерения автора: ему хочется показать и доказать, что символизм, который на самом-то деле был «высшим» цветением новой буржуазной аристократии, играл роль антибуржуазного бунта «чудаков». «Но,— продолжает рецензент,— несмотря на этот основной порок идеологической схемы, автор дает чрезвычайно яркую картину культурной пустоты и никчемности того круга людей, которые считались воплощением культуры. К сожалению, книга весьма мало доступна для понимания современного, *нового* читателя. Белый применяет по преимуществу метод описания «внешнего поведения» изображаемых лиц, их «жестикуляции», а не их внутреннего идеологического багажа. Поэтому книга говорит многое лишь тем, кто знал сам описываемую среду. Характеристики некоторых персонажей, например З. Гиппиус, Мережковского, В. Розанова, злы и блестящи в своей злости и меткости. ⟨...⟩ Контрреволюционная российская эмиграция завоет от этой книги. Видно, как Андрей Белый старался поймать основную мелодию современности и идти в ногу с нами. Но понять до конца новую эпоху и новый мир он так и не смог, несмотря на всю свою культурную широту

и громадную художественную одаренность. Для историка «русской общественной мысли» и особенно историка русского искусства книга представляет значительный интерес».

Рецензия на «Начало века» Л. И. Тимофеева («Последняя книга А. Белого» — Художественная литература, 1934, № 1, с. 12—14) по содержанию и оценкам во многом совпадала с отзывом «Известий»: в ней обращалось внимание и на сложность книги для широкого читателя, и на «историческую ценность» мемуаров «главным образом в плане творческого анализа пути А. Белого», и тяготение автора «к чисто внешним и порой шаржированным зарисовкам». Указывая на «историческую ложность ⟨...⟩ неожиданнейшей трактовки символизма как «марксизма», Л. Тимофеев не удерживается в рамках корректного и уважительного тона, заданного «известинской» рецензией, и солидаризируется в своих резких оценках символизма как воплощения «творческой деградации и вырождения» «в эпоху загнивания капитализма» с «ценным предисловием Л. Каменева», предпосланным «Началу века».

Список условных сокращений см. в первой книге мемуаров: Андрей Белый. На рубеже двух столетий.

Подстрочные примечания в тексте принадлежат Белому.

ОТ АВТОРА

[1] В автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый обозначает семилетие 1895—1901 гг. как «период выработки мировоззрения; первый этап творчества; эстетизм, символизм, буддизм; Шопенгауэр» (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18). Ср.: «С 1897 года начинается эпоха моего бурного литературного самоопределения; оно началось с самоопределения философского полгода ранее» *(Почему я стал символистом*, с. 25).

[2] Подразумевается Л. И. Поливанов. См.: «На рубеже двух столетий», гл. 3, примеч. 60.

[3] П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский в 1890-е годы были основными представителями и теоретиками «легального марксизма» в России.

[4] Некоторые опыты Белого в этом роде сохранились: тетради дневниковых заметок, главным образом на темы искусства, относящиеся к апрелю — маю 1899 г. (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 10) и к маю — декабрю 1899 г. (ГБЛ, ф. 25, карт. 1, ед. хр. 5), эстети-

ческий фрагмент «Несколько слов о красоте» (1895; ГПБ, ф. 60, ед. хр. 16). См.: Лавров А. В. Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого.— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1979. Л., 1980, с. 116—121.

[5] См.: «На рубеже двух столетий», Введение, примеч. 15. В мемуарном очерке «Валерий Брюсов» Белый пишет о себе в старших классах гимназии: «Я знаю одну декадентскую строчку, которую произношу с сатирическим пафосом: «О, закрой свои бледные ноги». И тут мне рассказывают: эта строчка написана Брюсовым: *нашим* Брюсовым — Брюсовым-поливановцем. Я вспоминаю серьезное выражение лица мне знакомого восьмиклассника, лоб его и его одиночество; как-то не верится, чтобы был он нахалом, шутом, сумасшедшим. И я говорю себе: «Что-то не так» (Россия, 1925, № 4(13), с. 264).

[6] К. Д. Бальмонт уехал из Москвы в Париж в новогоднюю ночь 1905—1906 г. Ему угрожало административное преследование за активную поддержку революционеров (в частности, в дни Московского вооруженного восстания) и за антиправительственные, антимонархические стихи; вернуться в Россию он смог только в 1913 г., когда была объявлена политическая амнистия в связи с 300-летием дома Романовых. В июне 1920 г. Бальмонт выехал из Советской России в годичную заграничную командировку, в марте 1921 г. перешел на положение политического эмигранта.

[7] Имеется в виду письмо Брюсова к Белому от 20 февраля 1905 г. См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976, с. 381—382.

[8] Конфликты Белого с Эллисом и Э. К. Метнером в середине 1910-х годов были вызваны главным образом различным отношением к антропософии Р. Штейнера: Белый был ее приверженцем и пропагандистом. Метнер не принимал учения Штейнера, Эллис, ранее Белого приобщившийся к антропософии, вскоре стал ее ниспровергателем.

[9] Статья Белого «Обломки миров. (О «Лирических драмах» А. Блока)» была впервые опубликована в журнале «Весы» (1908, № 5, с. 65—68). См.: *Арабески*, с. 463—467.

[10] Над окончательной редакцией «четвертой симфонии» «Кубок метелей» (М., 1908) Белый работал в основном в 1906—1907 гг. В письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. он сообщает о ранних стадиях работы над этим произведением: «...летом 1902 года пишу *первую редакцию 4-ой Симфонии* и в том же 1902 — вторую редакцию, уже портящую первую. Считаю *нормальной* 4-ой Симфонией эти несуществующие первые две редакции (2-ую редакцию читал Соловьевым в 1902 году осенью) 〈...〉 не напечатанная, лежит года, перезревает в созна-

нии; и потом уже в 1906 и 1907 годах *изламывается* 3-ьей и 4-ой редакцией в многослойный, пере-перемудреный *«Кубок метелей»;* да и понятно: позднейшая работа над *«Кубком»*, работа из периода, разорвавшего все с эпохой *«Симфоний»:* над этою эпохою 〈...〉 путь исканий вылился в 1902 году четырьмя *«Симфониями»*, вышедшими в свет; последняя вышла гораздо позднее; и — в *перекалеченном виде»* (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[11] Белый характеризует свои полемические статьи 1906—1908 гг., печатавшиеся главным образом в «Весах»; основным объектом критики в них была философско-эстетическая теория «мистического анархизма», выдвинутая Г. И. Чулковым.

[12] Неточно цитируется первое четверостишие стихотворения «Друзьям» (январь 1907 г.), вошедшего в книгу Белого «Пепел». См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 249. Как пронзительно верная и прозорливая «эпитафия себе» это стихотворение воспринималось многими современниками Белого. В «Воспоминаниях об Андрее Белом» Н. И. Гаген-Торн свидетельствует, что незадолго до смерти Белый, перенеся в Коктебеле, как считали врачи, солнечный удар, говорил ей: «Но я так люблю солнышко 〈...〉 вот и перегрелся... Давно стихи мои могли оказаться пророческими: Умер от солнечных стрел... («Andrey Bely. Centenary Papers». By Boris Christa. Amsterdam, 1980, p. 21). «Пророческими стихами» называет это четверостишие и В. Ф. Ходасевич в мемуарном очерке о Белом (Х о д а с е в и ч В. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles, 1939, с. 99).

[13] *Коробочка* — помещица из 1-го тома «Мертвых душ» Гоголя; экзекутор *Яичница* — персонаж комедии Гоголя «Женитьба» (1835).

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «АРГОНАВТЫ»

[1] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«В жизни моей было два лишь таких момента, разделенных вереницею лет; в них ножницы смыкались; переживался смысл казавшегося бессмыслицей; оно оказалось диссонансом, без которого заключительный аккорд не прозвучал бы с убедительной полнотой. Переживалось чувство, что еще предстоят бои за правду пути; но предстоящие эти бои в огляде лет подавались в тональности кажущихся побед над ними: эфемерные, облачные образования, смысл которых текуч!

Его предстояло прочесть.

Забегая вперед, переживал антитезу еще в изукрасах фантазии, облекающей фанфарами преодолений и то, чем предстояло

болеть; воображением несся я к непременной победе. Но в мгновение, которому говорил: «Ты — прекрасно», подстерегали грехи романтики; сказка о рыбаке и рыбке повторялась со мною.

Только в этих выражениях сумел бы я характеризовать тему книги, поданную в варьяциях встреч и событий; в ней описание некоего синтеза лет в дымке романтики, заставившей переоценить силы и остановить колесо лет» (ЦГАЛИ, ф, 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 19).

[2] Ср. более полную и подробную характеристику Белым 1901 года как ключевого и важнейшего в его биографии: «Главенствующие осознания этого года: 1) Откровение Софии, 2) Духа Иоанновой, *белой* зари, 3) осознание, что *«уже — заря»*, 4) ожидание Денницы; кроме того: завязываются в этот год встречи с рядом людей, глубоко влиявших на меня около десятилетия и более ⟨...⟩ В этом же году складываются основные ноты моего творчества; и самое крещение меня моим псевдонимом *«Андрей Белый»* происходит в этом году; отсюда, из этого года, протягиваются нити, складывающие мое будущее ⟨...⟩ 1901 год отрезывает меня от моего теневого отрочества и юности; и предо мной открывается перспектива шумных лет; в этот же год я осознаю впервые отчетливо, что мой путь — не путь науки и что естественный факультет — лишь случайная веха моего развития. *Этот год есть год моего совершеннолетия: мне — 21 год*» (*Материал к биографии*, л. 16).

[3] Ср. характеристику этого периода в письме Белого к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.: «В первом полугодии 1901 года завершение как бы всей эпохи апокалиптической в теме *«Софии»* 1) опознанной чрез посредство философии и поэзии Вл. Соловьева, 2) жизненно (см. *«Первое свидание»*), 3) творчески *(«2-ая Симфония»)* ⟨...⟩» (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[4] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Бывают биографии без падений и взлетов; бывают обратные: это — мой случай; взлет — 1901 год; то, что отпраздновал юноша на рубеже нового века, в годах стало размышлениями о поступках, обнимающих семилетие.

До 1901 года изживаю я декадентское подполье; и открываю форточки в пессимизм; подполье вырыто гимназистом; в нем я забаррикадировался; баррикады мешают непритязательному общению: с родителями и друзьями» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 20).

[5] *П. Я.*— псевдоним, под которым поэт и революционер-народоволец П. Ф. Якубович публиковал в 1880—1900-е годы свои стихотворения в журналах и отдельными изданиями. *«Три смерти»*— лирическая драма А. Н. Майкова (1851).

[6] «Споры с отцом и дядей за новое искусство» Белый относит к октябрю 1902 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 15 об.).

[7] Адольф Цейзинг, немецкий поэт и философ, автор работ по математической эстетике, в 1854 г. выступил с обоснованием закона пропорционального деления: если целое приходится делить на неравные, по объему и значению, части, то эстетическое впечатление возникает в том случае, когда меньшая часть деления относится к большей как бо́льшая относится к целому; этот закон, по мнению Цейзинга, был известен в древности под именем «золотого сечения».

[8] С рефератом «О формах искусства» Белый выступал в студенческом филологическом обществе в ноябре 1902 г. (чтение было разделено на два вечера). Реферат лег в основу статьи Белого «Формы искусства» (Мир искусства, 1902, № 12, с. 343—361; подпись: Борис Бугаев).

[9] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Она, черт дери,— спец по искусству; отцу нравится мой союз с Гончаровой: работала у Рише, знакома с Бутру; полезно у ней учиться; правда, теперь теософка она; но не может же, черт дери, «теософия» отнять образованность» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 22).

[10] «Tertia vigilia. Книга новых стихов. 1897—1900» (М., Скорпион, 1900) В. Брюсова вышла в свет во второй половине октября 1900 г.

[11] С небольшими неточностями цитируется стихотворение Брюсова «Ассаргадон. Ассирийская надпись» (1897), вошедшее в «Tertia vigilia». См.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1. М., 1973, с. 144.

[12] Немецкий египтолог Георг Эберс является автором романов, посвященных истории Древнего Египта («Дочь фараона», 1864; «Уарда», 1877—1881), а также романов из римской и средневековой немецкой истории.

[13] «Смерть богов (Юлиан Отступник)» (1895; первоначальное заглавие — «Отверженный (Юлиан Отступник)») — роман Д. С. Мережковского о римском императоре Юлиане, являющийся первой частью исторической трилогии «Христос и Антихрист».

[14] Лето 1902 г., проведенное в имении Серебряный Колодезь.

[15] *Персеиды* — метеорный поток с радиантом в созвездии Персея, ежегодно наблюдаемый визуально в августе. Слова Н. В. Бугаева о Персеидах непосредственно отразились в 3-й «симфонии» Белого «Возврат» (М., 1905, с. 115—116):

«Вскинули головы. Орлов говорил: «Это летят Персеиды. В бешеном полете своем не боятся пространств».

«Они летят все вперед... далеко за Нептун, в темных объятиях пространственности»...

«Им чужд страх, и они все одолеют полетом... Сегодня улечу я, а завтра — вы,— и не нужно бояться: мы встретимся»...

Они долго следили за полетом Персеид. То тут, то там показывались золотые, низвергающиеся точки. И гасли.

Орлов шептал: «Милые мои, поклонитесь Нептуну».

[16] В первоначальном варианте текста далее следовало: «поставили новый крест; на нем висел венок фарфоровых незабудок.

Вспомнилось, как со вздохами, таимыми от меня, он расстался с мыслью видеть меня ученым, удивляясь вниманью, которое мне оказывал Мережковский; он уже понимал, что чего-то не понимает» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 25).

[17] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Мать верила моему музыкальному слуху и следовала за моим увлечением — Григом и Вагнером; но не переносила мысли, что я сочиняю мелодии.

Думается, что тут — дух противоречия; ее протест обрезал крылья; «композитор» догаснул в подполье: к 1902 году; раз, застигнутый соседкой» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 26—27).

[18] Белый подразумевает свою «мистериальную» влюбленность в М. К. Морозову, оказавшую в 1901 г. огромное воздействие на все его мироощущение: «...весь этот год для меня окрашен первой глубокой, мистическою, единственной своего рода любовью к М. К. М. 〈...〉 *М. К. М.* в иные минуты являлася для меня лишь *иконою*, *символом* лика Той, от Которой до меня долетали веянья» (*Материал к биографии*, л. 16). О феврале 1901 г. Белый вспоминает: «...моя встреча глазами с М. К. М. на симфоническом концерте во время исполнения бетховенской Симфонии; и отсюда мгновенный вихрь переживаний, мной описанный в поэме *«Первое свидание»*. С той поры совершенно конкретно открывается мне: все учение о Софии Премудрости Вл. Соловьева, весь цикл его стихов к Ней; и моя глубокая и чистая любовь к М. К. М., с которой я даже не знаком и которую я вижу издали на симфонических концертах, становится символом сверхчеловеческих отношений 〈...〉» (там же, л. 17—17 об.).

[19] *Суламифь* (Суламита) — имя возлюбленной царя Соломона, к которой обращена библейская Книга Песни Песней Соломона.

[20] *«Арсеньевская гимназистка»* — Мария Дмитриевна Шепелева (о ее отношениях с С. Соловьевым см.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1. М., 1980, с. 332—333). Ср. воспоминания Белого о 1901 годе: «Для С. М. Соловьева этот год был 〈...〉 тоже годом

первой, глубокой, мистической любви к М. Д. Ш.» (*Материал к биографии*, л. 16).

[21] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Переживания не были «гнилы»; «гнилы» — многие последовавшие «реальности», вроде хотя бы... запоев Блока, ироника, *«испытанного остряка»*, описывавшего, как в пачке «кредиток» был «любовный напиток» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 29).

[22] Знаменитый венгерский дирижер Артур Никиш впервые гастролировал в Москве в 1899 г.; американская певица Мария ван Зандт приезжала на гастроли в Россию многократно (впервые — в 1885 г.). В статье «Маска» (1904) Белый, давая литературный портрет Никиша, сообщает, что присутствовал на его репетициях (*Арабески*, с. 134—137). Вспоминая о 1901 годе, Белый отмечает: «В этом же году для меня полоса увлечения Никишем, которым я увлекался и раньше; но теперь Никиш меня все более и более увлекает» (*Материал к биографии*, л. 27).

[23] Вероятно, имеется в виду адвокат И. А. Кистяковский.

[24] *Перипатетики* — ученики и последователи Аристотеля (перипатетическая философская школа в Афинах). Белый обыгрывает происхождение названия школы (от греч. peripatéō — прохаживаюсь): Аристотель во время чтения лекций прогуливался в Ликее со своими слушателями.

[25] Стихотворения А. А. Курсинского в коллективном сборнике стихотворений «Книга раздумий» (СПб., 1899) напечатаны не были; помимо трех названных Белым авторов в нем были представлены стихотворения Ив. Коневского.

[26] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Брюсов дернул бровями, изображая постановку точки над «и»: я более интересовался Мережковским и Блоком, чем Брюсовым и Бальмонтом; моя недостаточная близость к *«Скорпиону»* раздражала Брюсова; раздражение высказал он в формах преувеличенной корректности; в те дни был преувеличенно вежлив со мною» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 32).

[27] Подразумевается финальная символическая сцена драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес» (1892): архитектор Сольнес восходит на башню воздвигаемого по его проекту здания, падает вниз и гибнет.

[28] Кружок Н. В. Станкевича — московское идейно-литературное объединение 1830-х годов, в которое входили многие видные литераторы и общественные деятели России (Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, Я. М. Неверов, И. П. Клюшников, В. И. Красов, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин и др.).

[29] В первоначальном варианте текста далее следовало: «я запрыгивал и в лексикон Хлебникова; посягал на *«за-умь»*, не вылезал с ней в большой свет; жалею: несколько заумных словечек

выскочили в разговоре с Блоком, при матери Блока, тетушке Блока, супруге Блока и других; они породили сумбур вплоть до обвинений меня, что я-де вижу двуногую идею и розовый капот принимаю за... зарю.

На пляже уместны трусики; в гостиной «Бекетовых» надо блюсти себя.

Об этом ниже.

В обществе Петровского, Владимирова и даже С. Л. Иванова я упражнялся в придумывании слов, подобных слову «козловак» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 33).

[30] В списке «Кружки лиц, в которых мне приходилось бывать и работать», Белый фиксирует: «Кружок *«Арго»:* вынашивались идеи символизма. *В эпоху от 1903 до 1906 бывали, между прочим, насколько помню:* А. С. Петровский, С. М. Соловьев, Л. Л. Кобылинский (Эллис), М. И. Сизов, Н. И. Сизов, Н. К. Метнер (композитор), Э. К. Метнер (писатель), Н. П. Киселев, В. В. Владимиров, А. П. Печковский, А. С. Челищев, П. Н. Батюшков, М. А. Эртель. Эти лица в период 1903—1905 составляли ядро *«аргонавтов»* ⟨...⟩» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100, л. 157 об.—158).

[31] В Мюнхене Белый жил и общался с В. В. Владимировым в ноябре 1906 г.

[32] Журнал «The Studio» выходил в Лондоне с 1893 г. «Blätter für die Kunst» — основанный Стефаном Георге и издававшийся в Берлине с 1892 г. Карлом Аугустом Клейном орган поэтического кружка Георге.

[33] Интерес к этому философу-мистику надолго сохранился в среде «аргонавтов». Позднее в издательстве «Мусагет» была выпущена в свет книга: Рэйсбрук Удивительный. Одеяние духовного брака. Перевод Михаила Сизова. М., 1910.

[34] Начало сближения Белого с Эллисом относится к осени 1901 г. Ср.: «Душою кружка — толкачом-агитатором, пропагандистом был Эллис; я был идеологом» (*Эпопея,* I, с. 178). О формировании кружка «аргонавтов» см.: Л а в р о в А. В. Мифотворчество «аргонавтов».— В кн.: Миф — фольклор — литература. Л., 1978, с. 137—141.

[35] Имеется в виду книга В. В. Розанова «Легенда о великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария» (СПб., 1894).

[36] В первоначальном варианте текста далее следовало: «от него доставалось и Батюшкову, и Эртелю; не забуду: на мое воскресенье зашла случайно известная А. Н. Шмидт, автор *«Третьего Завета»,*— парадокс судьбы в виде революционно настроенной сотрудницы *«Нижегородского листка»*, вообразившей себя предметом мистической поэзии Владимира Соловьева и ужас-

нувшая последнего, семью его, всех друзей семьи (меня в том числе); помню, как А. С. над нею развил пантомиму жестов. Он мог быть зол» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 38).

[37] Черты личности А. С. Челищева и характер его отношений с Белым отчасти раскрываются в его стихотворном экспромте, обращенном к Белому и датированном 8 апреля 1904 г. (ГБЛ, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 6):

О, если б знали Вы, мой дорогой Борис,
Как я жалел, что отлучился
В тот вечер из дому. Поверьте,
Что видеть Вас, обнять, пожать Вам руку
Мне так хотелось бы теперь!..
Ведь я всю Пасху тосковал, меня
Бессонница заела совершенно,
И мысли мрачные, одна другой черней,
Измучили меня. В меня вселился ужас,
Как ядовитые глаза растоптанной змеи.
Мне так хотелось бы Вас видеть,
Хотелось бы послушать Вас, Вы так спокойно говорите,
Уютный человек Вы, добрый и сердечный,
Ведь с Вами посидишь — на сердце точно легче,
И мысли мрачные летят далеко прочь. ⟨...⟩
Однако, мой Борис, я посылаю
Свое стихотворенье Вам прочесть.
Апухтину как будто в подражанье
Оно написано,
Но, разумеется, куда же мне до образца!..
Простите Вы его, но при свиданьи
(Я не суда жду, нет) я умоляю
Лишь не сердиться на меня. Я не поэт,
Не Эллис, не Аврелий, я не Белый,
Я черный меланхолик!..

[38] Статья «Ибсен и Достоевский», написанная Белым в конце 1905 г. (впервые опубликована: Весы, 1905, № 12, с. 47—54), наглядно отразила перелом в его мироощущении, сказавшийся, в частности, на переоценке творчества Достоевского. Героям Достоевского Белый противопоставил в ней героев драм Ибсена: «Достоевский — натура широкая, а Ибсен — высокая»; «Боргманы, Сольнессы, Рубеки еще слишком прямолинейны, тяжелы ⟨...⟩ Но зато герои Ибсена — воистину герои»; «Герои Ибсена твердо гибнут в горах, не разболтав того, о чем иные кричат в дрянненьких трактирах»; «Герои Ибсена целомудренней на слова. Но мы не имеем права сказать, будто апокалиптическая истерика Достоевского им совершенно чужда только потому, что эти последние выбалтывают свою душу в грязненьких трактирах. ⟨...⟩ Я не знаю, что ужаснее, — холодная готовность умереть, борясь с роком, или мистика бесноватых Карамазовых» — и т. д. (*Арабески*, с. 96—99).

[39] В первоначальном варианте текста далее следовало: «Он с любовью выращивал во мне *«Пепел»*, видя в нем шаг вперед от *«Золота в лазури»* к Некрасову; ни художник, ни философ, ни литератор, а мечтающий о «земском враче»,— он живет в памяти как со-символист и со-аргонавт» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 42).

[40] Вокруг Стефана Георге группировались немецкоязычные поэты и критики символистско-неоромантической и панэстетической ориентации (М. Даутендей, О. Шмиц, Г. фон Гофмансталь, Л. Клагес, Ф. Гундольф, К. Вольфскель, К. А. Клейн, Э. Бертрам и др.).

[41] Максимилиан Шик вошел в круг московских символистов весной 1903 г.; став берлинским корреспондентом «Весов», неоднократно выступал со статьями о немецкой литературной и культурной жизни. См. статью «Максимилиан Шик — посредник между русской и немецкой культурами» (в сб.: Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей. М., 1987, с. 170—187).

[42] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Встреча с настоящими литераторами, принятыми в *«Скорпионе»* и попавшими в список избранных, вызвала грустное впечатление встречи с чем-то отполированным, безупречным, но — узким и скучным, с чем *«аргонавты»* ужиться бы не могли; и поздней уже в недрах *«Скорпиона»* и в недрах *«Эстетики»* мы, некогда собиравшиеся друг у друга, встречались друг с другом, как земляки на чужбине» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 43).

[43] Подразумеваются строки из стихотворения Белого «Золотое руно» (октябрь 1903 г.), воспринимавшегося как своего рода манифест «аргонавтов»:

На горных вершинах
наш Арго,
наш Арго,
готовясь лететь, золотыми крылами
забил.

(Стихотворения и поэмы, с. 74—75.)

[44] С К. Д. Бальмонтом и М. А. Волошиным Белый познакомился в начале 1903 г.

[45] Полемический выпад по адресу статьи об Андрее Белом Н. К. Пиксанова (Большая советская энциклопедия, т. 5. М., 1927, стлб. 443—445). В ней, в частности, сообщалось: «Б. был воспитан в среде столичной буржуазной интеллигенции ⟨...⟩ Из дворянских и купеческих кругов к Б. шли авторитарные формы миросозерцания и религиозные настроения, легко переходившие в мистику. Политические взгляды этой среды подготовляли бу-

дущие выступления «кадетов» и «октябристов» с ярко выраженным национализмом и идеей великодержавности»; «...многое в творчестве Б., как и во всем движении символизма, умерло вместе с тем социально-политическим строем, которым они были обусловлены».

[46] Заграничная деятельность Э. К. Метнера, покинувшего Россию в 1914 г., имела, однако, и творческий характер: став последователем швейцарского психолога и философа культуры Карла Густава Юнга, он переводил его труды на русский язык, выпустил отдельным изданием цикл своих лекций, читанных в 1922 г. в цюрихском Психологическом клубе,— «О так называемой интуиции» (Über die sogenannte Intuition. Zürich, 1923).

[47] *Мистер Микобер* — персонаж из романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (1849—1850).

[48] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Мы — литературные деятели начала века — Блоки, Брюсовы, Бальмонты и прочие — Микоберы, переселившиеся в Австралию, имеющие каждый свой Лондон за плечами; в этом Лондоне мы лишь — конденсаторы, иногда пустые сами по себе; без голосов, которые нами говорили, мы — непонятны; эти голоса суть обстание, из которого грубо вырезают нас; и, так поступая, ничего в нас не понимают.

Я поэтому сосредоточиваю свое внимание на обстании *«Микоберов»*, получивших лишь в Австралии автономное бытие.

Вот почему, зарисовывая и литературных сверстников, я особенное внимание все же сосредоточиваю на сверстниках не литературных, ибо в них-то и коренится *«суть»* нашей сути; и, давая этюд Брюсова, Блока, я рядом с ними, вместе с ними, подаю и Метнера, Эртеля, Малафеева, Рачинского и скольких еще; музыканты оркестра ведут палочку дирижера в той же мере, в какой дирижер ведет за собой оркестр; здесь — круговая порука, о которой все еще забывают историки; сосредоточиваясь на интересном и крупном, они и это крупное лишают интересности, ибо интересность *«крупного»* в сумме всего *«мелкого»*, из которого *«крупное»* состоит» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1. ед. хр. 30, л. 45).

[49] Ср. воспоминания Белого о весне 1901 г.: «А. С. ⟨Петровский⟩, шутя, говорил, что в нашей пустой квартире по ночам в комнате заводится некое злобное, астральное существо, *«Козерог»*, распадающееся прахом к рассвету; и, шутя, фантазировал, что у нашей кухарки, Дарьи, имеющей очень длинные уши и находящейся в тайных сношениях с *«Козерогом»*,— растут уши; выходило, что Дарья — медиум; и как только вечером она уляжется спать, так тотчас же ее освободившиеся астральные силы материализуют в пустой гостиной, среди чехлов,— «Козерога»;

я прибавлял соли к шуткам Петровского ⟨...⟩» (*Материал к биографии*, л. 19—19 об.).

[50] Белый пишет о 1902 годе: «Этою весною мне по-особенному открывается поэзия Лермонтова; я переживаю ее сквозь призму поэзий Фета, Вл. Соловьева и Блока ⟨...⟩» (там же, л. 28 об.).

[51] Ср. воспоминания Белого о себе в пору 1897—1899 гг.: «...Фет заслоняет всех прочих поэтов; он открывается вместе с миром философии Шопенгауэра; он — шопенгауэровец; в нем для меня — гармоническое пересечение миросозерцания с мироощущением: в нечто третье» (*Почему я стал символистом*, с. 25).

[52] В другом автобиографическом источнике, однако, Белый относит пробуждение интереса к поэзии Ф. И. Тютчева к весне 1902 г.: «...начинает впервые глубоко звучать Тютчев» (*Материал к биографии*, л. 28 об.).

[53] Ср.: «...июнь ⟨1904 г.⟩ живу я тютчевскими настроениями, своеобразно преломленными народничеством; в этот месяц пишу свою статью *«Маски»*, навеянную Тютчевым и Вячеславом Ивановым ⟨...⟩» (там же, л. 47). Статья «Маска» впервые опубликована в журнале «Весы» (1904, № 6, с. 6—15); см.: *Арабески*, с. 130—137.

[54] Искаженная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Видение» (1829).

[55] Цитируется (с небольшими веточностями) первая строфа стихотворения Е. А. Баратынского «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» (1840).

[56] Первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова (1841). Ср. интерпретацию этого стихотворения и поэзии Лермонтова в целом в статье Белого «Священные цвета» (1903) (*Арабески*, с. 117—119, 125).

[57] *Истар* (Иштар) — в аккадской мифологии центральное женское божество: богиня плодородия и плотской любви, войны, астральное божество. В данном случае Белый вольно перетолковывает содержание статьи В. В. Розанова «О древнеегипетской красоте» (Мир искусства, 1899, т. I, № 10, отд. II, с. 105—109; № 11—12, отд. II, с. 121—124; т. II, № 15, отд. II, с. 1—8; № 16—17, отд. II, с. 29—32), в которой древнеегипетская символика и эмблематика рассматривается в сопоставлении с библейскими текстами и произведениями новейшего времени (Лермонтов, Достоевский).

[58] В статье «О древнеегипетской красоте» Розанов затрагивает образно-сюжетные мотивы рассказа Достоевского «Бобок» и романа «Преступление и наказание». *Озирис* (Осирис) — в египетской мифологии бог производительных сил природы, царь загробного мира.

[59] Вл. С. Соловьев резко полемизировал со статьей В. В. Розанова «Свобода и вера» (Русский вестник, 1894, № 1), направленной против веротерпимости («Порфирий Головлев о свободе и вере» — см.: Соловьев В. С. Собр. соч., т. V. СПб., Общественная польза, б. г., с. 463—473), а также критиковал «Заметку о Пушкине» Розанова (Мир искусства, 1899, № 13—14) в статье «Особое чествование Пушкина», напечатанной в «Вестнике Европы» (1899, № 7, с. 432—440), отмечая в ней, что «излияния г. Розанова дают достаточное понятие лишь об одном писателе — о нем самом» (с. 437). О полемическом характере взаимоотношений Соловьева и Розанова см.: Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922, с. 30—47.

[60] См. статью Розанова «М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины)», опубликованную 15 июля 1901 г. в «Новом времени» (переиздана В. Сукачом: Вопросы литературы, 1988, № 4, с. 180—189), а также его статьи «Из загадок человеческой природы» (в его кн. «В мире неясного и нерешенного». СПб., 1901), «Концы и начала, «божественное» и «демоническое», боги и демоны (По поводу главного сюжета Лермонтова)» (Мир искусства, 1902, т. VIII, № 7—12).

[61] Подразумевается, по всей вероятности, брошюра К. Н. Леонтьева «Наши новые христиане» (М., 1882), посвященная критике взглядов Достоевского и Л. Толстого — «того одностороннего христианства, которое можно позволить себе назвать христианством «сентиментальным» или «розовым» (с. IV).

[62] В первоначальном варианте текста далее следовало: «чувственностью — тема Петровского; он оказался прав: нас ожидало новое подтверждение мыслей Гете о романтизме в виде трансформы «Прекрасной Дамы», слишком воздушной для того, чтобы ее здорово любить, в садически настроенную проститутку, дарящую любовь декадентскому неврастенику ударами французского каблука: в сердце» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 50).

[63] Подразумевается прежде всего статья Вл. Соловьева «Лермонтов» (1899), в которой русский поэт рассматривается как «прямой родоначальник» ницшеанского умонастроения, переживавший трагедию противоречия между высокой теургической миссией и низким уровнем нравственного сознания, идеализировавший и эстетизировавший злое, «демоническое» начало в своей гениальной натуре. См.: Соловьев В. С. Собр. соч., т. VIII. СПб., [1903], с. 387—404.

[64] Дом М. А. Морозова и М. К. Морозовой у Смоленского рынка (Смоленский бульвар, 52).

[65] В первоначальном варианте текста далее следовало: «умник, слишком яркий, слишком пленительный, слишком тонкий в 1902 году; и — не слишком яркий, не слишком тонкий —

в 1906-ом; впрочем, все мы линяли» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 51).

[66] Романс М. И. Глинки (1843) на стихи П. П. Рындина. См.: «На рубеже двух столетий», гл. 2, примеч. 13.

[67] IX выставка Московского товарищества художников открылась в Москве в залах Исторического музея в марте 1902 г.

[68] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«На мое воскресенье без зова явился осмеивавший нас маститый проф. консерватории и композитор, добряк Танеев; язвил, а — ходил; явился едва знакомый, мной ценимый Борисов-Мусатов; являлись профессора; частил «чужой» Кистяковский с женою; бывала Климентова-Муромцева и т. д.» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 53).

[69] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Являлись враги; и молча нас *«слушали»*, точно не имея мнения, как критик Н. Я. Абрамович; другие слушали участливо; третьи хлопали глазами» (т а м ж е).

[70] С. Л. Кобылинский учился на историко-филологическом факультете Московского университета в 1900—1904 гг., позднее стал преподавателем Выборгской женской гимназии (см.: ЦГИАМ, ф. 418, оп. 314, дело 377); Л. Л. Кобылинский учился на юридическом факультете Московского университета в 1899—1903 гг., удостоен 1 июня 1903 г. диплома 1-й степени (см.: т а м ж е, оп. 311, дело 445).

[71] О Владимире Семеновиче Маркове см.: С о л о в ь е в С. Памяти протопресвитера В. С. Маркова.— Богословский вестник, 1918, июль — сентябрь.

[72] Имеется в виду Алексей Владимирович Марков, автор книг «Бытовые черты русских былин» (М., 1904), «Из истории русского былевого эпоса» (вып. 1—5. М., 1905—1907); им подготовлены издания: «Беломорские былины, записанные А. Марковым» (М., 1901); «Былины новой и недавней записи. Из разных местностей России». Под ред. В. Ф. Миллера, при ближайшем участии Е. Н. Елеонской и А. В. Маркова (М., 1908) и др.

[73] Об основных этапах идейной эволюции Эллиса см.: Г р е ч и ш к и н С. С., Л а в р о в А. В. Эллис — поэт-символист, теоретик и критик (1900—1910-е гг.).— В кн.: XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Л., 1972, с. 59—62.

[74] Ср. размышления на темы «раздвоя» в дневнике Эллиса (лето 1905 г.):

«Внешний мир, т. е. все воплощенное, и деревья, и цветы, и сам я, телесный,— это *отблеск иного*, которое я духовный — люблю до *э к с т а з а*.

Но познать сущность, познать то, к чему стремились каждый миг, невозможно иначе, как через среду, толщу реального. *Отсюда раздвоение*.

Я люблю мир, ибо он отблеск *вечного*.

Я не люблю его, ибо он *отблеск* вечного.

Проклятое раздвоение!

Тело = символ души.

То же самое раздвоение применимо и к нему.

Отсюда *дуализм* всякой любви. Это еще ужаснее!..» (ГБЛ, ф. 167, карт. 10, ед. хр. 16, л. 8 об.— 9).

[75] Эти постулаты основываются на сонете Ш. Бодлера «Соответствия», развивающем мысль о закономерных связях-соответствиях между чувственными явлениями и определенной сущностью, скрытой реальностью, и на его же стихотворении «Падаль», с натуралистическими подробностями описывающем разлагающийся труп животного.

[76] *«Эрфуртская программа»* (1892) — работа К. Каутского, содержащая истолкование социал-демократической программы и изложение важнейших теоретических положений марксизма. *«Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона»* (1847; русский перевод В. Засулич — 1886) — труд К. Маркса, дающий научный анализ экономических основ капитализма и излагающий принципы диалектико-материалистического мировоззрения.

[77] Этот разрыв был вызван тем, что Эллис выпустил в свет в издательстве «Мусагет» философский трактат «Vigilemus!» (М., 1914), содержащий критику идей Р. Штейнера. Белый, будучи тогда убежденнейшим штейнерианцем, протестовал против издания книги Эллиса, требовал сделать в ней ряд купюр (сохранилась корректура книги с правкой и вычеркиваниями Белого: ГБЛ, ф. 190, карт. 36, ед. хр. 4), но редактор «Мусагета» Э. К. Метнер сохранил текст в неприкосновенности. В архиве Метнера сосредоточены различные документы, характеризующие ход этого конфликта (ГБЛ, ф. 167, карт. 9, ед. хр. 8—11).

[78] Братья *Астровы:* Павел Иванович — член Московского окружного суда, лектор гражданского процесса на Высших женских курсах Полторацкой; Николай Иванович — левый кадет, гласный городской думы Москвы, затем заведующий делопроизводством II Государственной думы и один из издателей московской газеты «Русские ведомости»; Александр Иванович — профессор Московского технического училища, автор учебных курсов «Гидравлика» (М., [1903)]), «Водяные турбины» (вып. 1—2. М., 1907), «Конспект по курсу практической механики» (М., 1907); Владимир Иванович — публицист, автор книги «Не нашли пути. Из истории религиозного кризиса» (СПб., 1914).

[79] Неточность Белого: два «литературно-философских сборника» «Свободная совесть» (М., 1906) вышли в свет соответственно в конце 1905 г. и в сентябре 1906 г.

[80] С осени 1911 г. Эллис постоянно жил за границей (в Германии, Италии и Швейцарии); уехал из России он с целью приобщения к антропософии, но уже в 1912 г. разочаровался в учении Штейнера, перейдя на позиции католицизма.

[81] Последний эпизод, свидетельствующий о связи Эллиса с былым московским литературным окружением, относится к 1917 г.: 7 апреля 1917 г. он отправил из Базеля письма «ко всем сотрудникам «Мусагета» и лично В. В. Пашуканису как секретарю издательства с выражением протеста по поводу выхода полемической книги Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете» (М., Духовное знание, 1917) и в защиту Э. К. Метнера от резкой критики Белого (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 68, 69).

[82] Возможно, имеются в виду изданные отдельной брошюрой «Воспоминания о М. А. Бакунине» М. П. Сажина (М., 1926).

[83] Французский анархист Л. Л. Равашоль совершил ряд убийств в целях анархической «пропаганды действием»; выкрал на взрывных работах снаряды и произвел 11 и 23 марта 1892 г. взрывы в квартирах парижских чиновников, участвовавших в арестах анархистов.

[84] См.: «Между двух революций», главка «Инцидент с Эллисом».

[85] Газета «Голос Москвы» издавалась в 1906—1915 гг. А. И. Гучковым, лидером «Союза 17 октября», который в 1906—1907 гг. был и ее редактором.

[86] Имеется в виду фельетон В. М. Дорошевича «Кандидат» (Русское слово, 1909, № 261, 13 ноября, с. 2); его первая фраза: «Г. Featured Кознова, воровавшего гравюры в Румянцевском музее, г.г. присяжные оправдали». О краже Козновым гравюр см. также: Цветаева А. И. Воспоминания. Изд. 3-е, доп. М., 1983, с. 277—278.

[87] Ср. воспоминания Белого о сентябре 1901 г.: «...я опять появляюсь в доме у проф. Стороженко, как один из руководителей кружка для самообразования молодежи, сгруппированной вокруг Маруси Стороженко; здесь я впервые сталкиваюсь с Кобылинским (Эллисом), с которым происходит живейший обмен мнений ⟨...⟩ в кружке я принимал участие весь сентябрь и октябрь, все более и более сближаясь там с Кобылинским, но потом перестал бывать ⟨...⟩» (*Материал к биографии*, л. 24 об.).

[88] Имеется в виду книга Макса Нордау «Вырождение» (перевод с немецкого под редакцией и с предисловием Р. И. Семент-

ковского. СПб., 1894), в которой гневной критике были подвергнуты декадентское мироощущение и «новые» эстетические искания. В «Симфонии (2-й, драматической)» Белый иронически изобразил Нордау, едущего в Москву «на съезд естествоиспытателей и врачей»: «Всю жизнь боролся усердный Нордау с вырождением. Вот и теперь приготовил он речь» (*Собрание эпических поэм*, с. 178).

[89] Магазин колониальных товаров Выгодчикова на Арбате в доме Старицкого (Арбат, 56—58) находился напротив дома, в котором жили Бугаевы.

[90] Неполный перевод книги Бодлера «Цветы Зла», в которую входит стихотворение «Падаль», представляет собой книга: Эллис. Иммортели. Вып. 1-й. Ш. Бодлэр. М., 1904; новый вариант перевода: Бодлэр Шарль. Цветы Зла. Перевод Эллиса. С вступительной статьей Теофиля Готье и предисловием Валерия Брюсова. М., Заратустра, 1908.

[91] Цитата из стихотворения П. Ф. Якубовича «Человек» (1891). См.: П. Я. Стихотворения. 3-е изд. СПб., 1899, с. 39; Якубович П. Ф. Стихотворения (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1960, с. 173.

[92] Имеются в виду начальные строки «Симфонии (2-й, драматической)»: «...надо всеми нависал свод голубой, серо-синий ⟨...⟩ с солнцем-глазом посреди. Оттуда лились потоки металлической раскаленности» (*Собрание эпических поэм*, с. 129).

[93] Белый был призван на военную службу, прошел осмотр и получил трехмесячную отсрочку в последней декаде сентября 1916 г., новую отсрочку получил в середине января 1917 г. (см.: Белый Андрей. Жизнь без Аси.— ГБЛ, ф. 25, карт. 31, ед. хр. 1).

[94] Подразумевается эпизод из «Симфонии (2-й, драматической)»:

«5. Тихо охнул чтец Канта и присел на корточки.

6. Уже больше он не вставал с пола, но забился под кровать. Ему хотелось убежать от времени и пространства, спрятаться от мира.

7. Братья мои, ведь уже все кончено для человека, севшего на пол!» (*Собрание эпических поэм*, с. 175).

[95] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Но трогала меня алогичная дружба старика-математика с юным бодлеровцем; так с весны 1902 года прочно завелся Л. Л. Кобылинский у нас, у Владимировых, у Соловьевых. Мать моя называла его попросту Левушкой; и не раз заявляла с улыбкой:

— «Левушка, как не позволить кричать: разве ему закон писан?» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 73).

[96] *«Сон негра»* — модная музыкальная пьеса; ср. в «Петербурге» реплику посетителя ресторанчика: «Половой: поставь-ка «Сон негра»...» (Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 43).

[97] А. И. Цветаева обстоятельно рассказывает об Эллисе в своих «Воспоминаниях» (М., 1983, с. 258—259, 283—289, 302—307). М. И. Цветаева изобразила Эллиса в поэме «Чародей» (1914) (Цветаева М. Неизданное. Стихи, театр, проза. Paris, 1976, с. 28—41); см. также письма М. И. Цветаевой к Эллису (Цветаева М. Неизданные письма. Paris, 1972, с. 9—20).

[98] С М. А. Волошиным Эллис сблизился в 1899 г., когда оба они были студентами юридического факультета Московского университета и общались с проф. И. Х. Озеровым.

[99] *«Черные маски»* (1907) — философско-символическая драма Л. Н. Андреева, впервые опубликованная в «Литературно-художественных альманахах изд-ва «Шиповник» (кн. 7. СПб., 1908). Действие драмы разворачивается в старинном замке герцога Лоренцо, где появляются загадочные «черные маски, которых герцог Лоренцо не приглашал».

[100] Имеется в виду «Сборник арифметических задач» В. А. Евтушевского в двух частях, широко распространенный (1-я часть к 1909 г. выдержала 76 изданий, 2-я часть — 31 издание).

[101] В первоначальном варианте текста далее следовало: «адъютант Джунковского Р...» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 76). В. Ф. Джунковский — в 1905 г. московский губернатор.

[102] В первоначальном варианте текста было: «Адъютантам Джунковского руки не даю» (там же).

[103] Эта поездка Эллиса в Шахматово состоялась 10 августа 1906 г. О ходе встречи Блока и Эллиса см. в воспоминаниях Л. Д. Блок «И быль и небылицы о Блоке и о себе» (Александр Блок в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1. М., 1980, с. 177—178).

[104] Брюсов в письме к Белому от 20 февраля 1905 г., содержавшем вызов на дуэль, касаясь вопроса о секундантах, особо оговаривал: «...большим снисхождением ко мне с вашей стороны было бы, чтобы то не был г. Эллис» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 382). Белый, однако, обратился к Эллису (а также к С. Соловьеву), «прося их при случае быть секундантами» (*Эпопея*, II, с. 234).

[105] Ср. восторженную оценку Эллисом творчества Ж. Роденбаха в письме к Блоку (середина марта 1907 г.) (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 2. М., 1981, с. 288—290).

[106] *«Charogne»* — заглавие стихотворения Бодлера в оригинале («Падаль»).

[107] См. примеч. 84.

[108] *Брюгге* — бельгийский город, описываемый в романе Ж. Роденбаха «Мертвый Брюгге» (1892).

[109] В 1910-е годы в издательстве «Мусагет» было объявлено о готовящемся отдельном издании «Гимнов Орфея» в переводе Вл. Нилендера. Книга в свет не вышла.

[110] Цитируется «Новая песня» П. Л. Лаврова (1875; в революционных сборниках — с 1880-х годов) — свободная переработка «Марсельезы», исполнявшаяся на мелодию французского гимна.

[111] Ср.: «...кружок не имел ни устава, ни точных, незыблемых контуров; примыкали к нему, из него выходили — естественно; действовал импульс, душа коллектива — не люди» (*Эпопея*, I, *с.* 178).

[112] А. С. Гончарова была племянницей Н. Н. Пушкиной (дочерью ее младшего брата С. Н. Гончарова). П. Н. Батюшков не был внуком К. Н. Батюшкова (у поэта не было потомства), а принадлежал к другой ветви рода Батюшковых, восходившей к прадеду поэта Андрею Ильичу Батюшкову (см.: Кошелев Вяч. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987, с. 9).

[113] Ср. характеристику Батюшкова в романе «Крещеный китаец»: «...в столовую быстро влетает студент-первокурсник, носатенький, с черной бородкой, при шпаге; и папа выходит навстречу ему; он стремительно подлетает, восторженно дергает папину руку; и, щелкнувши ножкой, от силы щелчка отлетает чрез комнату в угол с оторванной бедной рукою (о, сколькие руки оторваны им); он отсюда проходит к столу: опустить над тарелкою нос: это — Батюшков, внучок поэта; его теософия ждет впереди» (Белый Андрей. Крещеный китаец. М., 1928, с. 121).

[114] *Гипатия* упоминается как образ ученой женщины. *Гарпии* (греч. миф.) — архаические доолимпийские божества, изображаются в виде крылатых существ — полуженщин-полуптиц отвратительного вида.

[115] Подразумевается старшая из сестер Н. Н. Пушкиной Екатерина Николаевна Гончарова (1809—1843), с 10 января 1837 г. жена Ж.-К. Дантеса.

[116] Ныне время сложения древнеиндийской поэмы «Махабхарата», в состав которой входит «Бхагавадгита» («Божественная песнь») — священная книга индуизма, определяют длительным периодом в семь — восемь веков (от IV в. до н. э. до IV в. н. э.).

[117] Ср. воспоминания Белого о встречах с Батюшковым в сентябре 1901 г.: «...мы просиживаем с ним долгими вечерами и разговариваем о теософии, с которой я уже недурно знаком по книгам Безант и Ледбитера; он мне рассказывает о Миде, о злобах дня теософ⟨ского⟩ О⟨бщест⟩ва ⟨...⟩» *(Материал к биографии*, л. 24—24 об.).

[118] Французский перевод книги Анни Безант: «Vers le Temple. La purification, l'entraînement mental, la construction du caractère l'alchimie spirituelle» (Bruxelles, 1899).

[119] В библиотеке Белого имелась книга: Щербатской Ф. И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Часть 1. Учебник логики Дармакирти с толкованием на него Дармоттары. СПб., 1903. См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 374.

[120] Подразумеваются, видимо, «Всеобщая история философии» («Allgemeine Geschichte der Philosophie», 1894) Пауля Дейссена или его же «Система Веданты» («Das System des Vedanta», 1883). Белый отмечает: «Дейссен с огромным проникновением вводит нас в понимание сущности метода мышления у мудрецов Индии» (*Символизм*, с. 462).

[121] Е. Ф. Писарева в Калуге во второй половине 1900—1910-х годах выпустила в свет ряд брошюр по вопросам теософии — собственных (под псевдонимом: Е. П.) и переводных.

[122] М. В. Сабашникова-Волошина вспоминает о других эпизодах первых встреч с Белым — о том, как она видела Белого-студента, еще до знакомства, в библиотеке, и о встрече за ужином после одной из лекций К. Д. Бальмонта, когда ей представился случай обменяться с Белым несколькими словами. См.: Woloschin Margarita. Die grüne Schlange. Lebenserinnerungen. Stuttgart, [1968], S. 135.

[123] Позднее Белый написал предисловие к кн.: Миропольский А. Л. Ведьма. Лествица. М., 1905, с. 3—10.

[124] Имя *Тартарена*, героя романов Альфонса Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872), «Тартарен на Альпах» (1885), «Порт-Тараскон» (1890), стало нарицательным для обозначения фанфаронства и хвастливой фантазии; имя *Тартюфа*, героя одноименной комедии (1664—1669) Мольера,— символ лицемерия, безнравственности под маской добродетели.

[125] Воспринятый теософией образ Пеликана, питающего своей кровью птенцов и тем спасающего их от смерти, имеет древнее происхождение, усвоен и развит христианской символикой. См.: Морозов А. А. Из истории осмысления некоторых эмблем в эпоху Ренессанса и барокко (Пеликан).— В кн.: Миф — фольклор — литература. Л., 1978, с. 38—66.

[126] *Лотос* — древнейший мифопоэтический символ, основное значение которого — творящая сила; в Индии лотос символизирует творящее лоно, источник божественного принципа, особой сакральной силы.

[127] *Адьяр* — предместье Мадраса (Индия), ставшее в 1878 г. центром Теософского общества (основанного в Нью-Йорке 17 ноября 1875 г. Е. П. Блаватской и Генри Олкоттом) и местопребыванием президента общества; в Адьяре — богатейшее книгохранилище по вопросам философии, религии и оккультизма.

[128] Дом 9 по Обуховскому переулку (между Пречистенкой и Большим Левшинским пер.) принадлежал Варваре Павловне Танеевой, дом 11 — Александре Николаевне Дивлет-Кильдеевой.

[129] Банкирская контора «И. В. Юнкер и К°» на Кузнецком мосту (собственный дом).

[130] *«Великий лгун»* — заглавие фельетона Белого об Эртеле (Утро России, 1910, № 247, 12 сентября, с. 4).

[131] Ср. записи Белого о ноябре 1901 г.: «В этот же месяц возобновилось мое знакомство с М. А. Эртелем, которого я знал когда-то студентом, когда был еще ребенком,— в Демьянове; теперь Эртель стал часто появляться у нас, встретился с Батюшковым; и быстро с ним подружился; я, Батюшков, Эртель одно время составили как бы *трио*» *(Материал к биографии,* л. 26 об.).

[132] *Санкхья, вайшешика* — две из шести основных индуистских философских систем (даршан), признававших авторитет вед («астика»), оформившиеся к середине I тысячелетия; другие индуистские философские даршаны — йога, ньяя, миманса, веданта (см.: Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985, с. 529—533, 536—539). Крупнейшему индологу Ф. Максу Мюллеру принадлежит труд «Шесть систем индийской философии», вышедший в русском переводе (М., 1901).

[133] Подразумеваются слова Хлестакова («Ревизор», действие 3, явление VI): «...по улицам курьеры, курьеры, курьеры ⟨...⟩ можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. IV. Л., 1951, с. 50). См. статью-памфлет Белого «Монолог № 1. Сорок тысяч курьеров» (1908) (Русская литература, 1980, № 4, с. 167—170).

[134] *Пер Гюнт* — герой одноименной драматической поэмы (1867) Г. Ибсена, фантазер и мечтатель, отличающийся леностью, слабодушием, склонностью к половинчатым решениям.

[135] Белый указывает, что реферат Эртеля «О Юлиане» был прочитан в сезон 1904—1905 гг. (*Эпопея,* II, с. 157). Ср. замечание в фельетоне Белого «Великий лгун»: «Всюду он обещал прочесть реферат, но нигде не исполнял обещания: помехой служил его капитальный труд» (Утро России, 1910, № 247, 12 сентября).

[136] Произведение с таким названием в истории древнеиндийской литературы неизвестно. Возможно, имеется в виду эпическая поэма Калидасы «Рагхуванша» («Родословная Рагху»).

[137] Первые слова хора горничных и приживалок в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама» (действие II, картина 4-я; либретто М. И. Чайковского).

[138] В этюде «Великий лгун» Эртель выведен под именем Степушки Венделя, ученого-филолога, пишущего диссертацию, который «тихо, бесшумно, вкрадчиво, но как-то сразу завелся ⟨...⟩ во всех интеллигентных кружках нашего города и спустя некоторое время вырос в невероятную, чудовищную химеру» (Утро России, 1910, № 247, 12 сентября).

[139] Ср. характеристику Эртеля в этюде «Великий лгун»: «Что Степушка Вендель — вымысел, это правда: вымысел невероятный и тем не менее воплотившийся в маленькую фигурку в очках, пересекающую все закоулки нашей мысли, чтобы под прикровом сладких слов бросить семена мертвенности и смерти во все молодое, живое, что возникало в богоспасаемом городе»; «В целом ряде кружков Степушку уличили во лжи, невежестве, шарлатанстве; но раздавить окончательно жалели: он казался таким жалким, ничтожным, серым, он униженно бросался в объятия; он ведь был со всеми *«на ты»;* «Средний человек вырос в химеру» (там же).

[140] *Тротвуд* — девичья фамилия матери Дэвида Копперфилда, данная ему его теткой и воспитательницей Бетси Тротвуд (роман Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда»).

[141] В предисловии к неосуществленному изданию романа «Котик Летаев» (1928) Белый пишет: «В разговоре с известным геологом я был живо заинтересован однажды его мнением: возможно изучение наших переживаний на фоне знания нашего о древнейших фазах органической жизни, т. е. возможна *палеонтологическая психология;* помнится, в разговоре с геологом я высказал предположение: не есть ли миф о драконе — смутная родовая память о встречах с ископаемым птицеящером (птеродактилем); эта мысль — не встретила возражения со стороны профессора геологии» (Русская литература, 1988, № 1, с. 218).

[142] В первоначальном варианте текста далее следовало: «играя и краской, и линией правды: в десятилетиях дружбы, в сотнях писем, в тысяче им мне подаренных часов, когда он, немой в большом обществе, но светозарный в своем круге, вписывал свой труд в наши сердца: с деталями, с комментарием к каждой значительной книге; две им написанные книги» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 124).

[143] См.: Вольфинг ⟨Метнер Э. К.⟩. Модернизм и музыка. Статьи критические и полемические. М., Мусагет, 1912; Мет-

н е р Э. Размышления о Гете, кн. 1. Разбор взглядов Р. Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма. М., Мусагет, 1914.

[144] Отец Э. К. Метнера Карл Петрович Метнер (1846—1921) был одним из директоров акционерной компании «Московская кружевная фабрика».

[145] Прадед Э. К. Метнера со стороны матери Фридрих Альберт (Федор Федорович) Гебхард (1769 — ?), певец, драматург, поэт, был артистом Немецкого придворного театра в Петербурге. В письме к П. Д. Эттингеру от 27 сентября 1921 г. Э. К. Метнер, подробно рассказывая о прадеде, отмечает: «Был ли Гебхард знаком с Гете до оставления им своей родины 〈...〉 — неизвестно; во всяком случае, по словам моей матери, он навестил Гете во время одного (или единственного) своего путешествии за границу и состоявшегося тогда короткого пребывания в Веймаре (или в Иене)» (Н. К. Метнер. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1981, с. 295—296).

[146] *«Goethe-Gesellschaft»* — объединение литературных друзей Гете в Веймаре, Иене и Берлине, основанное в 1885 г.; печатный орган общества — основанный в 1880 г. ежегодник «Goethe-Jahrbuch».

[147] *«Кольцо нибелунга»* (1852—1874) — тетралогия Р. Вагнера, состоящая из музыкальных драм «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов».

[148] Упоминаются ключевые эпизоды «Кольца нибелунга»: бой героя Зигмунда с Хундингом (у Белого ошибочно — Гунтер), врагом рода Вельзунгов («Валькирия»), ковка меча Нотунга Зигфридом, сыном Зигмунда,— оружия, которым он убивает великана Фафнера, освобождение Зигфридом Брунгильды, спящей на вершине скалы за огненной стеной («Зигфрид»), убийство Хагеном Зигфрида, гибель в пламени светлых чертогов Валгаллы и всех пребывающих в ней богов и героев («Гибель богов»).

[149] Свое критическое отношение к творчеству Ф. Листа, в котором он видел чуждые немецкой музыке черты — мефистофелевское начало, самоценную виртуозность,— Метнер сформулировал в статье «Лист» (Труды и дни, 1912, № 1).

[150] Вспоминая о марте 1901 г., Белый отмечает: «Увлечение Никишем; встреча и первый разговор с Э. К. Метнером на репетиции Никиша, определивший будущую дружбу» (*Ракурс к дневнику*, л. 14). Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г. о Белом: «В первый раз я виделся с ним на заседании Психологического общества в память Вл. Соловьева. Это было мимолетно. Нынешнею весною Алеша (А. С. Петровский.— *Ред.*) затащил его ко мне, после того как узнал, что мы

быстро сошлись на репетиции концерта Никиша, затем вышла в свет книжка А. Белого «Симфония», которую я начал читать, не зная, что она принадлежит перу Бугаева, но среди чтения догадался, кто автор. Я ответил на визит, и мы сблизились еще больше» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 50 об.— 51).

[151] Симфония № 6 (C-dur, 1818) Ф. Шуберта.

[152] Оценку «Симфонии (2-й, драматической)» Метнер дал в статье «Симфонии Андрея Белого» (Приднепровский край, 1903, № 2023, 2024, 15 и 16 декабря; подпись: Э.).

[153] А. А. Тургенева; Белый сблизился с нею в 1910 г.

[154] *Королевна* — образ из «Северной симфонии (1-й, героической)» (1900) Белого. *Клингзор* — колдун в драме-мистерии Р. Вагнера «Парсифаль» (1877).

[155] *«Сказка»* — женский образ в «Симфонии (2-й, драматической)»; прототипом его была М. К. Морозова.

[156] *Вельфы* — немецкий княжеский род, в VIII — IX вв. имевший обширные владения в Швабии и Бургундии, в XII в. получивший герцогства Баварию и Саксонию. *Гвельфы* — политическая партия в Италии (XII—XV вв.), получившая название от Вельфов, герцогов Баварии и Саксонии, соперников германской династии Гогенштауфенов, объединяла противников Священной Римской империи. Им противостояли *гибеллины* — сторонники империи.

[157] Под этим псевдонимом Э. К. Метнер стал выступать как музыкальный критик в 1906 г. в журнале «Золотое руно». Ср. дневниковую запись Метнера от 1 февраля 1906 г.: «В № 1 «Золотого руна» от 1906 года помещена моя заметка об операх Рахманинова за подписью Вольфинг. Этот псевдоним мне дал Борис Николаевич» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 199).

[158] Неточность: первый печатный отзыв Э. К. Метнера о творчестве Белого появился лишь в июне 1903 г.— статья об альманахе «Северные цветы», в которой был охарактеризован «Пришедший. Отрывок из ненаписанной мистерии» Белого (Приднепровский край, 1903, № 1841, 10 июня; подпись: Э.); за ней последовала статья «Литература «новых» — отклик на выход в свет «Альманаха книгоиздательства «Гриф» (М., 1903),— в которой Белый выделялся как «несомненно даровитейший и оригинальнейший из «новых» (Приднепровский край, 1903, № 1864, 3 июля; подпись: Э.). См. также примеч. 152.

[159] Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г.: «Бугаев — высокий тонкий 21-летний студент. Голова его построена очень хорошо; она свидетельствует о способности этого колоссального ума со временем уравновеситься, стать «белым»; голова эта, в которой затылок и лоб поражают взятые в отдельности, но гармонируют вместе, есть голова оптимиста, жиз-

нерадостного олимпийца, поэта и философа в одно время. Мистицизм просвечивается лишь в глазах, в которых есть что-то волчье, хаотичное и нестерпимо сильное. Фигура — стройная, хотя недостаточно гибкая; движения порывисты и не лишены дикой грации. Бугаев — это для меня пробный камень русского человека. Если из него не выйдет чего-нибудь очень значительного, чего-нибудь более крупных размеров, нежели Влад. Соловьев, то я ставлю крест способностям русского человека. Так сильно, как он, никто из русских, кроме Пушкина и Лермонтова, не начинал. Его «Симфония» — гениальна» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 55—55 об.).

[160] Мать Э. К. Метнера Александра Карловна Метнер (1843—1918) была сестрой органиста и пианиста, преподавателя Московской консерватории Федора Карловича Гедике (1840—1916), отца композитора и пианиста А. Ф. Гедике.

[161] Ср. воспоминания Белого о сентябре — октябре 1902 г.: «Все почти вечера провожу я у Метнеров в непрерывных беседах с Эмилием Метнером; эти дни — новое откровение музыки для меня; Метнер углубляет мое отношение к музыке, иллюстрирует свои мысли при помощи брата своего, пьяниста (впоследствии известного композитора), исполняющего ряд сонат Бетховена и Шумана 〈...〉 Метнер впервые колеблет во мне шопенгауэровский подход к Канту и сосредоточивает мое внимание на Канте; он впервые мне приоткрывает подлинного Гете; так, своим подходом к Бетховену, к Гете и к Канту я обязан Метнеру 〈...〉» (*Материал к биографии*, л. 31 об.).

[162] Видимо, «Экспромты на тему Клары Вик. Тема и 10 вариаций» Р. Шумана (ор. 5, 1833).

[163] Имеется в виду образ монашенки из «Симфонии (2-й, драматической)» и эпизод встречи ее с «молодой красавицей с грустными, синими очами» (*Собрание эпических поэм*, с. 228—230).

[164] Речь идет о сонате для фортепиано f-moll Н. К. Метнера (ор. 5, 1902—1903); первое исполнение ее состоялось 2 ноября 1904 г. в Малом зале Российского благородного собрания (см. комментарии З. А. Апетян в кн.: Метнер Н. К. Письма. М., 1973, с. 41—45). Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г.: «Коля 〈...〉 сочинил за это время, между прочим, сонату, в которой вторая тема первой части является основным мотивом «Симфонии» Бугаева. Это есть радость страшная и уютная в одно время, общая и интимная... Когда в позапрошлый раз Коля начал играть при Бугаеве эту сонату, я, все лето промучавшийся аналогией между обеими темами, наблюдал за Бугаевым... После первого появления этой темы он задумался, но, когда ей пришел черед явиться снова, он вскочил

и взглянул на меня с таким ужасом, как будто он увидел двойника... Удивлению и восхищению его не было конца... Бугаев говорил, что ему многое выяснилось в «Симфонии» благодаря этому мотиву...» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 52 об.— 53).

[165] Заключительный хор на слова оды «К радости» Ф. Шиллера из 9-й Симфонии (d-moll) Бетховена (1817, 1822—1823).

[166] Имеется в виду основной труд О. Шпенглера — «Закат Европы» (Der Untergang des Abendlandes, Bd. 1—2, 1921—1923; русский перевод — 1923).

[167] «Восемь картин настроений» («Acht Stimmungsbilder») Н. К. Метнера для фортепиано (ор. 1, № 1—8).

[168] Неточная цитата из стихотворения «Э. К. Метнеру (Письмо)» (январь 1909 г.), входящего в книгу Белого «Урна» (*Стихотворения и поэмы*, с. 332).

[169] Неточная цитата из «Симфонии (2-й, драматической)» (*Собрание эпических поэм*, с. 210). В позднейшей дневниковой записи (1906) Э. К. Метнер вспоминает, что «лейтмотивом лета и осени 1902 года была вторая тема первой сонаты Коли, которая (тема) сродни «невозможному, вечному, нежному, милому, старому и новому во все времена» второй симфонии Андрея Белого» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 187).

[170] Заключительные строки стихотворения Белого «Все тот же раскинулся свод...» (апрель 1902 г.) — первого в цикле «Три стихотворения» в книге «Золото в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 81).

[171] Э. К. Метнер закончил юридический факультет Московского университета в 1899 г., затем занимался адвокатурой.

[172] В конце 1902 г. Метнер уехал из Москвы на постоянное жительство в Нижний Новгород, где получил должность цензора. 1 августа 1902 г. он сообщал А. С. Петровскому: «Назначен я в Нижний Новгород отдельным (т. е. единственным) цензором» (ГБЛ, ф. 167, карт. 16, ед. хр. 6). Уволился с этой должности Метнер в марте 1906 г.; 1 февраля 1906 г.: «Те два-три месяца, которые я здесь пробуду, суть не иное что, как длинная *coda* трехлетней симфонии моего цензорства. Исключительно материальные соображения вынуждают меня не швырять отставки в лицо одному из самых гнусных правительств, которое когда-либо стояло во главе народов» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 181 *об.*— 182).

[173] Перечисляя наиболее значимые события своей жизни в первой половине 1900-х годов, Метнер указывает «прочтение полного собрания сочинений Ницше» (там же, л. 182 об.). Записи и заметки о Ницше содержатся в дневнике Метнера

1901—1905 гг. (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 10). См. также статью Метнера «Романтизм и Ницше» (Приднепровский край, 1904, № 2310, 12 октября; подпись: Э.).

[174] См.: Белый Андрей. Нечто о мистике.— Труды и дни, 1912, № 2, с. 46—52.

[175] Ср. запись Метнера от 2 января 1903 г.: «...я был обвенчан в 11 ч. утра 23 октября 1902 года. Шаферами были Борис Бугаев и Алексей Петровский, Коля и оба брата Анюты ⟨...⟩ Бугаев и Петровский были восхищеяы Анютою и всячески старались...» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 57—57 об.).

[176] Автограф 2-го стихотворения («Янтарный луч озолотил пещеры...») из связного цикла «Старинный друг» был послан Белым Метнеру в письме от 11 декабря 1902 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 5). «Старинный друг» опубликован с посвящением Э. К. Метнеру (Белый Андрей. Золото в лазури. М., 1904, с. 138—144).

[177] Финал «Старинного друга» — прямо противоположный: «праздник воскресенья» и восстание лирического героя и «старинного друга» из гробов.

[178] В первоначальном варианте текста далее следовало: «Метнер стал — *«враг»; «рог»*, в котором старинный мой друг подавал вино жизни, стал *рогом* от рока; иные из наших *«друзей»* гнусно вырыли пропасть из мороков лживых; сквозь все поднимаю я рог, рог с вином, поднесенным мне некогда: пью за старинного друга!

. . . .

О Метнере мне придется еще говорить, в томе следующем; с 907 года начинается перманентная наша совместная культурная деятельность, обнимающая пятилетие» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 143).

[179] Окончательный разрыв отношений между Белым и Метнером произошел в марте 1915 г. в Дорнахе, в ходе разговора о делах издательства «Мусагет». Белый вспоминает: «Я сказал, что в инциденте со мной *«Мусагет»* был неправ; он — вспылил; тогда Ася спокойно повторила мои слова: «Да, все-таки *«Мусагет»* был неправ». В ответ на это со стороны Метнера последовал взрыв дикого крика; он выскочил из нашего дома, не простившись ⟨...⟩ Несколько дней я ждал, что он пришлет извинительное письмо Асе; он его не прислал; тогда я послал ему короткую, но спокойную записку, в которой просил его не бывать у нас и не адресоваться ко мне письмами, пока он находится в состоянии, не могущем нас гарантировать от подобных вспышек. Так оборвались навсегда мои отношения с Метнером, бывшие некогда столь близкими (с 1902 года до 1911-го)» (*Материал к биографии,* л. 113 об.— 114).

[180] В записях о ноябре 1901 г. Белый отмечает: «Знакомлюсь с Рачинским» (*Ракурс к дневнику*, л. 12); «Знакомство с Рачинским (домами)» он относит к октябрю 1902 г. (там же, л. 15 об.).

[181] См. письмо Л. Н. Толстого к С. А. Рачинскому от 7 августа 1862 г. (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 60. М., 1949, с. 433—435).

[182] Г. А. Рачинский жил у Воскресенских ворот, в доме губернского правления (между Воскресенской и Красной площадью).

[183] Татьяна Анатольевна Рачинская была дочерью Анатолия Ивановича Мамонтова, владельца типографии и книжного магазина в Москве, брата С. И. Мамонтова. Белый посвятил ей стихотворение «Поповна и семинарист» в журнальной публикации (Золотое руно, 1906, № 4, с. 33).

[184] См.: Рачинский Г. А. Трагедия Ницше. Опыт психологии личности. Ч. 1. Дионис и Аполлон.— Вопросы философии и психологии, 1900, кн. 5(55), с. 963—1010.

[185] Подразумевается византийский богослов и поэт Иоанн Дамаскин (VII — VIII вв.).

[186] Белый вспоминает об осени 1902 г.: «...происходит мое знакомство и начавшееся сближение с домом Рачинских, где я заражаюсь культом Олениной-д'Альгейм; я знакомлюсь у Рачинских с певицей и высказываю свои воззрения мужу певицы, барону д'Альгейму» (*Материал к биографии*, л. 31 об.).

[187] Эта рифмовка дважды встречается в стихотворении Белого «Преданье» (ноябрь 1903 г.), вошедшем в «Золото в лазури» (см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 125—126).

[188] *«Трансцендентальная аналитика»* — раздел в «Критике чистого разума» (1781) И. Канта.

[189] Цитата из песни третьей поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828—1829).

[190] Г. А. Рачинский состоял председателем Московского религиозно-философского общества.

[191] Подразумеваются строки из стихотворения Белого «На горах» (1903):

> В небеса запустил
> ананасом.
> (*Стихотворения и поэмы*, с. 116.)

[192] В. А. Серов с ранних лет был близок к семье Мамонтовых, к которой принадлежала и его сверстница Т. А. Рачинская. В. С. Мамонтов отмечает: «...Серов, попавший к нам в семью почти ребенком, всю свою жизнь был для нас как родной» (Валентин Се-

ров в воспоминаниях, дневниках и переписке современников, т. 1. Л., 1971, с. 143).

[193] Eh bien! (фр.) — ну! ну вот! ну хорошо! и т. п.

[194] В доме Николая Ивановича Рахманова на углу Арбата и Денежного переулка (Арбат, 65) Белый проживал до осени 1906 г.

[195] Ср.: «Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело» (Л. Н. Толстой, «Война и мир», т. 3, ч. 3, гл. XXXIII).

[196] Ресторан «Прага» на углу Арбата и Арбатской площади.

[197] В тексте обыгрываются первые строки «Псалма» М. М. Хераскова («Коль славен наш Господь в Сионе»), положенного на музыку Д. С. Бортнянским.

[198] Описывая «сеченье Арбата с Сенной и Смоленским», Белый указывает: «...прямо с угла: Савостьянов, известнейший пекарь; и далее: чайный магазин *«Зензиновых Сыновей»;* потом — слева: большущая лавка для красных товаров с огромною вывескою во все окна; по черному — золотом букв: *«Староносов»*. Владелец ⟨...⟩ мне ведом с младенчества: городовой Староносов ⟨...⟩» (Белый Андрей. Арбат.— Россия, 1924, № 1(10), с. 41). Адрес дома В. П. Староносова — Арбат, 54.

[199] Аптека «Смоленская», принадлежавшая Нисену Марковичу Иогихесу (Смоленская пл., дом Щенкова).

[200] Мясная лавка Павла Петровича Мозгина (Смоленская пл., дом Щенкова).

[201] На Арбате были две керосиновых лавки братьев Замятиных — в доме Голикова и в доме Лепешкина.

[202] Имеется в виду Владимир Михайлович Зензинов (1880—1953), видный деятель партии социалистов-революционеров; см. его книги «Из жизни революционера» (Париж, 1919), «Пережитое» (Нью-Йорк, 1953).

[203] Дом братьев Сергея Андреевича и Михаила Андреевича (ротмистра) Комаровых — Арбат, 52—54.

[204] Овощная лавка Зиновия Кузьмича Горшкова — Арбат, 67 (дом церкви св. Троицы). В очерке «Арбат» Белый пишет: «Рядом с церковью упрочнился — Горшков: зеленная и овощная торговля: в одноэтажном домишке, соседнем с приходскою церковью,— двумя окошками с Денежной; дверью, Горшковской,— в Арбат» (Россия, 1924, № 1(10), с. 45).

[205] Дом *Берга* — Денежный переулок, 5. В этом доме позднее размещалось германское посольство; 6 июля 1918 г. в нем, по постановлению ЦК левых эсеров, был убит германский посланник

В. Мирбах эсером Я. Г. Блюмкиным; убийство преследовало целью срыв Брестского мирного договора.

[206] «Знаменитый» В. Бартельс имел магазины на Кузнецком мосту и у Никитских ворот в доме Ранцевой.

[207] Мясная лавка Вас. Вас. Когтева и мучная торговля Ник. Дм. Шафоростова.

[208] *Belle femme* (фр.) — женщина-красавица (обычно о рослой и обладающей пышными формами).

[209] Ср. строки из поэмы Белого «Первое свидание» (1921):

> Вот туалет Минангуа:
> Одни сплошные валенсьены;
> И — тонкий торс; и юбка «клошь» ⟨...⟩;

авторское примечание к ним: «Модная московская портниха 90-х годов» (*Стихотворения и поэмы*, с. 427).

[210] Парикмахерская Николая Алексеевича Пашкова — Арбат, дом Комарова.

[211] Сапожник Филипп Михайлович Ремизов — в Троилинском переулке в доме Савостьянова (между Арбатом и Б. Толстовским пер.).

[212] В первоначальном варианте текста далее следовало: «сапожника Ремизова; в девятнадцатом прикончил он быть; моральная жизнь сплетена с состоянием подметок, подошв, каблуков; обувь прочная,— ты пишешь книгу; дырявая,— без головы обиваешь пороги за ордером обувным» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 169).

[213] Восьмиэтажный доходный дом на Арбате, состоящий из трех корпусов; современный адрес — Арбат, 51.

[214] Сапожное заведение М. Т. Гринблат на Арбате в доме И. В. Платонова (д. 7).

[215] Магазин «Надежда» А. И. Потуловой на Арбате в доме Серебрякова (д. 53).

[216] Магазин гастрономических товаров «Мора, Блинов и Барсов» на Воздвиженке в доме Арманд.

[217] Это двухчастное стихотворение (первая часть — апрель 1903 г., вторая часть — октябрь 1903 г.) вошло в первый раздел книги Белого «Золото в лазури» (см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 73—75). Ср. письмо Белого к Э. К. Метнеру от 26 марта 1903 г.: «...я и один молодой человек (Л. Л. Кобылинский) собираемся учредить некоторое негласное общество (союз) во имя Ницше — союз *Аргонавтов:* цель экзотерическая — изучение литературы, посвящ⟨енной⟩ Шопенгауэру и Ницше, а также их самих; цель эзотерическая — путешествие сквозь Ницше в надежде отыскать *золотое руно* ⟨...⟩ Вот кого недостает для этого — Вас, дорогой Эмилий Карлович ⟨...⟩ для других это уплывание за черту гори-

зонта, которое я хочу предпринять, будет казаться гибелью, но пусть знают и то, что в то время, когда парус утонет за горизонтом для взора *береговых* жителей, он все *еще* продолжает бороться с волнами, плывя... к неведомому Богу... Ведь казался же Ницше безумцем, между тем он был только уплывшим...» (ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 12).

218 Ошибка: весной 1902 г. Метнер жил в Москве. Вероятно, Белый подразумевает весну 1903 или 1904 г., когда Метнер жил в Нижнем Новгороде.

219 О контактах Блока с «аргонавтами» во время пребывания в Москве в январе 1904 г. см.: *Эпопея,* I, с. 218—228.

220 «Логос. Международный ежегодник по философии культуры. Русское издание» выходил в Москве в издательстве «Мусагет» в 1910—1914 гг. под редакцией С. И. Гессена, Э. К. Метнера и Ф. А. Степпуна (с 1911 г. редакторы — они же и Б. В. Яковенко).

221 С. А. Соколов (Кречетов) — юрист по профессии, в начале 1900-х годов занимавшийся адвокатурой, с 1904 г.— гласный Московского губернского земства — был инициатором издания и (в первой половине 1906 г.) заведующим литературно-критическим отделом московского символистского журнала «Золотое руно» (официальный редактор-издатель — Н. П. Рябушинский).

222 В статье «Осип Дымов» К. И. Чуковский характеризует дарование этого писателя, используя цитату из Салтыкова-Щедрина: «Нынче даже в литературе пошли на Руси в ход экипажи извощичьи: «ваше сиятельство, прокачу!» И вот вы мчитесь во все лопатки, и нигде вас не тряхнет, ничем не потревожит, не шелохнет. Молодец-лихач, ни обо что не зацепится, держит в руках вожжи бодро и самоуверенно и примчит к вожделенной цели, так, что вы и не заметите. Мысли у него коротенькие, фразы коротенькие; даже главы имеют вид куплетов. Так и кажется, что он спешит поскорее сделать конец, потому что его ждет другой седок, которого тоже нужно на славу прокатить. 〈...〉 Писатели разделяются на талантливых и бездарных; Осип Дымов писатель талантливый,— а остальные его качества нужно отнести на счет его «седока» и «заказчика» — современного читателя» (Чуковский К. От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики. Изд. 2-е, доп. СПб., 1908, с. 58).

223 *Nomina sunt odiosa* (лат.) — имена ненавистны (употребляется в значении: об именах лучше умалчивать).

224 *Поприщин* — герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1835).

225 Имеется в виду книга М. О. Гершензона «Жизнь В. С. Печерина» (М., 1910). Упоминание о В. С. Печерине, перешедшем

в католичество и удалившемся в 1840 г. в монастырь ордена редемптористов, по всей вероятности, заключает в себе намек на судьбы Эллиса, перешедшего в католичество в 1910-е годы, и С. М. Соловьева, ставшего католиком в начале 1920-х годов.

[226] Первые публикации стихотворений А. Блока появились весной 1903 г., однако в кругу Белого и С. М. Соловьева блоковские тексты получили распространение в автографах и списках с осени 1901 г. См.: Котрелев Н. В. Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока.— В кн.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 222—248.

[227] Воздухоплаватель-инженер Отто Лилиенталь разбился при полете на построенном им аэроплане в 1896 г.

[228] Неточно цитируется заключительная строфа стихотворения В. Я. Брюсова «Лестница» (1902) из его книги «Urbi et Orbi» (см.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 270).

[229] Искаженно цитируется заключительная строфа стихотворения Брюсова «Одиночество» (1903) из его книги «Urbi et Orbi»; в оригинале:

И путник, посредине луга,
Кругом бросает тщетный взор:
Мы вечно, вечно в центре круга,
И вечно замкнут кругозор!

(Там же, с. 319.)

[230] Первая строфа стихотворения Ф. Сологуба «В поле не видно ни зги...» (1897). См.: Сологуб Ф. Стихотворения (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1975, с. 186.

[231] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Сторожим у входа в терем...» из цикла «Молитвы» (март — апрель 1904 г.; см.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М.— Л., 1960, с. 316), навеянного впечатлениями Блока от пребывания в Москве и общения с Белым и «аргонавтами» (эпиграф к циклу — из Белого: «Наш Арго!»). Ср.: «...Блок — откликается: *«Вместе свяжем руки». «Вместе связать»* — связать в Символе: кругом символизаций, опыта: т. е. связаться религиозно» (*Почему я стал символистом,* с. 39).

[232] Вероятно, Белый подразумевает свой мемуарно-теоретический очерк «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития», законченный 7 апреля 1928 г.

[233] Над романом «Маски» Белый работал с сентября 1928 г. до июня 1930 г.; работа была прервана в феврале — апреле 1929 г., когда Белый писал «На рубеже двух столетий».

[234] По всей вероятности, Белый подразумевает статью

«О «чистом символизме», теургизме и нигилизме», подписанную псевдонимом «Эмпирик»; в ней говорится: «...несмотря на все свои паломничества в Марбург, на тщательную ассимиляцию неокантианской теории познания, Андрей Белый не сделал ни шагу вперед. И зачем А. Белый ссылается на свои статьи: из этого хаотического агрегата гетерономных взглядов и туманных лирических настроений ни в коем случае нельзя выработать мировоззрения» (Золотое руно, 1908, № 5, с. 77).

[235] Ср.: «...я вперен в анализ антиномий («Я» и «мы», наука и религия, Ницше и Соловьев, богоборчество и *Апокалипсис*, гибель культуры, преображение жизни, представление и воля, Аполлон и Дионис, пространство и время, зодчество и музыка, сознательное и бессознательное, витализм и механицизм, Декарт и Ньютон, теория эфира и теория тяготения и т. д.); в поисках пересечения я старательно, так сказать, сплетаю из противоречий венок; и он уже достаточно колюч для меня: венок из терний; выход не в отрезе от сложности,— в гармонизации; но прежде всего — установка порядка вопросов и граней вопросов; синтез не в этом соположении, а в конкретном пересечении, не в *«сюнтитэми»* (сополагаю), в *«сюмбалло»* (соединяю)» *(Почему я стал символистом,* с. 31).

ГЛАВА ВТОРАЯ. АВТОРСТВО

[1] Печатание книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» началось в № 1—2 «Мира искусства» за 1900 г. и продолжалось в 1901 г. Первый том книги вышел отдельным изданием в марте 1901 г., второй — в мае 1902 г.

[2] В. С. Соловьев скончался 31 июля 1900 г. В 1901 г. под редакцией М. С. Соловьева вышло в свет 4-е издание его «Стихотворений» и начата подготовка многотомного собрания сочинений, предпринятого издательством «Общественная польза». В распоряжении М. С. Соловьева находился весь архив покойного философа.

[3] Ср. воспоминания Белого об августе 1901 г.: «...я узнаю о появлении на горизонте Соловьевых Анны Николаевны Шмидт, автора III-го завета, смущающей М. С. Соловьева своими признаниями, что Вл. Серг. Соловьев — воплощение Христа, а она — Души Мира и что мистические стихотворения Соловьева к Ней — обращены к А. Н. Шмидт; все это меня укрепляет в мысли о необходимости нам иметь строгий путь под руководством духовно опытного лица» (*Материал к биографии,* л. 23 об.— 24).

[4] В автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый сообщает: «В 1897 году я написал

2-актную драму (названия не помню), навеянную Ибсеном, Метерлинком и *«Ганнеле»* Гауптмана; *«драма»* ужасно понравилась С. М. Соловьеву, который, кажется, помнит ее содержание лучше, чем я ⟨...⟩ Из всего драматического бреда помню лишь одну фразу бредящего Колосова, ибо она — шедевр: *«Преображенский стал Вознесенским и Спасским!»* Под этой фразой, помню, подпись С. М. Соловьева синим карандашом: *«Превосходно!»* (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).

[5] Имеется в виду второй сборник стихотворений М. Метерлинка «Двенадцать песен» («Douze Chansons», 1896).

[6] В автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. Белый отмечает: *«Симфонии»* родились во мне *«космическими»* образами, без фабулы; и из этой *«бесфабульности»* кристаллизовалась программа *«сценок»* ⟨...⟩ бесфабульности соответствовали многообразные мои музыкальные импровизации на рояле (с 1898 года до 1902 года), выливавшиеся в *темы;* и к музыкальным темам писались образы ⟨...⟩» (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18). Ср. воспоминания Белого о январе — феврале 1899 г.: «Под влиянием кончины Поливанова я пишу нечто очень смутное, это впоследствии легло в основу формы *«Симфоний»,* нечто космическое и одновременно симфоническое» (*Материал к биографии,* л. 11 об.). Черновой текст «предсимфонии» (1899) сохранился, опубликован в кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1980. Л., 1981, с. 126—137.

[7] Над «Северной симфонией (1-й, героической)» Белый работал (с перерывами) с января по декабрь 1900 г.

[8] В отзыве на книгу Белого «Золото в лазури» (М., 1904), впервые опубликованном в «Весах» (1904, № 4, с. 60—62), Брюсов писал: «Язык Белого — яркая, но случайная амальгама ⟨...⟩ это — златотканая царская порфира в безобразных заплатах» (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6. М., 1975, с. 301).

[9] Неточно цитируется «Вместо предисловия» к «Симфонии (2-й, драматической)» (*Собрание эпических поэм,* с. 125).

[10] 4 мая 1904 г. Блок сообщал матери: «Анна Ник. Шмидт, несмотря на то что я ей до сих пор не ответил, опять написала «ради бога, устройте нашу встречу» и пр. ⟨...⟩ Анна Никол. считает себя воплощением [Софии] Души Мира, тоскующей о Боге. К счастью, она знает уже от Сережи, что мои стихи обращены *не* к ней» (Письма Александра Блока к родным, ⟨т. 1⟩. Л., 1927, с. 120). Упомянутое письмо в архиве Блока не сохранилось, там имеется лишь письмо А. Н. Шмидт к Блоку от 12 марта 1904 г. (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 466).

[11] См.: «На рубеже двух столетий», Введение, примеч. 18.

[12] Видимо, подразумевается статья Блока «Ирония» (1908). См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.— Л., 1962, с. 345—349.

[13] Имеется в виду подготовленное С. Н. Булгаковым издание: «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт» (⟨М.⟩, 1916). Основу издания составляет мистический трактат «Третий Завет»; в книге помещено также «Замечание по поводу одной теософской статьи», представляющее собой отклик Шмидт на статью Белого «О теургии».

[14] В мотиве влюбленности «демократа» в «Сказку» отразилось чувство Белого к М. К. Морозовой. Белый вспоминает о марте 1901 г.: «...начинает все покрывать лейтмотив моей мистической любви к М. К. М.» (*Материал к биографии*, л. 17 об.).

[15] Ср.: «...на Святой неделе я спешно, в 2—3 дня, набрасываю 1-ую часть «Симфонии»; и прочитываю ее Соловьевым, за чайным столом; М. С. Соловьев неожиданно для меня говорит: «Вот это я понимаю: Чехов и вы — современная литература; все остальное пустяки» (там же, л. 18 об.).

[16] В 1-й части «Симфонии (2-й, драматической)» «старичок, бритый и чистый, со звездою на груди, стоял в дверях и умильно улыбался, глядя на поющую молодежь, шепча еле слышно: «Да, да, конечно» (*Собрание эпических поэм*, с. 171).

[17] *Тетя* — младшая сестра матери Белого, Екатерина Дмитриевна Егорова. Ср.: «Черная гостья села боком к огромному зеркалу. Она была родственницей и завела речь о печальных обстоятельствах» (там же, с. 150).

[18] Ср.: «В одну из ⟨...⟩ майских ночей ⟨...⟩ я почувствовал сильное вдохновение: я выставил рабочий столик на балкон, поставил свечку и всю ночь напролет писал: была написана почти вся 2-ая часть 2-ой «Симфонии» в эту ночь; и эта ночь отразилась в этой части; все то, что разливалось для меня в заревом воздухе ночи, то вылилось в образах 2-ой «Симфонии»; я чувствовал определенно, как пером моим водит чья-то рука; никогда я не писал так безотчетно, как в эту ночь ⟨...⟩»; «Написав ночью $^2/_3$ второй части *«Симфонии»*, я с утра принялся за продолжение; характерно: эта часть написана в ночь с Троицына дня на Духов день; в Духов день она была закончена к 5 часам дня» (*Материал к биографии*, л. 19 об., 20).

[19] См. стихотворения В. Соловьева «Белые колокольчики» (1899) и «Вновь белые колокольчики» (1900) (Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1974, с. 135, 137).

[20] Ср. запись об июне 1901 г.: «В неделю пишу 3-ью часть 2-ой *«Симфонии»* в необычайном подъеме; перманентная меди-

тация над «зорями»; откровения о *«Ней»* ⟨...⟩» (*Ракурс к дневнику,* л. 10 об.).

[21] Цитата из стихотворения «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», датированного 4 июня 1901 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 94).

[22] Ср.: «Мои мистические экстазы, написанье *«Симфонии»* — все было прервано тревожным известием: папа, вернувшийся в Москву из командировки, упал с конки и сломал себе руку. Мы с мамой тотчас же отправились в Москву, где нашли папу относительно веселым и бодрым ⟨...⟩» (*Материал к биографии,* л. 21 об.).

[23] 11 августа 1901 г. С. М. Соловьев писал Белому из Дедова: «Теперь у меня гостит мой родственник, студент Петербургского университета — Блок, стихи которого я вам читал. Он теперь весь ушел в стихотворения моего дяди и пишет сам религиозно-мистические стихотворенья, которые мне очень нравятся. Мы с ним ведем такого рода разговоры: «имеет ли стихотворение В. С. Соловьева «Вся в лазури сегодня явилась» непосредственную связь с «Тремя свиданиями»?» — «Имеет» и т. д. Я нахожусь, следовательно, в своей природной стихии» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3. М., 1982, с. 173).

[24] См.: «На рубеже двух столетий», гл. 5, примеч. 84. З. Н. Гиппиус в воспоминаниях приводит фрагмент из письма к ней О. М. Соловьевой (видимо, относящегося к осени 1901 г.): «...а Вы ничего не знаете о новоявленном, Вашем же, петербургском поэте? Это юный студент; нигде, конечно, не печатался. Но, может быть, Вы с ним случайно знакомы? Его фамилия Блок. От его стихов Боря (Бугаев) в таком восторге, что буквально катается по полу. Я... право, не знаю, что сказать. Переписываю Вам несколько» (Гиппиус З. Н. Живые лица, вып. 1. Прага, 1925, с. 9—10).

[25] Искаженно цитируется первая строфа поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» (1898); в оригинале 3-й стих: «Подруга вечная, тебя не назову я» (Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 125).

[26] Неточная цитата из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» (там же, с. 125).

[27] 7 писем Вл. Соловьева к А. Н. Шмидт, отправленных с 8 марта по 22 июня 1900 г., опубликованы в кн. «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт» (с. 281—288). А. Н. Шмидт послала Вл. Соловьеву 26 писем и 5 телеграмм.

[28] Личное знакомство Шмидт с Вл. Соловьевым состоялось в конце апреля 1900 г. во Владимире.

[29] Ср. запись Белого о сентябре 1901 г.: «...я посвящен М. С. Соловьевым в историю со Шмидт; читаю письма А. Н. Шмидт на тему *«3-ий завет»;* в конце месяца — встреча со Шмидт; и ответственный разговор с нею» (*Ракурс к дневнику,* л. 11).

[30] От фр. terre-à-terre — пошлый, низменный, банальный.

[31] М. Горький виделся с А. Н. Шмидт в 1896—1901 гг.— в пору своей работы в газете «Нижегородский листок», в которой Шмидт сотрудничала с 1894 по 1905 г. (вела земскую хронику, писала отчеты о концертах, спектаклях и т. п.); им написан мемуарный очерк «А. Н. Шмит» (1924). См.: Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25-ти томах, т. 17. М., 1973, с. 45—57, 573.

[32] В архиве Белого сохранились два письма А. Н. Шмидт к нему (ГБЛ, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 37).

[33] С. М. Соловьев вспоминает: «Я лично хорошо знал А. Н. Шмидт. Она производила впечатление доброй, глубоко несчастной и помешанной женщины, отталкивала в ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее «Третий Завет» стар, как все произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы. Интересно в писаниях Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая ни гностиков, ни каббаллы, ни даже Соловьева, с которым ознакомилась позднее» (Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977, с. 400—401).

[34] Это письмо Брюсова к М. С. Соловьеву, по всей вероятности, не сохранилось.

[35] См.: «На рубеже двух столетий», гл. 4, примеч. 152. См. также: Хмельницкая Т. Ю. Литературное рождение Андрея Белого.— В кн.: А. Блок и его окружение. Блоковский сборник, VI (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 680). Тарту, 1985, с. 66—84.

[36] 1-ю часть третьей «симфонии» «Возврат» Белый написал в ноябре 1901 г., закончил «симфонию» (в первоначальной редакции) в апреле 1902 г.

[37] В первоначальном варианте текста далее следовало: «поле и лошадь; лишь летом ее дорабатываю; тем же летом пишу я симфонию, номер четвертый; ее переделываю почти заново в 903 году; неувязка, двухслойность,— не нравится мне; и, разваливая вовсе текст своей третьей редакцией, чтобы в четвертый раз доразложить основной, легкий текст — уже после, в 906—907 годах; я работал над «монстром» моим, ставшим четырехслойным и четырехфабульным,— в Мюнхене, даже в Париже, без воздуха, поля, седла; получился сплошной парадокс, забракованный мной, или — «Кубок метелей», которого, как и читатели, не понимаю я; *«монстр»* показал мне: эпоха *«симфоний»* прошла;

«типы» — выявились; даже зажили в прошлом уже, потому что в лицо мне хлестало иным вовсе ветром; и кроме того: невозможно длить *«зори»*, когда душа — *«пепел»* (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 204).

[38] Образ из 2-й части («Сквозные лики») «Кубка метелей»:

«Взошел месяц.

Точно протянул он над ними сияющий одуванчик: все затянулось пушистыми перьями блеска» (Белый Андрей. Кубок метелей. Четвертая симфония. М., 1908, с. 89).

[39] Сокращенная цитата (там же, с. 98).

[40] Описанию симфонического концерта в Москве 1901 года посвящена 3-я глава поэмы Белого «Первое свидание» (1921). См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 425—436.

[41] В первоначальном варианте текста далее следовало: «Здесь и импульс к «Симфониям»; с 1898 года я здесь — меломан, принимающий лишь беспрограммную музыку, поклонник Ганслика: на музыкальных дрожжах поднималося литературное тесто мое; с 900 года мне звук слагал слово» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 207).

[42] Плутарх сообщает: «Деметрий Фалерский пишет, что Демосфен уже в старости сам рассказывал ему, какими упражнениями он старался исправить свои телесные изъяны и слабости. Неясный, шепелявый выговор он одолевал, вкладывая в рот камешки и так читая на память отрывки из поэтов ⟨...⟩» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. III. М., 1964, с. 146; перевод С. П. Маркиша). 3 августа 1933 г. Белый писал Б. В. Томашевскому: «Я давно осознал тему свою; эта тема — косноязычие, постоянно преодолеваемое искусственно себе сфабрикованным языком (мне всегда приходится как бы говорить вслух, набрав в рот камушки) ⟨...⟩» (Пушкинский Дом. Статьи. Документы. Библиография. Л., 1982, с. 226).

[43] Е. Унковская.

[44] Всеволод Сергеевич Соловьев, старший брат Вл. С. и М. С. Соловьевых, был автором многочисленных исторических романов, в основном затрагивавших события, быт и нравы русского общества XVIII — начала XIX в.

[45] Образы из стихотворений Блока «Болотные чертенятки», «Болотный попик», «Старушка и чертенята» (1905; см.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2. М.— Л., 1960, с. 10, 14—15, 20—21). «Чертяка» — цикл стихотворений С. М. Городецкого (1906), входящий в его книгу «Ярь» (см.: Городецкий С. Избранные произведения в 2-х томах, т. 1. М., 1987, с. 93—98).

[46] *«Тропинка»* — журнал для детского чтения, издававшийся в Петербурге в 1906—1912 гг. П. С. Соловьевой и Н. И. Манасеиной; в «Тропинке» публиковались произведения А. Блока, С. Го-

родецкого, А. Ремизова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба и других представителей «нового» искусства.

[47] Неточно цитируется стихотворение П. С. Соловьевой «На заре»; 2-я строка в оригинале: «На горах под синей мглой...» (Allegro. Стихотворения. СПб., 1899, с. 100).

[48] Эти слова восходят не собственно к О. Уайльду, а, по всей вероятности, к заключительным фразам статьи К. Д. Бальмонта «Поэзия Оскара Уайльда»: «Оскар Уайльд напоминает красивую и страшную орхидею. Можно говорить, что орхидея — ядовитый и чувственный цветок, но это цветок, он красив, он цветет, он радует. ⟨...⟩ Осень, зима, зимний сад, и внутри, в этом роскошном саду с температурой и с холодными окнами, пышный и странный и волнующий цветок. Орхидея Тигриная» (Бальмонт К. Д. Горные вершины. Сб. статей. М., 1904, с. 127).

[49] *Gris de perle* (фр.) — жемчужно-серый (цвет). *Gris en poussière* (фр.) — пыльно-серый.

[50] Первая строка стихотворения Вл. Соловьева (1892).

[51] Обыгрываются первые строки стихотворения М. Ю. Лермонтова (1840): «Есть речи — значенье//Темно иль ничтожно».

[52] Образ из 2-й части «Северной симфонии»: «Бледным утром хаживал среди туч великан Риза. Молчаливый Риза опрокидывал синие глыбы и шагал по колено в тучах» — и т. д. (*Собрание эпических поэм*, с. 48).

[53] Цитата из стихотворения «Болотные чертенятки» (1905) (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 10).

[54] Белый указывает и на другой прототип образа «горбатого дворецкого» — экономку в семье Бугаевых М. Ф. Вучетич, которая казалась ему «символом каких-то сомнительных сил» (*Материал к биографии*, л. 15).

[55] Ср.: «А. С. Петровский знакомится с В. А. Тернавцевым, видается с Новоселовым; и — рассказывает мне об исканиях новоселовского кружка» (*Материал к биографии*, л. 25 об.).

[56] Народоволец Н. А. Морозов находился в заключении в Шлиссельбургской крепости с 1884 по 1905 г., там он вел научную работу по различным отраслям знания. По освобождении выступил в 1906 г. с докладом «Апокалипсис с астрономической точки зрения», в 1907 г. выпустил в свет исследование «Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса» (III часть его называется: «Когда написано «Откровение в грозе и буре»? Определение времени по заключающимся в нем самом астрономическим указателям»).

[57] Л. А. Тихомиров с 1879 г. был членом Исполнительного комитета, Распорядительной комиссии и редакции «Народной воли», в 1882 г. эмигрировал, издавал вместе с П. Л. Лавровым «Вестник «Народной воли»; в 1888 г. отрекся от революционных

убеждений, напечатал брошюру «Почему я перестал быть революционером», испросил помилование и вернулся в Россию в 1889 г., стал монархистом. См.: Тихомиров Л. А. Воспоминания. Л., 1927.

[58] Свое знакомство с Л. А. Тихомировым Белый относит к октябрю 1901 г. (*Материал к биографии*, л. 25 об.).

[59] Редакция газеты «Московские ведомости» находилась на Страстном бульваре в доме университетской типографии.

[60] Книга Карла Августа Оберлена «Пророк Даниил и Апокалипсис св. Иоанна», изданная в переводе на русский язык А. Романова (Тула, 1882).

[61] Содержание Апокалипсиса составляет видение, открывшееся Иоанну Богослову на острове Патмос.

[62] Ср.: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя; ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение св. Иоанна Богослова, XIII, 18).

[63] Ириней Лионский в своем богословском труде «Пять книг обличения и опровержения лжеименного знания (кн. 5, гл. XXX) пишет об имени грядущего антихриста: «...из всех нами находимых имен *Титан* — если написать первый слог посредством двух греческих гласных Е и I (TEITAN) — наиболее вероятно, ибо оно содержит вышеозначенное число и состоит из шести букв, в каждом слоге по три буквы; оно древне и неупотребительно, потому что никто из наших царей не назывался Титаном, и ни один из идолов, открыто почитаемых у греков и варваров, не имеет такого имени; но у многих оно почитается за божественное, так что и солнце называется у нынешних властителей Титаном, и содержит некоторый намек на мщение и на мстителя, так как он (антихрист) представляет вид, будто бы мстит за угнетенных. Кроме того, оно имя древнее, правдоподобное, царское, а более идущее к тирану. Посему, если имя «Титан» имеет в свою пользу так много оснований, то очень много вероятности заключать, что грядущий (антихрист), может быть, будет называться Титаном» (Сочинения св. Иринея, епископа Лионского. Изданы в рус. переводе свящ. П. Преображенским. М., 1871, с. 664—665).

[64] См.: Откровение св. Иоанна Богослова, II, 3.

[65] Там же, II, 13.

[66] Там же, II, 25.

[67] Там же, II, 27.

[68] Там же, III, 12.

[69] Ср. запись Белого о ноябре 1901 г.: «...резко отталкиваюсь от Л. Тихомирова» (*Ракурс к дневнику*, л. 11 об.).

[70] Л. А. Тихомиров был редактором «Московских ведомостей» в 1909—1913 гг.

[71] А. А. Тургенева.

[72] Об отношениях Белого и Брюсова подробнее см. во вступительной статье к их переписке С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 327—348).

[73] Ср. общую характеристику поэта в мемуарном очерке Белого «Валерий Брюсов»: «...в эпоху 1897—1900 годов он для нас, подростков, стоял непрочитанным знаком какого-то неизвестного будущего, открывателем неисследованных континентов культуры; в эпоху 1901—1904 годов для нас, юношей, он стоял во главе экспедиции, организованной для покорения неизведанных стран; в эпоху 1905—1908 годов он воистину был повелителем им уже завоеванных стран; он стоял перед нами едва ль не пределом художественных достижений; и он нас учил» (Россия, 1925, № 4(13), с. 263).

[74] Такое же сравнение проводит М. А. Волошин в статье «Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов», опубликованной в «Весах» (1907, № 2): «Лоб Валерия Брюсова гладкий, стремительный — хищный лоб египетской кошки» (Волошин М. Лики творчества. Л., 1988, с. 427).

[75] Образы и мотивы стихотворений Брюсова «In hac lacrimarum valle» (1902) и «Прокаженный» (1894) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 307, 69).

[76] С 1898 г. Брюсов начал регулярно выступать в журнале П. И. Бартенева «Русский архив» с историко-литературными и библиографическими разысканиями, а с августа 1900 г. поступил на службу в редакцию журнала, став фактически секретарем «Русского архива». См. мемуарные очерки Брюсова о Бартеневе «Обломок старых поколений» (Брюсов В. За моим окном. М., 1913, с. 49—62) и «Памяти. Из воспоминаний за полвека» (Брюсов В. Избранные сочинения в 2-х томах, т. 2. М., 1955, с. 519—521), а также статью Н. С. Ашукина «Валерий Брюсов и Петр Иванович Бартенев. По неизданным материалам» (Ашукин Н. Литературная мозаика. М., [1931], с. 144—194).

[77] *Атлас*, или Атлант (греч. миф.) — титан, отличавшийся мощной силой; после поражения титанов в наказание поддерживал на крайнем западе небесный свод.

[78] Муни (С. В. Киссин) летом 1909 г. женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, младшей сестре Брюсова. См.: Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Bruxelles, 1939, с. 101.

[79] В первоначальном варианте текста далее следовало:

« — «Должны бы идти под бичи, как новаторы жизни, а стали новаторами только слов безответственных: что уж, Борис Николаевич,— примем предложенные тридцать сребреников!» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 234).

[80] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения Брюсова «Андрею Белому» (1903) из книги «Urbi et Orbi». См.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 353.

[81] С посвящением Андрею Белому стихотворение «Бальдеру Локи» (ноябрь 1904 г.) было опубликовано в альманахе «Северные цветы ассирийские» (М., 1905, с. 35—36); при повторной публикации стихотворения в книге Брюсова «Στέφανος. Венок» (М., 1906) посвящение было снято. См.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 388—389, 624.

[82] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Добивался дуэли со мной, спровоцировав даже предлог для дуэли; опять-таки: сам признавался мне в этом» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 235).

[83] Полный текст этого письма, отправленного в середине августа 1904 г., и комментарий к нему см. в кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 378—380.

[84] Подразумевается обосновывавшаяся Р. Гилем теория «научной поэзии», к которой Брюсов относился очень сочувственно; см. его статью «Научная поэзия», опубликованную в «Русской мысли» (1909, № 6; Брюсов В. Избранные сочинения в 2-х томах, т. 2, с. 193—209).

[85] Сокращенная и неточная цитата из стихотворения Брюсова «Папоротник» (1900) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 220).

[86] Далее приводятся сокращенные цитаты (с отдельными неточностями) из автобиографической повести Брюсова «Моя юность», в скобках указываются номера страниц по изданию: Брюсов В. Из моей жизни. [М.], 1927.

[87] Далее приводятся сокращенные цитаты (с отдельными неточностями) из дневниковых записей Брюсова от 11 декабря 1897 г. и 14, 17 и 27 июля 1898 г. по изданию: Брюсов В. Дневники. 1891—1910. [М.], 1927.

[88] Искаженно цитируется заключительная строфа стихотворения Брюсова «Сумасшедший» (1895) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 84).

[89] «Urbi et Orbi. Стихи 1900—1903 гг.» — четвертая книга стихов Брюсова (М., 1903).

[90] Цитируется (с неточностью) стихотворение Брюсова «Младшим» (1903) из книги «Urbi et Orbi», обращенное к «младшим» символистам — «теургам» (Белому, Блоку и др.).

В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Они — на дверях того *«храма»*, который воспел Блок в начале столетия; Брюсов же ждал, что из храма — *«черт»* вылезет; как ликовал он, когда «черт» таки вылез из гусеницы, или... Да-

мы; они «ее», значит,— не видели; *«болтов»* не стоило рвать!» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 240).

[91] Подразумевается стихотворение «In hac lacrimarum valle» (см. выше, примеч. 75).

[92] Имеется в виду рассказ «Теперь, когда я проснулся...», впервые опубликованный в альманахе «Северные цветы на 1902 год» (М., 1902, с. 61—69) и вошедший в книгу Брюсова «Земная ось. Рассказы и драматические сцены» (М., 1907).

[93] Подразумевается известнейший портрет Брюсова работы М. А. Врубеля (1906).

[94] В первоначальном варианте текста далее следовало: «унизить еще одного мастодонта; В. Брюсов, чарующий взглядом удавов,— больная игра перепуганного жизнью «Вали», равно не могущего видеть — своих бледных ног, своего монумента в *«кружке»;* и с болезнью, все тою же, строящего *«монумент»*, чтоб, с него показав свои *«бледные ноги»*, упасть и едва дотащиться к «заре», озарявшей седины *«моржа»* (так прозвали студисты его), перед смертью играющего... в *«кошки-мышки»:* с пленительной искренностью *.

Так от «Вали» до... «Вали» он шел, свершив круг, посредине которого он постоял-таки... на монументе!

Здесь я говорю не о «Вале» и не о «морже»; молодой, еще дикий, порывистый Брюсов» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 241).

[95] Брюсова-гимназиста Белый описывает также в мемуарном очерке о нем; см.: Россия, 1925, № 4(13), с. 263—264.

[96] Имеются в виду первые публикации стихотворений Брюсова в сборниках «Русские символисты» (вып. 1—3. М., 1894—1895).

[97] Три стихотворных пародии Вл. Соловьева на стихотворения, помещенные в сборниках «Русские символисты»,— «Горизонты вертикальные...», «Над зеленым холмом...», «На небесах горят паникадила...» — были опубликованы в «Вестнике Европы» (1895, № 10, с. 850—851) в составе статьи «Еще о символистах». См.: Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 164—166, 320 (комментарий З. Г. Минц).

[98] См. выше, примеч. 88.

[99] Этот визит Брюсова к Соловьевым состоялся в сентябре 1901 г. См.: Брюсов В. Дневники, с. 106.

[100] См. дневниковую запись Брюсова (октябрь 1900 г.) об этом знакомстве (там же, с. 92).

[101] Сокращенная цитата.

---

* Так он играл с молодежью на вечеринках в «Брюсовском институте слова».

[102] В мемуарном очерке о Брюсове Белый указывает, что при описываемых обстоятельствах он видел Брюсова «на любительском представлении «Слепых» Метерлинка»: «...стоял, прислонившись к стене, заложив руки за спину и опустив вниз глаза; он внимал собеседнику; бледное и скуластое, обрамленное черной бородкой лицо с великолепными черными большими глазами, прегрустными, тотчас же мне напомнило юношу Брюсова ⟨...⟩» (Россия, 1925, № 4(13), с. 265).

[103] Сокращенная цитата из «Дневников» Брюсова.

[104] Подразумевается строка из стихотворения «Сумасшедший»: «Я бегу в неживые леса...» (см. выше, примеч. 88).

[105] «Chefs d'œuvre. Сборник стихотворений (осень 1894 — весна 1895)» (М., 1895; 2-е изд.— М., 1896) — первая книга стихов Брюсова, наиболее зримо запечатлевшая «декадентские» черты его поэтического творчества 1890-х годов.

[106] Ср. фразу из письма Брюсова к Белому (до 12 ноября 1903 г.): «...в четверг рано утром предстоит мне лечь на операционный стол и отдать свое тело на волю хирургических напилков и сверл» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 370; четверг — 13 ноября). О перенесенной Брюсовым операции (гайморит) см.: Брюсов В. Дневники, с. 134—135.

[107] Ср. описание этого же эпизода в очерке Белого «Валерий Брюсов»: «Не забуду одну пикировку с ним, происшедшую в редакции журнала *«Весы»*, когда он вдруг напал на меня: «Вы, Борис Николаевич, утверждаете свет; и хотите бороться за свет; а в *Писании* сказано: свет — победит; стало быть: свет — сильнее, чем тьма; подвиг истинного благородства — быть с тьмой, со слабейшим; слабейшим же в *Апокалипсисе* явлен Гад; о нем сказано, что он будет повержен... Ну вот: я хочу быть со слабым: мне жаль очень Гада! Бедный Гад!!» (Россия, 1925, № 4(13), с. 276).

[108] Об этом эпизоде духовно-психологического противоборства Брюсова и Белого см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 336—337 (там же воспроизведен рисунок Белого, на котором изображен Брюсов, стреляющий из лука); см. также выше, примеч. 81.

[109] Имеется в виду 4-е действие драмы Г. Ибсена «Йун Габриэль Боркман» (1896).

[110] К. Д. Бальмонт уехал из Москвы в Париж для дальнейшего следования в Мексику в конце января 1905 г. М. А. Волошин в дневниковой записи от 27 января 1905 г., посвященной проводам Бальмонта, передает слова Брюсова об этом событии, произнесенные на вокзале: «Сию минуту кончился целый период. Бальмонт десять лет полновластно царил в литературе, иногда капризно, но царил. Наши связи рвались постепенно и порвались уже совсем в эти последние месяцы, но теперь он сам отрек-

ся от царства и положил конец... 〈...〉 Мы будем жить без него. И я думаю, что мы все видели его в последний раз. Он не вернется из Мексики или вернется совсем иным...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441, л. 33—33 об.).

[111] Имеется в виду Московский литературно-художественный кружок, действовавший с 1898 по 1919 г. (помещался на Большой Дмитровке в доме Вострякова). В сентябре 1902 г. Брюсов был избран членом Литературной комиссии кружка, с 1908 г. стал председателем дирекции.

[112] Подразумевается заключительная строка стихотворения Брюсова «Младшим»; см. выше, примеч. 80.

[113] Брюсов значился секретарем петербургского журнала «Новый Путь» (1903—1904) до конца 1902 г.— в пору подготовки издания. См.: Валерий Брюсов и «Новый Путь». Публикация Д. Максимова.— В кн.: Литературное наследство, т. 27—28. М., 1937, с. 276—298.

[114] Брюсов стал заведующим литературно-критическим отделом журнала «Русская мысль» в августе 1910 г.

[115] Речь идет о подготовке к печати «Симфонии (2-й, драматической)»; в окончательном тексте Брюсов фигурирует в ней под своим настоящим именем (см.: *Собрание эпических поэм*, с. 194).

[116] Белым написана рецензия на «Драму жизни» К. Гамсуна в переводе С. А. Полякова (М., 1902); см.: Новый Путь, 1903, № 2, с. 170—172.

[117] Имеется в виду рецензия Белого на книгу П. П. Викторова «Учение о личности и настроениях» (вып. 1, изд. 2-е. М., 1903), опубликованная в «Весах» (1904, № 1, с. 73—75; подпись: 2Б); в ней, в частности, говорится: «...г. Викторов даже с наукой, представляющей его специальность, знаком ученически 〈...〉 Он хочет опереться в своих выводах на Мейнертовскую теорию физиологической основы настроения в зависимости от кровообращения и питания коркового вещества головного мозга. Но г. Викторов и не подозревает, что истолкование психологического факта в физиологических терминах есть только методологический прием эмпирической психологии. Физиологи с Иоганном Мюллером, с тем же самым Мейнертом сами шли навстречу трансцендентальному методу канто-шопенгауэровской философии» (с. 74).

[118] Ср. литературный «силуэт» Брюсова, написанный Белым (1908): « — Да, да... Книгоиздательство «Скорпион»!— раздается металлический голос, четкий. Металлически, четко выбрасывает низкое фальцетто размеренные слова.

И слова летят, точно упругие стрелы, сорванные с лука. Иногда еще они бывают отравлены ядом.

«Да, да... Чудесно»,— продолжает все тот же голос, такой властный, такой церемонный голос» — и т. д. (Белый Андрей. Луг зеленый. Книга статей. М., 1910, с. 195).

[119] В типографии В. И. Воронова (Моховая ул., дом кн. Гагарина) печатались книги издательства «Скорпион» и журнал «Весы».

[120] *Шпоны* — в типографском деле межстрочный пробельный материал: пластинки, применяемые при наборе для увеличения расстояния между строками.

[121] В августе 1914 г. Брюсов поехал в прифронтовые районы в качестве корреспондента московской газеты «Русские ведомости», провел в Варшаве около 9 месяцев (до мая 1915 г.), опубликовал в «Русских ведомостях» и в ярославской газете «Голос» более 70 военных корреспонденций. См.: Дербенев Г. И. Валерий Брюсов в начале первой мировой войны.— В кн.: Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973, с. 171—188.

[122] Имеется в виду цикл стихотворений Белого «Призывы» (Северные цветы. 3-й альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903, с. 26—38).

[123] Книга стихов и лирической прозы Белого «Золото в лазури» (М., Скорпион, 1904). Ход ее подготовки отражен в переписке Белого и Брюсова; см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 364—368.

[124] Подразумеваются строки из 11-го стихотворения («Где светлый ключ, спускаясь вниз...») цикла А. К. Толстого «Крымские очерки» (1856—1858):

Под темнолиственные лавры
Бежали львы на водопой
И буро-пегие кентавры.

(Толстой А. К. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., 1963, с. 108.)

[125] Имеются в виду строки из 1-го стихотворения («Я вознесен, судьбе своей покорный...») цикла «Возврат»:

Мой гном, мой гном, возьми трубу возврата.
И гном трубит, надув худые щеки.

(Белый Андрей. Золото в лазури, с. 145.) Это стихотворение, однако, было впервые опубликовано не в «Северных цветах», комплектовавшихся Брюсовым, а в «Альманахе книгоиздательства «Гриф» (М., 1903, с. 48—49).

[126] В очерке «Валерий Брюсов» Белый пишет: «Никогда не забуду я первого разбора стихов моих Брюсовым; эти стихи уже были им приняты: но на конкретном разборе он явственно мне показал, что они еще — *общее место*, которое в будущем лишь

наполнится поэтическим содержанием; вместе с тем: я от Брюсова вышел совсем не раздавленным; наоборот: охватила огромная радость познания; я понял впервые тогда, что собой представляет конкретный и грамотно сложенный стих; урок Брюсова не пропал; я впервые стал крепко работать над собственной формой ⟨...⟩» (Россия, 1925, № 4(13), с. 278).

[127] Начало 1-й строки стихотворения «Конь блед» (1903) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 442).

[128] Строка из стихотворения «Гесперидовы сады» (1906) (там же, с. 521).

[129] Имеется в виду исследование: Cassagne A. Versification et Métrique de Charles Baudelaire. Paris, 1906. Белый использовал эту работу в своей статье «Шарль Бодлэр» (1909); см.: *Арабески*, с. 253—255. Книгу Кассаня он называет «замечательным исследованием» (*Символизм*, с. 597).

[130] В статье «Дебютанты» Брюсов писал о первой книге стихов В. Ф. Ходасевича «Молодость» (М., 1908): «Как дневник, как «исповедь одной души»,— его книжка имеет свою цену ⟨...⟩ Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами ⟨...⟩ Что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня. Г. Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать в наши дни после К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока. Стих г. Ходасевича — это средний, расхожий стих наших дней» (Весы, 1908, № 3, с. 79—80).

[131] Брюсов жил в доме на Цветном бульваре, приобретенном его дедом в 1877 г., до середины августа 1910 г.

[132] Надежда Яковлевна Брюсова окончила в 1904 г. Московскую консерваторию по классу фортепиано К. Н. Игумнова, в 1906—1916 гг. преподавала в московской Народной консерватории.

[133] Александр Яковлевич Брюсов в середине 1900-х годов вошел в круг литераторов-модернистов, объединенных вокруг московского издательства «Гриф»; выпустил в свет (под псевдонимом Alexander) сборник стихов «По бездорожью» (М., 1907).

[134] Среди писем Брюсова к Белому хранится типографски отпечатанное извещение о приемах у себя по средам в октябре — декабре 1903 г. (см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 357).

[135] М. Н. Семенов был свояком С. А. Полякова, владельца «Скорпиона», и одним из учредителей этого издательства, занимаясь, в частности, налаживанием деловых связей с зарубежными литераторами. О его участии в работе «Скорпиона» см.: Котрелев Н. В. Переводная литература в деятельности

издательства «Скорпион».— В кн.: Социально-культурные функции книгоиздательской деятельности. М., 1985, с. 92—97.

[136] Белый формулирует основную авторскую идею книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия» (см. выше, примеч. 1). Ср.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. 9. СПб.— М., изд. т-ва М. О. Вольф. 1912, с. 246—248.

[137] Религиозно-философские собрания были учреждены в Петербурге осенью 1901 г. (первое собрание состоялось 29 ноября 1901 г.); Мережковский был их главным инициатором.

[138] Цитата из стихотворения Брюсова «З. Н. Гиппиус», написанного в декабре 1901 г. (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 355).

[139] *Ирбит* — уездный город в Пермской губернии, известный своей ярмаркой (в феврале).

[140] В 1903 г. Брюсов опубликовал в «Новом Пути» 5 своих статей на темы современной политики.

[141] На Литейном проспекте в Петербурге в доме Мурузи (д. 24 на углу Пантелеймоновской улицы) проживали Мережковский и З. Н. Гиппиус, в их квартире неоднократно останавливался Белый.

[142] Образ из гл. одиннадцатой 1-го тома «Мертвых душ»; см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VI. [Л.], 1951, с. 243—244.

[143] В лекции, прочитанной в Петербурге 17 января 1909 г. в зале Тенишевского училища, и в статье «Настоящее и будущее русской литературы» Белый рассматривает Брюсова и Мережковского как воплощения «двух правд» русского символизма: «Мережковский весь в искании; между собой и народом ищет он чего-то третьего, соединяющего. Брюсов не ищет: он изучает форму; в этом его подлинная правда, святая правда, принятая с Запада.

Так символически ныне расколот в русской литературе между правдою личности, забронированной в форму, и правдой народной, забронированной в проповедь,— русский символизм, еще недавно единый»;

«Одна правда с Мережковским, от которого ныне протягивается линия к религиозному будущему народа.

А другая правда с Брюсовым.

Но обе позиции как-то обрываются: в одной нет уже слов, в другой — нет еще действия.

Мережковский — слишком ранний предтеча *«дела»*, Брюсов — слишком поздний предтеча *«слова»* (Белый Андрей. Луг зеленый, с. 89, 91).

[144] З. Н. Гиппиус свидетельствует о характере своих отноше-

ний с О. М. Соловьевой: «Не знаю, как случилось, что между нами завязалась переписка. И длилась годы, а мы еще никогда друг друга не видали. Познакомились мы сравнительно незадолго до ее смерти, в Москве. Тогда же, когда в первый раз увидались с Борей Бугаевым (Андреем Белым)» (Гиппиус З. Н. Живые лица, вып. 1, с. 8—9).

[145] Цитата из стихотворения «Песня» («Окно мое высоко над землею...», 1893) (Гиппиус З. Н. Собрание стихов 1889—1903 г. М., 1904, с. 2).

[146] В «Мире искусства» были опубликованы только две статьи Вл. Соловьева — «Мицкевич» (1899, т. I, № 5) и «Идея сверхчеловека» (1899, т. I, № 9), — к Мережковскому прямого отношения не имеющие. Видимо, Белый имеет в виду критику пушкинского номера «Мира искусства» (1899, т. II, № 13—14) и его участников, в том числе Мережковского, предпринятую Соловьевым в статье «Особое чествование Пушкина» (Вестник Европы, 1899, № 7, с. 432—440). С ответной критикой замечаний Соловьева о Мережковском в этой статье выступил в «Мире искусства» Д. В. Философов («Серьезный разговор с нитчеанцами (Ответ Вл. Соловьеву)» — 1899, т. II, № 16—17, отд. II, с. 25—28). Об этой полемике см.: Корецкая И. В. «Мир искусства». — В кн.: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982, с. 143—146.

[147] Мотив из сказки Андерсена «Снежная королева» (рассказ 7-й): в чертогах Снежной королевы Кай «складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума» ⟨...⟩ Он складывал из льдин целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слова «вечность» (Андерсен Ханс Кристиан. Сказки. Истории. М., 1973, с. 189; перевод А. Ганзен).

[148] А. В. Карташев был профессором Петербургской духовной академии, видным историком церкви; Д. В. Философов окончил Петербургское училище правоведения.

[149] Подразумевается эпизод из «Старосветских помещиков» (1835) Н. В. Гоголя; Афанасий Иванович говорит Пульхерии Ивановне: «Я сам думаю пойти на войну ⟨...⟩ я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. II. [Л.], 1937, с. 25—26).

[150] Сюжет басни И. А. Крылова «Синица» (1811), основанной на русской народной пословице: «Ходила синица море зажигать: моря не зажгла, а славы много наделала».

[151] 9 января 1905 г. Мережковский был делегирован сорвать вечернее представление в Мариинском театре в знак протеста против расстрела рабочих демонстраций и траура по убитым

(см.: *Эпопея*, II, с. 170). Решение закрыть в этот день все зрелищные мероприятия было принято вечером 9 января на собрании в Вольно-экономическом обществе. Ср. описание срыва представления в Александринском театре в воспоминаниях Г. И. Чулкова «Годы странствий» (М., 1930, с. 72—73).

[152] Имеется в виду публицистический сборник статей Мережковского, З. Гиппиус и Д. Философова «Le Tsar et la Révolution» (Paris, 1907).

[153] Мережковские возвратились из Парижа в Петербург в середине июля 1908 г.; в квартире на Сергиевской ул. (д. 83) они поселились в 1913 г.

[154] Неточно цитируется повторяющийся куплет стихотворения И. П. Мятлева «Фонарики» (1841), положенного на музыку и входившего в песенники и лубочные издания. См.: Мятлев И. П. Стихотворения. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1969, с. 71—74, 608.

[155] Младшие сестры З. Н. Гиппиус Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна Гиппиус.

[156] В романе Мережковского «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» (1899—1900) «белой дьяволицей» называют извлеченную из земли античную статую Венеры.

[157] В протоколе закрытого (с гостями) заседания Московского психологического общества 8 декабря 1901 г. указывается иное заглавие реферата, прочитанного Мережковским,— «Русская культура и религия». После перерыва, сообщается в протоколе, «происходили прения по поводу выслушанного реферата, в которых принимали участие Н. В. Бугаев, В. И. Герье, кн. С. Н. Трубецкой, Г. А. Рачинский и сторонний посетитель С. Ф. Шарапов» (Вопросы философии и психологии, 1902, кн. 1(61), с. 633). Ход заседания охарактеризован в «Дневниках» Брюсова (с. 111—112).

[158] Этот эпизод отразился и в воспоминаниях В. Ф. Ходасевича: «Однажды в концерте 〈...〉 Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» — «Это мой папа»,— отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастия, которою он любил отвечать на неприятные вопросы» (Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 63).

[159] Греч. διδάσκαλος — учитель, преподаватель, наставник.

[160] *Контрадикция* — логически противоречивое высказывание, нарушающее формально-логический закон противоречия.

[161] Имеется в виду мумия фараона Рамзеса II, хранящаяся в музее египетских древностей в Булаке (Каир); Белый видел ее в марте 1911 г.

[162] С. Ф. Шарапов был редактором-издателем ежемесячного журнала «Пахарь» (М., 1904—1906), посвященного интересам деревни и земледелия. Ср. запись Брюсова: «Было уже очень поздно, когда выступил было С. Шарапов в защиту славянофилов: его не стали слушать» (Брюсов В. Дневники, с. 112).

[163] Д. И. Иловайский был автором «Разысканий о начале Руси» (М., 1876) и «Истории России» в пяти томах (М., 1876—1905).

[164] *«Кремль»* — политическая и литературная газета (М., 1897—1917), издававшаяся и редактировавшаяся Иловайским.

[165] Романс М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на текст «Английского романса» Н. В. Кукольника.

[166] *Honoris causa* (лат.) — ради почета, во внимание к заслугам.

[167] Неточно цитируется 1-я строфа стихотворения «Призыв» («Баллада»), написанного 13 ноября 1900 г. и впервые опубликованного в составе цикла Брюсова «Воскресшие песни» в 1906 г. в «Золотом руне» (№ 1, с. 42—46). Брюсов записал об этом выступлении: «Я читал опять свое некрофилическое стихотворение. Все недоумевали. Бугаев намекнул, что за это полагается каторга, а Д. С. в исступлении вопиял: — Это единственный путь к Богу-отцу» (ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16, л. 6 об.).

[168] В целом весьма холодная по тону рецензия З. Н. Гиппиус на книгу Блока «Стихи о Прекрасной Даме» была напечатана в 1904 г. в «Новом Пути» (№ 12, с. 271—280; подпись: Х.). См.: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими.— В кн.: Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник, IV (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 535). Тарту, 1981, с. 148—149.

[169] Неточно цитируется 1-я строфа стихотворения «Любовь — одна» (1896); последний стих в оригинале: «Измены нет: любовь — одна» (Гиппиус З. Н. Собрание стихов 1889—1903 г., с. 33).

[170] Это письмо Белого в извлечениях было опубликовано в «Новом Пути» под заглавием «По поводу книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (1903, № 1, с. 155—159; подпись: Студент-естественник).

[171] В первоначальном варианте текста далее следовало: «это меня угнетало весьма, в семилетии частых общений лишь вычертилась отделенность от них; но в процессе знакомства я к ним привязался как к людям» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 293).

[172] Доклад Мережковского о Гоголе был прочитан в Историческом музее 17 февраля 1902 г. В этот приезд Мережковские находились в Москве с 17 по 19 февраля.

[173] Неточная цитата.

[174] Имеется в виду одна из заключительных сцен комедии Гоголя «Женитьба» (действие 2-е, явление XXI) — бегство Подколесина через окно.

[175] Ср. запись Белого о содержании этого разговора: «На следующий день мы встречаемся с Мережковскими у Брюсова; Мережковский говорит со мной целый вечер на темы о пути, об Отце и Христе, о воле, о новом делании и приглашает меня на свидание с ним и с женой — в «Славянский базар» на следующий день 〈...〉» (*Материал к биографии*, л. 27 об.). Брюсов записал о том же: «М〈ережковск〉ий все время, не обращая ни на кого внимания, говорил с Борей Бугаевым о Деннице (Луцифере) и белом христианстве. Оба остались очень довольны друг другом. Зиночка разговаривала только со мной» (ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16, л. 15).

[176] Произвольная контаминация строк из стихотворения Брюсова «Лестница», написанного в январе 1902 г. (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 269—270).

[177] Неточно цитируется заключительная строка стихотворения Ф. И. Тютчева «День и ночь» («Не мир таинственных духов...», 1839).

[178] В первоначальном варианте текста далее следовало: «хвалил стихи Брюсова; и после чтения стал очень мягкий и гибкий: не лев, а пушинка! И вновь удивил нас контрастом: росточек, ручонки, лобочек, грудь впалая; и — перекат горловой, точно к тысячной аудитории, а не к столовой, в которой сидел.

В этот вечер не помню я Гиппиус; издали видел: она, как растение, все завивалась вокруг себя, чтобы собой заменить именитого мужа» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 299).

[179] Ср. запись Брюсова: «Во вторник у Мережковских был Боря Бугаев, и они просили никого не приходить» (Брюсов В. Дневники, с. 118). Вторник — 19 февраля.

[180] См. выше, примеч. 141.

[181] В Суйде (южнее Гатчины по Варшавской железной дороге) на даче Бергера (бывш. Каменской) Мережковские жили летом 1908 г.; в августе у них гостил Белый.

[182] Об отношениях М. С. Шагинян с Мережковскими (преимущественно с З. Н. Гиппиус) см. в ее мемуарах «Человек и время. История человеческого становления» (М., 1982, с. 258—350).

[183] В первоначальном варианте текста далее следовало: «Улов рыбы», где «рыба» — Бердяев, иль я, иль А. Волжский, Тернавцев, иль Лундберг,— все лица, которых поздней видел «рыбами»; З. Н.— пистон мины, подложенной под каменистую студь Мережковского, ею взрываемого громким словом, как гро-

мом и как тарарахом обвалов: в лоб «рыбе» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 303).

[184] В первоначальном варианте текста далее следовало: «и хитрую ласку, самовозгораемость поэтессы, писавшей стихи не в тетрадку, а в души; тут все принималось в расчет: кому — просто кокетство, кому — «дьяволенок», кому же — «сестра»; крест, глаза, белость платья, духи, папироска, камин и флакон с туберозой *«Лубэн»* — фон ландшафта, какого-то золото-карего с рыжими отсветами; в этот фон из дверей кабинета Д. С. приносил» — и т. д. (там же).

[185] Ср.: «Нашумевшая лекция Соловьева об Антихристе показалась Розанову просто скучной. Он реагировал на речь прославленного оратора весьма своеобразно: задремал и упал со стула» (Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество, с. 35). Эта лекция была прочитана в Петербурге весной 1900 г.

[186] 3 марта 1902 г. З. Н. Гиппиус, в частности, писала Белому: «Я думаю о том, как вы нам нужны,— и о том, что мы вам нужны той же мерою, хотя с иной стороны. Вы — то в дремоте, то в «энтузиазме», даже не в дремоте, а в «грезах» ⟨...⟩, у вас еще есть какой-то неопределенный эстетизм, еще брызги декадентства на вас; а мы часто — в тупой безмысленности, тело тяжелеет, и на мгновенье все все равно, точно ничего нет. Отчаянье — и то, и другое!»; 25 марта 1902 г.: «И, несмотря на пророческую... почти гениальность ваших мыслей, я вижу в вас истинного декадента, человека падения, человека-раба. Нужно уравнить волю вашу с высотой и длиной ваших мыслей, иначе вы станете их игрушкой. ⟨...⟩ Вы говорите о конце, о правде, о любви; все говорите «о» — и мысли ваши бесконечно сложнее, длиннее и потому перепутаннее наших; а мы хотим не только говорить «о», также идти, верить (со знанием) и любить» (ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6).

[187] Приглашение приехать в Петербург и остановиться в квартире Мережковских содержит письмо Гиппиус к Белому от 3 мая 1902 г. (там же).

[188] *«Биржовка»* — «Биржевые ведомости», известнейшая петербургская газета, издававшаяся с 1861 г. *«Северный курьер»* — ежедневная газета, выходившая в Петербурге в 1899—1900 гг. (издатель-редактор — кн. В. В. Барятинский, соредактор — К. И. Арабажин).

[189] Ср. записи Белого о феврале 1902 г.: «...начинаются мои нескончаемые споры с О. М. Соловьевой о Мережковских; я их отстаиваю, М. С. Соловьев — помалкивает, О. М. Соловьева начинает порою чуть ли не кричать на меня; не раз я встаю и, разобиженный, ухожу; но после мы обмениваемся письмами; и союз наш вновь заключается» (*Материал к биографии*, л. 27 об.).

[190] Неточно цитируется 1-я строфа стихотворения «Петухи» (1906) (Гиппиус З. Н. Собрание стихов, кн. 2. 1903—1909. М., 1910, с. 9).

[191] О встрече с Блоком Гиппиус сообщила Белому в письме от 25 марта 1902 г. (см.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 179).

[192] Белый, видимо, ошибается: рецензии на «Симфонию (2-ю, драматическую)» в «Мире искусства» не было напечатано.

[193] Московская выставка картин журнала «Мир искусства» открылась 15 ноября 1902 г. в доме Грачева на углу Петровки и Столешникова переулка и продолжалась до 1 января 1903 г. Белый посетил выставку в первые же дни; отзыв о ней — в его письме к Э. К. Метнеру от 17 ноября 1902 г., в котором он сообщает и о состоявшемся знакомстве с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа (ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 2).

[194] На выставке экспонировался портрет Дягилева работы Ф. А. Малявина (1902).

[195] Великий князь Владимир Александрович, президент Академии художеств, и его жена великая княгиня Мария Павловна, ставшая президентом Академии художеств с 1909 г. Об отношениях с ними Дягилева см. в комментариях И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова в кн.: Сергей Дягилев и русское искусство, т. 1. М., 1982, с. 417—418.

[196] Подразумевается образ Нерона, любующегося горящим Римом (согласно версии о том, что грандиозный пожар в Риме в июле 64 г., длившийся почти девять дней, был устроен по приказу императора).

[197] *Enfant* (фр.) — дитя, ребенок, младенец.

[198] *Louis le Quatorze* — Людовик XIV, король Франции.

[199] Декоративное панно М. А. Врубеля «Фауст и Маргарита в саду» (1896).

[200] Книга А. Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке» вышла в свет в июне 1902 г.

[201] 3 декабря 1902 г. Д. В. Философов писал Белому: «С. П. Дягилев говорил мне, что Вы выразили желание напечатать в «Мире иск⟨усства⟩» статью Вашу «об искусстве с точки зрения формы». Обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой выслать означенную статью по возможности скорей» (ГБЛ, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 16). Статья Белого «Формы искусства» увидела свет в декабрьском номере «Мира искусства» за 1902 г. (подпись: Борис Бугаев).

[202] В частности, 25 января 1903 г. Философов писал Белому: «Не написали ли Вы чего-ниб⟨удь⟩ нового? Если то, что Вы написали, и *не* подходит к нашему журналу, может быть, Вы все-таки не откажете нас ознакомить с Вашими рукописями, так как

мы все в редакции интересуемся развитием вашего литературного дарования» (ГБЛ, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 16).

[203] Заключительная строфа стихотворения «Все тот же раскинулся свод...» (апрель 1902 г.), входящего в цикл «Три стихотворения» из книги «Золото в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 81).

[204] Цитата из стихотворения «Даль без конца. Качается лениво...» (июль 1902 г.) цикла «Закаты», входящего в «Золото в лазури» (там же, с. 76).

[205] Вероятно, подразумеваются слова Чехова в передаче Бунина: « — Какие они декаденты! — говорил он. — Они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...» (Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., 1967, с. 239).

[206] *Иерихон* — город в Палестине вблизи Иерусалима; согласно Книге Иисуса Навина (VI, 19—20), стены Иерихона пали от звука семи труб, город был взят и истреблен.

[207] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Грустил: точно тенью покрыли.

И — тоже тень, что псевдоним мой открылся; в косых, неприязненных взглядах читал осужденье; *«Симфония»* пользовалась успехом — у Блока, у Брюсова, у Мережковских; а прочие видели: бред иль памфлет; оскорблялись: естественник! Руки чесались: некоторых руководителей наших занятий: унизить меня в мелочах; я боялся: узнает отец; я бояться имел основание: его здоровье расстроилось.

Вид же, с которым меня оглядывали неизвестные люди на улицах, не предвещал ничего утешительного» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 317).

[208] Неточная цитата из стихотворения Блока «Сбежал с горы и замер в чаще...», датируемого 21 июля 1902 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 206).

[209] Видимо, только что написанное тогда стихотворение «Владимир Соловьев» («Задохлись мы от пошлости привычной...») (*Стихотворения и поэмы*, с. 136—137). Стихотворение Белого «Раздумье», посвященное памяти Вл. Соловьева (там же, с. 154), датируется февралем 1901 г. и, безусловно, было уже известно в семье Соловьевых.

[210] М. С. и О. М. Соловьевы умерли 16 января 1903 г. Ср. другой вариант воспоминаний Белого об этом событии: «М. С. — кончается; О. М. — удаляет Сережу из дому; днем я имею с ней разговор; она — вся дрожит, глаза — лихорадочно блестят; она умоляет меня не покидать в течение всей моей жизни Сережу, быть с ним; я не понимаю, какой ужасный намек заключается в этом ее обращении ко мне (выяснилось потом, что весь этот день она травила себя краской; и говорила со мной уже от-

равленная); вечер этого дня я тупо и безнадежно сижу у себя, ожидая всего худшего; в 3 часа ночи нас будят известием, что М. С. Соловьев — скончался, а О. М.: тотчас же застрелилась; меня зовут в квартиру Соловьевых (мама — в истерике: папа — утешает ее); в квартире Соловьевых я нахожу проф. П. С. Усова и В. С. Попову, совершенно растерянных; оба меня посылают к Рачинскому, занимающему ответственное место в губернском правлении, чтобы он повлиял на полицию затушевать самоубийство; в 4 часа ночи мы обсуждаем с Рачинским, что делать; в 5 возвращаюсь к Соловьевым; меня просят предупредить ничего не подозревающего Сережу о том, что произошло» (*Материал к биографии*, л. 33 об.— 34).

[211] Похороны М. С. и О. М. Соловьевых состоялись 18 января 1903 г. в Новодевичьем монастыре (см. заметку Брюсова «Похороны М. С. и О. М. Соловьевых» — Русский листок, 1903, № 19, 19 января). Белый посвятил «незабвенной памяти М. С. и О. М. Соловьевых» стихотворение «Могилу их украсили венками...», памяти М. С. Соловьева — стихотворение «Призыв» (см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 136, 138).

[212] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Помню, как с кладбища, в черной карете, качаясь с М. Н. Коваленским, историком, большевиком, иль *«Мишей»*, мы вспоминали, что много сидели в годах мы за чайным столом Соловьевых: студент-поливановец — он, гимназист-поливановец я,— говорили о Льве Поливанове; после же он, убежденный марксист, препирался со мной, символистом,— но мягко, сердечно; его урезонивала: *«тетя Оля»;* и мы расходились: до новых посидов.

Качаясь со мною в карете, растроганно мне говорил:

— «Никогда не забуду я наших совместных сидений и этих всех дней, сообща пережитых».

Не помнил он слов своих: точно кинжалом ударило, когда сказали, что *«К»*, псевдоним, обругавший ужасно меня, дикаря декадента (статейка в «Курьере» была напечатана), есть *«Михаил Коваленский»:* тот именно — *«Миша»*. Статья подавала меня на подносе Москве, возбудив взрывы против меня, отразившись на экзаменаторах, меня хотевших зарезать, отца взволновав: перед смертью» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 30, л. 325). Упомянутая статья («Наброски») была напечатана в «Курьере» 3 мая 1903 г. (подпись: К—ий).

[213] 28 января 1903 г. С. Соловьев сообщил Г. А. Рачинскому о своем прибытии в Киев (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2903); после нескольких дней пребывания в Киеве он переехал в Харьков.

[214] См. выше, примеч. 201.

[215] Статья Белого «Певица» была напечатана в «Мире искусства» номером ранее (1902, № 11, с. 302—304).

[216] Стихотворение Брюсова «Наполеон» (1901) было впервые опубликовано в «Альманахе книгоиздательства «Гриф» (М., 1903). См.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 160—161.

[217] Цитата из стихотворения «Объяснение в любви» (март 1903 г.) из раздела «Прежде и теперь» книги «Золото в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 89).

[218] Гравюра на меди «Всадник, смерть и дьявол» (1513) А. Дюрера.

[219] По всей вероятности, Белый пародийно обыгрывает строфу из стихотворения В. Гофмана «Я у моря ночного...» (сентябрь 1904 г.) из цикла «Марины»:

На протянутой сети колышутся пробки,
Зацепясь за изгибы камней,—
И движения гномов бессильны и робки
Вместе с чадом их желтых огней...

(Гофман В. Собр. соч., т. 2. М., 1918, с. 13.)

[220] В 1900—1910-е годы А. А. Койранский регулярно выступал с корреспонденциями, обзорами, рецензиями в московских газетах «Раннее утро», «Утро России».

[221] Роман М. И. Пантюхова — «Тишина и старик» (М., 1907).

[222] Контаминация сокращенных цитат.

[223] Обыгрываются строки популярнейшего стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876):

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...

[224] Имеются в виду строки стихотворения К. Д. Бальмонта «Хочу» из его книги «Будем как Солнце» (1902): «Хочу упиться роскошным телом,//Хочу одежды с тебя сорвать!» (см.: Бальмонт К. Избранное. М., 1980, с. 151).

[225] Характеристика Ленского из «Евгения Онегина» (гл. вторая, строфа VI).

[226] Ошибка Белого; С. А. Венгеров академиком не был.

[227] С. А. Венгеров выступил с докладом «Победители или побежденные (эволюция модернизма)» в Московском литературно-художественном кружке 7 октября 1908 г.; в нем он утверждал, что современный «синтетический модернизм» является направлением, соединившим в себе «основное зерно исконных героических традиций русской литературы с естественным исканием новых литературных форм». Доклад был опубликован в «Рус-

ских ведомостях» 18, 23 и 24 октября 1908 г. и вошел как послесловие во второе издание книги Венгерова «Основные черты истории новейшей русской литературы» (СПб., 1909). См.: Русская литература конца XIX — начала XX в. 1908—1917. М., 1972, с. 410.

[228] *Опопонакс* — южноевропейское растение; добываемая из него смола употреблялась в медицине и парфюмерии.

[229] *«Т»* — Ф. Ф. Тищенко. Об этом инциденте см.: «Между двух революций», главка «Авантюра с газетами».

[230] *«Ребус»* — еженедельный журнал по вопросам спиритуализма, психизма и медиумизма, выходивший в Москве с 1881 по 1917 г. (редактор-издатель до 1904 г.— В. И. Прибытков, с 1904 г.— П. А. Чистяков).

[231] См. выше, примеч. 111.

[232] *Pâté de foie gras* (фр.) — паштет из гусиной печенки.

[233] Ср. запись Белого о пребывании в Лугано во второй половине апреля — мае 1916 г.: «...встречи, беседы и завтраки с Боборыкиными, живущими в Лугано» (*Ракурс к дневнику*, л. 78 об.).

[234] Речь идет о фразе из письма Блока к матери от 15—19 января 1904 г. и о пояснительном примечании к ней М. А. Бекетовой (Письма Александра Блока к родным, ⟨т. 1⟩. Л., 1927, с. 109, 324).

[235] К. Д. Бальмонт выступал с рефератом «Чувство личности в поэзии» в Литературно-художественном кружке 3 февраля 1903 г.

[236] Ср. позднейшую запись Белого об этом событии: «Первое публичное выступление в прениях беседы Литер⟨атурно⟩-худ⟨ожественного⟩ кружка на тему: о сути трагедии («модернисты» мне устраивают овацию)» (*Ракурс к дневнику*, л. 17 об.).

[237] *«В безбрежности»* (М., 1896), *«Тишина. Лирические поэмы»* (СПб., 1898) — книги стихотворений К. Д. Бальмонта. О последних месяцах 1897 г. Белый вспоминает: «...моим любимцем делается Бальмонт, которого книга *«В безбрежности»* становится моею любимою книгою; с этого времени я уже не пропускаю ни одной строчки Бальмонта» (*Материал к биографии*, л. 8).

[238] *«Эолова арфа»* (1814) — баллада В. А. Жуковского.

[239] «Горящие здания. Лирика современной души» (М., 1900) и «Будем как Солнце. Книга символов» (М., 1903) — книги стихотворений Бальмонта.

[240] Первая строка стихотворения, открывающего книгу «Будем как Солнце» (см.: Бальмонт К. Д. Стихотворения (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1969, с. 203).

[241] Первые строки стихотворения «Испанский цветок» (1901) из книги «Будем как Солнце» (там же, с. 228).

[242] Популярные путеводители по различным странам, выпускавшиеся на основных европейских языках фирмой Карла Бедекера.

[243] *«Только любовь. Семицветник»* (М., 1903) — книга стихотворений Бальмонта.

[244] *Тор* — в германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия. Этот образ обрисован Белым в двухчастном стихотворении «Поединок» (1903) (*Стихотворения и поэмы,* с. 114—115).

[245] *Фиксатуар* — восковая помада для волос.

[246] *Тремоло* (и т. tremolo — букв.: дрожащий) — дрожание голоса или звука музыкального инструмента.

[247] *Five-o'clock* (а н г л.) — в английском быту чай между вторым завтраком и обедом.

[248] *Халдеи* — независимые семитские племена, обитавшие на окраинах Вавилонии в 1-й половине 1-го тысячелетия до н. э. *Элам* — древнейшее государство (3-е тысячелетие — середина VI в. до н. э.), располагавшееся в юго-западной части Иранского плоскогорья, на северо-восточном побережье современного Персидского залива. См. книгу Бальмонта «Зовы древности. Гимны, песни и замыслы древних» (СПб., 1908; Берлин, 1923).

[249] Начало 1-й строки стихотворения «Пляска атомов» (Б а л ь м о н т К. Литургия Красоты. Стихийные гимны. М., 1905, с. 73).

[250] Бальмонт познакомился и сблизился с английским филологом-славистом Уильямом Ричардом Морфиллом, будущим английским корреспондентом «Весов», весной 1897 г. в Оксфорде. См.: И л ь ё в С. Валерий Брюсов и Уильям Морфилл.— В кн.: В. Брюсов и литература конца XIX — XX века. Ставрополь. 1979, с. 91—92.

[251] Академики по Разряду изящной словесности Российской академии наук.

[252] *«Листопад. Стихотворения»* — книга И. А. Бунина, выпущенная в свет издательством «Скорпион» в 1901 г. Об отношениях Бунина и Брюсова см. вступительную статью А. А. Нинова к их переписке (Литературное наследство, т. 84. Иван Бунин, кн. 1. М., 1973, с. 421—440).

[253] Подразумевается сильное извержение вулкана на острове Мартиника в 1902 г.

[254] Эту попытку самоубийства Бальмонт совершил 13 марта 1890 г.; о ней он рассказал в автобиографическом рассказе «Воздушный путь», опубликованном в «Русской мысли» (1908, № 11). См.: О р л о в Вл. Бальмонт. Жизнь и поэзия.— В кн.: Б а л ь м о н т К. Д. Стихотворения, с. 19.

[255] Первая строка стихотворения «Ветер» из книги «Будем как Солнце» (т а м ж е, с. 226).

[256] Бальмонт перевел на русский язык практически все поэтическое наследие Шелли. См.: Ш е л л и. Сочинения, вып. 1—7. Перевод с английского К. Д. Бальмонта. СПб., 1893—1899; Ш е л л и. Полн. собр. соч. в переводе К. Д. Бальмонта, т. 1—3. СПб., 1903—1907.

[257] Под псевдонимом «Лионель» Бальмонт опубликовал свои стихотворения в альманахе «Северные цветы на 1902 год» и в трех альманахах «Гриф» (1903—1905), в каждом из этих изданий помещены также его стихотворные циклы, подписанные настоящей фамилией. Лионель — имя поэта, героя эклоги Шелли «Розалинда и Елена», переведенной Бальмонтом.

[258] Об этом инциденте между Брюсовым и Бальмонтом сообщает в своем дневнике М. А. Волошин, записав 12 января 1912 г. рассказ Бальмонта:

«Можно ли смыть обиду?.. Валерий сделал то же, что ты Гумилеву... Я почувствовал, что пол-лица омертвело... Я провел тридцать шесть часов в бреду. Я не мог его вызвать. У меня была клятва, данная еще юношей, перевести Шелли. Его жена ждала ребенка. Я пришел к нему и спросил: «Зачем ты это сделал?» Он стал на колени и целовал мои руки. Мы тогда с ним стали на ты. Нельзн было иначе. О, как это все было. Я приехал только что с Балтийского морн. Я только что кончил «Только Любовь». Это были самые нсные дни подъема. ⟨...⟩ Я утром ехал с Грифом ⟨С. А. Соколов⟩. Мы остановили автомобилиста, который раздавил мужика и хотел бежать с мужиком в колесе. Мы его схватили и предали полиции. Встретили Валерия. Он сказал, мотнувши головой: «Знаете ли, что автомобилям принадлежит будущее». Потом мы поехали на скачки. Играли. Я выигрывал. Но когда я играл вместе с Валерием, то проигрывал. Это меня раздражало. Я проиграл все, что выиграл. Мы поехали в ресторан: Гриф, Юргис, Валерий, Сережа Поляков. Мне хотелось заставить их чествовать себя. Но им этого не хотелось. Они стали играть в домино. «Оставьте игру, давайте разговаривать, а то я выкину за окно». Я взял в горсть костяшки и бросил за окно. Сер⟨ежа⟩ Пол⟨яков⟩ сейчас же сказал лакею: «Пойдите, там упало домино». Но он, конечно, ничего не нашел. Я что-то начал говорить Валерию: «Я не хочу, чтобы играли... я из-за Вас проигрывал на скачках... это шулерство»... Он ударил меня... Я спросил почти спокойно: «Что это значит?»

«Это значит, что Вы всем нам надоели»,— и с перекошенным лицом пошел из залы...

Меня в тот вечер ждала Нин⟨а⟩ Ив⟨ановна⟩ ⟨Петровская⟩. Я не поехал к ней. Я поехал в публичный дом. Поднялся в от-

дельную комнату, разделся и лег с девушкой, как брат с сестрой; но когда она делала жест любви, то я отстранял ее рукой. Так я пролежал всю ночь и думал свои мысли. Потом ходил по улицам. Но не мог и пошел к Валер⟨ию⟩. Они кончали обедать. Он встал сумрачный, и мы прошли в его комнату.

И когда он на коленях целовал мои руки и плакал скупыми слезами, мне лицо его казалось обезьяньим...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 442, л. 52—53).

Подробную характеристику взаимоотношений Бальмонта и Брюсова см.: Нинов А. А. Так жили поэты.— Нева, 1978, № 6, 7; 1984, № 10.

259 Герои-рыцари опер Вагнера на средневековые сюжеты: «Тангейзер» (1845), «Лоэнгрин» (1850), «Тристан и Изольда» (1865).

260 *Riposte* (фр.) — быстрый ответ, отповедь; быстрый ответный удар.

261 *Ланчелот* — Ланселот Озерный, центральный персонаж средневековых рыцарских романов.

262 Неточная цитата из стихотворения «В застенке», входящего в книгу «Будем как Солнце» (Бальмонт К. Стихотворения, с. 237); в оригинале: «Переломаны кости. Хрустят».

263 Неточно цитируется заключительная строфа стихотворения «Безглагольность» из книги «Только Любовь» (там же, с. 293). Это стихотворение Бальмонта принадлежало к числу наиболее ценимых Белым; то же четверостишие из него Белый приводит в письме к Брюсову (август 1904 г.), см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 377.

264 Неточно цитируется заключительная строфа стихотворения «Далеким близким» («Мне чужды ваши рассуждения...»), вошедшего в книгу «Только Любовь» и впервые опубликованного в «Новом Пути» (1903, № 6, с. 48). См.: Бальмонт К. Стихотворения, с. 290.

265 Знакомство Волошина и Белого состоялось 5 февраля 1903 г. в доме Брюсова. См.: Купченко В. П. Хронологическая канва жизни и творчества М. А. Волошина.— В кн.: Волошин М. Лики творчества. Л., 1988, с. 782.

266 Контаминация сокращенных цитат (Брюсов В. Дневники, с. 130, 135).

267 На Майорке, одном из Балеарских островов в Средиземном море, Волошин побывал в июне 1901 г.

268 Волошин постоянно жил в Париже с апреля 1901 г. до середины января 1903 г.

269 Поступив в 1897 г. на юридический факультет Московского университета, Волошин был в феврале 1899 г. исключен за «агитацию» на год и выслан из Москвы; вторично был арестован

и выслан из Москвы в начале сентября 1900 г. См.: Купченко Вл. Вольнолюбивая юность поэта. М. А. Волошин в студенческом движении.— Новый мир, 1980, № 12, с. 216—223.

[270] В Русской высшей школе общественных наук в Париже Волошин слушал лекции в конце 1901 г.

[271] Подразумевается прежде всего написание О. Уайльдом статьи-трактата «Душа человека» («The Soul of Man», 1894); в русских переводах — «Душа человека при социализме».

[272] Имеется в виду литературное объединение 1880—1890-х годов «Молодая Бельгия» («La Jeune Belgique»), в которое входили лучшие бельгийские писатели того времени, стремившиеся к созданию национально-самобытной литературы.

[273] Образ из стихотворения Волошина «Дождь» (1904), входящего в цикл «Париж»: «В дождь Париж расцветает,//Точно серая роза...» (Волошин М. Стихотворения (Библиотека поэта, малая серия). Л., 1977, с. 55).

[274] См.: «К. Д. Бальмонт читает в Русской школе в Париже лекцию о Шелли». Набросок с натуры Е. С. Кругликовой.— Новое время, иллюстрированное приложение, 1903, № 9671, 5/18 февраля, с. 5.

[275] Речь идет о стихотворении Волошина «В вагоне» (1901) (Волошин М. Стихотворения, с. 43—45), впервые опубликованном в 3-м альманахе «Северные цветы» (М., 1903, с. 106—108).

[276] «Слугой *Личардой верным*» называет себя Смердяков по отношению к Ивану Карамазову («Братья Карамазовы», ч. 4, кн. 11, гл. VIII). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 15. Л., 1976, с. 59, 564, 590 (комментарии В. Е. Ветловской).

[277] Впервые «поэтом-коммивояжером» назвала Волошина З. Н. Гиппиус в статье «Нужны ли стихи?» (Новый Путь, 1903, № 9, с. 250—251; подпись: Антон Крайний).

[278] Эллис и Волошин учились в разных гимназиях: первый — с 1889 по 1897 г. в московской 7-й гимназии (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 311, дело 445), второй — в 1887—1888 гг. в гимназии Л. И. Поливанова, с 1888 по 1893 г. в московской 1-й гимназии и с 1893 по 1897 г.— в Феодосийской гимназии (там же, дело 436). См. также гл. 1, примеч. 98.

[279] *«Гриф»* — употребительное в символистской среде прозвище С. А. Соколова (Кречетова), руководителя издательства «Гриф». Сам Соколов нередко подписывался этим прозвищем в письмах.

[280] В опубликованном тексте цикла стихотворений Белого «Возврат», в котором встречается эпитет «пенно-пирный», однако, такой опечатки нет; напечатано: «Подай им кубки пенно-

пирной влаги» (Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1903, с. 49).

[281] Правка относилась, видимо, к одной из следующих фраз в «Отрывках из 4-ой Симфонии» Белого: «Закат становился бледно-грустен и золотисто-атласен: тухло золотое вино, пролитое на горизонте 〈...〉»; «И Вечность потухла на горизонте» (там же, с. 57, 58).

[282] В 1890-е годы в русской печати фамилия английского писателя транслитерировалась в отдельных случаях как «Вильде» (Wilde). См.: Павлова Т. В. Оскар Уайльд в русской печати начала XX века.— В кн.: Из истории русско-советского международного книжного общения (XIX—XX вв.). Л., 1987, с. 44.

[283] Сохранилось письмо Соколова к Брюсову от 20 сентября 1904 г. с приглашением на спиритический сеанс (ГБЛ, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 16).

[284] Вечер «нового искусства» состоялся в Киеве 4 октября 1907 г. в Киевском городском театре.

[285] Стихотворение «Дровосек» (см.: Кречетов С. Летучий Голландец. Вторая книга стихов. М., 1910, с. 77—78) написано, по всем очевидным признакам, под влиянием стихотворения Белого «Работа» (1904), вошедшего в его книгу «Пепел» и впервые опубликованного (под заглавием «Идиллия», 1-я часть) в «Альманахе к-ва «Гриф» (М., 1905, с. 20). См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 257—258.

[286] Художественный и художественно-критический журнал «Искусство» (редактор-издатель — Н. Я. Тароватый) был начат изданием в начале 1905 г. и прекратился на 8-м номере; в № 5—7 «Искусства» было объявлено, что Соколов принимает ближайшее участие в редактировании литературного отдела.

[287] Деятельность «Грифа» фактически прекратилась в 1914 г., Соколов ушел добровольцем в армию.

[288] Первая жена Соколова — Н. И. Петровская (Соколова). Официально их развод был зарегистрирован в августе 1907 г.; в ноябре 1907 г. Соколов женился на Л. Д. Рындиной (см. дневник Л. Д. Рындиной — ЦГАЛИ, ф. 2074, оп. 1, ед. хр. 2).

[289] Ср.: «...в конце апреля 〈1903 г.〉 состоялась у меня первая вечеринка, на которую я пригласил новых своих «литературных» знакомых; у меня были: Бальмонт, Брюсов, Балтрушайтис, Соколов, Поляков, П. П. Перцов (из Петербурга), Алекс〈андр〉 Койранский, писатель Пантюхов, Петровский, Л. Л. и С. Л. Кобылинские, В. В. Владимиров; с папы мама взяла обещание, что он не станет вступать в спор с *«декадентами»* 〈...〉» (*Материал к биографии*, л. 36 об.).

[290] Георг Брандес выступал в Москве с четырьмя литератур-

ными лекциями в большой аудитории Политехнического музея в конце апреля 1887 г. См.: Шарыпкин Д. М. Творчество Георга Брандеса по русским источникам и материалам.— В кн.: Русские источники для истории зарубежных литератур. Л., 1980, с. 219—221.

[291] Имеется в виду сюжет знаменитой баллады Гете «Лесной царь» («Erlkönig», 1782).

[292] В ретроспективной записи (сделанной 23 февраля 1906 г.) М. И. Пантюхов сообщает: «...я раз был, когда он (Белый.— *Ред.*) в первый раз просил зайти к нему меня, Бальмонта и Брюсова. Кроме нас троих были еще какие-то неизвестные личности, плешивые и не плешивые. В числе плешивых был его отец, странное существо с маленькими глазами, в больших очках, квадратное, добродушное и смешливое. Он занимался почти все время тем, что подбрасывал один под другой клеенчатые кружки из-под стаканов. Только накануне он узнал, что Белый пишет, и прочел его симфонию (по-видимому, ему это было сообщено ввиду нашего прихода).

— «Ничего себе, талантик виден. Но нужно работать. А так можно совсем распасться»,— сказал он.

— «А может быть, прежде чем начать творить, надо распасться»,— заметил почему-то Брюсов.

— «Ну, этак мы можем бог знает до чего дойти»,— сказал старик Бугаев и занялся подбрасываньем кружочков» (Михаил Иванович Пантюхов. Автор повести «Тишина и старик». 1880—1910. Киев, 1911, с. 15).

[293] Ум и творческое дарование И. Коневского Брюсов ценил чрезвычайно высоко. Узнав о гибели Коневского, он писал 15 августа 1901 г. А. А. Шестеркиной: «Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вместе ⟨...⟩ Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит. Теперь такого нет. Теперь в своем творчестве я вполне одинок. Будут восторги, и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто понимал бы мои стихи до конца. Я без Ореуса уже половина меня самого» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 646—647). См. статью Брюсова «Иван Коневской» (в кн.: Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. проф. С. А. Венгерова, т. III. М., 1916, с. 150—163).

[294] См. записи, относящиеся к октябрю 1900 г. (Брюсов В. Дневники, с. 92). О своей склонности к сознательному эпатированию «публики» Брюсов пишет также в письме к Л. Н. Вилькиной (Рождество 1902 г.), см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976, с. 129—130.

[295] В этом письме, обращенном к Белому, Брюсов пишет:

«Я очень извиняюсь перед вами и особенно перед Александрой Дмитриевной за мои излишне злобные слова братьям Кобылинским. Но правда и то, что эти братья (хотя вы их и любите и цените) одни из самых пустых, вздорных и несносных болтунов в Москве» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 357).

[296] Контаминация сокращенных цитат из записей за 1902—1903 гг. (Брюсов В. Дневники, с. 129, 132).

[297] *«Метрополь»* — 5-этажное здание гостиницы на Театральной площади, построенное в 1899—1903 гг. по проекту В. Ф. Валькотта (внутреннее оформление А. Э. Эрихсона, В. А. Веснина и др.).

[298] Популярный «цыганский» романс на текст стихотворения Е. П. Гребенки «Черные очи» («Очи черные, очи страстные...», 1843).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. РАЗНОБОЙ

[1] *Мнемоника* — искусство укрепления памяти; совокупность приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.

[2] Видимо, книга Томаса Джефри Паркера «Лекции по элементарной биологии» (пер. В. Н. Львова — М., 1898; изд. 2-е — М., 1901).

[3] «Курс метеорологии» Д. А. Лачинова, издававшийся в 1889 и 1895 г.

[4] «Основания зоологии» Н. В. Бобрецкого (Киев, 1886; изд. 2-е — СПб.— Киев, 1890).

[5] Подразумевается сюжет басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (1808).

[6] *Абулия* (мед.) — патологическая слабость воли.

[7] *П. П. Сушкин* — академик по Отделению физико-математических наук (зоология) с 1923 г.

[8] *Скорционер* — южноевропейское растение, употребляющееся на корм шелковичным червям, заменяя для северных стран тутовое дерево.

[9] Видимо, книга Леонарда Ландуа «Руководство к физиологии человека, со включением гистологии и микроскопической анатомии» (пер. В. Х. Кандинского — М., 1881).

[10] Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус приехали в Москву на несколько дней 11 мая 1903 г. (см. письмо З. Н. Гиппиус к Брюсову от 7 мая 1903 г.— ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 36). Ср. запись Белого о мае 1903 г.: «...едва не проваливаюсь на метеорологии, потому что в эти дни приезжают Мережковские и я все время провожу у них (иду на экзамен, не осилив толстого

тома *«Метеорологии»* Лачинова); едва не получаю двойки» (*Ракурс к дневнику*, л. 18 об.).

[11] Журнал по метеорологии и климатологии «Климат» выходил в Петербурге в 1901—1904 гг. (редактор-издатель — Н. А. Демчинский).

[12] Фламандский картограф Г. Меркатор является создателем нескольких картографических проекций; его именем названа цилиндрическая равноугольная проекция карты мира, используемая и ныне для морских карт.

[13] Свидетельство об окончании естественного отделения физико-математического факультета Московского университета было выдано Белому 22 мая 1903 г., диплома 1-й степени он был удостоен 28 мая 1903 г. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 305, л. 9, 10).

[14] Позднее, в 1911—1912 гг., Белый также предпринимал попытки продать этот участок земли, но и они не привели ни к какому результату.

[15] *Chapeau-claque* (фр.) — складная шляпа-цилиндр.

[16] Н. В. Бугаев скончался 29 мая 1903 г. Белый вспоминает: «Никогда не забуду этой тишины у изголовья покойника, моей молитвы над ним. Появившийся М. В. Попов констатировал смерть от паралича сердца; это было в начале восьмого» (*Материал к биографии*, л. 38 об.).

[17] Первая строка стихотворения Блока, посвященного С. Соловьеву и датированного 1 апреля 1903 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 274).

[18] Похороны Н. В. Бугаева состоялись 31 мая в Новодевичьем монастыре. Белый вспоминает: «После похорон Г. В. Бугаев устроил поминовение в ресторане «Прага». Вернувшись оттуда, я застал у себя Леонида Дмитриевича Семенова, поэта, писателя, еще студента; он приехал из Петербурга передать мне что-то от Мережковских; и — хотел было уйти; но я оставил его у себя» (*Материал к биографии*, л. 38 об.).

[19] Отец Семенова Дмитрий Петрович Семенов-Тян-Шанский был статистиком, дед по отцу — знаменитый путешественник, ученый и государственный деятель Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. Подробнее о биографии и личности Л. Д. Семенова см.: Л. Д. Семенов-Тян-Шанский и его «Записки». Публикация З. Г. Минц и Э. А. Шубина. Вступительная статья З. Г. Минц.— Труды по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 414). Тарту, 1977, с. 102—146. Л. Семенову посвящена гл. III воспоминаний В. Пяста «Встречи» (М., 1929).

[20] О содержании и направленности споров Белого и Семенова той поры отчасти можно судить по письму Семенова к Белому

от 5 октября 1903 г.— ответному на несохранившееся, по всей вероятности, письмо Белого: «Я не собираюсь и никогда не собирался писать критических статей о Бальм⟨онте⟩, о Брюс⟨ове⟩. Это, по-моему, *теперь* в том же смысле *лишнее* дело, как лишни и они сами. Но Ваше письмо побуждает меня сказать кое-что из того, что я о Вас и о них думаю. Не *нотации* я Вам читаю — Борис Николаевич!— зачем такое обидное слово! ⟨...⟩ Я, может быть, потому и резок — и даже пристрастен, необъективен,— потому что не победил еще в себе Бальмонта и Брюсова, потому что борюсь с ними в себе. Вы пишете мне, что Вы бываете «взорваны», когда Вам начинают говорить о «декадентстве» *извне* ⟨...⟩ Но боже мой! Все мое письмо только и было вызвано желанием, чтобы Вы искусились выйти из этого «декадентства», чтобы Вы хоть раз взглянули на него именно «извне» — проверили бы себя: прорыв ли это к солнцу — или к электрическому фонарю Бальмонта — то, что Вы чувствуете. Не запирайтесь в этом замке «Я» — как Бальмонт, как Брюсов, как раньше их Baudelaire, Verlaine, как до последнего времени Мережковский,— иначе будет время, что и Вы вместо того, чтобы светить и *греть* других, придете к «малым сим» с криком: «Пожалейте, люди добрые, меня» (ГБЛ, ф. 25, карт. 22, ед. хр. 23).

[21] См.: Семенов Л. Собрание стихотворений. СПб., 1905. Блок откликнулся на эту книгу сочувственной рецензией (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М.— Л., 1962, с. 589—593).

[22] Похороны кн. С. Н. Трубецкого, первого выборного ректора Московского университета, известного деятеля либерального направления, состоялись в Москве 3 октября 1905 г. и приобрели характер политической манифестации (за гробом шло около 50 тысяч человек). Белый описал их в некрологе «Князь С. Н. Трубецкой» (Весы, 1905, № 9—10, с. 80).

[23] Об этой полосе жизни Семенова см.: Сапогов В. А. Лев Толстой и Леонид Семенов (об одном корреспонденте Л. Н. Толстого).— Ученые записки Ярославского пед. ин-та им. К. Д. Ушинского, вып. 20. Кострома, 1970, с. 111—128.

[24] Семенов был убит 13 декабря 1917 г. не «белой бандой» и не «кулаками», а грабителями. В. Д. Семенова-Тян-Шанская сообщает: «В этот день ⟨...⟩ брат Леонид поздно вечером с сестрой Соней возвращался к себе домой; подъезжая к дому, его ослепили какие-то светлые вспышки. В доме были чужие, они его встретили выстрелами. Леонид выскочил из саней, взял лошадь под уздцы и хотел ее повернуть, в это время выстрелом из ружья ему был снесен череп... Соня выскочила из саней и без оглядки, через лес побежала на деревню за людьми. Когда поутру приехали из деревни, тело Леонида нашли в овраге со сложенными ру-

ками и закрытыми глазами... Его домик был разорен, ограблен» (частное собрание).

[25] См.: «На рубеже двух столетий», гл. 4, примеч. 180.

[26] Белый выехал в Серебряный Колодезь 12 июня (см. его предотъездное письмо к Брюсову, датированное этим днем: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 358).

[27] Согласно протоколу заседания Московского математического общества от 21 сентября 1904 г., цена за библиотеку Н. В. Бугаева была установлена около 3000 руб. (Математический сборник, 1906, т. 25, вып. 4, с. 710).

[28] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Мало я думал о хлебе насущном: потребностей не было; думал о щебете строк: *«Скорпион»* их печатал; три четверти книги, вняв критике Брюсова, забраковал; и храбрился с налету создать книгу новых стихов» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 25).

[29] Белый пишет об июле 1903 г.: «С этого месяца начинается усиленное изучение мной Канта: я штудирую *«Пролегомены»*, *«Критику чистого разума»*, делаю конспекты; и — рассказываю себе главу за главой *«Критику»* ⟨...⟩» (*Материал к биографии*, л. 40).

[30] Неточная цитата из 1-й части («Пронизала вершины дерев...») трехчастного стихотворения «Вечный зов», написанного в июне 1903 г. в Серебряном Колодезе и вошедшего в «Золото в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 78).

[31] Заключительные строфы стихотворения «Леопардовая лапа» из книги Белого «Зовы времен» (1931) (*Стихотворения и поэмы*, с. 520), соотносящегося с 1-й частью стихотворения «Вечный зов» (1903).

[32] Эта характеристика отражает позднейшую неудовлетворенность Белого первой книгой своих стихов в отношении их поэтической формы. Начиная с 1914 г., он неоднократно перерабатывает тексты из «Золота в лазури», зачастую изменяя их до неузнаваемости.

[33] Заключительные строфы (со сведением восьмистиший в четверостишия) стихотворения «Старый бард» (1931) из книги «Зовы времен». Полный текст стихотворения см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 34—35; Белый Андрей. Стихотворения, т. II. Несобранное, переработанное и неопубликованное. München, 1982, с. 176—177.

[34] Заключительные строки стихотворения «Все тот же раскинулся свод...» (апрель 1902 г.) из цикла «Три стихотворения» (*Стихотворения и поэмы*, с. 81).

[35] В подверженности «врубелизму» Белый сам неоднократно признавался Э. К. Метнеру,— в частности, в письмах к нему от

17 ноября 1902 г. и 3 марта 1903 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 2, 10).

[36] *«Философическая грусть»* — название раздела в книге Белого «Урна» (М., 1909). В данном случае имеется в виду стихотворение «Искуситель» (1908) из этого раздела (см.: *Стихотворения и поэмы*, с. 307—309).

[37] Заключительная строфа стихотворения «Демон» (1908) из раздела «Философическая грусть» (*Стихотворения и поэмы*, с. 313).

[38] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Я смотрел на слепое людское строение...» (5 декабря 1902 г.), посвященного Андрею Белому (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 248).

[39] Первые письма Блока к Белому (3 января 1903 г.) и Белого к Блоку (4 января 1903 г.), написанные до личного знакомства, были отправлены независимо друг от друга. См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Редакция, вступительная статья и комментарии В. Н. Орлова. М., 1940, с. 3—8.

[40] В сокращенном виде цитируется запись Блока от 25 сентября 1908 г. по изданию: «Записные книжки Ал. Блока». Под ред. П. Н. Медведева. Л., 1930. Ср.: Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, с. 114.

[41] Ср.: там же, с. 94.

[42] В сокращенном виде цитируются записи от 1 и 20 августа 1907 г. Ср.: там же, с. 96, 97.

[43] Запись от 26 июня 1908 г. (в сокращении). Ср.: там же, с. 108—109.

[44] Запись от 26 марта 1910 г. (в сокращении). Ср.: там же, с. 169.

[45] Статья Белого «Формы искусства».

[46] Белый подразумевает следующие слова в письме Блока: «Ведь Вы *хотите* слушать музыку *будущего!* Ведь тут вопрос последней важности, который Вы *обошли* в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо *во избежание соблазна* здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалиптическая труба не «искусна» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 3).

[47] Значительного перерыва в переписке тогда не возникло: письма Белого к Блоку от 15 и 19 января 1903 г. связаны с болезнью М. С. Соловьева и смертью Соловьевых, письмо его от 27 января уже вновь посвящено отвлеченным вопросам (там же, с. 14—17).

[48] Блок писал Белому 28 апреля 1903 г.: «Что скажете Вы на то, что я буду от всего сердца просить Вас быть шафером на

свадьбе, и думаю, что у Невесты?» 9 мая Белый ответил благодарностью и согласием (там же, с. 30—31).

[49] См. письмо Белого к Блоку от 14 июля 1903 г. (там же, с. 39).

[50] Имеется в виду философский труд С. Н. Булгакова «Философия хозяйства» (ч. 1—2. М., 1912). См.: «На рубеже двух столетий», Введение, примеч. 39.

[51] Белый имеет в виду свое письмо от 14 июля 1903 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 37—42); оно опубликовано с большой купюрой, включающей рассуждения о цветовой и духовной символике, о соотношении между Христом и Лучезарной Подругой, о втором пришествии и т. п. (автограф — ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 148, л. 27—33).

[52] См. письмо Блока к Белому от 1 августа 1903 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 43—45). В позднейших «Комментариях к моей переписке с Блоком» Белый расценивает это письмо как «не ответ, а *отход* от ответа»: «Это — не ответ мне: не *«гнозис»* гнозиса моего, не отрицание, но и не согласие. Молчание! *«Приглашение»* в первых письмах; и *«отступание»* от моего гнозиса теперь. Hésitation! ⟨Колебание! — ф р.⟩» (Cahiers du Monde russe et soviétique, 1974, vol. XV, № 1—2, p. 101; публикация Жоржа Нива).

[53] Ἰδιότης (др.-греч.) — (индивидуальная) особенность специфического свойства, своеобразие, особая прелесть.

[54] В первоначальном варианте текста далее следовало: «я в ужас пришел от себя, точно старец, увидевши *«пупсика»*, речь свою портит: «В ласядки иглать хочешь, Сясенька?» Эта неискренность от неумения быть на одной ноге с Блоком, которого чтил как поэта, дивясь его каждой строке» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 35).

[55] Цитата — не из письма, а из записи Блока от 26 июня 1908 г., опубликованной в издании «Записных книжек» 1930 года с купюрой (начало этой записи Белый цитирует выше, см. примеч. 43). См.: Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, с. 109.

[56] Статья Белого «Критицизм и символизм. По поводу столетия со дня смерти Канта» была опубликована в «Весах» (1904, № 2, с. 1—13), «Символизм как миропонимание» — в «Мире искусства» (1904, № 5, с. 173—196), «О теургии» — в «Новом Пути» (1903, № 9, с. 100—123). Под «конспектом курса лекций», как явствует из автобиографических записей (*Материал к биографии*, л. 40), Белый понимает «предполагаемую лекцию, состоящую из трех частей»: первые две части — «Критицизм и символизм» и «Символизм как миропонимание», третья часть — «Священные цвета» (см.: *Арабески*, с. 115—129).

[57] В первоначальном варианте текста далее следовало: «переоценка себя, ритмизатора сил молодежи; мне Брюсовы и Мережковские виделись заматерелыми в *«слишком известности»;* но и они вовлекутся, *потом*,— думал я,— в силу взрыва, патроны к которому мы сфабрикуем» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 37).

[58] *«Не тот»* (1903) — стихотворение в 6-ти частях, посвященное В. Я. Брюсову (Белый Андрей. Золото в лазури, с. 27—34).

[59] С. А. Муромцев, один из основателей конституционно-демократической партии, был избран председателем I Государственной думы, открывшейся в апреле 1906 г.

[60] Разрешение на издание в Москве нового «ежемесячного научно-литературного и критико-библиографического» журнала «Весы» было выдано 4 ноября 1903 г. (см.: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы» (К истории издания).— В кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 261), Брюсов уведомил об этом Белого около 10 ноября, приглашая к активному сотрудничеству (там же, с. 370).

[61] Ср. запись об октябре 1903 г.: «...с А. С. Петровским завязываем знакомство с епископом Антонием» (*Ракурс к дневнику*, л. 19 об.).

[62] Таким образом Белый обозначает Н. И. Петровскую, когда касается своих личных отношений с нею. Ср. запись об октябре 1903 г.: «...моя дружба, крепнущая, с Н. И. Петровской, которой внушаю мысли о пути и эзотерике» (там же, л. 19 об.— 20).

[63] Белый вспоминает: «Получаю из Округа место преподавателя естествознания в женском Александровском институте, но — отказываюсь» (там же, л. 20).

[64] *«Sophien-Ausgabe»* — наиболее полное продолжавшееся в то время издание сочинений Гете в 133 томах (Weimar, 1887—1919), предпринятое по заказу герцогини Софии Саксонской.

[65] Статьи «Герберт Спенсер» (Весы, 1904, № 1, с. 52—54) и «Окно в будущее (Оленина-д'Альгейм)» (Весы, 1904, № 12, с. 1—11).

[66] В «Хронике журнала «Мир искусства» (отдельно издававшемся приложении к журналу) были помещены «манифест» Белого «Несколько слов декадента, обращенных к либералам и консерваторам» (1903, № 7, с. 65—67) и хроникальные заметки: «Юлий Цезарь» на сцене Художественного театра» (1903, № 12, с. 121—123) и «Доклад К. Д. Бальмонта в московском Литературно-художественном кружке» (1903, № 15, с. 159—160).

[67] Имеется в виду стихотворение «Преданье» (ноябрь 1903 г.), вошедшее в «Золото в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 123—126).

[68] Рассказ опубликован в «Альманахе «Гриф» (М., 1904, с. 11—18).

[69] «Собрание стихов 1889—1903 г.» З. Н. Гиппиус и «Собрание стихов 1897—1903 г.» Ф. Сологуба вышли в свет в октябре 1903 г., одновременно с «Urbi et Orbi» Брюсова.

[70] Об этом инциденте см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 371—374.

[71] В автобиографических записях о декабре 1903 г. Белый оценивает ситуацию более резко: «...ссора с Гиппиус; приезд Мережковских в Москву; отчуждение от них» (*Ракурс к дневнику*, л. 20 об.).

[72] Ресторан «Альпийская роза» («Alpenrose») на Софийке в доме Аргамакова.

[73] С Т. Г. Трапезниковым, впоследствии искусствоведом и видным музейным работником (см. о нем: Романов Н. Памяти Трифона Георгиевича Трапезникова.— Жизнь музея, 1927, № 3, с. 1—4), Белый сблизился в Мюнхене в августе 1912 г. Будучи, как и Белый, приверженцем антропософии, Трапезников стал одним из его близких друзей во время пребывания в Швейцарии в 1914—1916 гг.

[74] Полный текст стихотворения «Соблазн» (1931) из книги Белого «Зовы времен» (Белый Андрей. Стихотворения, т. II. Несобранное, переработанное и неопубликованное, с. 100—101, 212), представляющего собой вариацию на тему 2-й части стихотворения «Не тот» (см. выше, примеч. 58).

[75] Ср. запись об октябре 1903 г.: «Читаю свой реферат *«Символизм как миропонимание»* у себя. Он ложится в основу лозунга, провозглашенного Эллисом: «Мы — символисты-аргонавты, ищущие *«Золотого Руна»* ⟨...⟩ образуются у меня наши аргонавтические, весьма бурные воскресенья» (*Ракурс к дневнику*, л. 19—19 об.).

[76] Первые строки стихотворения Блока, датированного 25 декабря 1902 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 252).

[77] Николай Иванович и Михаил Иванович Сизовы.

[78] *Мать* В. В. Владимирова — Евдокия Ивановна Владимирова, *сестры* — Екатерина Васильевна и Анна Васильевна Владимировы.

[79] Н. Я. Абрамович (Н. Кадмин) стал одним из ведущих литературных критиков петербургского журнала «Образование» в последние годы его издания (прекратившегося в 1909 г.).

[80] См.: Белый Андрей. Розовые гирлянды. По поводу смерти Борисова-Мусатова.— Золотое руно, 1906, № 3, с. 63—65; *Арабески*, с. 369—372.

[81] Перечисляются персонажи условно-символической драмы Л. Н. Андреева «Жизнь Человека» (1907).

[82] *«Уймитесь, волнения страсти»* — первая фраза романса М. И. Глинки «Сомнение» на слова Н. В. Кукольника. 3-я часть 4-й «симфонии» Белого «Кубок метелей» озаглавлена: «Волнения страсти».

[83] Барон Павел Павлович Тодрабе-Граабен, дядя Кати Гуголевой, героини романа «Серебряный голубь» (1909).

[84] П. А. Флоренский учился на физико-математическом факультете Московского университета в 1900—1904 гг. См.: Половинкин С. М. О студенческом математическом кружке при Московском математическом обществе в 1902—1903 гг.— В кн.: Историко-математические исследования, вып. 30. М., 1986.

[85] О декабре 1903 г. Белый вспоминает: «Появление у меня 3-х студентов — Флоренского, Эрна, Свентицкого; и мое вступление в религиозно-философский студенческий кружок» (*Ракурс к дневнику*, л. 20 об.).

[86] В. Ф. Эрн был близким другом Вяч. Иванова, особенно в 1910-е годы (последние годы жил в московской квартире Ивановых, где и умер). См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 470—471; Иванов Вячеслав. Собр. соч., т. III. Брюссель, 1979, с. 524—525, 833.

[87] От Флоренского, в частности, исходила инициатива привлечения Белого к журналу, задуманному в студенческом религиозно-философском кружке. В письме к Белому от 21 мая 1904 г. Флоренский сообщает об этом нереализованном замысле: «...мы, наш кружок, собираемся впоследствии издавать журнал — нечто вроде органа «ордена». Журнал должен быть посвящен вопросам религии, причем можно подступаться со всех сторон к ним: от философских и мистических произведений до научных и исторических, включая чисто поэтические (напр⟨имер⟩, как Ваши стихи) ⟨...⟩ Наша задача — дать заранее обдуманный и единый по настроению периодический орган, который имел бы временное значение, а сохранял бы ценность как книга. ⟨...⟩ Конечно, Вы нас мало знаете; но если Вы не имеете ничего против, то, может быть, захотите присоединиться к нам и приготовлять за этот срок что-ниб⟨удь⟩ в указанной рамке ⟨...⟩ никто не станет гнуть Вас по-своему и ломать, а главное, не станет бояться специальной или трудной работы. Ваши литературные произведения будут принимаемы с еще большей охотой» (ГБЛ, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 18). Вспоминая о конце 1904 г., Белый отмечает «осо-

бенную близость с Флоренским в этот период» (*Ракурс к дневнику,* л. 26).

[88] Книга С. А. Котляревского «Ламеннэ и новейший католицизм» (М., 1904). См. рецензию на нее в «Весах» (1904, № 6, с. 59—60; подпись: В. С.).

[89] Выражение восходит к эпизоду из Книги Пророка Даниила (III, 19—28): три отрока были ввержены в раскаленную печь, но, охраняемые ангелом, остались там невредимыми.

[90] Эпизоды из Деяний Святых Апостолов: явление Господа Савлу на пути в Дамаск во внезапном осиянии небесным светом (IX, 3—6), внезапная смерть Анании, уличенного Петром во лжи перед Богом (V, 1—5).

[91] *Энесы* — члены Народно-социалистической партии, созданной осенью 1906 г. (с июня 1917 г.— Трудовая народно-социалистическая партия).

[92] *Самуил* — пророк, последний из Судей Израилевых, увещевавший свой народ отринуть иноземных богов и служить одному Господу (1-я Книга Царств, VII, 3—4).

[93] Македония в начале XX в. оставалась под властью Турции. К августу — сентябрю 1903 г. относится македонское национально-освободительное (Илинденское) восстание против турецкого ига, провозгласившее республику и подавленное турецкими войсками.

[94] Эта размолвка относится, по всей вероятности, к зиме 1904—1905 г. 15 июля 1905 г. Флоренский писал Белому в этой связи: «Хотя Вы, кажется, и сердитесь на меня за наши разногласия этою зимою и хотя в *результатах* наших действительно разногласия, но я все-таки считаю Вас так близким к себе и по цели, и даже по путям, что пишу. Близким считаю потому, что знаю одинаковость наших основных настроений (сказочность) и исходных пунктов развития» (ГБЛ, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 18).

[95] См.: Флоренский П. Спиритизм как антихристианство.— Новый Путь, 1904, № 3, с. 158—167.

[96] После окончания в 1908 г. Московской духовной академии и принятия (в 1911 г.) сана священника Флоренский являлся профессором кафедры истории философии Московской духовной академии, в 1918—1920 гг. работал ученым секретарем и хранителем ризницы в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад).

[97] Об осени 1903 г. Белый вспоминает: «...я в себе ощущал в то время потенции к творчеству *«ритуала»*, обряда; но мне нужен был помощник или, вернее говоря, помощница — *sui generis* гиерофантида; ее надо было найти; и соответственно подготовить; мне стало казаться, что такая родственная душа — есть: Нина Ивановна Петровская. Она с какой-то особою чуткостью относи-

лась ко мне. Я часто к ней стал приходить; и — поучать ее»; «Моя тяга к Петровской окончательно определяется; она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я самое чувство влюбленности в меня стараюсь претворить в мистерию ⟨...⟩ я не знаю, что мне делать с Ниной Ивановной; вместе с тем: я ощущаю, что и она мне нравится как женщина; трудные отношения образуются между нами» (*Материал к биографии,* л. 41 об.— 42).

[98] Ср. характеристику психологического облика Петровской в мемуарном очерке Ходасевича о ней («Конец Ренаты»): «Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества — ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни»; «...лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны»; «Жизнь свою она сразу захотела *сыграть* — и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства» (Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 9, 12, 13).

[99] Ефим Львович Янтарев. См. письма Петровской к нему (ЦГАЛИ, ф. 1714, оп. 3, ед. хр. 3).

[100] Петровская покончила с собой в Париже, отравившись газом, в ночь на 23 февраля 1928 года. См. некролог, написанный, по всей вероятности, В. Ходасевичем (Дни, 1928, № 1340, 25 февраля).

[101] *Эриннии* (эвмениды; греч. миф.) — три богини мести (Алекто, Тисифона, Мегера).

[102] Отношениями с Н. И. Петровской, завязавшимися в 1904 г., непосредственно навеяны стихотворения разделов «На Сайме» и «Из ада изведенные» в книге Брюсова «Στέφανος. Венок», вышедшей в свет в декабре 1905 г.

[103] Над романом «Огненный ангел» Брюсов работал с лета 1905 до лета 1908 г.; в письмах к Петровской (июль 1905 г.) он называл это произведение «*Твой* роман» (ГБЛ, ф. 386, карт. 72, ед. хр. 12). Подробнее см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный ангел».— Wiener slawistischer Almanach, 1978, Bd. 1, S. 79—107; Bd. 2, S. 73—96; Бенькович М. А. «Огненный ангел» Валерия Брюсова (этап интеллектуальной дуэли).— В кн.: Из истории русской литературы и литературной критики. Кишинев, 1984, с. 18—36.

[104] Белый намекает на изменение в характере своих отношений с Петровской, происшедшее в конце января — начале февраля 1904 г.: «...произошло то, что назревало уже в ряде месяцев,— мое падение с Ниной Ивановной; вместо грез о мистерии,

братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того,— я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все, происшедшее между нами,— есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение; я видел, что у нее ко мне — глубокое чувство, у меня же — братское отношение преобладало; к нему примешалась чувственность; не сразу мне это стало ясно, поэтому не сразу все это я мог поставить на вид Нине Ивановне; чувствовалось — недоумение, вопрос; и главным образом — чувствовался срыв: я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами — Христос; она — соглашалась; и — потом, вдруг,— *«такое»*. Мои порывания к мистерии, к *«теургии»* потерпели поражение» (*Материал к биографии,* л. 42 об.— 43).

[105] Белый выехал в Нижний Новгород к Э. К. Метнеру 17 марта 1904 г., в начале апреля возвратился в Москву. Перед отъездом он писал матери: «...мне лучше на недельку уехать к Метнеру. Там я и поговею, а то здесь мне будет трудно говеть, потому что, говея, я должен буду подтвердить свои данные богу обещания стоять на страже зарождающегося религиозного искания» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 358).

[106] Поначалу отзывы Брюсова о Петровской носили достаточно иронический характер. Ср. его дневниковую запись (весна 1904 г.), опущенную в опубликованном тексте: «Нина Петровская предалась мистике... А Белого мать, спасая от «развратной женщины», послала на Страстную неделю в Нижн⟨ий⟩ Новг⟨ород⟩. Сам он исхудал и серьезно поговаривает, как хорошо бы поступить в монастырь» (ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16).

[107] Ср. пояснительные пометы Брюсова в черновиках «Огненного ангела»: «Преимущ⟨ественно⟩ о Белом»; «Понял, что ее любовь — истерия, не ко мне, не к Б. Н., а вообще» (ГБЛ, ф. 386, карт. 32, ед. хр. 2, л. 55; ед. хр. 9, л. 2).

[108] Контаминация сокращенных цитат из статьи «Песнь жизни» (1908).

[109] Ср. запись Белого, относящуюся к июлю 1904 г.: «В Москве я резко рву все с Ниной Ивановной ⟨...⟩» (*Материал к биографии,* л. 48).

[110] Опера К.-В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1762).

[111] Слова Эвридики в диалогическом стихотворении Брюсова «Орфей и Эвридика» (1904) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 385). Сюжет этого стихотворения Белый проецировал на взаимоотношения Брюсова и Петровской; сохранился его карикатурный рисунок, изображающий Брюсова, влекущего за собой Петровскую (нарисованную на черном фоне); подпись к ри-

сунку: «Орфей и Эвридика» (см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 387).

[112] Инцидент, отраженный в записи Брюсова, произошел в начале декабря 1903 г.

[113] Брюсов изображает Агриппу Неттесгеймского в гл. VI «Огненного ангела». См. также статьи Брюсова «Оклеветанный ученый», «Легенда о Агриппе», «Сочинения о Агриппе и источники его биографии» в кн.: Агриппа Неттесгеймский. Знаменитый авантюрист XVI века. Пер. Б. Рунт. Под ред., с введением и примечаниями В. Брюсова. М., 1913.

[114] Начало этой «полосы» в отношениях с Брюсовым Белый относит к маю 1904 г.: «...в это время Н. И. начинает дружить с Брюсовым, который сильно в нее влюбляется» (*Материал к биографии*, л. 46).

[115] Цитата из стихотворения «Бальдеру Локи» (ноябрь 1904 г.) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 389). Стихотворение было послано Брюсовым Белому в пору их наиболее острого духовно-психологического противостояния. Сохранились несколько рисунков Белого, созданных под впечатлением этого послания (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, между с. 144—145, 176—177), на одном из них Брюсов обеими руками простирает стрелу к Белому, поднимающемуся из постели, к изображению Брюсова приписаны строки из «Бальдеру Локи»: «Вскрикнешь ты от жгучей боли,//Вдруг повергнутый во мглу»; подпись под рисунком: «Чем занимается [великий] чумоносный человек, когда остается одия».

[116] В «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» (1921) Белый так характеризует общую тональность своих отношений с Брюсовым в 1904 г.: «...происходят мои очень частые встречи и разговоры с В. Я. Брюсовым, носящие характер той остроты и напряженности, какою отмечено в то время мое общение с ним, встречи, оставившие в душе не одну тяжелую рану. Стиль нашего умственного поединка с Брюсовым носил один характер — я утверждаю: «свет победит тьму». В. Я. отвечает: «мрак победит свет, а вы погибнете» (Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 293).

[117] В неотправленном письме к З. Н. Гиппиус (датированном «1907, Страстная неделя» — т. е. 16—22 апреля) Брюсов описывает этот же инцидент: «На лекции Б⟨ориса⟩ Ник⟨олаевича⟩ подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и *спустила курок*. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф (С. А. Соколов.— *Ред.*), Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не ис-

пытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно,— совсем как в лермонтовском «Фаталисте». И, следовательно, без благодетельной случайности или воли божьей Вы совершенно просто могли получить, вместо этого письма от Скорпиона, конверт с траурной каймой» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 694). Этот же случай описывает в своих мемуарах «Невозвратные дни» Л. Д. Рындина: «Роман Нины Петровской с Брюсовым становился с каждым днем трагичнее. На сцене появился алкоголь, морфий. Нина грозила самоубийством, просила ей достать револьвер. И как ни странно, Брюсов ей его подарил. Но она не застрелилась, а, поспорив о чем-то с Брюсовым в передней литературного кружка, выхватила револьвер из муфты, направила его на Брюсова и нажала курок. Но в спешке не отодвинула предохранитель, револьвер дал осечку. Стоявший с ней рядом Гриф выхватил из ее рук револьвер и спрятал его себе в карман. К счастью, никого постороннего в этот момент в передней не было. Потом этот маленький револьвер был долго у меня» (ЦГАЛИ, ф. 2074, оп. 2, ед. хр. 9, л. 11). Об этом же инциденте сообщает и В. Ходасевич в «Некрополе» (с. 19).

[118] Об осени 1904 г. Белый вспоминает: «...острейшие разговоры с Брюсовым, будто клещами впившегося в мой внутренний мир; меня осеняет вдруг мысль: состояние мрака, в котором я нахожусь,— гипноз; Брюсов меня гипнотизирует; всеми своими разговорами он меня поворачивает на мрак моей жизни» (*Материал к биографии*, л. 50).

[119] Заключительные строки первой части стихотворения «Безумец» (март 1904 г.) из «Золота в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 142).

[120] Заключительные строки стихотворения «Успокоение» в ранней редакции, опубликованного в составе цикла Белого «Тоска о воле» (Альманах к-ва «Гриф». М., 1905, с. 11—12); позднее эти строки вошли в стихотворение «В темнице» (2-я строфа), впервые опубликованное в книге Белого «Пепел», с датировкой: 1907 (*Стихотворения и поэмы*, с. 244). В книге Белого «Стихотворения» (Берлин — Пб.— М., 1923) стихотворение «В темнице» датировано: «1904 г. Март. Москва» (с. 96).

[121] Цитата из стихотворения Белого «Успокоение» в редакции, впервые опубликованной в «Пепле» с датировкой: 1904—1906. См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 243.

[122] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Все кричали у круглых столов...» (25 декабря 1902 г.) (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 252).

[123] Наиболее подробно Белый описал пребывание Блока и Л. Д. Блок в Москве 10—24 января 1904 г. в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, I, с. 187—229); см. также главу «А. А. Блок в Москве» в «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» Белого, первоначально напечатанных в «Записках мечтателей» (Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 231—246).

[124] Заключительные строки стихотворения «Брожу в стенах монастыря...» (11 июня 1902 г.) (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 198).

[125] Блок жил на Петербургской набережной (Петербургская сторона) в здании офицерской казармы лейб-гвардии Гренадерского полка (где служил его отчим, Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух) с 1889 по 1906 г.

[126] В издании «Письма Александра Блока к родным» (〈т. 1.〉. Л., 1927) цитируемое письмо Блока к матери от 14—15 января 1904 г. (с. 101—107) и последующее его письмо к ней от 19 января из Москвы приведены с многочисленными купюрами. Ср.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М.— Л., 1963, с. 81.

[127] Ср.: там же, с. 82 (описания относятся к 11 января).

[128] Ср.: там же, с. 81.

[129] К 1-му номеру «Весов» прилагался каталог издательства «Скорпион» с материалами рекламного характера и портретами авторов, изданных «Скорпионом».

[130] Ср. написанное Соловьевым под впечатлением московских встреч с Блоком юмористическое стихотворение (послано Блоку 18 февраля 1904 г.), начинающееся строками:

Мережковскому отдыха нет:
С Зинаидой трепещут, как листики.
Зимней ночью, в дому Марконет
Собрались христианские мистики.

(Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 366.)

[131] Цитаты из письма Блока к матери от 14—15 января 1904 г. См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 81, 82.

[132] См.: Бугаев Борис. На перевале. VI. Против музыки.— Весы, 1907, № 3, с. 57—60.

[133] Раздраженные отзывы Блока об Аничкове зафиксированы в его дневниковых записях от 17 и 19 октября 1911 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7. М.— Л., 1963, с. 71, 73).

[134] Мария Николаевна и Игорь Александрович Кистяковские.

[135] Подробнее об отношениях Блока и Эллиса см.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 2, с. 273—291.

[136] Контаминация цитат (некоторые в сокращении) из писем Блока к матери от 14—15 и 19 января 1904 г. Ср.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 82—88.

[137] Строка из стихотворения Блока «Сторожим у входа в терем...», открывающего цикл «Молитвы» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 316); название «Аргонавты» у Блока не встречается, однако цикл навеян впечатлениями от общения с Белым и его ближайшим окружением.

[138] Сокращенная цитата из письма Блока к матери от 19 января 1904 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 88).

[139] Стихотворение «Поединок» («Из дали грозной Тор воинственный...»), написанное в октябре 1903 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 114—115).

[140] Незадолго до приезда в Москву написанные стихотворения Блока — «Фабрика» (24 ноября 1903 г.) и «Из газет» (27 декабря 1903 г.).

[141] Подразумевается стихотворение Блока «Шаги Командора» (1912).

[142] Цитата из письма Блока к матери от 14—15 января 1904 г. (описываемое чтение — 11 января). Ср.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 82.

[143] Ср.: там же, с. 87 (цитата из письма от 19 января).

[144] Контаминация сокращенных цитат из статьи Блока «Ирония» (1908); текст приводится по изданию: Блок А. Собр. соч., т. 7. Берлин, Эпоха, 1923, с. 107—113. Ср.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 345—346.

[145] Ср.: там же, с. 349.

[146] Цитата из статьи «Обломки миров», впервые опубликованной в «Весах» в 1908 г. (№ 5).

[147] Сокращенная цитата из статьи «Символический театр», впервые опубликованной 28 сентября 1907 г. в газете «Утро России». См.: *Арабески*, с. 311.

[148] Это произошло 16 января.

[149] Ср.: там же, с. 84. Поездка к епископу Антонию — 14 января.

[150] Сокращенная цитата. Ср.: там же, с. 82—83.

[151] Сокращенная цитата. Ср.: там же, с. 83—84.

[152] Сокращенная цитата. Ср.: там же, с. 84.

[153] В «Письмах Александра Блока к родным» эта фраза из письма от 14—15 января была опубликована с купюрой: «Мы и здешних-то ...... сторонимся» (с. 106),— что позволило Белому сделать вывод о двойственном отношении Блока к его московским встречам и знакомствам; однако смысл фразы у Блока совершенно иной: «Мы и здешних-то родных сторонимся» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 84—85).

[154] Фрагменты сообщений о 16-м января (т а м ж е, с. 86).

[155] Написано Блоком 15 января (т а м ж е, с. 85).

[156] Сокращенная цитата (т а м ж е, с. 86). Вечер у Соколова — 16 января. Об отношениях Блока с Соколовым см.: Переписка Блока с С. А. Соколовым. Предисловие, публикация и комментарии К. Н. Суворовой.— В кн.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 527—551.

[157] *Ce qu'on appelle histoire* (ф р.) — что называется, история. Выражение, возможно, навеяно Белому разговором двух дам в гл. девятой 1-го тома «Мертвых душ»: «Ведь это история, понимаете ли: история, сконапель истоар»,— говорила гостья 〈...〉» (Г о г о л ь Н. В. Полн. собр. соч., т. VI. [Л.], 1951, с. 182).

[158] Первые строки стихотворения Блока (см. выше, примеч. 122).

[159] Μυστήριον (д р.-г р е ч.) — тайное священнодействие, таинство; ϑηρ, Θηρός — хищный зверь, животное. В статье «На перевале. XIV. Искусство и мистерия» (1906) Белый писал: «...гора родила мышь. Начинаешь понимать, что слово μ υ σ τ ή ρ ι ο ν произошло от существенного μῦς (мышь), а не от глагола μύειν (молчать), ибо люди, провозгласившие тайну действенного молчания, говорили об этом на всех перекрестках 〈...〉» (*Арабески*, с. 321).

[160] Сокращенные цитаты из статьи «На перевале. XIV. Искусство и мистерия», впервые опубликованной в 1906 г. в «Весах» (№ 9).

[161] Сообщение о 17-м января (Б л о к А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 86).

[162] См. выше, примеч. 121.

[163] Цитата из стихотворения Блока «Все кричали у круглых столов...» (см. выше, примеч. 122).

[164] Заключительные строки 3-го стихотворения («Суждено мне молчать...») цикла «Блоку» (1903), вошедшего в «Золото в лазури» (*Стихотворения и поэмы*, с. 148). Стихотворение было послано Белым Блоку (с другим заключительным четверостишием) 24 октября 1903 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 55—56).

[165] Неточная цитата из стихотворения Блока «Так. Я знал. И ты задул...» (1 ноября 1903 г.), посвященного Белому (Б л о к А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 297) и посланного ему (в несколько иной редакции) при письме от 8 или 9 ноября 1903 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 62—63); в этом автографе стихотворению предпослан эпиграф из Белого: «Образ Возлюбленной — образ Возлюбленной — Вечности».

[166] Неточно цитируются первые строки стихотворения «Шоссе» (август 1904 г.), впервые опубликованного в составе цикла «Тоска о воле» в «Альманахе к-ва «Гриф» (М., 1905, с. 13—14) и затем вошедшего в «Пепел»; 1-й стих во всех изданиях: «За мною грохочущий город». См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 161—162.

[167] В «Воспоминаниях об Александре Блоке» (1925) С. М. Соловьев пишет: «И теперь еще в начале Спиридоновки, недалеко от Большого Вознесения, можно видеть белый двухэтажный дом, принадлежавший братьям Марконет. Когда-то в уютной квартире первого этажа собиралось большое и веселое общество у моего дяди А. Ф. Марконета. 〈...〉 В квартире жила только старая кухарка Марья. За неимением места у меня, я предложил Блоку остановиться в квартире Марконет. 〈...〉 В тот же день Блок переехал на Спиридоновку, и в течение нескольких недель почти каждый вечер мы собирались в пустой квартире Марконет и просиживали с Блоком до глубокой ночи» (Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 117—118).

[168] Пушкин и Н. Н. Гончарова венчались 18 февраля 1831 г. в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской улице, рядом со Спиридоновкой.

[169] *Виттихен* — одна из героинь драматической сказки Г. Гауптмана «Потонувший колокол» (1896), у нее «седая непокрытая голова; лицом она скорее походит на мужчину, чем на женщину; подбородок оброс пушком». «Потонувший колокол» был поставлен в Московском Художественном театре (премьера — 19 октября 1898 г.).

[170] Встреча Блока с кружком религиозных философов состоялась не перед отъездом Блока из Москвы, а 15 января, судя по его записи, сделанной в этот день: «Религиозное собрание в частном доме (Бугаевский реферат, читал стихи)» (Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, с. 59). Ср. воспоминания Белого о январе 1904 г.: «Читаю реферат «Символизм и религия» в религ〈иозно〉-фил〈ософском〉 кружке у Эрна» (*Ракурс к дневнику*, л. 21).

[171] В последние дни пребывания Блока в Москве (22—24 января) Белый встречался с ним ежедневно; см.: там же, с. 59—60.

[172] Ср.: «Обстоятельство совсем непредвиденное: между Ниной Ивановной и мамой происходит столкновение, в котором и мама, и Н. И. каждая по-своему и правы и не правы» (*Материал к биографии*, л. 45).

[173] Русско-японская война началась в конце января 1904 г.

[174] См. выше, примеч. 105. Ср.: «Потрясенный всеми несчастиями, сбегаю в Нижний к Метнеру; две недели идет ревизия

и перепроверка всех позиций, начало которых — 1900 год» (*Ракурс к дневнику*, л. 22 об.).

[175] Белый пишет о совершившемся тогда переломе в своем мироощущении: «В Нижнем я оправляюсь несколько от ряда ударов, нанесенных моим утопиям о мистерии, многострунности в органически развертываемой новой общественности, к которой должен причалить *«Арго»* символизма. Возвращаюсь из Нижнего, опустив забрало: лозунг *«теургия»* спрятан в карман; из кармана вынут лозунг: *«Кант»* (*Почему я стал символистом*, с. 41).

[176] Важнейшие произведения иенского романтизма — повесть Фридриха Шлегеля «Люцинда» (1799) и роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (издан в 1802 г.).

[177] Белый вспоминает: «...знакомлюсь близко с навещающим Метнера чуть ли не каждый вечер Андреем Павловичем Мельниковым, сыном Мельникова-Печерского; он, как и отец его, знаток раскола; он много рассказывает нам с Метнером о жизни сектантов Семеновского уезда» (*Материал к биографии*, л. 45).

[178] Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 17 апреля 1904 г.: «Гостил у меня на Страстной Бугаев. ⟨...⟩ Целую неделю мы с ним захлебывались. Не передать, о чем мы с ним переговорили. ⟨...⟩ Он — вырождающийся. Он — гений. Он отнюдь не Гете, даже не Пушкин, а разве Шиллер или Лермонтов (отнюдь не Байрон). Он аристократ. Мать его незаконнорожденная князя X. (забыл фамилию, но рюриковичи)» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 103—103 об.). 1 апреля 1904 г. Метнер писал из Нижнего Новгорода А. С. Петровскому: «Бугаева я поберег. Он у нас поправился. Говорили мы с ним без умолку с утра до ночи (иногда очень поздней). Его гений начинает принимать в моих глазах очертания довольно определенные» (ГБЛ, ф. 167, карт. 16, ед. хр. 8).

[179] Вяч. Иванов приехал в Москву из-за границы, где он тогда жил постоянно, в конце марта 1904 г.; к этому времени относится его знакомство с кругом московских символистов.

[180] См. рецензию Брюсова на первую книгу стихов Вяч. Иванова «Кормчие звезды» (СПб., 1903) (Новый Путь, 1903, № 3, с. 212—214).

[181] Личное знакомство Брюсова и Иванова состоялось в Париже 29 апреля 1903 г. на лекции Иванова, читавшего курс о религии Диониса в Русской высшей школе общественных наук. См.: Брюсов В. Дневники, с. 132; Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 428.

[182] Неточные сведения. Первой женой Иванова была с 1886 г. Дарья Михайловна Дмитриевская; Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал (в первом браке — Шварсалон) стала его второй женой. С нею Иванов познакомился и сблизился в 1893 г. во Фло-

ренции, где она проводила лето с детьми (Иванов с женой и дочерью жил тогда в Риме). Развод Иванова с Дарьей Михайловной был оформлен в 1895 г., однако «муж Лидии отказал ей в разводе, и юридическое расторжение брака, в действительности давно не существовавшего, потребовало многих лет и сложнейших процедур. В ожидании возможности венчаться Вячеслав и Лидия должны были скрываться и прятать детей Лидии, которых отец их угрожал и пытался похитить. Началась пора скитаний. Странствовали они по Италии, Франции, Англии, Швейцарии; заезжали и на родину для свидания с родными, но на родину приезжали врозь и без детей» (Д е ш а р т О. Введение.— В кн.: И в а н о в Вяч. Собр. соч., т. I. Брюссель, 1971, с. 30—31). Свадьба Иванова и Зиновьевой-Аннибал состоялась в 1899 г. в Ливорно в греческой церкви.

[183] Иванов учился в Берлинском университете под руководством Т. Моммсена во второй половине 1880-х годов, написал в его семинарии исследование о податном устройстве Древнего Египта. См. «Автобиографическое письмо» Иванова (в кн.: Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. С. А. Венгерова, т. III, кн. 8. М., 1916, с. 91).

[184] Диссертацию о государственных откупах в Риме Иванов представил Берлинскому университету в 1895 г. Эта работа издана: «De societatibus vectigalium publicorum populi Romani» (Ex actis Societatis Archaelogicae, vol. VI). Petropoli, 1910.

[185] Имеется в виду прежде всего исследование Иванова «Эллинская религия страдающего бога», печатавшееся в 1904 г. в «Новом Пути» (№ 1—3, 5, 7) и в 1905 г. в «Вопросах жизни» (№ 6, 7; под заглавием «Религия Диониса. Ее происхождение и влияния»). См. также: И в а н о в Вяч. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. Анализу этих штудий Иванова посвящена статья Н. В. Брагинской «Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова» (в кн.: Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988, с. 294 — 329).

[186] *Элевсинские мистерии* — ежегодные религиозные праздники в Аттике (Древняя Греция) в честь богинь Деметры и Персефоны; в ритуал входили магические обряды, пантомима, рецитация священных текстов.

[187] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Мне, недавно еще пережившему ужас «мистерий» арбатских с чудовищными посиденьями в грифской гостиной, разбитому, точно ободранному, убегавшему в Нижний, вернувшемуся, чтобы твердой рукой ликвидировать все «козловаки»,— явленье Иванова, пока я с ним не увиделся, не успокоился, что он в ближайшие дни не намерен «мистерий» чинить,— было: бред! И тем

более бред, что подобные Мишеньке Эртелю» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 109).

[188] Знакомство Белого и Иванова состоялось в начале апреля 1904 г.; поскольку Белый упоминает о «праздничном дне», можно предположить, что это произошло в первое послепасхальное воскресенье (Красная Горка) — 4 апреля.

[189] В первоначальном варианте текста далее следовало: «как на экзамене — строжайший, назойливый — под формой ласковости, под сверлящим прозором зеленых, безброво мигающих, зорких, каких-то недобрых порой, его глазок; всем жестом я как бы за кресло присел от него; он вытаскивал; я — от него; он — за мной; топотали кромешными мы лабиринтами; таки настиг: он же» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 111).

[190] Подразумевается строка «Мир разлук,— семи разлук свирель» из стихотворения Иванова «Хмель» (Иванов Вяч. Прозрачность. Вторая книга лирики. М., 1904, с. 37).

[191] В первоначальном варианте текста далее следовало: «от всякого кукиша, и, проливая испарину, тщился сей сорокалетний и старообразный от образа жизни мужчина, надев рубашоночку, загалопировать вместе с Койранским, коль этот последний предложит галоп; и бескостная мягкость не нравилась многим:

— «Очень пронырлив» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 112).

[192] Памятник К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре у Никитских ворот был установлен в 1923 г. (скульптор С. Д. Меркуров, архитектор Д. П. Осипов).

[193] *Chalet* (фр.) — хижина (в Швейцарии); деревянная дача, домик в швейцарском вкусе. Иванов постоянно жил на вилле Жавá в Шатлене, близ Женевы, до весны 1905 г.

[194] В первоначальном варианте текста далее следовало: «и десять лет — никого: Вячеслав лишь Иваныч фонтанит Дионисом; Лидия Дмитриевна — монологами драмы своей бурнопламенной «Кольца».

«⟨En deux⟩» минус прочие,— В. И. Иванов цвел, перерождаясь в простого, уютного, любвеобильного мужа и очаровательного собеседника; Лидия Дмитриевна трубным голосом, как камертон, превращала звук тем В. Иванова из деритона в звук скрипки, сработанной опытностью Страдивариуса; я заслушался неповторимой симфонии, как-то попав в номер к ним.

И я понял: Ивановы — будущее; не объедешь никак их» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 114).

[195] Вновь Белый общался с Ивановым в Москве в конце весны — начале лета 1905 г., после возвращения Иванова из Швейцарии. Ср. запись о мае 1905 г.: «...приезд в Москву Вячеслава

Иванова 〈...〉 Бурные прения на моих воскресеньях (с участием Иванова)» (*Ракурс к дневнику*, л. 28 об.).

[196] В. Ф. Эрн гостил у Ивановых в Швейцарии в начале 1905 г. См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 470.

[197] Иванов и Зиновьева-Аннибал поселились в Петербурге на Таврической улице (д. 25, кв. 24, ныне д. 35) в июле 1905 г. См.: там же, с. 476.

[198] Таврический дворец, построенный в конце XVIII в. для кн. Г. А. Потемкина-Таврического (архитектор И. Е. Старов), в 1906 г. был передан для заседаний Государственной думы.

[199] См.: Кобак А., Северюхин Д. «Башня» на Таврической (биография дома).— Декоративное искусство, 1987, № 1, с. 35—39.

[200] Белый искаженно указывает фамилию подруги юности Зиновьевой-Аннибал и многолетней домоправительницы семьи Ивановых — М. М. Замятниной.

[201] Портрет Иванова работы К. А. Сомова создан в 1906 г.

[202] Слова Пилата о Христе (Евангелие от Иоанна, XIX, 5).

[203] Мелхиседек, царь Салимский, «священник Бога всевышнего», благословивший Аврама (Бытие, XIV, 18—19).

[204] Начало тесного общения Блока с Ивановым относится к декабрю 1905 г., когда Белый около трех недель провел в Петербурге. См.: *Эпопея*, II, с. 288.

[205] *«Факелы»* — петербургский альманах, инициатором издания которого был Г. И. Чулков; в 1906—1908 гг. вышло три выпуска «Факелов», второй из них — теоретический, объединявший статьи приверженцев «мистического анархизма» и близких к этому идейному течению критиков и публицистов.

[206] *«Оры»* — издательство, основанное в Петербурге Вяч. Ивановым в 1906 г.; печатало книги писателей из ближайшего окружения Иванова.

[207] Ср. одно из первых печатных свидетельств о еженедельных собраниях на «башне» Иванова в обозрении Конст. Эрберга «Художественная жизнь Петербурга»: «Интерес, проявленный к этим «средам» в кругу литераторов, художников, артистов и музыкантов преимущественно нового направления, а также среди некоторых представителей официальной науки, следует отнести не только к личным качествам радушных и высококультурных хозяев. Большая доля успеха собраний у Вяч. Иванова лежит в несомненно назревшей у нас необходимости обмена мнений между представителями разных областей искусства и науки» (Золотое руно, 1906, № 4, с. 80). В своем отчете Эрберг перечислил темы, обсуждавшиеся на «средах»: «искусство и социализм», «романтизм и современная душа», «счастье», «индивиду-

ализм и новое искусство», «актер будущего», «религия и мистика», «одиночество», «мистический анархизм». Позднее Н. А. Бердяев посвятил ивановским журфиксам специальную статью, в которой писал: «Это была атмосфера особенной интимности, сгущенная, но совершенно лишенная духа сектантства и исключительности. Поистине В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева-Аннибал обладали даром общения с людьми, даром притяжения людей и их взаимного соединения»; «...образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории» (Бердяев Н. «Ивановские среды».— В кн.: Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. С. А. Венгерова, т. III, кн. 8. М., 1916, с. 97, 98).

[208] «Беседу у Евгения Аничкова» Белый относит к сентябрю 1906 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 35 об.).

[209] Цитата из статьи Белого «На перевале. VII. Место анархических теорий», впервые опубликованной в «Весах» (1906, № 8) под заглавием «На перевале. Место анархических теорий в перевале сознания и индивидуализм искусства».

[210] Сокращенная цитата из статьи «На перевале. XIII. Realiora» (*Арабески*, с. 317—318), впервые опубликованной в «Весах» в 1908 г. (№ 5) и полемически направленной против Вяч. Иванова.

[211] Сокращенная цитата из статьи «На перевале. XIX. Штемпелеванная калоша» (*Арабески*, с. 345), впервые опубликованной в «Весах» в 1907 г. (№ 5).

[212] Зиновьева-Аннибал умерла от скарлатины в поместье Загорье Могилевской губернии 17 октября 1907 г.; похоронена в Петербурге в Александро-Невской лавре.

[213] В сатирическом образе калоши — изделия петербургской фабрики «Треугольник» — заключался намек на треугольную эмблему ивановского издательства «Оры».

[214] Эта поездка в Петербург относится к середине января 1909 г.; 17 января Белый прочитал в зале Тенишевского училища лекцию «Настоящее и будущее русской литературы».

[215] *Тиресий* (греч. миф.) — фиванский прорицатель; выступает в этой функции в «Царе Эдипе» и «Антигоне» Софокла и в «Финикиянках» Еврипида.

[216] Высокую оценку «Пепла» Иванов дал в рецензии на эту книгу (Критическое обозрение, 1909, вып. 2, с. 44—48; Иванов Вяч. Собр. соч., т. IV. Брюссель, 1987, с. 615—618).

[217] Цитата из рецензии Белого на 2-й том «Сочинений» Л. Андреева (СПб., 1906), впервые опубликованной в «Весах» (1906, № 5).

[218] Цитата из статьи «Безвременье» (1906). Ср.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 71.

[219] Неточная цитата из статьи «Вопросы, вопросы и вопросы» (1908). Ср.: там же, с. 344.

[220] Цитата из статьи Белого «Пророк безличия» (1908).

[221] В 1910—1911 гг. Иванов преподавал древнегреческую и римскую литературу на Высших женских историко-литературных курсах Н. П. Раева.

[222] В квартире Иванова Белый жил с конца января до начала марта 1910 г. и с 21 января до конца февраля 1912 г.

[223] Н. В. Недоброво жил на Кавалергардской ул. (д. 20) — параллельной Таврической; генерал А. Н. Куропаткин жил в том же доме, что и Иванов, с 1909 г.

[224] С. И. Гессен был сыном одного из лидеров кадетской партии, редактора газеты «Речь» И. В. Гессена.

[225] См.: Шестов Л. Вячеслав Великолепный. К характеристике русского упадничества.— Русская мысль, 1916, № 10, отд. II, с. 80—110.

[226] Это прозвище вошло в текст стихотворения О. Э. Мандельштама «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (10 января 1934 г.), представляющего собой отклик на смерть Белого: «Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек»; ср. первоначальный набросок: «Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер? // Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек» (Мандельштам О. Стихотворения (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1973, с. 172, 297).

[227] Ср. строки из экспромта Белого «В альбом В. К. Ивановой»:

И Вячеслав уже в дремоте
Меланхолически вздохнет:
«Михаил Алексеич, спойте!..»
Рояль раскрыт: Кузмин поет.

(*Стихотворения и поэмы*, с. 467.)

[228] Ср. запись Белого о феврале 1912 г.: «Споры с Гумилевым и Кузминым об акмеизме (выдумываем с В. Ивановым Гумилеву «акмеизм-адамизм»)» (*Ракурс к дневнику*, л. 55 об.; ср.: *Эпопея*, IV, с. 160—161). В пользу того, что именно от него мог исходить термин «адамизм», говорит особая маргинальность в сознании Белого имени *Адам:* главный лирический герой «Кубка метелей» — Адам Петрович; Белому же принадлежит рассказ «Адам. Записки, найденные в сумасшедшем доме» (Весы, 1908, № 4). С. М. Городецкий в статье «Цех поэтов (К годовщине тифлисского «Цеха поэтов»)» вспоминает о создании новой поэтической школы: «Потребовалось имя. Имен предложено было два: акмэ (рас-

цвет, вершина) и отсюда — акмеизм — мною и адамизм — от имени первого жизнерадостника, прародителя — Гумилевым. В первых манифестах оба названия фигурировали параллельно, потом критика и печать усилили первое, акмеизм» (Закавказское слово, 1919, № 76, 26 апреля). Документальные источники, однако, свидетельствуют, что термин «адамизм» муссировался именно Городецким; см.: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме.— Russian literature, 1974, t. 7—8, p. 29—30.

229 Ср. воспоминания об этой встрече Иванова-Разумника в письме к К. Н. Бугаевой от 1 июля 1934 г.: «Первая мимолетная моя встреча с Б. Н. произошла на «башне» Вяч. Иванова,— *кажется*, в 1910 году был я на «башне» этой, затащенный Л. Шестовым, всего единожды в жизни 〈...〉 Встречу эту с Б. Н. не считаю: мы не обменялись ни единым словом и косились друг на друга» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 1, ед. хр. 200).

230 *Минотавр* (греч. миф.) — чудовище-человекобык, жившее на Крите в подземном лабиринте.

231 Неточные цитаты из стихотворения Белого «Вячеславу Иванову» (сентябрь 1916 г.) из его книги «Звезда» (*Стихотворения и поэмы*, с. 364).

232 См.: «Между двух революций», главка «На подступах к «Мусагету».

233 См.: «Между двух революций», главка «Инцидент с «Петербургом».

234 Белый колебался в выборе заглавия для своего романа (авторские варианты заглавия: «Путники», «Злые тени», «Лакированная карета» и др.). См.: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988, с. 210.

235 А. А. Тургенева.

236 Иванов и Белый встречались в Базеле в сентябре 1912 г.

237 Главной темой тогдашних бесед Белого и Иванова стало приобщение Белого к антропософии. О своем отношении к этому шагу Иванов говорит в письме к А. Д. Скалдину от 10/23 октября 1912 г.: «Я нашел Андрея Белого поглощенным изучениями уроков Штейнера и работами, им указанными. 〈...〉 Утверждая, что (говоря вообще) столь цельное решение прекрасно, я нахожу вместе с тем, что оно было для Бори и неизбежностью. Он во многих отношениях подошел к краю. Но что будет плодом нескольких лет этого ученичества? Прежде всего, не погибнет ли художник? 〈...〉 Теперь я вижу его в безличном подчинении руководящей воле, в пассивной самоотдаче; но под ней припряталась дурная самость, подлежащая разрушению» (ЦГАЛИ, ф. 487, оп. 1, ед. хр. 51).

238 *Куреты* (греч. миф.) — демонические существа, составляющие вместе с *корибантами* окружение Великой матери

богов Реи-Кибелы и младенца Зевса на Крите; согласно одной из версий мифа, они воспитали младенца Диониса.

[239] Критике спиритизма посвящено, в частности, письмо Белого Петровской от 21 июня 1904 г., в котором говорится: «...мистика не может согласиться с необходимостью внешних феноменов. Ни Христос, ни Будда, ни пророки не устраивали сеансов, а если и производили чудеса, то они имели явно прообразовательный смысл, т. е. были *символами*, а не феноменами 〈...〉 Важно, что чудеса-символы-галлюцинации происходили вдруг, *без сеансов, без преднамеренности»* (ГБЛ, ф. 25, карт. 30, ед. хр. 13).

[240] Сопоставление этих двух книг дополнительно подсказывалось напечатанной в «Весах» (1904, № 4) рецензией Брюсова, в которой давалась сравнительная оценка «Золота в лазури» и «Прозрачности». См.: Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6. М., 1975, с. 300—301.

[241] Цитата из стихотворения «Изгнанник» (июнь 1904 г.), входящего в «Пепел» (*Стихотворения и поэмы,* с. 262).

[242] Изучением естественнонаучных взглядов Гете Белый занимался, собирая материал для книги «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., 1917), писавшейся в 1915 г.

[243] Подразумевается стихотворение «Матери» («Я вышел из бедной могилы...», январь 1907 г.) (*Стихотворения и поэмы,* с. 241).

[244] Прошение Белого о повторном поступлении в университет датировано июлем 1904 г. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 305, л. 15).

[245] Контаминация сокращенных цитат из статьи «А. П. Чехов» (*Арабески,* с. 397, 395), впервые опубликованной в «Весах» (1904, № 8).

[246] Стихотворение «Тройка» (*Стихотворения и поэмы,* с. 254—255) написано в июне 1904 г., включено в «Пепел».

[247] Поездка Белого в Шахматово в июле 1904 г. наиболее подробно описана в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея,* I, с. 236—273); см. также «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке» Белого (Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 265—291).

[248] Белый приводит послереволюционное название. До революции железная дорога между Петербургом и Москвой называлась Николаевской.

[249] С. А. Кублицкая-Пиоттух, старшая сестра матери Блока, и ее сыновья Феликс Адамович и Андрей Адамович Кублицкие-Пиоттух. Феликс Адамович закончил в 1905 г. Училище правоведения (см. вступительную статью В. П. Енишерлова к письмам

Блока к А. А., С. А. и Ф. А. Кублицким-Пиоттух в кн.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 4. М., 1987, с. 339—348).

[250] Контаминация цитат (некоторые — в сокращении) из письма Блока к матери из Шахматова от 26 апреля 1904 г. (Письма Александра Блока к родным, ⟨т. 1⟩, с. 114—116).

[251] Контаминация сокращенных цитат из писем Блока к матери от 26 и 30 апреля 1904 г.

[252] Сокращенная цитата из письма к матери от 26 апреля 1904 г.

[253] Цитата из письма Блока к матери от 19 января 1904 г.

[254] Цитаты из писем Блока к матери от 14—15 января 1904 г.

[255] Сокращенная цитата из письма Блока к матери от 13 апреля 1909 г.

[256] Сокращенная цитата из письма Блока к матери от 30 ноября 1908 г. Впечатления от С. М. Соловьева передаются Блоком со слов Е. П. Безобразовой.

[257] Вехи биографии А. А. Фета (Шеншина): дружба с А. А. Григорьевым в студенческие годы (1838—1844), военная служба в кирасирском и лейб-уланском полках (1845—1858), женитьба в 1857 г. на М. П. Боткиной, дочери крупнейшего чаеторговца и сестре критика В. П. Боткина.

[258] Цитаты из письма Блока к матери от 19 января 1904 г.

[259] Сокращенная цитата из «одного из писем» (характеристика публикатора) П. И. Чайковского (Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. III. 1885—1893. М.— Лейпциг, [1902], с. 5).

[260] Сокращенные цитаты из письма Блока к матери от 4 мая 1904 г.

[261] *«Гриф»* — С. А. Соколов. *Тетя Саша* — А. Г. Коваленская; *тетя Соня* — Софья Григорьевна Карелина; обе — сестры Елизаветы Григорьевны Бекетовой, бабушки Блока.

[262] О сильном влиянии поэзии Брюсова на Блока после выхода в свет книги «Urbi et Orbi» см. во вступительной статье З. Г. Минц к переписке Блока и Брюсова (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 469—474).

[263] Сокращенная цитата. Ср. переиздание статьи М. А. Бекетовой «Веселость и юмор Блока» в кн.: А. Блок и современность. М., 1981, с. 320.

[264] Ошибочные сведения. У С. А. и А. Ф. Кублицких-Пиоттух было только двое сыновей; глухонемым был не Фероль (уменьшительное имя Феликса Адамовича), а Андрей. Ср. выше, примеч. 249.

[265] Имеется в виду заключительная строка стихотворения Блока «Ты свята, но я Тебе не верю...» (1902): «Я пролью всю жизнь в последний крик» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 233).

[266] Цитата из стихотворения «Ночная», заключительного в цикле Блока «Молитвы» (1904) (там же, с. 318).

[267] Цитата из письма Блока к матери от 14—15 января 1904 г.

[268] Цитата из письма Блока к матери от 26 апреля 1904 г.

[269] См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4. М.— Л., 1961, с. 12.

[270] Имеется в виду статья Блока «Ирония» (1908).

[271] Сокращенная цитата из письма Блока к матери от 26 апреля 1904 г. (Письма Александра Блока к родным, ⟨т. 1⟩, с. 113).

[272] Искаженная цитата из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910); в оригинале: «Но именно в черном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 434).

[273] Блок цитирует в статье «О современном состоянии русского символизма» (см.: там же, с. 434) фразу из гл. 1 романа Белого «Серебряный голубь» (главка «Дарьяльский»): «А небо? А бледный воздух его, сперва бледный, а коли приглядеться, вовсе черный воздух?..» (Белый Андрей. Серебряный голубь. Повесть в семи главах. М., 1910, с. 8).

[274] Цитаты из письма Блока от 7 августа 1908 г.

[275] Сокращенная цитата из письма от 5 ноября 1908 г.

[276] Цитаты из письма от 5 июля 1908 г.

[277] Цитата из письма от 27 мая 1908 г.

[278] Сокращенная цитата из письма от 18 мая 1908 г.

[279] Цитата из письма от 18 июля 1908 г.

[280] Сокращенная цитата из письма от 16 ноября 1908 г.

[281] Цитата из письма от 24 ноября 1908 г.

[282] Подразумеваются заключительные строки стихотворения Блока «Унижение» (1911): «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, // В сердце — острый французский каблук!» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 32).

[283] В этой статье (1907) встречаются конкретные намеки на творчество Блока середины 1900-х годов и выпады по его адресу: «Восхищаются тому, что символ последнего дерзновения — золотой *«булочный»* крендель, как о том возвестили»; «Неудивительно, что скоро *«всякий чертик запросится»* в оскверненное чистилище» и др. (*Арабески*, с. 345—346; в цитатах — намеки на стихотворения Блока «Незнакомка», «Твари весенние»).

[284] Намек на строки из стихотворения Блока «Осенняя воля» (июль 1905 г.):

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

(Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 75.)

[285] Цитата из стихотворения Блока «В час, когда пьянеют нарциссы...» (1904) (там же, т. 1, с. 322).

[286] По окончании гимназии н 1904 г. С. М. Соловьев поступил на словесное отделение историко-филологического факультета Московского университета. 10 июля 1904 г. он писал Блоку из подмосковного имения Лаптево: «...вероятно, 13-го выеду в Москву ⟨...⟩ Затем, подавши прошение в университет, явлюсь в Шахматово. Если не застану там Борю, буду огорчен» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 376).

[287] Баллада Томского «Однажды в Версале «au jeu de la Reine»...» из I действия (картина 1-я) оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (1890; либретто М. И. Чайковского).

[288] В Пустыньке под Петербургом (близ станции Саблино) с 1884 г. жила С. П. Хитрово, близкий друг Вл. Соловьева, с семейством. Соловьев подолгу жил в этом имении; в Пустыньке написаны им стихотворения «Белые колокольчики» (август 1899 г.) и «Вновь белые колокольчики» (8 июля 1900 г.), рукописный текст которого сохранился в альбоме Хитрово. См.: Соловьев Вл. Стихотворения, изд. 7-е. Под ред. и с предисл. С. М. Соловьева. М., 1921, с. 21, 337.

[289] Этот каламбур получил тогда сравнительно широкую известность; ср. дарственную надпись Л. Д. Зиновьевой-Аннибал на ее книге «Трагический зверинец» (СПб., 1907), адресованную Л. Д. Блок: «Сестре по матери Деметре Любови Деметриевне от Лидии Деметриевны» (Библиотека А. А. Блока. Описание, кн. 1. Л., 1984, с. 285).

[290] Ср. фразу из письма Блока к С. Соловьеву от 23 января 1905 г.: «Б⟨орис⟩ Ник⟨олаевич⟩ ⟨...⟩ уже несколько раз принимался за изложение Lapan» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 386). М. А. Бекетова вспоминает: «Очень забавны были шаржи Сергея Соловьева: философы Lapan и Pampan и будущие споры филологов XXII века смешили нас до изнеможения, были в высшей степени остроумны ⟨...⟩» (Бекетова М. А. Александр Блок. Биографический очерк. Пб., 1922, с. 89). Более отчетливую интерпретацию этой игры и с иными акцентами Белый дает в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, I, с. 215—217; II, с. 106—108, 229).

[291] В письме от 14—15 января 1904 г. Блок сообщает матери,

что 12 января у него с Белым и Соловьевым состоялся «знаменательный разговор — тяжело-важный и прекрасный» (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 83).

[292] *«Темного хаоса светлая дочь»* — заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «На Сайме зимой» (1894) (Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 107).

[293] Имеется в виду «Нечаянная Радость. Второй сборник стихов» Блока (М., Скорпион, 1907), вышедший в свет в декабре 1906 г.

[294] В скобках указываются страницы по изданию «Записных книжек» Блока 1930 года. Цитируются записи от 11—12 июня (н. ст.) 1909 г. и 30 сентября 1908 г. См.: Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, с. 146, 115.

[295] Цитаты из письма Блока к матери от 24 ноября и 7 августа 1908 г.

[296] Такая позиция значится в шуточной программе предполагаемого содержания журнала «Новый Путь» на 1905 г., составленной Блоком. См.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7, с. 441.

[297] Неточная цитата из стихотворения Блока «Царица смотрела заставки...» (1902) (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 249).

[298] Министр внутренних дел и шеф жандармов В. К. Плеве был убит эсером Е. С. Сазоновым 15 июля 1904 г.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МУЗЕЙ ПАНОПТИКУМ

[1] Ср. запись Белого о сентябре 1904 г.: «Поступаю на филолог⟨ический⟩ факультет; слушаю лекции, главным образом Трубецкого, Брандта, Соболевского, Любавского, Никитского» (*Ракурс к дневнику*, л. 23 об.).

[2] Труд Л. М. Лопатина «Положительные начала философии» был издан в двух томах в 1886 и 1891 г.

[3] См.: Эрн Вл. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М., 1911. Белый имеет в виду прежде всего входящую в эту книгу статью «Нечто о Логосе, русской философии и научности. По поводу нового философского журнала «Логос» (с. 72—119).

[4] С. Н. Трубецкой скончался 29 сентября 1905 г. Е. Н. Трубецкой — как и его брат, доктор философии,— стал преподавать в Московском университете с осени 1905 г., до этого он профессорствовал в Ярославле и Киеве.

[5] Белый посещал семинарий профессора А. В. Никитского по греческому языку.

[6] Белый слушал курс профессора Р. Ф. Брандта «Славянская филология». Приводимые слова Брандта вошли в шуточный обиход Белого, С. Соловьева и Блока. По свидетельству М. А. Бекетовой, в слове «словачка» «есть намек на некоего московского профессора, которого изображал в лицах Серг. М. Соловьев» (Письма Александра Блока к родным, 〈т. 1〉, с. 330). Письмо С. Соловьева к Блоку от 3 августа 1905 г. подписано: «Твоя Словачка» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 400); ср. шуточную фразу Блока в письме к Белому от 9 сентября 1905 г.: «Я — женщина-словачка» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 140).

[7] Профессор М. К. Любавский читал курс русской истории.

[8] См.: Fouillée A. La philosophie de Platon. Paris, 1867; 2 éd.— 1890). Белый характеризует этого философа: «Альфред Фулье — ему принадлежит ряд сочинений подчас интересных, подчас слабых, среди которых отметим его сочинения о Канте и Платоне 〈...〉 Фулье присуща неясность изложения и сбивчивость в терминологии» (*Символизм*, с. 474).

[9] *«Критика отвлеченных начал»* — докторская диссертация Вл. Соловьева (М., 1880).

[10] Ср. запись Белого о сентябре 1904 г.: «С этого месяца я начинаю подробно изучать неокантианскую литературу и пользоваться указаниями ставшего ко мне дружественно относиться Б. А. Фохта; я бываю у Фохта, и он у меня» (*Материал к биографии*, л. 49).

[11] Ср. навеянные общением с Фохтом строки из стихотворения «Мой друг» (1908) из книги «Урна»:

На робкий роковой вопрос
Ответствует философ этот,
Почесывая бледный нос,
Что истина, что правда...— метод.

(*Стихотворения и поэмы*, с. 304.)

[12] Цитата из того же стихотворения (там же, с. 304—305).

[13] См.: гл. 2, примеч. 81, 108.

[14] Сокращенно цитируется заключительная строфа стихотворения «Старинному врагу», датированного 9 декабря 1904 г. (*Стихотворения и поэмы*, с. 465). Стихотворение было отправлено Брюсову 14 декабря 1904 г. (см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 336—338).

[15] О признании Брюсовым своего «поражения» в духовно-психологическом поединке с Белым свидетельствует и его стихотворение «Бальдеру. II» (1 января 1905 г.), начинающееся стро-

ками: «Кто победил из нас,— не знаю!//Должно быть, ты, сын света, ты!» (Брюсов В. Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1961, с. 502). Брюсов не отослал Белому текста стихотворения и не опубликовал его; Белый, по всей вероятности, так и не узнал о его написании. Ср. слова Брюсова в передаче Волошина (дневниковая запись от 21 декабря 1904 г.): «Я написал Белому (Бальдур и Локэ), и он мне ответил. Такого тона у Белого еще не было. Он заговорил Архангелом» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441, л. 31 об.).

[16] Белый жил в московской квартире В. О. Нилендера в сентябре 1921 г.; в ней же он остановился по возвращении из-за границы 26 октября 1923 г.

[17] Нилендер перевел сохранившиеся фрагменты текстов Гераклита (см.: Гераклит Ефесский. Фрагменты. М., Мусагет, 1910), позднее переводил древнегреческих трагиков (Эсхила, Софокла).

[18] *«Ars magna lucis et umbrae»* (1646) — сочинение по физике Атанасиуса Кирхнера.

[19] Подразумевается, по всей вероятности, работа, написанная Киселевым в соавторстве с А. С. Петровским: «Инструкция каталогографическая. Составление карточного каталога» (в кн.: Виноградов А. К. Организация Центральной библиотеки СССР как культурный памятник Ленину. М., 1924, с. 393—473).

[20] М. И. Сизов окончил московскую 3-ю гимназию в 1903 г. и в том же году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 317, дело 1024). Ср. запись Белого о сентябре 1904 г.: «Мой реферат в открытой секции по истории религии *«О целесообразности»*. На реферате знакомлюсь со студентом М. И. Сизовым, который начинает часто у меня бывать на дому; отсюда — начало дружбы» (*Ракурс к дневнику*, л. 24).

[21] С кружком П. И. Астрова Белый сблизился осенью 1904 г. и, по собственному признанию, в нем «бывал с перерывами до 1909 года» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 100, л. 159).

[22] *Урия Гип* (Хип) — персонаж романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда».

[23] *Флагелланты* — бичующиеся; представители западноевропейского религиозного движения позднего средневековья, исповедовавшие идею искупления грехов посредством самобичевания.

[24] П. И. Астровым написан целый ряд брошюр на самые различные общественные и литературные темы: «Дети подмостков» (СПб., 1899), «Алексей Михайлович Жемчужников» (Сергиев Посад, 1908), «По поводу книги Н. Морозова «Откровение в грозе и буре» (М., 1908), «Налог на наследство и общественное призрение» (М., 1910), «Русская фабричная медицина» (М.,

1911), «Христос» художника И. А. Астафьева» (М., 1911), «Юридические предпосылки рабочего права» (3 брошюры — М., 1911), «Лечение рабочих и русское национальное сознание» (М., 1911) и др.; он же является одним из составителей книги «Из текущей юридической практики. 710 вопросов и ответов из области гражданского, торгового, административного, крестьянского и нотариального права» (под ред. А. Э. Вормса. М., [1913]).

[25] Перечень тем выступлений в кружке Астрова в сезон 1904—1905 гг. Белый приводит в «Воспоминаниях о Блоке» (*Эпопея*, II, с. 157).

[26] *Урим и Туммим* (д р. - е в р.— «светы и совершенства», «явление и истина» или «свет и правда») — особое украшение, преимущество первосвященника, которым он превознесен от Бога (Исход, XXVIII, 15, 17, 21, 30; Левит, VIII, 8).

[27] Эти сведения восходят, скорее всего, к тексту, написанному С. А. Венгеровым со слов «близкого к Добролюбову лица»: «Новая — эстетическая — вера стала для Добролюбова не одним лишь предметом литературных увлечений. Он исповедовал ее как религию: не только писал, но и жил «по-декадентски». Не щадя себя, верный своей вере, курил и ел опий, курил гашиш, склоняя к этому и других в своей узенькой комнатке на Пантелеймоновской, оклеенной черными обоями, с потолком, выкрашенным в серый цвет ⟨...⟩ уговаривал несколько девушек и студентов испытать сладость смерти» (Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. С. А. Венгерова, т. I, М., 1914, с. 265—266).

[28] О жизненной судьбе А. М. Добролюбова и содержании его проповеди см.: Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова.— В кн.: Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник, III (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 459). Тарту, 1979, с. 121—146; Иванова Е. Один из «темных» визитеров.— В кн.: Прометей, т. 12. М., 1980, с. 303—313.

[29] См.: Добролюбов А. Из книги Невидимой. М., 1905.

[30] Добролюбов посещал Брюсова осенью 1903 г. (см.: Брюсов В. Дневники, с. 133—134) и останавливался у него в феврале 1905 г. См.: Иванова Е. В. Валерий Брюсов и Александр Добролюбов.— Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1981, т. 40, № 3, с. 255—265.

[31] Вопреки этим словам, письмо Добролюбова (судя по содержанию, относящееся к началу 1905 г.) сохранилось в архиве Белого, в полном объеме опубликовано в указанной выше статье К. М. Азадовского «Путь Александра Добролюбова» (с. 138—140).

[32] Царь лапифов *Иксион* (греч. миф.) волею Зевса был привязан к вечно вращающемуся огненному колесу.

[33] Начало общения с Б. К. Зайцевым Белый относит к марту 1904 г.: «В этот месяц происходит мое ближайшее знакомство с Зайцевыми (Борисом Константиновичем и Верой); хотя мы и раньше познакомились на Арбате, но ближе встретились только теперь» (*Материал к биографии*, л. 44). Зайцевым написан мемуарный очерк «Андрей Белый» (Русские записки, 1938, № 7, с. 78—94; вошел в кн.: Зайцев Б. Далекое. Вашингтон, 1965).

[34] См.: мемуарные главы о Л. Андрееве и С. Глаголе в кн.: Зайцев Б. Москва. Мюнхен, 1973, с. 22—32. См. также: Воспоминания Б. К. Зайцева о Леониде Андрееве. Публикация Л. Н. Назаровой и Л. Н. Афонина.— В кн.: Андреевский сборник. Исследования и материалы. Курск, 1975, с. 224—232.

[35] О литературном кружке «Среда» см.: Телешов Н. Записки писателя. Воспоминания и рассказы о прошлом. М., 1958, с. 37—68; Белоусов И. А. Литературная среда. Воспоминания 1880—1928. М., 1928, с. 57—59; Скиталец. Река забвения.— В его кн.: Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960, с. 420—431.

[36] Издательство «Шиповник», наладившее выпуск популярных литературно-художественных альманахов, постоянным участником которых был Л. Н. Андреев, было основано в Петербурге в 1906 г. См.: Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник».— В кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984, с. 257—294.

[37] Л. Н. Андреев родился в Орле и провел там детство и юношеские годы.

[38] *«Мысль»*— рассказ Л. Андреева (1902).

[39] Цитата из «Симфонии (2-й, драматической)» (*Собрание эпических поэм*, с. 175).

[40] Контаминация сокращенных цитат из воспоминаний Блока «Памяти Леонида Андреева» (1919), опубликованных в сборнике «Книга о Леониде Андрееве» (Пб.— Берлин, 1922) (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6. М.— Л., 1962, с. 129—131). Во второе издание «Книги о Леониде Андрееве» (Берлин — Пб.— М., 1922) были включены воспоминания об Андрееве Белого (с. 177—192).

[41] Белый относит «встречи и разговоры с Леонидом Андреевым (у д-ра Доброва)» к июлю 1907 г. (*Ракурс к дневнику*, л. 40 об.) — явно неточно, поскольку в это время Андреев жил в Куоккале.

[42] Предполагаемая датировка первой встречи Андреева и Блока — 15 сентября 1907 г. См.: Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984, с. 228.

[43] «Бранд» Ибсена был впервые поставлен в Московском Художественном театре 20 декабря 1906 г.; главную роль исполнял В. И. Качалов. На премьере Белый быть не мог (он тогда жил в Париже); встреча его с Андреевым относится к одному из последующих представлений «Бранда» в 1907 г. Ср. запись Белого о сентябре 1907 г.: «...продолжаются мои встречи с Леонидом Андреевым» (*Ракурс к дневнику*, л. 41).

[44] Гостиница «Лоскутная» (Тверская ул., дом Попова).

[45] Газета *«Утро России»* издавалась в Москве короткое время в 1907 г. (16 сентября — 24 октября) и с 1909 г. (с 14 ноября) по 1918 г.

[46] Вероятно, речь идет о предполагаемой поездке Андреева к Толстому в сентябре 1907 г. (7 сентября Толстой получил от Андреева телеграмму с просьбой о разрешении приехать; см. запись Д. П. Маковицкого: Литературное наследство, т. 90. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, кн. 2. М., 1979, с. 505), однако этот визит тогда не состоялся.

[47] «Балаганчик» Блока был поставлен В. Э. Мейерхольдом в театре В. Ф. Коммиссаржевской (премьера — 30 декабря 1906 г.).

[48] Имеется в виду драма «Жизнь Человека», поставленная В. Э. Мейерхольдом в театре В. Ф. Коммиссаржевской (премьера — 22 февраля 1907 г.).

[49] *Санин* — герой одноименного романа М. П. Арцыбашева, печатавшегося в 1907 г. в журнале «Современный мир» (№ 1—5, 9; отдельное издание — СПб., 1907) и приобретшего широчайшую скандальную известность; гедонист, проповедующий чувственную раскрепощенность и вседозволенность.

[50] Издательство «Скорпион» выпускало книги с 1900 по 1916 г., журнал «Весы» издавался «Скорпионом» с 1904 по 1909 г.

[51] Ср. сходные утверждения в приветственном письме Белого «Сергею Александровичу Полякову в день двадцатипятилетия «Скорпиона» от старого «скорпионца»: «С изумлением останавливаюсь перед истекшим 25-летием: перед потоком событий, свершений и достижений в сфере литературы; и кажется, что не 25 лет протекло, а — 125 ⟨...⟩ Вдруг, в начале века,— быстрый *сворот* во всех вкусах; и — глубочайшая переоценка взглядов на задания художественной культуры слова. В русской литературе, поэзии, критике, теории словесности забили новые источники творчества; русскому читателю открылись действительные горизонты ему современной западной литературы вместо декоратив-

ных и подставных ⟨...⟩» (Stanford Slavic Studies, 1987, vol. 1, p. 95—96; публикация Джона Е. Мальмстада). «Весь *круг чтения* современного читателя по западноевропейской литературе составлен по программе к-ва *«Скорпион»*,— писал Белый еще в начале 1910-х годов,— ⟨...⟩ первые шаги к ознакомлению с предтечами символистов предприняты тем же «Скорпионом» (Белый Андрей. Обзор книгоиздательства «Скорпион».— ГБЛ, ф. 190, карт. 55, ед. хр. 16, л. 2, 5).

[52] В переводах С. А. Полякова «Скорпионом» были изданы сборник рассказов К. Гамсуна «Сьеста» (М., 1900) и роман «Пан» (М., 1900). Первая книга вышла тиражом 1800 экз., вторая — 2400 экз.

[53] Белый несколько упрощает реальную картину. От руководства «Весами» Брюсов отошел еще за год до их прекращения, в начале 1909 г. (об этом он объявил специальным «письмом в редакцию» — 1909, № 2, с. 89).

[54] Наиболее полно «весовские» псевдонимы раскрыты в статье: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы». К истории издания.— В кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 257—324. Белый в «Весах», помимо своего основного псевдонима и настоящей фамилии, подписывался по меньшей мере тринадцатью псевдонимами: Альфа, А. Б — ый, Бета, В. Быков, Гамма, Дельта, Зигмунд, Яновский, А. (вместе с Брюсовым), А. Б., 2Б, Spiritus, Taciturno.

[55] Здание «Метрополя» на Театральной площади. Б. А. Садовской вспоминает: «Если встать перед огромным домом «Метрополь», то с левой стороны (где памятник первопечатнику), войдя со двора в первый подъезд направо, можно подняться на лифте в редакцию «Весов». Помнится, это пятый этаж ⟨...⟩» (Садовской Б. А. «Весы» (воспоминания сотрудника).— ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 3, л. 6).

[56] Василий Ардалионович Курников, конторщик «Весов».

[57] Имеется в виду магазин Александра Иосифовича Дациаро на Кузнецком мосту (дом Джамгаровых), торговавший картинами, гравюрами, фотографиями, писчебумажным товаром.

[58] Отец С. А. Полякова Александр Яковлевич Поляков был состоятельным купцом, имел собственные дачи и фабрику в Звенигородском уезде Московской губернии под фирмой «Товарищество Знаменской мануфактуры». Биографические сведения о С. А. Полякове см. в обзоре: Гречишкин С. С. Архив С. А. Полякова.— В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 3—22. Полякову посвящен мемуарный очерк В. Г. Лидина (см.: Лидин Вл. Собр. соч. в 3-х томах, т. 3. М., 1974, с. 462—466). 12 писем Белого к Полякову

(1904—1910) опубликованы Джоном Е. Мальмстадом (Stanford Slavic Studies, 1987, vol. 1, p. 71—94).

[59] В 1904 г. два номера «Весов» были демонстративно украшены японской графикой. Репродукции сопровождались редакционным примечанием: «Мы хотим напомнить читателям о той Японии, которую все мы любим и ценим, о стране художников, а не солдат 〈...〉» (1904, № 10, с. 39).

[60] Под псевдонимом С. Ещбоев Поляков опубликовал в «Весах» в 1904 г. две рецензии и реферат одной из статей Реми де Гурмона; в дальнейшем Поляков участвовал в журнале лишь как переводчик.

[61] Оформление «Весов» в 1906—1909 гг. принадлежало главным образом Н. П. Феофилактову.

[62] Статья о Кристиане Моргенштерне была написана для «Весов» не Артуром Лютером, а Александром Элиасбергом. См.: Элиасберг А. Современные немецкие поэты. II. Христиан Моргенштерн.— Весы, 1907, № 9, с. 80—84.

[63] Белый, видимо, подразумевает М. Малакасиса. Рецензия М. Ф. Ликиардопуло на книгу Малакасиса «Часы» (Μ. Μαλαχαση. Ωρες. Ποίηματα. Αθηναι, 1903) была опубликована в «Весах» в 1904 г. (№ 2, с. 64—65; подпись: М. Л — о).

[64] *М. Ф. Ликиардопуло* — секретарь «Весов» с 1906 г.; играл в издании журнала особенно активную роль в 1907—1909 гг. См. о нем: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы», с. 282—283.

[65] В Германию и другие страны Европы Ликиардопуло ездил в конце 1915 г. как корреспондент газет «Утро России» и «Речь». Его очерки о воюющих государствах, печатавшиеся в январе — феврале 1916 г., вызвали острый читательский интерес; Ликиардопуло писал 6 января 1916 г. И. В. Гессену: «Тираж «У〈тра〉 Р〈оссии〉» почти утраивается в дни появления фельетонов...» (ЦГАЛИ, ф. 1666, оп. 1, ед. хр. 507).

[66] *Гелиознаки* — световые сигналы, передаваемые на далекое расстояние.

[67] Начало этой дружбы относится к середине 1890-х годов, когда Поляков и Балтрушайтис были студентами физико-математического факультета Московского университета.

[68] Первым изданием «Скорпиона» (1900) была драма Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся», переведенная Балтрушайтисом совместно с Поляковым. В числе многочисленных переводов, выполненных Балтрушайтисом,— «Пер Гюнт» Г. Ибсена, «Детская сказка» А. Стриндберга, его драмы «Отец», «Пепелище», «Пасха» и др. произведения. Балтрушайтису принадлежит также ряд рецензий и аннотаций о литературе Скандинавских стран в «Весах», подписанных криптонимами Ю. Б. и М. П.

[69] *Зигурд* (Сигурд) — герой в скандинавской мифологии и эпосе, воспетый в «Старшей Эдде», «Младшей Эдде», «Саге о Вельсунгах» и других памятниках.

[70] *Нордкап* — мыс на острове Магерё в Норвегии; наиболее известный из крайних северных мысов Европы.

[71] 16 сентября 1920 г. Балтрушайтис был назначен руководителем специальной миссии Литвы, а 21 июня 1922 г.— чрезвычайным послом и полномочным министром Литвы в Советской России. См.: Дауётите В. Юргис Балтрушайтис. Вильнюс, 1983, с. 67—68.

[72] Параллели с триумвиратом — союзом трех влиятельных политических деятелей и полководцев; 1-й триумвират возник в 60 (или 59) г. до н. э. как соглашение между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Марком Лицинием Крассом. Тит Лабиен начинал политическую деятельность как военачальник и легат Цезаря.

[73] Следствием этого права Ликиардопуло на «авторизацию» явилось появление в «Весах» перевода неизданной «Флорентинской трагедии» О. Уайльда, выполненного с рукописи (в соавторстве с А. А. Курсинским; 1907, № 1), а также других произведений Уайльда (или отрывков из них), не публиковавшихся ранее на языке оригинала.

[74] Неточность; настоящее имя Жана Мореаса — Яннис Пападиамандопулос.

[75] С. В. Лурье и А. А. Кизеветтер входили в редакцию «Русской мысли». Переговоры с Лурье о своем предполагаемом вхождении в редакцию журнала Брюсов вел в 1909 г.

[76] Духи. Ср. в поэме Белого «Первое свидание»: «Меня онежили *уайт-розы*» (*Стихотворения и поэмы*, с. 412).

[77] В мае 1917 г. Ликиардопуло выехал из России в Стокгольм как корреспондент русских газет; в 1918 г. поступил на греческую дипломатическую службу, заведовал отделами печати и пропаганды при греческих миссиях в Стокгольме (1918—1919) и в Лондоне (1919—1920). В 1920 г. вышел в отставку, выступал в «Morning Post» и других английских газетах по русским и балканским вопросам. 8 декабря 1923 г. Ликиардопуло писал Брюсову: «...я окончательно обангличанился, в этом году принимаю английское подданство. Работаю в английской консервативной газете, служу в английском правительственном учреждении, устроился очень хорошо и собираюсь конец своих дней коротать в Англии» (ГБЛ, ф. 386, карт. 92, ед. хр. 23). Умер Ликиардопуло в Лондоне в 1925 г.

[78] Б. А. Садовской был студентом историко-филологического факультета Московского университета с 1902 до конца 1904 г.,

восстановился в числе студентов в августе 1906 г.; курса не окончил. См.: ЦГИАМ, ф. 418, оп. 316, дело 876.

[79] «Силуэты русских писателей» (вып. 1. М., 1906) Ю. Айхенвальда Садовской рецензировал в «Весах» в 1906 г. (№ 10, с. 61—63), «Рассказы» (т. V. СПб., 1909) Бунина (а не лирику) — в 1909 г. (№ 5, с. 86).

[80] Имеется в виду стихотворение Вяч. Иванова «Veneris figurae» («Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три обряда...»), опубликованное в «Весах» (1907, № 1, с. 16); под заглавием «Узлы змеи» вошло в книгу Иванова «Cor ardens» (ч. 1. М., 1911, с. 94).

[81] Имеется в виду изменение литературной тактики «Весов» во второй половине 1906 — первой половине 1907 г.: установка на полемику с «мистическим анархизмом» и другими тенденциями, направленными к ревизии «классического» символизма. См.: Лавров А. В., Максимов Д. Е. «Весы».— В кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984, с. 108—129.

[82] Эллис стал ближайшим сотрудником «Весов» и активным пропагандистом брюсовской литературно-тактической линии с весны 1907 г. См.: Лавров А. В. Брюсов и Эллис.— В кн.: Брюсовские чтения 1973 года. Ереван, 1976, с. 217—236.

[83] Белый затрагивает ситуацию, сложившуюся в редакции «Весов» на рубеже 1908—1909 гг. Она в подробностях изложена в работе К. М. Азадовского и Д. Е. Максимова «Брюсов и «Весы» (с. 300—307).

[84] См. отзывы Брюсова о поэтических книгах Бальмонта второй половины 1900-х годов, объединенные в его книге «Далекие и близкие» (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, с. 265—282).

[85] Имеются в виду «весовские» статьи З. Н. Гиппиус (под ее обычным псевдонимом Антон Крайний) «Иван Александрович — неудачник» (1906, № 8), «О «Шиповнике» (1907, № 5), «Братская могила» (1907, № 7), «Анекдот об испанском короле» (1907, № 8), «Репа» (1908, № 2), в которых резко и насмешливо критиковались «мистический анархизм» и «рыночный» модернизм.

[86] См. выше, примеч. 54. Псевдонимы Б. А. Садовского в «Весах» — Б. С., Ptyx, И. Голов. Брюсов печатался в «Весах» более чем под 20-ю псевдонимами: Аврелий, В. Бакулин, К. Веригин, Гармодий, Доброжелатель, Пентаур, Д. Сбирко, И. Смирнов, Товарищ Герман, Турист, А., Б., В., В. Б., В. П., К. К. К., Л. Р., М. П., Р., Ch., Enrico R., L.

[87] Подразумеваются прежде всего отношения Белого с Л. Д. Блок.

[88] Эти намеки проясняются записью Белого, характеризующей время его возвращения из-за границы в конце февраля — начале марта 1907 г.: «Первое известие, сражающее меня окончательно: Л. Д. ⟨Блок⟩ в связи с Г. И. Ч⟨улковым⟩; в Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попранную любовь и за профанацию символизма — углубляется» (*Материал к биографии*, л. 54 об.).

[89] *«Дом песни»* — организованный в Москве в 1908 г. центр концертно-лекционной пропаганды новых идей в музыке. О деятельности этого объединения дает представление газета «Дом песни», выходившая в Москве в 1910—1911 гг. два раза в месяц.

[90] Из трех пьес классика санскритской драматургии Бхавабхути (VIII—IX вв.) две разрабатывают сюжет героического эпоса «Рамаяна» — «Махавирачарита» («Жизнь великого героя») и «Уттарарамачарита» («Последующая жизнь Рамы»).

[91] Начало этого знакомства Белый относит к осени 1902 г.: «...начавшееся сближение с домом Рачинских, где я заражаюсь культом Олениной-д'Альгейм; я знакомлюсь у Рачинских с певицей и высказываю свои воззрения мужу певицы, барону д'Альгейму» (*Материал к биографии*, л. 31 об.). Встречи с д'Альгеймами участились в 1905 г.

[92] См.: Alheim Pierre d'. La passion de maître François Villon. Paris, 1892; 2 éd.— 1900. В 1892 г. под редакцией д'Альгейма вышло в свет издание сочинений Вийона.

[93] В постановке «Гамлета» на сцене Московского Художественного театра (премьера — 23 декабря 1911 г.) Гордон Крэг (режиссер и автор декораций) использовал условное оформление — комбинации кубов и ширм, в разных картинах в различных сочетаниях. См.: Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983, с. 222—304.

[94] В первоначальном варианте текста далее следовало: «не шпионы ль они... С. И. Щукина?

А что-то жило в нем от Христофора Колумба, в Америке бывшего, но не умеющего ту Америку, как сладкий торт, перед нами поставить на стол; иль, пожалуй еще, от Паоло Учелли, решавшего целую жизнь перспективный вопрос; наконец разрешившего, нарисовавшего в найденных правилах что-то; друзья подходили; и — видели линии, а не предмет, нарисованный ими.

Паоло Учелли рехнулся!» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 230). Слова о Паоло Учелло восходят у Белого, по всей вероятности, к статье М. Волошина «Устремления новой французской живописи» (Золотое руно, 1908, № 7—9), в свою очередь заим-

ствовавшего рассказ о флорентийском художнике у М. Швоба (см.: Волошин М. Лики творчества. Л., 1988, с. 240—242, 658).

[95] Статья Метнера (Вольфинга) «Лист» была впервые опубликована в «Трудах и днях» (1912, № 1), вошла в его книгу «Модернизм и музыка. Статьи критические и полемические» (М., 1912).

[96] В первоначальном варианте текста далее следовало: «но были и не усумнявшиеся: тот же Щукин, Морозова, Шпет, Гольденвейзер, издатель-богач, импресарио и дирижер Кусевицкий — за Метнеров; братья Досекины, Стенбок-Фермор и почтеннейший бактериолог, покойный Л. А. Тарасевич,— горой: за д'Альгейма!

Мы слушали точно романс» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 230).

[97] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«. . . . .

Близ Храма Спасителя была гостиница: кажется, что — *«Княжий двор»;* останавливались, наезжая, д'Альгеймы в нем; Ванда Ландовская, клавесинистка,— носатая, сутуловатая, гибкая ящерка,— с мужем своим, бледноусым и вертким, жила здесь; к ним в номер стучался д'Альгейм, чтобы с маленьким, спесиво-бойким супругом рапиры скрещать в элегантных приемах парижской язвительности и варшавской утонченности и потом нам с подморгами, с тиками уже дряблеющей кожи, шутить: продающимся дьяволу — лавры и деньги.

Какое ж сравнение: Ванда Ландовская и... и... *Марú!*

Но *«Дом песни»* позднее осел» — и т. д. (там же, л. 231—232).

[98] *Тлемсен* — город в алжирском департаменте Оран, в 46 км от Средиземного моря.

[99] *Буа-ле-Руа* находится под Парижем, вблизи Фонтенбло. Белый жил там в доме д'Альгейма в июне 1912 г.

[100] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Проповедуя собственный свой артистический орден художников-деятелей и ремесленников-жизнетворцев,— был всюду: чужой.

Вдруг, сраженный мелькающим планом, не вашим, но в вас опрокинутым, мячиком он эластичным и мягким взлетал, расплеснувши бахромчатый пледик, просыпав на пол *«капора́ль»;* и, вцепляясь в пиджачную пуговицу, через комнату, где заливалась Мари, всплеснув крыльями,— «смерть победила»,— тащил, чтобы носом вас ткнуть в Ламартина, которого чудно читал.

Почему Ламартин?

Затащив в предприятие, чуждое вам, то, которое он, утонченнейший ритор, в сверкающей ярости бросит вам в руки, которого вы недостойны, которое в громах Синая ему божество низвело,— это самое он вам —

— дарит!

Вам мелькает: «Попался!»

Себя защищать, значит — ссориться, значит: Грааль опрокинуть в помойку» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 233).

[101] Переводы Белого из Альфонса де Ламартина не выявлены.

[102] С. И. Танеев, автор оперы «Орестея» (1887—1894), написал работу «Подвижной контрапункт строгого письма» (1889—1906; изд.— Лейпциг, 1909), имеющую мировое значение в области музыкальной теории.

[103] *«Лорелея»* — романс Ф. Листа на слова Г. Гейне (1-я ред.— 1841, 2-я — 1855).

[104] *Мерлин* — восходящий к кельтскому фольклору образ чародея и прорицателя, широко известный в западноевропейской средневековой литературе: «Пророчества Мерлина» («Prophetiae Merlini», ок. 1135) и «Жизнь Мерлина» («Vita Merlini», ок. 1150) Гальфрида Монмутского.

[105] Двухчастная лекция Белого в «Доме песни» («I. Песня и современность. II. Жизнь песни») состоялась 6 ноября 1908 г.

[106] Ошибка; см. выше, примеч. 103.

[107] Замысел цикла лекций в «Доме песни» относится к февралю 1909 г. См.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 417—418.

[108] Наталья Алексеевна и Анна Алексеевна Тургеневы.

[109] В первоначальном варианте текста далее следовало: «из Гнездниковского, слушая щелки бича нам на головы из-за реторик,— затиснувши зубы, молчит, покрываяся красными пятнами; и вдруг, схватяся за кресло, под ухо ко мне шеей дернется: журкать; средь близких умел бесподобно развить свой галоп афоризмов, подкидывая в небеса ясный диск, переметными блесками не уступавший д'Альгейму; на людях — молчит; но, дорвавшись до уха, трясется; и точит кинжал свой: под скатертью» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 241).

[110] Д'Альгейм написал книгу о М. П. Мусоргском (Moussorgsky. Paris, 1896) и перевел на французский язык либретто оперы «Борис Годунов».

[111] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Бывало: в молчании тягостном под ослепительной речью д'Альгейма — тайфуны противоречивого чувства; пытается Энгель свое что-то вставить,— совсем *не о том;* но он — сбит, смят,

растоптан; Рачинская, В. И. Оленина, В. Рукавишникова и княгиня Кудашева, как воробьи в пыли,— в трепете» (там же, л. 242).

[112] Фигура одной из четырех сивилл на боковых частях потолочного свода Сикстинской капеллы в Ватикане (роспись Микеланджело, 1508—1512).

[113] В первоначальном варианте текста далее следовало: «Щукин, славу создавший Матиссу, Матисса шампанским поил; даже раз полотно он подмазал Матиссово. П. И. д'Альгейм говорил жестом «Щукину»: ваши мешки с миллионом приму, но с условием, чтоб, отдавая мешок, вы мне стукнули в пол головою.

Он ждал, что Цирцея, *Марú»* — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 244).

[114] *Цирцея* (Кирка; греч. миф.) — волшебница, обитающая на острове Эя в роскошном дворце; прибывших на остров спутников Одиссея, опоив колдовским напитком, превращает в свиней («Одиссея», песнь десятая).

[115] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Скотина»?

— «Не благотворитель я, хоть... преклоняюсь!»

Д'Альгейм,— пролетарий, восставший за свой риск и страх,— себя видел ошибочно *«рыцарем»:* жил не в 20-ом столетии он, а — в 12-ом; в чем коренилася ненависть «Щукиных»: под маскарадным «баронством» в д'Альгейме сверкала революционная молния; и тем сильнее, чем менее» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 244).

[116] Речь идет об окончании романа «Петербург» и обучении А. А. Тургеневой у бельгийского гравера Данса.

[117] В первоначальном варианте текста далее следовало:

« — «Этот *«род»* тысячу скручивает в сигарету: раскуривает в нос нам, нищим; и *«он»* же художнику жалеет гроши на концерт и табак; приезжает Вейнгартнер; он нужен же для вдохновения; вы, *сапристú*, же художник! Вы тем, что уже написали, их облагодетельствовали... Двести в месяц! Двоим? А уплата за классы гравюры?.. Данс, он — не богач: из народа... Не может он благотворить! А?.. В рассрочку?» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 246—247).

[118] В первоначальном варианте текста далее следовало:

« — «О, ради меня,— натяните им нос!»

— «Надо тех, кто сидит на мешках, оскорблять, им показывая: деньги — пыль; они думают, что бедняки приседают на корточки под золотою монетою, как и они?.. Представляете»,— с жестом испанским, с поклоном в пространство, с отводом руки и с прыжками какого-то страстного мага:

— «Пускай они платят тысчонкою долг вам за ужин, которым утрете им нос!» (там же, л. 247).

[119] В первоначальном варианте текста далее следовало: «не прощали; и — мстили; весьма обижало не то, что он — мот; обижало, что он — забастовщик: из принципа мот! Мотовские, игривые жесты его — из лишений, бессонниц, безумий, когда, повисающий, как на кресте, над разъятою бездной, он это висенье в игру превращал:

— «Жубн»,— взвизгивал в самых жестоких минутах нужды» — и т. д. (там же).

[120] В первоначальном варианте текста далее следовало: «с радостной скорбью, глаза — два сафира — свои разрывая на мужа, вставала над черствою коркою хлеба» — и т. д. (там же).

[121] Цитата из романса М. И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть...». См.: «На рубеже двух столетий», гл. 2, примеч. 13.

[122] *Роланд* — герой старофранцузского эпоса «Песнь о Роланде» (XII в.), борющийся с маврами-мусульманами.

[123] А. Матисс был в Москве в 1911 г. по приглашению С. И. Щукина; по приезде (23 октября) он остановился в доме Щукина в Знаменском переулке, где прожил около двух недель. См.: Гриц Т., Харджиев Н. Матисс в Москве.— В кн.: Матисс. Сборник статей о творчестве. М., 1958, с. 96—119; Русаков Ю. А. Матисс в России осенью 1911 года.— В кн.: Труды Гос. Эрмитажа, XIV. Л., 1973, с. 167—184.

[124] *П.*— А. М. Поццо. Н. А. Тургенева стала его женой.

[125] В первоначальном варианте текста далее следовало: «удалилась торжественно; мыши, мы,— робко явилися в *«Дом»;* но никто — ни намека; П. И. лишь утроил любезности; в этом лукавом *утрое,* в потире рук,— тайная радость: накрыл!» (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 31, л. 252).

[126] В первоначальном варианте текста далее следовало: «с *«петит»:* без венца, без обрядов; так *«петит»* декретировала; тот отъезд с точки зрения нравов мещан — сумасбродство; таков же отъезд Н *** с П ***; когда «бежали»,— шипели матроны московские; и были партии:

— «Бедные девочки, отданные на растерз декадентам»,— шипели одни» (там же).

[127] В первоначальном варианте текста далее следовало:

«Д'Альгейм, посвященный заранее в планы *«побега»,* был выше обрядов; *«побег»* занимал: романтично!

Он проклял совсем не за то нас: за то, что, когда Ася в Брюссель уехала, я отказался читать в *«Доме песни»* курс лекций (читал Лютер, он, Г. Рачинский, Мюрат); полетели крикливые письма: я — *«враг»,* так что *«бегство»* со мною — предательство *«Дома»:* но А *** — не внимала.

Проклятие Н*** — тоже за расхожденье во взглядах: оно совершилось с разлетом синявых портьер, из которых рукав пиджака желто-серого с пальцем грозящим явил перещелки манжетки; и голос невидимого проклинателя из-за портьеры взвизжал с призадохами:

— «Аллэ ву з'ан! [1]» * (т а м ж е).

[128] Этот конфликт Белый относит к октябрю 1909 г.: «Ссора с д'Альгеймами на почве ⟨...⟩ моего отказа от чтения курса в *«Доме песни»* (*Ракурс к дневнику,* л. 50).

[129] Заключительные строки 2-й части «Фауста» Гете: «Das Ewigweibliche//Zieht uns hinan».

[130] Ср. воспоминания Белого о июне 1912 г.: «Буа-ле-Руа. Длительные беседы с д'Альгеймами; встречи с Питтом ⟨...⟩ роюсь в библиотеке д'Альгеймов» (*Ракурс к дневнику,* л. 57).

[131] Белый вернулся в Москву в августе 1916 г.

[132] Конец 1904 г.

[133] См.: гл. 3, примеч. 286.

[134] Подразумевается прежде всего полемика между Белым и Ивановым по поводу статьи Белого «Химеры» (1905, № 6), развернувшаяся в «Весах»: Иванов выступил с откликом «О «Химерах» Андрея Белого» (1905, № 7, с. 51—52), Белый опубликовал ответное «Разъяснение В. Иванову» (1905, № 8, с. 45).

[135] Во второй половине 1904 г. приглашения приехать в Петербург исходили в основном от Мережковского. 10 сентября 1904 г. он писал Белому: «А Вы не соберетесь ли в Петербург. Соберитесь-ка, родной! Вы ие можете себе представить, как это нам нужно. Если не у кого остановиться, то у нас, да нет, *во всяком случае* у нас!»; в письме от 6 октября он также звал Белого в Петербург: «Это нужно для всех нас,— *необходимо.* Будете жить у нас. Подумайте, какая будет радость!» (ГБЛ, ф. 25, карт 19, ед. хр. 9).

[136] Контаминация сокращенных цитат из статьи, впервые опубликованной в «Весах» под заглавием «На перевале. Место анархических теорий в перевале сознания и индивидуализм искусства» (1906, № 8).

[137] Контаминация цитат из той же статьи.

[138] Неточная и сокращенная цитата из той же статьи.

[139] Неточная цитата из той же статьи.

[140] См. выше, примеч. 8.

[141] Белый вспоминает об октябре 1904 г.: «...каждый день работаю над «Критикой» по Штанге» (*Ракурс к дневнику,* л. 24 об.). Речь идет о работе Карла Штанге «Ход мыслей в

---

* «Вон!» *(Примеч. А. Белого.)*

«Критике чистого разума» в переводе Б. А. Фохта и А. И. Бердникова (М., 1906).

[142] Имеются в виду книги Генриха Риккерта «Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания» (Пер. со 2-го немецкого издания Густава Шпета. Киев, 1904) и «Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки» (Пер. с немецкого А. Водена. СПб., 1903). Об октябре 1904 г. Белый пишет: «... в конце месяца натыкаюсь на книгу Риккерта «О предмете познания». И с этого момента скрупулезно, по страничкам, штудирую эту книгу (и ноябрь, и декабрь); так, постепенно неокантианские проблемы начинают въедаться в меня» (*Ракурс к дневнику,* л. 24 об.).

[143] См. выше, примеч. 14.

[144] В рецензии на книгу Эллиса «Иммортели» (вып. I. Ш. Бодлэр. М., 1904) Брюсов утверждает, что «г. Эллис только *пересказывает* вялыми стихами содержание французских стихов, нигде не возвышаясь над посредственностью, часто падая ниже — до полного обессиливания и безобразного искажения оригинала» (А в р е л и й. Новый перевод Бодлера.— Весы, 1904, № 4, с. 42). Опираясь на текстуальные сопоставления, Брюсов указывает, что Эллис в ряде случаев брал за основу не только французский оригинал, но и русские переводы П. Ф. Якубовича (П. Я.) из Бодлера.

[145] О реакции Эллиса на выход рецензии Брюсова Белому сообщал А. С. Челищев в письме от 18 мая 1904 г.: «Лев Львович собирался устроить Брюсову скандал, потом собирался писать громовую статью, а потом... решил предать забвению toute l'histoire ⟨всю историю — ф р.⟩ ⟨...⟩ А плагиат несомненный, я взялся сличать перевод П. Я. и Кобылинского с подлинником ⟨...⟩ по-моему, переводы П. Я. гораздо выше переводов Кобылинского. Видно, что работа его совершенно не прочувствована, не продумана, а произведена совершенно легкомысленно, и небрежно и недобросовестно» (ГБЛ, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 6).

[146] Видимо, имеется в виду издание: М е р и н г Ф. История германской социал-демократии. Перевод со 2-го немецкого издания М. Е. Ландау, т. 1—4. СПб., 1906—1907.

[147] Исследование Вернера Зомбарта «Современный капитализм» в двух томах. В начале века было издано в двух русских переводах — под редакцией В. Базарова и И. Степанова (М., изд. С. Скирмунта, [1904—1905]) и под редакцией С. Н. Эверлинга и М. А. Курчинского (М., изд. Д. С. Горшкова, 1903—1905). Чтение Зомбарта Белый относит к осени 1904 г.

[148] Книга Рудольфа Штаммлера «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории. Социально-философское исследование» (СПб., 1898; то же — СПб., 1899).

[149] Цитаты (первая — в сокращении) из статьи «Песнь жизни» (1908).

[150] Сокращенная цитата из статьи «Театр и современная драма» (1907).

[151] Отсылка к статье «Песнь жизни».

[152] Измененная цитата из статьи «Песнь жизни».

[153] Пересказ текста и сокращенные цитаты из статьи «Феникс» (1906).

[154] Приезд Белого в Петербург 9 января 1905 г., в день «кровавого воскресенья», и последующее пребывание там подробно описаны в воспоминаниях о Блоке (*Эпопея*, II, с. 159—232; Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 291—308).

[155] Муж Александры Андреевны полковник Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух 9 января командовал отрядом, охранявшим Сампсониевский мост.

[156] *«Полярная звезда»* — еженедельный общественно-политический и культурно-философский журнал, выходивший в Петербурге под редакцией П. Б. Струве в 1905—1906 гг. (с 15 декабря по 19 марта; № 1—14).

[157] Имеется в виду московская общественно-литературная газета «Столичное утро», выходившая в Москве с 30 мая по 19 октября 1907 г.; приостановлена в административном порядке.

[158] Эта статья написана в 1908 г.; см.: *Арабески*, с. 358—362.

[159] Анна Павловна Философова жила в Басковом переулке (дом 21).

[160] После расстрела демонстрации Г. Гапон скрывался на квартире Горького, где написал воззвание к народу; после этого, остриженный, загримированный и переодетый, появился на собрании интеллигенции в Вольно-экономическом обществе. В очерке «Савва Морозов» (впервые опубликованном в 1946 г.) Горький пишет, что после грима «поп вышел похожим на парикмахера или приказчика модного магазина»: «В этом виде я и отвез его в Вольно-экономическое общество, где заявил с хор, что Гапон — жив, вот он! И показал его публике» (Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25-ти томах, т. 16. М., 1973, с. 524).

[161] Возможно, З. А. Венгерова.

[162] «Черная книжка. Дневник 1919 г.» и «Серый блокнот» З. Н. Гиппиус были напечатаны в «Русской мысли» (София) в 1921 г. (№ 1—2, с. 139—190; № 3—4, с. 49—99). См. также: Гиппиус З. Петербургские дневники (1914—1919). New York, 1982 (предисловие и примечания Н. Н. Берберовой).

[163] Возможно, П. С. Соловьева.

[164] См. письмо З. Н. Гиппиус к Белому от 1 сентября 1918 г. (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 480—481).

[165] Подразумеваются, видимо, следующие детали литературного портрета Белого в очерке Гиппиус «Мой лунный друг (о Блоке)»: «...бесконечно льющиеся, водопадные речи Бори, с жестами, с лицом вечно меняющимся,— почти до гримас; он то улыбается, то презабавно и премило хмурит брови и скашивает глаза» (Гиппиус З. Н. Живые лица, вып. 1. Прага, 1925, с. 21).

[166] Это обозначение подразумевает особый характер отношений, установившихся у Белого в январе 1905 г. с Мережковскими: «Они приняли меня на свои тайные моления; их малая община имела свои молитвы, общие; было 2 чина; 1-ых: чин ежедневной вечерней молитвы; и 2-х: чин служб: этот чин свершался приблизительно раз в 2 недели, по «четвергам»; во время этого чина совершалась трапеза за столом, на котором были поставлены плоды и вино; горели светильники; на Мережковском и Философове были одеты широкие, пурпурные ленты, напоминающие епитрахили. В числе участников *«четвергов»* в это время были: Мережковский, Гиппиус, Философов, Карташев, я, Татьяна Николаевна Гиппиус, Наталья Николаевна Гиппиус; вот и все: Мережковские одно время надеялись ввести в чин свой Бердяева и Волжского; но те скоро отошли от них» (*Материал к биографии*, л. 51 об.).

[167] Подразумевается заключительное четверостишие стихотворения Блока «Я живу в отдаленном скиту...» (январь 1905 г.):

Но живу я в далеком скиту
И не знаю для счастья границ.
Тишиной провожаю мечту.
И мечта воздвигает Царицу.

(Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 11.) 20 февраля 1905 г. З. Н. Гиппиус писала Белому: «...Блок принес Тате стихи 〈...〉 Там все «цариц-у́-у́» — и мне не весьма нравится» (Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3, с. 221).

[168] Имеются в виду эпизод в операционной палатке (ампутация ноги у раненого Анатоля Курагина) в «Войне и мире» (т. 3, ч. 2, гл. XXXVII) и предфинальные эпизоды в «Смерти Ивана Ильича» (гл. XII).

[169] Роман Мережковского «Петр и Алексей» («Антихрист»), последняя часть трилогии «Христос и Антихрист», печатался в 1904 г. в «Новом Пути» (с № 1) и был закончен публикацией

в 1905 г. в журнале «Вопросы жизни», в апреле 1905 г. вышло в свет отдельное издание романа. См. статью Белого «Мережковский. Трилогия» (1906) (*Арабески*, с. 415—429).

[170] Мережковского, гуляющего в Летнем саду, Белый описал в «силуэте», ему посвященном; очерк впервые опубликован 18 октября 1907 г. в «Утре России» (см.: *Арабески*, с. 409—415).

[171] В «Мире искусства», издававшемся с 1899 по 1904 г., Философов вел литературно-критический отдел, был, наряду с Дягилевым и А. Бенуа, одним из лидеров журнала.

[172] Видимо, либо «Краткий историко-критический очерк систематической обработки русской церковной истории» А. В. Карташева (СПб., [1903]), либо его же «Русская церковь в 1905 г.» (СПб., 1906).

[173] Ср. запись Белого о 7-м февраля 1917 г.: «Оппонирую С. М. Соловьеву на лекции в Петр⟨оградском⟩ рел⟨игиозно⟩-фил⟨ософском⟩ о⟨бщест⟩ве. Нападение Карташева и Мережковского» (Белый Андрей. Жизнь без Аси.— ГБЛ, ф. 25, карт. 31, ед. хр. 1).

[174] Во втором и третьем коалиционных правительствах А. Ф. Керенского (24 июля — 25 октября 1917 г.) Карташев занимал пост обер-прокурора Синода, министра исповеданий.

[175] Цитируются (в сокращении) заключительные строки стихотворения Блока «Твари весенние (Из альбома «Kindisch» Т. Н. Гиппиус)», написанного 19 февраля 1905 г. (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 13). В альбомах Т. Н. Гиппиус были изображеиы всевозможные фантастические «твари».

[176] Эпизоды из повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835).

[177] Евангельские образы, символизирующие два пути человеческого служения —«небесный» (Мария) и «земной» (Марфа). См.: Евангелие от Луки, X, 38—42.

[178] Перечисляются романы Мережковского «Смерть богов (Юлиан Отступник)» (1895), «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» (1901), «Антихрист (Петр и Алексей)» (1905), составившие трилогию «Христос и Антихрист», и роман «Александр I» (1912).

[179] Эмигрировав в январе 1920 г. (нелегальный переход польской границы в районе Бобруйска), Мережковские обосновались на несколько месяцев в Варшаве, где развернули политическую деятельность, направленную к активизации борьбы Польши с Советской Россией: создание газеты «Свобода» (затем переименована в «За свободу», редакторы — Д. В. Философов и одно время М. П. Арцыбашев), аудиенция Мережковскому у маршала Ю. Пилсудского, формирование русских отрядов при польских войсках, поддержка политических акций Б. В. Савинкова. См.: Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережков-

ский. Париж, 1951, с. 251—292; Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris, 1984, с. 85—87.

[180] В начале 1920-х годов Философов был заместителем Савинкова, руководившего Русским политическим комитетом в Варшаве.

[181] С 1920 г. Карташев — в Париже, летом 1921 г. был избран председателем русского Национального комитета. См. его автобиографию: Вестник Русского студенческого христианского движения, 1960, № 58—59, с. 57—61.

[182] Знакомство Блока с Мережковскими состоялось значительно раньше — 26 марта 1902 г. См.: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими, с. 123.

[183] В те годы М. В. Пирожков был основным издателем книг Мережковских. С марта 1903 по июнь 1908 г. в издательстве Пирожкова вышло 22 названия их книг общим тиражом 86 500 экз. (Эльзон М. Д. Издательство М. В. Пирожкова.— В сб.: Книга. Исследования и материалы, вып. 54. М., 1987, с. 162).

[184] Мережковские уехали за границу (в Париж) 25 февраля 1906 г. более чем на два года.

[185] Знакомство Белого с В. В. Розановым относится к январю 1905 г.

[186] Первая книга Розанова — «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (М., 1886).

[187] Блок, Л. Д. Блок и Белый были на концерте А. Дункан 21 января 1905 г. в зале Петербургской консерватории. Свои восторженные впечатления от танца Дункан Белый отразил в статье «Луг зеленый» (Весы, 1905, № 8; см.: Белый Андрей. Луг зеленый. Книга статей. М., 1910, с. 3—18).

[188] Подразумевается, по всей вероятности, прежде всего эпизод исключения Розанова из петербургского Религиозно-философского общества 26 января 1914 г. (за печатные выступления в черносотенном духе, связанные с делом Бейлиса). Об этом см. в воспоминаниях Е. М. Тагер «Блок в 1915 году» (Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 2, с. 102—105, 439—440).

[189] Имеется в виду торжественное заседание Общества любителей российской словесности 27 апреля 1909 г., посвященное 100-летию со дня рождения Гоголя. См. сб. «Гоголевские дни в Москве» (М., 1910).

[190] Розанов был постоянным сотрудником петербургской газеты «Новое время» — охранительно-консервативного органа, пользовавшегося в широких кругах интеллигенции одиозной репутацией.

[191] Неточность: учился Розанов в Симбирской и Нижегородской гимназиях, в Бельской прогимназии (г. Белый Смоленской губернии) он сам был учителем (в 1891—1893 гг.). См.: Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922, с. 16.

[192] Ф. Сологуб жил на 7-й линии Васильевского острова (д. 20), в июле 1907 г. переехал на Петербургскую сторону (Широкая ул., д. 19, кв. 2).

[193] В пору начала знакомства с Белым (январь 1905 г.) Сологуб служил инспектором петербургского Андреевского городского училища.

[194] *Геркуланум* — римский город около современного Неаполя, разрушенный и засыпанный вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 г.

[195] Сестра Сологуба Ольга Кузьминична Тетерникова скончалась в Райволе 28 июня 1907 г. от туберкулеза легких (см.: ИРЛИ, ф. 289, оп. 6, ед. хр. 66, л. 32). 8 июля 1907 г. Сологуб писал Брюсову в этой связи: «Смерть моей сестры для меня великая печаль, не хотящая знать утешения. Мы прожили всю жизнь вместе, дружно, и теперь я чувствую себя так, как будто все мои соответствия с внешним миром умерли ⟨...⟩» (ГБЛ, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 26).

[196] Сологуб женился на Анастасии Николаевне Чеботаревской осенью 1908 г.

[197] Поэт Вл. В. Гиппиус (псевдонимы — Вл. Бестужев, Вл. Нелединский), начинавший литературную деятельность вместе с А. М. Добролюбовым в середине 1890-х годов, в 1900-е годы временно отошел от нее; с 1904 г. стал преподавателем петербургской частной женской гимназии М. Н. Стоюниной, с 1906 г.— преподавателем в Тенишевском училище. Был дружен с Сологубом с 1890-х годов.

[198] Имеется в виду стихотворение «День безумный, день кровавый...» (22 ноября 1905 г.), опубликованное в газете «Пламя» (1905, № 1, 1 декабря); вошло в книгу Сологуба «Соборный благовест» (Пб., 1922, с. 17).

[199] Автограф этого стихотворения не выявлен; ныне печатается по тексту, приводимому здесь Белым. См.: Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1975, с. 546, 883.

[200] Подробнее о конфликте, возникшем в связи с опубликованием в «Весах» статьи Белого о творчестве Сологуба «Далай-лама из Сапожка» (1908, № 3, с. 63—76), см. в публикации объяснительного — по этому поводу — письма Белого к Сологубу от 30 апреля 1908 г. и в комментариях к нему (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974, с. 132—135).

[201] Этот обед у Сологуба Белый относит к февралю 1912 г. (*Ракурс к дневнику,* л. 55 об.).

[202] Е. А. Ляцкий, видимо, тогда же предложил Белому печатать «Петербург» в журнале «Современник», который он взялся редактировать с февраля 1912 г., но Белый от этого предложения уклонился (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 219—223), роман был продан в марте 1912 г. ярославскому издателю К. Ф. Некрасову для печатания его отдельной книгой, однако это издание не состоялось (см.: Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург».— В кн.: Белый Андрей. Петербург. Л., 1981, с. 557—560, 565—568).

[203] Эта встреча в Театральном отделе (Тео) Наркомпроса в Петрограде могла состояться не ранее января—февраля 1919 г. *«Скифы»* — группа писателей, участвовавших в двух альманахах «Скифы» (1917).

[204] В начале 1920-х годов Сологуб деятельно участвовал лишь в литературных организациях (см.: Дикман М. И. Поэтическое творчество Федора Сологуба.— В кн.: Сологуб Ф. Стихотворения (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1975, с. 66—67).

[205] Ан. Н. Чеботаревская, страдая психастенией, 23 сентября 1921 г. бросилась в реку Ждановку с Тучкова моста; тело ее было извлечено и опознано лишь 2 мая 1922 г.

[206] Ал. Н. Чеботаревская бросилась в Москву-реку с Большого Каменного моста в феврале 1925 г., после похорон М. О. Гершензона.

[207] 40-летие литературной деятельности Сологуба, торжественно отмеченное в Ленинграде 11 февраля 1924 г. в Государственном академическом драматическом театре.

[208] Сохранился текст приветствия Белого Сологубу в двух вариантах — от имени «Вольфилы» и от собственного имени, датированный 26 января 1924 г. (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 133).

[209] Имеются в виду встречи с Сологубом в мае — июне 1926 г., когда Белый гостил у Иванова-Разумника в Детском Селе.

[210] Сологуб скончался 5 декабря 1927 г., похоронен на Смоленском кладбище в Ленинграде. О ходе предсмертной болезни и кончине Сологуба Белого известил Иванов-Разумник письмом от 7 декабря 1927 г. (ГБЛ, ф. 25, карт. 16, ед. хр. 6б).

[211] Библиотека Анны Алексеевны Пестовской (Литейный пр., д. 24).

[212] О своем общении с Белым В. Пяст рассказывает в мемуарах «Встречи» (М., 1929, с. 22—29, 86—88, 152—155, 186—190).

[213] Редакция журнала «Вопросы жизни» находилась тогда в Саперном переулке (д. 10, кв. 6), в конце июля 1905 г. переехала на 7-ю Рождественскую улицу (д. 7, кв. 7).

[214] Г. И. Чулков руководил в «Вопросах жизни» литературно-критическим отделом.

[215] О своем сложном положении между двумя редакционными группами в «Новом Пути» и «Вопросах жизни» — Мережковскими, с одной стороны, и «идеалистами» (С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский) — с другой, Чулков рассказывает в воспоминаниях «Годы странствий» (М., 1930, с. 51—64).

[216] См. гл. 3, примеч. 196.

[217] *«Пале-Рояль»* — большой меблированный дом на Пушкинской улице (д. 20).

[218] Ср. более подробную характеристику Белым этих дебатов (февраль 1905 г.): «Появление в Петербурге Эрна и Свенцицкого. 1) Обсуждение обращения к *«епископам»*, написанное Свенцицким (у Мережковских). 2) Выработка «радикальной» религиозной платформы у Волжского. 3) Дебаты со Свенцицким и Эрном у Перцова (участвуют: Мережковский, Гиппиус, Перцов, Философов, Тернавцев, я, Свенцицкий, Эрн, Карташев). 4) Обсуждение плана действий «Христианского братства борьбы» (я, Свенцицкий, Эрн)» (*Ракурс к дневнику,* л. 17 об.). Связь окружения Мережковских с представителями «Христианского братства борьбы», стремившимися к совмещению революционных и христианских идей и к радикальному обновлению церкви, прослеживается и позднее, вынашиваются замыслы печатных изданий; ср. фразу из письма А. В. Карташева к Белому от 29 ноября 1905 г.: «Наш церк⟨овно⟩-реформац⟨ионный⟩ и ц⟨ерковно⟩-революционный еженедельник пока не удается» (ГБЛ, ф. 25, карт. 17, ед. хр. 8).

[219] Герой романа В. П. Свенцицкого «Антихрист» развивает идею поездки в Македонию на борьбу с турками: «Я не знал, как именно все это сделаю, как я умудрюсь съездить в Македонию и вернуться оттуда героем, ни разу не подвергнувшись опасности, но я внутренне уже решил, что это как-то возможно, что я все это сделаю». После широко обставленных проводов герой приезжает в Софию, откуда пишет на родину о своем уходе к сербской границе с отрядом инсургентов: «...я отлично знал, что никакой границы переходить не собираюсь, а преспокойно проживу в гостинице месяц или полтора, а потом вернусь домой» (Свенцицкий Вал. Антихрист (Записки странного человека). СПб., 1908, с. 104, 116).

[220] Эта связь подтверждается публикацией в «Вопросах жизни» в 1905 г. статьи Эрна «Христианское отношение к собственности» (№ 8, с. 246—272; № 9, с. 361—382) и составленной им

же «Религиозно-общественной хроники» (№ 8, с. 273—291; подпись: В. Э.).

[221] См. гл. 2, примеч. 50.

[222] Получив от Белого его книгу «Возврат», Блок отвечал в недатированном письме (ноябрь — декабрь 1904 г.): «Милый, я прочитал это. Читал долго, может быть, тысячу лет. Так не было давно. Вот и все. ⟨...⟩ Скоро будет елка, и Ты подарил мне заранее книжку с картинкой — орел и змея. Мы с Любой читаем, а на елке повесим золотые орехи и золотой дождь, который режет пальцы» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 112—113).

[223] Цитаты (последняя — в сокращении) из статьи Блока «Безвременье» (1906). Ср.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 70—71.

[224] Цитата из статьи «Вопросы, вопросы и вопросы» (1908). Ср.: там же, с. 337.

[225] Цитаты (первая — сокращенная и неточная) из статьи «Безвременье». Ср.: там же, с. 71.

[226] Цитаты из статьи «Стихия и культура» (1908). Ср.: там же, с. 350, 357.

[227] Цитаты из статьи «Пламень» (1913). Ср.: там же, с. 486.

[228] Сокращенные цитаты из статьи «Театр и современная драма» (1907).

[229] Цитата из статьи «Феникс» (1906).

[230] Сокращенная цитата из статьи «Пророк безличия» (1908).

[231] Экстракт из формулировок статьи «Театр и современная драма».

[232] Положения статьи «Песнь жизни» (1908).

[233] Цитата из статьи «Андреев. Второй том» (1906).

[234] 4 февраля 1905 г. в 3 часа дня эсер И. П. Каляев совершил террористический акт на Сенатской площади Кремля — убийство разрывной бомбой великого князя Сергея Александровича. 5 февраля Белый возвратился в Москву.

[235] Цитата из стихотворения Белого «Пир» (1905), входящего в «Пепел» (*Стихотворения и поэмы*, с. 228).

[236] Цитата из стихотворения Белого «Похороны» (1906), входящего в «Пепел» (там же, с. 235—236).

[237] Цитата из стихотворения «Сытые» (10 ноября 1905 г.) (Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 180).

[238] Ср. аналогичный эпизод, пересказываемый Брюсовым в письме к отцу от 3 июня 1907 г.: «Недавно один из тех «товарищей», в пользу которых я читал лекцию, ораторствовал мне, что со введением социального строя появится *новое*, совсем новое искусство. Я его спросил: а таблица умножения тоже будет но-

вая? Он мне ответил, подумав: может быть! — Хороши! будь пролетарием, и ты не только прав, но и поэт и мудрец, не учась» (опубликовано в статье И. Г. Ямпольского «Валерий Брюсов и первая русская революция»; см.: Ямпольский И. Поэты и прозаики. Л., 1986, с. 337).

[239] Личное знакомство Белого с М. К. Морозовой относится к весне 1905 г.

[240] Ср. запись Белого о мае 1905 г.: «...мы с Е. А. Бальмонт устраиваем лекцию Мережковского в доме Морозовой» (*Материал к биографии*, л. 52). Сообщая в середине мая Блоку о московской лекции Мережковского «о церковной реформе», Белый добавляет: «Хлопоты все упали главным образом на меня. Неделю я только и мог, что бегать из места в место» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 132).

[241] С лекциями на тему «Искусство будущего» Белый выступал также в Киеве 6 октября 1907 г. в Коммерческом собрании и в Петербурге 15 января 1908 г. в зале Тенишевского училища.

[242] Более 90-та писем Морозовой к Белому, по большей части такого же содержания, сохранилось в его архиве (ГБЛ, ф. 25, карт. 34, ед. хр. 1—8).

[243] Было издано не один, а два литературно-философских сборника «Свободная совесть» (М., 1906), в которых опубликованы «Из пережитого (Мысли и настроения)» В. Н. Бобринской, статьи «Свобода совести» и «Ламеннэ» С. А. Котляревского, стихотворения Эллиса, а также произведения Белого, С. Соловьева, Свенцицкого, П. И. Астрова, А. Г. Коваленской, Г. А. Рачинского и других авторов.

[244] Цитата из стихотворения Белого «На рельсах», в первоначальной редакции опубликованного в «Альманахе к-ва «Гриф» (М., 1905, с. 18—19); вошло в «Пепел». См.: *Стихотворения и поэмы*, с. 163.

[245] Переработанный вариант фрагмента 1-й части стихотворения «Успокоение» (1905), входящего в «Пепел». См.: Белый Андрей. Пепел. Стихи. М., 1929, с. 58—59. Ср.: *Стихотворения и поэмы*, с. 273.

[246] Заключительные строки стихотворения «Меланхолия» (1904) из «Пепла» (*Стихотворения и поэмы*, с. 225).

[247] Цитата из стихотворения «Изгнанник» (июнь 1904 г.), входящего в «Пепел» (там же, с. 262).

[248] Заключительная строфа стихотворения «Станция» (1908) (там же, с. 171).

[249] Драматическая поэма С. Соловьева «Саул и Давид», напечатанная во 2-й книге сборника «Свободная совесть».

[250] «Прекрасная мельничиха», песенный цикл Ф. Шуберта (ор. 25, 20 песен, 1823) на стихи Вильгельма Мюллера.

[251] Сохранился рисунок Белого, из подписи к которому мы узнаем слова Брюсова: «Он продавал свои ласти, Борис Николаевич» («ласти» — ласки; Белый пародирует манеру произношения Брюсова); рисунок подписан Белым: «Как злословит великий человек» (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, между с. 128—129). Имеется в виду слух об отношениях Мережковского с Е. И. Образцовой, отраженный в дневнике Брюсова (ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16), определенно со слов самой Образцовой, и в последующее время на протяжении ряда лет пытавшейся через Брюсова получить от Мережковского взятые им в долг 3000 рублей; касаясь этой темы в письме к Брюсову от 4 сентября 1912 г., она отмечала: «Очевидно, они желают мои деньги зажилить или, того хуже, считают это платой за любовь. В таком случае — дешевая любовь была. Деньги мной были даны на издание книг обоих супругов» (ГБЛ, ф. 386, карт. 96, ед. хр. 34).

[252] Ср. слова Белого в этом письме к Брюсову (19 февраля 1905 г.): «Ведь вы ругаете *периодически* всех. Вы и пишете нехорошие вещи про всех (про меня, например). Лично я относительно себя совершенно ничего не имею: вам так подходит. Я вас часто про себя называю — *«ругателем»* — это одна из ваших черт. ⟨...⟩ Мережковские мне близки и дороги, и я очень близок к ним. Считаю нужным предупредить вас, Валерий Яковлевич, что впредь я буду считать ваши слова, подобные сказанным мне сегодня *(по моему позволению)*, обидой себе» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 381).

[253] См. письмо Брюсова к Белому от 20 февраля 1905 г. (там же, с. 381—382).

[254] В письме от 21 февраля к Брюсову Белый, разъясняя смысл своего предыдущего послания («Все письмо написано не из желания вас обидеть, а из желания исполнить свой долг относительно людей, с которыми я связан теснейшими узами дружбы»), заключал: «Если вы человек честный, вы пойдете навстречу моему желанию прекратить возникшее недоразумение. В противном случае, конечно, я меняю тон моего отношения к вам» (там же, с. 382).

[255] См. письмо Брюсова к Белому от 22 февраля 1905 г. (там же, с. 383). Брюсов собирался описать в дневнике этот инцидент под заголовком «История моей дуэли с Белым» (ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16, л. 37), но этого намерения не осуществил. 1 апреля 1905 г. Белый сообщал Э. К. Метнеру: «...у меня с Брюсовым должна была быть *эмпирическая*, а не символическая дуэль, или, лучше сказать, тут символизм наших отношений хотел *«окончательно воплотиться»* (ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 44).

[256] Июль 1905 г.

[257] См. стихотворение Брюсова «Андрею Белому» («Нас не призвал посланник Божий...»), впервые опубликованное в его книге «Все напевы» (1909) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 540—541).

[258] Неточная цитата не из стихотворения Брюсова, а из ответного послания Белого «Встреча» (1909), опубликованного в его книге «Урна»; в оригинале у Белого:

На посох бедный, костяной
Ты обменял свой жезл змеиный.

(*Стихотворения и поэмы*, с. 285.)

Образы посоха и жезла восходят к посланию Брюсова «Андрею Белому»:

Тебе дарю я жезл змеиный,
Беру твой посох костяной.

[259] Цитата из стихотворения «Встреча» (*Стихотворения и поэмы*, с. 285).

[260] См.: «Между двух революций», главка «Инцидент с «Петербургом».

[261] Имеются в виду «Воспоминания о Блоке», опубликованные в «Эпопее» в 1922—1923 гг.

[262] Белый жил в Коктебеле в доме Волошина с 1 июня по 12 сентября 1924 г., Брюсов провел в гостях у Волошина август того же года.

[263] 8 декабря 1924 г., уже после кончины Брюсова, Белый писал Иванову-Разумнику: «Я очень благодарен Коктебелю хотя бы за то, что перед смертью Валерия Яковлевича с ним встретился и мирно прожил, можно сказать, под одним кровом 3 недели: мы примирились — без объяснений; и как бы простилися ⟨...⟩» (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 15).

[264] Фирма Шарля Пате, в 1910-е годы занявшая ключевые позиции в деле производства и проката кинофильмов во Франции и во многих других странах.

[265] О пребывании Брюсова в Коктебеле см.: Гроссман Л. Борьба за стиль. Очерки по критике и поэтике. М., 1927, с. 281—297 (очерк «Последний отдых Брюсова»); Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки, т. 3. М., 1974, с. 57—58, 66—70.

[266] Брюсов умер 9 октября 1924 г.

[267] Похороны Брюсова состоялись 12 октября, гроб сопровождало несколько тысяч человек. См.: Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современни-

ков и отзывах критики. Сост. Н. Ашукин. М., 1929, с. 396—400. Ср. описание похорон в очерке Белого «Валерий Брюсов» (Россия, 1925, № 4(13), с. 280).

[268] Цитата (с изменением деления на строки) из 7-й части стихотворной «сюиты» Белого «Брюсов» (1929), входящей в его книгу «Зовы времен» (*Стихотворения и поэмы*, с. 548).

[269] Сокращенная цитата из раздела «Последние слова» в кн.: Добролюбов А. Из книги Невидимой. М., 1905, с. 202.

[270] Пересказ и сокращенные цитаты из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910). Ср.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 429, 431, 433—436.

[271] Контаминация неточных и сокращенных цитат (Белый Андрей. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете». М., 1917, с. 23—24, 26).

[272] Цитата из стихотворения Белого «Успокоение» (*Стихотворения и поэмы*, с. 243).

[273] См.: *Арабески*, с. 24.

[274] Там же.

[275] См.: Белый Андрей. Луг зеленый, с. 48. Статья написана в 1908 г.

[276] Сокращенная цитата из статьи-«манифеста» «На перевале. XVI. Художники оскорбителям», впервые опубликованной в «Весах» (1907, № 1).

[277] Неточная цитата из стихотворения Белого «В Летнем саду» (1906) из книги «Пепел» (*Стихотворения и поэмы*, с. 238).

[278] Цитата из стихотворения И.-В. Гете «Блаженное томление» («Selige Sehnsucht», 1814) из раздела «Моганни-наме. Книга певца» в «Западно-восточном диване».

ПРИЛОЖЕНИЕ

В этом разделе впервые печатаются по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 8, л. 1—43) вступительные разделы к «кучинской» редакции «Начала века» (см. о ней с. 557 наст. тома) — «Вместо предисловия» и «Введение»,— предшествовавшие главе 1-й и исключенные из окончательной редакции текста воспоминаний. В публикуемых фрагментах Белым намечены сокращения (зачеркивания сделаны, видимо, при попытке переработать текст для печати), которые заключены нами в квадратные скобки.

[1] Подразумевается официальная репутация Н. В. Кукольника, сложившаяся после премьеры и «высочайшего одобрения»

его исторической драмы «Рука всевышнего отечество спасла» (1834).

[2] Данте монахом не был.

[3] О Кампанелле и его утопии «Город Солнца» (1602) Белый писал неоднократно; см. его статью «Утопия» (Записки мечтателей, № 2—3. Пб., 1921, с. 139—144; подпись: Alter Ego) и фрагменты речи «Солнечный град» (1920) (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980, с. 44—46).

[4] С. Г. Гершельман был московским генерал-губернатором в 1906—1908 гг.

[5] Контаминация сокращенных цитат из статьи «На перевале. XVIII. Люди с «левым устремлением», впервые опубликованной в газете «Час» (1907, № 10, 24 августа).

[6] Имеются в виду начальные фразы статьи С. М. Городецкого «На светлом пути. Поэзия Федора Сологуба с точки зрения мистического анархизма»: «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе? ⟨...⟩ Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе? Неужели только то изображу, что вижу, слышу и осязаю?» (Факелы, кн. 2. СПб., 1907, с. 193). Г. В. Адамович, приводя эти слова и ошибочно приписывая их Г. Чулкову, замечает, что они когда-то рассмешили «пол-России» (А д а м о в и ч Г. Мои встречи с Анной Ахматовой.— В кн.: Воздушные пути. Альманах V. Нью-Йорк, 1967, с. 100-101).

[7] Сокращенные цитаты из статьи «Люди с «левым устремлением».

[8] Подразумеваются литературная платформа акмеизма и идея «кларизма» в литературном творчестве, выдвинутая М. Кузминым в статье «О прекрасной ясности» (Аполлон, 1910, № 4).

[9] П. Б. Струве и А. А. Кизеветтер упоминаются как руководители журнала «Русская мысль».

[10] В состоянии зарождения, возникновения (л а т.).

[11] Неточно цитируется первая строфа стихотворения Белого «Друзьям» (1907) (*Стихотворения и поэмы*, с. 249).

[12] Неточно цитируется заключительная строфа стихотворения Брюсова «Лестница» (1902) (Б р ю с о в В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 270).

[13] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Сторожим у входа в терем...» из цикла «Молитвы» (1904) (Б л о к А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1, с. 316).

[14] Искаженно цитируется заключительная строфа стихотворения «Одиночество» (1903) (Б р ю с о в В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 319).

[15] Цитата из стихотворения «З. Н. Гиппиус» (1901) (т а м ж е, с. 355).

[16] Цитата из стихотворения «И ночи и дни примелькались...» (1896) (т а м ж е, с. 121).

[17] Статья «Маска» (1904); см.: *Арабески*, с. 130—137.

[18] Статья Брюсова «Священная жертва» впервые была напечатана в «Весах» в 1905 г. (№ 1). См.: Б р ю с о в В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, с. 94—99.

[19] Книга статей Вяч. Иванова «По звездам. Опыты философские, эстетические и критические» (СПб., 1909).

[20] Имеется в виду книга Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., 1917).

[21] Рецензия на «На рубеже двух столетий» Ж. Эльсберга (На литературном посту, 1930, № 5—6, с. 117—118).

[22] Обыгрываются строки из стихотворения Белого «На горах» (1903) (*Стихотворения и поэмы*, с. 116).

[23] Неточная цитата из статьи «Принцип формы в эстетике» (*Символизм*, с. 184), впервые опубликованной в «Золотом руне» в 1906 г. (№ 11—12).

[24] См.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 18, с. 574; т. 22, с. 300; т. 31, с. 329.

[25] Цифровые подстрочные примечания в последующих двух главках принадлежат Белому. Свои статьи из «Символизма» и «Арабесок» Белый цитирует с сокращениями, иногда произвольно контаминируя непосредственно не связанные между собой фрагменты текста.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЧАЛО ВЕКА

Глава третья. Разнобой

Глава четвертая. Музей паноптикум

Белый А.

Б 43 Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2 / Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; Подгот. текста и коммент. А. Лаврова.— М.: Худож. лит., 1990.— 687 с., ил., портр. (Литературные мемуары).

ISBN 5-280-00518-5 (Кн. 2)
ISBN 5-280-00517-7

«Начало века» — вторая книга мемуарной трилогии Андрея Белого. Воспоминания охватывают период с 1901 по 1905 г. В них нарисованы портреты видных литераторов и художников, рассказано о зарождении символизма, воссоздана общественная и литературная атмосфера России начала века.

Б $\frac{4702010201\text{-}359}{028(01)\text{-}90}$ 8-89 **ББК 84Р7**

Андрей Белый

НАЧАЛО ВЕКА

Редактор *К. Нещименко*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Синицына*

Корректоры *Н. Замятина, Т. Сидорова*

ИБ № 5296

Сдано в набор 23.11.88. Подписано к печати 21.09.89. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,12+1 вкл.+альб.=37,01. Усл. кр.-отт. 38,32. Уч.-изд. л. 40,83+1 вкл.+альбом=41,55. Тираж 200 000 экз. Изд. № II-2969. Заказ № 1840. Цена 10 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15